





ИСТОРИЧЕСКІЕ ОЧЕРКИ

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОДЕРЖИ

Pyzin, Aleksandr Nikolaevich

ИСТОРИЧЕСКІЕ ОЧЕРКИ.

Kharakteristiki literaturnykh mneni
ot dvadtsatykh do piatsdesiätykh god

ХАРАКТЕРИСТИКИ

L i t e r a t c h r n y k h " M N I E N I I
ЛИТЕРАТУРНЫХЪ МНѢНІЙ

ОТЪ ДВАДЦАТЫХЪ ДО ПЯТИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ.

А. Н. Пыпина.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

1873.

PG 3011
P9
1873



А. В. Минин.

СВЯТЫЙ ПЕТРЪ
1873.

СОДЕРЖАНІЕ.

| | СТР. |
|--|------|
| ВВЕДЕНІЕ | 1 |
| ГЛАВА I.—Романтизмъ.—Жуковский: воспринятіе мистическихъ и сантиментальныхъ сторонъ западнаго романтизма, въ близкой связи съ ка-рамзинской школой; отношенія къ русской дѣйствительности.—Позднѣйшія мнѣнія Жуковскаго и отношенія его къ Гоголю. Развитіе общественныхъ мнѣній Пушкина: прежній либерализмъ во времена имп. Александра и новые взгляды при Николаѣ I; консервативно-національный романтизмъ, въ связи съ господствовавшей официально системой; литературныя преданія Арзамаса и отноше-ніе къ новымъ литературнымъ стремленіямъ | 24 |
| ГЛАВА II.—Народность официальная.—Впечатлѣніе событій двадца-пятаго года.—Система официальной народности: ея родство съ прежними правительственными взглядами и съ политикой европей-ской реакціи.—Дѣйствія системы: начало всеобщей опеки; разнмо-женіе и господство бюрократіи; крайнее развитіе милитаризма; дѣла церковныя; народное просвѣщеніе. — Бесиліе самого авто-ритета уничтожить развившіяся злоупотребленія; внутренняя сла-бость національной жизни. Теоретическое содержаніе официальной народности: какъ объяс-нялись здѣсь внутренніе принципы русской національности и ея отно-шеніе къ европейской цивилизаціи.—Отношеніе этой теоріи къ дѣй-ствительности. Панегпристы и послѣдователи системы въ литературѣ.—Положе-ніе прогрессивнаго направленія | 61 |
| ГЛАВА III.—Проявленія скептицизма.—Чаадаевъ: его тѣсная связь съ образовательнымъ движеніемъ двадцатыхъ годовъ.—Католическія симпатіи въ извѣстной части общества, и причины ихъ успѣха: связь ихъ съ понятіями европейской реставраціи. Сочиненія Чаадаева: содержаніе «Философическихъ Писемъ»; «Апологія Сумасшедшаго». Смыслъ скептицизма Чаадаева; впечатлѣніе, произведенное пер-вымъ «Письмомъ» | 111 |
| ГЛАВА IV.—Развитіе научныхъ изслѣдованій народности.—Новыя литературныя школы.—Понятіе, что самобытность развитія уже до-стигнута; дѣйствительная степень этой самобытности. Обзоръ направленій и приемовъ въ теоретическомъ изученіи на-родности, и сближеній съ народомъ.—Вліяніе нѣмецкой философіи.—Историческія изученія: Каченовскій, Полевой; археографическая экспедиція и коммиссія, и изданіе памятниковъ; поѣздка молодыхъ ученыхъ въ иностранныя университеты; изученіе славянства; г. По-годинъ; новая историческая школа—гг. Соловьевъ, Кавелинъ, Кала-човъ, Павловъ и др.—Этнографія; сравнительное языкознаніе; идеа-лизация старины и народности. Дальнѣйшее развитіе изученій народности въ наше время и, вслѣд-ствіе того, измѣненіе въ прежнихъ теоріяхъ | 171 |
| ГЛАВА V. Славянофильство. А. Общий взглядъ и теологическая система славяно-фильства.—Генеалогія славянофильства.—Московскіе кружки трид-цатыхъ годовъ.—Отношенія славянофиловъ къ ихъ противникамъ.—Философско-романтический характеръ школы. | |

Общій очеркъ славянофильскаго ученія: противъ жнзность восточнаго и западнаго міра, греко-славянскои и романо-германскои цивилизаціи, ложность послѣдней и превосходство первой.

П. и Ив. Кирѣевскіе, Хомяковъ, Самаринъ, К. и Ив. Аксаковы.— Отношеніе славянофильства къ «Москвитяину» и «Маяку».

Теологическія основанія славянофильства, развитія Кирѣевскимъ и Хомяковымъ;—примѣненіе ихъ у Д. Валуева 233

Б. Историческіе и общественные идеалы славянофильства.—Историческая теорія славянофильства: главные положенія ея у Кирѣевскаго и М... З... К...; подробное развитіе ихъ у К. Аксакова; крайняя идеализація старины, возвеличеніе Москвы.—Какъ возможно было, по мнѣніямъ славянофиловъ, возвращеніе къ старымъ началамъ? — Отношенія славянофильства къ дѣятельности «западной школы»: мнѣнія Кирѣевскаго, К. Аксакова, Хомякова. — Неясное отношеніе славянофильства къ официальной народности. 283

Глава VI.—Гоголь.—Значеніе Гоголя въ общемъ развитіи литературы.— Вопросъ объ его «направленіи».—«Выбранныя мѣста изъ Переписки съ Друзьями», и возбужденные ими споры.

Мнѣніе новой критики объ отсутствіи противорѣчія этого направленія со всѣмъ прежнимъ образомъ мыслей Гоголя.—Справедливость этого мнѣнія.

Воспитаніе Гоголя и образованіе его взглядовъ. — Его связи съ пушкинскимъ кругомъ, и вліяніе послѣдняго. — Чисто консервативный характеръ мнѣній Гоголя и не-консервативный смыслъ его поэтическихъ произведеній: отсутствіе сознанія объ этомъ у самого Гоголя и его друзей.

Давнишнее единство во взглядахъ Гоголя, въ которыхъ не происходило никакого «перелома». — Усиливающаяся религіозность, самомнѣніе и стремленіе занять роль учителя общества. — Изданіе «Выбранныхъ Мѣстъ»; мнѣнія объ этой книгѣ у друзей Гоголя — Жуковскаго, Плетнева, кн. Вяземскаго. — Переписка Гоголя съ Бѣлинскимъ.

Послѣдніе годы жизни Гоголя.—Усиленіе мистицизма.—Отношенія къ властямъ.—Второй томъ «Мертвыхъ Душъ» 344

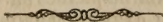
Глава VII.—Бѣлинскій.—Различныя понятія о литературномъ характерѣ Бѣлинскаго.—Московскіе литературные кружки тридцатыхъ годовъ.—Послѣдовательное развитіе мнѣній «западнаго» направленія: исходная точка въ нѣмецкомъ философскомъ идеализмѣ и самостоятельная переработка его; возникновеніе политическихъ мнѣній.—Сороковые года.

Критическая дѣятельность Бѣлинскаго. — Стремленіе къ изученію дѣйствительности; развитіе критики, параллельное съ движеніемъ самой литературы: Гоголь, Лермонтовъ, Кольцовъ; натуральная школа. — Споры съ славянофилами: отношеніе Россіи къ европейской цивилизаціи; народное и общечеловѣческое.

Значеніе Бѣлинскаго въ литературномъ развитіи тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ 421

Глава VIII.—Заключеніе.—Послѣдовательность въ цѣломъ ходѣ литературы описываемаго періода.—Внѣшнее положеніе литературы относительно массы общества: система официальной народности и ея отношенія къ литературѣ. — Усиленіе репрессивныхъ мѣръ съ 1848 года. — Крымская война. — Новый правительственный періодъ и пробужденіе литературы.—Нравственно-общественная заслуга писателей сороковыхъ годовъ.—Ихъ отношеніе къ дальнѣйшему развитію. — Задачи, предстоящія литературѣ. 472—513

Дополненія и поправки 513—514



О нашей литературѣ, въ періодъ времени отъ двадцатыхъ до пятидесятихъ годовъ, было писано и пишется столько, что нѣсколь-
ко трудно, быть можетъ, самонадѣянно, поднимать вновь столь из-
вѣстный предметъ, не рискуя утомить читателя повтореніями.
Намъ казалось однако, что независимо отъ всегдашней истори-
ческой важности предмета, которая вызываетъ новыя повѣрки
мнѣній, въ этомъ предметѣ есть стороны, которыя еще не впло-
нѣ опредѣлились въ общихъ понятіяхъ и слѣдовательно еще нуж-
даются въ разъясненіи. Наша литературная критика была долго
почти исключительно эстетическая. Такова она и должна была
быть, когда шла рѣчь объ опредѣленіи основныхъ литератур-
ныхъ понятій и объ указаніи относительнаго поэтическаго до-
стоинства писателей; съ той же точки зрѣнія она указывала
ихъ историческое значеніе, какъ развитіе художественнаго приема
литературы, ея эстетическое созрѣваніе, ея стремленіе къ само-
бытности въ изображеніи своеобразной народной жизни. Отношеній
литературы къ дѣйствительности эта критика касалась настолько,
сколько это нужно было для пониманія данныхъ произведеній.
Эта точка зрѣнія держалась до послѣдняго времени, за исклю-
ченіемъ весьма немногихъ случаевъ, гдѣ историческій вопросъ
поставленъ былъ шире и многостороннѣе. Но литературное раз-
витіе имѣетъ и другой интересъ: исторія литературы входитъ
въ цѣлую исторію общества, и на литературѣ мы имѣемъ воз-
можность слѣдить возрастаніе общественнаго самосознанія. И безъ
сомнѣнія, эта сторона предмета и имѣетъ наибольшую историче-
скую важность. Въ наше время литература рѣдко поднимается до
высшаго совершенства художественной красоты, гдѣ произведеніе
является широкой объективной картиной человѣческой природы,
или цѣлаго общества; картиной, имѣющей болѣе прочное значеніе,
чѣмъ временный интересъ обыкновенныхъ явленій литературы.
Литература больше связана теперь съ непосредственными явле-

ніями общественной и политической жизни; она подаетъ объ нихъ свой голосъ въ поэтическомъ произведеніи, какъ въ публицистикѣ. Любимой формой изящной литературы сталъ романъ и повѣсть,—вмѣстѣ съ тѣмъ также самая жизнь изображается прямо, внѣ области фантазіи, въ публицистикѣ, которая высказываетъ ея интересы, служить отголоскомъ ея борьбы, и отсюда, въ литературѣ поэтической, элементъ реальный становится еще сильнѣе. Если и чисто художественное, объективное произведеніе должно служить не только идеѣ красоты, но и идеѣ добра и правды, и слѣдовательно быть орудіемъ общественнаго улучшенія, то произведенія менѣе объективныя связываются съ общественной жизнью еще болѣе тѣснымъ образомъ: онѣ, быть можетъ, дѣйствуютъ менѣе возвышенными средствами, но съ большей страстью, съ большей силой убѣжденія и съ болѣшимъ непосредственнымъ вліяніемъ на умы. Общественныя и поэтическія достоинства писателя и произведенія могутъ не всегда совпадать, и легко могутъ имѣть различную цѣну для той исторіи литературы, о какой мы говоримъ,—исторіи съ общественной точки зрѣнія.

Это сопоставленіе литературы съ непосредственной жизнью, собственно говоря, только и можетъ указать дѣйствительное значеніе историческаго прогресса литературы. Нельзя сказать, чтобы до сихъ поръ оно было достаточно ясно. Очевидно, между тѣмъ, что для оцѣнки этого историческаго прогресса надо взять въ расчетъ цѣлыя условія существованія литературы, общественную обстановку, въ которой ей приходилось дѣйствовать, ея дѣйствительный (часто, за полной невозможностью, не высказанный на словахъ) смыслъ. Только опредѣленіе этихъ общихъ условій и указываетъ настоящую жизненную цѣну литературы, указываетъ ея объемъ, возможность и размѣры ея вліянія и т. д. Если литература имѣетъ свою роль въ историческомъ движеніи, какъ одинъ изъ развивающихся элементовъ національной жизни, то понятно, что сила ея вліянія, т.-е. ея историческая цѣнность, опредѣлится всѣми условіями ея существованія: она существуетъ въ данномъ обществѣ, въ данныхъ условіяхъ историческихъ преданій, учреждений, образованія и т. д., и эти условія впередъ указываютъ ей извѣстные предѣлы, налагаютъ на нее извѣстный характеръ. Таланты различной величины могутъ обогащать ее болѣе или менѣе замѣчательными проявленіями поэтическаго дара; но эти таланты дѣйствуютъ въ извѣстной обстановкѣ, которая даетъ направленіе ихъ творчеству, такъ или иначе обуславливаетъ ихъ содержаніе и т. д. Такъ,—если взять одинъ примѣръ вліянія этихъ общихъ условій,—въ послѣднее время и у насъ было не мало говорено о стѣснительномъ дѣйствіи цензуры:

но цензура есть только одно частное проявленіе цѣлаго порядка понятій, который и безъ нея оказывалъ бы стѣсняющее вліяніе на литературу, и при ней также его оказываетъ, какъ извѣстная консервативная кость, слишкомъ большое присутствіе которой въ обществѣ неизбежно суживаетъ границы литературы.

Съ начала нынѣшняго столѣтія въ нашей литературѣ много говорилось о народности, достиженіе которой ставилось цѣлью литературы; въ разное время писатели и критика убѣждались, что народность наконецъ достигнута. Такъ по ихъ мнѣнію достигала ея Жуковский въ нѣкоторыхъ изъ его произведеній на русскіе сюжеты; такъ достигала ея Крыловъ въ своихъ басняхъ; потомъ Пушкинъ, наконецъ Гоголь. Вопросъ шелъ о томъ, что поэтическая литература дѣйствительно выходила, мало-по-малу, изъ своего искусственно-подражательнаго періода: названные писатели дѣлали каждый свои успѣхи въ томъ, чтобы усвоить литературѣ русскія темы и русскія краски, достигнуть самостоятельнаго пониманія... Можно сказать, что съ Пушкинымъ, а особенно съ Гоголемъ эта цѣль была достигнута. Литература стала дѣйствительно народной или національной, потому что она была уже совершенно своеобразна и самобытна въ своихъ пріемахъ, мысли, тонѣ и формѣ. Литературная исторія излагала процессъ этого усовершенствованія.

Но за этимъ оставался другой вопросъ объ отношеніяхъ литературы къ народности — именно о положеніи литературы, какъ средства и выраженія образованности и самосознанія, въ средѣ цѣлой національной жизни. Национальность, взятая въ обширномъ смыслѣ, совмѣщаетъ всѣ тѣ внутреннія и внѣшнія условія существованія литературы, о которыхъ мы выше говорили и которыя существеннымъ образомъ дѣйствуютъ на весь ея характеръ и движеніе. Не трудно видѣть, что національность отражается на произведеніяхъ писателя не только въ смыслѣ извѣстной примѣты, мѣстнаго колорита, фізіономіи, но кладетъ на него и болѣе глубокий отпечатокъ. Соединяя въ себѣ весь характеръ общественной жизни, господствующихъ понятій, уровня образованности, національность прямо и существенно отражается на самомъ *содержаніи* — большей или меньшей степенью самостоятельности и серьезности мысли, не только въ художественной, но и въ научной дѣятельности, — какъ ни странно это сказать.

Въ какомъ же отношеніи стояло развитіе русской литературы къ національнымъ даннымъ русской жизни, если мы понимаемъ литературу, какъ одно изъ средствъ и выраженій умственнаго и общественнаго развитія народа, и національность, какъ совокупность особенностей и историческихъ условій народа: насколько

эти особенности и условія были благопріятны или неблагопріятны для литературы, какой характеръ она получала подъ ихъ вліяніемъ, какъ ставилось при этомъ дѣло національной образованности, какіе были пріобрѣтены результаты?

Возвратимся къ общему понятію о національности и ея отношеніяхъ къ образованію.

Національность, какъ собраніе отличительныхъ особенностей народа въ данное время, состоитъ не въ однихъ внѣшнихъ особенностяхъ, не въ одномъ формальномъ складѣ народнаго ума и народной фантазіи. Ея характеръ въ данный историческій періодъ складывается, между прочимъ, и подъ вліяніемъ того содержанія понятій, количества знаній, какія доставались народу въ его прошедшемъ, а затѣмъ оказываютъ сильное дѣйствіе и на его настоящее. Вліяніе этого условія можетъ быть весьма различно,—и благопріятно, и неблагопріятно. Если знаній было немного, если привычка къ умственному труду была не велика, то и ходъ умственного развитія необходимо замедляется, и оно не можетъ быть самостоятельно, по крайней мѣрѣ вполне самостоятельно. Если свойства народнаго ума, его живость и воспримчивость, могутъ сообщать литературѣ болѣе оживленное движеніе, то съ другой стороны, прошедшій застой и недостатокъ пріобрѣтеній въ прежнее время стѣсняютъ это движеніе запоздалымъ пониманіемъ массъ, которое вообще и бываетъ главнымъ тормазомъ умственного успѣха. Мы очень ясно сознаемъ это, когда сравниваемъ образованность и цивилизацію разныхъ народовъ; мы соглашаемся, что русскій народъ въ этомъ отношеніи чрезвычайно уступаетъ другимъ міровымъ націямъ; но мы все еще рѣдко соглашаемся, что это обстоятельство должно прямо отражаться и на объемѣ понятій, какимъ мы вообще владѣемъ, рѣдко допускаемъ, что одно это обстоятельство должно бы ограничить наше самомнѣніе и самонадѣянность. Запасъ понятій и знаній, принадлежащихъ народу, именно и составляетъ одно изъ важнѣйшихъ обстоятельствъ національной жизни. Было бы большою ошибкой забывать это общее условіе въ изображеніи историческаго хода литературы,—этому условію подчинены самыя высокія созданія національныхъ поэтовъ и писателей, подчинена вообще умственная производительность, и слѣдовательно весь ходъ образованія и національнаго прогресса.

Но если въ исторіи литературнаго развитія (понимаемого какъ выраженіе и средство умственной жизни народа) необходимо принимать въ соображеніе эти условія національности и всей внѣшней обстановки, то не слѣдуетъ думать, чтобы онѣ имѣли значеніе фаталистическое и только подавляющее. Въ

наше время, особенно новѣйшіе славянофилы, опять очень много говорятъ о національности, и именно въ этомъ фаталистическомъ смыслѣ, обращая впрочемъ его неблагопріятную сторону къ гнилому Западу, а благопріятную — къ намъ. Въ характерѣ національности видятъ нѣчто предопредѣленное, разъ данное и неизмѣнное. Такое понятіе о предметѣ предполагала та школа официальной «народности», которая въ тридцатыхъ годахъ совместила характеристику русской жизни и ея принциповъ въ три извѣстные символа. Такое почти понятіе предполагаетъ и школа славянофильская, старая и новая.

Извѣстныя «начала» народности представляются здѣсь какъ что-то приращенное народу при самомъ его происхожденіи; они хранятся неизменно въ теченіе исторической жизни, часто наперекоръ волненіямъ и перемѣнамъ, происходящимъ въ верхнемъ словѣ націи. Защитники теоріи ссылаются на удивительную живучесть народнаго обычая, повѣрья, сказки и т. д., дѣлаютъ наконецъ изъ народности, строяемой на этихъ и подобныхъ основаніяхъ, цѣлая система, которая и выдаютъ за обязательныя. Довольно извѣстно, какъ эти доктрины бывали натянуты и искусственны: это и было понятно, потому что самое основаніе ихъ было очень непрочное.

Въ самомъ дѣлѣ, національность вовсе не неподвижна; напротивъ, какъ стихія историческая, она способна къ видоизмѣненію и усовершенію, и въ этомъ состоитъ возможность и надежда прогресса. Не входя въ вопросъ о физиологическихъ свойствахъ національности, — вопросъ еще слишкомъ мудреный и мало изслѣдованный, — нельзя не видѣть, что умственное содержаніе націи чрезвычайно измѣняется отъ одного періода до другого. Народные принципы переживаютъ всю историческую жизнь народа, которая оставляетъ на нихъ свой глубокий отпечатокъ. Та живучесть, которую въ нихъ указываютъ, въ сущности бываетъ только призрачная. Намъ часто указываютъ тысячелѣтнія народныя преданія, доходящія дѣйствительно до временъ языческаго и патріархальнаго быта; но не слѣдуетъ забывать, что эти преданія на дѣлѣ совершенно потеряли смыслъ, нѣкогда ихъ оживлявшій: народъ вовсе не соединяетъ съ ними *теперь* такого значенія, какое онѣ имѣли для него *прежде*; ихъ прежній смыслъ забыть, и если мы начинаемъ теперь его угадывать, то это благодаря вовсе не народной памяти, а благодаря новѣйшему историческому знанію, послѣ многотрудныхъ изученій, сравненій и т. д. европейской науки, которая начинаетъ уразумѣвать ихъ силой научнаго изслѣдованія, какъ начала понимать египетскіе гіероглифы, остававшіеся въ теченіе тысячелѣтій мертвыми зна-

ками. Не можетъ быть, конечно, и рѣчи о томъ, чтобы этотъ вновь открываемый смыслъ народнаго преданія могъ оживиться для народа,—какъ не можетъ жать еще разъ гіероглифическая мудрость. Единственный и драгоцѣнный плодъ этого открытія, совершенно достойный положенныхъ на него усилій, будетъ обогащеніе и разъясненіе нашего историческаго знанія, а не воскрешеніе мумій:

Спящій въ гробъ мирно спи...

Съ другой стороны, эта живучесть не должна вводить въ заблужденіе о внутренней цѣнности преданія. Преданіе, конечно, носило на себѣ всѣ черты эпохи своего происхожденія: какъ въ религіи и пониманіи природы оно руководилось въ началѣ болѣе или менѣе грубымъ фетишизмомъ и антропоморфизмомъ, такъ и въ нравственно-бытовыхъ представленіяхъ оно исходило изъ инстинктивнаго чувства и рѣшало свои вопросы для тѣсной сферы существовавшихъ отношеній. Какъ странно было бы имѣть иной интересъ, кромѣ историческаго, къ религіознымъ мѣстамъ преданія, такъ странно было бы считать обязательной и археологически отысканную мораль. Доктринеры народности обыкновенно возстаютъ съ негодованіемъ противъ такого заключенія, и ссылаются на «уваженіе» къ народу, на тотъ мнимо-историческій выводъ, что въ народномъ преданіи и заключаются едино-спасающіе принципы, которые мы должны стремиться только уразумѣть и исполнять. Но эти ссылки или непродуманы, или лицемерны. Историческое движеніе народа заключается вовсе не въ одномъ развитіи и усовершенствованіи его исконныхъ представленій, какъ утверждаютъ доктринеры, а также и въ приобрѣтеніи и созданіи понятій, совершенно новыхъ, приходившихъ иногда изъ совсѣмъ чужого источника или подъ чужими вліяніями, и совершенно непохожихъ на прежнія, — какъ христіанство, пришедшее изъ Византіи, не было похоже на старое язычество, какъ удѣльно-вѣчевой бытъ, отразившій въ себѣ варяжскія вліянія, былъ непохожъ на бытъ патріархальный, или какъ вполнѣдствіи московское самодержавіе, образовавшееся подъ вліяніями восточными и византійскими, не было похоже на удѣльно-вѣчевую систему, какъ научныя понятія о природѣ, приобрѣтенныя готовыми съ Запада, были непохожи на средневѣковое суевѣріе. Было бы исторической нецѣлостію утверждать, чтобы все это новое было только «развитіемъ» какого-нибудь основнаго народнаго принципа, или чтобы народный организмъ перерабатывалъ это, оставаясь вѣрнѣе прежнему характеру и прежнимъ основнымъ нравственно-политическимъ идеямъ. Вновь приобрѣ-

таемое часто бываетъ совершенно чуждо народу, и принимая его, народъ, хотя и можетъ иногда нѣсколько видоизмѣнять его, но въ тоже время подчиняется самъ вліянію вновь приобрѣтаемаго; а очень часто это послѣднее бываетъ таково, что не можетъ подлежать никакому видоизмѣненію, и должно быть или прямо принимаемо, или прямо отвергаемо. Таковы въ особенности понятія научныя, какъ, напр., тѣ, которыя ознаменовываютъ новую европейскую образованность и которыя съ Петра Великаго стали наконецъ проникать и къ намъ. Эти научныя истины были таковы, что съ ними для стараго преданія не было возможно никакое примиреніе и ограниченіе: средневѣковыя представленія должны были неизбѣжно уступать; въ теоретическомъ отношеніи здѣсь не могло быть спора, практически новыя понятія навлекаютъ на себя гоненіе отъ приверженцевъ старины, когда обнаружилась ихъ непримиримость со старыми преданіями, и ихъ борьба составляетъ первостепенный интересъ въ національномъ развитіи. Дѣло въ томъ, что эти истины вовсе не были безразличными отвлеченностями; напротивъ, онѣ захватывали самыя коренныя представленія народа, которыя и должны были измѣняться существенно отъ ихъ вліянія. Такъ новыя понятія о природѣ съ перваго раза сокращали средневѣковую область чудеснаго, которая была такъ обширна въ средніе вѣка и оказывала столь сильное дѣйствіе и на самыя нравственныя и общественныя понятія. Эта сила научно-логическаго движенія совершенно независима отъ всякихъ національных обстоятельствъ; эти научныя истины одинаково чужды и безразличны всѣмъ національностямъ, и если народъ принимаетъ ихъ, онъ принимаетъ ихъ какъ новый элементъ, входящій въ его нравственную натуру, какъ образовательную силу величайшей важности... Что касается до уваженія къ народу, оно, конечно, состоитъ не въ лелѣянніи его наивности и его археологическихъ заблужденій: уваженіе къ народу вовсе не требуетъ согласія съ тѣмъ, что можетъ быть ошибочнаго въ его представленіяхъ, не требуетъ согласія съ его заблужденіями, хотя бы общими, но происходящими отъ недостатка образованности; оно состоитъ въ томъ, чтобы желать народу возможно большаго образованія, возможно большей самостоятельности и благосостоянія, чтобы онъ могъ большимъ количествомъ силъ участвовать въ движеніи своей образованности и литературы, въ выгодахъ общественной и политической жизни, которыя оставались до-сихъ-поръ удѣломъ привилегированныхъ, — словомъ, уваженіе къ народу состоитъ въ желаніи ему тѣхъ умственныхъ и матеріальныхъ, общественныхъ благъ, которыя принадлежатъ высшему образованному классу

и которых онъ былъ до-сихъ-поръ лишенъ, и въ стремленіи содѣйствовать, сколько возможно, осуществленію этого желанія. Народъ надо «возлюбить какъ самого себя», и слѣдовательно стремиться дать ему умственный уровень, соотвѣтствующій уровню другихъ слоевъ, а «прочая приложатся»....

Доктринеры народности ошибаются и въ томъ, когда думаютъ, что народъ всегда ревниво и вполне сознательно хранитъ свои преданія, и самъ подтверждаетъ ихъ неприкосновенность. Нѣтъ ничего ошибочнѣе этой мысли. Народъ вовсе не имѣетъ подобныхъ взглядовъ и подобныхъ цѣлей. Преданія хранятся, потому что ничто не приходитъ замѣнять ихъ; народная жизнь, издавна и почти вездѣ до послѣдняго времени, была жизнь «темная», по собственному признанію народа: онъ долго сберегалъ фантастическія представленія язычества, потому что учителя новой религіи слишкомъ плохо ему ее преподавали и не внушали иныхъ возрѣній, которыя притомъ ослаблялись и практикой жизни, сохранившей всю языческую несправедливость и суровость; потомъ, когда мало-по-малу его религіозныя идеи получили болѣе опредѣленный христіанскій характеръ, онъ точно также сберегалъ свои понятія обрядоваго благочестія, для дальнѣйшаго болѣе духовнаго развитія которыхъ онъ не имѣлъ средствъ. Съ этими понятіями большинство остается до сей поры, такъ какъ степень его умственного развитія мало еще отличается отъ его степени въ XVII-мъ столѣтіи. Но что даже этотъ «темный» народъ, если разъ въ немъ возбуждается пылкость, не останавливается передъ обязательностью преданія, — объ этомъ свидѣлствуютъ многія народныя движенія, и напр. расколъ. Явившись первоначально съ характеромъ консервативной оппозиціи противъ предполагаемыхъ нововведеній, расколъ уже вскорѣ самъ идетъ на такія нововведенія, которыя совершенно устраниютъ два основные авторитета старой жизни — авторитетъ церковный и авторитетъ власти. Не забудемъ, что расколъ обнималъ и обнимаетъ цѣлую громадную часть русскаго племени. Такимъ образомъ, въ средѣ самого народа самыя исконныя и самыя существенныя преданія отступали передъ новыми порывами мысли, — справедливыми или ошибочными, это другой вопросъ: во всякомъ случаѣ народъ вовсе не считаетъ себя связаннымъ и даетъ просторъ разъ пробуждающейся мысли. И въ этомъ различіи двухъ, хотя неравныхъ, но огромныхъ частей народа, на чью сторону мы причислимъ истинную послѣдовательность «народнымъ принципамъ»? Здѣсь нѣтъ возможности говорить о какомъ-либо постороннемъ возмущающемъ вліяніи; разладъ совершался въ одномъ и томъ же народномъ слоѣ, жившемъ подѣ

одними внѣшними условіями, безъ всякихъ внѣшнихъ возбужденій, съ однимъ характеромъ образованія и т. д.

Очевидно, что къ той же категоріи должно быть причислено и то новое умственное движеніе, съ Петра Великаго, которое доктринеры обыкновенно обвиняютъ какъ отчужденіе отъ народа и т. п. Это движеніе дѣйствительно отдѣлялось отъ непосредственной традиціи, оно создало или по крайней мѣрѣ начало въ образованномъ классѣ новую цивилизацію, слишкомъ часто шедшую наперекоръ стародавнему обычаю; но странно говорить, что оно «измѣняло» народному пути, что оно дѣлало напрасный поворотъ въ другую сторону. На самомъ дѣлѣ, это движеніе, въ концѣ концовъ, возвращалось къ тому же народному основанію, — послѣ всѣхъ своихъ колебаній и различно направленныхъ усилій, оно стремилось слиться съ дѣломъ самого народа. Были здѣсь, какъ всегда, частныя крайности и преувеличенія, ошибки и несчастія, но въ цѣломъ вся реформа Петра и вся исторія начавшейся съ тѣхъ поръ новой умственной жизни составляютъ глубоко національное дѣло, болѣе національное, чѣмъ тѣ преданія, которымъ противопоставляли ихъ доктринеры. Старыя преданія изжили свой вѣкъ; онѣ уже не въ силахъ были помогать націи и государству въ тѣхъ обстоятельствахъ, въ какія ихъ ставило время, и тѣмъ самымъ ихъ прежняя господствующая роль была кончена, и дано было право новымъ идеямъ. Петръ Великій былъ первый «отрицатель», употребляя нынѣшнее выраженіе, и несмотря на то, или именно за то, онъ представляетъ собой одного изъ величайшихъ «національных» героев Россіи, — потому что онъ отрицалъ отживавшее и искалъ источниковъ новой жизни. Съ него начинается тотъ критическій взглядъ на національную жизнь, который въ многообразныхъ формахъ и школахъ доходитъ до нашего времени, — къ сожалѣнію и теперь еще не получивши себѣ настоящаго права гражданства. Этотъ взглядъ становился постепенно все глубже и серьезнѣе, онъ распространялся на новые предметы, но никогда онъ не былъ никакой «измѣной» національности, какъ теперь часто стали нелѣпо и легкомысленно употреблять это выраженіе о людяхъ, не лѣстившихъ національнымъ предразсудкамъ, слабостямъ и порокамъ. Такими критиками національной жизни были и тѣ люди, стоявшіе во главѣ новѣйшаго литературнаго движенія, о которыхъ мы хотимъ говорить въ настоящихъ статьяхъ. Это были люди весьма несходныхъ мнѣній, люди, часто стоявшіе въ самыхъ враждебныхъ отношеніяхъ, были «славянофилы» и «западники», — но всѣ они, насколько въ нихъ дѣйствовала критическая мысль и

стремленіе къ самосознанію, всѣ они были равно друзьями народа, одинаково служили народному интересу; нелѣпо было бы дѣлить ихъ на партіи «народную» и «не-народную» и ссылаться на ходившія когда-то прозвища литературныхъ школъ. Врагами истинно «народнаго» были люди только одной категоріи—обскуранты, притѣснители критической мысли; хотя они также часто прикрывались «народностью», искусственно натянутой изъ официальной жизни и наивныхъ преданій массы.

Такимъ образомъ, исторія даетъ два многозначительные вывода. Во-первыхъ, что національность, сохраняя свою особность, была весьма различна въ разные историческіе періоды, воспринимая вліянія извнѣ и, часто съ большой ихъ помощью, и даже только благодаря ей, развиваясь внутри. Во-вторыхъ, что сама народная жизнь представляетъ примѣры критическаго отношенія народа къ условіямъ его жизни и къ нравственно-политическимъ началамъ, выработаннымъ стариной и сохраняемымъ въ преданіи.

Въ чемъ же состояло развитіе нашего національнаго ума? Со временъ Петра Великаго русская жизнь становится лицомъ къ лицу съ тѣми успѣхами цивилизаціи и научнаго мышленія, какіе были пріобрѣтены европейскимъ міромъ въ періодъ среднихъ вѣковъ, когда Россія была занята борьбой съ азіатскими варварами, усвоеніемъ немногихъ плодовъ византійскаго образованія и основаніемъ государства. Начался періодъ умственныхъ заимствованій. Доктринеры народности не могутъ доселѣ простить Петру Великому его смѣлаго шага въ этомъ направленіи, и все еще винятъ его въ разныхъ ошибкахъ. Періодъ заимствованій, «петербургскій періодъ», все еще кажется имъ временемъ какого-то плѣненія вавилонскаго; на него взваливали они все, что было тяжелаго въ реформѣ и ея послѣдствіяхъ, и не умѣя цѣнить ея исторической неизбѣжности и необходимости, въ то же время несправедливо приписывали ей многія суровыя стороны XVIII-го вѣка, которыя были просто прямымъ наслѣдіемъ XVII-го русскаго столѣтія, — какъ, напр., въ особенности такимъ прямымъ наслѣдіемъ русской старины былъ неограниченный абсолютизмъ Петра, а затѣмъ и его преемниковъ.

Но, собственно говоря, этотъ періодъ зависимости и подражанія вовсе не составляетъ чего-нибудь особеннаго въ исторіи и такого, чѣмъ мы могли бы огорчаться. Это одно изъ множества явленій, повторяющихся въ исторіи цивилизаціи. Съ тѣхъ поръ, какъ завязалось зерно европейской цивилизаціи, — неоспоримо идущей ко всемірному господству и дѣлающей те-

перъ въ этомъ отношеніи огромныя завоеванія, — ея исторія представляетъ много примѣровъ, совершенно аналогичныхъ. Ея распространеніе не было равномѣрно; центръ тяжести ея лежалъ въ различныхъ націяхъ, къ которымъ тогда и тяготѣли другіе народы, хотѣвшіе ее усвоить. Въ древнемъ мірѣ этимъ центромъ ея была Греція, сильному вліянію которой подчинился покорившій ее Римъ; въ свою очередь Римъ въ средніе вѣка сталъ такимъ центромъ для западной Европы, которая отдала въ его руки величайшій нравственный и политическій авторитетъ; подобнымъ центромъ стала вновь Италія въ эпоху возрожденія; раздвоеніе западнаго міра въ періодъ реформаціи создало нѣсколько отдѣльныхъ центровъ; въ XVIII-мъ столѣтіи господствуетъ французская образованность и т. д. Въ цѣломъ, европейская цивилизація была результатомъ общаго труда европейскихъ народовъ, такъ что трудно сказать, кому принадлежала бѣльшая доля труда и заслуги—итальянцамъ, французамъ, нѣмцамъ или англичанамъ; но каждая изъ главныхъ европейскихъ націй въ различные моменты и въ различныхъ отношеніяхъ занимала передовое мѣсто, и всѣ болѣе или менѣе подчинялись чужимъ вліяніямъ, когда нужно было усвоить пріобрѣтенія, сдѣланныя другими...

Не иная была и роль Россіи. Когда она, вышедши изъ національной исключительности, вступила на свою новую и неизбежную дорогу, ей не оставалось ничего другого, какъ усвоить себѣ сколько возможно тѣ вещи, въ которыхъ Европа неоспоримо ее опередила. Оставаться въ прежней замкнутости было невозможно: покинуть ее принуждали Россію и собственные инстинкты цивилизаціи, и необходимость, потому что сосѣдство съ сильными цивилизованными странами грозило бы самой серьезной опасностью для страны менѣе цивилизованной. Съ Петра Великаго и до сихъ поръ не прерывается рядъ заимствованій и подражаній; новыя знанія, теоретическія и практическія, новые нравы внесли и вносятъ въ русскую жизнь элементы, которые должны неизбѣжно или разлагать старую жизнь, или возвышать ее до новаго, европейскаго уровня. Заимствованія, какъ мы сказали, не прерываются съ Петра и до нашего времени. У насъ неоднократно распространялись мнѣнія, еще въ XVIII-мъ вѣкѣ, потомъ въ двадцатыхъ, тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, наконецъ въ наши послѣдніе годы, что пора заимствованій уже кончилась, что мы пріобрѣли самостоятельность, что намъ теперь постыдно подражать и заимствовать, надо имѣть свою русскую науку и т. п. Не нужно много говорить о томъ, какое заключается въ этомъ самообольщеніе. Достаточно и теперь ос-

мотрѣться кругомъ себя, чтобы видѣть, какъ, наперекоръ ребяческому самохвалству, въ нашей жизни еще мало этой самостоятельности: мы заимствуемся отъ Европы учрежденіями (и хорошими, и плохими); изъ нашихъ ученыхъ, люди, сколько-нибудь серьезные, доканчивали свои занятія за границей; оттуда мы беремъ и способы вооруженія и образчики учреждений противъ печати; прусскій примѣръ вводитъ къ намъ гороховую колбасу, — и въ томъ же прусскомъ или англійскомъ примѣрѣ находятся для нашего общества наиболѣе убѣдительные аргументы за или противъ классическаго образованія; русская промышленность даже не посягаетъ на многія отрасли, повидимому совершенно для нея возможныя, — но закрытыя для нея превосходствомъ европейской промышленности и собственной неумѣлостью; въ торговлѣ мы до сихъ поръ составляемъ предметъ эксплуатаціи; — объ литературѣ мы будемъ говорить дальше.

Словомъ, фактъ зависимости не можетъ подлежать сомнѣнію ни для одного безпристрастнаго человѣка. Но заимствованія и усвоеніе европейскаго содержанія и собственныя стремленія литературы къ ея идеальнымъ и научнымъ цѣлямъ не могли идти безъ борьбы. Въ русской жизни началась сложная работа, потому что новые элементы не могли вдругъ получить мѣста въ русскомъ быту и понятіяхъ. Въ самомъ началѣ реформа встрѣтила сопротивленіе въ народныхъ массахъ. Это сопротивленіе имѣло, главнымъ образомъ, двоякій смыслъ, — съ одной стороны оно вызывалось излишнею жестокостію и крайностями, съ какими Петръ совершалъ свои нововведенія, и въ этомъ случаѣ былъ правъ народъ; съ другой стороны, сопротивленіе шло противъ самой сущности нововведеній, это было просто сопротивленіе невѣжества, и здѣсь былъ правъ Петръ. Это сопротивленіе темной массы, сопротивленіе пассивное, до сихъ поръ осталось печальнымъ спутникомъ нашего образованія, — и мы увидимъ, какъ впослѣдствіи доктринеры народности сдѣлали это явленіе еще болѣе печальнымъ: они думали найти здѣсь новый аргументъ противъ европеизма, и втягивали народъ въ союзники своихъ теорій, воспитывавшихъ вредное самообольщеніе и приходившихъ къ прямому обскурантизму.

Къ сожалѣнію, вражда и недовѣріе народа къ новому образованію были весьма естественны. Образованіе (которое Петру приходилось навязывать насильно даже въ высшемъ сословіи) надолго, почти до послѣдняго времени, осталось исключительной принадлежностью дворянства и вообще верхняго слоя (духовенство имѣло свое особое образованіе, уходившее очень недалеко); народъ не находилъ въ немъ ничего для себя или, напротивъ,

видѣлъ въ немъ только новыя бѣды: крѣпостное и чиновническое угнетеніе отъ «образованныхъ» людей приходилось еще тяжелее. Въ прежнемъ быту еще возможна была извѣстная простота патриархальныхъ нравовъ и привычекъ, которая дѣлала его болѣе сноснымъ; теперь помѣщики и чиновничество, хотя и полуобразованные, несравненно больше отдѣлились отъ народа; по нравамъ и понятіямъ они стали ему чужими, и гнетъ ихъ сталъ невыносимъ. Для самой народной массы образованіе было почти недоступно: въ теченіе цѣлаго XVIII-го вѣка, и до самаго уничтоженія крѣпостного права, образованіе было юридически невозможно для всего крѣпостного населенія; вслѣдствіе указанной антипатіи къ образованію, а также и вслѣдствіе недостатка школъ и бѣдности, оно невозможно было и для некрѣпостного низшаго слоя. Понятно, что все это должно было страшно замедлять дѣло образованія: оно ограничивалось немногочисленнымъ высшимъ сословіемъ; у него отнималось множество силъ, какія могли бы быть доставлены всей націей,—и примѣръ Ломоносова показываетъ, какого размѣра могли бывать эти силы; наконецъ, оно затруднялось до трудно измѣримой степени той отрицательной силой, какую представляло невѣжество массы,—потому что это невѣжество составляло цѣлую стихію, которая всегда должна была поддерживать всякія реакціи обскурантизма, безпрестанно происходившія въ высшихъ сферахъ.

Эти реакціи были дѣйствительно безпрестанны и также естественны. При Петрѣ реформа и забота объ образованіи были дѣломъ правительственнымъ, и правительство не думало опасаться, чтобы образованіе могло повести къ какимъ-нибудь неудобствамъ: мысль еще не была возбуждена, и самое образованіе, распространяемое правительствомъ и служившее только чисто государственнымъ нуждамъ, имѣло слишкомъ тѣсный практическій характеръ. Но уже вскорѣ являются съ одной стороны нѣкоторые признаки самостоятельнаго движенія въ обществѣ; съ другой, рядомъ, являются со стороны правительства опасенія вольнодумства. Еще при Петрѣ совершилось нѣсколько исторій подобнаго рода и начиналось преслѣдованіе вольнодумства въ религіозныхъ предметахъ. Впослѣдствіи, правительство, при пособіи духовенства, обращаетъ все больше и больше вниманія на то, чтобы не проникали вредныя умствованія, въ числѣ которыхъ считалась между прочимъ и Коперникова система. Однимъ словомъ, первые признаки самостоятельной мысли, или первыя нѣсколько серьезныя заимствованія изъ иностранной литературы были встрѣчены недоувѣріемъ, запрещеніемъ и преслѣдованіемъ. Дѣло образованія затруднилось новымъ препятствіемъ—

со стороны правительства. Последнее желало образованія только до извѣстной степени, только для непосредственныхъ практически полезныхъ примѣненій; всякая мысль, которая расходилась съ принятыми правительственными и церковными взглядами, считалась «развратомъ», какъ считался таковымъ и домашній расколъ. Правительство не задумывалось о томъ, отчего могли являться эти мысли, не считало возможнымъ, чтобы въ нихъ могла иной разъ быть и правда; — оно безъ разсужденій ихъ преслѣдовало. Оно не допускало, и вѣроятно не понимало мысли, что наукѣ нуженъ свой просторъ, что она можетъ быть дѣйствительно производительной силой только при условіи извѣстной свободы; въ правительствѣ, напротивъ, мало-по-малу составлялось и наконецъ, къ нынѣшнему столѣтію (и здѣсь также не безъ европейскихъ указаній изъ извѣстнаго источника) крѣпко утвердилось понятіе, что науки бываютъ хорошія и дурныя, полезныя и вредныя, что первыя похвальны, а вторыя достойны истребленія и т. д. Бывали періоды, когда опасеніе и недоувѣріе къ наукамъ повидимому проходило, какъ, напр.; въ началѣ царствованія Екатерины, въ началѣ царствованія Александра, но затѣмъ опасеніе возрождалось опять, и къ тому періоду, о которомъ мы будемъ говорить, предубѣжденіе противъ науки созрѣло вполне и организовалось въ крайне подозрительную цензуру и въ преслѣдованіе всякихъ вольныхъ мыслей...

Это явленіе, какъ мы сказали, не удивительно. Настоящая наука, съ неизбѣжно для нея необходимой свободой мысли, не существовала у насъ никогда. Реформа вводила къ намъ только прикладную науку, тѣ приложенія ея, которыя сочтены были необходимыми для матеріальной пользы государства, понимаемой односторонне. Между тѣмъ знакомство русскихъ образованныхъ людей съ западной литературой не могло не познакомить ихъ и съ дѣйствительно свободной наукой; въ русской литературѣ и въ обиходѣ понятій стали появляться мнѣнія, выходившія изъ свободной европейской мысли и совершенно не подходившія къ господствующему режиму. Этотъ режимъ не допускалъ ни малѣйшаго признака свободнаго разсужденія; онъ не имѣлъ для этого достаточной образованности, которая одна могла бы показать всю невинность просыпающейся наклонности къ серьезной мысли, и одна могла бы внушить вниманіе къ ея начинающимся попыткамъ. Но въ нашемъ XVIII-мъ вѣкѣ и послѣ не нашлось ни Иосифа, ни Фридриха; потому что имп. Екатерина, которая сначала пошла-было по этому пути, уже скоро оставила его и возвратилась къ системѣ временъ Анны и Елизаветы. Французская революція послужила еще къ большому убѣжденію въ

необходимости строгого надзора; наши высшія сферы раздѣляли страхъ эмигрантовъ и ихъ ненависть къ новымъ идеямъ: никто конечно не бралъ на себя труда разграничить увлеченія и крайности отъ спокойнаго свободнаго изслѣдованія; всякая нѣсколько смѣлая и необычная мысль была сочтена за революціонное ученіе, и опасность революціи стали находить даже у насъ — въ обществѣ полу-младенческомъ. Это было съ одной стороны предчувствіе, что въ обществѣ зарождается какое-то новое движеніе, которое не хочетъ довольствоваться предписанными рамками и ищетъ себѣ простора: по мнѣнію власти, авторитетъ ея оскорблялся этимъ притязаніемъ на независимость, и она съ негодованіемъ отвергала его. Съ другой стороны это былъ страхъ: наши перевороты XVIII-го столѣтія долго питали страхъ тайныхъ интригъ и заговоровъ, а французская революція перемѣстила этотъ страхъ и заставила бояться движеній самого общества. Во время Пугачевского бунта высказалось — очень скрытно — подозрѣніе придворной интриги; въ Радищевѣ и Новиковѣ увидѣли «французскую заразу». Впослѣдствіи всякій необычный либерализмъ, въ литературѣ и въ наукѣ, ставился въ непосредственную связь съ революціею... Это предубѣжденіе противъ науки и какой-нибудь свободы мысли и слова, питали не только высшія сферы; громадное большинство слегка образованныхъ людей также было убѣждено въ истинѣ этого мнѣнія: для понятій патріархальныхъ въ самомъ дѣлѣ немислимо никакое сомнѣніе и никакая критика. Наконецъ, это предубѣжденіе питалось еще мыслью, что такое воззрѣніе согласно съ «духомъ народа»: въ простодушномъ невѣжествѣ народной массы увидѣли подтвержденіе своихъ опасеній противъ науки, и свобода мысли сочтена была за нарушеніе національной святыни.

Такое воззрѣніе развилось вполне въ десятихъ и двадцатыхъ годахъ, когда были особенно сильны опасенія противъ либерализма и когда организовывалась цензурная практика. Оно удержалось и послѣ, можно сказать почти до сихъ поръ. Не трудно себѣ представить, каково было его дѣйствіе на ходъ образованія. Господство этого воззрѣнія, конечно, чрезвычайно задержало успѣхи нашего умственного развитія, во всѣхъ его видахъ и отрасляхъ. Если мы до сихъ поръ мало можемъ похвалиться нашимъ участіемъ въ европейской литературѣ и наукѣ, если нашей умственной силы едва хватаетъ для умѣреннаго домашняго обихода, если въ нашей литературѣ и наукѣ поражаетъ страшное количество посредственности, если даже сильные умы и сильные таланты достигаютъ у насъ относительно немногаго, и рѣдко достигаютъ такъ-называемаго общечеловѣческаго интереса и значе-

нія,—въ этомъ конечно не малую долю имѣло тягостное стѣсненіе и отвлеченной научной мысли и художественнаго творчества. Нигдѣ, правда, свобода мысли не получалась даромъ; вездѣ она была достигаема тяжкими усиліями, борьбой съ предрасудками и суевѣріемъ, и стоила жертвъ, но нельзя не сказать и того, что въ нашихъ условіяхъ самое возникновеніе мысли было обставлено чрезвычайными трудностями, что эта мысль не находила опоры въ нравахъ, была дѣломъ ничтожнаго меньшинства; литературѣ и наукѣ нужно было пробиваться черезъ толстую кору предрасудковъ и невѣжества, защищенныхъ всѣмъ авторитетомъ традицій, нравовъ и учреждений. Понятно, что эти усилія слишкомъ часто должны были оставаться безплодными, что отъ свободной мысли оставались цѣлы только отдѣльные обрывки, недосказанные и случайно проникавшіе въ умы и въ печать,—а затѣмъ, изъ этихъ обрывковъ, въ грамотной массѣ распложились непривычка къ послѣдовательной мысли, недодуманные выводы, сбитые въ сторону аргументы, всѣ эти признаки полуобразованности, которыми издавна такъ богато наше общество. Наглядныя доказательства всему этому можетъ нѣкогда доставить правдивая исторія нашей цензуры за описываемое время; но и безъ того это видно по всему характеру литературы. Даже лучшіе писатели видѣли опасность въ свободѣ литературнаго слова: объ этомъ свидѣлствуютъ, напр., статьи Пушкина о цензурѣ, о Радищевѣ, басня Крылова о сочинителѣ и разбойникѣ; школа Пушкина не понимала и считала вредной критику Бѣлинскаго и т. д.

Въ такихъ условіяхъ русская литература вступала въ тотъ періодъ, о которомъ мы намѣрены говорить; въ тѣхъ же условіяхъ она проходила и этотъ періодъ. Общій характеръ развитія литературы остается прежнимъ, но движеніе распространяется шире въ обществѣ, становится серьезнѣе по содержанію; вмѣстѣ съ тѣмъ усиливается и сопротивленіе преданій и реакціи. Относительно теоретическаго содержанія, литературѣ предстояло продолжать ту же вѣковую задачу — усвоеніе результатовъ и пріемовъ европейской науки; въ дѣятельности поэтической — развитіе художественнаго творчества подъ вліяніями европейской мысли и поэзіи, и въ обоихъ отношеніяхъ стремленіе къ самостоятельности. Исполняя эту задачу, литература опять должна была бороться съ тѣми же препятствіями,—съ предубѣжденіями власти, съ равнодушіемъ и полуобразованностью общества, съ официально обязательными преданіями.

Что движеніе нашей литературы и общественныхъ понятій дѣйствительно совершалось въ этомъ направленіи, въ этомъ нетрудно убѣдиться при нѣсколько внимательномъ взглядѣ на тѣ

историческія видоизмѣненія, какія она проходила. Въ томъ, сначала очень небольшомъ, потомъ нѣсколько болѣе обширномъ кругѣ, въ которомъ существовало у насъ извѣстное образованіе, наука и литература шли шагъ за шагомъ по слѣдамъ европейскаго движенія. Начиная съ Петра, когда у насъ «насаждены были науки» и когда рядомъ съ этимъ появилось у насъ первое протестантское вольнодумство, русская образованность постепенно воспринимала множество различныхъ вліяній, исходившихъ отъ современнаго европейскаго движенія. Такъ въ теченіе прошлаго столѣтія являлась у насъ вольфіанская философія, масонство, французская философія и вольнодумство, реакція мечтательности и сантиментальности; такъ теперь открываются романтическія вліянія, въ ихъ разныхъ видахъ, отъ чистаго мистицизма до скептической разочарованности; въ связи съ романтизмомъ, у насъ, какъ въ Европѣ, начинается съ одной стороны либеральное движеніе, проявившееся въ тайныхъ обществахъ, и съ другой правительственная реакція; въ такой же связи съ романтизмомъ развивается изученіе «народной» старины и поэзіи, археологія и ученія о «народности»; затѣмъ шеллингова философія и гегельянство въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, наконецъ, фурьеризмъ и сень-симонизмъ... Достаточно пересчитать всѣ эти направленія, чтобы видѣть, какъ тѣсно умственные интересы нашего образованнаго общества примыкали къ тому, что дѣлалось въ Европѣ. Мы увидимъ, что тѣже вліянія присутствовали и въ той самой школѣ, которая выставила своимъ знаменемъ вражду къ Европѣ и русскую исключительную народность, — въ славянофильствѣ. Когда наконецъ приобрѣтена была, лучшими умами сороковыхъ годовъ, извѣстная самостоятельность литературныхъ и общественныхъ идей, богатство европейской науки оставалось и остается для насъ указателемъ и источникомъ знанія, котораго у насъ все еще слишкомъ мало.

Итакъ, европейскія вліянія представляютъ въ нашей литературѣ явленіе постоянное. Мы указывали выше его необходимость, и теперь она оставалась таже: нація не могла приобрѣсти умственной и нравственно-общественной самостоятельности, не усвоивъ себѣ того матеріала знанія, какой былъ выработанъ и приобрѣтенъ раньше народами передовыми, и не могла тѣмъ болѣе, что общество, не говоря о народѣ, было совершенно лишено политической жизни, которая бываетъ сильнымъ образующимъ средствомъ; — самая мысль о необходимости этой политической жизни должна была приходить, въ образованномъ классѣ, путемъ изученія и вліяніемъ примѣровъ. Мы упоминали также, какъ поэтому несправедливы или лучше неточны были обви-

ненія въ пустой подражательности, исходившія и отъ иностранцевъ, и отъ домашнихъ критиковъ, особенно отъ доктринеровъ, народности: основаніе этой подражательности и заимствованій было совершенно разумное, а недостатки и крайности его были слѣдствіемъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ, вообще окружавшихъ умственную жизнь общества... Полнымъ оправданіемъ этой «подражательности» является то, что европейскія вліянія, при всемъ указанномъ выше стѣсненіи ихъ, становились существенной опорой историческаго развитія. Заимствование и подражаніе конечно не имѣли достоинства вполне самостоятельнаго труда, но они имѣли большое исторически-воспитательное значеніе. При томъ крайне стѣсненномъ положеніи, въ какое поставлена была литература и наука въ русской жизни, самое усвоеніе европейскихъ идей становилось болѣе труднымъ, чѣмъ можно было бы думать; эти идеи усваивались даже образованнымъ большинствомъ довольно туго, но отдѣльныя личности овладѣвали ими съ достаточной полнотой, и примѣняя ихъ, болѣе или менѣе самостоятельно, къ русскому содержанію, успѣвали дать имъ извѣстное распространеніе. Трудъ подобнаго изученія пріобрѣталъ историческую цѣнность: если онъ и не давалъ большихъ самостоятельныхъ результатовъ, то онъ устранялъ прежнія точки зрѣнія и поднималъ умственный уровень. Съ каждымъ направленіемъ, которое было пережито такимъ образомъ, наше умственное развитіе проходило историческій пунктъ, который былъ уже пройденъ въ европейскомъ развитіи, но еще не былъ извѣстенъ намъ. Многое въ этихъ направленіяхъ могло быть чуждо для насъ, но въ цѣломъ они имѣли взаимную логическую связь, и мы слѣдили въ нихъ за движеніями европейской мысли: это одно давало возможность стать когда-нибудь на ея высотѣ.

Усвоеніе результатовъ европейскаго знанія составляло одну сторону задачи; другая сторона состояла въ томъ, чтобы распространять пріобрѣтенное въ собственной средѣ: еще немыслимо было стараться о возвышеніи понятій въ цѣлой народной массѣ, потому что крѣпостныя условія дѣлали здѣсь образованіе совершенно невозможнымъ; надо было по крайней мѣрѣ поддержать усилить дѣло образованія въ томъ слѣдѣ, гдѣ оно было возможно.

Нѣтъ сомнѣнія, что трудъ литературы, дѣйствовавшей въ этомъ смыслѣ, былъ бы гораздо значительнѣе, чѣмъ онъ былъ на дѣлѣ, еслибы дѣятельность ея имѣла полную свободу. Къ сожалѣнію, этой свободы не было; даже тѣ немногія наличныя силы, какія представлялъ наиболѣе развитый, научный и литературный классъ, едва могли дѣйствовать среди тѣхъ трудностей, какими окружено было дѣло образованія. Еще при Але-

Александръ правительство открыто вступило на реакціонную дорогу; событія конца 1825-го года надолго утвердили это направление, и послѣ 1848-го года оно дошло до высшей степени нетерпимости. Господство строгой опеки, безъ сомнѣнія, отзывалось самымъ тяжелымъ образомъ на литературѣ и наукѣ, которыя конечно не представляли никакой опасности и только къ концу этого періода приобретаютъ самостоятельныя силы въ небольшомъ кругѣ избранныхъ умовъ; неудобства опеки усиливались невѣжествомъ большинства исполнителей, для которыхъ умственные интересы общества казались забавой, или пустою, или опасной; полубразованное большинство думало почти также; народъ и вовсе не подозрѣвалъ существованія литературы.

Содержаніе, которое предстояло усвоивать, распространять и разрабатывать литературѣ, опредѣлялось содержаніемъ европейской образованности. Вообще, это были, во-первыхъ, общіе результаты науки по разнымъ отраслямъ знанія, и затѣмъ примѣненіе ихъ къ дѣйствительной жизни и къ нравственно-общественному вопросу; идеальную цѣль литературы составляло достиженіе и распространеніе понятій объ истинныхъ требованіяхъ народнаго блага и истинномъ смыслѣ образованія, необходимость свободнаго критическаго изслѣдованія своей національной жизни, необходимость отрицанія тѣхъ ея сторонъ, которыя не отвѣчали истинному народному благу, и стремленіе внушить разумное чувство человѣческаго и національнаго достоинства. Европейская жизнь переживала въ то время трудный кризисъ. Броженіе, произведенное французской революціей, перешло въ реакцію, которая всѣми средствами старалась возстановить прежній порядокъ вещей и въ политикѣ, и во всѣхъ мнѣніяхъ общества. Но переворотъ былъ слишкомъ силенъ, чтобы можно было устранить его результаты: много старыхъ преданій безвозвратно потеряли свой кредитъ, и сами учителя новѣйшаго консерватизма употребляли то оружіе, ту критику, какими пользовалось скептическое отрицаніе. У самыхъ рьяныхъ реакціонеровъ и обскурантовъ слышались революціонные аргументы и требованія: таковы были, напр., де-Местръ или Галлеръ. Трудно было русскому обществу остаться въ сторонѣ отъ той борьбы, которая шла въ европейской жизни и стремилась выработать новые принципы общественные, политическіе и нравственные. Россія слишкомъ тѣсно связала себя съ европейскими интересами: и дружескія, и враждебныя отношенія Россіи къ европейскому міру одинаково вовлекали ее въ упомянутую борьбу, гдѣ надо было стать на ту или на другую сторону. Событія второго десятилѣтія возбудили и у насъ общественное движеніе, которое еще болѣе сдѣлало

европейскіе интересы близкими для образованныхъ людей нашего общества. Энтузіазмъ молодыхъ поколѣній Европы къ философскому и политическому освобожденію отразился и у насъ возбужденіемъ двадцатыхъ годовъ. Новые идеалы, выставленные европейскою мыслью и поэзіей, приобрѣли для нашихъ поколѣній тѣмъ большую привлекательность, что собственная жизнь представляла слишкомъ скудную пищу. Подъ вліяніемъ этихъ идеаловъ стали складываться самостоятельныя стремленія въ наукѣ и литературѣ, направляемыя и питаемыя самой русской жизнью.

Въ десятилѣтія, объ исторіи которыхъ мы хотимъ говорить, является въ нашей общественной жизни новый лозунгъ, который вскорѣ послѣ своего появленія становится всеобщимъ. Это была народность — стремленіе, отчасти навѣянное западными движеніями, отчасти самостоятельное и только параллельное имъ. Въ западной Европѣ періодъ послѣ Наполеоновскихъ войнъ отмѣченъ всеобщимъ стремленіемъ къ національности; пробужденное ненавистью къ иноземному Наполеоновскому игу, это чувство національности было вмѣстѣ и первымъ признакомъ зрѣлости самосознанія въ народѣ. Оно выразилось и въ литературѣ стремленіемъ къ изученію народа, его быта и старины, и черезъ это стоитъ въ связи съ романтизмомъ. По основной своей идеѣ, это движеніе имѣло глубокой демократическій смыслъ, потому что, въ сущности, литературный интересъ къ народу былъ только признакомъ приближающейся общественной его роли, — въ самомъ дѣлѣ, литературное движеніе въ смыслѣ народности направляло вниманіе общества и на дѣйствительный народъ, и разъясняло великое значеніе народной стихіи; но романтизмъ, въ своемъ реакціонномъ толкованіи, давалъ и этому движенію консервативный поворотъ. У насъ это движеніе было возбуждено тѣми же событіями, усилилось подъ вліяніемъ европейской литературы и, понятое одними консервативно, другими прогрессивно, стало надолго и у насъ съ одной стороны центромъ умственного и литературнаго развитія, и съ другой центромъ консервативной опеки. О народности говорилось въ документахъ, исходившихъ изъ правительственныхъ сферъ, объ ней говорили самыя различныя партіи въ литературѣ. Но сходство лозунга вовсе не означало сходства понятій, которые съ нимъ соединялись. Во-первыхъ, подъ народностью понимали официальный *status quo*, который и хотѣли сдѣлать единственной существующей и допускаемой формой національной жизни; эта форма была подробно опредѣлена, и внѣ ея не допускались никакія помышленія и никакія иныя проявленія общественной жизни. Такое представленіе господство-

вало вообще въ официальномъ мірѣ и принималось на вѣру въ огромномъ большинствѣ общества. Но въ болѣе образованномъ меньшинствѣ составились другія мнѣнія, которыя можно свести къ двумъ главнымъ категоріямъ. Одни также привязаны были къ status quo, но съ иной стороны: они идеализировали народъ, представляли его жизнь какъ хранилище возвышенныхъ принциповъ, которые еще должны быть раскрыты и примѣнены къ жизни: развитіе должно было заключаться только въ изученіи этого хранилища, въ открытіи его идеи и распространеніи ея на всю національную жизнь, которая была будто бы нарушена и испорчена реформой. Другіе думали, что народность въ этомъ смыслѣ, т.-е. какъ совокупность народныхъ понятій, существующихъ въ настоящую минуту, во-первыхъ, быть можетъ имѣетъ не совсѣмъ тотъ характеръ и содержаніе, какое ему обыкновенно приписывались, а во-вторыхъ, что она вовсе не составляетъ такого неприкосновеннаго и всеобъемлющаго кодекса, который бы одинъ разъ навсегда опредѣлялъ дальнѣйшій ходъ развитія, что, напротивъ, ей предстоитъ самой развиваться и совершенствоваться до усвоенія общечеловѣческаго содержанія, которое одно можетъ довершить ея достоинство и историческое значеніе.

Такимъ образомъ, сама народность была спорнымъ вопросомъ. Одни считали ее окончательно извѣстною, достигнутою и осуществленною; другіе, совершенно различными путями, стремились къ ея открытію и разъясненію. Для всѣхъ народность означала самостоятельность, которую всѣ понимали различно. Одна изъ этихъ точекъ зрѣнія была официальная, и въ этомъ смыслѣ неприкосновенная; но и она, сколько возможно, введена была въ теоретическую критику, и рѣзкій споръ между различными тенденціями показывалъ, что искомое еще не найдено. Оно едва ли найдено и до сихъ поръ....

Къ этимъ вопросамъ сводится смыслъ движенія съ двадцатыхъ годовъ и донынѣ, потому что и до сихъ поръ въ той части нашей литературы, которая всего больше отвѣчаетъ вкусамъ полубразованнаго большинства, все еще идутъ толки о «народности», изъ которой, къ сожалѣнію, всего чаще и дѣлается знамя для всякаго національнаго самохвальства и самодурства.

Въ частности, характеръ движенія сильно измѣнился съ двадцатыхъ годовъ. Политическое возбужденіе, проявлявшееся въ общественной жизни въ первой половинѣ двадцатыхъ годовъ, послѣ катастрофы 1825-го года прекратилось, потому что всѣ главнѣйшіе руководители и участники политическаго движенія стали жертвами катастрофы. Но когда двѣ крайности встрѣти-

лись, жизнь тѣмъ не менѣе продолжала свое дѣло; она обошла это столкновение, и затѣмъ развитіе шло въ томъ же общемъ направленіи. Всѣ практическія попытки дѣйствовать на общество и осуществлять свои теоріи были покинуты, за ихъ полной невозможностью; но теоретически, общественное самосознаніе продолжало усиливаться. Несмотря на отсутствіе прямого политическаго интереса, литература стала въ цѣломъ гораздо серьезнѣе; она, хотя и не съ тѣхъ сторонъ, какъ прежде, но гораздо ближе подходила къ тому же общественному вопросу, который занималъ людей двадцатыхъ годовъ.... Число людей, принимавшихъ къ сердцу общественные интересы, хотя все еще было весьма незначительно, но все-таки сильно увеличилось противъ прежняго.

Въ нашей литературѣ не разъ высказывалось большое скептическое недовѣріе къ такъ-называемому нашему прогрессу, который иногда преувеличивали у насъ выше всякой мѣры и который, однако, не достигалъ на дѣлѣ многихъ вещей, даже совершенно элементарныхъ въ литературѣ и общественномъ развитіи. Въ настоящія минуты, когда много ожиданій и надеждъ обманулись, и новыя пока трудно имѣть, этотъ скептицизмъ находитъ себѣ еще больше пищи: дѣйствительно, трудно не поддаться ему, когда оказывается безпрестанно, что преобразовательная идея не укладывается въ русской жизни, что изъ-за вещей, которыя обѣщали внести въ нее новыя живительные элементы, сквозить ограниченность и наглая грубость старыхъ нравовъ, когда при всемъ этомъ, очень мало и плохо думающее большинство и его многочисленные теперь органы въ литературѣ отличаются только хвастливой самонадѣянностью или просто желаютъ крѣпче затянуть узлы стараго общественного порядка. Этотъ скептицизмъ, слѣдовательно, имѣетъ свои основанія: онъ очень зорко видитъ мрачныя стороны въ положеніи вещей, и не мы будемъ его въ этомъ оспаривать. Но мы думаемъ, что было бы ошибкой распространять этотъ скептицизмъ на цѣлое историческое движеніе общества. Наша исторія дѣйствительно не богата личностями, которыя бы энергически вели дѣло общественнаго развитія, указывали ему путь, завоевывали ему право и средства, — но и въ тѣ десятилѣтія, о которыхъ мы говоримъ, не было недостатка въ талантливыхъ людяхъ, которые хорошо понимали настоящее, видѣли его недостатки и протестовали противъ нихъ, сколько могли, и притомъ съ немалой опасностью для себя. Для тѣхъ, кто захотѣлъ бы слишкомъ легко смотрѣть на ходъ нашего общественнаго образованія и литературы, надо было бы вспомнить имена этихъ людей,

которыя остаются свидѣтельствомъ благородныхъ, хотя часто безуспѣшныхъ, усилій пробудить сознаніе общества и вывести его на лучшій путь, и свидѣтельствомъ того, что въ нашей жизни въ самыя трудныя времена для умственной работы были, однако, задатки здороваго, прочнаго развитія. Одинъ историкъ нашего общества указывалъ, сколькихъ тяжелыхъ жертвъ стоило это стремленіе лучшихъ силъ къ иному порядку, сколько талантовъ погибало у насъ на половинѣ или въ началѣ пути подъ гнетомъ нравовъ, не признававшихъ никакого права мысли, никакихъ стремленій къ чему-нибудь лучшему, — потому что лучшее почиталось найденнымъ. Эти жертвы говорятъ конечно о трудности дѣла, о неодолимости препятствій, объ умственной вялости общества, но эти жертвы не были безплодны, потому что ихъ нравственное наслѣдье не было потеряно для слѣдующихъ поколѣній; ихъ трудъ не былъ забытъ, и послужилъ руководствомъ и исходной точкой для людей, которые продолжали ихъ дѣло. Словомъ, наша литература представляетъ несомнѣнно прогрессивное развитіе, и этотъ фактъ даетъ надежду, что ея исторія приведетъ къ плодотворному результату; быть можетъ, это развитіе будетъ медленно, но его жизненные элементы не подлежатъ сомнѣнію...

Въ нашихъ очеркахъ мы не имѣемъ въ виду полной исторіи литературныхъ мнѣній; мы хотѣли указать только нѣкоторые существенные пункты этой исторіи въ связи съ общественными понятіями. По нашему мнѣнію, такая полная исторія пока невозможна, потому что время еще слишкомъ близко; и мы просили бы читателя не сѣтовать на насъ, если въ изложеніи встрѣтится больше общихъ, чѣмъ прямыхъ реальныхъ указаній: условія изложенія опредѣляются иногда обстоятельствами, которыя отъ насъ не зависятъ.

I.

Романтизмъ.

Литературное явленіе, которое сдѣлалось непосредственнымъ предшественникомъ и исходнымъ пунктомъ движенія тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, былъ романтизмъ. Направленіе, которому у насъ придавалось и придается это имя, можно начать хронологически съ половины второго десятилѣтія и закончить съ появленіемъ произведеній Гоголя. Двадцатые и тридцатые года — наиболѣе дѣятельное время этой школы.

Извѣстно, какія разнообразныя мнѣнія существовали у насъ между самими романтиками о томъ, что собственно есть и значить романтизмъ, который даже въ объясненіяхъ Бѣлинскаго ¹⁾ остается очень неопредѣленнымъ. Это разнообразіе и неясность мнѣній, существовавшихъ о романтизмѣ, показывали, что самое движеніе не представляло для современниковъ опредѣленнаго положительнаго содержанія и цѣли: они взяли готовое слово изъ европейской литературы и прямо примѣнили его къ русской литературѣ, предполагая въ немъ каждый свое значеніе. Одно было для нихъ ясно, что романтизмъ представлялъ собой новое литературное направленіе, спорившее съ классицизмомъ.

Не вдаваясь въ изложеніе достаточно извѣстнаго спора классиковъ съ романтиками, мы постараемся указать, какую связь имѣло это движеніе съ общественными понятіями и чѣмъ оно отразилось на этихъ послѣднихъ.

По тогдашнимъ понятіямъ главнѣйшими представителями нашего романтизма считались Жуковский и Пушкинъ. У перваго дѣйствительно прежде всего являются тѣ поэтическіе мотивы, которые справедливо назвать романтическими, и онъ самъ считалъ

¹⁾ Сочин., т. VIII, стр. 153—188 и слѣд.

себя отцомъ романтизма въ русской литературѣ¹⁾. Первые произведенія Пушкина также носили несомнѣнно романтическій характеръ, и даже впоследствии, когда его дѣятельность получила полную поэтическую самостоятельность, не только его друзья видѣли въ его произведеніяхъ торжество школы, которой они сами были послѣдователями, но и самъ Пушкинъ думалъ, что онъ представляетъ эту школу; онъ полагалъ только, что ее недостаточно понимаютъ, и опасался, что, напр., въ Борисѣ Годуновѣ (гдѣ романтизмъ уже оканчивался) наша публика не съумѣетъ оцѣнить «истиннаго романтизма». Въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ, въ Пушкинѣ видѣли и великаго національнаго поэта, между прочимъ въ силу того, что въ романтизмѣ предполагалась также и «народность».

Жуковский и Пушкинъ, занимавшіе тогда господствующее положеніе въ литературѣ, остаются, въ своихъ различныхъ областяхъ, весьма характеристическими представителями этого направленія. Въ ихъ отношеніи къ общественной дѣйствительности, какое мы можемъ наблюдать какъ въ ихъ произведеніяхъ, такъ и въ ихъ непосредственномъ практическомъ образѣ мыслей, мы увидимъ общественно-историческій характеръ этой школы, составляющей особую ступень въ умственномъ развитіи нашего образованнаго класса, ступень, составляющую переходъ отъ патриархальной традиціи и элементарныхъ попытокъ образованности въ XVIII-мъ вѣкѣ къ критическому движенію тридцатыхъ годовъ.

Біографы и критики Жуковского не разъ указывали, что характеръ его поэзіи въ сильной степени зависѣлъ отъ его чисто личнаго настроенія, что онъ въ особенности долженъ быть названъ поэтомъ субъективнаго чувства. Въ самомъ дѣлѣ, личная судьба Жуковского играетъ чрезвычайно важную роль въ направленіи его поэзіи; несчастная любовь, обставленная исключительными условіями, гдѣ тѣсныя связи родства усиливали чувство всей близостью родственной привязанности и гдѣ эти самыя связи дѣлали любовь невозможной (по крайней мѣрѣ по понятіямъ людей, отъ которыхъ зависѣло рѣшеніе труднаго вопроса), эта несчастная любовь искала себѣ исхода въ поэтическихъ изліяніяхъ, и естественно высказывалась въ меланхолическихъ мечтахъ, которыя стали непремѣннымъ спутникомъ поэзіи Жуковского. Это субъективное чувство до того владѣло

¹⁾ Въ 1849 г. онъ пишетъ: «Я — во время оно родитель на Руси нѣмецкаго романтизма и поэтическій дядька чертей и вѣдьмъ нѣмецкихъ и англійскихъ»... Соч. изд. 6-е, VI, 742.

поэтомъ, что новѣйшій біографъ могъ подтвердить присутствіе этого чувства почти непрерывнымъ рядомъ указаній въ его стихотвореніяхъ ¹⁾. Жуковскій съ самаго начала былъ по преимуществу переводчикъ: владѣя, кромѣ обычнаго французскаго языка, также англійскимъ и нѣмецкимъ, онъ выбираетъ въ богатствѣ англійской и нѣмецкой литературы то, что наиболѣе отвѣчало его настроенію, видоизмѣняетъ по тому же настроенію свои оригиналы, въ собственныхъ произведеніяхъ повторяетъ тѣ же меланхолическія темы.

Воспитаніе Жуковскаго и первыя его связи въ образованномъ и литературномъ кругѣ несомнѣнно оказали свое вліяніе въ смыслѣ мистическаго благочестія, задатки котораго, положенные еще въ это время, такъ сильно развились впослѣдствіи ²⁾. Въ московскомъ университетѣ еще дѣйствовали члены «Дружескаго Общества»; Жуковскій былъ въ тѣсной дружбѣ съ домомъ Тургеневыхъ, въ близкихъ связяхъ съ Лопухинымъ, въ извѣстныхъ отношеніяхъ къ Карамзину. Это были его главнѣйшія отношенія, и онѣ привили ему тѣ сантиментально-благочестивыя наклонности, которыя такъ отвѣчали его природной мягкости и такъ способны были питать меланхолію.

Но при всемъ субъективномъ характерѣ, мечтательно-мистическая поэзія Жуковскаго имѣла свое историческое значеніе. Его мистицизмъ былъ мистицизмъ особаго рода, какого еще не знала русская литература, именно романтическій.

Выступая на литературное поприще, Жуковскій едва ли думалъ производить какую-нибудь реформу въ литературѣ и вносить въ нее новое содержаніе, и едва ли имѣлъ для этого какіе-нибудь планы. Онъ хотѣлъ распространять любовь къ просвѣщенію и поэзіи, доказывалъ ихъ важность для нравственнаго благополучія чловѣка; самое просвѣщеніе понималъ онъ главнымъ образомъ въ смыслѣ правоученія, поэзію какъ наставительницу людей въ добродѣтели и религіозномъ смиреніи—все это были темы, гдѣ онъ просто продолжалъ Карамзина; его журнальные приемы въ «Вѣстникѣ Европы» были почти тѣ же; тонъ журнала, моральная точка зрѣнія мало отличались отъ карамзинскихъ. Какъ въ свое время Карамзинъ, Жуковскій былъ одинъ изъ самыхъ начитанныхъ въ европейской (поэтической) литературѣ писателей нашихъ, и изучая ее, онъ, наконецъ, встрѣтилъ въ ней новую, прежде незнакомую струю, которая оказала на него свое вліяніе тѣмъ больше, что онъ нашелъ въ этой литературѣ мно-

¹⁾ Carl v. Seidlitz, W. A. Joukoffsky. Ein russisches Dichterleben. Mittau, 1870.

²⁾ Ср. Р. Арх. 1870, стр. 1237.

жество такихъ произведеній, которыя какъ нельзя лучше подходили къ его личному упомянутому настроенію. Европейскій источникъ,—какъ это было естественно и какъ часто повторялось въ нашей литературѣ, — давалъ не только то, чего въ немъ прямо искали, но вмѣстѣ съ тѣмъ открывалъ и то, что было для нашей литературы совершенно новымъ содержаніемъ. Европейская литература, изъ клочковъ которой составила наша старая псевдо-классическая теорія, дала и оружіе для ея уничтоженія, и снова сдѣлалась источникомъ заимствованій, образцомъ для подражанія въ иномъ смыслѣ.

Романтизмъ европейскій сталъ для нашей литературы почти тѣмъ, чѣмъ былъ въ свое время псевдо-классицизмъ. Новое направленіе, обнаружившееся и въ содержаніи, и въ формѣ, правилось новымъ поколѣніемъ тѣмъ больше, что старая литература выродилась и превратилась въ скучную, безсодержательную рутину, которой, наконецъ, не помогали никакія усилія остававшихся талантовъ,—хотя, впрочемъ, и талантовъ было немного. Торжественная, казенная ода, трагедія или комедія съ тройнымъ единствомъ и безжизненнымъ копированіемъ французскихъ пьесъ, становились невозможны. Дмитріевъ, совершеннѣйшій классикъ, уже подтруниваетъ надъ классицизмомъ и рискуетъ на легкій разсказъ, во французскомъ вкусѣ,—находившій похвалы у Пушкина. Понятно, что обратившись къ новой европейской литературѣ, наши писатели могли найти столько новаго содержанія, такое разнообразіе болѣе свободныхъ формъ, что всѣ тѣ, въ комъ были живые инстинкты, приняли новое вліяніе, какъ усовершенствованіе литературы и новый путь къ ея успѣхамъ.

Что же нашла наша литература въ европейскомъ романтизмѣ?

То движеніе въ европейской литературѣ, которое стали впоследствии разумѣть подъ сборнымъ именемъ романтизма, было явленіе очень сложное, въ разныхъ литературахъ вызванное различными потребностями и сложившееся въ разныя формы. Начало его кроется въ томъ особенномъ возбужденіи умовъ, которое наполняетъ вторую половину XVIII-го вѣка. Политическое, умственное и религіозное броженіе этого времени заключало въ себѣ и тѣ революціонные элементы, которые сказались французскимъ переворотомъ и всѣми его отраженіями въ Европѣ, и элементы реакціи. Скептическая философія, политическія изслѣдованія, смѣлые протесты и порывы литературы обнаруживали присутствіе революціоннаго движенія задолго до самаго переворота. Но недовольство старымъ порядкомъ вещей и старыми понятіями, и исканіе новаго высказывались самыми разнообразными стремленіями: рядомъ съ Вольтеромъ и энци-

клопедистами дѣйствовалъ Руссо; вмѣстѣ съ скептицизмомъ высказывались требованія идеалистическаго чувства; ожиданія общественныхъ преобразованій были очень различны уже въ то самое время, и въ дальнѣйшемъ развитіи, подѣ влияніемъ событій, изъ этого броженія могли выйти самые несходные результаты. Переворотъ охватилъ своими послѣдствіями всю Европу, вовлекъ въ борьбу всѣ ея прогрессивныя и консервативныя силы, и когда буря улеглась, наступившій «порядокъ» уже не былъ похожъ на прежній. Реставрація, повидимому, восстановила старый міръ учреждений и понятій; усталыя общества не думали о новыхъ переворотахъ, но многое было уже приобрѣтено, и раз поставленные вопросы не были забыты. Романтизмъ, который былъ характеристическимъ проявленіемъ тогдашняго состоянія умовъ, также заключалъ въ себѣ поэтому много консервативнаго, много умственной и нравственной усталости, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ воспринималъ прогрессивныя идеи и возбужденія прошлаго вѣка, и его лучшія стороны тѣсно съ ними связаны: въ немъ все-таки были стремленія къ созданію лучшихъ идеаловъ нравственныхъ и общественныхъ, новыхъ началъ, которые могли бы облагородить и возвысить жизнь личную и общественную. Время было слишкомъ неблагопріятно для подобныхъ построеній: событія должны были разочаровать тѣхъ, кто ждалъ отъ нихъ обновленія общества, потому что обновленія не совершилось въ томъ видѣ, какъ его ожидали, и современникамъ изъза настоящей реакціи не были видны всѣ историческія приобрѣтенія; политическое порабощеніе отнимало у общества возможность работать для непосредственныхъ задачъ дѣйствительной жизни,—но умственная жизнь не остановилась. Среди самаго тяжелаго гнета выработывались элементы, изъ которыхъ должно было выйти новое, болѣе глубокое движеніе, и рядомъ съ попытками оправдать реакціонный застой, на которомъ успокоивалась одна часть общества, возникали начала новой философіи и новой поэзіи.

Романтизмъ, развивая результаты восемнадцатаго вѣка и создавая свои теоріи подѣ влияніемъ времени, представлялъ, такимъ образомъ, массу противорѣчій, и переходя изъ общихъ понятій въ жизнь и литературу, служилъ и для плодотворнаго, научнаго и литературнаго развитія, и для злѣйшей реакціи и обскурантизма. Такъ, если взять нѣсколько примѣровъ, мысль о нравственномъ единствѣ человѣчества, выставленная нѣкогда Гердеромъ и развитая по-своему въ романтизмѣ, чрезвычайно расширяла научные и поэтическіе интересы, и желаніе изучить проявленія человѣческаго духа повело къ обширному

изслѣдованію всеобщей литературы и исторіи, и къ обшир-
вымъ переводнымъ предпріятіямъ (особенно у нѣмцевъ), кото-
рыя чрезвычайно расширили область литературнаго знанія и
практически истребляли всякіе старые литературные предраз-
судки; такъ изученіе древности, у Лессинга и Винкельмана, и
распространенное романтизмомъ, давало понятію объ искусствѣ
такую широту, какой оно никогда не имѣло прежде, и дало начало
новѣйшей эстетической критикѣ; такъ романтическое обращеніе
къ идеализированной старинѣ, внушенное потребностью найти
единство жизни и идеала, чрезвычайно подвинуло и изученіе дѣй-
ствительной старины и народной жизни; такъ вообще данъ былъ
сильный толчекъ самому разнообразному историческому и этно-
графическому изученію народностей, которое впослѣдствіи по-
служило и для соціальнаго вопроса о народѣ. Но, съ другой
стороны, въ этомъ движеніи недоставало реальнаго пониманія
жизни; мысль, которой не было мѣста въ непосредственныхъ
явленіяхъ политической жизни, теряла инстинкты дѣйстви-
тельности, и въ результатѣ является длинный рядъ странныхъ за-
блужденій и самообольщеній. Реакція противъ такъ-называемой
«сухой разсудочности» производила сильную наклонность къ ми-
стикѣ, къ піетизму, къ вѣрѣ во всякія сверхъестественности и
чудеса; обращеніе къ старинѣ становилось превознесеніемъ средне-
вѣковыхъ принциповъ въ обществѣ и государствѣ, въ политикѣ
становилось союзомъ съ притязаніями феодальной партіи, при-
водило къ ученіямъ Жозефа де-Местра, — въ поэзіи къ мисти-
ческимъ витаніямъ въ мірѣ духовъ и привидѣній; поэтиче-
скій идеализмъ производилъ необузданныя увлеченія фантазіи,
преувеличенныя понятія о свободѣ поэтическаго генія, оста-
вившія столько странныхъ слѣдовъ въ литературѣ. Реакціонныя
черты романтизма высказались уже очень рано; своего полнаго
господства онѣ достигли съ реставраціей, когда построены были
цѣлыя политическія теоріи, практическій смыслъ которыхъ велъ
къ возстановленію (сколько возможно) стараго феодализма, ста-
рой церкви и къ основанію новой полиціи. Поэтическій теоре-
тикъ романтизма, Шлегель, былъ въ то же время и политиче-
скимъ теоретикомъ реакціи.

Мы скажемъ дальше о другой сторонѣ романтизма, гдѣ онъ
принялъ совсѣмъ иное направленіе, — гдѣ политическія разочаро-
ванія давали новую силу мечтамъ о народной свободѣ, поро-
ждали демократическій энтузіазмъ и озлобленіе противъ настоя-
щаго.

Подъ вліяніемъ времени — политическаго возстановленія ста-
рыхъ феодальныхъ порядковъ во Франціи и Германіи и неуго-

мимаго преслѣдованія освободительныхъ идей — обскурантизмъ и реакція, или наклонность къ союзу съ ними стали господствующимъ характеромъ романтизма. До какой степени этотъ романтизмъ сталъ ненавистенъ въ Германіи для слѣдующихъ поколѣній, это можно видѣть изъ остроумной его исторіи у Гейне.

Такихъ свойствъ приблизительно было то движеніе, вліянію котораго подпадала наша литература съ началомъ дѣятельности Жуковскаго и при его особенномъ участіи. Мы замѣтили прежде, что это вліяніе романтизма было одно изъ цѣлаго ряда различныхъ вліяній, попеременно испытанныхъ нашей литературой, вслѣдствіе того, что ея собственное содержаніе все еще было слишкомъ скудно и малопродуктивно, и что ей предстояло, сколько возможно, ознакомиться съ тѣми фазисами, какіе проходило развитіе европейское.

На этотъ разъ, какъ и всегда, это ознакомленіе было только приблизительное. Наша литература успѣла тогда усвоить и нѣкоторыя хорошія и особенно слабыя стороны движенія. При своей общей неопытности, она, къ сожалѣнію, не могла въ должной мѣрѣ воспринять того, что романтизмъ могъ представить полезнаго и развивающаго; она не могла понять какъ слѣдуетъ ни вражды романтизма къ старому скептицизму, — потому что и съ нимъ была мало знакома, — ни его освободительныхъ элементовъ, ни научныхъ стремленій; — наша литература по обыкновенію эклектически заимствовалась понемногу и хорошимъ и дурнымъ, и главнымъ образомъ, конечно, тѣми вещами, которыя отвѣчали общему умственному уровню нашей литературы и общества.

Жуковскій, вводя романтизмъ, какъ мы замѣтили, вовсе не имѣлъ какой-нибудь сознательно поставленной цѣли. Онъ просто хотѣлъ продолжать начатое Карамзинымъ, и дѣйствительно въ ихъ нравственно-идеалистическихъ темахъ было очень много общаго. Ихъ разниа была въ томъ, что въ то время, какъ Карамзинъ въ своей журнальной дѣятельности былъ гораздо болѣе разнообразнымъ популяризаторомъ литературы, Жуковскій, по свойству своего таланта, ограничился почти исключительно поэтической дѣятельностью. Отыскивая въ европейской литературѣ сочувственные ему мотивы, Жуковскій передавалъ ихъ въ своихъ переводахъ и подражаніяхъ съ такимъ мастерствомъ, которое уже скоро поставило его на ряду со старыми знаменитостями, и во главѣ новаго поэтическаго направленія. Старая школа не признавала уже и Карамзина; Жуковскій тѣмъ болѣе возбуждалъ ея антипатію. Старая школа возмущалась и иногда подсмѣивалась надъ мрачной поэзіей, преисполненной меланхо-

ли, духовъ, видѣній и мертвецовъ. Ея опасеніе было вѣрно, потому что новая поэзія дѣйствительно подкапывала авторитетъ старой безвозвратно. Значеніе новой школы состояло именно въ томъ, что она, во-первыхъ, расширяла формальныя понятія о поэзіи, и во-вторыхъ, вносила въ содержаніе русскаго стихотворства дотолѣ мало извѣстный ему міръ ощущеній внутренней жизни; въ меланхолическомъ тонѣ поэзіи Жуковскаго высказывалась мягкая человѣчность, задушевное чувство, возвышавшее нравственныя требованія и идеалы. Эта дорога была уже отчасти открыта сантиментальностью карамзинскаго направленія; но тамъ еще слышалась натянутая искусственность, потребность чувства переходила въ плаксивость или приторную чувствительность, напоминавшую о розовой тетради аббата временъ стараго режима,—у Жуковскаго это чувство, правда слишкомъ преувеличенное и слишкомъ господствующее, выражалось съ такой полной искренностью, было такъ прочувствовано и являлось въ такой дѣйствительно изящной формѣ, что здѣсь поэзія внутренняго чувства вполне вступала въ свои права. Поэтическій инстинктъ указалъ Жуковскому иныхъ руководителей въ европейской литературѣ: онъ еще переводилъ, правда, Флоріана и подобныхъ писателей, переводилъ Томсона, Клопштокъ, Маттисона, которые были уже знакомы, но затѣмъ онъ впервые водворяетъ въ русской литературѣ корифеевъ европейской литературы, въ особенности писателей англійскихъ (Грей, Драйденъ, Саути, Гольдсмитъ, потомъ Томасъ Муръ, В. Скоттъ, Байронъ) и нѣмецкихъ (Гёте, Шиллеръ, Уландъ, Гебель, Кёрнеръ, Ламоттъ-Фуке, потомъ Цедлицъ, Гальмъ, Рюккертъ, Гриммъ, Шамиссо). Въ наше время поэзія личнаго чувства слишкомъ отступила на второй планъ, и мы съ трудомъ оцѣняемъ ея вліяніе; но восторгъ современниковъ показываетъ, какъ сильно было вліяніе новой поэзіи въ тѣхъ кругахъ, куда простиралось дѣйствіе литературы, особенно въ молодыхъ поколѣніяхъ. Отголоски этого восторга мы еще находимъ у Бѣлинскаго.

Вліяніе новой поэзіи, безъ сомнѣнія, было во многихъ отношеніяхъ благотворное. Жуковский, согласно съ стремленіями романтиковъ, хотѣлъ сдѣлать поэзію высшимъ руководящимъ принципомъ жизни: «поэзія есть добродѣтель»,—онъ проповѣдовалъ любовь къ добру и истинѣ, пробуждалъ внутреннюю жизнь чувства, внушалъ мягкое гуманное отношеніе къ людямъ; господствующій меланхолическій оттѣнокъ долженъ былъ имѣть большую привлекательность для тѣхъ, въ комъ, среди грубаго общества, возникали лучшіе, болѣе человѣчныя и мягкіе инстинкты.

Въ этомъ, такъ-сказать, педагогическомъ смыслѣ поэзія Жуковского конечно служила обществу, но тѣмъ и ограничивалось ея значеніе; она была очень далека отъ собственно общественнаго содержанія. Жуковский очень рѣдко обращался къ дѣйствительной жизни, совершавшейся вокругъ него. Однажды, въ 1812 году, въ пору народной борьбы, онъ явился выразителемъ общаго патріотическаго возбужденія. «Пѣвецъ во станѣ русскихъ воиновъ» былъ исполненъ, безъ сомнѣнія, искреннимъ поэтическимъ одушевленіемъ, — и онъ произвелъ сильное впечатлѣніе, потому что высказывалъ господствующій энтузіазмъ, доведенное до высшей степени чувство народной личности и самосохраненія. Но до какой степени за этимъ общимъ національнымъ вопросомъ отсутствовало чувство прямой общественной дѣятельности, — можно видѣть изъ того, что даже въ изображеніи національной борьбы Жуковский считалъ нужнымъ одѣть своихъ соотечественниковъ въ древніе или средневѣковые костюмы, и событія вызвали въ немъ только его обыкновенныя размышленія о тщетѣ земного счастья, о горести утратъ, о добродѣтели. Его мораль и здѣсь приняла оттѣнокъ романтической печали, которая вообще очень далека еще отъ реального пониманія вещей. Если мы будемъ затѣмъ искать въ произведеніяхъ Жуковского какихъ-либо обращеній къ непосредственной жизни, мы найдемъ еще два разряда стихотвореній — во-первыхъ, писанныя на разные случаи придворной жизни и адресованныя къ лицамъ императорской фамиліи, и во-вторыхъ, дружескія «посланія» и стихотворенія альбомнаго свойства. Наконецъ, его стихотворенія прямо назначались только «для немногихъ».

Пусть не подумаетъ читатель, что мы ожидали бы отъ Жуковского какого-нибудь вмѣшательства въ общественные вопросы, и какой-нибудь политической лирики. Мы совершенно признаемъ за нимъ право на его поэтическую специальность, и признаемъ его великую заслугу въ формальномъ развитіи литературы, освобожденія ея отъ условныхъ и отжившихъ формъ; признаемъ, что по своему содержанію онъ имѣлъ благотворное воспитательное значеніе тѣми человѣчными идеями и чувствами, какія высказывала его поэзія. Но мы хотимъ сказать, что вмѣстѣ съ тѣмъ онъ представляетъ собой характеристическій примѣръ разлада романтизма съ дѣйствительностью жизни, потому что за его отвлеченной меланхоліей сказывалось тоже равнодушное, если не враждебное отношеніе къ непосредственнымъ жизненнымъ интересамъ и борьбѣ общества, — которое рѣзко отличаетъ извѣстныя стороны европейскаго романтизма. Мы приводили въ другомъ мѣстѣ отзывъ одного современнаго писателя, изъ котораго

видно, что уже въ то время почувствовали эту безплодную сторону Жуковского и даже находили вреднымъ его вліяніе ¹⁾.

Эти слова, сказанныя еще въ двадцатыхъ годахъ, очень вѣрно указываютъ дѣйствительную слабую сторону Жуковского. Жуковский еще тридцать лѣтъ послѣ того работалъ для русской литературы, и обогатилъ ее своими переводными трудами, но, какъ самостоятельная сила, уже не прибавилъ ничего къ тому содержанію, какое было дано имъ въ первомъ періодѣ его дѣятельности.

Его содержаніе достало только для эпохи, непосредственно слѣдовавшей за Карамзинымъ (т.-е. за его чисто литературной дѣятельностью, до Исторіи), для перваго и отчасти втораго десятилѣтія нашего вѣка; затѣмъ время перегнало его, и онъ остался внѣ движенія, происходившаго съ этихъ поръ. И не надо вовсе думать, чтобы въ этомъ былъ виноватъ европейскій романтизмъ. Напротивъ, содержаніе европейскаго романтизма было гораздо шире, но Жуковский и въ его кругѣ взялъ только немного, что отвѣчало его сантиментальнымъ наклонностямъ, и не замѣтилъ болѣе крупныхъ вещей, или чувствовалъ къ нимъ антипатію ²⁾. Онъ понялъ европейскій романтизмъ съ той узкой точки зрѣнія, съ какой наша литература вообще смотрѣла часто на европейскую, вылавливая изъ нея отдѣльные отрывки и не разумѣя всего широкаго ея смысла. Непониманіе Гамлета, котораго Жуковский называлъ еще въ 1821-мъ году «чудовищемъ» и «чудеснымъ уродомъ» ³⁾, есть только одинъ изъ многихъ примѣровъ этой ограниченности взгляда, которой вовсе не было у роман-

¹⁾ Слова Рылѣева въ письмѣ къ Пушкину. Отдавъ справедливость чисто литературной заслугѣ Жуковского, Рылѣевъ продолжаетъ: «Къ несчастію, вліяніе его на духъ нашей словесности было слишкомъ пагубно: мистицизмъ, которымъ проникнута большая часть его стихотвореній, мечтательность, неопредѣленность и какая-то туманность, которыя въ немъ иногда даже прелестны, растлили многихъ и много зла надѣляли. Зачѣмъ не продолжаетъ онъ дарить насъ прекрасными переводами своими изъ Байрона, Шиллера и другихъ великановъ чужеземныхъ? Это болѣе можетъ упрочить славу его».

²⁾ Наша критика уже давно замѣтила эти ограниченные размѣры поэтическихъ заимствованій Жуковского. «Не должно полагать, — говорилъ еще Полевой, — чтобы Жуковский глубоко проникалъ тогда въ сущность германской и англійской поэзіи. Онъ самъ признается, что Гамлета почитаетъ чудовищнымъ, уродливымъ произведеніемъ. Также не могъ онъ постигнуть глубины Гёте, и даже вдохновителя и любимца своего Шиллера....». «Ни Жуковский, и никто изъ товарищей и послѣдователей его не подозрѣвали, что они пустились въ океанъ безпредѣльный. Оптический обманъ представлялъ имъ берега вблизи. Срывая вѣтки въ безмѣрномъ саду Гёте и Шиллера, они думали, что переносятъ въ русскую поэзію цѣлый садъ этотъ» (Оч. Рус. Литер., I, стр. 112, 114).

³⁾ Соч. Жук. VI, стр. 219—220.

тиковъ англійскихъ или нѣмецкихъ: для этихъ послѣднихъ, какъ извѣстно, Шекспиръ былъ предметомъ поклоненія, и непониманіе его казалось дѣломъ чудовищнымъ. Это непониманіе объясняется у Жуковского именно ограниченностью его романтической области, и вообще ограниченностью его понятій: широкая картина человѣческой души и внутренней борьбы ея стремлений, сомнѣніе, скептицизмъ инстинктивно отталкивали его, потому что, въ концѣ концовъ, они грозили его собственному, какъ бы изнѣженно сентиментальному міровоззрѣнію. Также мало онъ понималъ и энергическій скептицизмъ Байрона; послѣ «Шильонскаго узника», онъ уже не возвращался къ нему, — потому что и трудно было бы ему найти въ немъ сочувственные мотивы. Если онъ въ письмахъ къ Гоголю (1847—1848) высказываетъ свой ужасъ къ отрицающей поэзіи Байрона и другого, не названнаго имъ поэта, въ которомъ надо видѣть Гейне, — этотъ ужасъ не былъ новой чертой его понятій: это была давнишняя точка зрѣнія, которая теперь высказалась только во всей полнотѣ ¹⁾. Жуковский наконецъ раскаявался и въ томъ невинномъ романтизмѣ, который онъ нѣкогда вводилъ въ русскую литературу. Въ письмѣ къ извѣстному Стурдзѣ (въ 1849 году), говоря о своемъ переводѣ Одиссеи, онъ замѣчаетъ полу-шутя и полу-серьезно, что наградой ему за этотъ трудъ будетъ: «сладостная мысль, что я (во время оно родитель на Руси нѣмецкаго романтизма и поэтической дядька чертей и вѣдьмъ нѣмецкихъ

¹⁾ Указавъ, «съ благодарностью сердца», въ образецъ истинной поэзіи на Вальтеръ-Скотта и Карамзина, Жуковский продолжаетъ:

«Съ другой стороны обратимъ взоръ на Байрона — духъ высокій, могучій, но духъ отрицанія, гордости и сомнѣнія. Его гений имѣетъ прелесть Мильтонова сатаны, столь поражающаго своимъ помраченнымъ величіемъ; но у Мильтона эта прелесть не иное что, какъ поэтический образъ, только увеселяющій воображеніе, а въ Байронѣ она есть сила, стремительно влекущая насъ въ бездну сатанинскаго паденія.

«Но что сказать о.... (я не назову его, но тѣмъ для него хуже, если онъ будетъ тобою угаданъ въ моемъ изображеніи), что сказать объ этомъ хулитель всякой святости, которой откровеніе такъ напрасно было ему ниспослано въ его поэтическомъ дарованіи и въ томъ чародѣйномъ могуществѣ слова, котораго можетъ быть ни одинъ изъ писателей Германіи не имѣлъ въ такой силѣ! Это уже не судьба, разрушившая бѣдствіями душу высокую и произведшая въ ней бунтъ противъ испытующаго Бога, это не падшій ангелъ свѣта, въ уношеніи гордости отрицающій то, что знаетъ и чему не можетъ не вѣрить — это свободный собиратель и провозгласитель всего низкаго, отвратительнаго и развратнаго, ...это — презрѣніе всякой святости и циническое, безстыдно дерзкое противу нея богохульство, дабы, оскорбивъ всѣхъ, кому она драгоценна, угодить всѣмъ поклонникамъ разврата, это вызовъ на буйство, на невѣріе, на угожденіе чувственности, на разнузданіе всѣхъ страстей, на отрицаніе всякой власти», и проч. (Сочин. VI, 731—732).

и англійскихъ) подъ старость загладилъ свой грѣхъ....» Но и въ тѣ времена, и послѣ Жуковскій одинаково не понималъ и не любилъ той поэзіи, которая выходила за предѣлы его специальности, которая смѣло обращалась къ реальной жизни, вмѣшивалась въ борьбу идей и съ испытующимъ скептицизмомъ говорила о человѣческихъ идеалахъ и самообольщеніяхъ. Эта поэзія предполагала запасъ мужественной критики и сильной мысли; Жуковскій отступалъ передъ ней....

Жуковскій былъ чуждъ вопросамъ, волновавшимъ жизнь, не только какъ поэтъ, но и какъ человѣкъ. Въ свое время онъ былъ однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ членовъ «Арзамаса», въ которомъ собрались писатели этой первой романтической школы и друзья, раздѣлявшіе ихъ мнѣнія. Мы указывали въ другомъ мѣстѣ, что общественный индифферентизмъ составлялъ существенную черту Арзамаса. Въ личныхъ отношеніяхъ Жуковскій отличался многими прекрасными свойствами: искренняя любовь къ людямъ составляла, кажется, дѣйствительное свойство его характера; у него было много истиннаго добродушія, готовности помогать бѣдствующимъ, даже когда это бывало не совсѣмъ удобно, — и эти качества онъ сохранилъ, кажется, и въ позднѣйшее время; наконецъ его юношеская веселость въ дружескомъ кругу очень не походила на его унылую поэзію и на мрачную обстановку изъ могильныхъ картинъ, которой онъ окружалъ себя дома ¹⁾ Тѣмъ не менѣе, друзья находили, что, когда Жуковскій получилъ свое извѣстное назначеніе при дворѣ, поэтъ началъ скрываться въ придворномъ, и Пушкинъ передѣлалъ въ эпиграмму его стихотвореніе о «бѣдномъ пѣвцѣ» ²⁾.

Не знаемъ теперь, насколько дѣйствительно была замѣтна эта переменѣна, но мы не думаемъ приписывать ей того индифферентизма, который мы указывали. Онъ коренился прежде всего въ унаслѣдованныхъ нравахъ и преданіяхъ, которые не были вовсе благопріятны для критики въ общественныхъ предметахъ, и напротивъ внушали

— не смѣть
Свое сужденіе имѣть;

онъ поддерживался воспитаніемъ и всей дружеской обстанов-

¹⁾ См. въ письмахъ Ив. Кирѣевскаго.

²⁾ Дмитріевъ пишетъ въ 1818 г. къ А. И. Тургеневу: «Ревность друзей его (Жуковскаго) почти достигла своей цѣли: кажется, поэтъ мало-по-малу превращается въ придворнаго; кажется, новость въ знакомствахъ, въ образѣ жизни начинаетъ прельщать его» (Р. Арх. 1867, стр. 1092).

кой. И до своей придворной карьеры Жуковский былъ совершенно таковъ же.

По личному добродушію Жуковский несомнѣнно желалъ успѣховъ добрымъ нравамъ, мягкому правленію и проч. И въ раннюю пору и впослѣдствіи онъ собственнымъ примѣромъ возбуждалъ друзей къ лучшимъ дѣламъ филантропіи; — такъ онъ хлопоталъ о поэтѣ Мещевскомъ, или впослѣдствіи о Шевченкѣ и ф.-д.-Бриггенѣ; — такъ, въ 1822-мъ году, вернувшись изъ-за границы и повидимому подъ свѣжимъ вліяніемъ европейскихъ нравовъ и Шиллера ¹⁾, онъ освободилъ нѣсколькихъ, принадлежавшихъ ему крестьянъ; — такъ, въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, онъ, въ письмахъ къ нѣкоторымъ высокопоставленнымъ лицамъ, говорилъ объ умѣренности, о «самоотверженіи власти» и ея обязанностяхъ, — но, какъ это было и у Карамзина, его общественная мысль оставалась чистой моральной отвлеченностью и не развилась у него въ серьезный критическій взглядъ: онъ остался навсегда при обычномъ представленіи о превосходствѣ status quo.

Ему не удавались и рѣшенія отвлеченныхъ научныхъ вопросовъ. По общему характеру тогдашняго образованія, его интересы были почти исключительно литературные и гуманистическіе. Однажды, около 1830-го года, эти интересы его расширились, и по словамъ біографа, онъ было-возымѣлъ наклонность къ натуръ-философіи, въ смыслѣ Гумбольдтова «Космоса» ²⁾ — вслѣдствіе лекцій петербургскаго академика Триніуса, читанныхъ имъ при дворѣ; но продолженіе лекцій было запрещено, и Жуковский не пошелъ дальше въ этомъ направленіи. Остался небольшой слѣдъ этой попытки въ его статьѣ «Взглядъ на землю съ неба», гдѣ онъ употребилъ натуръ-философскія подробности въ изложеніи своего романтическаго благочестія.

Изъ всего этого произошли результаты, какихъ слѣдовало ожидать. Жуковский, съ самаго начала чуждый критическаго взгляда, наконецъ пересталъ понимать послѣдующія поколѣнія и совершавшіяся событія. Его личныя мнѣнія больше и больше склонялись къ сантиментальному піэтизму. Мелькомъ появлявшіяся попытки критики замолкали, и наконецъ, въ періодъ своей послѣдней заграничной жизни, онъ, подъ вліяніемъ личныхъ связей, вошелъ въ кругъ піэтистовъ, въ которомъ чувствовалъ себя тяжело, но изъ котораго уже не въ силахъ былъ выйти. Подъ стать религіознымъ установились и его понятія политическія.

¹⁾ Seidlitz, стр. 111.

²⁾ Seidlitz, стр. 159.

Когда на его глазах происходили событія 1848-го года, онъ, какъ прежде Карамзинъ во французской революціи, не увидѣлъ въ нихъ ничего кромѣ наглаго буйства черни и развратныхъ людей: мнѣніе его было совершенно рѣшительно, потому что и все развитіе политическихъ идей, даже все развитіе европейской образованности и цивилизаціи казались ему только постояннымъ приближеніемъ Европы къ послѣдней гибели¹⁾.

Такъ онъ судилъ о событіяхъ 1848-го года въ Германіи. «Какой тифусъ взбѣсилъ всѣ народы и какой параличъ сбиль съ ногъ всѣ правительства!» восклицаетъ онъ въ томъ же письмѣ къ кн. Вяземскому, изъ котораго мы приводимъ выписку въ примѣчаніи. Взглядъ Жуковского на революціонныя событія не былъ бы удивителенъ въ человѣкѣ стараго времени, въ человѣкѣ всегдашнихъ монархическихъ мнѣній; но любопытно, что долгая жизнь его въ этой самой Германіи нимало не объяснила ему движенія, происшедшаго въ обществѣ, что онъ не понималъ его даже въ чужой странѣ, гдѣ нисколько не замѣшанъ былъ его личный интересъ, — и что онъ самымъ враждебнымъ образомъ осуждаетъ движеніе, хотя

¹⁾ Вотъ, напр., образчикъ его историческихъ выводовъ:

«Оглянувшись на Западъ теперешней Европы, что увидимъ? Дерзкое непризнаніе участія Всевышней власти въ дѣлахъ человѣческихъ выражается во всемъ, что теперь происходитъ въ собраніяхъ народныхъ. Эгоизмъ и мертвая матеріальность царствуютъ. Чего тутъ ожидать живаго? Какое человѣческое благо можетъ быть построено на такомъ фундаментѣ? Вѣра въ *святое* исчезла — печальный результатъ *реформации*, которая сама будучи результатомъ предшествовавшаго, есть самый видимый пунктъ, съ котораго можно преслѣдовать постепенный ходъ и развитіе теперешняго. Неприемлемо, что реформація произвела великое движеніе умственное, изъ котораго наконецъ вышла гражданственность, или такъ — называемая цивилизація нашего времени».

Но существенный результатъ реформации былъ чрезвычайно вреденъ. «Первый шагъ реформации рѣшилъ судьбу европейскаго міра», — вмѣсто злоупотребленій, она разрушила самый авторитетъ церкви:

«Реформація взбунтовала противъ ея неподсудимости демократическій умъ; давъ право повѣрять Откровенію, она поколебала вѣру, а съ нею и все святое. Это святое замѣнилось языческою мудростію древнихъ; родился духъ противорѣчія; начался мятежъ противъ всякой власти, какъ божественной, такъ и человѣческой. Этотъ мятежъ пошелъ двумя дорогами: на *первой* уничтоженіе авторитета церкви произвело *раціонализмъ* (отверженіе божественности Христа), отсюда *пантеизмъ* (уничтоженіе личности Бога), въ заключеніе *атеизмъ* (отверженіе бытія Божія); на *другой* понятіе о власти державной, происходящей отъ Бога, уступило понятію о *договорѣ общественномъ*, изъ него самодержавіе народа, котораго первая степень *представительная монархія*, вторая степень *демократія*, третья степень *соціализмъ* и *коммунизмъ*; можетъ быть и четвертая, послѣдняя степень: *уничтоженіе семейства*, а вслѣдствіе того низведеніе человѣчества, освобожденнаго отъ всякой обязанности, ограничивающей чѣмъ-либо его личную независимость, въ достоинство совершенно свободнаго *скотства*. Итакъ два пункта, къ которымъ ведутъ и отчасти уже привели сіи двѣ дороги: съ одной стороны самодержавіе ума человѣческаго и уничтоженіе царства Божія,

самъ *сознаетъ*, что народы были *обмануты*¹⁾. Несмотря на это, онъ не находитъ словъ для выраженія своего негодованія противъ общества, которое наконецъ хотѣло напомнить о своемъ правѣ: «крики человѣческаго безумія», «дерзкіе журналисты», «безсмысленность», «буйство», «нечистые когти мятежа», «дерзкій развратъ» и т. д.

Въ домашнихъ предметахъ Жуковскій имѣлъ образъ мыслей, который можно назвать прямымъ продолженіемъ или повтореніемъ мнѣній Карамзина²⁾. Онъ не только не находилъ какихъ-нибудь недостатковъ въ существующемъ ходѣ вещей, но полагалъ, что Россія, «оторвавшись (послѣ 1848-го года) отъ насильственнаго на нее вліянія Европы» (выше имъ описанной), — «вступить въ особенный, ея исторію, слѣдственно самимъ Промысломъ ей проложенный путь»; она составитъ «самобытный великій міръ, полный силы неизчерпаемой, ...сплоченный вѣрою и самодержавіемъ въ одну несокрушимую, нынѣ *вполнѣ устроенную* громаду» и проч. Онъ не предвидѣлъ, что уже вскорѣ должно было начаться испытаніе, которое должно было въ цѣлой массѣ общества и въ самомъ правительствѣ сильно измѣнить мнѣніе о томъ порядкѣ вещей...

Въ литературѣ Жуковскій давно стоялъ особнякомъ, внѣ всякихъ ближайшихъ отношеній съ ея движеніемъ. Послѣ «Арзамаса» ближайшіе друзья его были въ кружкѣ Пушкина, составлявшемъ собственно продолженіе того же Арзамаса. Съ тридцатыхъ годовъ, когда наша литература впервые начала оживляться дѣятельной и энергической критикой, когда появленіе Гоголя предвѣщало наконецъ дѣйствительную зрѣлость литературныхъ стремленій, Жуковскій, какъ весь кружокъ, оставался чуждъ этому движенію. Въ похвалу писателей этого кружка надобно сказать, что они, какъ люди со вкусомъ, образованію котораго столько содѣйствовалъ Пушкинъ, умѣли оцѣнить Гоголя, который вообще не встрѣтилъ сочувствія въ старыхъ партіяхъ;

съ другой — владычество всѣхъ и каждого и уничтоженіе общества. Между сими двумя крайностями бытія теперь и выбивается изъ силъ образованность западной Европы». (Соч. VI, 697—699).

¹⁾ Вотъ его слова: «Безпрестанно повторяютъ (т.-е. въ Германіи, во время смуты 1848-го года): мы тридцать три года терпѣли; обѣщанное намъ неисполнено; нами ругались; мы были притѣснены; всѣ наши требованія были съ презрѣніемъ отвергнуты. Къ несчастію, эти обвинительные крики основаны на истинѣ: государи Германіи остались въ долгу у своихъ народовъ». «И главная вина ихъ состоитъ, — по мнѣнію Жуковского, — менѣе въ томъ, что они этого долга не заплатили, нежели въ томъ, что они не оказали надлежащей *рѣшительности въ его признаніи*» и пр. (Соч. VI, стр. 401, прим.).

²⁾ Ср. Соч. VI, стр. 389—391.

они поддерживали его въ затрудненіяхъ издательства и стали вообще ближайшими его друзьями. Къ сожалѣнію, ихъ дружба мало помогла Гоголю въ самомъ существенномъ. Не будемъ говорить о томъ, какой смыслъ и какое вліяніе имѣло то покровительство высокопоставленныхъ лицъ, котораго Гоголь самъ такъ добивался и которое они хлопотали ему доставить, — они были свидѣтелями того страннаго направленія, какое еще съ тридцатыхъ годовъ начали принимать его мысли и его характеръ, — и повидимому только поддерживали въ немъ это направленіе. Его манія самолюбія и религіознаго самоистязанія, которое онъ думалъ распространить на весь читающій русскій міръ, — эта манія, которой быть можетъ помогло бы въ началѣ должное противодѣйствіе, была принята ими какъ нѣчто нормальное, или, хотя и преувеличенное, но серьезное и глубокое въ основаніи. Правда, они одобряли и защищали сочиненія Гоголя при ихъ появленіи, но они одобрительно выслушивали и тѣ откровенія, изъ которыхъ онъ составилъ потомъ свои «Выбранныя Мѣста». Почему же люди этого кружка такъ далеко, даже абсолютно, разошлись съ другими почитателями Гоголя, которымъ эти «Мѣста» показались (и справедливо) полнымъ паденіемъ писателя? Объясненіе заключается повидимому въ томъ, что люди кружка Жуковского нашли здѣсь свой собственный мотивъ. Ихъ собственные мнѣнія состояли въ сентиментальномъ романтизмѣ, который чуждался общественной критики и пугался дѣятельнаго вмѣшательства въ общественные вопросы съ суровой точки зрѣнія сатиры. Надо полагать, что имъ очень не нравились тѣ толкованія, которыя давались произведеніямъ Гоголя въ новой критикѣ, — не нравилось, что Гоголя ставили во главѣ сатиры, которая становилась чуть не оппозиціоннымъ обличеніемъ. Они съ своей стороны давали свое признаніе «Мертвымъ Душамъ», — отчасти по своему художественному вкусу, который ясно указывалъ имъ высокія поэтическія достоинства этого произведенія; отчасти, быть можетъ, потому, что не предвидѣли, какъ сильны будутъ упомянутыя, непріятныя имъ истолкованія «поэмы» въ либеральномъ смыслѣ; отчасти потому, что настроеніе автора, неизвѣстное для публики и критиковъ, было очень извѣстно имъ, какъ хорошимъ его друзьямъ, а это настроеніе уже тогда было таково, какимъ явилось въ «Выбранныхъ Мѣстахъ». При появленіи этой послѣдней книги, характеръ ея вовсе не былъ для нихъ новостью; напротивъ, если они отчасти и не одобряли нѣкоторыхъ ея подробностей (слишкомъ безтактныхъ), то вообще говоря, они были очень довольны тѣмъ разъясненіемъ, какое самъ писатель давалъ всей своей дѣятельности. Это было сми-

реніе, самоуничженіе, раскаяніе въ необдуманности прежняго смѣха, отказъ отъ какого-нибудь обличенія: все, что привело въ такое негодованіе Бѣлинскаго и людей его мнѣній, казалось естественнымъ и похвальнымъ для друзей Гоголя.

Религіозная манія Гоголя, вмѣстѣ съ полнымъ отказомъ отъ лучшихъ произведеній, составившихъ его историческую славу, совершенно сошлась съ піэтизмомъ Жуковскаго и его равнодушіемъ къ общественному интересу. Тяжело читать въ біографіи Жуковскаго исторію послѣднихъ лѣтъ его жизни, когда онъ вполне предался піэтизму. Этотъ піэтизмъ и казался ему искомою цѣлью жизни, въ немъ онъ находилъ разгадку идеала, котораго онъ доискивался въ теченіе своей поэтической дѣятельности; а эта дѣятельность представлялась ему теперь почти заблужденіемъ. Этотъ исходъ совершенно пришелся къ его давнишнему характеру: романтическая меланхолія нашла свое основаніе; духи и привидѣнія, которыми прежде были наполнены его стихи, теперь представлялись ему во очію ¹⁾....

Мы приводимъ эту исторію мнѣній Жуковскаго конечно не какъ одинъ личный примѣръ. Напротивъ, она любопытна для насъ именно какъ образчикъ того развитія, какой проходила вообще школа сентиментальнаго романтизма; — потому что, сколько ни было субъективнаго въ поэзіи Жуковскаго, и сколько ни слѣдуетъ отдѣлить въ его мнѣніяхъ на долю его собственнаго личнаго характера, этотъ романтическій консерватизмъ составляетъ черту цѣлой школы. Въ исторіи чисто литературныхъ идей школа исполнила свое дѣло, расширивъ область поэзіи и по содержанію, и по формѣ, подъ вліяніемъ европейскаго романтизма, хотя понятаго весьма неполно и односторонно; въ понятіяхъ общественныхъ она не ушла дальше карамзинскихъ преданій, которыя въ особенности вѣрно сохранилъ Жуковскій. Эта школа осталась въ сторонѣ отъ либеральнаго общественнаго движенія двадцатыхъ годовъ, происходившаго еще въ молодую ея пору, — еще меньше она участвовала въ тѣхъ литературныхъ стремленіяхъ, которыя одушевляли лучшихъ людей въ слѣдующія десятилѣтія.

Школа вовсе не была лишена желанія общаго блага, но, какъ свободолюбіе Карамзина, это желаніе было платоническое. Наслѣдовавши поколѣнію, которое еще не имѣло и мысли объ общественной самодѣятельности и котораго наиболѣе передовые люди представляли себѣ эту самодѣятельность только въ мнѳологической формѣ масонства, Жуковскій и люди его кружка

¹⁾ Соч., т. VI, «Нѣчто о привидѣніяхъ».

мало подвинули этотъ вопросъ: ихъ отвлеченная мораль и проповѣдь добродѣтели не примѣнялись къ реальнымъ фактамъ и къ существующему положенію вещей. Ихъ идеаль вполнѣ мирился съ сущностью этого положенія, въ которомъ они видѣли наилучшій изъ возможныхъ порядковъ. Перейти къ практическому пониманію этой отвлеченности, и по крайней мѣрѣ уразумѣть, если не указать, что противорѣчило ей въ дѣйствительности — на это уже не доставало ихъ силы, и когда это стали дѣлать другіе, они сочли это нарушеніемъ гражданской скромности, дерзостью и буйствомъ.

Европейскій романтизмъ имѣлъ и другую сторону, кромѣ тѣхъ стремленій въ средніе вѣка, въ легенду и патріархальный феодализмъ, о которыхъ мы говорили.

Въ Германіи національное возбужденіе, начатое движеніемъ прошлаго вѣка и доведенное до своей высшей степени въ періодъ Наполеоновскихъ войнъ ненавистью къ иноземному игу, также нашло свое поэтическое выраженіе въ формахъ романтизма. Національное возбужденіе воспринимало тѣ порывы къ свободѣ, которые были внушены «просвѣщеніемъ» восемнадцатаго вѣка, и въ войнахъ за освобожденіе оба интереса, національный и общественный, слились въ одно стремленіе, которое выразилось въ жизни политическимъ броженіемъ тайныхъ обществъ и въ литературѣ патріотической пропагандой и поэзіей: Кёрнеръ, Арндтъ, Янъ, Стефенсъ, Фолленіусъ, затѣмъ Бёрне и Гейне и т. д., представляли собой разные оттѣнки и разныя степени этого движенія; философія, въ лицѣ Фихте, стала политическимъ воззваніемъ.

Во Франціи шло свое романтическое движеніе, въ которомъ, какъ и въ нѣмецкомъ романтизмѣ, вопросъ о литературной реформѣ соединялъ въ себѣ, съ одной стороны, тоже стремленіе въ средніе вѣка, какъ золотой вѣкъ самобытной оригинальной жизни (какъ, нѣсколько позднѣе, это было въ Notre Dame de Paris), съ другой либеральные элементы, сливавшіеся съ политическимъ движеніемъ противъ реставраціи.

Въ Англіи, гдѣ великимъ столпомъ самостоятельнаго феодально-консервативнаго романтизма былъ Вальтеръ - Скоттъ, романы котораго обошли всю Европу, вездѣ возбуждая одинаковый интересъ, — другую сторону романтическаго движенія представила поэзія Байрона. Это было нѣчто неслыханное въ европейской литературѣ, которая еще не видѣла подобнаго соединенія роскошной поэзіи, мрачнаго озлобленія и язвительной сатиры.

Далеко не всѣ поняли тогда Байрона даже въ европейской литературѣ, но на тѣхъ, которые его поняли, онъ производилъ сильное возбуждающее дѣйствіе, смыслъ котораго былъ политическій радикализмъ. По рассказамъ современниковъ, Байронъ въ первый разъ проникъ въ большое европейское общество въ 1814-мъ году, на Вѣнскомъ конгрессѣ¹⁾, — любопытное совпаденіе двухъ явленій, представлявшихъ противоположные полюсы тогдашней европейской жизни. Байроновскій скептицизмъ отвергалъ тѣ узкія рамки, въ которыхъ была насильственно заключена европейская жизнь, и отрицаніе было такъ сильно, что тогдашніе его противники не находили для его поэзіи другой характеристики кромѣ «адской» и «сатанинской».

Въ литературѣ итальянской совершалось также параллельное движеніе въ романтическомъ стилѣ, — впрочемъ итальянская литература отозвалась всего менѣе въ нашей романтической школѣ, какъ и вообще въ цѣлой нашей литературѣ.

Эта сторона европейской романтики, тѣсно связанная съ политическимъ броженіемъ того времени, отразилась въ нашей литературѣ также, какъ отразилось европейское политическое броженіе въ нашей общественной жизни. У насъ эти два явленія были также связаны, потому что либерализмъ десятихъ и двадцатыхъ годовъ въ самомъ дѣлѣ имѣлъ въ себѣ много романческаго, и въ обстановкѣ тайныхъ обществъ, и въ идеализмѣ стремленій къ свободѣ...

Эту сторону тогдашняго романтизма мы можемъ видѣть въ первой эпохѣ дѣятельности Пушкина. Остановиваясь на немъ, мы опять имѣемъ въ виду не отдѣльное индивидуальное явленіе: Пушкинъ, какъ Жуковский, важенъ здѣсь для насъ какъ высшій представитель тогдашней литературы, и какъ явленіе характеристическое.

Мы говорили въ другомъ мѣстѣ, что, когда стали составляться общественныя понятія Пушкина, онъ былъ либераль, другъ многихъ членовъ тайнаго общества, и самъ имѣлъ сильное желаніе сдѣлаться его членомъ. Онъ встрѣчался съ Пестелемъ, который произвелъ на него большое впечатлѣніе²⁾; онъ былъ

1) Varnhagen, Denkwürdigkeiten, III, стр. 253.

2) Къ Пестелю относится одна замѣтка изъ дневника, писаннаго Пушкинымъ въ Кишиневѣ; напечатанная первоначально въ Библіограф. Запискахъ 1859, стр. 129, эта замѣтка повторена во 2-мъ изд. Пушкина (но безъ указанія, о комъ идетъ рѣчь, и притомъ неизвѣстно почему вмѣсто «9 апрѣля» здѣсь поставлено «9 февраля 1823 года»): «Утро провелъ съ П-мъ: умный человекъ во всемъ смыслѣ этого слова. Mon coeur est materialiste, mais ma raison s'y refuse. Мы имѣли съ нимъ разговоръ метафизической, политической, нравственный и проч. Онъ одинъ изъ самыхъ ориги-

въ болѣе или менѣе тѣсныхъ дружескихъ связяхъ съ Пушкинымъ, Ник. Муравьевымъ, Рылѣевымъ, Якушкинымъ, М. Ѳ. Орловымъ, Чаадаевымъ, А. Бестужевымъ, Охотниковымъ, В. Л. Давыдовымъ, Раевскими и пр. ¹⁾). Въ запискахъ современниковъ остались любопытныя воспоминанія о томъ, какъ живо завлекала его мысль о тайномъ обществѣ; друзья, члены общества, скрывали отъ Пушкина его существованіе, но онъ угадывалъ, что общество есть, и огорчался тѣмъ, что его не принимали. Одинъ изъ современниковъ рассказываетъ, что когда, въ 1827 году, Пушкинъ пришелъ проститься съ А. Г. Муравьевой, ѣхавшей въ Сибирь къ своему мужу Никитѣ, онъ сказалъ ей: «я очень понимаю, почему эти господа не хотѣли принять меня въ свое общество; я не стоилъ этой чести»...

Извѣстны его посланія къ Чаадаеву, который также принадлежалъ этому кругу, посланія къ Пушкину, и въ числѣ ихъ одно, посланное ему въ Сибирь. Изъ нихъ видно, что симпатія Пушкина съ этими людьми сопровождалась согласіемъ мнѣній и идеаловъ. Къ этому времени относится цѣлый рядъ его мелкихъ стихотвореній и эпиграммъ, имѣвшихъ довольно положительный общественный смыслъ. Мы упоминали въ другомъ мѣстѣ, какъ велика была извѣстность этихъ стихотвореній. Одинъ современникъ рассказываетъ, какъ Пушкинъ однажды удивился, услышавъ отъ него одно изъ своихъ стихотвореній этого рода («Ура! въ Россію скачетъ»), которое онъ считалъ неизвѣстнымъ публикѣ, — «а между тѣмъ всѣ его ненапечатанныя сочиненія: «Деревня», «Кинжалъ», «Четырехстишіе къ Аракчееву», «Посланіе къ Петру Чаадаеву» и много другихъ, были не только всѣмъ извѣстны, но въ то время не было сколько-нибудь грамотнаго прапорщика въ арміи, который не зналъ ихъ наизусть».

Тотъ же авторъ замѣчаетъ объ этой эпохѣ дѣятельности Пушкина: «Вообще Пушкинъ былъ *отголосокъ своего поколѣнія*, со всѣми его недостатками и со всѣми добродѣтелями. И вотъ, можетъ быть, почему онъ былъ поэтъ истинно народный, какихъ не бывало прежде въ Россіи». Нельзя не вспомнить также словъ, сказанныхъ нѣсколько позднѣе этого времени другимъ современникомъ, который, объясняя тогдашнее увлеченіе молодыхъ поколѣній Пушкинымъ, замѣчаетъ: «Не разнообразный геній его, не прелесть картинъ увлекали современную молодежь, а

нальныхъ умовъ, которыхъ я знаю». Цѣлый дневникъ, къ которому принадлежалъ этотъ отрывокъ, былъ уничтоженъ Пушкинымъ, какъ полагаютъ, въ 1826 году.

¹⁾ Ср. въ его письмѣ къ Жуковскому (въ 1826 году): «...Я былъ въ связи съ болѣею частью нынѣшнихъ заговорщиковъ» (Р. Арх. 1870, стр. 1177).

звучные стихи, изображавшіе *ихъ мысль*. Можно утвердительно сказать, что имя Пушкина всего болѣе сдѣлалось извѣстно въ Россіи по нѣкоторымъ его мелкимъ стихотвореніямъ, нынѣ забытымъ ¹⁾, но въ свое время ходившимъ по рукамъ во множествѣ списковъ ²⁾...

Не знаемъ, почему Полевой называетъ эти стихотворенія «забытыми», потому что онѣ вовсе не были забыты. Самъ Пушкинъ въ то время, измѣнивши свой прежній образъ мыслей, очень желалъ, чтобы ихъ забыли; нѣкоторые новѣйшіе критики трактовали ихъ какъ увлеченія молодости, которыя потомъ самъ Пушкинъ отвергалъ, — но все это не устраняетъ историческаго значенія этихъ мелкихъ стихотвореній. Напротивъ, они остаются любопытнымъ эпизодомъ тогдашней жизни и поэтическаго развитія самого Пушкина, и (за двумя-тремя исключеніями) вовсе не служатъ къ ущербу для его достоинства или славы. Эти стихотворенія заключали въ себѣ благородные порывы къ лучшему порядку вещей, и язвительное обличеніе людей и вещей, которые тогда дѣйствительно вредили общественному благу: Аракчеевъ, кн. Голицынъ, Фотій и т. д., вотъ люди, противъ которыхъ обращалось остроуміе его эпиграммъ. И было весьма естественно, что этотъ періодъ дѣятельности Пушкина такъ быстро составилъ его славу: увлеченіе публики было совершенно законное, и въ немъ ясно обнаруживался инстинктъ, указывавшій литературѣ ея общественныя задачи и обязанности. Публика находила въ насмѣлкѣ Пушкина выраженіе собственной мысли: отсутствіе всякой публичности, всякаго права общественнаго мнѣнія дѣлало эти легкіе памфлеты предметомъ общаго интереса; мысль, раздѣляемая самой публикой, высказывалась здѣсь съ такимъ остроуміемъ, съ такой поэтической наглядностью, что эти произведенія естественно получали быструю и необыкновенную популярность; явились вскорѣ и подражанія, иногда столь удачныя, что ихъ смѣло приписывали Пушкину. Это было взаимное пониманіе, которое было едвали не первымъ примѣромъ въ нашей литературѣ, въ этой степени...

Въ образѣ мыслей Пушкина еще въ раннюю пору обнаруживались извѣстные консервативные вкусы, которые впоследствии развились въ цѣлую систему мнѣній; но въ началѣ двадцатыхъ годовъ, конечно, подъ вліяніемъ времени и тогдашняго его круга, онъ высказывалъ мнѣнія иного рода, очень справедливыя и свободныя отъ предразсудковъ. Эти мнѣнія были совер-

¹⁾ Авторъ разумѣлъ конечно тѣ, о которыхъ мы сейчасъ говорили.

²⁾ Слова Полеваго въ «Телеграфѣ», 1829, ч. 27, стр. 227.

шенно согласны съ понятіями либеральнаго кружка, гдѣ онъ имѣлъ столько друзей, и далеко не были легкомысленны. Вотъ два-три примѣра.

Въ любопытныхъ отрывкахъ изъ кишиневскаго дневника Пушкина, напечатанныхъ г. Е. Я. въ «Библіографическихъ Запискахъ» 1859 г., Пушкинъ излагаетъ въ нѣсколькихъ словахъ свой взглядъ на царствованіе преемниковъ Петра Великаго, и замѣчаетъ о неудавшихся попыткахъ аристократіи усилить свою власть: «это спасло насъ отъ чудовищнаго феодализма, и существованіе народа не отдѣлилось вѣчною чертою отъ существованія дворянъ»; — въ случаѣ успѣха эти замыслы высшаго дворянства гибельно отозвались бы на народной жизни, «затруднили бы или уничтожили всѣ способы разрѣшить» крестьянскій вопросъ, «ограничили бы число дворянъ и заградили бы для прочихъ сословіи путь къ достиженію должностей и почестей государственныхъ». «Нынѣ же, говоритъ Пушкинъ, желаніе лучшаго соединяють¹⁾ всѣ состоянія противу общаго зла, и твердое мирное единодушіе можетъ скоро поставить насъ на ряду съ просвѣщенными народами Европы». Издатель этихъ замѣтокъ справедливо указываетъ значительность этого мнѣнія, высказаннаго Пушкинымъ въ двадцатыхъ годахъ, когда было довольно людей, думавшихъ также о крестьянскомъ вопросѣ, но когда даже между самыми образованными людьми очень немногіе имѣли такое правильное понятіе объ историческомъ значеніи русской аристократіи.

Интересно дальше мнѣніе Пушкина о придворныхъ нравахъ временъ Екатерины II. Онъ говоритъ о нихъ очень строго. Духъ дворянства упалъ: «стоитъ только вспомнить о пощечинахъ, щедро ими (временщиками) раздаваемыхъ нашимъ князьямъ и боярамъ, о славной роспискѣ Потемкина, хранимой донинѣ въ одномъ изъ присутственныхъ мѣстъ государства, объ обезьянѣ графа Зубова, о кофейникѣ князя Куракина и проч.... Они (временщики) не знали мѣры своему корыстолюбію, и самые отдаленные родственники временщика съ жадностью пользовались краткимъ его царствованіемъ. Отселѣ произошли сіи огромныя имѣнія вовсе неизвѣстныхъ фамилій, и совершенное отсутствіе чести и честности въ высшемъ классѣ народа. Отъ канцлера до послѣдняго протоколиста все крало и все было продажно». Сравнивъ эти мнѣнія, на примѣръ, съ извѣстной эпиграммой Пушкина о временахъ Екатерины, мы увидимъ, что эпиграмма вовсе не была случайнымъ легкомысліемъ и шалостью

¹⁾ «Соединяетъ»?

писателя, что въ ней высказалось и накупѣвшее чувство справедливаго недовольства: становится попятенъ пренебрежительный тонъ, съ которымъ онъ говоритъ о временахъ сѣверной Семирамиды.

Эти примѣры тогдашнихъ мнѣній Пушкина показываютъ, что Пушкинъ въ ту пору умѣлъ довольно ясно понимать политическіе предметы, о которыхъ впослѣдствіи сталъ думать много иначе. Своими сатирическими стихотвореніями онъ, конечно, содѣйствовалъ распространенію въ обществѣ извѣстныхъ взглядовъ, которые у него самого образовались, безъ сомнѣнія, подъ вліяніемъ времени и друзей его въ тайномъ обществѣ.

Этотъ періодъ и послѣ, когда произошла очень сильная перемѣна во взглядахъ Пушкина, пробуждалъ въ немъ иногда теплое чувство. Онъ вспоминалъ о своихъ друзьяхъ на лицейскихъ годовщинахъ. Въ бумагахъ Пушкина остался чрезвычайно любопытный планъ романа изъ русской жизни, задуманный имъ въ послѣднюю пору, около 1835-го года; начало этого романа помѣщено было въ Анненковскомъ изданіи, и вошло въ послѣдующія, подъ заглавіемъ «Записки М.». По замѣчанію г. Е. Я., напечатавшаго въ Библ. Запискахъ упомянутый планъ, Пушкинъ хотѣлъ представить въ этомъ романѣ различныя стороны русскаго общества двадцатыхъ годовъ, и самая программа, при всей краткости ея, не лишена нѣкоторыхъ указаній для біографіи Пушкина. Въ самомъ дѣлѣ, въ романѣ должны были явиться люди самыхъ различныхъ характеровъ и общественныхъ положеній, и въ одномъ мѣстѣ плана ясно видно, что въ романѣ должно было явиться и тайное общество. Вотъ это мѣсто: «...кн. Шаховской, Ежова — Истомина, Гриб., Завад. — Домъ Всеволожскихъ—Котляревскій—Мордвиновъ, его общество—Х...—общество *умныхъ* (И. Долг. С. Труб. Ник. Мур. etc.)» Одинъ этотъ рядъ именъ указываетъ, что здѣсь долженъ былъ явиться міръ театральный, литературный, высшая бюрократическая сфера, и наконецъ «общество *умныхъ*», въ которомъ онъ на первомъ планѣ называетъ здѣсь кн. Илью Долгорукаго, кн. Сергѣя Трубецкаго, Никиту Муравьева.

Такимъ образомъ, по своимъ общественнымъ понятіямъ Пушкинъ въ первомъ періодѣ своей дѣятельности могъ быть справедливо причисленъ къ либеральному кругу. Въ этомъ смыслѣ дѣйствовали на него и романтическія вліянія. Его талантъ созрѣвалъ очень быстро: онъ скоро прошелъ тѣ ступени, которыя представляла прежняя литература, и еще въ лицейскую пору усвоилъ себѣ то, что сдѣлали для стиха и языка Державинъ, Карамзинъ, Жуковский и Батюшковъ. Романтическіе эле-

менты проникали тогда все больше и больше въ нашу литературу, подъ вліяніемъ французской, нѣмецкой, англійской и отчасти итальянской литературы. Французская литература была насущной пищей тогдашнихъ поколѣній; Жуковскій былъ въ особенности проводникомъ нѣмецкихъ поэтическихъ вліяній. Но самое сильное впечатлѣніе произвела въ нашей молодой романтической школѣ, въ томъ числѣ и на Пушкина, поэзія Байрона ¹⁾. Давно было замѣчено, что Пушкинъ, по всему складу своего ума и характера не могъ понять Байрона должнымъ образомъ; замѣчено было также, что онъ не былъ и его простымъ подражателемъ; тѣмъ не менѣе на его произведеніяхъ замѣтно впечатлѣніе, произведенное на него Байрономъ,—всею больше на поэмахъ, слѣдовавшихъ за «Русланомъ и Людмилой». Разочарованность, недовольство условіями жизни, романтическое, несовѣсть ясное исканіе свободы, которыя Пушкинъ влагасть въ своихъ героевъ, несомнѣнно складывались подъ вліяніемъ байроновской поэзіи. Поэмы Пушкина нравились молодому поколѣнію, которое расположено было къ романтической мечтательности, и простодушные почитатели Пушкина видѣли въ немъ «нашего Байрона». Независимо отъ чисто поэтическихъ достоинствъ, которыя увлекали тогдашнихъ читателей какъ нѣчто еще небывалое, поэмы Пушкина представляли имъ еще новый интересъ по своему содержанію, въ которомъ романтическая мысль сдѣлала шагъ дальше романтизма Жуковского. Пушкинъ, по всей натурѣ своей, не былъ способенъ къ тому меланхолическому изныванію, которое совершенно удаляло Жуковского отъ дѣйствительной жизни и естественно перешло потомъ въ крайній піэтизмъ. Въ поэзіи Пушкина, напротивъ, чувство дѣйствительности было очень сильно, начиналась рефлексія, правда несамостоятельная, неглубокая, но все-таки направленная къ дѣйствительной жизни. Въ этой рефлексіи современниками предполагалось конечно многое, чего она собственно не заключала; въ Пушкинѣ думали видѣть поэта, который выскажетъ стремленія молодыхъ поколѣній...

Пушкинъ не исполнилъ этихъ ожиданій; теперь намъ видно, что по его дѣйствительнымъ свойствамъ какъ человѣка и писателя, на него и нельзя было возлагать такихъ ожиданій.

¹⁾ Въ 1820-мъ году А. И. Тургеневъ пишетъ Дмитріеву: «...Итальянцы переводятъ поэмы Байрона и читаютъ ихъ съ жадностію; слѣдовательно тоже явленіе, что и у насъ на Невѣ, гдѣ Жуковскій дремлетъ надъ Байрономъ, и на Вислѣ, гдѣ Вяземскій бредитъ о Байронѣ»... (Р. Арх., 1867, стр. 653). Кн. Вяземскій держался тогда очень либеральныхъ мнѣній, чѣмъ былъ очень недоволенъ Карамзинъ (см. въ перепискѣ Карамзина съ Дмитріевымъ).

Конецъ царствованія Александра I, который былъ временемъ перелома въ нашей общественной жизни, былъ и временемъ окончательнаго перелома въ развитіи миѣній Пушкина. Пренія связи, которыя оказывали несомнѣнное вліяніе на его образъ мыслей, порвались окончательно, когда исчезъ весь кружокъ, всѣ наиболѣе замѣчательные умы и характеры либеральной части общества. Но внутренняя причина перелома заключалась въ самомъ Пушкинѣ: въ его поэтическомъ характерѣ господствующей чертой было то объективное художественное воззрѣніе, которое дѣлало ему въ поэзіи доступными самыя разнообразныя стороны жизни, но въ практическомъ смыслѣ обозначалось извѣстнымъ безучастіемъ къ вопросамъ настоящей минуты. Была и другая черта въ его характерѣ, которая съ такимъ же результатомъ отражалась на его общественныхъ понятіяхъ. По справедливому замѣчанію одного изъ его новѣйшихъ критиковъ, «Пушкинъ вообще имѣлъ въ характерѣ расположеніе любить и уважать преданія, любилъ старину, былъ, если можно такъ выразиться, въ душѣ до нѣкоторой степени старинный человѣкъ, несмотря на то, что проницательный умъ, образованность и практическій взглядъ на вещи заставляли его превосходно понимать различіе между отжившими свое время понятіями и потребностями настоящаго». Эта наклонность къ консерватизму развилась потомъ до того, что въ предметахъ литературныхъ Пушкинъ пересталъ понимать новыя взгляды и требованія критики, а въ общественныхъ предметахъ сталъ поклонникомъ *status quo*, который конечно мало годился быть идеаломъ.

Эти черты обнаруживались еще въ пору его либерализма. Въ его вольнолюбивыхъ миѣніяхъ было гораздо больше романтическаго увлеченія хорошей натуры, чѣмъ истиннаго убѣжденія. Онъ былъ довольно уменъ, какъ мы видѣли, чтобы понимать раціональныя основанія своихъ тогдашнихъ либеральныхъ понятій, но натура дѣлала свое, и упомянутое безучастіе брало верхъ надъ логическимъ разсужденіемъ. Самые пламенные его поклонники, какъ Бѣлинскій, замѣчали, что его «мыслительность» уступала въ немъ поэтической созерцательности; поэтому либеральныя его миѣнія были больше навѣяны временемъ, чѣмъ продуманы и укрѣплены собственнымъ размышленіемъ. Случайныя впечатлѣнія, личныя увлеченія имѣли надъ нимъ слишкомъ большую силу, и когда обстановка измѣнилась, когда наступили совершенно иныя времена, онъ подчинился общему теченію жизни. Его друзья двадцатыхъ годовъ съ неудовольствіемъ видѣли въ немъ недостатокъ серьезности, который и тогда мало удостоверялъ ихъ въ прочности его образа мыслей. Его не да-

ромъ не принимали въ тайное общество, въ которое онъ нѣсколько разъ самымъ горячимъ образомъ порывался проникнуть...

Либеральная школа романтизма кончилась съ концомъ политической либеральной партіи. Съ болѣе обширной исторической точки зрѣнія это значило то, что общій уровень жизни не выносилъ этихъ идей, что это были идеи слишкомъ передовыя, которыя, при всемъ ихъ отвлеченномъ достоинствѣ, не были довольно понятны мало развитому обществу. Онѣ нашли себѣ относительно только ничтожное число послѣдователей, и представители ихъ должны были погибнуть при первой попыткѣ заявить ихъ фактически и открыто...

Роль Пушкина была въ этомъ случаѣ характеристична. По сущности своихъ мнѣній, онъ былъ «старинный человѣкъ», и онъ не сохранилъ съ этимъ временемъ никакой солидарности; его позднѣйшія мнѣнія были чрезвычайно непохожи на его же порывы двадцатыхъ годовъ. Онъ больше и больше мирится съ жизнью, какъ она есть, и находитъ мотивы для поэзіи тамъ, гдѣ она была-бы немыслима для писателя, проходившаго черезъ байроновское «отрицаніе», или для писателя, болѣе требовательнаго въ своемъ пониманіи общественной дѣйствительности.

Въ 1826 году Пушкинъ еще не «отказывался торжественно» отъ своихъ прежнихъ произведеній либерально-сатирическаго свойства. Упомянувъ въ письмѣ къ Жуковскому о смерти одного значительнаго лица, онъ замѣчаетъ, что Жуковский въ послѣднее время не обращался къ этому лицу съ своей лирой, и продолжаетъ: «Это лучший упрекъ ему. Никто болѣе тебя не имѣетъ права сказать: гласъ лиры—гласъ народа, слѣдств. и я не совсѣмъ былъ виноватъ, подсвистывая ему до самого гроба». Свои отношенія къ новому правительству онъ излагаетъ въ томъ же письмѣ такимъ образомъ. Онъ указываетъ на свои связи со многими изъ заговорщиковъ, на то, что онъ все-таки былъ совершенно постороннимъ самому дѣлу, и продолжаетъ: «Теперь положимъ, что правительство и захочетъ прекратить мою опалу ¹⁾: съ нимъ я готовъ *условиваться* (буде условія необходимы); но вамъ рѣшительно говорю — не отвѣчать и не ручаться за меня ²⁾. Мое будущее поведеніе зависитъ отъ об-

¹⁾ Т.-е. псковскую ссылку, продолжавшуюся со временъ имп. Александра.

²⁾ Выше онъ объяснялъ почему: «...мудрено мнѣ требовать твоего заступленія предъ государемъ: не хочу охмѣлить тебя въ этомъ пиру» — деликатное чувство, очень естественное. Кромѣ того Пушкинъ, кажется, не желалъ этого заступленія, предполагая какую-нибудь возможную случайность, гдѣ онъ могъ бы нарушить «условія» и слѣд. компрометтировать своихъ друзей.

стоятельствъ, отъ обхожденія со мною правительства etc.»¹⁾. Въ этихъ послѣднихъ словахъ говорило конечно въ Пушкинѣ болѣе мнѣніе о самомъ себѣ, сознаніе своего достоинства и значенія. Существующія біографіи еще не разъяснили, въ чемъ собственно заключался дальнѣйшій ходъ дѣла, о началѣ котораго здѣсь говорится и послѣднимъ заключеніемъ котораго была полная амністія Пушкина и милости двора²⁾. Оставляя по необходимости неразъясненнымъ этотъ предметъ, замѣтимъ, что Пушкинъ по всей вѣроятности преувеличивалъ надобность «условій». Онъ уже вступалъ тогда, въ своей внутренней жизни, въ тотъ періодъ, о которомъ мы говорили и который обнаружилъ его истинный характеръ. Это былъ періодъ его зрѣлости, періодъ чистаго художественнаго творчества, понимаемаго въ романтическомъ стилѣ, и общественнаго индифферентизма, переходившаго наконецъ въ полное признаніе status quo. Поэзія, по его убѣжденію, которое онъ любилъ повторять и въ стихахъ, и въ частной бесѣдѣ, имѣла цѣлью поэзію, и ничего болѣе; творчество не подчиняется ничему—рѣшительно ничему, кромѣ творчества или вдохновенія; поэтъ — избранникъ небесъ, существующій для высокихъ созданій, «ненавидящій и отгоняющій профанную чернь». Въ 1825-мъ году былъ написанъ «Борисъ Годуновъ», съ котораго считаютъ зрѣлую эпоху Пушкина, періодъ чистаго, свободнаго творчества, искусства для искусства. Съ этой дороги онъ уже болѣе не сходилъ.

Какія великія заслуги были здѣсь оказаны Пушкинымъ, объ этомъ мы считаемъ излишнимъ говорить и можемъ просто сослаться на двухъ его критиковъ, — сороковыхъ и пятидесятихъ годовъ. Пушкинъ положилъ послѣдній камень въ формальномъ образованіи нашей литературы: онъ окончательно установилъ въ ней права и требованія художественной поэзіи, уничтожилъ всѣ старыя узкія понятія и предрасудки, создалъ поэтическій языкъ, свободный отъ реторики и натянутости; поэзія была поставлена въ понятіяхъ общества на подобающее ей мѣсто и получила свой настоящій смыслъ. Несмотря на то, публика, такъ горячо возвеличившая Пушкина, какъ своего «національнаго» поэта, стала подъ конецъ охлаждать къ нему. Безусловные поклонники Пушкина много разъ обвиняли за это публику, которая, по ихъ словамъ, перестала понимать поэта именно въ то время, когда онъ вышелъ изъ своей юношеской поры и сталъ создавать

¹⁾ Р. Арх. 1870, стр. 1176—77.

²⁾ Ср. Матеріалы, г. Анненкова, стр. 172.

вполнѣ зрѣлыя, серьезныя и высокія произведенія. Даже Бѣлинскій повторялъ эти обвиненія.

Но онѣ не совсѣмъ справедливы. Искусство для искусства есть теоретическая крайность, которая рѣдко и даже едвали когда-нибудь проходит даромъ для своихъ послѣдователей. Въ убѣжденіяхъ поэта она необходимо влечетъ за собой послѣдствія, которыхъ онъ не разсчитываетъ. Въ своихъ отношеніяхъ къ реальной жизни онъ никогда не можетъ оставаться на высотѣ своихъ воззрѣній, и эта жизнь, въ концѣ концовъ, даже безъ его вѣдома дѣлаетъ его человѣкомъ партіи, становитъ его на одну сторону общественной жизни противъ другой, такъ что наконецъ и самое искусство для искусства становится невозможнымъ, и оно служитъ извѣстному общественному принципу или партіи. Такъ, одному изъ величайшихъ жрецовъ такого искусства случалось становиться въ вопіющее противорѣчіе къ самымъ національнымъ и законнымъ стремленіямъ общества и народа, какъ это было, напр., съ Гёте во время войны за освобожденіе и послѣ. Поэту, съ высокимъ понятіемъ о своемъ «пророческомъ» посланничествѣ, не трудно преувеличить свое мнимое привилегированное положеніе, считать себя провозвѣстникомъ высокихъ истинъ и стать равнодушнымъ къ живѣйшимъ интересамъ общества, или даже враждебнымъ къ нимъ.

...Тьмы низкихъ истинъ мнѣ дороже
Насъ возвышающій обманъ!..

Къ такимъ рискованнымъ выводамъ приходилъ поэтъ отъ понятія объ искусствѣ и о своемъ положеніи въ обществѣ. Это была точка зрѣнія по преимуществу романтическая.

«Насъ возвышающій обманъ» конечно не можетъ сохранить-ся для всѣхъ и навсегда, и дѣло поэта окажется фальшивымъ, когда обманъ или самообольщеніе раскрывается. Какія «низкія истины»? И что, если иная низкая истина, при нѣкоторомъ размышленіи, разрушить весь, насъ будто бы возвышающій обманъ? Общество думало не такъ, какъ поэтъ. Въ началѣ оно возвеличило Пушкина какъ «отголосокъ» своихъ мнѣній; инстинктомъ оно вѣрно угадывало, что поэзія должна быть выраженіемъ дѣйствительной жизни, защитой ея лучшихъ интересовъ, указаніемъ живого идеала. Общество нельзя обвинять, что оно охладѣвало къ Пушкину, когда онъ предлагалъ ему такъ сказать предметы художественной роскоши, не отвѣчая настоятельной потребности общества въ изображеніи русской дѣйствительности.

Во второмъ періодѣ своей дѣятельности Пушкинъ кончалъ Онѣгина. Это была единственная крупная вещь, въ которой онъ

говорилъ о современной жизни; затѣмъ его поэтическое творчество искало себѣ матеріала или только въ старинѣ, или въ сюжетахъ, совершенно чужихъ русской жизни. Извѣстно, съ какимъ жаднымъ интересомъ публика принимала Онѣгина и какъ мало-по-малу охлаждѣвала къ нему, хотя послѣднія главы были нисколько не хуже первыхъ. Причина этого охлажденія была, кажется, именно та, какую мы указывали: публика не удовлетворилась наконецъ однимъ романтическимъ капризомъ романа, и вмѣстѣ ошиблась въ своемъ ожиданіи, что найдетъ въ «Онѣгинѣ» болѣе серьезный общественный интересъ. Въ своемъ недовольствѣ она была довольно права.

Позднѣйшая критика ставила «Онѣгина» опять очень высоко. У насъ вошло со временъ Бѣлинскаго въ обычай строить исторію общества на поэтическихъ типахъ. Вообще говоря, это построение было довольно ошибочное, и во всякомъ случаѣ неполное. Оно было умѣстно тогда, когда еще стоялъ на первомъ планѣ общій вопросъ о значеніи литературы, и когда внѣ чисто литературныхъ разсужденій невозможна была ни другая исторія общества, и никакое другое разъясненіе его движущихъ идей и «злобы дня». Не говоря о томъ, что кромѣ литературныхъ типовъ есть множество другого матеріала для исторіи общества, самые литературные типы были всегда слишкомъ неполны. Если мы даже ограничимся новѣйшей литературой, болѣе обильной въ этомъ отношеніи, можно ли сказать, что литература двадцатыхъ годовъ представила главнѣйшіе общественные типы того времени, или достаточно ясно нарисовала тѣ, какіе въ ней есть,—и точно также литература тридцатыхъ, сороковыхъ годовъ и т. д.? Нельзя забыть и того, что наша поэтическая литература далеко не была «свободнымъ творчествомъ»: странно было бы и говорить о немъ, гдѣ каждый шагъ писателя могъ быть сдѣланъ только подъ надзоромъ, гдѣ опека связывала писателя каждый разъ, какъ его «творчество» покушалось переступить указанный предѣлъ.

Такъ множество разъ говорилось о томъ, что «Онѣгинъ» представляетъ прекрасное отраженіе тогдашняго общества, что герой поэмы есть характеристическій типъ и т. п. Но типъ Онѣгина еще въ тридцатыхъ годахъ возбуждалъ нѣкоторые недомѣнкіи въ критикѣ, которая уже тогда не столько придавала значенія этому типу и самому роману, сколько подробностямъ, представлявшимъ разнообразныя картины русской жизни. Какъ общественный типъ, Онѣгинъ въ самомъ дѣлѣ далеко не такъ ясенъ и характеристиченъ, какъ, напр., личность Чацкаго, если взять примѣръ изъ тогдашней литературы, или характеры Го-

голя; для этихъ послѣднихъ ненужны вовсе изученные комментаріи, какіе находили нужными для объясненія Онѣгина. Эта поэма начата была Пушкинымъ еще въ 1823 году. Вспомнивъ это время, мы найдемъ, быть можетъ, что Онѣгинъ есть дѣйствительно скорѣе типъ изъ тѣснаго круга свѣтской жизни, чѣмъ «представитель времени»: время было болѣе оживленное общественнымъ интересомъ и разнообразное, чѣмъ можно было бы судить по «Онѣгину». Мы не вправѣ конечно требовать отъ писателя изображенія тѣхъ, а не другихъ людей и сторонъ жизни, — но объясняя себѣ причины его выбора и предпочтенія, мы составимъ себѣ понятіе объ его вкусахъ и горизонтѣ зрѣнія, и въ настоящемъ случаѣ должны опять прійти къ заключенію, что извѣстная сторона тогдашнихъ идей, если и была понятна для Пушкина, то все-таки осталась ему чужда и неинтересна...

Его другія произведенія, вообще произведенія послѣдняго періода, составляющія лучшій цвѣтъ его поэзіи, не имѣютъ отношенія къ современности. Они оказали великое вліяніе на литературу какъ на искусство; поэмы и рассказы изъ старины показываютъ превосходное знаніе народной жизни и научили изображать ее,—но они не дѣйствовали на общество прямо, не давали ему сознанія общественнаго, не указывали ему идеала. Его главнѣйшее отношеніе къ русской жизни въ эту пору было отношеніе поэта историческаго. «Но и здѣсь,—говоритъ новѣйшій критикъ Пушкина,—Пушкинъ остался вѣренъ самому себѣ; онъ не высказалъ ничего принадлежащаго ему; взглядъ его на историческіе характеры и явленія былъ не болѣе какъ отраженіе общихъ понятій. Петръ—великій человекъ, мудрый правитель; Карлъ—опрометчивый герой, Мазепа—коварный измѣнникъ,—болѣе ничего не высказано въ «Полтавѣ» объ этихъ лицахъ. «Борисъ Годуновъ»—повтореніе характеровъ и взглядовъ, высказанныхъ Карамзинымъ. Вообще историческія произведенія Пушкина сильны общою психологическою вѣрностью характеровъ, но не тѣмъ, чтобы Пушкинъ прозрѣвалъ въ изображаемыхъ событіяхъ глубокой внутренней интересъ ихъ, какъ, на примѣръ, Гёте въ своемъ Гёцц фонъ-Берлихингенѣ» ¹⁾ и т. д. Точка зрѣнія Пушкина была вполне карамзинская. Онъ теперь совершенно иначе думалъ объ «Исторіи Государства Россійскаго», политическій смыслъ которой былъ для него прежде довольно ясенъ. «Пушкинъ до того вошелъ (теперь) въ ея духъ,—говоритъ Бѣлинскій,—до того проникнулся имъ, что сдѣлался

¹⁾ Соврем. 1855, № 3, критика, стр. 30.

рѣшительнымъ рыцаремъ исторіи Карамзина, и оправдывалъ ее не только какъ исторію, но какъ политическій и государственный коранъ, долженствующій быть пригоднымъ какъ нельзя лучше и для нашего времени, и остаться такимъ навсегда»¹⁾.

Если мы обратимся къ мнѣніямъ Пушкина, какія онъ высказывалъ въ это позднѣйшее время, особенно съ тридцатыхъ годовъ, о разныхъ предметахъ общественнаго свойства, мы встрѣтимъ именно эту карамзинскую точку зрѣнія, въ примѣненіи къ различнымъ общественнымъ и литературнымъ предметамъ; мы будемъ удивлены нетребовательностью его мнѣній, его замѣчательнымъ согласіемъ съ господствующей рутиной извѣстныхъ сферъ. Нѣсколько образчиковъ, выбранныхъ на удачу изъ его сочиненій, напечатанныхъ имъ при жизни или оставшихся въ его рукописяхъ, достаточно познакомятъ съ этимъ характеромъ его мнѣній. Такъ онъ съ пренебреженіемъ отзывался о «жалкихъ скептическихъ умствованіяхъ минувшаго столѣтія»; о нѣмецкой философіи, которой стали заниматься у насъ въ тридцатыхъ годахъ, онъ замѣчаетъ, что она «нашла, можетъ быть, слишкомъ много молодыхъ послѣдователей», но что впрочемъ ея вліяніе было благотворно: «она спасла нашу молодежь отъ холоднаго скептицизма французской философіи (кажется, что отъ него нечего было спасать) и удалила ее отъ упоительныхъ и вредныхъ мечтаній, которыя имѣли столь ужасное вліяніе на лучший цвѣтъ предшествовавшаго поколѣнія»; онъ неловко защищаетъ меценатское покровительство литературѣ; еще болѣе неловко защищаетъ цензуру²⁾; о крестьянскомъ вопросѣ онъ высказывалъ точно тѣже понятія, какія имѣлъ Карамзинъ³⁾; рассуждая о

1) Соч. Бѣлинскаго, 8, стр. 640.

2) Вотъ его мысли: «Аристократія самая мощная, самая опасная (!) есть аристократія людей, которые на цѣлыя поколѣнія, на цѣлыя столѣтія налагаютъ свой образъ мыслей, свои страсти, свои предразсудки. Что значить аристократія породы и богатства въ сравненіи съ аристократіей пишущихъ талантовъ? (!) Никакое богатство не можетъ перекупить вліяніе обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правленіе не можетъ устоять противу всеразрушительнаго дѣйствія типографскаго снаряда (!). Уважайте классъ писателей, но не допускайте же его овладѣть вами совершенно...

«Дѣйствіе чловѣка мгновенно и одно (isolé), дѣйствіе книги множественно и повсемѣстно. Законы противу злоупотребленій книгопечатанія не достигаютъ цѣли закона (!): не предупреждаютъ зла, рѣдко его пресѣкая. Одна цензура можетъ исполнить то и другое».

Что думалъ въ это время Пушкинъ о русской литературѣ?

3) «Конечно, должны еще произойти великія перемѣны,—говоритъ онъ, изобразивши по своему положенію крестьянъ;—но не должно торопить времени и безъ того уже довольно дѣятельнаго (въ тридцатыхъ годахъ!). Лучшія и прочтѣйшія измѣненія суть тѣ, которыя происходятъ отъ одного улучшенія нравовъ, безъ насильственныхъ потрясеній политическихъ». Эта послѣдняя мысль повторена имъ и въ

важности придворнаго этикета, и упоминая, что импер. Александръ любилъ простоту и непринужденность, Пушкинъ замѣчаетъ, что «онъ ослабилъ этикетъ, который во всякомъ случаѣ не худо возобновить»; онъ пишетъ цѣлое обличеніе противъ Радищева, не только слишкомъ строгое, но и несправедливое, и во всякомъ случаѣ такое, какого Пушкину лучше было бы не писать, и т. д. ¹⁾. Вспомнимъ потомъ его постоянную и мелочную погоню за аристократизмомъ, его нападенія—въ тогдашнемъ офиціалномъ вкусѣ—на такъ-называемыхъ французскихъ «крикуновъ», т.-е. парламентскихъ ораторовъ и публицистовъ, его стихотворные комплименты («Въ часы забавъ иль празднои скуки»; «Съ Гомеромъ долго ты бесѣдовалъ одинъ») и т. д.

Въ своихъ мнѣніяхъ литературныхъ Пушкинъ, какъ извѣстно, несмотря на прежнія увлеченія, оставался до конца приверженцемъ преданій Арзамаса. По словамъ его біографа, «Пушкинъ сохранилъ навсегда уваженіе, какъ къ лицамъ, признаннымъ авторитетами въ средѣ Арзамаса, такъ и къ самому способу дѣйствованія во имя идей, обсужденныхъ цѣлымъ обществомъ,... и къ одному личному мнѣнію, становившемуся наперекоръ мнѣнію общему, уже никогда не имѣлъ уваженія». Біографъ соглашается, что этотъ способъ дѣйствованія уничтоженъ былъ временемъ, и «распространеніемъ круга писателей, вслѣдствіе общаго разлива свѣдѣній и грамотности», что самъ Пушкинъ содѣйствовалъ паденію стараго обычая, распространивъ число писателей и стихотворцевъ; но біографъ повторяетъ тѣмъ не менѣе, что Пушкинъ, въ качествѣ члена старыхъ литературныхъ обществъ, не имѣлъ симпатіи именно къ «произволу журнальныхъ сужденій, вскорѣ замѣтившему ихъ и захватившему довольно обширный кругъ дѣйствія» ²⁾. Но этотъ «произволь, захватившій обширный кругъ дѣйствія» (какимъ онъ могъ представляться Пушкину) возникновеніе дѣйствительной критики и общественнаго мнѣнія; — потому что такова была въ самомъ дѣлѣ критика Полеваго и Надеждина. Пушкинъ, какъ извѣстно, не любилъ этой критики; онъ обыкновенно съ большимъ — хотя прикрываемымъ — пренебреженіемъ упоминаетъ о своихъ критикахъ, будто бы не говорившихъ ничего дѣльнаго; съ его словъ и послѣ повторяли, что критика

другомъ мѣстѣ—въ «Капитанской дочкѣ» по поводу пытки и свирѣпыхъ уголовныхъ наказаній. (Сочин., т. IV, стр. 276).

¹⁾ Ср. въ Сочин., т. V, стр. 259, 376, 386, 388—391, 393, 412 и слѣд.; Библиогр. Записки, 1859 и особенно еще слова Гоголя о Пушкинѣ, Р. Арх. 1866, стр. 1731—1737.

²⁾ Матеріалы, стр. 53—54.

его времени мало его понимала. На дѣлѣ это было не совсѣмъ справедливо, и критика, особенно въ послѣдніе годы, умѣла очень хорошо судить объ его произведеніяхъ, хвалила ихъ не голословно, и недостатки школы указывала такъ рельефно, какъ этого еще никогда не случалось до тѣхъ поръ въ нашей литературѣ. Критика была не всегда вѣрна, но въ ея мнѣніяхъ было много очень справедливаго.

Недовольство Пушкина объясняется не тѣмъ, чтобы онъ отвергалъ принципы и требованія этой критики и вообще новаго литературнаго движенія (онъ и не входилъ въ изслѣдованіе этихъ принциповъ), а тѣмъ консервативнымъ упорствомъ, какое внушала ему традиція Арзамаса и которая совершенно соотвѣтствовала всѣмъ его мнѣніямъ въ тридцатыхъ годахъ. Кружокъ бывшаго Арзамаса, во главѣ котораго сталъ теперь Пушкинъ, совершенно остепенившійся, остался особнякомъ въ русской литературѣ. Нельзя отвергать, чтобы этотъ ближайшій кружокъ не имѣлъ своихъ достоинствъ; напротивъ, въ немъ было, особенно подъ вліяніемъ Пушкина, много вкуса и художественнаго пониманія литературы—однимъ изъ самыхъ памятныхъ примѣровъ этого останется вѣрная оцѣнка первыхъ произведеній Гоголя; но нѣсколько высокомѣрное отношеніе, въ которое этотъ кружокъ ставилъ себя къ позднѣйшей литературѣ, особенно по смерти Пушкина, тѣмъ не менѣе вовсе не оправдывалось сущностью дѣла. Кружокъ пересталъ наконецъ понимать движеніе литературы; онъ остановился на сантиментальномъ консерватизмѣ, и опять однимъ изъ самыхъ памятныхъ примѣровъ его страннаго положенія осталось упомянутое нами отношеніе этого кружка къ Гоголю въ пору его религіозно-самолюбивой мономаніи, когда онъ самъ сталъ разрушать свое дѣло и когда кружокъ поддерживалъ его въ этомъ. Пушкинъ уже не былъ свидѣтелемъ этого, но подобная роль кружка, вѣрно хранившаго его традиціи, показываетъ характеръ понятій школы.

Самъ Пушкинъ часто угадывалъ своимъ здравымъ смысломъ фальшивыя положенія, и въ 1825-мъ году, въ письмѣ къ Жуковскому предостерегалъ его отъ «маркиза N. N.»: «пора бы тебѣ удостовѣриться въ односторонности его вкуса; къ тому же не вижу въ немъ и безкорыстной любви къ твоей славѣ»¹⁾.

¹⁾ «Нѣтъ, Жуковский, — прибавляетъ онъ:

Веселаго пути
Я Б—у желаю
Ко древнему Дунаю,
И»

Маркизь N. N. обозначалъ, очевидно, кого-то изъ числа арзамасскихъ друзей. Едва ли сомнительно, что кружокъ Пушкина, составившійся изъ распавшагося и дополненнаго Арзамаса, оказывалъ, цѣлымъ своимъ характеромъ, немалое дѣйствіе и на него самого, — утверждая его въ консервативномъ его направленіи, отдаляя его отъ «черни», т.-е. отъ общества и его интересовъ. По смерти Пушкина, кружокъ, или главные его представители, очень странно выказали «безкорыстную любовь» и къ его собственной славѣ — въ посмертномъ изданіи его сочиненій. Это изданіе Пушкина было совсѣмъ особенное. «Лица, распоряжавшіяся посмертнымъ изданіемъ, — говоритъ весьма компетентный судья въ этомъ предметѣ, — чрезвычайно странно понимали обязанности, лежавшія на нихъ относительно поэта и публики. Они не только выпускали фразы и цѣлыя статьи, которыя въ цензурномъ отношеніи всегда могли быть напечатаны, но даже и передѣлывали совершенно произвольно и безъ всякаго основанія стихи и прозу Пушкина, съ рѣшимостью, непонятною ни для одного образованнаго человѣка. Во всѣхъ этихъ поправкахъ и выпускахъ видѣнъ самый узкій взглядъ на значеніе Пушкина, видны какія-то отжившія и отчасти произвольныя требованія относительно нравственности и языка литературныхъ произведеній. Ежели бы сочиненія Пушкина были изданы такимъ образомъ, по небрежности или по расчету, какимъ-нибудь спекуляторомъ, — это было бы еще понятно; но изданіемъ завѣдывали лица, близкія поэту, литераторы, и отъ нихъ читатели были въ правѣ требовать большаго уваженія къ гениальному писателю и къ русской публикѣ» и проч.¹⁾ Это изданіе еще ждетъ своей полной характеристики.

Нельзя, конечно, приписывать дѣйствию Пушкина всего характера той школы, которой придаютъ его имя: онъ былъ только самымъ блестящимъ талантомъ въ современномъ кружкѣ писателей, отчасти бывшихъ и его личными друзьями. Характеръ школы зависѣлъ отъ всѣхъ условій времени, отъ прошедшаго литературы, отъ вліяній европейскихъ, отъ общаго уровня образованности, отъ личныхъ свойствъ писателей. Нельзя забыть, однако, что и Пушкинъ имѣлъ немалое вліяніе на школу отчасти своимъ примѣромъ, отчасти одобреніемъ, которое утверждало этихъ писателей въ принятомъ ими тонѣ и содержаніи; а Пушкинъ, какъ извѣстно, не скупился одобреніями своимъ друзьямъ, и потому, что ихъ произведенія въ самомъ дѣлѣ ему нравились или казались нѣкоторымъ литературнымъ успѣхомъ, и по дру-

¹⁾ Библиограф. Записки 1859, стр. 141—142.

жеской, иногда излишней снисходительности. Если громадный талант, и умъ, спасали Пушкина отъ романтическихъ крайностей, то его друзья и послѣдователи меньше имѣли этихъ предохранительныхъ средствъ, и недостатки времени и школы выступаютъ у нихъ особенно ярко. Въ поэтическомъ кодексѣ романтизма, приобрѣтенномъ нашею школою изъ европейской литературы, въ числѣ любимыхъ темъ было возвеличеніе личнаго чувства, рядомъ съ этимъ изображеніе высшихъ исключительныхъ натуръ и широкихъ ощущеній, и, наконецъ, то преувеличенное представленіе о поэзіи, о которомъ мы выше упоминали. Наши романтики усердно перенимали эти темы, и русская поэзія начала наполняться личными изліяніями, романтической меланхоліей, или разгуломъ, или разочарованностью, изображеніемъ титаническихъ страстей, неизвѣданныхъ тайнъ души, и тому подобными воображаемыми сюжетами; поэты съ пренебреженіемъ отвергали житейскую прозу, требовали свободы своему вдохновенію, жертвовали Аполлону, и даже негодовали на цѣлый вѣкъ, мѣшавшій имъ своей практической суетой, своимъ холоднымъ разсудкомъ и сухой наукой; на эти послѣднія вещи безпрестанно жаловались романтическіе поэты, даже изъ болѣе умныхъ и искренно восхваляемыхъ самимъ Пушкинымъ, какъ Баратынскій. Чтобы указать, до какой крайней степени доходила подобная романтическая реторика, довольно назвать имя Марлинскаго.

Со всѣмъ этимъ соединяется у поэтовъ романтической школы, какъ и у главы ихъ, то равнодушіе къ современной имъ дѣйствительности, которое очень естественно слѣдовало изъ ихъ натянутого и преувеличеннаго представленія объ искусствѣ и поэзіи, а также изъ недостатка общественно-политическаго развитія и знанія. Романтическій поэтъ, какъ бы ни были скромны его средства, считалъ себя натурой привилегированной, и въ этомъ качествѣ относился свысока къ дѣйствительности, пониманіе которой въ общественномъ смыслѣ вообще давалось тогда немногимъ. Поэзія переполнялась условной ложью, которая по своему удовлетворяла нетребовательныхъ читателей, потому что въ понятіяхъ этихъ читателей поэзія представлялась какъ нѣчто возвышенное, особенное, не имѣющее общаго съ жизнью, или относящееся къ ней только выпрѣннымъ образомъ. Вліяніе Пушкина, который самъ отдавалъ дань романтической теоріи, не уничтожило этого представленія въ массѣ читателей и впослѣдствіи они не вдругъ сѣумѣли понять произведенія Гоголя, которыя были уже вполне и исключительно реальны. Любопытно, что однимъ изъ самыхъ необузданныхъ романтиковъ, потерявшихъ всякое чувство дѣйствительности, является Марлинскій, въ свое

время умный, хотя не всегда послѣдовательный критикъ, во всякомъ случаѣ писатель замѣчательный, отъ котораго, по прежнимъ его связямъ и направленію, можно было бы ожидать другого, болѣе серьезнаго пониманія жизни или, по крайней мѣрѣ, какого-нибудь общественнаго интереса.

Съ такими чертами являлся романтизмъ въ нашей литературѣ, даже у главнѣйшихъ его представителей. На романтизмъ еще ясно можно видѣть, что онъ слѣдовалъ непосредственно за карамзинской эпохой. Правда, онъ дѣлаетъ большой шагъ впередъ въ смыслѣ чисто-литературномъ; но по своему общественному содержанію онъ почти только повторяетъ карамзинскую программу или остается совсѣмъ чуждъ вопросамъ и интересамъ дѣйствительности. Та сторона нашего романтизма, въ которой успѣли обнаружиться болѣе живыя стремленія въ общественномъ смыслѣ, исчезла изъ литературы и общества вмѣстѣ съ людьми, которые ее представляли.

Такой индифферентный характеръ школы началъ складываться съ самыхъ первыхъ проявленій романтизма въ нашей литературѣ, какъ это очевидно на Жуковскомъ. Общественный поворотъ, завершившій царствованіе императора Александра, еще усилилъ эту черту нашего романтизма. Изъ общественной жизни исключенъ былъ прогрессивный элементъ предыдущаго періода, и это не могло не отразиться на литературѣ: романтизмъ, и прежде изобильный пассивными качествами и колебавшійся въ своихъ стремленіяхъ, теперь окончательно принялъ то направленіе, какое мы видѣли въ дальнѣйшемъ развитіи Жуковского и Пушкина.

Это были прямые союзники господствовавшаго консерватизма, данные еще прошлымъ періодомъ. Ихъ литературныя и общественныя идеи вполне отвѣчали официально принятой теоріи народности, которой они конечно придали, въ литературѣ, великую силу своимъ союзомъ, потому что это были тогда первые, заслуженные люди этой литературы.

Они совершили свою, дѣйствительно великую заслугу тѣмъ, что окончательно освободили литературу въ формальномъ отношеніи, потому что устранили старыя школы, возвысили положеніе литературы въ средѣ общества; и своими поэтическими идеями имѣли благотворное воспитательное вліяніе, потому что эти идеи были человѣчныя и возвышенныя. Но по своимъ идеаламъ общественнымъ они не прибавили ничего къ старому содержанію, и здѣсь, для того, чтобы повести дѣло впередъ, должны были явиться другія, новыя силы.

Въ поэтической литературѣ это былъ Гоголь, и все то движеніе, какое было имъ произведено;— въ литературной критикѣ,

представлявшей тогда единственную публицистическую литературу, это была плеяда людей новаго поколѣнія, въ средѣ которыхъ, подѣ влияніемъ нѣмецкой философіи и новыхъ политико-экономическихъ ученій, выросли самобытные взгляды на русскую жизнь: здѣсь вопросы этой жизни поставлены были, въ различномъ смыслѣ и еще далеко неполно, но въ первый разъ съ дѣйствительной критикой.

Въ послѣдующемъ изложеніи мы укажемъ различныя столкновенія образовавшихся мнѣній между собою и съ тѣми понятіями, которыя составляли господствующее ученіе.

II.

НАРОДНОСТЬ ОФИЦИАЛЬНАЯ.

Впечатлѣніе, произведенное событіями конца двадцать пятаго года, по замѣчанію весьма достовѣрныхъ наблюдателей, оказывало свое дѣйствіе въ теченіе всего описываемаго періода. Ближайшіе современники полагали, что эти событія должны были надолго остановить успѣхи, которыхъ безъ этого они, повидимому, ожидали.—Ah, mon prince! vous avez fait bien du mal à la Russie, vous l'avez reculée de cinquante ans (ахъ, князь; вы сдѣлали много зла Россіи, вы ее отодвинули назадъ на пятьдесятъ лѣтъ),—говорилъ въ первые же дни князю Трубецкому одинъ изъ его будущихъ судей, вліятельное лицо новаго царствованія. Ту же мысль высказываетъ, нѣсколько времени спустя, Чаадаевъ въ своемъ извѣстномъ «Философическомъ письмѣ»¹⁾.

Можно сомнѣваться въ томъ, дѣйствительно ли только именно эти событія отодвинули Россію на пятьдесятъ лѣтъ назадъ, могло ли отдѣльное явленіе оказать столь обширное и продолжительное вліяніе на судьбу огромной націи, — и не опредѣлялся ли, напротивъ, ходъ вещей причинами болѣе общими, не имѣлъ ли онъ болѣе глубокаго корня въ цѣломъ характерѣ времени и общества. Въ самомъ дѣлѣ, ходъ вещей всего больше опредѣлялся пассивнымъ положеніемъ народной массы, вялостью и слабостью образовательныхъ инстинктовъ въ болѣе цивилизо-

¹⁾ Въ 1829. — Онъ говоритъ о несчастной судьбѣ нашей цивилизаціи и, упомянувъ о Петрѣ Великомъ, дѣло котораго далеко не принесло всѣхъ желанныхъ результатовъ, онъ продолжаетъ: «Une autre fois, un autre grand prince, nous associant à sa mission glorieuse, nous mena victorieux d'un bout de l'Europe à l'autre; revenus chez nous de cette marche, à travers les pays les plus civilisés du monde, nous ne rapportâmes que des idées et des aspirations dont une immense calamité, qui nous recula d'un demi-siècle, fut le résultat» (стр. 28).

ванномъ верхнемъ слоѣ: не было яснаго сознанія и запроса на другой порядокъ вещей, или же это сознаніе ограничивалось столь тѣснымъ кругомъ истинно образованныхъ и имѣвшихъ лучшія желанія людей, и стремленія этого круга распространялись на столь небольшую часть цѣлаго общества, что въ ту минуту этотъ кругъ не оказывалъ никакого вліянія на теченіе дѣлъ, и его желанія не принимались ни въ какое соображеніе. Ходъ вещей вполнѣ отвѣчалъ представленіямъ и правамъ большинства, и пользовался чрезвычайной популярностью. Это было главнѣйшее основаніе порядка вещей, господствовавшего въ описываемыя десятилѣтія.

Но событія двадцать пятаго года имѣли однако свое значеніе, какъ поводъ дать еще болѣе рѣзкій характеръ той системѣ, которая теперь наступала, какъ лишнее побужденіе къ безусловному консерватизму. Этотъ консерватизмъ начинается въ сущности гораздо раньше, потому что послѣдніе годы предыдущаго царствованія уже достаточно яснымъ образомъ вступили на эту дорогу; но событія конца 1825-го года возбудили сильное опасеніе возможности повторенія какого-нибудь подобнаго движенія въ будущемъ, увеличили до чрезвычайной степени предубѣжденіе противъ всякаго признака политическихъ интересовъ въ обществѣ. Собственно говоря, новое время только продолжало въ этомъ отношеніи взглядъ на вещи, господствовавшій въ послѣдніе годы царствованія Александра, но этотъ взглядъ примѣнялся теперь съ гораздо болѣею настойчивостью и суровостью, и нѣтъ, кажется, никакого основанія утверждать, чтобы эта программа была именно вынужденная, чтобы въ наступавшемъ періодѣ можно было бы—безъ упомянутыхъ событій—ожидать продолженія либерализма первыхъ лѣтъ имп. Александра.

Наступившая теперь система была, слѣдовательно, та же консервативная система опеки, но самой полной и строгой опеки, какая только была употребляема въ русской жизни. Съ самаго начала, по поводу упомянутыхъ событій, эта система заявила тотъ принципъ, что такъ какъ броженіе двадцатыхъ годовъ происходило отъ поверхностнаго воспитанія и отъ вольнодумства, заимствованнаго изъ иностранныхъ ученій, то слѣдуетъ обратить особенное вниманіе на воспитаніе молодыхъ поколѣній, дать силу въ воспитаніи истиннымъ русскимъ началамъ и строго удалять изъ него все, что бы имъ противорѣчило. На тѣхъ же началахъ должна была основаться вся государственная и общественная жизнь. Сущность этихъ началъ была опредѣлена совершенно положительно, и въ національной жизни признаны были законными только тѣ дѣйствія и явленія, которыя отвѣчали пунк-

тамъ опредѣленнаго теперь національнаго символа, въ числѣ которыхъ впервые названо было официально слово «народность».

Самая сущность понятій, которыя были поставлены теперь краеугольнымъ камнемъ всей національной жизни, была очень близка къ тѣмъ, которыя уже начали господствовать въ послѣдніе годы императора Александра. Это былъ тотъ традиціонный идеалъ, какъ онъ издавна высказывался въ мнѣніяхъ всей консервативной партіи и изложенъ въ запискѣ Карамзина; но теперь принципъ выполнялся съ невиданной при Александрѣ послѣдовательностью, которая была тѣмъ больше, что новая власть не имѣла прошедшаго, которое располагало бы ее къ снисходительности и какимъ-нибудь уступкамъ либерализму. Традиціонные принципы были развиты, усовершенствованы, поставлены на степень непогрѣшимой истины, и явились какъ бы новой системою, которая была закрѣплена именемъ народности.

Чтобы говорить о литературныхъ идеяхъ и движеніи этого времени, намъ необходимо составить себѣ нѣкоторое понятіе объ этой официально заявленной народности, потому что она составила ту почву, на которой допускалось движеніе умственной жизни; тотъ кругъ идей, который дѣлался обязательнымъ для литературы и науки. Эта почва (замѣтимъ кстати — та самая, которую теперь еще проповѣдуетъ особая партія славянофильскаго оттѣнка) оказывала на литературу и науку самое существенное вліяніе; литература и наука, представляя умственную дѣятельность общества, въ исполненіи своей задачи прежде всего должны были встрѣтиться и имѣть дѣло съ этой почвой, которая хотѣла впередъ указать имъ ихъ содержаніе и ихъ горизонтъ. Эти отношенія и опредѣлили, слѣдовательно, практическое положеніе литературы и ея общественный смыслъ: официально заявленная народность составляла исходный пунктъ для литературы, которая должна была или вполне признавать эту почву и безусловно ей подчиняться, или становиться къ ней въ критическое отношеніе, и при этомъ или также признавать ее и отыскивать для нея теоретическое основаніе и оправданіе, или, напротивъ, разойтись съ ней.

Мы не имѣемъ ни возможности, ни намѣренія говорить о цѣломъ характерѣ этого періода, и хотимъ для нашей цѣли указать только нѣкоторыя общія теоретическія черты системы, которой принадлежала господствующая роль въ теченіе описываемыхъ десятилѣтій и безъ знакомства съ которой невозможно ясно представить ни движенія понятій за тотъ періодъ, ни того характера ихъ, какой складывался въ результатъ ихъ въ послѣдствіи.

Историческое значеніе системы, о которой мы говоримъ, обозначилось ясно даже для массы общественнаго мнѣнія, когда этотъ періодъ смѣнился настоящимъ царствованіемъ. Намъ еще очень памятно то радостное, полное ожиданій возбужденіе, какимъ ознаменовалось начало нынѣшняго періода, и памятно также, какъ судили тогда о предшествовавшей эпохѣ.

Точно повязка упала съ глазъ,—такъ ясно начинали видѣть слабыя стороны прошедшаго. Сужденіе было согласное, и важно было тѣмъ болѣе, что оно вызвано было фактами, высказано было послѣ историческаго испытанія системы, когда оказалось, что система слишкомъ самонадѣянно считала себя непогрѣшимой и присваивала себѣ исключительную дѣятельность, что она не въ силахъ была удовлетворить потребностямъ національной жизни, даже въ той области, которую она выбрала предметомъ своей главнѣйшей, спеціальной заботы — въ военномъ дѣлѣ, въ дѣлѣ національной защиты. Общественное мнѣніе впервые послѣ долгаго молчанія стало высказываться довольно явственно. То время, между прочимъ, памятно особеннымъ распространеніемъ рукописной литературы, которая была именно признакомъ пробужденія общественнаго мнѣнія. Это не была только литература легкихъ тенденціозныхъ стихотвореній и эпиграммъ (хотя были и таковыя); напротивъ, это была въ особенности литература публицистическая, трактовавшая политическіе и общественные вопросы, нерѣдко съ большимъ пониманіемъ дѣла, очень часто съ вѣрной оцѣнкой недавняго прошлаго, и всегда съ искреннимъ желаніемъ лучшаго порядка въ дальнѣйшей нашей жизни. Эта литература была согласна въ своихъ историческихъ приговорахъ о протекшей эпохѣ. Въ результатѣ, не только общество, но само правительство сознавало, что нуженъ иной путь для внутренней политики: заговорили о гласности, образованіи, о крестьянскомъ вопросѣ, о необходимости реформы въ различныхъ отрасляхъ общественности и управленія, и т. д. Эти желанія сами собой указывали, чего именно недоставало прошедшему періоду, чѣмъ онъ не удовлетворялъ потребностямъ государства и общества. Въ общемъ итогѣ, желанія эти сводились къ одному—къ болѣе общественной свободѣ, къ какому-нибудь простору для общественной инициативы; они отрицали нетерпимость и стѣснительность опеки, которая была господствующей чертой прежняго времени.

Такимъ образомъ, первыя свободно высказанныя мнѣнія просвѣщенной части общества становились противъ системы, которая, въ числѣ своихъ качествъ, выставила «народность». Въ чемъ же состояла или какъ понималась здѣсь народность?

Какова была теоретическая цѣнность принятаго здѣсь понятія о русской народности?

Многіе изъ лучшихъ современниковъ уже давно начали сомнѣваться въ «народномъ» характерѣ системы; они соглашались, что она удовлетворяла преданіямъ и консервативнымъ вкусамъ неразвитой политической массы, но утверждали, что въ болѣе широкомъ смыслѣ система вовсе не была народна, такъ какъ по своей крайней исключительности она не давала никакого исхода для развитія умственныхъ и матеріальныхъ силъ народа, что въ способѣ ея дѣйствій господствовали взгляды и административные приемы, внушенные европейской «реставраціей». Тѣ критики, которые, двадцать лѣтъ тому назадъ, впервые рѣшились отдать себѣ отчетъ въ характерѣ минувшихъ десятилѣтій, замѣчали эту тѣсную связь между нашей системой и взглядами европейской реакціи, которые, будучи восприняты первоначально при Александрѣ, подъ прямымъ вліяніемъ Меттерниха, получили теперь новое развитіе и были послѣдовательно распространены на всѣ отрасли управленія.

Одинъ изъ публицистовъ упомянутой рукописной литературы въ половинѣ пятидесятихъ годовъ положительно доказывалъ это господство Меттерниховой системы въ нашей внутренней политикѣ, несмотря на все различіе двухъ странъ, которое дѣлало эту систему не только излишней въ Россіи, но и вредной для ея развитія. «Поддержаніе status quo въ Европѣ, особенно въ Турціи и Австріи, возвѣщеніе и огражденіе, словомъ и дѣломъ, охранительнаго, неограниченнаго монархическаго начала повсюду; преимущественная опора на матеріальную силу войска; поглощеніе властію, сосредоточенной въ одной волѣ, всѣхъ силъ народа, что особенно поражаетъ въ организаціи общественнаго воспитанія и въ колоссальномъ развитіи административнаго элемента, къ ущербу прочимъ, обрусѣніе иноплеменныхъ народовъ, присоединенныхъ къ имперіи на особыхъ правахъ; стремленіе создать, хотя бы насильственнымъ образомъ, единство вѣроисповѣданія, законодательства и администраціи; подавленіе всякаго самостоятельнаго проявленія мысли какъ въ литературѣ, такъ и въ обществѣ, и надзоръ надъ нею; регламентація, военная дисциплина и полицейскія мѣры даже въ томъ, что наименѣе подлежитъ имъ, и такъ далѣе, — все это неопровержимо обличаетъ у насъ присутствіе системы, возникшей въ Австріи, но вслѣдствіе горькой необходимости, какъ *conditio sine qua non* ея существованія, — въ Россіи же не подходящей подъ прямыя

условія ея быта, а потому мѣшающей правильному развитію ея нравственныхъ, умственныхъ и матеріальныхъ силъ»¹⁾).

Безспорно, что всѣ эти приемы были близко похожи на ту политику, которая развивалась въ континентальной Европѣ, особенно въ Австріи, въ періодъ реставраціи; это были приемы того *Polizeistaat*, которое тогда казалось верховъ политической мудрости и наилучшимъ способомъ управленія народами и обществами. Въ нашей жизни эти приемы могли установиться тѣмъ легче, что она не представляла никакихъ элементовъ самостоятельности, и слѣдовательно никакихъ затрудненій; и по той же причинѣ, у насъ эти приемы имѣли, быть можетъ, наиболѣе тягостное и неблагоприятное значеніе. Въ государствахъ западныхъ, шла явная борьба національныхъ и общественно-политическихъ силъ противъ данной средневѣковой формы государства; реакціонное управленіе было для этой послѣдней средствомъ защиты и орудіемъ самосохраненія; въ самомъ обществѣ нравственно-политическіе инстинкты были такъ сильно возбуждены, что могли выдерживать это давленіе. У насъ было совсѣмъ напротивъ: наша государственная жизнь не представляла ничего подобнаго тому броженію, какое совершалось въ австрійской имперіи, громадная масса общества оставалась еще на степени развитія вполнѣ патріархальной; она нуждалась не въ стѣсненіи, а въ возбужденіи ея умственной и нравственной дѣятельности; ее нужно было не удерживать суровыми ограниченіями, а напротивъ поощрять и двигать впередъ, потому что въ ней вѣками накопилось и безъ того слишкомъ много лѣни и бездѣйствія.

Эти свойства системы, принимавшей своею характеристикой «народность», ясны становились совершенно въ періодъ крымской войны. Рукописная публицистика того времени была преисполнена разсужденіями о внѣшней и внутренней политикѣ Россіи, — которымъ нельзя отказать въ большой вѣрности: политическія обстоятельства и положеніе вещей внутри слишкомъ настоятельно указывали, даже для людей мало думавшихъ, значеніе прежняго хода дѣлъ по его наступившимъ послѣдствіямъ.

Припомнимъ нѣкоторые факты.

Въ европейской политикѣ Россія, за исключеніемъ развѣ первой турецкой войны и покровительства Греціи, строго слѣдовала принципамъ Священнаго Союза, и защищала патріархальную монархію и легитимизмъ. Вліяніе Россіи въ этомъ смыслѣ было очень сильное въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ,

¹⁾ «Мысли вслухъ объ истекшемъ тридцатилѣтіи Россіи» (мартъ, 1855), — статья, которая приписывалась Т. Н. Грановскому.

и много служило къ поддержанію въ Европѣ старыхъ абсолютистскихъ партій и къ подавленію движеній конституціонныхъ. Въ свое время это вліяніе могло льстить національному самолюбію, но результаты не были благопріятны для Россіи: она слишкомъ самоувѣренно ставила свой авторитетъ противъ цѣлаго движенія, котораго, въ сущности, не въ силахъ была удержатъ; она становилась наперекоръ внутреннему политическому развитію европейскаго общества, и немудрено, что она возбудила противъ себя большую вражду во всемъ либеральномъ общественномъ мнѣніи Европы. Эта вражда, начавшись еще съ послѣднихъ годовъ царствованія Александра, когда Россія уже открыто стала на эту дорогу, увеличилась въ теченіи описываемыхъ десятилѣтій до ненависти, которая сдѣлала крымскую войну чрезвычайно популярной на всемъ европейскомъ Западѣ. Такимъ образомъ, «народному» характеру тогдашняго положенія Россіи даны были черты самага крайняго консерватизма, и результаты этой политики обратились противъ нея же. Въ крымской войнѣ противъ Россіи оказались не только Англія, вражда которой обяснялась политическимъ недоувѣріемъ, не только Франція, къ которой Россія была постоянно нерасположена какъ къ гнѣзду либерализма, не только Сардинія, въ которой Россія не желала признавать конституціонной реформы, — противъ Россіи оказались даже государства, правительства которыхъ находили особенную поддержку Россіи. Россія поддерживала, въ тридцатыхъ годахъ, Турцію, которая взаимнѣ угнетала родственныя намъ славянскія племена; поддержала въ венгерскую войну разлагающую Австрію, для которой побѣда послужила только къ возстановленію самага необузданнаго абсолютизма, обращеннаго опять противъ нашихъ единоплеменниковъ, и которая затѣмъ, въ періодъ крымской войны, когда Россія могла бы ожидать отъ нея отплаты за услугу, предпочла «удивить міръ своей неблагодарностью», т.-е. нагло насмѣяться надъ Россіей.

Такимъ образомъ, окончательные результаты этой политики въ европейскихъ дѣлахъ далеко не были благопріятны для Россіи въ матеріальномъ отношеніи: она кончилась столкновеніемъ, въ которомъ Россія понесла только потери и если получила свою великую отрицательную пользу въ нравственныхъ послѣдствіяхъ войны для общества, то на эту пользу политика конечно не рассчитывала. Трудно также доказать, чтобы эта политика была дѣйствительно народна, т.-е., чтобы крайній консерватизмъ дѣйствительно составлялъ народный характеръ, чтобы подобная политика отвѣчала требованіямъ національнаго блага и характера. Это благо, конечно, не требовало вмѣшательства въ дѣла по-

стороннихъ державъ съ цѣлями традиціоннаго легитимизма, и скорѣе терпѣло великій ущербъ отъ того разъединенія съ интересами европейской жизни, которое сопровождало эту политику. Что касается національнаго характера, то, конечно, мудро было бы вывести изъ него какое-нибудь обязательное правило въ политическихъ вопросахъ такого отдаленнаго интереса. Для народа, не живущаго политической жизнью и не имѣющаго никакихъ представленій о политическихъ отношеніяхъ, эти вопросы просто не существовали, и со временъ войны 1812 года, едва ли не единственнымъ случаемъ, гдѣ проявлялись народныя политическіе интересы, была греческая война за освобожденіе, во время которой высказалось народное сочувствіе къ греческимъ единовѣрцамъ. То же сочувствіе было тогда и въ образованномъ классѣ, и въ этомъ, чуть ли не единственномъ случаѣ дѣйствительнаго интереса, онъ совпадалъ съ интересами всей западной Европы. Въ другихъ вопросахъ нашей европейской политики, масса не имѣла никакого яснаго представленія, а въ образованномъ классѣ общественное мнѣніе, какъ увидимъ, было раздѣлено.... Такимъ образомъ, «народное» значеніе можно было придавать этой политикѣ только искусственнымъ, доктринернымъ образомъ: надо было теоретически предположить, что духъ народа требуетъ исключительно этого способа дѣйствій. Такое предположеніе и было сдѣлано системой: но эта теорія народнаго духа далеко не была доказана....

Во внутреннихъ дѣлахъ теоретическая сущность системы требовала безграничнаго авторитета власти и самой полной опеки надъ всѣми сторонами государственной, народной и общественной жизни. Мы замѣчали, что это собственно не представляло ничего новаго, но теперь опека достигла, вѣроятно, самыхъ широкихъ размѣровъ, какіе только она когда-нибудь у насъ имѣла. Опека стремилась связать въ одномъ крѣпкомъ узлѣ всѣ нити управленія, распространить надзоръ на всѣ движенія національной жизни, все подвести къ одному уровню. Слѣдствіемъ было чрезвычайное распространеніе бюрократіи, которая представлялась для центральной власти единственнымъ средствомъ управленія и контроля, и дѣйствительно, при всеобъемлющей опекѣ государства, это и было единственное средство. За обществомъ не признавалось никакого самостоятельнаго значенія; оно не имѣло никакой инициативы; общественное мнѣніе лишено было всякаго вліянія; общество не могло само ничего дѣлать въ своихъ интересахъ, даже самыхъ элементарныхъ, и могло двигаться только въ данныхъ рамкахъ; за него думали и дѣйствовали канцеляріи и ему оставалось повиноваться.

Развитіе бюрократіи влекло за собой всѣ неизбѣжныя его послѣдствія. Во всѣхъ дѣлахъ, въ администраціи и судѣ, господствовало бумажное производство, совершавшееся въ канцелярской тайнѣ, недоступное не только критикѣ, но даже свѣдѣнію общественнаго мнѣнія, не имѣвшее надъ собой никакого ограниченія и контроля, кромѣ власти непосредственнаго вышшаго начальства, которое естественно считало себя всевѣдущимъ и непогрѣшимымъ и не находило интереса открывать недостатки своего вѣдомства. Каждая власть была всеильна надъ тѣмъ, что было ниже ея, и въ свою очередь безотвѣтна передъ вышшею инстанціей, такъ что въ цѣломъ лѣстница управленія представляла рядъ ступеней произвола администраціи, противъ котораго были почти беззащитны управляемое общество и народъ. Дѣла обыкновенно шли прекрасно и все обстоило благополучно на бумагѣ, но никто не свѣрялъ бумаги съ дѣйствительностью. Случалось иногда, что вопіющее ихъ противорѣчіе бросалось въ глаза такъ, что нельзя было его не увидѣть; слѣдовали изъ вышшихъ правительственныхъ областей строгія кары произволу, но въ цѣломъ дѣла продолжали идти по прежнему.

Понятно, что бюрократія больше и больше парализовала общественныя силы. Бюрократія не допускала никакого участія общества въ рѣшеніи вопросовъ, затрогивавшихъ самые существенные его интересы, и кромѣ того, что бюрократія, не выслушивая этой заинтересованной стороны и лишая себя запаса свѣдѣній о предметѣ, какой бы могъ быть сообщенъ участіемъ общества, рѣшала эти вопросы по необходимости односторонно или совсѣмъ невѣрно, — кромѣ этого, отдаленіе общества отъ участія въ его собственныхъ дѣлахъ еще больше усиливало ту вѣковую умственную лѣнь, которая и безъ того удручала русское общество и могла стать роковымъ бѣдствіемъ національной жизни, — еслибы событія не пришли наконецъ разбудить общество и государство отъ тяжелаго сна.

Частныя вредныя дѣйствія бюрократіи также обнаружались очень скоро. Безконтрольность чиновничества, его огромное размноженіе и скудное содержаніе, какое давалось государствомъ на эту многочисленную армію, развивали взяточничество, противъ котораго оказывались безсильны всякія негодованія правительства и которое господствовало во всѣхъ ступеняхъ управленія, отъ низшихъ и до высшихъ. Существовала почти опредѣленная такса за тѣ или другія услуги чиновничества, за полученіе мѣстъ, за административныя и судебныя рѣшенія и т. д. Обычай былъ уже давнишній, и общество почти мирилось съ нимъ, тѣмъ больше, что видѣло невозможность для бѣднаго

чиновничества существовать однимъ казеннымъ жалованьемъ. Отъ правительства не скрылось это печальное положеніе вещей, и оно безъ сомнѣнія желало помочь ему, но по тогдашнимъ взглядамъ думали помочь ему только новыми бюрократическими мѣрами, которыя еще размножили формализмъ, но оказывались совсѣмъ бесполезны, потому что единственнымъ средствомъ избавиться отъ этого зла было измѣненіе самой системы, поднятіе общественнаго мнѣнія и инициативы, а этого не считали возможнымъ допустить. Подъ конецъ періода, правительство, наконецъ, серьезно озаботилось чрезмѣрнымъ размноженіемъ и испорченностью чиновничества: начались предположенія о сокращеніи переписки, объ уменьшеніи штатовъ, но дѣло оттого поправилось мало; вредъ, производимый исключительной бюрократіей, продолжался, хотя чиновниковъ, быть можетъ, и убавилось.

Наше политическое устройство съ давнихъ временъ отличалось смѣшеніемъ власти законодательной, администраціи и суда. При той чрезвычайной бюрократіи, которая теперь окончательно организовалась, это смѣшеніе отзывалось особенно тяжелыми послѣдствіями. Въ правленіе имп. Александра былъ уже сознанъ этотъ капитальный порокъ нашего устройства, но планы совѣтниковъ Александра, хотѣвшихъ устранить это смѣшеніе властей, не осуществились, и въ послѣдующемъ періодѣ оно продолжалось во всей силѣ. Этотъ ходъ вещей спутывалъ, наконецъ, всѣ нравственныя понятія общества. Законъ и въ крупныхъ и мелкихъ отправленияхъ своихъ зачастую отступалъ на задній планъ передъ произволомъ бюрократической власти, распоряжавшейся безконтрольно каждая въ своемъ районѣ. Старые суды еще доходятъ до нашего времени, и еще памятна ихъ медленная канцелярская процедура, усложненная множествомъ инстанцій, знаменитая своимъ произволомъ и лихоимствомъ.

Одной изъ главнѣйшихъ заботъ того времени было устройство многочисленной арміи, въ которой видѣли и залогъ внѣшняго политическаго могущества, и внутренняго спокойствія. Нѣтъ надобности говорить много объ этой военной системѣ, недостатки которой такъ трагически доказаны были крымской войной. На армію уходили лучшія молодые силы народа,—уходили безвозвратно вслѣдствіе крайне продолжительнаго срока службы,—и самая крупная часть бюджета. Вооруженія Россіи конечно поддерживали ея политическое вліяніе въ Европѣ, но это вліяніе, не приносявшее ощутительныхъ пользъ самой странѣ, раздражало противъ Россіи европейское общественное мнѣніе, вслѣдствіе характера, которымъ отличалась русская внѣшняя

политика. Внутри усиленные вооружения отзывались несомненно объединением народа, из среды которого наполнялось войско и на плечах которого лежало, почти исключительно, содержание этого войска и всего государственного механизма.

Военная дисциплина и парадная выправка играли главнейшую роль в устройстве армии. В критическую минуту оказалось, что за этим забыты были самые существенные потребности армии на военное время, между прочим вооружение, которое оказалось совершенно неудовлетворительным в сравнении с вооружением неприятельских войск ¹⁾. Защита Севастополя показала, что не было недостатка в нравственных силах армии, не было недостатка и в военных талантах, но борьба тем не менее была невозможна. Замечательный ряд преобразований, совершенных и совершаемых в настоящее время в нашем военном деле и затронувших самые существенные стороны старого военного устройства, представляет сам по себе достаточную критику этого прошедшего.

Чрезмерное развитие милитаризма захватывало и многие чисто гражданские отрасли управления: так, ведомство межевое, лесное, путей сообщения, горное, инженерное получили усиленный военный характер, несколько не требовавшийся сущностью дела; наконец, уголовное судопроизводство, по многим родам дела, также стало переходить в ведение военных судов. Современники объясняли это предпочтение военных порядков тем, что высшая власть не доверяла медленной и лихорадочной гражданской бюрократии. Надобно полагать, что это объяснение было верно, — но насколько самая возможность подобного недоверия (к сожалению, на деле слишком часто справедливого) свидетельствовала о нормальности такого положения вещей, всегда ли такая переменная роль оказывала действительную помощь, и не теряли ли, напротив, специальные дела, как упомянутые выше, от военных порядков, и особенно уголовное судопроизводство в делах, не имеющих никакого отношения к военным предметам? Наконец, почему же сохранялась в других отраслях та испорченная бюрократия, которой не доверяли здесь? Рядом с этим, совершалось другое явление: идеал службы была тогда служба военная. Она со-

¹⁾ Когда это положение дела изменилось в настоящее царствование, люди, бывшие свидетелями прежнего порядка, раскрыли вполне его недостатки в рассказах, нередко поразительных, — к сожалению только, раскрыли поздно. Рассказы этого рода появляются до сих пор; укажем для примера помещенные недавно в «Р. Архив» (1870) воспоминания одного полкового казначея (очень близкого свидетеля) о порядках в интендантском ведомстве во время Крымской войны.

общала извѣстные качества, которые считались лучшими качествами служащаго человѣка: непрекословное чинопочитаніе, механическая исполнительность, суетливая расторопность. Поэтому, военная служба открывала дорогу во всѣ отрасли управленія, не исключая и очень специальныхъ, какъ, напр., служба при св. синодѣ; предполагалось, что упомянутыя качества дѣлаютъ военнаго человѣка годнымъ во всякой службѣ, какая бы ни была ему указана. Такъ, всего чаще назначались военные попечителями учебныхъ округовъ, и т. п. Безъ сомнѣнія, между ними были люди достойные, но всегда ли они удовлетворяли и могли ли вообще удовлетворять истиннымъ задачамъ ихъ положенія въ дѣлѣ народнаго просвѣщенія?

Тоже начало правительственнаго авторитета проводилось въ дѣлахъ церковныхъ. Наша церковь, со временъ Петра Великаго и послѣдняго патріарха, стала въ подчиненное отношеніе къ свѣтской власти, которая предоставляла ей извѣстный просторъ въ предметахъ специально и исключительно духовныхъ, но никогда не уступала первенствующаго, рѣшающаго голоса, какъ только церковный вопросъ имѣлъ связь съ политическими и общественными отношеніями. Немногіе голоса, которые въ теченіе XVIII-го столѣтія рѣшались говорить въ пользу независимости церкви, пропадали безслѣдно. Въ общемъ ходѣ дѣлъ продолжалось непрекословное подчиненіе ея гражданской власти, и церковное управленіе шло заурядъ со всякой другой администраціей. Теперь, этотъ порядокъ оставался неизмѣннымъ, но также получилъ еще бѣольшую бюрократическую опредѣленность и строгость. При Александрѣ, въ общественной жизни была разъ допущена нѣкоторая тѣнь религіозной свободы, которая выразилась разрѣшеніемъ масонскихъ ложъ и библейскаго общества, и терпимостью къ расколу, между прочимъ къ духоборству. Теперь масонскія ложи, закрытыя при Александрѣ, были запрещены еще разъ; библейское общество, пріостановленное при Александрѣ, было упразднено окончательно; терпимость для раскола кончилась. Взглядъ, господствовавшій теперь, вообще не допускалъ никакихъ «вмѣшательствъ» общества въ дѣла, которые считались уже обезпеченными, если для нихъ существовали особыя вѣдомства, канцеляріи или комитеты; предполагалось, что эти вѣдомства знаютъ вообще наилучшимъ образомъ то, что имъ поручено, и частнымъ людямъ не было уже никакого дѣла до этихъ предметовъ.

Положеніе раскола значительно измѣнилось со временъ Александра. Этотъ періодъ былъ въ особенности временемъ систематическаго преслѣдованія. Господствовавшій взглядъ требовалъ

полнаго единства и форменнаго однообразія въ церковной, какъ въ гражданской жизни націи, и расколъ представлялся вопіющимъ нарушеніемъ церковной дисциплины. Дѣла о расколѣ трактовались какъ государственная тайна, составлялись много-различные комитеты для опредѣленія раскольниковыхъ толковъ и степени ихъ государственной опасности, при чемъ различные секретные комитеты (со стороны церковной власти; со стороны министерства внутр. дѣлъ; со стороны высшей полиціи) не знали иногда даже о существованіи одинъ другого. Невозможность преодолѣть расколъ административно-полицейскими мѣрами вслѣдствіе самой громадности дѣла, заставила ограничить преслѣдованіе и направить его въ особенности противъ тѣхъ сектъ, которыя были признаны наиболѣе вредными. Преслѣдованіе производилось тѣми же средствами полицейской бюрократіи и испорченность чиновничества дѣлала то, что преслѣдуемые откупались, чиновники считали раскольниковъ дѣла прибыльной статьей, расколъ искоренялся на бумагѣ, а на самомъ дѣлѣ не думалъ уменьшаться. Въ раскольниковей массѣ еще больше распространялась скрытность и недовѣріе къ официальнымъ властямъ, и къ прежнимъ сектамъ стали прибавляться новыя, вновь изобрѣтаемыя подъ вліяніемъ существовавшихъ условій ¹⁾. Когда, въ нынѣшнее царствованіе наступилъ опять болѣе мягкій образъ дѣйствій относительно раскола, когда съ него былъ снятъ канцелярскій секретъ, и онъ сталъ предметомъ литературныхъ разъясненій, историческихъ и бытовыхъ,—то однимъ изъ первыхъ указаній литературы былъ фактъ, что официальная цифра раскола, по прежнимъ свѣдѣніямъ министерства внутреннихъ дѣлъ, далеко не представляла цифры дѣйствительной, и была меньше ея чуть не въ половину. Такимъ образомъ высшая власть, при всѣхъ своихъ средствахъ, не знала даже численности раскола; точно также не знала она настоящаго отношенія низшихъ бюрократическихъ властей къ расколу, который былъ для нихъ предметомъ эксплуатаціи, и не знала дѣйствительнаго значенія раскола въ народной средѣ. Болѣе гуманное отношеніе власти къ расколу въ наше время стало производить «обращенія» гораздо болѣе искреннія и дѣйствительныя, чѣмъ бывало прежде, и вообще, даже теперь, успѣло подѣйствовать противъ раскола несравненно сильнѣе, чѣмъ всѣ преслѣдованія прошлыхъ десятилѣтій. Нѣтъ конечно сомнѣнія, что только дальнѣйшее развитіе и болѣшая широта этой терпимости можетъ вообще дать церко-

¹⁾ Такъ, напримѣръ, думаютъ объ особенномъ распространеніи въ прошлое царствованіе секты «странниковъ».

вно-народнымъ отношеніямъ то нормальное положеніе, какого имъ до сихъ поръ недостаетъ....

Какъ вопросъ о расколѣ былъ дѣломъ бюрократіи и оставался секретомъ для общества, такъ оно оставалось чуждо и другимъ явленіямъ, совершавшимся въ области церкви. Однимъ изъ самыхъ крупныхъ событій этого рода въ теченіе описываемыхъ десятилѣтій было воссоединеніе уніатовъ. Это событіе, которое предназначалось къ тому, чтобы восполнить историческій ущербъ, понесенный русской церковью въ XVI-мъ столѣтіи, совершилось и прошло въ русскомъ обществѣ чисто официальнымъ образомъ: общество не знало о приготовлявшемся событіи, ничѣмъ не высказалось по его поводу, не участвовало своимъ содѣйствіемъ или мнѣніемъ въ его совершеніи, и должно было просто принять его какъ совершившійся фактъ. Этотъ способъ дѣйствій шелъ вообще въ параллель съ образомъ дѣйствій относительно Польши и западнаго края: власть устраняла всякое участіе общественнаго мнѣнія и дѣйствуя только силой авторитета, должна была довольствоваться результатами, которые были удовлетворительны въ формальномъ отношеніи, но, какъ стало ясно впослѣдствіи, не давали прочнаго, дѣйствительнаго разрѣшенія вопроса...

Традиціонный порядокъ вещей не улучшился и во внутренней церковной жизни. Отношеніе церкви къ обществу было слишкомъ внѣшнее: при полномъ подчиненіи государству, церковное управленіе слишкомъ часто было орудіемъ административно-полицейскихъ цѣлей, относилось къ обществу очень формально и вообще слишкомъ отличалось тѣми свойствами, противъ которыхъ въ наше время печать успѣла высказаться весьма рѣшительно (газеты «День», «Москва») и противъ которыхъ теперь замѣтно извѣстное движеніе въ самомъ духовенствѣ. Этотъ формализмъ отношеній церкви къ обществу усиливался безправнымъ положеніемъ низшаго духовенства: духовная власть была надъ нимъ всесильна, — мы можемъ видѣть и теперь въ вопросѣ о выборномъ началѣ, до какой степени безконтрольна епархіальная власть; въ тѣ времена невозможна была и одна мысль объ этомъ выборномъ началѣ. Священникъ былъ связанъ не только въ своихъ іерархическихъ отношеніяхъ, но и въ отношеніяхъ къ паствѣ: если не ошибаемся, и до сихъ поръ, чтобы сказать проповѣдь, священникъ обязанъ представить ее на «благословеніе», т.-е. на цензуру къ своему начальству. И не только живое слово связывалось этой необходимостью писать проповѣдь, представлять ее въ цензуру и дожидаться благословенія: это стѣсненіе невыгодно отражалось и на самомъ содержаніи проповѣдей, кото-

рыя чрезвычайно рѣдко выходили изъ обыкновенной реторической рутины, вращались на общихъ мѣстахъ морали и своимъ полу-славянскимъ языкомъ, который считался обязательнымъ, еще больше удалялись отъ жизни. Духовное образованіе, представляемое семинаріями, совершалось по преданіямъ XVIII-го столѣтія, и очень мало содѣйствовало сближенію духовнаго сословія съ обществомъ и его умственными интересами. Духовенство выдѣлялось въ касту и оставалось внѣ того движенія, которое совершалось въ свѣтской наукѣ и литературѣ.

Дѣло народнаго просвѣщенія шло, въ сущности, въ тѣхъ формахъ, какія даны были ему въ царствованіе имп. Александра. Время дѣлало свое, и ученое образованіе оказывало несомнѣнные успѣхи, вслѣдствіе того, что европейская наука начинала приобрѣтать достойныхъ и компетентныхъ дѣятелей, и отдѣльныя мѣры правительства, о которыхъ упомянемъ дальше, принесли несомнѣнную пользу русской наукѣ. Но въ сущности положеніе науки въ обществѣ оставалось и теперь столько же непрочно, какъ прежде; образованіе, которое должна была давать школа, было слишкомъ ограничено и по своему распространенію и по содержанію.

Прежде всего, народное просвѣщеніе, по своему объему, не ушло впередъ со временъ импер. Александра. Оно попрежнему ограничивалось только верхними свободными сословіями, въ очень небольшой степени существовало для низшаго городского населенія и вовсе не существовало для крестьянъ, т.-е. именно для народа, для основы націи. Крѣпостное право продолжало дѣлать образованіе недоступнымъ для крѣпостного сословія. Оно было недоступно и для цѣлой народной массы, — не только по матеріальному положенію этой массы, но и по принципу, который находилъ образованіе бесполезнымъ и даже вреднымъ для низшихъ классовъ, и который въ теченіе всего описываемаго періода съ упорствомъ старался подавлять «необузданное (!) стремленіе молодыхъ людей изъ низшихъ сословій къ высшему образованію, изземлющему ихъ изъ первобытнаго состоянія безъ пользы для государства». Этотъ принципъ дѣйствовалъ вполне успѣшно.

Дѣло университетовъ въ началѣ описываемаго періода стало лучше, чѣмъ было въ послѣдніе годы импер. Александра; изъ университетовъ вышли и въ нихъ потомъ дѣйствовали ученые и писатели, оказавшіе важное вліяніе на умственное развитіе русскаго общества; тѣмъ не менѣе, положеніе университетовъ въ цѣломъ было очень неблагопріятное. Высшія сферы имѣли противъ нихъ предубѣжденіе, сохранившееся отъ временъ Алек-

сандра и вновь подкрѣпленное вліяніемъ нѣмецкаго и австрійскаго обскурантизма. Со времени вартбургскаго праздника и другихъ безпокойствъ въ германскихъ университетахъ, нѣмецкія правительства смотрѣли на университеты какъ на гнѣздо «демагогическихъ происковъ», и Магницкій уже съ успѣхомъ эксплуатировалъ эту тему на нашихъ университетахъ, увѣривши власти, что наши университеты, находяшіеся еще въ младенческомъ состояніи, также заражены вольнодумствомъ и опасны. Магницкій былъ, правда, удаленъ на первыхъ же порахъ новаго царствованія, и безобразія его способа дѣйствій были прекращены, — но это вовсе не означало уничтоженія реакціонной системы, и въ министерствѣ держались еще нѣсколько лѣтъ сначала Шишковъ, потомъ Ливенъ, оба люди очень старой школы и точно также предубѣжденные противъ образованія. Извѣстно, какія понятія вообще имѣлъ Шишковъ о наукѣ; взятый Александромъ въ минуту затрудненія и нерасположенія, какъ человекъ, противъ котораго не было возможно ни малѣйшее обвиненіе въ вольнодумствѣ, — которое тогда преслѣдовалось и которымъ перескорялись тогда самыя обскурантныя партіи, — Шишковъ очевидно держался только какъ почтенная и безобидная древность; относительно его годности на мѣстѣ министра народнаго просвѣщенія не могло быть и вопроса. Ливенъ былъ пѣтистъ, и едва ли лучше Шишкова удовлетворялъ требованіямъ своего положенія. Впервые, мѣсто министра народнаго просвѣщенія занято было человекомъ, дѣйствительно стоявшимъ на высотѣ европейскаго образованія, тогда, когда былъ назначенъ Уваровъ. Недавно были напечатаны воспоминанія одного современника, который видѣлъ близко министерскую дѣятельность Уварова. Сличивъ эти воспоминанія, вообще относящіяся къ Уварову благопріятно, съ извѣстными фактами его характера и дѣятельности, нельзя не видѣть, что строго говоря, лично и Уваровъ не удовлетворялъ требованіямъ дѣла, мало чувствовалъ и защищалъ насущную потребность образованія для общества и особенно для народа, но несмотря на то, въ тогдашней обстановкѣ, и онъ былъ слишкомъ либераленъ и подъ конецъ оказался невозможнымъ. Уваровъ вовсе не шелъ наравнѣ съ развивавшимися умственными стремленіями общества, не раздѣлялъ мнѣній и идеаловъ людей, стоявшихъ впереди умственнаго движенія, — но даже его мнѣнія казались слишкомъ смѣлы въ тогдашнемъ официальномъ мірѣ, и при всей умѣренности своихъ взглядовъ, при всей дипломатической осторожности своего образа дѣйствій, онъ былъ не въ силахъ отстаивать дѣло просвѣщенія и университетовъ отъ предубѣждений, господствовавшихъ въ высшей правительственной сферѣ и нако-

нецъ долженъ былъ оставить свое мѣсто по невозможности нѣсколько самостоятельнымъ образомъ вести министерство. При его преемникахъ снова пошли въ ходъ понятія, совершенно напоминавшія піэтистовъ временъ импер. Александра ¹⁾. Событія 1848-го года совершенно неожиданно отозвались у насъ увеличеніемъ строгостей, усиленіемъ надзора за университетами, за литературой и общественнымъ мнѣніемъ. Странно сказать, но въ русскомъ обществѣ также опасались революціоннаго броженія. Едва ли нужно говорить, что на дѣлѣ не представлялось и тѣни какой-нибудь опасности: масса общества предавалась безмятежному сну....

Университеты въ лучшую пору уваровскаго управленія значительно поднялись сравнительно съ прежнимъ, и приобрѣли запасъ русскихъ профессоровъ, окончившихъ свое ученое воспитаніе за границей и стоявшихъ на уровнѣ европейской науки. Дѣятельность университетовъ могла бы служить опорой для распространенія въ русской жизни общественнаго сознанія и вкуса къ наукѣ; къ сожалѣнію, эта дѣятельность была слишкомъ стѣснена тѣмъ крайнимъ недоувѣріемъ, о которомъ мы упоминали. Высшая власть подозрительно смотрѣла на университетскую жизнь; попечители округовъ, почти всегда назначавшіеся изъ лицъ, по прежней службѣ совершенно чуждыхъ учебному вѣдомству, почти всегда раздѣляли эту подозрительность, не имѣли ни интереса, ни пониманія въ дѣлѣ просвѣщенія и главнымъ образомъ видѣли свое дѣло въ полицейскомъ присмотрѣ. Недостатокъ нравственнаго и умственнаго простора не могъ не стѣснять образовательной дѣятельности университетовъ; онъ дѣйствовалъ подавляющимъ образомъ, очень часто превращалъ профессуру въ простое отправленіе ученаго промысла и подвергалъ тяжелому испытанію ревность и энергію лучшихъ людей, которымъ именно всего больше приходилось чувствовать на себѣ этотъ гнетъ. Для примѣра довольно вспомнить, какъ тяжело доставалось, въ особенности послѣднее время, Грановскому: это былъ одинъ изъ просвѣщеннѣйшихъ людей, какіе только были у насъ въ то время, одинъ изъ избранныхъ умовъ, стоявшихъ во главѣ нашей образованности, человѣкъ самыхъ спокойныхъ политическихъ убѣжденій, умѣренность которыхъ стала даже поводомъ раздора его съ нѣкоторыми изъ его ближайшихъ друзей, наконецъ, человѣкъ, пользовавшійся большою популярностью и уваженіемъ въ образованномъ обществѣ, и все это однако не

¹⁾ Ср. объ этомъ и вообще о характерѣ тогдашней системы любопытныя замѣчанія въ Р. Архивѣ, 1868, стр. 989 — 991.

спасло его отъ подозрѣній, притѣсненій, и отъ полицейскаго надзора....

Мы упоминали о томъ духѣ милитаризма и военной дисциплины, который вообще старались тогда распространить и на приемы управленія и на общественную жизнь. Особеннымъ разсадникомъ его должно было служить военное воспитаніе, долженствовавшее готовить офицеровъ для арміи. Въ наше время само правительство—прежде всего, кажется, опять по тому же опыту крымской войны—убѣдилось, какъ мало удовлетворительно было это воспитаніе, которое ставило воспитанника съ самаго дѣтства въ строгія формы службы, обращало все вниманіе на чисто внѣшнюю военную дрессировку, и забывая потребности общаго воспитанія, готовило людей, знавшихъ форменную рутину фронтальной службы, но мало развитыхъ и мало способныхъ къ самостоятельному и сознательному дѣйствию даже въ своей специальности. Новѣйшая реформа военно-учебныхъ заведеній совершенно отвергла эту систему военной дрессировки съ малолѣтства, и поставила своимъ принципомъ то несомнѣнно вѣрное правило, что воспитаніе общеобразовательное должно быть первой ступенью, а специальное—уже второй....

Мы не будемъ приводить дальнѣйшихъ примѣровъ того, какъ взгляды, господствовавшіе въ высшихъ сферахъ, отражались въ различныхъ областяхъ управленія, какъ принципъ исключительнаго авторитета всюду вносилъ правительственный надзоръ и опеку, въ формѣ военной и бюрократической, вездѣ стѣсняя и подавляя самостоятельныя движенія общества. Принятая система была въ самомъ полномъ смыслѣ охранительная система Священнаго Союза, во внѣшней и внутренней политикѣ, защита абсолютнаго монархическаго принципа въ другихъ государствахъ и суровое осуществленіе патріархальной абсолютной монархіи внутри. Несмотря на то, что исключительность этого послѣдняго принципа сама по себѣ указывала на отсутствіе политической зрѣлости общества; несмотря на то, что система именно заботилась о томъ, чтобы въ это общество не проникалъ никакой элементъ политическаго движенія; несмотря на то, что бросалось въ глаза, какъ много еще оставалось Россіи сдѣлать въ образованіи, общественныхъ правахъ и въ учрежденіяхъ, для того, чтобы равняться съ европейскими народами, — несмотря на все это, система, проникнутая увѣренностью въ непогрѣшимости своихъ принциповъ, и вѣроятно, основываясь также

на внѣшнемъ политическомъ значеніи Россіи въ Европѣ, утверждала, что Россія уже достигла зрѣлой самостоятельности и извнѣ (и внутри). Русская жизнь считалась вступившей въ свой окончательно зрѣлый возрастъ, и отдѣлена была отъ жизни общеевропейской и даже противопоставлена ей заявленіемъ ея исключительныхъ особенностей, дававшихъ ей отдѣльное положеніе, независимое отъ теченія европейскаго развитія и даже со-всѣмъ чуждое ему: особенность Россіи относительно политическихъ формъ и относительно религіознаго характера выражены были извѣстными принципами, выставленными и истолкованными въ самомъ исключительномъ смыслѣ; особенность бытовая и культурная выражена была народностью, понятою еще менѣе удовлетворительно.

Эти начала были кромѣ того непререкаемы: въ нихъ была категорически высказана вся программа русской жизни, они указывались въ прошедшей исторіи и предполагались въ будущности націи, — въ такомъ же смыслѣ, какъ въ «Исторіи» и въ запискѣ Карамзина, который съ самыхъ временъ Рюрика видитъ въ Россіи такое, только менѣе сложное, государство, какъ въ девятнадцатомъ столѣтіи и открываетъ въ немъ эти отличительные руководящіе принципы. Нельзя не замѣтить сходства и въ самомъ осуществленіи правительственнаго идеала съ той программой, какую предполагалъ Карамзинъ. Дѣйствительно, въ теченіе описываемыхъ десятилѣтій, характеръ правленія былъ именно тотъ патріархально - консервативный, который казался такимъ всеразрѣшающимъ и привлекательнымъ для Карамзина. Мы говорили о результатахъ: въ концѣ концовъ нельзя было не видѣть, что за наружнымъ порядкомъ было мало дѣйствительныхъ улучшеній и успѣховъ и, напротивъ, накопилось столько административной и общественной порчи, что наконецъ для всѣхъ стала очевидна необходимость иного пути, необходимость цѣлаго ряда реформъ, которыя и отмѣчаютъ собою нынѣшнее царствованіе, какъ начинающееся исполненіе давно поставленной задачи, какъ давно необходимый переломъ въ исторіи.

Люди, близко видѣвшіе высшія сферы прежняго періода, положительно говорятъ, что въ нихъ было искреннее желаніе улучшеній, напр., расположеніе къ освобожденію крестьянъ, къ уничтоженію бюрократической испорченности и т. п. Но къ удивленію, для этого не было сдѣлано ничего, или по крайней мѣрѣ ничего энергическаго и дѣйствительнаго. При всемъ громадномъ авторитетѣ власти, который она сама очень хорошо сознавала, она отказывалась отъ рѣшительныхъ дѣйствій по этимъ пред-

метамъ, она считала ихъ слишкомъ трудными, имѣла опасенія о благополучномъ ихъ разрѣшеніи. Такъ, напримѣръ, было, кажется въ крестьянскомъ вопросѣ, — хотя въ то же время власть не останавливалась передъ самыми крутыми мѣрами противъ такъ-называемыхъ крестьянскихъ «бунтовъ», — настоящій смыслъ которыхъ можетъ теперь уже не требовать особыхъ разъясненій. Какъ объясняется это противорѣчіе между твердымъ сознаніемъ безграничнаго авторитета и безсиліемъ въ разрѣшеніи настоятельнѣйшихъ трудностей и уничтоженіи самыхъ вопіющихъ злоупотребленій, — до сихъ поръ трудно сказать.

Причины этому могли быть различны. Предстоявшіе вопросы, прежде всего, выходили изъ рутины дѣлъ, какія обыкновенно приходилось рѣшать правительственной власти. Уже съ давнихъ временъ власть успокоилась на существующемъ порядкѣ вещей. Нововведенія, какія дѣлались послѣ великихъ петровскихъ реформъ, почти никогда больше не затрогивали коренныхъ вопросовъ государственнаго и общественнаго быта; власть вводила много новаго въ административныхъ способахъ, но почти не касалась существеннаго — ни крѣпостного права, ни системы податей, ни рекрутства, ни множества другихъ подобныхъ вещей, которыя имѣли громадное значеніе въ народной жизни, были тяжкимъ бременемъ для народа и — даже въ интересѣ самого государства — требовали коренного и глубокаго преобразованія. Со временъ Петра Великаго (особенно въ царствованіи середины XVIII-го вѣка) власть была или беззаботна въ этихъ предметахъ или опасалась ихъ трогать, видя въ нихъ такъ-называемыя «основы» нашей жизни, тѣмъ больше, что для высшаго класса — единственнаго, который имѣлъ по крайней мѣрѣ придворное вліяніе — старые порядки были всего чаще выгодны, или же индифферентны. Императоръ Александръ возымѣлъ сильную антипатію ко многимъ подобнымъ порядкамъ русской жизни, но не исполнилъ главнѣйшихъ изъ своихъ преобразовательныхъ плановъ, отчасти по недостатку характера, отчасти по недостатку знанія русской жизни: этого знанія не доставало и у его молодыхъ совѣтниковъ, — а старые были убѣждены, что преобразовывать было нечего, потому что прежніе порядки дѣйствительно вполне соответствовали привычнымъ эгоистическимъ интересамъ высшаго сословія. Старые совѣтники успѣли, наконецъ, убѣдить императора Александра, что для русской жизни не нужны никакія реформы, — что мы и безъ того велики и насъ боятся въ Европѣ.

Новый періодъ, относительно этихъ коренныхъ вопросовъ, находился въ довольно схожемъ положеніи. Этотъ періодъ не

задавался никакими идеально - великодушными планами, какъ имп. Александръ, — этой идеалистической черты въ немъ не было совершенно, — и онъ, напротивъ, относился къ подобнымъ вещамъ очень враждебно; онъ желалъ улучшеній въ формахъ управленія, искалъ внѣшнихъ государственныхъ выгодъ, руководясь отчасти административными соображеніями, отчасти извѣстной филантропіей, но при этомъ не хотѣлъ, и не думалъ, ни на минуту выйти изъ роли безусловнаго авторитета, и это послѣднее едва ли не было одной изъ главныхъ причинъ, почему планы улучшеній не состоялись, или ограничились немногими слабыми начатками. Власть отчасти не знала, какъ и во времена имп. Александра, всего характера вещей и если видѣла иногда совершавшіяся злоупотребленія, то не видѣла всего ихъ объема. Такъ, едва ли она знала въ истинномъ свѣтѣ смыслъ и практику крѣпостного права, вообще тягостное положеніе народной массы. Наконецъ она слишкомъ легко допускала обманывать себя внѣшней выставкой порядка и подготовленными впечатлѣніями. Отчасти, между прочимъ, вслѣдствіе той же исключительности авторитета, не допускавшей разъясненій общественнаго мнѣнія, власть вѣроятно преувеличивала вещи съ другой стороны, напр., могла думать, что препятствія для нововведеній, облегчающихъ народъ, неодолимы, что, напр., освобожденіе крестьянъ вызоветъ большое и даже опасное недовольство помѣщиковъ, или опасное волненіе крестьянъ и т. п. Словомъ, вина этихъ неудачъ была кажется въ самой сущности положенія: такія реформы едва ли возможны были вообще для того времени и для тѣхъ понятій объ авторитетѣ, слишкомъ нетерпимыхъ и исключительныхъ: присвоивая себѣ всѣ отправленія государства и общества, авторитетъ хотѣлъ не только дѣйствовать, но и думать за нихъ, не допускалъ никакой общественной инициативы или мнѣнія; издавна отвыкнувши отъ голоса общества, онъ не признавалъ у общества иныхъ потребностей, кромѣ тѣхъ, какія самъ ему предоставлялъ. Между тѣмъ самыя реформы, какія были нужны и какія только и могли помочь замѣченнымъ недостаткамъ, въ своемъ результатѣ (который власть должна была, въ извѣстной степени, предполагать) представляли собой, во-первыхъ, возвышеніе общественнаго элемента, — потому что такое дѣйствіе должна была необходимо имѣть всякая освободительная мѣра, — во-вторыхъ, эти реформы едва ли и могли быть произведены безъ участія самого общества, одними бюрократическими средствами, слѣдовательно, опять должны были дать извѣстный просторъ общественному мнѣнію. Ни то, ни другое не входило однако въ виды власти, и даже прямо противорѣчило ей пред-

ставленіямъ о своемъ авторитетѣ. Такъ, рѣшеніе крестьянскаго вопроса необходимо вело бы за собой мысль объ извѣстной общественной свободѣ, а эта послѣдняя вообще представлялась только вреднымъ мечтаніемъ, порожденіемъ западной необузданности.

Общественные нравы понятнымъ образомъ отражали въ себѣ господствовавшую систему: общества, мало развитыя политически и мало образованныя обыкновенно бываютъ слишкомъ доступны подобнымъ вліяніямъ. Надобно сказать, что большинство, по своему давнишнему характеру, совершенно отвѣчало тому, что отъ него требовалось. Это было полное отсутствіе всякаго самостоятельнаго сужденія объ общественныхъ предметахъ; эти предметы даже были и мало извѣстны, такъ какъ правительство допускало только весьма ограниченную и только офиціальную публичность своихъ дѣйствій, и обсужденіе вопросовъ внутренней политики было совершенно закрыто отъ общества и литературы. Разговоры объ этихъ предметахъ велись только съ крайней осторожностью; немногія попытки писать объ нихъ дѣлались только подъ секретомъ; если правительство иногда находило необходимость въ содѣйствіи ученаго и литературнаго изысканія, то и эти сочиненія (какъ, напр., книга Надеждина о скопцахъ, книжка Даля о томъ же и т. п.) или оставались въ рукописяхъ и пропадали въ канцелярскихъ архивахъ, или печатались въ самомъ ограниченномъ числѣ экземпляровъ только для офиціального употребленія, и только изрѣдка подъ великимъ секретомъ проникали въ публику. Большинство, быть можетъ, еще менѣе прежняго стало интересоваться ходомъ вещей, или довольствовалось офиціальными свѣдѣніями и слухами; еще больше привыкало полагаться вполнѣ на авторитетъ. Оттого впослѣдствіи это общество и бросилось съ такимъ жаромъ на общественные вопросы: они имѣли всю прелесть любопытной новизны, слишкомъ долго лежавшей подъ запретомъ.

Въ такихъ практическихъ условіяхъ складывалось то представленіе о русской жизни, которое офиціально господствовало въ теченіе описываемыхъ десятилѣтій, и краеугольнымъ камнемъ котораго былъ упомянутый символъ, высказанный впервые, если не ошибаемся, Уваровымъ. Сущность этого представленія состояла въ томъ, что Россія есть совершенно особое государство и особая національность, непохожія на государства и національности Европы. На этомъ основаніи она отличается и «должна» отличаться отъ Европы всѣми основными чертами національнаго и государственнаго быта. Къ ней совершенно неприменимы требованія и стремленія европейской жизни. Въ ней одной

господствует истинный порядок вещей, согласный съ требованіями религіи и истинной политической мудрости. Европа имѣетъ свои историческія отличія: въ религіи—католицизмъ или протестантство, въ государствѣ — конституціонныя или республиканскія учрежденія, въ обществѣ — свободу слова и печати, свободу общественную и т. п. Она гордится ими, какъ прогрессомъ и привилегіей, но этотъ прогрессъ есть заблужденіе и результатъ французскаго вольнодумства и революціи, поправшей въ прошломъ столѣтіи религію и монархію, и хотя укрощенной, но оставившей слѣды своего пагубнаго вліянія и зародыши дальнѣйшихъ европейскихъ безпорядковъ и волненія умовъ. Россія осталась свободна отъ этихъ тлетворныхъ вліяній, которыя только разъ пришли возмутить ея общественное спокойствіе. Она сохранила въ цѣлости преданія вѣковъ и, будучи тѣмъ предохранена отъ безпокойствъ и обмановъ конституціонныхъ, не можетъ сочувствовать либеральнымъ стремленіямъ, какія обнаруживаются и даже находятъ снисхожденіе правительствъ въ разныхъ государствахъ Европы, и не можетъ не поддерживать съ своей стороны принципа чистой монархіи. Въ религіозномъ отношеніи Россія также поставлена въ положеніе, несходное съ европейскимъ, исключительное и завидное. Ея исповѣданіе заимствовано изъ древняго византійскаго источника, вѣрно хранившаго преданія церкви, и Россія осталась свободна отъ тѣхъ религіозныхъ волненій, которыя первоначально отклонили отъ истиннаго пути католическую церковь, а потомъ поселили распри въ ея собственной средѣ и произвели протестантизмъ съ его безчисленными сектами. Правда, въ русской церкви также происходили несогласія, и часть невѣжественнаго народа ушла въ расколъ, но правительство и церковь употребляютъ всѣ усилія, убѣжденія и мѣры строгости, къ возвращенію заблудшихъ и къ искорененію ихъ заблужденій. Эти отщепенцы не имѣютъ и не должны имѣть мѣста въ государствѣ православномъ; они заслуживаютъ нѣкотораго снисхожденія по ихъ невѣжеству, когда ихъ заблужденія не приносятъ значительнаго вреда, но вообще терпимы быть не могутъ.

Россія и во внутреннемъ своемъ бытѣ не похожа на европейскіе народы. Ее можно назвать вообще особой частью свѣта. Съ оригинальными учрежденіями, съ древней вѣрой, она сохранила патріархальныя добродѣтели, мало извѣстныя народамъ западнымъ. Таково, прежде всего, народное благочестіе, полное довѣріе народа къ предрежающимъ властямъ и безпрекословное повиновеніе имъ; такова простота нравовъ и потребностей, не избалованныхъ роскошью и не нуждающихся въ ней. Нашъ

быть удивляетъ иностранцевъ и иногда вызываетъ ихъ осужденія; но онъ отвѣчаетъ нашимъ правамъ и свидѣтельствуемъ о неиспорченности народа: такъ, крѣпостное право (хотя и нуждающееся въ улучшеніи и преобразованіи) сохраняетъ въ себѣ много патріархальнаго, и хорошій помѣщикъ лучше охраняетъ интересы крестьянъ, чѣмъ могли бы они сами.

Европа, конечно, опередила Россію въ цивилизаціи и наукѣ; но за то Россія не знаетъ ихъ злоупотребленій и предохраняется отъ нихъ. Высшія учрежденія блюдутъ за тѣмъ, чтобы наука приносила намъ только полезное, и запрещаютъ все, что можетъ повести къ вреднымъ умствованіямъ. Надзоръ цензурный за привозимыми иностранными книгами и своей печатью стремится къ этой цѣли. Къ намъ не проникаютъ извращенныя умствованія западныхъ вольнодумцевъ, тѣ необузданныя ученія, которыя нарушаютъ въ Европѣ общественное спокойствіе и наполняютъ умы ложными теоріями и неуваженіемъ къ власти и порядку. Тотъ же авторитетъ строго караетъ у насъ случающіяся нарушенія правилъ и пресѣкаетъ ихъ вредное дѣйствіе.

На этихъ основаніяхъ Россія процвѣтаетъ, наслаждаясь внутреннимъ спокойствіемъ. Она сильна своимъ громаднымъ протяженіемъ, многочисленностью племенъ и простыми патріархальными добродѣтелями народа. Извнѣ она не боится враговъ; ея голосъ рѣшаетъ европейскія дѣла, поддерживаетъ колеблющійся порядокъ; ея оружіе, милліонъ штыковъ, можетъ поддержать это вліяніе, и ему случалось наказывать и истреблять революціонную крамолу.

О внутреннемъ порядкѣ дѣлъ было такое же представленіе. Его основы не могли подлежать сомнѣнію. Управление утверждается на всеобщемъ, всестороннемъ и исключительномъ попеченіи власти о благѣ народа. Устройство государства не представляетъ никакого дѣленія властей, которое производитъ столько постоянныхъ столкновеній въ другихъ странахъ, и никакой борьбы однихъ частей націи или сословій противъ другихъ, — всѣмъ, напротивъ, назначено ихъ опредѣленное мѣсто, и надъ всѣми возвышается одинъ руководящій авторитетъ. Есть конечно недостатки въ практическомъ теченіи дѣлъ, но они происходятъ не отъ несовершенства законовъ и учреждений, а отъ неисполненія этихъ законовъ и отъ людскихъ пороковъ. Люди должны исправиться усиленіемъ надзора, воспитаніемъ въ строгой дисциплинѣ, устраненіемъ вредныхъ книгъ, строгой цензурой и т. п. Всѣ эти мѣры вообще необходимы для удержанія въ обществѣ должнаго порядка и спокойствія....

Однимъ словомъ, система представляла выработанное цѣлое;

въ ней были, однако, нѣкоторыя неясности. Такъ, мы указывали подобную неясность въ крестьянскомъ вопросѣ, гдѣ система колебалась между требованіями человѣколюбія, которыя, говорятъ, она признавала, и даже требованіями политическаго благоразумія съ одной стороны, и съ другой — нежеланіемъ раскрыть недостатокъ въ существующемъ порядкѣ вещей, начать ломку учреждений, которая могла бы отразиться въ умахъ появленіемъ либеральныхъ идей. Такое же колебаніе повидимому существовало въ нѣкоторыхъ вопросахъ внѣшней политики, — въ особенности въ славянскомъ вопросѣ. Россія вступилась (вмѣстѣ съ другими державами) за дѣло грековъ, покинутое ею при Александрѣ, и признала нравственную обязанность подать помощь единовѣрцамъ, — такая же обязанность существовала къ турецкимъ славянамъ, не только единовѣрнымъ, но и единоплеменнымъ, — но этой обязанности, съ другой стороны, противорѣчилъ принципъ легитимизма. Освобожденіе славянскихъ народовъ могло быть достигнуто только ихъ возстаніемъ, слѣдовательно, со стороны Россіи необходимо было бы вступить въ связь съ революціоннымъ движеніемъ, а это было, конечно, невозможно. Вопросъ такъ и остался невыясненнымъ: Россія оказывала славянскимъ племенамъ свое политическое содѣйствіе только въ извѣстной мѣрѣ; въ русскомъ обществѣ система допускала въ нѣкоторой степени пропаганду славянофильства, оказала ей сильную помощь учрежденіемъ славянской каѳедры въ университетахъ и т. п., допускала высказываться фантастическимъ мечтаніямъ о «полуночномъ орлѣ», простирающемъ крылья надъ всѣмъ славянскимъ міромъ, но въ то же время подавляла всѣ нѣсколько пылкія выраженія славянофильства въ обществѣ. Наконецъ, не говоря о другихъ примѣрахъ, молчаніе, наложенное на общество и литературу, было конечно естественнымъ слѣдствіемъ системы, недопускавшей возраженій и присвоивавшей себѣ исключительную непогрѣшимость, но вмѣстѣ въ тѣмъ было признакомъ того же колебанія и неискренности, — потому что, напримѣръ, цензурныя запрещенія не только останавливали какія бы то ни было вмѣшательства литературы въ настоящее теченіе дѣлъ, но распространялись даже на извѣстные и несомнѣнные историческіе факты, о которыхъ, однако, не позволялось говорить, на многія вопіющія явленія народной и общественной жизни, о которыхъ сама власть хорошо знала, но которыя также старалась скрыть цензурными запрещеніями.

Если были такія неясности, колебанія и противорѣчія въ кругу самой системы, которыя могли вызывать сомнѣнія и возраженія, то еще больше спорныхъ вопросовъ должно было явиться

въ томъ случаѣ, когда бы критика была приложена къ цѣлому ходу жизни. Критическая мысль уже зародилась въ русскомъ обществѣ. Въ цѣломъ или частями, прямо или косвенно, практически или теоретически критика не могла не коснуться самой системы, заявлявшей себя единственнымъ результатомъ прошедшаго и единственнымъ содержаніемъ русской жизни и ея обязательной программой въ настоящемъ,—и отсюда выросло движеніе, борьба мнѣній, усилія мысли создать критическій выводъ, которыя составляютъ умственную исторію описываемыхъ десятилѣтій.

Таковы были нѣкоторыя общія черты того представленія о русской народности, какое господствовало официально въ теченіе описываемаго времени. Въ теоретическомъ смыслѣ, какъ мы замѣчали, это было развитіе или распространеніе идеала, наслѣдованнаго отъ консервативной старины и изложеннаго Карамзинымъ. Въ ряду нашихъ общественныхъ понятій его можно, кажется, опредѣлить, какъ національную романтику, весьма параллельную тому европейскому феодальному романтизму временъ реставраціи, который, вмѣстѣ съ національно-археологическимъ элементомъ, отличался также и крайнимъ политическимъ консерватизмомъ.

«Народность» составляла, какъ мы видѣли, одно изъ главныхъ притязаній системы. По Карамзину слѣдовало, что Россія при Александрѣ не стояла на своей настоящей дорогѣ, что власть слишкомъ увлекалась западными нравами и забывала о томъ, какое должно быть настоящее русское правленіе, котораго «требоваль» Карамзинъ. Система, наступившая теперь, хотѣла именно осуществить это требованіе, и утверждая въ своемъ смыслѣ новые нравы и новый порядокъ, настаивала на томъ, что подобный порядокъ вещей есть единственный, соотвѣтствующій русскому народу и доказываемый его исторіей. Утверждая свою «народность», система представлялась какъ будто даже исправленіемъ той ошибки, которую теорія Карамзина видѣла въ петровской реформѣ. Многимъ современникамъ казалось, что вторая четверть нынѣшняго столѣтія знаменуетъ поворотъ съ той дороги, какая была указана Петромъ Великимъ; что система этого времени есть столько же, если не болѣе великое явленіе, какъ была, въ свое время, реформа Петра,—и по своей энергіи и по тому направленію, которое эта система давала русской жизни,—направленію, свободному отъ подражательности, вполне національному и самобытному. Можно было бы привести много

примѣровъ подобнаго взгляда изъ тогдашней литературы, но не ссылаясь на нее теперь, чтобы не опираться только на панегирики, мы укажемъ на очень извѣстную (впрочемъ теперь извѣстную больше только по имени) книгу маркиза Кюстина. Кюстинъ, пріѣзжавшій въ Россію въ концѣ тридцатыхъ годовъ и видѣвшій людей и вещи въ лучшую пору системы, дѣлаетъ эту самую параллель съ Петромъ Великимъ, и она выходитъ невыгодна для послѣдняго. Замѣтимъ, что такъ говоритъ писатель, книга котораго такъ долго считалась непозволительной по своимъ враждебнымъ изображеніямъ русской жизни. Кюстинъ говоритъ о системѣ описываемаго періода съ восторженными похвалами; его мнѣніе въ большой степени было мнѣніе французскаго легитимиста, но съ другой стороны онъ, конечно, повторялъ и то, что слышалъ въ русскомъ аристократическомъ обществѣ.

Масса общества дѣйствительно вѣрила въ эту систему и въ тѣ историческія качества, которыя приписывались ей теоріей. Вѣрили даже и люди, думавшіе больше, чѣмъ думаетъ масса, но склонные къ тому преувеличенному патріотизму, который, какъ всякая слѣпая страсть, вѣритъ безусловно и бываетъ неспособенъ ни къ какой критикѣ. Мы увидимъ дальше, что въ славянофильскомъ ученіи были многія темы, очень сходныя съ вышеизложеннымъ идеаломъ. Правда, господствующая система часто не одобряла славянофильства, но главнымъ образомъ потому, что также въ своемъ родѣ не любила «идеологій»; но ихъ сущность была очень сходная, потому что въ обѣихъ точкахъ зрѣнія главнѣйшую долю составляли преданіе, консерватизмъ, національная исключительность и болѣе или менѣе враждебное отношеніе къ Европѣ.

Какое же было историческое значеніе этой системы въ ряду общественно-политическихъ представленій, проходившихъ въ нашей жизни?

Панегиристы этой системы не были совсѣмъ неправы, когда указывали ея противоположность съ тѣмъ направленіемъ, какое дано было жизни петровской реформой. Въ самомъ дѣлѣ, такая противоположность существовала, хотя въ совершенно иномъ смыслѣ. Обѣ системы, очень сходныя по характеру авторитета, въ обоихъ случаяхъ производившаго одинаково безграничную и нетерпимую опеку надъ обществомъ, представляли огромную разницу въ своемъ содержаніи, въ своихъ понятіяхъ о народномъ благѣ. У Петра было критическое отношеніе къ русской жизни и ея недостаткамъ, отношеніе, часто поражающее геніальной ясностью взгляда, и этотъ взглядъ привелъ Петра къ мысли о необходимости связать Россію съ Европой, внести въ

русскую жизнь европейскую науку и цивилизацию, хотя бы Петръ и не понималъ ихъ съ достаточной широтой¹⁾. Въ этомъ критическомъ отношеніи и лежала вся сила петровской реформы, вся причина ея могущественнаго дѣйствія на русскую жизнь, продолжавшагося долго послѣ самого Петра. Здѣсь, напротивъ, *такого* критическаго отношенія совершенно не было. Здѣсь данный status quo и считался наилучшимъ; послѣдней цѣлью было только усовершенствовать, дисциплинировать этотъ status quo съ чисто внѣшней, формальной или лучше формалистической стороны, нисколько не касаясь его внутренняго смысла, т.-е. не задаваясь мудреными вопросами о внутреннемъ качествѣ даннаго положенія вещей, о томъ, соотвѣтствуетъ ли оно существеннымъ интересамъ націи, требованіямъ времени, указаніямъ науки и цивилизації. Точка зрѣнія была исключительно консервативная; русская жизнь и ея «начала» почитались наилучшими и даже не подлежащими критикѣ. — Такимъ образомъ, по сущности дѣла новый періодъ дѣйствительно представлялъ противоположность временамъ Петра Великаго. Къ Европѣ, ея наукѣ и цивилизації, новый періодъ относился съ предубѣжденіемъ, недовѣріемъ и враждой; онъ видѣлъ свой идеалъ въ національной исключительности, въ удержаніи и въ усовершенствованіи существующаго status quo.

Въ этомъ и заключается существенный историческій смыслъ этого періода; отсюда открывается и оборотная сторона дѣла.

Консерватизмъ Александровскихъ временъ, разившійся въ описываемыя десятилѣтія въ официальную систему народности, имѣлъ то значеніе для общества и тѣ историческія послѣдствія, какія обыкновенно имѣетъ консерватизмъ. Стараніе удерживать въ бездѣйствіи народныя и общественныя силы и подавлять ихъ стремленія имѣло слѣдствіемъ то, что значительная ихъ часть и дѣйствительно осталась въ неподвижности и застоѣ, которые въ историческомъ счетѣ равняются движенію назадъ. Мы указывали, какъ дѣйствительность въ концѣ концовъ опровергла то, что система думала о превосходствѣ своихъ началъ и своего способа дѣйствій. Этотъ результатъ, конечно, неудивителенъ: задатки его лежали въ ошибкахъ самой системы.

Тогдашній консерватизмъ утверждалъ, и многіе, даже большинство общества вѣрило, что Россія въ самомъ дѣлѣ есть со-

¹⁾ Онъ понималъ ихъ съ исключительной государственно-утилитарной точки зрѣнія, за которую его многіе обвиняли, и которая, конечно, еще не представляетъ дѣйствительнаго введенія науки и цивилизації; но многіе ли тогда и въ западной Европѣ признавали настоящія безотносительныя права мысли и знанія, и настоящія требованія цивилизації?

всѣмъ особое государство, въ которомъ все есть, и должно быть свое особенное и для котораго не дѣйствительны—условія и требованія европейскаго развитія. Правда, для Россіи вовсе не были обязательны европейскія формы развитія въ тѣсномъ смыслѣ, не необходима послѣдовательность ея учреждений, не нужны частности ея жизни и обычаевъ: но капитальная ошибка упомянутого мнѣнія была въ томъ, что естественный ходъ націи долженъ былъ однако приводить ее къ болѣе совершеннымъ формамъ жизни, чѣмъ были формы русской жизни; что разъ начавшееся образованіе неизбежно должно было приносить, и уже дѣйствительно приносило, инныя понятія общественно-политическія и нравственныя, которыя не могли уживаться съ прежнимъ складомъ жизни и которымъ однако система не хотѣла давать никакого мѣста; что, наконецъ, Россія уже вступила въ европейскія связи и могла сохранить значеніе только признавая эти связи, только выдерживая открывшееся соперничество не только матеріальными силами, но культурнымъ, умственнымъ и политическимъ развитіемъ.

Матеріальное могущество Россіи, повидимому, не оставляло больше ничего желать. Вліяніе ея въ Европѣ не подлежало сомнѣнію; основанное императоромъ Александромъ, при военномъ разгромѣ и общественномъ упадкѣ европейскихъ государствъ, оно было наслѣдовано новымъ періодомъ, и продолжалось теперь, какъ могущественный матеріальный оплотъ европейской реакціи. Никому почти не приходило въ голову, что это вліяніе Россіи было не совсѣмъ прочно, что оно не имѣло за себя достаточныхъ внутреннихъ основаній. Какъ при Александрѣ внѣшнее величіе далеко не сопровождалось равномернымъ внутреннимъ развитіемъ, и государство страдало внутренними неустройствами; такъ этотъ характеръ вещей не измѣнился и въ новомъ періодѣ, и это противорѣчіе не могло уйти отъ расчетовъ исторіи. Мы видѣли, что при всей силѣ авторитета, при всемъ внѣшнемъ политическомъ значеніи Россіи въ теченіе описываемыхъ десятилѣтій (до Крымской войны), при всемъ напряженіи бюрократической и милитарной опеки, во внутреннемъ устройствѣ и въ ходѣ дѣлъ оставались цѣлы существенныя язвы русской жизни, и это положеніе вещей давало врагамъ Россіи поводъ называть ее «колоссомъ на глиняныхъ ногахъ».

Внутренняго могущества нельзя было создать тѣми средствами, какія для этого употреблялись. Исключительная опека необходимо оставляетъ общество младенческимъ, потому что стѣсненіе свободы движеній одинаково ослабляетъ и останавливаетъ развитіе членовъ и въ физической жизни человѣка и въ госу-

дарствѣ. Опека лишила общество самостоятельности и въ умственно-нравственномъ, и въ матеріально-экономическомъ отношеніи; охраняя «народную» нашу самобытность, она не допускала въ Россію ни смѣлыхъ выводовъ европейской науки, ни желѣзныхъ дорогъ, какъ будто и эти послѣднія были также вольнодумствомъ; «самобытность» кончалась и умственной, и матеріальной бѣдностью и отсталостью. Мысль о томъ, что истинное могущество націи достигается только свободнымъ и наибольшимъ развитіемъ ея самостоятельно дѣйствующихъ силъ, была непонятна. Думали, что этотъ результатъ достигается только формальной дисциплиной и всеобщей опекой, и казалось, что въ примѣрѣ Россіи это подтверждалось: ея громадные пространства, ея многочисленное, хотя и раскиданное населеніе издавна уже представляли большую военную, а слѣдовательно и политическую силу; крайняя національная исключительность, вошедшая въ народные нравы вслѣдствіе продолжительнаго отдѣленія отъ Европы, увеличивала военную силу государства сплоченностью русскихъ земель и нетерпимостью къ иноземному, — при этомъ положеніи дѣла, неглубокому наблюдателю можно было впасть въ недоразумѣніе, и смѣшать внѣшній объемъ силъ Россіи съ ихъ внутренней культурной энергіей. Очевидно, между тѣмъ, что внѣшній объемъ и внутреннее качество силы — двѣ совершенно разныя вещи. Благодаря своему пространству и населенію, Россія могла выставить весьма значительныя, даже огромныя силы, но эти усилія изнуряли и истощали ее больше, чѣмъ это бывало у другихъ народовъ; внѣшніе успѣхи почти всегда сопровождались внутреннимъ разореніемъ: «копѣйка» ставилась «ребромъ».

Какимъ образомъ внутреннее положеніе страны не соответствовало внѣшнему величію — это рѣзко обнаружилось въ кризисѣ крымской войны. Все вниманіе, въ теченіе цѣлыхъ десятковъ лѣтъ, было направлено на армію; но при испытаніи оказалось, что она совершенно отстала отъ армій европейскихъ; ея вооруженіе оказалось устарѣлымъ до безполезности; армія не могла двигаться по отсутствію дорогъ; содержаніе арміи стало источникомъ злоупотребленій — всѣ недостатки управленія сказались въ критическую минуту. Самая опасность отечества не останавливала безобразныхъ фактовъ, противъ которыхъ, въ долгіе годы, не могла ничего сдѣлать вынужденная къ молчанію общественная совѣсть. Бѣдственныя послѣдствія исключительной опеки, превращавшейся въ безнаказанный бюрократическій произволъ и подавлявшей даже самыя искреннія и доброжелательныя заявленія общественнаго мнѣнія, — оказались въ полнѣйшей мѣрѣ.

Отсутствіе внутренней силы указывалось уже изъ положенія громадной массы народа. Какъ бы для ироніи надъ «народностью», эта масса была крѣпостная или полу-крѣпостная, и роль народа была чисто пассивная. Безправный юридически, невѣжественный, бѣдный, запуганный народъ былъ той основой, на которой утверждалось гордое зданіе системы. И въ положеніи этой крестьянской массы въ теченіе описываемыхъ десятилѣтій не произошло никакой перемѣны. Напротивъ, законъ закрѣплялъ традиціонный порядокъ вещей, и замѣчено было даже, что при составленіи «Свода», законоположенія о крѣпостномъ состояніи крестьянъ точно съ умысломъ соединили въ себѣ все, что можно было найти невыгоднаго для крестьянъ въ различныхъ указахъ, изданныхъ по частнымъ случаямъ; узаконенія выгодныя для крестьянъ обращены въ невыгодныя для нихъ, наконецъ нѣкоторые указы Петра Великаго, для крестьянъ выгодные, прямо устранены¹⁾. Такимъ образомъ, юридическое положеніе крестьянъ почти ухудшилось за это время. Каково было вообще состояніе крестьянскаго быта — это еще памятно по недавнимъ нагляднымъ примѣрамъ и по слѣдамъ, которые остаются еще понынѣ. Но въ то же время, на этой бѣднѣйшей и безпомощной массѣ лежала вся тягость содержанія государства: на ней лежали налоги и рекрутство.

На ту же народную массу падала другая тягость. Въ традиціонныхъ порядкахъ государственнаго хозяйства, одну изъ главнѣйшихъ статей дохода поставляла откупная система, гдѣ печальнымъ образомъ выгода казны ставилась въ зависимость отъ народной испорченности.

То, въ чемъ состоитъ ручательство народнаго блага и національнаго, государственнаго могущества, — какъ мы едва начинаемъ это понимать теперь, — гражданская свобода для всѣхъ, широкое народное образованіе, хоть какая-нибудь степень самоуправления и народнаго представительства, юридическое уравниеніе всѣхъ передъ однимъ закономъ, возможное уравниеніе въ несеніи государственныхъ тягостей, — всѣ эти вещи, къ которымъ и теперь едва начинаетъ привыкать тугое пониманіе большинства, не только не существовали тогда ни въ какой степени, но были просто немыслимы. Мы увидимъ дальше, что въ тѣ годы только немногимъ изъ лучшихъ умовъ въ образованнѣйшей части общества, ясно представлялась мысль о необходимости новыхъ общественныхъ формъ, какъ единственнаго условія народ-

¹⁾ См. покойнаго В. Порошина: *Nos questions russes*, Paris, 1865. Тѣ же замѣчанія дѣлаетъ Н. И. Тургеневъ.

наго благосостоянія;—но и эта мысль не могла быть высказана, и эти люди—были люди, заподозрѣнные въ неблагонамѣренности. Въ такомъ противорѣчїи была господствовавшая система «народности» съ истинными требованіями національнаго развитія, и такъ мало представляла она перспективы на какое-нибудь согласіе съ этими требованіями.

Но кромѣ этого положенія народныхъ массъ — главной опоры и сущности государства, — система мало оправдывалась и другими явленіями національной жизни. При всемъ національномъ высокомерїи, которымъ отличалось то время, нельзя было скрыть, что Россія была предметомъ самой неограниченной эксплуатаціи экономической. Свои производства были бѣдны. Внѣшняя торговля Россіи была почти исключительно въ рукахъ иностранцевъ. Въ то время, когда мы гордились своими богатствами, называли южную Россію житницей Европы, — мы поставляли Европѣ только сырые продукты, которые возвращались къ намъ въ видѣ иностраннаго товара, очень невыгодно нами покупаемаго; отъ «житницы» наибольшій процентъ доставался опять иностраннымъ негоціантамъ. Русская промышленность довольствовалась обыкновенно только простѣйшими производствами: всѣ издѣлія, нѣсколько тонкія или сложныя, или поставлялись иностранной торговлей, или готовились въ Россіи у иностранныхъ заводчиковъ и иностранными мастерами, которые вообще держались въ Россіи почти также, какъ было въ XVII-мъ столѣтіи, т.-е. обогащаясь сами, и не сообщая русскимъ ничего изъ своихъ техническихъ знаній, умѣнья и предприимчивости. Надобно замѣтить, что развитію промышленной предприимчивости и народнаго обогащенія препятствовали наконецъ и свои домашнія причины, скрывавшіяся въ той же исключительности авторитета. Противъ этой предприимчивости была, непонятнымъ образомъ, предубѣждена сама власть. Въ этомъ отношеніи, какъ и во многихъ другихъ, сравненіе съ нынѣшнимъ положеніемъ вещей очень объясняетъ, до какой степени была стѣснена и находилась въ застоѣ даже экономическая жизнь: стоить взглянуть на обширное нынѣшнее развитіе акціонерной предприимчивости, или желѣзно-дорожнаго дѣла, въ прежнее время просто немыслимое. Это послѣднее было тогда по принципу закрыто для частныхъ предпріятій; само государство построило, и то убыточно, только одну значительную дорогу, какихъ теперь въ немного лѣтъ построены десятки....

Система «народности» не могла похвалиться и внутреннимъ порядкомъ, своими судами и администраціей. Мы упоминали выше о недостаткахъ управленія, объ отсутствіи правосудія и простой честности въ чиновничествѣ, — недостаткахъ, которые

были очень хорошо извѣстны самой власти. Теперь, когда часть этихъ старинныхъ золь истребляется новыми учрежденіями, намъ совершенно видно, что причина этихъ недостатковъ въ прежнее время была вовсе не въ недостаткѣ добродѣтели въ людяхъ, а въ самомъ характерѣ прежнихъ учрежденій, открывавшихъ полный просторъ этой испорченности. Эти недостатки *должны были* быть, потому что ничто не было защищено отъ произвола бюрократіи, что права общества ничѣмъ не были гарантированы. Судья въ закрытомъ судѣ, администраторъ, вооруженный произволомъ и канцелярской тайной, всегда и вездѣ всемогущи надъ частными лицами; отсутствіе общественнаго права всегда и вездѣ открываетъ обширное поле злоупотребленіямъ. — Наконецъ, время «народности» страннымъ образомъ совпадало съ особеннымъ господствомъ «нѣмцевъ», что замѣчала тогда и малоопытная масса публики.

Далѣе, въ этой системѣ не давалось никакого права дѣйствительной наукѣ: наука понималась только въ самомъ тѣсномъ утилитарномъ значеніи, внѣ котораго не только не допускалась, но даже преслѣдовалась. Ея мѣсто было строго опредѣлено извѣстными бюрократическими запрещеніями, которыя дѣлали изъ нея нѣчто странное, стѣсненное и обрѣзанное: каждый разъ, когда мысль научная или общественная приходила въ малѣйшее столкновеніе съ принятыми мнѣніями и обычаями, даже съ предрасудками и суетвѣріями, эта мысль трактовалась какъ зло-вредный умыселъ. Назвавши Чаадаева, Кирѣевского, Надеждина, Полеваго, Хомякова, Аксакова, Бѣлинскаго, Грановскаго, Рулье и т. д., которымъ пришлось испытать это на себѣ; упомянувши о стѣсненіи университетскаго преподаванія, о строгостяхъ цензуры, о полномъ отсутствіи публицистики, мы укажемъ печальное положеніе вещей въ этомъ вопросѣ.

Въ той рукописной литературѣ пятидесятихъ годовъ, о которой мы выше упоминали, а въ послѣднее время и въ печати, явилось много разсказовъ о цензурѣ, какова она была въ теченіе описываемаго періода, и особенно въ концѣ его. Можно сказать, что она дошла въ это время до своего *nes plus ultra*. Не довольно было одной обыкновенной цензорской опеки съ ея общими инструкціями; опасались, что она не можетъ усмотрѣть за всѣми нескромностями печати; отсюда учрежденіе специальныхъ цензуръ, число которыхъ больше и больше умножалось, — потому что каждое министерство, каждое отдѣльное вѣдомство желали оградить свои секреты отъ любопытства печати, къ которой вообще относились весьма недружелюбно. Оказывалось, конечно, что вѣдомства затрудняли обсужденіе подлежа-

щихъ имъ предметовъ до полной невозможности; возможны были панегирики, но не была возможна критика....

Изъ сказаннаго до сихъ поръ можно угадывать положеніе общественнаго мнѣнія и литературы. Первое упало въ сравненіи даже съ тѣмъ, что было во времена Александра, когда если не право, то обычай ввели извѣстную свободу мнѣній и интересъ къ ходу событій. Теперь въ особенности сталъ господствовать тотъ извѣстный принципъ, по которому считалось непозволительнымъ разбирать дѣйствія правительства ни въ осужденіе ему, ни въ похвалу: разсужденіе, хотя бы въ этомъ послѣднемъ смыслѣ, предполагало, что разсуждающій имѣетъ право дѣлать тѣ или другіе выводы, слѣдовательно и благопріятные и неблагопріятные, — между тѣмъ авторитетъ былъ такъ ревнивъ, что послѣдняго не могъ допустить ни подъ какимъ видомъ: критики онъ не дозволялъ, и она слишкомъ легко могла подойти подъ «неуважительные отзывы»; впрочемъ, похвалы были расточаемы изобильно.... Основною чертою времени было отсутствіе публичности; слѣдовательно, незнаніе того, что дѣлается въ странѣ, или знаніе изъ одного оффиціально-бюрократическаго источника; отсюда, наконецъ, сильно распространенное безучастіе къ событіямъ и интересамъ, въ которыхъ само общество не имѣло никакой активной роли.

Литература, взятая въ цѣломъ, не говоритъ о самыхъ капитальныхъ, насущныхъ вопросахъ жизни, о которыхъ уже говорило во времена импер. Александра не только общественное мнѣніе образованнѣйшихъ круговъ, но отчасти даже и печать, какъ ни была она тогда непривычна къ подобнымъ предметамъ. Такъ литература ни словомъ не заикалась о политическихъ предметахъ, о внутреннихъ дѣлахъ, о необходимости реформъ въ учрежденіяхъ административныхъ и судебныхъ, о крестьянскомъ вопросѣ, однимъ словомъ, обо всемъ, что касалось государства и управленія. Литература какъ будто не подозрѣваетъ этихъ вопросовъ, не можетъ заявить, что желала бы ими заниматься. Въ своихъ лучшихъ представителяхъ она вся ушла въ чистую художественность, стремилась къ отвлеченной философіи, ставила общіе нравственные вопросы (мы скажемъ далѣе, какъ развитіе ея перешло въ эту исключительную сферу, въ которой она успѣла поддержать свое прогрессивное движеніе). Публицистика, можно сказать, совершенно не существовала; даже въ той скромной формѣ, въ какой мы имѣемъ ее теперь, она показалась бы неслыханной дерзостью, преступленіемъ. Мы будемъ имѣть случай

упоминать о томъ, какія вещи могли тогда возбуждать подозрѣнія и осужденія. Предметы политическіе были до такой степени удалены отъ общественнаго вѣдома (какъ вещь опасная), что новѣйшая политическая исторія изгонялась изъ преподаванія и изъ литературы; политическая экономія относима была къ числу предметовъ опасныхъ, и т. д.

Такое положеніе вещей не могло быть благопріятно для успѣховъ общества и литературы: эта строгая опека, допускавшая только самую узкую область мнѣній, опредѣленныхъ этой системой, равнялась категорическому отрицанію всякаго движенія впередъ. Но если только общество имѣло какіе-нибудь задатки силы и историческаго значенія, ему предстояла только одна дорога — стремиться къ болѣе и болѣе полному развитію національнаго ума усвоеніемъ европейской науки и къ внутреннему политическому усовершенствованію; для литературы одна дорога — болѣе и болѣе дѣятельное и сильное служеніе этому требованію, служеніе дѣлу свободной критической мысли и общественнаго сознанія. Именно въ этомъ смыслѣ и началось передъ тѣхъ движеніе новой русской литературы. Такимъ образомъ, необходимое условіе внутренняго развитія вело литературу, выражавшую лучшія прогрессивныя стремленія общества, совершенно въ иномъ направленіи, чѣмъ указывала и требовала система. Отсюда неизбѣжно было столкновеніе двухъ направленій, и такъ какъ одно изъ нихъ поддерживалось всѣмъ могуществомъ авторитета и положеніемъ народныхъ массъ, то роль литературы становилась чрезвычайно трудной....

Но при всемъ стѣсненіи, какое она должна была выносить, литература не измѣнила своему предназначенію, и если взвѣсить затрудненія, съ которыми ей приходилось бороться, то нельзя не признать за ея главными дѣятелями высокой заслуги. Литература указывала обществу лучшіе нравственные идеалы, защищала дѣло просвѣщенія, объясняла нравственное достоинство человѣка и общества.

Реакція послѣднихъ годовъ имп. Александра подавила много начатковъ общественной мысли и понизила ея уровень, — но не могла измѣнить историческаго развитія. Въ новомъ, наступившемъ періодѣ развитіе продолжалось и литература раздѣлилась, какъ бывало прежде, на двѣ главныя стороны, которыя выразили собою два господствовавшія надъ жизнью направленія. Одна безусловно приняла авторитетъ, вошла вполне въ ту роль, какая ей предназначалась имъ, превозносила *status quo*, и стала вообще орудіемъ и изображеніемъ реакціоннаго консерватизма. Другая — восприняла начатое прежде дѣло критики,

изслѣдованія національныхъ и общественныхъ отношеній: это было послѣдовательное продолженіе той общественной мысли, которая заявлялась съ конца XVIII-го вѣка дѣятельностью Новикова и Радищева, и потомъ — либерализмомъ временъ импер. Александра. На первое время, въ началѣ описываемаго періода, литература какъ-будто отступила отъ вопросовъ, какіе были уже поставлены въ обществѣ, отказалась отъ интересовъ, которые уже находили къ себѣ ревностное участіе: въ этой литературѣ дѣйствительно отсутствовалъ элементъ политическій, и она съ особеннымъ предпочтеніемъ обратилась къ вопросамъ теоретической философіи и чистаго искусства. Это было, въ извѣстной степени, слѣдствіемъ реакціонныхъ стѣсненій; но, съ другой стороны, это было также и естественнымъ развитіемъ понятій. Въ то самое время, когда упомянутыя стѣсненія подавляли въ литературѣ всякій признакъ общественно-политическихъ интересовъ и по необходимости приводили умственную жизнь къ чисто-отвлеченнымъ и совершенно общимъ вопросамъ, то же направленіе производили и другія вліянія. Такъ, въ этомъ смыслѣ дѣйствовали вліянія европейской литературы, въ которой философскія изученія и романтическое искусство именно въ то время были господствующимъ интересомъ и которая продолжала быть для насъ источникомъ новыхъ понятій. Въ самой русской литературѣ въ то время Пушкинъ явился первымъ самостоятельнымъ представителемъ художественной, объективной, и вмѣстѣ политически индифферентной или даже консервативной поэзіи, и литературѣ въ виду этого явленія выпадала естественная задача — объяснить Пушкина и установить теоретическія понятія искусства и литературы. Наконецъ, — и это было не послѣднее обстоятельство, объясняющее дальнѣйшій ходъ литературы, — политическое движеніе двадцатыхъ годовъ само по себѣ вызывало необходимость если не въ именно такомъ, какое случилось, то въ подобномъ обращеніи къ общимъ вопросамъ: горячее и искреннее по своимъ побужденіямъ, исторически замѣчательное по своимъ стремленіямъ къ народному благу, это движеніе было слишкомъ мало созрѣвшимъ, слишкомъ дилеттантскимъ по средствамъ, какими могло располагать. Общественному образованію нужно было выработать болѣе ясныя теоретическія представленія, болѣе полныя понятія о народной жизни, — къ тому и другому, прямо или косвенно, служили тѣ изученія, которыя стали теперь главнымъ умственнымъ интересомъ общества. Какъ повидимому они ни удалялись отъ прежде поставленныхъ цѣлей, но, въ концѣ концовъ, эти философскія, художественныя, историческія, народныя стремленія и увлеченія литературы, мало по малу

выясняясь, возвратились къ тому же общественному вопросу: одно время какъ будто оставленный литературою, онъ являлся вновь, съ гораздо большей внутренней опредѣленностью.

Прежде, чѣмъ перейти къ изображенію этихъ живыхъ элементовъ литературы, мы должны остановиться на той сторонѣ ея, которая прямо представляла собой *status quo*, чувствовала въ немъ себя дома и была имъ поощряема. Мы встрѣтимъ здѣсь и очень крупныя имена, даже самыя крупныя, какія были въ этомъ періодѣ въ литературѣ поэтической.

Эта консервативная литература, развивавшая официальную народность, была въ близкой связи съ романтизмомъ. Мы видѣли выше, что Жуковскій съ самаго начала былъ склоненъ къ консервативному бездѣйствію. Его поэзія, наполненная заоблачными стремленіями, никакимъ путемъ не могла столкнуться съ земной дѣйствительностью; она могла возрастать безпрепятственно въ какихъ угодно условіяхъ и служить, какъ говорится, «украшеніемъ» своего времени. Она принесла свою отвлеченную пользу, потому что умы и сердца, искавшіе идеальной пищи, находили ее здѣсь; но должно сказать, что истинную питательность она приобрѣтала только вмѣстѣ съ другими, болѣе сильными элементами. Жуковскій, напр., переводилъ и помогаль понимать Шиллера, — но должно было прочесть самого Шиллера, или другіе еще переводы изъ него, не сдѣланные Жуковскимъ, чтобы получить о немъ правильное понятіе. Переноса къ намъ европейскій романтизмъ, Жуковскій выбиралъ изъ него только отвлеченный, далекій отъ жизни романтическій мистицизмъ, который, внушая равнодушіе къ дѣйствительности, и кончался слишкомъ легкимъ примиреніемъ съ ней... Пушкинъ, начавши съ либерализма, впослѣдствіи не нашелъ въ себѣ достаточно критической независимости, чтобы выдержать это направленіе. Его общественныя понятія удовлетворились той жизнью, какая была на лицо, и даже его художественныя потребности удовлетворились тѣмъ изысканнымъ и искусственнымъ блескомъ, который представляла эта эпоха. Пушкинъ прельщался этимъ блескомъ и не замѣчалъ его подкладки. Изъ него, конечно, не могло уже выйти Державина; тѣмъ не менѣе у него являются мотивы, которые дѣлали его писателемъ если не партіи, то извѣстной стороны общественнаго мнѣнія, именно той, которая воспринимала и воздѣлывала представленія официальной народности. Эта сторона, во всякомъ случаѣ, могла бы видѣть въ величайшемъ русскомъ поэтѣ сторонника своихъ идей, и были

случаи, гдѣ она ссылалась на него, какъ на «гласъ народа». Затѣмъ, когда созрѣвшее общественное чувство вызвало поражающій юморъ и сатиру Гоголя, то подъ вліяніемъ тѣхъ же условій этотъ писатель, какъ извѣстно, отказался отъ знаменательнаго смысла своихъ произведеній, но такъ какъ перетолковать этого смысла было невозможно, онъ хотѣлъ исправить ошибку второй частью «Мертвыхъ душъ» и «Выбранными мѣстами», которыя, въ своей тенденціозной части, оказались также безжизненны, какъ теорія, которой онъ хотѣлъ служить ¹⁾...

Такого рода дѣйствіе оказывала даже на первостепенные таланты та среда, то огромное общественное большинство, на понятіяхъ котораго утверждалась система оффиціальной народности. Вліяніе авторитета, поддерживавшаго эту систему, отражалось на всемъ характерѣ жизни: наблюдателю могло казаться, что таковъ и дѣйствительно самый характеръ народа, вся его исторія и все будущее; даже сильные умы и таланты, вращаясь въ этой жизни, подвергаясь многоразличнымъ ея впечатлѣніямъ, сживались съ нею и усвоивали ея теорію. Настоящее казалось имъ разрѣшеніемъ исторической задачи; «народность» считалась отысканною, а съ нею указывался и предѣлъ стремленій: оставалось отдыхать на лаврахъ...

Въ этой обыкновенной средѣ большинства господствующій тонъ производилъ странную литературу, въ которой была будто бы и журналистика, и поэзія, и наука, было даже извѣстное оживленіе, по крайней мѣрѣ шумъ, но которая однако поражаетъ своей пустотой и натянутостью. Журналистика ограничивалась почти исключительно литературными интересами; легкая повѣсть или романъ, легкая литературная критика, индифферентныя историческія и другія статьи, путешествія, разнаго рода анекдотическій матеріалъ—составляли главную сущность ея содержанія. Вопросы общественные были вообще для литературы закрыты; изданія серьезные не пробовали даже говорить о нихъ,—потому что о нихъ можно было говорить только въ извѣстномъ тонѣ благонамѣренной скромности и благодарности попечительному начальству, въ родѣ того, какъ говорили «благодарные граждане» у Гоголя. Литература рутинная такъ о нихъ и говорила. Предметы политическіе,—говорить о которыхъ наша литература, какъ извѣстно, получила нѣкоторое право только очень еще не-

¹⁾ Характеръ «Выбранныхъ мѣстъ» извѣстенъ, но чтобы получить объ нихъ полное понятіе, надо читать еще тѣ письма и отрывки, которые были выключены изъ нихъ, при печатаніи, авторомъ или его друзьями, и которые изданы были въ Р. Арх. 1866, стр. 1730 и слѣд.

давно, — считались вообще чрезвычайно опасными: предполагалось, что занятія современной исторіей и политикой не могут принести обществу ничего, кромѣ вреда, — потому что европейская жизнь считалась испорченной и представляющей только примѣры безразсуднаго вольнодумства и преступнаго своеволия. Единственная почти газета съ политическимъ отдѣломъ была знаменитая «Сѣверная Пчела»; она помѣщала статьи по политическимъ вопросамъ, и усердно проповѣдовала подобную точку зрѣнія: Россія и Европа, особенно Европа конституціонная, представляли рѣзкую противоположность — порядка и спокойствія съ одной стороны, буйства и своеволия съ другой; Россіи нечего было завидовать Западу, потому что мнимая цивилизація приводитъ Западъ только къ безбожію и революціямъ; намъ, напротивъ, слѣдуетъ всячески отъ него оберегаться, чтобы къ намъ не проникла его зараза. «Сѣверная Пчела» не находила словъ, чтобы выражать свое отвращеніе къ конституціямъ и насмѣхаться надъ ними: парламентскіе ораторы Франціи и Англіи были «крикуны», вольнодумцы, которыхъ слѣдовало просто усмирить полицейскими внушеніями. Революціонныя движенія 1830 и 1848 года только доставили привилегированной политической газетѣ поводъ къ новымъ взрывамъ благонамѣреннаго негодованія ¹⁾... Правда, «Сѣверная Пчела» уже съ первыхъ поръ своего существованія стала приобрѣтать свою извѣстную репутацію, которая, повидимому, должна еще украситься отъ историческихъ разоблаченій, уже начинающихъ появляться; но эта репутація, дѣлавшая ее предметомъ презрѣнія въ кругу образованнаго меньшинства, не мѣшала ей представлять собой цѣлый огромный слой русскаго общества, изъ средняго грамотнаго класса, чиновничества, дворянства, гостинодворской публики, военнаго сословія, даже высшаго, — которые удовлетворялись понятіями «Сѣверной Пчелы». Гречъ, который, говоря о своихъ связяхъ съ Булгаринымъ, самъ, какъ рассказываютъ, съ изумительной откровенностью сравнивалъ себя съ «каторжникомъ, таскающимъ за собой свое ядро» ²⁾, — Гречъ и его сподвижникъ имѣли своего рода популярность, въ тѣ времена очень обширную.

Политическія отношенія этой пары и ея связи съ различными

¹⁾ Каковы были взгляды нашихъ политическихъ газетъ (политическія свѣдѣнія кромѣ «Сѣв. Пчелы» помѣщались еще въ Спб. и Моск. «Вѣдомостяхъ», но особенно характеристичны были въ первой), можно достаточно увидѣть изъ любопытнаго ряда выписокъ, сдѣланныхъ въ статьѣ г. Антоновича при 8-мъ томѣ втораго изданія «Исторіи Восемн. Столѣтія» Шюссера, Сиб. 1871.

²⁾ См. «Зарю», 1871, № 4.

оффіціальными учрежденіями до сихъ поръ еще не вполне выяснены; но извѣстно уже и теперь, что эти связи были довольно тѣсны, какъ-бы дружескія. Одно оффіціальное учрежденіе прямо руководило политическими мнѣніями «Сѣверной Пчелы» и одно время политическія извѣстія доставлялись въ газету готовыми изъ этого учрежденія ¹⁾.

«Сѣверная Пчела» имѣла, конечно, свои грязные элементы, которыхъ нельзя навязывать всѣмъ послѣдователямъ ея мнѣній, въ большинствѣ болѣе наивнымъ и незнающимъ, нежели злокачественно-лицемѣрнымъ; но она, безъ сомнѣнія, высказывала не свои только личныя мнѣнія, когда предавалась національному самохвалству и брани на Европу съ одной стороны и рабскому уничтоженію съ другой. То же, или почти то же отсутствіе критики относительно нашего внутренняго положенія намъ случалось указывать и у людей совершенно иного нравственнаго достоинства, чѣмъ дѣятели «Сѣверной Пчелы».

Мы видѣли, что первая романтическая школа уже отличалась этимъ недостаткомъ общественной критики. Теперь эта школа дошла до своего послѣдняго предѣла. Главными ея чертами остались въ поэзіи—стремленіе къ (мнимой) свободѣ поэтическаго вдохновенія и творчества, своего рода *Kraftgenialität*, кончавшаяся только необузданностью фразы; въ понятіяхъ общественныхъ тотъ преувеличенный, или вѣрнѣе, извращенный патріотизмъ, который, по своему логическому достоинству, уходилъ мало дальше «Сѣверной Пчелы». Въ этомъ стилѣ писалъ Кукольникъ свои романтически-надутыя и хвастливо-патріотическія драмы; ихъ шумная популярность показываетъ, что онѣ приходились по вкусу и умственнымъ средствамъ большинства, которое удовлетворялось наборомъ громкихъ фразъ, находя въ немъ вдохновеніе, и апокрифической національной апотеозой, находя въ ней истинный патріотизмъ. Случай съ одной извѣстной его драмой показываетъ, что даже высшія оффіціальныя учрежденія,—которыя руководили политическими мнѣніями общества,—какъ-бы давали ей свою санкцію,—такъ что усумниться въ ней, какъ это сдѣлалъ Полевой, становилось преступленіемъ.

Въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ у насъ вошелъ въ большую моду историческій романъ во вкусѣ Вальтера-Скотта; этотъ романъ отличался той же тенденціей, и за немногими только исключеніями, задавался не столько желаніемъ понять и изобразить эпоху, сколько желаніемъ набрать побольше романти-

¹⁾ См., напр., «Русскій Архивъ» 1869, стр. 1557—1558.

ческой эффектности и особенно представить русскія доблести. Наиболѣе популярнымъ романистомъ этого стиля былъ Загоскинъ; въ его романахъ нельзя, конечно, искать историческаго колорита, и хотя въ его сентиментальномъ прикрашиваньи стараго и новаго была искренность, которая миритъ съ нимъ и которая до сихъ поръ поддерживаетъ популярность этого писателя въ извѣстномъ кругѣ читателей,—но при всемъ томъ въ тенденціяхъ Загоскина было много и того, что называли тогда кваснымъ патріотизмомъ, и консервативная нетерпимость дѣлала его чело-вѣкомъ партіи. Любовь къ «своему русскому», «народному», къ сожалѣнію и тогда, какъ мы слишкомъ часто видимъ это теперь, служила подкладкой и предлогомъ для обскурантизма, у однихъ простодушнаго и происходившаго только отъ недостатка образованія, у другихъ сознательнаго и злостнаго. Не очень далеко отъ подобнаго обскурантизма стоялъ иногда и Загоскинъ. Въ такомъ же родѣ складывался входившій тогда въ моду «нравоописательный» романъ. Эти романы, имѣвшіе притязаніе изображать русскую жизнь, писались по извѣстному шаблону, какъ старинныя комедіи. Въ нихъ являлись дѣйствующія лица добродѣтельныя и порочныя, добродѣтель страдала, но въ концѣ концовъ награждалась, а порокъ наказывался,—въ результатѣ выводилось нравоученіе въ духѣ консервативной морали: въ неурядицахъ жизни виноваты были только людскіе пороки, все остальное было совершенно хорошо. Большинство этихъ романовъ были совершенно плохи, и если даже взять наиболѣе замѣчательныя произведенія этого разряда, написанныя еще внѣ вліяній Гоголя, мы найдемъ въ нихъ иногда самыя лучшія намѣренія (въ примѣръ укажемъ хоть Калашникова), но и совершенное неумѣнье найти настоящую точку зрѣнія, и логическую, и художественную. За отсутствіемъ ея эти романы, и подобныя имъ произведенія той поры, оставались совершенно безплодны въ литературномъ движеніи: жизнь изображалась въ условномъ книжномъ стилѣ, съ выдуманными людьми, съ риторической добродѣтью, съ обличеніемъ отвлеченныхъ пороковъ. Эта литература еще не знала общественной сатиры Гоголя; но она не воспользовалась и Грибоѣдовымъ.

Какіе литературные нравы складывались въ этомъ кругѣ, объ этомъ можно было читать въ различныхъ воспоминаніяхъ изъ этого времени. Назовемъ воспоминанія Греча, воспоминанія о Гречѣ другихъ лицъ, записки Глинки, воспоминанія И. И. Панаева. Эти кружки, гдѣ играли роль Гречъ и Булгаринъ, Воейковъ, Сенковский, Кукольникъ, гдѣ странно соприкасались литература и по-

лиція, романтическій задоръ и восторженная благонамѣренность¹⁾; были весьма характеристичны. Въ нихъ также не было никакого яснаго стремленія, какъ и въ массѣ общества; внѣшній видъ оживленія заставлялъ думать этихъ писателей, что ими держится литература, и что литература такова и должна быть, какъ они ее разумѣли; у нихъ не было ни малѣйшаго подозрѣнія о совершенномъ ничтожествѣ ихъ фразистой реторики и ихъ общественной философіи. За исключеніемъ двухъ-трехъ людей сомнительной репутаціи, которые играли роль въ этой литературѣ, дѣятели ея были вовсе не дурные люди: это были только люди, слѣдовавшіе за общимъ теченіемъ, не испытывавшіе, вмѣстѣ съ массой общества, никакихъ тревогъ сомнѣнія, и вполне вѣрившіе въ господствующую систему. Наступившее движеніе вытѣснило эту литературу на задній планъ, откуда она уже не выходила и гдѣ она еще долго служила вкусомъ полуобразованной части общества.

Романтическая напыщенность, внѣшній блескъ и отсутствіе содержанія, непониманіе дѣйствительности, отличающія консервативную романтическую школу, любопытнымъ образомъ отражаются и въ тогдашнемъ искусствѣ, особенно въ томъ, которое болѣе замѣтнымъ образомъ было связано съ тенденціями времени и хотѣло въ своей сферѣ служить имъ. Прославленные тогда картины Брюлова представляютъ много общаго съ романтическимъ «размахомъ» Кукольника. Въ то время поставлено было нѣсколько памятниковъ знаменитымъ русскимъ людямъ, и эти памятники отличаются замѣчательной неестественностью и отсутствіемъ сознанія мѣста, времени и народа: таковъ Ломоносовъ, поставленный подъ полирнымъ кругомъ въ античной наготѣ, едва прикрываемый какой-то мантией; такова фигура Клію, поставленная въ губернскомъ городѣ для изображенія Карамзина. Натянутая торжественность и фальшивость этихъ произведеній бросалась въ глаза даже иностранцамъ²⁾; понятно, что въ этихъ памятникахъ, повидимому удовлетворявшихъ тогдашнимъ оффиціальнымъ представленіямъ о народности, всего меньше было русскаго и народнаго.

Наиболѣе популярнымъ журналистомъ этой консервативной литературы былъ Сенковскій, писатель несомнѣнно со свѣдѣніями и талантомъ, но которому, несмотря на то, придется занять

¹⁾ Въ порушѣ такой благонамѣренности Кукольникъ заявлялъ готовность «завтра быть акушеромъ, если прикажутъ». См. «Рус. Стар.» 1870, II, стр. 384.

²⁾ См., напримѣръ, нѣсколько отзывовъ объ этихъ и подобныхъ произведеніяхъ у Кюстина, Диксона и проч.

очень жалкое мѣсто въ исторіи этого времени. Сенковскій, на первое время, умѣлъ дать своему журналу интересъ для обыденной публики запасомъ легкаго чтенія и внѣшнимъ шутовскимъ остроуміемъ, но отсутствіе содержанія было такъ велико, что журналъ наконецъ упалъ до полнаго ничтожества. Сенковскій стоялъ совершенно внѣ интересовъ русской мысли; его насмѣшливость и остроуміе, въ сущности очень дешевое, которыми онъ такъ правился извѣстной публикѣ, не имѣла никакой иной подкладки, — кромѣ полнаго равнодушія къ интересамъ русской литературы, а также чрезвычайнаго самолюбія и озлобленія за то, что живая литература прошла мимо его, оставила его въ сторонѣ и позади себя. Насмѣшки барона Брамбеуса направились вскорѣ и на тѣ произведенія нашей литературы, которыя являлись высшимъ пунктомъ ея развитія и лучшимъ ея приобрѣтеніемъ, какъ, напр., произведенія Гоголя, которыхъ онъ умышленно или дѣйствительно не понималъ. Сенковскій сталъ вообще враждебно къ новому литературному движенію; онъ не признавалъ его и думалъ, что можетъ смѣяться надъ нимъ. Немудрено, что въ наше время критика отнеслась къ Сенковскому подозрительно и находила его дѣятельность двусмысленной. Въ самомъ дѣлѣ, когда явились Гоголь, критика Бѣлинскаго, «натуральная школа», то эти новыя направленія, очевидно затрогивавшія самую жизнь, съ одной стороны были не вполнѣ вразумительны людямъ господствующей школы, съ другой имъ инстинктивно и сильно не нравились, какъ что-то имъ не подчинявшееся, шедшее мимо установленныхъ традицій, задававшее какіе-то новые вопросы. Стольکو же не нравились они и людямъ, которые вели контроль надъ общественнымъ мнѣніемъ. «Сѣверная Пчела» и журналы ея сорта всячески нападали на это новое движеніе; выходки Сенковскаго противъ него получали тотъ же смыслъ и, безъ сомнѣнія, должны были быть пріятны людямъ, не желавшимъ, чтобы въ литературѣ являлась какая-нибудь независимая мысль, какое-нибудь вліятельное направленіе. Смѣхотворство и шутовство Сенковскаго становилось рядомъ съ полицейскими доносами «Сѣверной Пчелы». Такъ его и понимала упомянутая позднѣйшая критика ¹⁾, которая иногда не щадила никакихъ выраженій для характеристики общественной роли Сенковскаго, приписывая ему роль чисто

¹⁾ Мы считаемъ почти излишнимъ упоминать о другомъ мнѣніи, которое объясняетъ дѣятельность Сенковскаго, какъ еще одинъ лишній примѣръ «польской интриги». Этой интриги нигдѣ не видно, а напротивъ, оказывается (см. статью о тайныхъ обществахъ въ западномъ краѣ при имп. Александрѣ, въ «Зарѣ», 1871, кн. 5), что Сенковскій, относительно «польской интриги», добросовѣстно исполнялъ обязанности русскаго чиновника.

полицейскую. Но пока относительно послѣдняго нѣтъ еще никакихъ основаній, и роль Сенковского объясняется, кажется, проще общими условіями литературы и личнымъ положеніемъ Сенковского. Условія, въ которыхъ составились литературные вкусы Сенковского, были слишкомъ неблагоприятны для серьезной литературы, и въ самомъ началѣ Сенковский могъ выбрать свою дорогу именно подъ впечатлѣніями двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ: соображенія личной безопасности и эгоизма отогнали отъ него всякую мысль о какой-либо пропагандѣ. Съ другой стороны, съ самаго начала онъ былъ значительно чуждъ литературному движенію. Онъ воспитался въ чужомъ обществѣ, и русскіе интересы не были его ближайшими интересами; повидимому, онъ даже не былъ вовсе ревностнымъ полякомъ, но и въ русскомъ обществѣ держался на сторожѣ. Быть можетъ, въ первое время и ученая дѣятельность, въ которой его ученики приписываютъ ему великія заслуги, занимала его настолько, что онъ не чувствовалъ особой любви къ литературѣ, какъ это бываетъ нерѣдко. По уму и образованію, или вѣрнѣе—начитанности, онъ стоялъ конечно выше всей своей тогдашней обстановки, и все это вмѣстѣ производило въ немъ то отношеніе къ русской литературѣ, скептическое и свысока, въ которомъ онъ наконецъ счелъ для себя позволительнымъ самое наглое шарлатанство: это отношеніе могло показаться ему сначала естественнымъ (оно имѣло успѣхъ), и онъ не могъ отказаться отъ него впоследствии, и потому, что уступить и сойти со сцены было непріятно для его самолюбія, и потому, что начавшееся движеніе уже вскорѣ оказалось ему не по силамъ. По нашему мнѣнію, Сенковский едва ли игралъ ту злостную роль, какую ему приписываютъ; это былъ просто тотъ литературный пустоцвѣтъ, который только и могъ вырасти въ окружавшихъ его условіяхъ. Онъ принялъ эти условія, не задалъ себѣ никакого высшаго идеала, и кончилъ полнымъ ничтожествомъ. Повторяемъ: онъ кажется намъ только естественнымъ порожденіемъ своего времени, прямымъ слѣдствіемъ тѣхъ условій, въ какія господствующая система ставила умственную жизнь, и отказаться отъ которыхъ у него не достало ни характера и чувства собственного достоинства, ни общественного интереса.

Наконецъ, господствующій тонъ понятій отразился и въ историческихъ представленіяхъ. Мы упомянемъ дальше, какъ новое движеніе вызвало особенное оживленіе историческихъ работъ; теперь мы упомянемъ только, какую исторію создавало себѣ то большинство, которое видѣло въ настоящемъ высшій пунктъ историческаго «преуспѣянія» и вполне принимало весь

объемъ и всѣ послѣдствія преданія. Та исторія, которая была тогда признана оффиціально, преподавалась въ школахъ, которой разрѣшено было довести рассказъ до новѣйшаго времени, — по своей основной мысли была отчасти продолженіемъ «Исторіи Государства Россійскаго», отчасти оригинальнымъ построеніемъ. Съ Карамзинымъ новая оффиціальная исторія расходилась во взглядѣ на Петра Великаго и реформу; Карамзинъ не любилъ ихъ, — она видѣла въ Петрѣ величайшаго изъ русскихъ государей. Она расходилась также съ Карамзинымъ во взглядѣ на Новгородъ, на Литовскую Русь. Затѣмъ основные пункты Карамзина повторялись. Русская исторія не представляла столько разнообразія и блеска, какъ исторія западная; но она богата мудрыми государями, славными подвигами, высокими добродѣтелями. Исторія самодержавія начинается съ Рюрика; прерванное или ослабленное прискорбными междоусобіями удѣльнаго періода (представляющаго дѣленіе Россіи между князьями одного дома, вслѣдствіе дурного понятія о престолонаслѣдіи), оно должно было пасть подъ татарскимъ нашествіемъ, но возстало вновь подъ мудрой политикой великихъ князей и царей московскихъ. Принявъ христіанство изъ Византіи, Россія получила второе изъ своихъ основныхъ и незыблемыхъ началъ — православіе, которое разъ навсегда установило въ ней истинное просвѣщеніе. Съ древнѣйшихъ временъ мудрые іерархи и учителя церкви поддерживали чистоту этого просвѣщенія, которое въ этомъ видѣ дошло и до нашего времени и, доставляя намъ твердыя правила вѣры и нравственности, устраняло отъ насъ всѣ зловредныя ученія, въ какія ввергался не имѣвшій этой нити Западъ. Третье основное начало русской жизни, народность, являлась какъ плодъ новѣйшаго времени и новѣйшаго правленія: съ Петра Великаго Россія должна была многое заимствовать изъ Европы; увлекаемая въ европейскія дѣла, заимствовала европейскіе нравы, а также и нѣкоторыя заблужденія — новое время возвращаетъ ее къ истиннымъ началамъ русской народности. Съ водвореніемъ ихъ русская жизнь наконецъ устанавливается на истинной стезѣ прусупіянія, и Россія, усвоивая себѣ знанія безъ сомнѣнія лжеименнаго разума и плоды цивилизаціи безъ ея заблужденій, можетъ гордиться предъ Европой.

Исторія Россіи представляла только постепенное стремленіе къ этому блаженному настоящему, разрѣшавшему всѣ вопросы. Принципы были даны съ самаго начала совершенно готовые, а внутренняя исторія какъ будто состояла только въ рядѣ мѣропріятій, которыя власть употребляла для ихъ утвержденія. Историки не видѣли другихъ элементовъ историческаго развитія, не

видѣли и тѣни той борьбы въ самыхъ народныхъ массахъ, тѣхъ разнообразныхъ явленій внутренней жизни, изслѣдованіе которыхъ представляетъ теперь особенную привлекательность для историковъ. Народъ, напротивъ, представлялся страдательной массой, предметомъ правительственныхъ распоряженій, не имѣвшимъ ни голоса, ни собственнаго разсужденія. Однимъ словомъ, историки переносили въ прошедшее свои представленія о настоящемъ; ихъ исторія дѣлалась не только исторіей государства, какъ было у Карамзина, но просто исторіей правительства. Народная масса была груба и невѣжественна,—ей дали государство и просвѣтили ее христіанствомъ, привели въ порядокъ ея гражданскую жизнь, дали ей законы и т. д. Правда, были волненія и мятежи, но они происходили только отъ необузданныхъ страстей и невѣжества, и власть, въ концѣ концовъ, умиряла ихъ и восстанавливала порядокъ; были бѣдствія, были жестокости правителей, но народъ «умѣлъ» сносить ихъ «безропотно». Въ числѣ мудрыхъ мѣръ приводилось и закрѣпощеніе крестьянства...

Мы упомянули, что историки этой категоріи брались изображать и настоящее. Можно себѣ представить, что это былъ постоянный и слишкомъ неумѣренный панегирикъ, историческая амплификація извѣстной темы, что все обстоитъ благополучно, и что граждане благословляютъ свою судьбу. Людямъ разсудительнымъ и тогда странно было читать эти вещи; еще страннѣе было читать ихъ впослѣдствіи, когда теченіе событій совершенно опровергнуло панегирикъ: неумѣренные восхваленія иногда становились похожи на иронію....

Въ дополненіе къ этой исторіи являлись труды, менѣе проникнутые официальною, но не менѣе отличавшіеся восхваленіемъ русской старины, отрицаніемъ Европы и низкопоклоннымъ превознесеніемъ настоящаго. Однимъ изъ самыхъ характерныхъ образчиковъ такой исторіи можетъ служить «Исторія русской словесности, преимущественно древней» Шевырева, и другія произведенія этого писателя, представлявшаго, вмѣстѣ съ г. Погодинымъ, особую школу, которой не надо смѣшивать съ славянофильствомъ (хотя между ними было все-таки много общаго). Стилъ Шевырева, отличавшійся елейнымъ краснорѣчіемъ, соотвѣтствовалъ содержанію его немудреной теоріи, — находившей въ древней Руси всѣ нравственные идеалы: онъ опять переносилъ въ прошедшее тѣ понятія и нравы, какими онъ жилъ въ настоящемъ, и не будучи въ состояніи представить себѣ иныхъ формъ жизни и иныхъ идеаловъ, Шевыревъ прямо выставилъ высшимъ идеаломъ не только личнымъ, но и гражданскимъ, добродѣтель «смиренія»; смыслъ прошедшей исторіи и задачу

будущей онъ видѣлъ для русскаго народа въ «приниженіи личности».

Мы ограничимся этими примѣрами, чтобы показать, какія черты принимала литература, выроставшая изъ тогдашняго положенія вещей, изъ господствующихъ понятій и нравовъ. Эта литература была, съ одной стороны, продолженіемъ консервативнаго романтизма, съ другой, примѣненіемъ официальной народности; вообще это была литература неподвижности и застоя, отличавшихъ огромное большинство общества. Она не предполагала и возможности другого порядка идей, другого теченія жизни, чѣмъ тѣ, которые видѣла господствующими, не предполагала никакой возможности сомнѣнія; сурово опекаемая и связанная, она не имѣла даже сознанія своего положенія, полагала, что иначе быть не можетъ и не должно, и наконецъ завершалась мрачнымъ фанатическимъ обскурантизмомъ «Маяка», или выдумывала свои жалкія теоріи, чтобы мнимо-научнымъ образомъ (потому что изъ европейской литературы узнала о существованіи научныхъ приемовъ и требованій) оправдать свое существованіе, и возводила въ принципъ — отсутствіе всякой личной и общественной свободы и самодѣтельности.

Нетрудно видѣть, каково могло быть, въ этомъ порядкѣ вещей, положеніе той части литературы, которая продолжала прежнее прогрессивное движеніе. Въ указанномъ сейчасъ хорѣ консервативныхъ голосовъ не было мѣста ея стремленіямъ, какъ не было имъ отголоска и основанія въ настроеніи огромнаго большинства общества. Она вскорѣ же выдѣлилась особыми группами писателей изъ общей массы и, скоро замѣченная своимъ тѣснымъ кругомъ читателей, не ускользнула и отъ вниманія учреждений, которымъ принадлежалъ контроль надъ печатью и общественнымъ мнѣніемъ. На первыхъ же порахъ она была отмѣчена какъ либеральная и подпала всѣмъ тяжелымъ стѣсненіямъ, какимъ подвергается мысль, нѣсколько выходящая изъ общей рутины, въ обществѣ, большинство котораго не ощущаетъ никакой умственной потребности. Цензурный гнетъ былъ тѣмъ тяжеле, чѣмъ больше было разстояніе понятій съ обѣихъ сторонъ. Это разстояніе было очень большое: цензура представляла крайнюю нетерпимость и подозрительность принятыхъ понятій, въ новыхъ литературныхъ направленіяхъ стремился высказаться разрывъ съ этими понятіями, съ котораго только и могло начаться распространеніе новыхъ воззрѣній въ обществѣ. Въ этомъ

противорѣчіи литература была совершенно безправна: случалось, что и цензурное одобреніе не спасало отъ гоненія со стороны высшихъ учрежденій — уничтожались самыя изданія, съ наказаніемъ и издателей и цензоровъ. Положеніе писателя было, въ подобныхъ случаяхъ, совершенно безпомощное: писатель не только терялъ въ журналѣ свою собственность, и испытывалъ тяжелое насиліе надъ своимъ умственнымъ трудомъ: онъ совсѣмъ терялъ почву подъ ногами, потому что весь образъ его мыслей оказывался недозволительнымъ, стоящимъ внѣ закона; въ обществѣ онъ являлся человѣкомъ заподозрѣннымъ. Эти стѣсненія, обыкновенно сопровождающія цензуру, были у насъ тѣмъ тяжелѣе, что падали на незначительное меньшинство, лишенное опоры въ обществѣ, еще не привыкшемъ давать мѣсто критикѣ и различію мнѣній. Подобныя условія крайне стѣсняли дѣятельность литературы, суживали ея размѣры и результаты, изъ дѣла, быть можетъ, крупнаго дѣлали мелкое; въ цѣломъ работа литературы затруднялась, дѣлалась отрывочной, случайной, умственное развитіе общества шло съ тѣми скачками, умолчаніями, неясностями, поспѣшными порывами, которые до сихъ поръ къ сожалѣнію отражаются въ нашей жизни и дѣлаютъ наши общественныя понятія въ большинствѣ столько шаткими, непрочными, недодуманными и случайными.

Нужно помнить объ этихъ условіяхъ, чтобы въ должной степени оцѣнить трудъ тѣхъ немногихъ писателей, которые, въ теченіе описываемыхъ десятилѣтій, достойнымъ образомъ представляли истинные интересы общественнаго развитія. Этотъ трудъ внушаетъ къ себѣ истинное уваженіе. Люди, его исполнявшіе, были предоставлены своимъ личнымъ нравственнымъ силамъ въ обществѣ, масса котораго даже не понимала ихъ усилій, подъ тяжелымъ недоувѣріемъ и подозрѣніями, подъ опасностью личнаго спокойствія. Не надо также удивляться, что эта обстановка отражалась неблагоприятными вліяніями на самомъ ходѣ умственной работы. Вслѣдствіе того, что это новое содержаніе, которое стремилась выработать литература, очень часто было болѣе или менѣе запретнымъ плодомъ, что наука проникала къ намъ и распространялась только отрывками, новое движеніе литературы нерѣдко впадало въ односторонности, увлеченія, иногда нѣсколько фантастическія: иначе и быть не могло, потому что ни одна мысль не могла быть договорена до конца, ни одна не достигала всесторонняго обсужденія. Мы знаемъ и теперь эту непривычку къ критикѣ; но должно сказать, что нынѣшнее положеніе литературы не можетъ идти ни въ какое сравненіе съ прежнимъ.

Въ виду этихъ условій, дѣятельность тогдашней прогрессивной литературы представляется гораздо болѣе значительной, чѣмъ вообще думаютъ. При всѣхъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, она поддержала интересъ свободнаго изслѣдованія и общественной критики; опираясь на силы небольшого числа избранныхъ умовъ, она стала лучшимъ выраженіемъ умственнаго движенія и лучшимъ задаткомъ его будущаго.

Мы упоминали въ другомъ мѣстѣ, что литература этихъ десятилѣтій продолжала трудъ и расширила задачи, поставленные людьми двадцатыхъ годовъ. Обстоятельства, а вмѣстѣ и самая сущность дѣла сообщили этой литературѣ иной характеръ, чѣмъ тотъ, какой имѣли стремленія двадцатыхъ годовъ. Она совершенно покидаетъ политическіе вопросы, не только потому, что они были закрыты для нея вышнимъ образомъ, но и по своей доброй волѣ: она сохранила все почтеніе къ предшественникамъ, но чувствовала, что поставленные ими вопросы еще не по силамъ русскому обществу, что они сами по себѣ еще недостаточно выяснены, что имъ должна предшествовать przygotowательная работа, большее развитіе понятій и общественнаго сознанія. Поэтому, хотя литература и отступила въ сторону отъ намѣченныхъ прежде путей но, въ концѣ концовъ, она глубже вникаетъ въ существенную сторону дѣла: въ изученіе русскаго общества, его историческихъ и настоящихъ отношеній, его умственныхъ и общественныхъ потребностей.

Несмотря на то, что такимъ образомъ она стояла внѣ собственно политическихъ и общественныхъ вопросовъ, въ ея философскомъ, историческомъ, поэтическомъ содержаніи сказывалась очень ясная общественная тенденція: ея отношеніе къ господствующимъ понятіямъ и порядкамъ было существенно отрицательное. Ея отвлеченныя представленія, ея идеалы слишкомъ мало вязались съ той дѣйствительностью, какую представляла русская жизнь. Для этой литературы не могла остаться скрытой несостоятельность указанной выше системы оффиціальной народности. Благодаря теоретическимъ изученіямъ и внутреннимъ инстинктамъ, для этой литературы открывались иныя перспективы, которымъ она не могла не отдать предпочтенія: въ настоящемъ, она не могла примириться съ тѣсными рамками, которыя отводимы были для національныхъ силъ; въ исторіи она начинала открывать народные элементы, которыхъ не видѣла и не признавала система, и которымъ очевидно должна была предстоять своя будущность. Не примиряясь съ теоретическимъ смысломъ системы, эта литература еще меньше могла признать нормальность и цѣлесообразность ея практическихъ примѣненій. Разъ получивши интересъ

къ общечеловѣческимъ идеаламъ, познакомившись болѣе серьезно, чѣмъ то бывало прежде, съ содержаніемъ и исторіей европейскаго просвѣщенія, эта литература не могла не взглянуть съ болѣе широкой точки зрѣнія и болѣе искренно на явленія русской дѣйствительности. Ставя уже теперь вопросъ о народномъ благѣ и развитіи своимъ основнымъ интересомъ, литература, изъ своего теоретическаго удаленія, больше и больше подходила къ народной жизни, которая и стала исходнымъ пунктомъ ея стремленій: одни идеально возвеличивали народъ, думая въ этой философской, исторической и поэтической идеализаціи его открыть пути его возрожденія; другіе искали тѣхъ же самыхъ путей въ критическомъ анализѣ дѣйствительности, въ сознаніи слабыхъ сторонъ народа въ его прошедшемъ и настоящемъ, находя въ этомъ сознаніи первый шагъ его дѣйствительнаго совершенствованія.

Въ томъ и другомъ смыслѣ и направленіи эта литература оказала свои большія заслуги. Ея труды стоили ей много борьбы; она далеко не была въ состояніи сказать всего, что думала, но и тѣмъ, что было сказано, она успѣла ввести въ обращеніе много разумныхъ и благотворныхъ понятій. Высокимъ требованіямъ, какія она теоретически ставила для національной жизни, высокимъ идеаламъ и цѣлямъ, какія ставила она для серьезныхъ умовъ, мы обязаны многими изъ тѣхъ лучшихъ общественныхъ понятій, какія въ наше время начинаютъ бросать корень въ общество, — и многими изъ тѣхъ общественныхъ преобразованій, для которыхъ нынѣшнее царствованіе нашло въ обществѣ и глубокое сочувствіе и исполнителей.

То время было нравственнымъ приготовленіемъ къ современной преобразовательной эпохѣ. Въ періодъ крымской войны, — о которомъ мы столько разъ вспоминали, и который принесъ такъ много разочарованій, разрушилъ такъ много самообольщеній, — люди, воспитавшіеся подъ вліяніемъ этой литературы, не падали духомъ: они получали твердую увѣренность, что паденіе старыхъ упорныхъ заблужденій и самообольщеній будетъ первымъ началомъ нашего общественнаго возрожденія. Наше время, конечно, ушло значительно съ тѣхъ поръ; въ вопросахъ настоящаго оно во многомъ разошлось съ оставшимися представителями той эпохи, — но въ началѣ настоящаго періода, лучшіе люди современной литературы начали съ полного, можно сказать, благодарнаго признанія заслуги дѣятелей того времени, какъ своихъ предшественниковъ и учителей.

III.

Проявленія скептицизма.

Разсматривая эпоху отъ двадцатыхъ до пятидесятихъ годовъ, и изслѣдуя въ ней элементы, приготовлявшіе къ современной намъ преобразовательной эпохѣ и потому предполагавшіе отрицаніе системы, построенной на оффиціальной народности, мы должны остановиться прежде всего на личности Чаадаева, которая въ этомъ отношеніи была однимъ изъ самыхъ любопытныхъ проявленій описываемой эпохи. До сихъ поръ личность Чаадаева оставалась въ общихъ понятіяхъ не вполне ясною и стояла очень одиноко въ исторіи нашего умственного развитія, несмотря на все то, что было писано до сихъ поръ о Чаадаевѣ, и въ пользу его, и противъ него. Въ самомъ дѣлѣ, откуда выросло то содержаніе, какимъ удивлено было русское общество въ извѣстномъ «Философическомъ письмѣ»? Откуда развился тотъ неутолимый скептицизмъ относительно русской жизни, который неожиданно высказался среди самодовольнаго общества и повлекъ за собой такіа суровыя репрессаліи? Какъ явились несомнѣнные католическіе вкусы Чаадаева? Какое вліяніе оставилъ онъ, и оставилъ ли, въ нашей литературѣ и общественныхъ понятіяхъ? Рѣшать вполне эти вопросы еще мудро теперь, когда недостаетъ для этого самаго фактическаго матеріала, да и время еще очень къ намъ близко... Поэтому, мы имѣемъ въ виду только общую характеристику мнѣній Чаадаева и сочиненій его, которыя, за исключеніемъ «Письма», до сихъ поръ еще вовсе не были извѣстны на русскомъ языкѣ.

Прежде всего, характеръ умственного движенія, развившагося въ описываемые годы, можетъ указать, что скептицизмъ Чаадаева относительно русской жизни и исторіи вовсе не былъ вещью случайной; не трудно увидѣть, что онъ стоитъ въ тѣсной

родственной связи съ такъ-называемымъ «западнымъ» направлениемъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ (хотя и не сливается съ нимъ), и естественно ожидать, что должны быть также и историческіе antecedentes, объясняющіе его собственное первое появленіе. Сколько бы мы ни отдали на долю личнаго ума, свѣтлой пронизательности, открывающихъ новую мысль, новую точку зрѣнія, такіа явленія въ умственной жизни не бываютъ вообще явленіями единичными, анекдотическими. Если Чаадаевъ находилъ вниманіе къ своимъ теоріямъ, если онъ произвелъ впечатлѣніе, имѣлъ своихъ защитниковъ и враговъ въ кругу лучшихъ умовъ того времени,—о чемъ мы имѣемъ столько свидѣтельствъ,—это значило, что въ его идеяхъ, какъ ни были они своеобразны, былъ общій историческій элементъ который и связывалъ его съ теченіемъ развитія. И чѣмъ сильнѣе было впечатлѣніе, и ревность защитниковъ съ одной стороны, и вражда съ другой, тѣмъ больше силы надо признать за этимъ историческимъ элементомъ.

Въ чемъ же состояла эта историческая связь, и какъ шло развитіе самого Чаадаева? Біографія Чаадаева, какъ мы сказали, еще имѣетъ много пробѣловъ, отчасти весьма существенныхъ ¹⁾.

¹⁾ Въ дополненіе къ біографіи, составленной М. И. Жихаревымъ («Вѣстникъ Европы» 1871), мы сочли нелишнимъ собрать бібліографическія указанія тѣхъ свѣдѣній о Чаадаевѣ, какія намъ встрѣчались въ литературѣ:

1836. «Телескопъ», т. 34, № 15, стр. 275—310: «Философическія письма».

1843. «La Russie en 1839», par le marquis de Custine. Seconde éd. 4, стр. 370—374.

1843. Paul de Julvecourt, «Le faubourg St.-Germain Moscovite. Les Russes à Paris» 2 vol.

1847. Haxthausen, «Studien über die innern Zustände etc. Russlands». Berlin 1847—1852. III, стр. 3.

1853. Herzen, «Du developpement» etc., стр. 94—96, и затѣмъ отдѣльныя воспоминанія въ П. Зв., гдѣ перепечатано и «Письмо» Чаадаева (т. VI, 1861, стр. 141—162).

1854. «Раутъ», Н. Сушкова, М., стр. 294, 295, 365.

1856. «Моск. Вѣдом.» № 46, 17 апрѣля (извѣщеніе о смерти Чаадаева).

— «Современникъ» № 7, отд. 5, стр. 5 (некрологъ Чаадаева, г. Лонгинова).

1858. «Московский универ. благор. пансіонъ», Н. Сушкова, стр. 19, также въ Приложеніяхъ, стр. 18, стр. 26—29 (письмо Ч. къ кн. Вяземскому о книгѣ Гоголя «Вѣбр. мѣста» и пр., 1847).

1860. Сочиненія Дениса Давыдова, ч. 3, стр. 142 (письмо Давыдова къ Пушкину о Ч.).

1860. «Русскій Вѣстникъ», № 5, Соврем. Лѣтоп., стр. 21—25, замѣтка о предыдущемъ, г. Лонгинова.—Тамъ же, № 18, Соврем. Лѣтоп., стр. 153.

1860. «Tendances catholiques dans la société russe», par le P. J. Gagarin, въ Парижѣ и Наумбургѣ (изъ журнала Correspondant).

Такой пробѣлъ въ особенности представляет именно та пора его жизни, когда его взгляды впервые сложились въ опредѣленную религіозную философію, на которой онъ основывалъ и свою философію исторіи. Поэтому, и теперь остаются не вполне ясны тѣ вліянія, которыя дѣйствовали на него въ эту пору, и наконецъ опредѣлили его умственную физіономію.

Историческая роль Чаадаева опредѣляется вообще тѣмъ, что онъ былъ однимъ изъ тѣхъ немногихъ уцѣлѣвшихъ дѣятелей въ литературѣ, развитіе которыхъ принадлежало десятимъ и двадцатымъ годамъ, — времени наполеоновскихъ войнъ и либеральнаго движенія. Онъ былъ однимъ изъ тѣхъ звеньевъ, которыя связали ту эпоху съ эпохой тридцатыхъ годовъ, связали два направленія, два характера мысли, которыя въ сущности были мало похожи одно на другое. Извѣстно изъ его біографіи, что первое образованіе Чаадаева шло тѣмъ путемъ и въ тѣхъ размѣрахъ, какъ оно шло тогда, да и теперь, вообще у аристократической молодежи. Это было образованіе легкое, свѣтское; довершеніе этого образованія было уже его собственнымъ дѣломъ. Одаренный задатками сильнаго ума и пытливости, онъ очень рано вступилъ въ жизнь; очень рано началась для него и та пора, когда складываются впервые понятія и убѣжденія, и естественно, что, при живости ума, онъ долженъ былъ въ особенности увлекаться по-

1861. «Библіограф. Записки», № 1, стр. 1—18. Статья о Чаадаевѣ и нѣсколько его писемъ, между прочимъ письмо къ Жуковскому, отъ 21 мая 1851.

1861. «Полн. Собр. Сочин. Хомякова», I, стр. 720—721.

1862. «Oeuvres choisies de P. Tchadaïef, publiées pour la première fois par le P. Gagarin». 208 стр.

1862. «Р. Вѣстн.», № XI, стр. 119—160: Воспоминанія о П. Я. Ч., г. Лонгинова (въ концѣ два французскія письма Ч. къ Шеллингу).

1862. Записки Якушкина, стр. 51, 59—60.

1863. «Р. Архивъ», стр. 871—873 (извѣстіе о парижскомъ изданіи).

1865. «Р. Вѣстн.», августъ, стр. 547.

1866. «Р. Архивъ», № 7, письмо Ч. къ кн. Вяземскому (то же, что у Сущкова, Моск. Унив. Панс.).

1868. «Воспоминанія о Чаадаевѣ» Д. Свербеева (1856), въ «Р. Архивѣ», стр. 976—1001.

1868. «Эпизодъ изъ жизни Чаадаева (1820 годъ)», г. Лонгинова, — тамъ же, стр. 1317 и 1328.

1870. «Р. Архивъ», стр. 676—679 (въ ст. Свербеева о Герценѣ), стр. 1579 (въ зап. Якушкина, о Мих. Чаадаевѣ).

1870. «Р. Старина», т. I, стр. 162—165 (письмо Вигеля къ митр. Серафиму о статьѣ Чаадаева), стр. 291—293 (письмо митр. Серафима о томъ же къ графу Бенкендорфу), стр. 606.

1870. «Отеч. Записки», ноябрь, стр. 30—31 (въ статьѣ г. Скабичевскаго).

1871. Богдановича, Ист. ц. Импер. Александра, V, 508—512.

1872. «Деятнадц. Вѣка», Бартенева, стр. 387, 388, 403.

явившимися интересами и вмѣстѣ подпадать вліянію времени и общества. Эти время и общество были оригинальныя и исключительныя: Чаадаевъ юношей вступилъ въ армію въ тревожные и богатые впечатлѣніями годы отечественной войны и походовъ въ Европу, и это время положило вѣроятно первыя основы его дальнѣйшаго развитія. Здѣсь впервые должна была произвести на него могущественное впечатлѣніе европейская жизнь, которая дала ему, оставшійся навсегда, идеаль. Здѣсь, въ этомъ времени имѣетъ свой корень и его религіозная философія. Можно сказать, что въ цѣломъ складѣ его образа мыслей остались характеристическія черты того времени.

Намъ не однажды случалось указывать, что въ тѣхъ новыхъ понятіяхъ, какія составлялись у людей Александровскаго времени по предметамъ нравственной и общественной философіи, было вообще много отвлеченнаго и идеалистическаго. Мысль не укладывалась въ строгую положительную форму, въ опредѣленное требованіе; напротивъ, всего чаще она оставалась на степени теоретическаго афоризма, идеальнаго стремленія—потому, конечно, что самыя идеалы были слишкомъ новы, что дѣйствительность слишкомъ мало на нихъ походила и, не давая имъ необходимой практической опоры, по неволѣ заставляла этихъ людей опять возвращаться къ идеаламъ и теоріямъ. Такъ было не съ однимъ либеральнымъ молодымъ поколѣніемъ двадцатыхъ годовъ. Тоже было и въ планахъ самой правительственной сферы. Начиная съ первыхъ лѣтъ и первыхъ замысловъ императора Александра до послѣдняго развитія тайныхъ обществъ, всѣ идеалы общественной реформы отличаются этимъ, слишкомъ теоретическимъ построеніемъ: таковъ «Лагарповъ планъ», таковъ проектъ Сперанскаго, таковы большей частью конституціонныя и преобразовательныя планы тайныхъ обществъ; таковы стремленія библейскія, масонскія. При всемъ различіи этихъ плановъ, въ нихъ проходитъ одна общая черта, — ихъ нѣсколько странное, далекое отношеніе къ русской жизни; при всемъ стремленіи большей ихъ части служить благу народа, при несомнѣнно благородныхъ намѣреніяхъ многихъ личностей, — во всемъ этомъ было что-то произвольное, неприлаженное. Люди, задававшіеся преобразовательными идеалами, слишкомъ легко удовлетворялись общими положеніями и готовыми рѣшеніями и, не отдавая себѣ яснаго отчета въ русской дѣйствительности, довольствовались однимъ общимъ представленіемъ о неудовлетворительности существующаго положенія вещей. Теоріи, которыя были тогда въ ходу, были въ особенности теоріи политическія, навѣянные европейскими вліяніями, а также возбуждаемыя первыми инстинк-

тивными стремленіями русской жизни: эти теоріи, чрезвычайно трудныя и сложныя въ сущности, въ тоже время были очень общедоступны, какъ будто поддавались нагляднымъ рѣшеніямъ.

Реформаторы, изъ сферы правительства и изъ тайныхъ обществъ, одинаково легко брались за предметъ: подъ ихъ руками быстро создавались конституціонные планы, подкладка которыхъ заимствовалась готовая изъ европейскихъ политическихъ идей; въ то время не сомнѣвались обращаться въ подобныхъ случаяхъ прямо къ иностранцамъ, которые сами не находили въ этомъ ничего страннаго. Такъ, въ началѣ царствованія обращаются къ Бентаму съ вопросами о законодательствѣ; такъ Лагарпъ пишетъ свой планъ, — и имп. Александръ негодуетъ даже, что Сперанскій его «обрусилъ»¹⁾; такъ составляется тайное общество по программѣ Тугендбунда, и пишутся конституціи по англійскимъ и американскимъ образцамъ. Большая часть людей, возымѣвшихъ тогда политическіе интересы, получили ихъ подъ прямыми впечатлѣніями европейской жизни и посредствомъ нагляднаго сличенія русской дѣйствительности съ цивилизаціей и свободой западныхъ народовъ. Такимъ образомъ, большинство приходило отсюда не къ изученію, а къ нравственному возбужденію, къ негодованію на существующее зло, и ихъ экзальтированное чувство тѣмъ легче вѣрило въ тѣ политическія средства, которыя могли будто бы привести къ желанной цѣли. Люди, какъ Н. И. Тургеневъ, который уже тогда ясно видѣлъ, что всѣ эти конституціонныя построенія не имѣютъ никакого значенія передъ крестьянскимъ вопросомъ, требующимъ разрѣшенія прежде всего, — такіе люди бывали исключеніемъ...

Мы говорили въ другомъ мѣстѣ, что не слѣдуетъ, однако, пренебрежительно относиться къ этому явленію. Основная идея и мотивы всѣхъ этихъ плановъ имѣютъ несомнѣнную цѣну въ исторіи общественныхъ понятій; ихъ пріемъ и отношеніе къ предмету, — одинаковые, какъ мы видѣли, и въ правительствѣ, и въ средѣ общества, — были дѣломъ времени. Ихъ неполнота, ихъ произвольность совершенно понятны какъ первый шагъ политическаго сознанія. Этимъ опытамъ трудно было быть лучше. Историческая потребность понята была высшими слоями образованнаго общества; и это стремленіе къ общественной свободѣ по необходимости оставалось отвлеченнымъ, потому что практическихъ указаній не давала народная жизнь, давно потерявшая всѣ признаки этой свободы, — не было и указаній научныхъ, потому что не было еще своей политической науки, и наука

¹⁾ См. Р. Арх. 1871, ст. г. Погодина о Сперанскомъ.

историческая только-что начиналась. Наконецъ, и прежняя жизнь вовсе не научала особенному вниманію къ народной жизни, къ истинному характеру дѣйствительности: девятнадцатый вѣкъ конечно гораздо меньше можно обвинить за эти эксперименты *in anima vili*, чѣмъ восемнадцатое столѣтіе. Нуженъ былъ цѣлый процессъ развитія, чтобы общественная мысль научилась правильному и разумному отношенію къ народу, и либерализмъ Александровскаго времени именно и представлялъ начало этого процесса.

Эта отвлеченность нравственныхъ и общественныхъ понятій того времени, объясняемая самими условіями русской жизни, вмѣстѣ съ тѣмъ была и отраженіемъ европейскихъ космополитическихъ идей. Наслѣдіе революціи, этотъ космополитизмъ, въ нашемъ либеральномъ кругу, былъ въ особенности развитъ сближеніемъ народовъ въ продолженіе наполеоновскихъ войнъ; потомъ наступившая реакція Священнаго Союза, поставивъ себѣ задачей всеобщее преслѣдованіе либерализма, опять его усиливала, и предполагая тѣсную связь либеральныхъ волненій въ разныхъ краяхъ Европы, она сама внушала либеральнымъ партіямъ, что ихъ дѣло есть общее дѣло свободы. Дѣйствительно, вліяніе этихъ космополитическихъ идей составляетъ характеристическую черту того времени, ярко обнаруживаясь и тогдашнимъ политическимъ положеніемъ Россіи, и внутренней жизнью, въ которую съ особенной силой стали проникать разнообразные отголоски европейскаго броженія, отъ крайняго піэтизма до крайняго политическаго свободомыслія. Наши либералы интересовались европейскими событіями, сочувствовали революціоннымъ вспышкамъ двадцатыхъ годовъ, искали своихъ авторитетовъ между корифеями европейскаго либерализма и т. п. Въ ихъ образѣ мыслей составлялся извѣстный кодексъ либеральныхъ принциповъ, который они принимали несмотря на все его разногласіе съ правами и обычаями русской жизни, принимали какъ дѣло образованности и дѣло чести. Любопытно встрѣтить, что въ этомъ кодексѣ либераловъ не послѣднюю роль играли и классическія воспоминанія: они читали Цицерона, Ливія, Тацита, и классическая цитата нерѣдко приводилась въ подкрѣпленіе мнѣній¹⁾.

Чаадаевъ имѣлъ тѣсныя связи съ либеральнымъ кружкомъ двадцатыхъ годовъ. По обычаю времени, мы встрѣчаемъ его въ масонской ложѣ; его коснулось и тайное общество²⁾,—хотя

¹⁾ См., напр., въ запискахъ Якушкина.

²⁾ Въ тѣхъ же запискахъ разсказывается, что Чаадаевъ согласился на сдѣланное ему Якушкинымъ предложеніе вступить въ тайное общество.

не видно, чтобъ онъ игралъ въ немъ какую-нибудь роль: судя по его позднѣйшимъ отзывамъ объ этомъ обществѣ, онъ вѣроятно признавалъ его только въ смыслѣ дружескаго кружка и мирной пропаганды, и не сочувствовалъ никакимъ практическимъ предпріятіямъ, о которыхъ могла идти рѣчь. Во всякомъ случаѣ его сношенія съ обществомъ прервались его отъѣздомъ за границу, гдѣ онъ прожилъ нѣсколько лѣтъ¹⁾. Но какъ бы то ни было, Чаадаевъ переживалъ этотъ періодъ идеальнаго и космополитическаго либерализма, въ которомъ и должны заключаться зародыши его позднѣйшихъ воззрѣній. Посланія Пушкина рисуютъ эту пору ихъ дружбы, когда Чаадаевъ являлся передъ нимъ то «мудрецомъ», то «мечтателемъ»; впоследствии (въ 1830 г.) Пушкинъ читалъ въ рукописи рядъ тѣхъ писемъ, изъ которыхъ одно появилось, потомъ въ «Телескопѣ», и изъ его отзывовъ объ этомъ чтеніи не видно, чтобы идеи Чаадаева поразили его какъ что-нибудь совсѣмъ новое: вѣроятно по крайней мѣрѣ, что ему не было ново ихъ критическое направленіе.

Биографія Чаадаева до сихъ поръ мало объясняетъ, откуда взялась та особенность его мнѣній, которая явнымъ образомъ выразилась въ «Философическихъ письмахъ» и которая должна была особенно увеличить раздраженіе, ими вызванное. Мы говоримъ объ его католическихъ наклонностяхъ, которыя выказывались несомнѣнно и въ историческомъ взглядѣ Чаадаева на значеніе католицизма въ судьбѣ европейской цивилизаціи, и вообще въ его религіозныхъ понятіяхъ. Мы имѣемъ мало свѣдѣній о томъ, какъ обнаруживались у него эти понятія въ жизни; онъ не былъ, какъ говорятъ, дѣйствительнымъ католикомъ, — онъ умеръ православнымъ, — но іезуитъ г. Гагаринъ говоритъ о томъ, какъ много ему «обязанъ», и какъ отношенія съ Чаадаевымъ въ тридцатыхъ годахъ «оказали могущественное вліяніе» на его будущее. Гдѣ же искать источника этихъ католическихъ наклонностей?

Извѣстно, что католицизмъ нашелъ много послѣдователей въ нашемъ высшемъ обществѣ во времена императора Александра. Историкъ іезуитовъ въ Россіи рассказываетъ, съ какимъ успѣхомъ они вели свою пропаганду, какъ толпами обращались въ католичество великосвѣтскія дамы, какъ іезуитскіе пансіоны

¹⁾ Въ одномъ изъ писемъ, писанныхъ къ нему за границу (въ началѣ 1825), упоминается интересный рядъ его друзей и знакомыхъ, о которыхъ онъ желалъ имѣть новости. Въ этомъ ряду упомянуты имена: Граббе, Алекс. Пушкинъ, кн. Вяземскій, Тургеневы, Никита Муравьевъ, кн. С. Трубецкой, Матвѣй Муравьевъ, кажется фонъ-Визинъ.

начали дѣйствовать на самыя юныя поколѣнія. Въ іезуитскомъ пансіонѣ на три четверти было воспитанниковъ изъ семействъ высшей аристократіи. Здѣсь воспитывались люди, игравшіе впоследствии значительную роль въ нашей общественной и государственной жизни, напр., Алексѣй и Михаилъ Орловы, Бенкендорфъ; здѣсь учились Голицыны, Нарышкины, Гагарины, Меншиковы, Волконскіе, Шуваловы, Ростопчины, Строгановы, Полторацкіе, Толстые, Вяземскіе и т. д.¹⁾ Рядомъ съ этимъ шли многочисленныя тайныя обращенія въ католицизмъ. Католическая пропаганда еще съ конца прошедшаго столѣтія свила себѣ прочное гнѣздо въ русскомъ высшемъ обществѣ, и русскія аристократическія имена доставили въ новѣйшее время католицизму значительный контингентъ, въ которомъ были дѣятельные пропагандисты и даже свои знаменитости: таковы имена г-жи Свѣчиной, кн. Зинаиды Волконской, Гагарина, Шувалова, Августина Голицына и т. д. Любопытный читатель найдетъ характеристическія подробности подобныхъ обращеній въ книгѣ о. Морошкина, въ біографіи Свѣчиной, въ сочиненіяхъ самихъ обращенныхъ.

Чѣмъ объяснялось это явленіе,—отчего «рвалось изъ всѣхъ силъ въ объятія латинства русское родовитое барство»? Нѣтъ сомнѣнія, что важную роль играли здѣсь тотъ недостатокъ порядочнаго воспитанія въ православномъ духѣ, то отдаленіе высшаго круга отъ русской жизни и отъ русскаго духовенства, не представлявшагося достаточно полированнымъ и свѣтскимъ, то «невѣжество» и «легкомысліе, свойственное женщинамъ нашего высшаго общества въ вещахъ самыхъ серьезныхъ», та вкрадчивость и ловкость католическихъ аббатовъ, «имѣющихъ такія мягкія манеры, говорящихъ такъ вкрадчиво, такъ нѣжно и на такомъ прекрасномъ языкѣ, какъ игривый французскій» и т. д., всѣ тѣ причины, которыя приводятся о. Морошкинымъ. Но это были не единственныя причины, и выставленные недостатки русскаго барства были не единственныя вещи, дѣлавшія его доступнымъ пропагандѣ. Если говорить о ближайшихъ явленіяхъ, то самъ о. Морошкинъ приводитъ факты, представляющіе въ очень печальномъ видѣ русское духовенство конца прошлаго и начала нынѣшняго столѣтія²⁾: недостатокъ образованія былъ таковъ, что религіозное обученіе и не могло быть удовлетворительно, и даже безъ чужой пропаганды, совершенно естественно могло являться у людей, въ другихъ отношеніяхъ довольно образованныхъ, и это незнаніе своей вѣры и это отдаленіе отъ

¹⁾ Іезуиты въ Россіи, М. Морошкина. Т. II, стр. 111, 114, 115, 127.

²⁾ Іезуиты, т. I, стр. 268—269.

своего духовенства. Образованнѣйшіе люди изъ духовенства, какъ напр., Самборскій, поощряемый и уважаемый самой властью, были очень непохожи на своихъ сотоварищей, и были въ тоже время очень рѣдки. Слѣдовательно, вина упомянутого отдаленія должна лежать не на одномъ исключительно «барствѣ». Съ другой стороны, удаленіе отъ народной вѣры было не единственнымъ примѣромъ удаленія отъ народной жизни. Точно также удаленіе это простиралось на множество другихъ отношеній, гдѣ такимъ же образомъ порывалась связь между однимъ классомъ — сильнымъ, богатымъ, привилегированнымъ, и другимъ — слабымъ, бѣднымъ и беззащитнымъ. Но если во всѣхъ другихъ отношеніяхъ отдаленіе отъ народа поощрялось всѣми господствующими учрежденіями и нравами, было ли удивительно, что совершалось накопецъ и это религіозное удаленіе? Словомъ, причина явленія заключалась не въ однихъ личныхъ (хотя и весьма распространенныхъ) недостаткахъ многихъ лицъ высшаго сословія, но главнымъ образомъ въ общихъ условіяхъ, напр., въ недостаткахъ самой церковности, въ учрежденіяхъ, совершенно выдѣлявшихъ высшее сословіе въ особую, ничѣмъ не связанную съ народомъ, привилегированную касту.

Шире ставитъ эти причины распространенія католической пропаганды, другой историкъ іезуитовъ, г. Самаринъ. Изображая высшую общественную среду, гдѣ по преимуществу совершалась пропаганда, г. Самаринъ говоритъ: «...Эта среда подчинялась не однимъ латинскимъ вліяніямъ. Отверстая для всего и ко всему воспріимчивая, она проникалась еще охотнѣе либеральными стремленіями, совершенно искренними, но безплодными по своей отвлеченности, и съ особенною любовью лелѣяла туманныя мечты о какомъ-то будущемъ духовномъ единеніи племенъ и правительствъ, въ безразличномъ равнодушіи ко всѣмъ формуламъ вѣры. Всякое со стороны занесенное ученіе, политическое или религіозное, всякая фантазія, всякій призракъ, могли, до известной степени, разсчитывать на успѣхъ и внушать сочувствіе. Конечно, одно съ другимъ не клеилось, но все вмѣстѣ ускоряло *разложеніе народныхъ стихій*, издавна начавшееся въ нашемъ дворянствѣ. Таково свойство внутренней пустоты, при легкой воспріимчивости. Повидимому, все сіяло благонамѣренностью; зародыши всевозможныхъ благихъ начинаній носились въ общественной атмосферѣ; а между тѣмъ живое, народное самосознаніе гибло. При сильно развитомъ государственномъ патріотизмѣ, терялся народный смыслъ; историческая память была какъ-бы отшибена; непосредственное ощущеніе всего пережитаго прошедшаго въ каждой минутѣ настоящаго было утра-

чено; народный языкъ сдѣлался какъ-бы чужимъ, своя вѣра упала на степень всякой иной вѣры.

«О вѣрѣ, въ тѣ времена, разсуждали такимъ образомъ: всѣ вѣроисповѣданія одинаково хороши... На латинца, который бы вздумалъ перейти въ православіе, высшее общество взглянуло бы также неблагоклонно, какъ и на православнаго, переходящаго въ латинство. И тотъ и другой, въ его глазахъ, прослыли бы отступниками; мало того, оно нашло бы для второго обстоятельства смягчающія вину — въ обаяніи высшей цивилизаціи и въ искренности убѣжденія, заявленной смѣлостью поступка. Этотъ взглядъ, изъ общественной сферы, перешелъ въ правительственную и прослылъ терпимостью.

«И въ эту-то дряблую и рыхлую среду, безсильную духомъ, оторванную отъ народной и церковной почвы, питавшей ее вещественно и духовно, врѣзались іезуиты, съ ихъ строго опредѣленнымъ ученіемъ, во всеоружіи испытанной своей діалектики и вѣковой педагогической опытности. Съ какой стороны могли они встрѣтить отпоръ?..» Люди Екатерининскаго времени не имѣли голоса въ этихъ дѣлахъ; духовенство — «но въ тѣ гостинныя, гдѣ царствовали іезуиты и гдѣ графъ Местръ доказывалъ, что православная церковь отложила отъ римской и казнена растлѣніемъ, нашихъ священниковъ не пускали; да притомъ, имъ ли, застѣнчивымъ, неловкимъ, неопытнымъ въ управленіи дамскими совѣстами, неспособнымъ даже выслушать исповѣди на французскомъ языкѣ, имъ ли было вступать въ споры и выдерживать состязанія, на которыхъ судьями были бы князья и княгини, графини и графы, подкупленные вкрадчивымъ краснорѣчіемъ іезуитовъ и очарованные галантерейностью ихъ обращенія?

«Дѣло обошлось не только безъ борьбы, даже безъ отпора» ¹⁾.

Въ этихъ словахъ метко указаны нѣкоторыя черты людей и времени. Князь Голицынъ, управлявшій духовными исповѣданіями, аристократическія барыни, которыхъ дурачили іезуиты, заслуживаютъ презрительнаго отзыва, какимъ надѣлилъ ихъ г. Самаринъ. Но повторяемъ, что для болѣе вѣрной оцѣнки католической пропаганды слѣдовало бы прибавить нѣкоторыя другія черты. Князь Голицынъ, поощрявшій іезуитовъ, и великосвѣтскія барыни и аристократическіе господа, уходившіе въ католицизмъ, не этимъ однимъ заслуживали бы подобнаго отзыва, — и не переходя въ католицизмъ, большинство людей этой категории не много принесли бы проку своему отечеству... Г. Са-

¹⁾ Самаринъ, Іезуиты, М. 1866, стр. 265 — 267.

маринъ намекаетъ на это, говоря о «разложеніи народныхъ стихій»,—но мы думаемъ, что другія стороны этого разложенія были едва ли не гораздо еще хуже католицизма. Были люди, не прикосновенные къ іезуитству и католицизму, которые не выиграли отъ этого ни въ личномъ, ни въ гражданскомъ своемъ достоинствѣ, и дѣйствовали не хуже тѣхъ враговъ православія и русской народности, какими были люди, описываемые г. Самаринымъ. Тотъ же князь Голицынъ, послѣ изгнанія іезуитовъ, нисколько не сдѣлался лучше и полезнѣе для русскаго просвѣщенія. За католической пропагандой, однимъ словомъ, скрывалось зло, гораздо болѣе крупное, и придавать ей слишкомъ большую важность едва ли бы не значило «бичевать маленькихъ ворюшекъ для удовольствія большихъ» и извращать историческую перспективу.

Г. Самаринъ едва ли правъ, напримѣръ, противопоставляя дѣятелямъ Александровскаго времени людей временъ Екатерины. «Терпимость», о которой идетъ рѣчь, не была въ это время совершенной новостью; она была результатомъ и Екатерининскаго времени. «Народная и церковная почва» была покинута гораздо ранѣе. О. Морошкинъ приводитъ въ своей книгѣ примѣры воспитанія *тѣхъ временъ*, и это воспитаніе конечно уже готовило прозелитовъ католицизму. Таково было воспитаніе Свѣчиной. Слѣдовательно, сущность дѣла лежала не исключительно въ этихъ людяхъ, а въ порядкѣ вещей, существовавшемъ и прежде этого: «дряблая и рыхлая среда» стала таковой еще гораздо раньше. Когда воспитался этотъ князь Голицынъ, «изучившій до тонкости и до малѣйшихъ подробностей науку царедворскую, — почти невѣжда въ православіи и жалкое игрище всѣхъ сектантовъ,—религіозная Торичелліева пустота», какъ его сильно характеризовалъ о. Морошкинъ? Эта «Торичелліева пустота» (не только религіозная, притомъ, но и вообще умственная) образовалась въ тѣ самыя времена, которыя хочетъ возвеличить г. Самаринъ.

Терпимость, которую г. Самаринъ изображаетъ похожею на невѣжественное равнодушіе, и которая въ князѣ Голицынѣ была дѣйствительно такова, что ей мудрено сочувствовать, — эта терпимость не была однако такъ бесплодна и неумѣстна. Она не ограничивалась тѣми глупыми примѣрами, какіе доставляетъ кн. Голицынъ; не забудемъ, что она была распространена отчасти и на домашній расколъ, и въ этомъ смыслѣ была элементомъ очень желательнымъ для русской народной жизни. «Терпимость» могла часто прилагаться нелѣпымъ образомъ, — это правда; но во всякомъ случаѣ она была не лишнимъ понятіемъ въ русскомъ

обществѣ, которое слишкомъ мало знакомо съ нимъ даже и теперь.

Въ объясненіе успѣха католической пропаганды приводятъ еще проницески «застѣнчивость, неловкость и неопытность въ управленіи дамскими совѣстами» нашего духовенства, представляя эти качества какъ достоинство въ сравненіи съ іезуитской ловкостью и беззастѣнчивостью; но не заходила ли неопытность нашего духовенства слишкомъ далеко, если наконецъ стали оказываться подобныя побѣги? Въ этомъ сравненіи есть опять болѣе серьезная сторона. Іезуиты были, конечно, аферисты, но не всѣ же католическіе духовные были аферисты, и въ русскомъ обществѣ тѣ и другіе естественно являлись съ тѣмъ положеніемъ, какое католицизмъ вообще доставлялъ своему духовенству. Въ западномъ обществѣ клерикальное вліяніе было уже давно ограничиваемо противной стороною общественнаго мнѣнія, но въ своей области, т.-е. въ большинствѣ общества, духовенство имѣло сильный авторитетъ, — съ сознаніемъ этого привычнаго авторитета оно являлось и у насъ. Общественное положеніе нашего духовенства было очень на это не похоже, и на умы легкомысленные это обстоятельство легко могло производить впечатлѣніе, которому не умѣло противодѣйствовать наше духовенство.

Наконецъ, многоиспытанная діалектика и вѣковая педагогическая опытность. На первую конечно слѣдовало отвѣчать такой же діалектикой, — и кто же виноватъ, что мало или вовсе не отвѣчали? Что касается до педагогической опытности, относительно ея существовало и образовывалось тогда общее представленіе, которое держалось и долго спустя. Можно сказать, что только новѣйшая исторія педагогіи разрушила предразсудокъ о педагогическомъ искусствѣ іезуитовъ; въ то время въ ней были увѣрены самымъ добросовѣстнымъ, хотя и нѣсколько простодушнымъ образомъ. Обвинять исключительно отдѣльные лица или разрядъ лицъ, опять было бы мудрено, или исторически невѣрно. Разумовскій пускался въ разсужденія съ де-Местромъ; Разумовскій, — замѣчаетъ о. Морошкинъ, — былъ воспитанъ за границей и совершенно въ латинскомъ духѣ, но и это воспитаніе совершилось опять въ тѣ же екатерининскія времена, и Разумовскій былъ ихъ наслѣдіемъ. Ростопчинъ, который, по замѣчанію того же автора, считался вообще (да и теперь многими считается) «за самаго русскаго», былъ наилучшаго мнѣнія объ іезуитскомъ пансіонѣ. Мало того, даже Батюшковъ, другъ Жуковскаго и Карамзина, другъ Пушкина, Вяземскаго и т. д., человекъ, котораго мудрено обвинить въ какомъ-нибудь не-патріотическомъ недостаткѣ, восторгается лицемъ Николая, перебравъ

шагося въ Одессу, скорбить, что аббатъ имѣеть враговъ, и утверждаетъ «по внутреннему убѣжденію», что іезуитскому лицу «надобно пожелать здравія и долгоденствія для пользы и славы Россіи»!! ¹⁾.

Въ оправданіе собственно правительства можно сказать, что оно не остановилось исправить свои ошибки, когда убѣдилось въ нихъ.

Возражать противъ обличительныхъ положеній г. Самарина и о. Морошкина дѣло не совсѣмъ благодарное, потому что у насъ тотчасъ находятся люди, которые усмотрятъ въ этомъ чуть не отсутствіе патріотизма. Но должно, кажется, внести нѣсколько безпристрастія въ давнопрошедшую исторію, и рѣшиться признать недостатки жизни, которые сказывались въ случаяхъ, подобныхъ католической пропагандѣ. Странно объяснять эту пропаганду однимъ недоумкомъ и пустотой нѣсколькихъ вельможъ, легкомысліемъ аристократическихъ барынь, и произносить карающій приговоръ исторіи только надъ этими одними людьми, неустоявшими противъ соблазна. Причины этого явленія были шире, и если оно обнаружилось преимущественно въ высшей сферѣ, то ею оно не исчерпывалось, такъ какъ самая сфера была произведеніемъ и отраженіемъ цѣлаго порядка вещей въ жизни общественной, въ образованіи и въ церковности. Потому что, дѣйствительно, странно видѣть въ этомъ явленіи исключительно только борьбу духовнаго, клерикальнаго элемента двухъ исповѣданій; напротивъ, въ ней съ значительною силой участвовало именно и то «обаяніе цивилизаціи», которое мимоходомъ называетъ г. Самаринъ.

Чтобы объяснить себѣ успѣхъ католическихъ идей, не надо забыть общаго характера времени, когда въ Европѣ все сильнѣе распространялись стремленія ко всякой реставраціи, когда религіозный вопросъ выступилъ съ особенной силой, и когда въ нашемъ собственномъ обществѣ началось особенное религіозное броженіе. Въ этомъ броженіи католическія тенденціи не были единственными; онѣ сталкивались съ тенденціями протестантскими, съ методизмомъ и всѣхъ родовъ мистикой. Въ то время, когда одни слушали де-Местра, другіе увлекались библейскимъ обществомъ, квакерами, т-те Крюднеръ, Госнеромъ и т. д.; находила своихъ послѣдователей даже Татаринова. Вопросъ оставался одно время какъ-бы открытымъ и былъ серьезенъ по степени серьез-

¹⁾ Морошкинъ, Іезуиты, II, 426—427, 475. Р. Архивъ, 1867, стр. 1523—1530. Между прочимъ о «старой партіи» читатель найдетъ страницы, чрезвычайно любопытныя у такого автора, какъ о. Морошкинъ. Іез. II, стр. 502—507.

ности тѣхъ, кто имъ интересовался. А этотъ интересъ былъ очень сильный; онъ увлекалъ не только князя Голицына. Библейское общество, мистицизмъ, раціонализмъ увлекали и образованнѣйшихъ людей въ новомъ поколѣніи духовенства (библейскимъ мистикомъ былъ и Филаретъ, впоследствии митрополитъ московскій и коломенскій), и даровитѣйшихъ государственныхъ людей, какъ Сперанскій, и людей либеральнаго поколѣнія, уже составлявшихъ свое тайное общество.

Рядомъ съ этими явленіями мы не будемъ удивляться и успѣху католическихъ идей. И то и другое были явленіями одного порядка, и хотя въ обоихъ были наивныя или нелѣпыя крайности, но съ другой стороны въ этихъ явленіяхъ было и «обаяніе цивилизаціи». Въ одномъ случаѣ дѣйствовалъ на людей нашего общества примѣръ Лондонскаго Библейскаго Общества, личности его дѣятелей, энергическіе характеры квакеровъ, примѣры знаменитыхъ людей Европы, мистическая литература; въ другомъ случаѣ дѣйствовали такіе же примѣры и знаменитости католицизма. Такъ графъ де-Местръ, другъ іезуитовъ и сотрудникъ католической пропаганды, былъ вмѣстѣ писатель европейской извѣстности, съ великимъ авторитетомъ въ католическихъ кругахъ Европы, съ которыми наша аристократія была въ давнихъ и близкихъ сношеніяхъ. И хотя де-Местръ, собственно говоря, плохо представлялъ европейскую образованность, потому что былъ реакціонеръ и обскурантъ, — но это, конечно, другой вопросъ: люди религіозные въ то время не замѣчали и не понимали этого обскурантизма.

Кромѣ того, католическая пропаганда была по преимуществу, даже исключительно французская, и въ этомъ смыслѣ она особенно имѣла упомянутое «обаяніе». Она могла находить себѣ сильную опору въ томъ французскомъ вліяніи, которое отличало тогдашнюю нашу образованность. Вліяніе французскихъ религіозныхъ (т.-е. католическихъ) идей могло быть весьма естественнымъ дополненіемъ къ господству французскаго образованія вообще: по крайней мѣрѣ для него открывалась уже дорога господствомъ французскаго языка¹⁾ и французской литературы. Вопросъ о католической пропагандѣ опять сводится къ цѣлому вопросу о судьбѣ нашей образованности.

¹⁾ Какъ велико было его господство, это извѣстно. Планы преобразованія Россіи обсуждались по-французски, герои 1812-го года щеголяли французскимъ языкомъ. Мало этого. Уже въ 1830-мъ году, Пушкинъ, первый русскій писатель того времени, пишетъ къ Чаадаеву на французскомъ языкѣ: «je vous parlerai la langue de l'Europe; elle m'est plus familière que la nôtre»!!

Неудивительно поэтому, что католическія идеи находили путь въ умы не однихъ легкомысленныхъ графинь или княгинь. Вліяніе ихъ и не имѣло бы для насъ особеннаго историческаго интереса, если бы ими увлекались только эти дамы; — но ими увлекались также люди болѣе серьезные, различной степени дарованій, конечно увлекавшіеся не одной ловкостью и галантерейностью аббатовъ. Разумовскій могъ быть вѣроятно причисленъ къ нѣсколько серьезнымъ людямъ; назовемъ еще кн. Козловскаго, знаменитаго въ свое время своимъ умомъ и блестящимъ остроуміемъ; одного изъ декабристовъ, Лунина; въ болѣе позднее время, В. Печерина, и проч. Точно также и дамы не всегда были только дамы пустыя и легкомысленныя. Намъ совершенно несимпатична Свѣчина, но за ней невозможно не признать ни ума, ни дарованія.

Понятно, что если католическія идеи производили впечатлѣніе на людей болѣе серьезныхъ, то вѣроятно эти люди руководились и болѣе серьезными мотивами, чѣмъ графини и княгини. Не будемъ повторять тѣхъ отрицательныхъ основаній, о которыхъ упоминали выше и которыя имѣли конечно весьма существенное значеніе. Но кромѣ отрицательныхъ основаній, на этихъ людей должна была дѣйствовать историческая сторона католицизма, его роль цивилизующая, которая была несомнѣнна въ прошедшемъ Европы и отъ которой многіе тогда ждали всего и въ настоящемъ; его удивительная церковная организація, его могущество, которое, какъ ожидали, должно было возродиться вновь; замѣчательныя личности его представителей и т. д. Возстановленіе религіи послѣ революціоннаго погрома и потомъ реставрація произвели замѣчательное распространеніе католическихъ идей, которыя снова получили роль и въ политикѣ, и въ общественной жизни, и въ литературѣ, и въ наукѣ. Литература временъ реставраціи въ особенности окрашена была этимъ католическимъ колоритомъ: Де-Местръ, Бональдъ, Ламеннѣ, Шатобріанъ, Мишѣ, писатели европейской славы, возвеличивали католическіе принципы въ общественной философіи, въ исторіи, съ отѣнками, которые могли удовлетворять различнымъ вкусамъ и требованіямъ. Поэтизированье среднихъ вѣковъ, составлявшее одну изъ главныхъ особенностей романтизма и нѣмецкаго, и французскаго, было особенно на руку католицизму, и извѣстно, что это направленіе производило множество обращеній въ католицизмъ даже въ протестантской Германіи, и именно въ томъ образованномъ кругу, въ которомъ могли сильнѣе дѣйствовать теоретическія соображенія. Нѣсколько похожее дѣйствіе эта атмосфера оказывала и у насъ на тѣхъ

людей, которые сближались съ тогдашними умственными интересами европейскаго общества.

Въ числѣ этихъ людей былъ и Чаадаевъ.

Къ сожалѣнію, какъ мы замѣтили, мы имѣемъ очень мало точныхъ указаній о томъ, какъ именно встрѣчался Чаадаевъ съ подобными вліяніями въ пору образованія его мнѣній. Но по-видимому, послѣ первыхъ впечатлѣній европейской жизни, испытанныхъ въ теченіе наполеоновскихъ войнъ, во время петербургской жизни онъ, вмѣстѣ съ либеральнымъ кружкомъ своихъ друзей, отдавался тѣмъ великодушнымъ мечтамъ и идеальнымъ стремленіямъ, которыя наполняли ихъ нравственное существованіе и вознаграждали ихъ за тяжелыя и непріятныя испытанія дѣйствительности. Дальнѣйшіе пути этихъ друзей разошлись: одни искали удовлетворенія въ политической агитаціи, и погибли, какъ декабристы; другіе испугались опасности и уцѣлѣли, но не покинувъ любимыхъ нѣкогда мечтаній, вели въ обществѣ половинчатую жизнь, какъ М. Орловъ; иные примирились вполне съ жизнью, какъ Пушкинъ;—не говоримъ о тѣхъ, которые совсѣмъ измѣнили идеаламъ и продали ихъ за наличныя выгоды. Чаадаевъ былъ изъ тѣхъ, которые никогда, кажется, не были склонны къ политической агитаціи, но въ немъ осталась навсегда склонность къ размышленію, исканіе отвѣтовъ на вопросы, какіе ставила этимъ людямъ сама жизнь и къ которымъ они считали возможнымъ и необходимымъ прилагать точку зрѣнія европейскаго идеала. Въ позднѣйшей перепискѣ Чаадаева съ прежними друзьями, напр. съ Пушкинымъ, М. Орловымъ, И. Д. Якушкинымъ, очевидно продолженіе давно начатыхъ бесѣдъ о тѣхъ же предметахъ, о религіи, морали, объ отношеніи науки къ откровенію, объ исторической жизни націй и т. д. По всей вѣроятности, эти самые вопросы занимали его и въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, проведенныхъ имъ за границей послѣ 1821-го до 1826-го, и въ это время окончательно для него опредѣлились подъ новымъ усиленнымъ вліяніемъ европейской жизни, ея историческихъ памятниковъ, живыхъ представителей ея тогдашняго броженія, съ которыми онъ встрѣчался между прочимъ и лично. Это былъ разгаръ реставраціи, обновленныхъ католическихъ идей, эпоха романтизма, философской исторіи и т. п. Біографъ упоминаетъ только объ отрывочныхъ знакомствахъ Чаадаева въ европейскомъ научномъ и литературномъ мірѣ; но его знаком-

¹⁾ Есть намеки на его другія знакомства, напр. съ Балланшемъ, Ламенне и пр. Замѣтимъ, что между прочимъ Экштейнъ и первое время Ламенне были въ числѣ друзей г-жи Свѣчиной.

ство съ Шеллингомъ, съ мистическимъ ученымъ Экштейномъ, въ послѣдствіи дружескія связи съ французскимъ графомъ Сиркуромъ, и т. п.¹⁾, были конечно не случайнымъ его интересомъ. Этому времени, во всякомъ случаѣ, надо приписать образованіе его мнѣній въ томъ видѣ, какъ они выразились въ «Философическихъ Письмахъ». Развившееся въ то время стремленіе къ философскому изученію исторіи, къ объясненію жизни народовъ основными принципами, опредѣлявшими ихъ первую историческую дѣятельность, и въ частности, стремленіе къ объясненію европейской цивилизаціи, созданной христіанствомъ, развившейся на Западѣ подѣ вліяніемъ католическаго единства западной Европы, опредѣляли и взгляды Чаадаева въ этомъ отношеніи.

Въ примѣненіи къ русской жизни, эти идеи довольно естественно могли вести къ тому результату, къ какому пришелъ Чаадаевъ. Кружокъ двадцатыхъ годовъ вообще страдалъ чувствомъ неудовлетворенности. Возникшія требованія нравственныя и общественныя не находили себѣ отвѣта и, какъ обыкновенно бываетъ, возбуждали тревожное исканіе выхода и раздражительное отношеніе къ настоящему. Раздраженіе становилось тѣмъ сильнѣе, чѣмъ меньше дѣйствительность давала надежды на улучшеніе. Въ либеральномъ кружкѣ двадцатыхъ годовъ это раздраженіе повело къ крайней политической экзальтаціи; у Чаадаева, вѣроятно и по свойствамъ характера и по направленію мыслей, это настроеніе развивалось въ отвлеченныхъ понятіяхъ, которыя больше и больше принимали относительно русской жизни отрицательный, скептический тонъ.

Скептическое отношеніе Чаадаева къ русской жизни, безъ сомнѣнія, тѣсно связано съ католическими идеями реставраціи, которыя были имъ восприняты, и съ высокимъ понятіемъ объ историческомъ значеніи католицизма, оставшагося чуждымъ нашей жизни. Но съ другой стороны этотъ скептицизмъ тѣсно связанъ съ прошедшей умственной исторіей нашего общества. Мы старались показать, по какимъ основаніямъ самыя католическія идеи могли проникать въ наше общество—увлекать не только людей великосвѣтскихъ, но и людей болѣе размышляющихъ, какимъ образомъ напоръ этихъ идей могъ создавать или усиливать неудовлетворенность русской жизнью. Но и внѣ этого условія, скептицизмъ имѣлъ уже свои antecedенты въ прошедшемъ. Онъ кажется въ Чаадаевѣ неожиданнымъ на первый взглядъ; онъ выражается съ такой силой, такъ много захватываетъ, что мы съ удивленіемъ встрѣчаемъ его среди литературной рутины. Его появленіе будетъ однако понятно, если мы сопоставимъ его съ тѣми критическими запросами и сомнѣніями, которые давно высказывались въ

литературѣ и въ жизни, съ первой русской сатиры до Новикова, Радищева, до либерализма двадцатыхъ годовъ, до Пушкина и Грибоѣдова. Въ этомъ рядѣ различныхъ ступеней общественной мысли мы въ состояніи будемъ прослѣдить постоянно возрастающій уровень идеальныхъ требованій, и если вспомнимъ при этомъ, что литература всегда далеко не вполне высказывала накопившееся недовольство, что истинная мысль лучшихъ людей развивалась втайнѣ, про себя, и что нужно принять въ соображеніе эту скрытую, но тѣмъ не менѣе дѣйствительную работу мысли, мы найдемъ объясненіе для этой неожиданной степени скептицизма. У Чаадаева эта затаенная мысль высказалась такъ полно потому, что, предполагая писать только для ближайшихъ друзей, онъ могъ обойтись безъ умолчаній и безъ лицемѣрія. Мы будемъ обманывать себя, если станемъ считать вырывающіяся изрѣдка подобныя проявленія одной произвольной необузданностью писателя, потерявшаго дорогу, — если будемъ скрывать отъ себя эти симптомы внутреннего процесса, который происходитъ въ сознаніи общества и который можетъ служить указателемъ развитія. Мы убѣдимся въ органической законности явленія, если обратимъ вниманіе на то, что это явленіе имѣетъ какъ свои antecedentes, такъ и свои послѣдствія. Сомнѣніе Чаадаева несомнѣнно имѣло такія послѣдствія въ дальнѣйшемъ развитіи тѣхъ вопросовъ, какіе были имъ затронуты. Мы упомянемъ дальше, какъ цѣнили Чаадаева замѣчательнѣйшіе люди нашей литературы сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ, люди самыхъ различныхъ возрѣній, чувствовавшіе на себѣ дѣйствіе высказанныхъ имъ мыслей.

Переходимъ теперь къ самымъ сочиненіямъ Чаадаева. Эти сочиненія состоятъ, главнымъ образомъ, изъ тѣхъ «Философическихъ Писемъ», изъ которыхъ одно первое было напечатано въ «Телескопѣ», 1836. Сколько было всѣхъ писемъ, хорошенько неизвѣстно; во французскомъ изданіи 1862 года, этихъ писемъ помѣщено четыре, изъ которыхъ послѣднее говоритъ объ архитектурѣ. Въ рукописяхъ Чаадаева осталось еще одно или два письма, которыя могли принадлежать сюда же. Затѣмъ, во французскомъ изданіи помѣщена упомянутая въ біографіи «Апологія Сумасшедшаго». Далѣе, записка, довольно длинная, адресованная къ гр. Бенкендорфу и писанная Чаадаевымъ отъ имени Ивана Кирѣевского послѣ запрещенія журнала «Европеецъ» (1832), который Кирѣевскимъ издавался и на второй книжкѣ

подвергся запрещенію. Кромѣ того, во французскомъ изданіи помѣщено нѣсколько писемъ Чаадаева къ А. И. Тургеневу, кн. С. С. Мещерской, одно письмо къ Шеллингу и кн. И. С. Ггарину (нынѣ іезуиту). Выше, въ библиографической замѣткѣ, мы указали еще нѣсколько писемъ Чаадаева — къ кн. Вяземскому, Жуковскому, М. И. Жихареву и др., — которыя были помѣщены въ разныхъ нашихъ изданіяхъ за послѣдніе годы. Наконецъ, существуетъ рядъ неизданныхъ доселѣ отрывковъ и писемъ Чаадаева; они печатаются въ «Вѣстникѣ Европы» ¹⁾.

Мы сказали, что число писемъ хорошенько неизвѣстно. Первое письмо своимъ началомъ предполагаетъ уже что-то, ему предшествовавшее; во второмъ авторъ говоритъ опять о «предыдущихъ письмахъ» ²⁾. Пушкинъ, читавшій эти письма въ рукописи, въ своемъ письмѣ къ Чаадаеву по этому поводу (въ 1830 году) также говоритъ объ отрывочности, и нѣкоторыя замѣчанія, которыя онъ дѣлаетъ Чаадаеву, относятся къ предметамъ, упоминаемымъ во второмъ и третьемъ письмѣ французскаго изданія ³⁾.

Такимъ образомъ, литературныя права Чаадаева заключаются собственно только въ «первомъ письмѣ», которое появилось въ печати при его жизни, и разборомъ котораго мы могли бы ограничиться: все остальное могло бы быть предоставлено специальной критикѣ и біографіи. Но для большаго знакомства съ писателемъ мы считаемъ нужнымъ остановиться и на другихъ его сочиненіяхъ, которыя хотя до сихъ поръ не видѣли у насъ печати, но въ свое время были извѣстны друзьямъ автора, имѣли свой кругъ дѣйствія. Не случись извѣстной исторіи, за «первымъ письмомъ» могли послѣдовать и другія, и авторъ могъ дать читателямъ, если не полное и систематическое изложеніе своихъ взглядовъ, то по крайней мѣрѣ большее число ихъ очерковъ, большее число примѣровъ и примѣненій своей основной мысли. И если мы хотимъ составить себѣ отчетливое понятіе о сущности мнѣній Чаадаева, мы необходимо должны упомянуть о другихъ его сочиненіяхъ, тѣсно связанныхъ съ письмомъ общей точкой зрѣнія. И это необходимо тѣмъ болѣе, что Чаадаевъ дѣйствовалъ не только какъ писатель, своимъ на

¹⁾ См. начало въ ноябрьской книгѣ нынѣшняго года.

²⁾ Самая помѣта времени въ письмахъ неясна: первое помѣчено 1829 г., 1 декабря; второе безъ означенія времени; третье—1829, 16 февраля.

³⁾ Письмо Пушкина явилось, кажется, въ первый разъ въ сочиненіи іезуита Ггарина: *Les tendances catholiques*; отсюда оно перепечатано было въ «Библиогр. Зап.» 1861, и повторено въ *Oeuvres Choiesies*, стр. 166 — 168. Подлинникъ его, если не ошибаемся, мы видѣли въ собраніи автографовъ Московскаго Публичнаго Музея.

минуту появившимся и вызвавшимъ бурю письмомъ, но и какъ личность, какъ представитель особаго оригинальнаго взгляда, въ кругу людей, стоявшихъ тогда впереди всего умственнаго движенія нашего общества. Въ его сочиненіяхъ, какъ и въ перепискѣ, мы найдемъ именно долю того содержанія, какое онъ тамъ высказывалъ.

Скажемъ сначала о главномъ произведеніи Чаадаева, которое однажды было уже пересказано г. Лонгиновымъ¹⁾; но для связи изложенія, нужно привести главные черты, характеризующія автора и его настроеніе.

«Философическое письмо» обращается къ дамѣ, съ которой авторъ говорилъ о религіи, и составляетъ продолженіе начатыхъ разговоровъ. Ихъ бесѣда о религіи внесла тревогу и сомнѣніе въ ея душу: авторъ не находитъ въ этомъ удивительнаго. «Это—естественное слѣдствіе настоящаго порядка вещей, которому покорены всѣ сердца, всѣ умы... Самыя качества, которыми вы отличаетесь отъ толпы, дѣлаютъ васъ еще воспримчивѣе къ вредному вліянію воздуха, которымъ вы дышите... Могъ ли я очистить атмосферу, въ которой мы живемъ?» Авторъ предвидѣлъ, какія страданія можетъ причинять «религіозное чувство, не вполне развитое», и это вынуждало его къ умолчаніямъ...

Чаадаевъ продолжаетъ говорить о необходимости религіознаго чувства²⁾, и затѣмъ прямо приступаетъ къ общему вопросу, который и дѣлается главной темой письма. Онъ замѣчаетъ, что для души также необходимо извѣстное діатетическое содержаніе, какъ для тѣла. «Знаю, что повторяю старую поговорку; но въ нашемъ отечествѣ она имѣетъ всѣ достоинства новости».

«Это одна изъ самыхъ жалкихъ странностей нашего общественнаго образованія, что истины, давно извѣстныя въ другихъ странахъ, и даже у народовъ, во многихъ отношеніяхъ менѣе насъ образованныхъ, у насъ только-что открываются. И это оттого, что мы никогда не шли вмѣстѣ съ другими народами; мы не принадлежимъ ни къ одному изъ великихъ семействъ человѣчества, ни къ Западу, ни къ Востоку, не имѣемъ преданій ни того ни другого. Мы существуемъ какъ бы внѣ времени,

1) Въ его статьѣ о Чаадаевѣ, въ «Русскомъ Вѣстникѣ» 1862 г.

2) Замѣтимъ, что эти предварительныя разсужденія, по своему тону, очень похожи на первые осторожныя приемы пропаганды. Кромѣ того, начало письма трудно не отнести къ извѣстному опредѣленному лицу — противъ чего говоритъ біографъ Чаадаева, и самъ Чаадаевъ въ одномъ изъ рукописныхъ документовъ.

Тѣмъ лицомъ, къ которому были адресованы письма, называютъ вообще г-жу Панову; но есть указаніе, кажется, не лишенное вѣроятія, что это была, напротивъ, жена М. Ѳ. Орлова, урожденная Раевская.

и всемірное образованіе человѣческаго рода не коснулось насъ. Эта дивная связь человѣческихъ идей въ теченіе вѣковъ, эта исторія человѣческаго разумѣнія, доведшія его въ другихъ странахъ міра до настоящаго положенія, не имѣли на насъ никакого вліянія. То, что у другихъ народовъ давно вошло въ жизнь, для насъ до сихъ поръ есть только умствованіе, теорія».

Въ этихъ словахъ уже высказана основная мысль, которая развивается въ дальнѣйшемъ изложеніи.

Примѣры такого положенія вещей,—продолжаетъ авторъ,—недалеки: у насъ нѣтъ даже хорошаго распредѣленія жизни, тѣхъ обыкновеній и навыковъ, которые даютъ уму приволье, душѣ правильное движеніе.

«Посмотрите вокругъ себя. Все какъ будто на ходу. Мы всѣ какъ будто странники. Нѣтъ ни у кого сферы опредѣленнаго существованія... нѣтъ ничего, что бы привязывало, что бы пробуждало ваши сочувствія, расположенія; нѣтъ ничего постоянного, непремѣннаго: все проходитъ, протекаетъ, не оставляя слѣдовъ ни на внѣшности, ни въ васъ самихъ. Дома мы будто на постоѣ, въ семействахъ какъ чужіе, въ городахъ какъ будто кочуемъ, и даже больше чѣмъ племена, блуждающія по нашимъ степямъ, потому что эти племена привязаны къ своимъ пустынямъ, чѣмъ мы къ нашимъ городамъ. Не воображайте, чтобъ эти замѣчанія были ничтожны. Бѣдныя! Неужели къ прочимъ нашимъ несчастіямъ мы должны прибавить еще новое: несчастіе ложнаго о себѣ понятія?..»

У всѣхъ народовъ бываютъ періоды сильной, страстной дѣятельности, періоды юношескаго развитія, когда создаются ихъ лучшія воспоминанія, поэзія и плодотворнѣйшія идеи. Здѣсь источникъ и основаніе дальнѣйшей ихъ исторіи. «Мы не имѣемъ ничего подобнаго. Въ самомъ началѣ у насъ дикое варварство, потомъ грубое суевѣріе, затѣмъ жестокое, унижительное владычество завоевателей, владычество, слѣды котораго въ нашемъ образѣ жизни не изгладились совсѣмъ и донинѣ. Вотъ горестная исторія нашей юности. Мы совсѣмъ не имѣли возраста этой безмѣрной дѣятельности, этой поэтической игры нравственныхъ силъ народа. Эпоха нашей общественной жизни, соотвѣтствующая этому возрасту, наполняется существованіемъ темнымъ, безцвѣтнымъ, безъ силы, безъ энергіи. Нѣтъ въ памяти чарующихъ воспоминаній, нѣтъ сильныхъ наставительныхъ примѣровъ въ народныхъ преданіяхъ. Пробѣгите взоромъ всѣ вѣка нами прожитые, все пространство земли нами занимаемое, вы не найдете ни одного воспоминанія, которое бы васъ остановило, ни одного памятника, который бы высказалъ вамъ протекшее живо,

сильно, картинно. Мы живемъ въ какомъ-то равнодушіи ко всему, въ самомъ тѣсномъ горизонтѣ, безъ прошедшаго и будущаго»...

Какая-то странная судьба разобщила насъ отъ всемірной жизни человѣчества, и чтобъ сравняться съ другими народами, намъ надо «переначать для себя снова все воспитаніе человѣческаго рода. Для этого, передъ нами—исторія народовъ и плоды движенія вѣковъ».

Народы живутъ только могущественными впечатлѣніями прошедшаго на умы ихъ и соприкосновеніемъ съ другими народами. Черезъ это каждый человѣкъ чувствуетъ свою связь съ цѣлымъ человѣчествомъ. У насъ этого нѣтъ. «Мы явились въ міръ какъ незаконнорожденные дѣти, безъ наслѣдства, безъ связи съ людьми, которые намъ предшествовали, не усвоили себѣ ни одного изъ поучительныхъ уроковъ минувшаго. Каждый изъ насъ долженъ самъ связывать разорванную нить семейности, которою мы соединялись бы съ цѣлымъ человѣчествомъ. Намъ должно молотами вбивать въ голову то, чтб у другихъ сдѣлалось привычкою, инстинктомъ. Наши воспоминанія не далѣе вчерашняго дня; мы, такъ сказать, чужды самимъ себѣ.... Мы растемъ, но не зрѣемъ; идемъ впередъ, но по какому-то косвенному направленію, не ведущему къ цѣли....»

Обращаясь опять къ народамъ Запада, Чаадаевъ указываетъ, что всѣ они имѣютъ общую фizioномію, результатъ ихъ общей исторіи, и затѣмъ свой индивидуальный характеръ. Это ихъ родовое наслѣдіе; каждое частное лицо пользуется готовыми плодами этого наслѣдія. «Теперь сравните сами: много ли соберете вы у насъ начальныхъ идей, которыя какимъ бы то ни было образомъ могли бы руководствовать насъ въ жизни?» И замѣтимъ, что здѣсь дѣло идетъ не объ идеяхъ науки и литературы, но о самыхъ обыденныхъ идеяхъ жизни, о тѣхъ идеяхъ, которыя овладѣваютъ ребенкомъ съ колыбели и образуютъ его нравственное бытіе еще до вступленія въ міръ и общество. Такія идеи даетъ человѣку историческая жизнь западнаго общества. «Хотите ли знать, чтб это за идеи? Это идеи долга, закона, правды, порядка. Онѣ развиваются изъ происшествій, содѣйствовавшихъ образованію общества; онѣ—необходимыя начала міра общественнаго. Вотъ что составляетъ атмосферу Запада; это болѣе чѣмъ исторія, болѣе чѣмъ психологія: это фizioлогія европейца. Чѣмъ вы замѣните все это?»

Авторъ не знаетъ, можно ли вывести изъ всего этого какое-нибудь безусловное правило, но не сомнѣвается, что это общее положеніе народа отражается на духѣ каждаго отдѣльнаго лица.

«Отъ этого вы найдете, что всѣмъ намъ недостаетъ нѣкотораго рода основательности, методы, логики. Силлогизмъ Запада намъ неизвѣстенъ. Въ нашихъ лучшихъ головахъ есть что-то больше, чѣмъ неосновательность. Лучшія идеи, отъ недостатка связи и послѣдовательности, какъ безплодные призраки, цѣпенѣютъ въ нашемъ мозгу. Человѣкъ терается, не находя средства придти въ соотношеніе, связаться съ тѣмъ, что ему предшествуетъ и что послѣдуетъ; онъ лишается всякой увѣренности, всякой твердости; имъ не руководствуетъ чувство общаго существованія, и онъ заблуждается въ мірѣ. Такія потерявшіяся существа встрѣчаются во всѣхъ странахъ; но у насъ эта черта общая.... Даже въ нашемъ взглядѣ я нахожу что-то чрезвычайно неопредѣленное, холодное, нѣсколько сходное съ фізіономіею народовъ, стоящихъ на низшихъ ступеняхъ общественной лѣстницы. Находясь въ другихъ странахъ, и въ особенности южныхъ, гдѣ лица такъ одушевленны, такъ говорящи, я сравнивалъ не разъ моихъ соотечественниковъ съ туземцами, и всегда поражала меня эта нѣмота нашихъ лицъ».

Иностранцы ставили намъ въ достоинство нѣкотораго рода безпечную отважность, особенно въ низшихъ классахъ. Но «они не видятъ, что то же самое начало, которое иногда придаетъ намъ эту смѣлость, дѣлаетъ насъ въ то же время неспособными ни къ глубокомыслію, ни къ постоянству; они не видятъ, что это равнодушіе къ матеріальнымъ опасностямъ дѣлаетъ насъ также равнодушными ко всему хорошему, ко всему дурному, ко всякой истинѣ, ко всякой жи, и что тѣмъ самымъ уничтожаетъ въ насъ всѣ сильныя возбужденія, которыя стремятъ людей по пути совершенствованія.... Я совсѣмъ не хочу сказать, что у насъ только пороки, а добродѣтели у европейцевъ: избави Боже! Но я говорю, что для вѣрнаго сужденія о народахъ, надобно изучить общій духъ, ихъ животворящій....»

По нашему положенію между Востокомъ и Западомъ, мы должны бы соединять въ себѣ два великія начала разумнія: воображеніе и разсудокъ, должны бы совмѣщать исторію всего міра въ нашемъ гражданственномъ образованіи. Но на дѣлѣ можно подумать, что «общій законъ человѣчества не для насъ. Отшельники въ мірѣ, мы ничего ему не дали, ничего не взяли у него, не приобщили ни одной идеи къ массѣ идей человѣчества; ничѣмъ не содѣйствовали совершенствованію человѣческаго разумнія, и исказили все, что сообщило намъ это совершенствованіе.... Странное дѣло! Даже въ мірѣ наукъ, который обнимаетъ все, наша исторія разобщена отъ всего, ничего не объясняетъ, ничего не доказываетъ.... Чтобъ обратить на себя вни-

маніе, мы должны были распространиться отъ Берингова пролива до Одера... Повторю еще: мы жили, мы живемъ, какъ великій урокъ для отдаленныхъ потомствъ, которыя воспользуются имъ непременно, но въ настоящемъ времени, что бы ни говорили, мы составляемъ пробѣлъ въ порядкѣ разумѣнія. Для меня нѣтъ ничего удивительнѣе этой пустоты и разобщенности нашего существованія. Конечно, въ этомъ виновата отчасти какая-то непостижимая судьба; но неправы и люди, которыхъ содѣйствіе, во всемъ что свершается въ нравственномъ мірѣ, неизбежно. Заглянемъ еще разъ въ исторію: она объясняетъ бытіе народовъ лучше всего».

И Чаадаевъ противопоставляетъ начала нашей жизни тому движенію, которое совершалось въ Европѣ, «одушевляемой животворящимъ началомъ единства». Мы вступили въ связь съ растлѣнной Византіей, потомъ стали добычей завоевателей, и остались внѣ историческихъ идей, развивавшихся у нашихъ западныхъ братьевъ:

«Сколько свѣтлыхъ лучей прорѣзало въ это время мракъ, покрывавшій всю Европу! Большая часть познаній, которыми умъ человѣческій теперь гордится, были уже предчувствуемы тогдашними умами; характеръ новѣйшаго общества былъ уже определенъ; міру христіанскому не доставало только формъ прекраснаго, и онъ отыскалъ ихъ, обративъ взоры на древности язычества. Уединившись въ своихъ пустыняхъ, мы не видали ничего происходившаго въ Европѣ. Мы не вмѣшивались въ великое дѣло міра... Несмотря на названіе христіанъ, мы не тронулись съ мѣста, тогда какъ западное христіанство величественно шло по пути, начертанному его божественнымъ основателемъ....

«Послѣ этого, скажите, справедливо ли у насъ почти общее предположеніе, что мы можемъ усвоить европейское просвѣщеніе,—развивавшееся такъ медленно, и, притомъ, подъ прямымъ и очевиднымъ вліяніемъ одной нравственной силы,—съ разу, даже не затрудняясь розысканіемъ, какъ это дѣлалось?»

Чаадаевъ не соглашается съ этимъ, и утверждаетъ, что «тотъ рѣшительно не понимаетъ христіанства, кто не замѣчаетъ въ немъ стороны чисто исторической». «Но вы возразите, — продолжаетъ онъ далѣе: — развѣ мы не христіане, развѣ образованіе возможно только по образцу европейскому? Безъ сомнѣнія, мы христіане: но развѣ абиссинцы не христіане же? Разумѣется, можно образоваться отлично отъ Европы: развѣ японцы не образованы и, если вѣрить одному изъ нашихъ соотечественниковъ, даже болѣе насъ? Но неужели вы думаете, что христіанство абиссинцевъ и образованность японцевъ могутъ возсоздать тотъ

порядокъ, о которомъ я говорилъ сію минуту, порядокъ, который составляетъ конечное предназначеніе человѣчества? Неужели вы думаете, что эти жалкія отклоненія отъ божественныхъ и человѣческихъ истинъ низведутъ небо на землю?»

Въ послѣдней части письма авторъ разъясняетъ дѣйствіе христіанства на ходъ европейскаго образованія: христіанство создало особый кругъ, извѣстную нравственную сферу, которая связывала всѣ народы Европы въ одно семейство. «Чтобъ понять семейное развитіе этихъ народовъ, не нужно даже изучать исторію: прочтите только Тасса, и вы увидите, какъ всѣ они склоняются въ прахъ передъ Іерусалимомъ; вспомните, что въ продолженіе пятнадцати вѣковъ они молились Богу на одномъ языкѣ, покорялись одной нравственной власти, имѣли одно убѣжденіе». Онъ указываетъ далѣе періоды религіознаго развитія западной Европы, въ которомъ видитъ основу ея историческаго развитія: времена гоненій, распространенія христіанства, ересей и соборовъ, нашествія варваровъ, первыхъ усилій образованія, величайшее возбужденіе религіознаго чувства и упроченіе религіозной власти. Онъ указываетъ господство религіи и въ новѣйшей исторіи Европы и т. д. «Философическое и литературное развитіе ума и образованіе нравовъ подъ вліяніемъ религіи оканчиваютъ эту исторію, которая имѣетъ точно такое же право на названіе священной, какъ и исторія древняго избраннаго народа».

Относительно русской жизни послѣдній выводъ выраженъ въ слѣдующихъ словахъ: «Итакъ, если эта сфера, въ которой живутъ европейцы, сфера единственная, гдѣ человѣческій родъ можетъ достигнуть своего конечнаго предназначенія, есть плодъ религіи; если, напротивъ, враждебныя обстоятельства отстранили насъ отъ общаго движенія, въ которомъ общественная идея христіанства развилась и приняла извѣстныя формы; если эти причины отбросили насъ въ категорію народовъ, которые не могли воспользоваться всѣмъ вліяніемъ христіанства; то не очевидно ли, что должно стараться оживить въ насъ вѣру всѣми возможными способами? Вотъ что я хотѣлъ сказать, говоря, что у насъ должно переначать все воспитаніе человѣческаго рода».

На этомъ мы закончимъ изложеніе письма. Мы скажемъ далѣе о томъ значеніи, какое имѣло въ нашей умственной исторіи это мрачное сомнѣніе въ русскомъ прошедшемъ и настоящемъ; укажемъ внутреннюю цѣнность той положительной теоріи, которую выставлялъ Чаадаевъ рядомъ съ этимъ сомнѣніемъ, и то, что могло быть даже тогда сказано противъ этой теоріи,

составляющей самую слабую сторону и «Письма», и всего образа мыслей Чаадаева. Теперь обратимся къ двумъ другимъ письмамъ изъ этого ряда, которыя дополняютъ для насъ общее историческое воззрѣніе Чаадаева.

Въ началѣ второго письма Чаадаевъ ставитъ эпиграфъ изъ *Essai sur les mœurs*, Вольтера: «Можно спросить, какимъ образомъ, среди столькихъ потрясеній, междоусобій, заговоровъ, преступленій и безумствъ, нашлось столько людей, воздѣлывавшихъ искусства полезныя и искусства пріятныя въ Италіи, а потомъ въ другихъ христіанскихъ государствахъ; этого мы не видимъ подъ владычествомъ турокъ». Авторъ выводитъ изъ своихъ предшествующихъ писемъ, какъ важно правильно понять послѣдовательность идеи въ теченіи вѣковъ, и что когда мы проникнемся той основной мыслью, что въ умѣ человѣка нѣтъ другой истины кромѣ той, какая была вложена въ него въ началѣ вещей самимъ Богомъ, то нельзя смотрѣть на движеніе вѣковъ, какъ смотритъ обыкновенная исторія. Провидѣніе, или вполнѣ мудрый разумъ, управляетъ не только теченіемъ событій, но оказываетъ прямое и постоянное дѣйствіе на умъ человѣка. Это постоянное дѣйствіе Провидѣнія доказывается чисто метафизическимъ рассужденіемъ, и совершается такимъ образомъ, что разумъ человѣка остается совершенно свободнымъ. Поэтому неудивительно, что былъ народъ, который въ особенной чистотѣ сохранялъ первыя божественныя сообщенія, и что являлись люди, какъ бы обновлявшіе первобытный фактъ нравственнаго міра. Не будь этого народа и этихъ привилегированныхъ людей, мы должны бы были предположить, что божественная идея была всегда и вездѣ одинакова: это значило бы уничтожить всякую личность и свободу, — а онѣ являются только въ развитіи умовъ, нравственныхъ силъ, знаній. Но признавая эту мысль, мы только подтверждаемъ существующій фактъ, — именно, что извѣстные народы и люди обладаютъ извѣстнымъ просвѣщеніемъ, котораго другіе не имѣютъ.

Человѣкъ шелъ всегда по указанному ему пути только при свѣтѣ истинъ, открытыхъ ему высимъ разумомъ. Въ этомъ смыслѣ должно понимать религіозное единство исторіи, и такова должна быть истинная философія исторіи, которая показываетъ намъ разумное существо подчиненнымъ тому же общему закону, какъ все твореніе.

Въ наше время человѣческій умъ облакаетъ всякій родъ зна-

нія въ *историческую* форму. Онъ постоянно возвращается къ прошедшему, собираетъ новыя силы въ созерцаніи пройденнаго поприща, въ изученіи силъ, направлявшихъ его ходъ въ теченіи вѣковъ. Это, конечно, очень счастливый для науки оборотъ, потому, что узкое настоящее не составляетъ всей силы человѣческаго разума, и что въ немъ есть другая сила, которая, собирая въ одну мысль и времена прошедшія и времена обѣтованныя, составляетъ его истинное существо и ставитъ его въ истинную сферу его дѣятельности.

Но нынѣшняя точка зрѣнія исторіи не удовлетворяетъ разума. Несмотря на всѣ усилія критики, несмотря на то содѣйствіе, какое оказали исторіи естественныя науки, нынѣшняя наука не могла достигъ ни единства, ни той высокой нравственности, какая проистекала бы изъ яснаго пониманія универсальнаго закона. Когда христіанскій духъ господствовалъ въ наукѣ, глубокая мысль, хотя и плохо связанная, бросала на эту область знанія долю священнаго вдохновенія; но историческая критика тогда едва начиналась, и событія сохранялись въ памяти людей такъ смутно, что вся ясность религіи не могла разогнать этого мрака. Въ наше время разумъ требуетъ совершенно новой философіи исторіи, которая будетъ такъ же мало походить на существующую теперь философію, какъ нынѣшняя астрономія мало походить на наблюденія астрономовъ древности. «Никогда не будетъ достаточно фактовъ, чтобы все доказать, и ихъ было больше чѣмъ нужно, чтобы можно было все предчувствовать, еще со временъ Моисея и Геродота». Къ чему, въ самомъ дѣлѣ, служатъ эти сближенія вѣковъ и народовъ, какія дѣлаетъ тщеславная ученость? Что значать всѣ эти генеалогіи языковъ, народовъ и идей? Слѣпая или упрямая философія все-таки будетъ отдѣлываться отъ нихъ или своей старой теоріей о всеобщемъ единообразіи человѣчества, или своей любимой теоріей объ естественномъ развитіи человѣческаго духа, безъ всякой другой причины кромѣ собственной динамической силы его природы. Известно, что для этой философіи человѣческій духъ есть просто комокъ снѣга, который катится и оттого увеличивается. Но эта философія не въ состояніи открыть плана, смысла въ ходѣ вещей, подчинить этому плану человѣческій умъ и принять всѣ послѣдствія, выходящія отсюда относительно нравственнаго міра. Поэтому, излишне работать только надъ матеріаломъ фактовъ, — ихъ собрано довольно; надо стараться нравственно характеризовать великія эпохи исторіи; стараться строго опредѣлить черты каждаго вѣка, по законамъ практическаго разума. Историческій

матеріаль теперь почти истощенъ; и исторіи остается только размышлять (*méditer*).

Тогда исторія естественно войдетъ въ общую систему философіи и будетъ впредь ея составною частью. Многое тогда перейдетъ отъ исторіи на долю романистовъ и поэтовъ; но многое займетъ болѣе высокое и яркое мѣсто въ новой системѣ. «Эти вещи стали бы получать свой характеръ истины не отъ одной хроники; но точно также, какъ въ тѣхъ аксіомахъ естественной философіи, которыя открыты были опытомъ и наблюденіемъ, но которыя геометрический разумъ свелъ въ формулы и уравненія, — такъ здѣсь печать достовѣрности сталъ бы съ тѣхъ поръ налагать разумъ нравственный». Такова будетъ, напр., та мало понятая (не по отсутствію данныхъ и памятниковъ, а по отсутствію идей) эпоха, какую представляетъ начало христіанства, или то время, которое за нимъ послѣдовало и о которомъ философскій фанатизмъ дѣлалъ такое ложное представленіе. Гигантскія фигуры, теперь затерянные въ толпѣ историческихъ лицъ, выступятъ изъ окружающей ихъ тѣни; между тѣмъ какъ многія другія славы, которымъ люди долго оказывали недѣльное или преступное уваженіе, навсегда упадутъ. Такова будетъ судьба многихъ лицъ библейской исторіи, и многихъ знаменитыхъ людей древности: Моисея и Сократа, Давида и Марка-Аврелія. Люди узнаютъ разъ навсегда, что Моисей указалъ людямъ истиннаго Бога, тогда какъ Сократъ завѣщалъ имъ только малодушное сомнѣніе; что Давидъ есть совершенный образецъ священнѣйшаго героизма, тогда какъ Маркъ-Аврелій есть только любопытный примѣръ искусственнаго величія и наружной добродѣтели. Катонъ не будетъ возбуждать удивленія своей бѣшеной добродѣтелью, и, съ другой стороны, имя Эпикура избавится отъ тяготящаго надъ нимъ предразсудка, и его память получитъ новый интересъ. Имя Аристотеля будетъ произноситься почти съ отвращеніемъ, имя Магомета съ глубокимъ почтеніемъ. Наконецъ, быть можетъ, родъ позора будетъ связанъ съ великимъ именемъ Гомера, и приговоръ, произнесенный Платономъ по религіозному инстинкту противъ этого развратителя людей, не будетъ больше считаться одной изъ его утопическихъ выходокъ, но примѣромъ удивительнаго предугадыванія мыслей будущаго... «Всѣ эти идеи, которыя до сихъ поръ едва коснулись человѣческаго ума или только лежали безъ жизни въ нѣсколькихъ независимыхъ головахъ, тогда безвозвратно войдутъ въ нравственное чувство человѣческаго рода и сдѣлаются аксіомами здраваго смысла».

Однимъ изъ важнѣйшихъ уроковъ этой исторіи будетъ то, что она установитъ въ памяти людей относительное значеніе

народовъ, исчезнувшихъ со сцены міра, и наполнить сознаніе народовъ существующихъ чувствомъ того назначенія, которое они призваны исполнить. Каждый народъ, ясно понявъ прошедшія эпохи своей жизни, пойметъ должнымъ образомъ и свое настоящее и свою будущую задачу. Такимъ образомъ, у всѣхъ народовъ явится истинное національное сознаніе, которое составитъ изъ извѣстнаго числа положительныхъ идей, очевидныхъ истинъ, выведенныхъ изъ ихъ воспоминаній,—глубокихъ убѣжденій, господствующихъ болѣе или менѣе надъ всѣми умами и ведущихъ всѣхъ къ одной цѣли. Національности, вмѣсто того, чтобы раздѣляться, будутъ соединяться для одного гармоническаго результата, и, быть можетъ, народы протянутъ другъ другу руки въ истинномъ чувствѣ общаго интереса человѣчества, который будетъ не что иное какъ хорошо понятый интересъ каждаго народа.

Это не будетъ то космополитическое будущее, о которомъ мечтаетъ философія. Народы должны, напротивъ, составить свою домашнюю мораль, отличную отъ морали политической; должны узнать себя какъ индивидуумовъ, сознать свои пороки и добродѣтели, исправить сдѣланныя ошибки и утвердиться въ добрѣ. Таковы первыя условія усовершенія массъ: онѣ должны ясно понять свое прошедшее, чтобы найти силу дѣйствовать на свое будущее.

Историческая критика не будетъ только дѣломъ любознательности. Она станетъ строгимъ судьей всякой славы, всякихъ величій прошедшаго; она разрушитъ всѣ фантомы, всѣ ложные образы, загромаждающіе человѣческую память, чтобы изъ прошедшаго, представленнаго въ его истинномъ свѣтѣ, вывести извѣстныя заключенія для настоящаго и съ увѣренностью взглянуть на будущее.

Наконецъ, самымъ важнымъ урокомъ этой исторіи будетъ то, что люди не будутъ увлекаться безсмысленной системой механическаго усовершенствованія нашей природы, которое опровергается опытомъ всѣхъ вѣковъ, и узнаютъ, что, напротивъ, человѣкъ, предоставленный самому себѣ, всегда шелъ путемъ безконечнаго упадка, и что если нельзя отвергать извѣстныхъ періодовъ прогресса, высокихъ порывовъ мысли, какіе бывали у всѣхъ народовъ, то мы не видимъ у нихъ однако постояннаго и непрерывнаго движенія впередъ. Такое движеніе есть только въ томъ обществѣ, къ которому мы принадлежимъ; правда, мы приняли то, что прежде насъ открыто было умомъ древнихъ; но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы наше общество достигло своего нынѣшняго состоянія безъ того историческаго явленія, которое

совершилось внѣ естественнаго хода человѣческихъ идей, внѣ всякой связи событій, т.-е. безъ *христіанства*.

Если мы обратимся къ тому, что предшествовало этому явленію, мы увидимъ, что древній міръ не имѣлъ въ себѣ никакого принципа прочности. Что сталося съ глубокой мудростью Египта, прелестной красотой Іоніи, суровыми добродѣтелями Рима, ослѣпительнымъ блескомъ Александріи? Не воздвигалъ ли человѣкъ зданія, чтобы оно только превратилось въ прахъ? Не поднимался ли онъ такъ высоко, чтобы только тѣмъ ниже упасть? — Не заблуждайтесь: не варвары разрушили древній міръ. Это былъ сгнившій трупъ; они только развѣяли его прахъ по вѣтру.... Паденіе Римской имперіи приписываютъ порчѣ нравовъ и происшедшему изъ нея деспотизму. Но въ этой всеобщей революціи дѣло шло не объ одномъ Римѣ: погибала цѣлая цивилизація. Египетъ фараоновъ, Греція Перикла, второй Египетъ Лагидовъ, вся Греція Александра, простиравшаяся за Индъ, наконецъ самое іудейство, когда оно эллинизировалось, все это слилось въ римской массѣ и составило одно общество, представлявшее собой всѣ предыдущія поколѣнія, заключавшее всѣ нравственныя и умственныя силы, какія до тѣхъ поръ развились въ человѣческой природѣ. Такимъ образомъ, не имперія, а цѣлое человѣческое общество было уничтожено, и опять возобновилось съ этого дня. Новое общество было создано христіанствомъ, и созданіе не было дѣломъ человѣческимъ: все было сдѣлано *мыслью истины*. Непосредственное дѣйствіе этого событія, новыя силы, новыя потребности имъ созданныя, то удивительное уравниеніе умовъ, которые стали «желать истины и способны принимать ее», въ какомъ бы они ни были состояніи, все это отмѣчаетъ то время поразительнымъ характеромъ провидѣнія и высшаго разума.

Это—новое общество и новая цивилизація.

Громадное превосходство этого новаго общества надъ древнимъ не было достаточно оцѣнено, потому что въ мірѣ видѣли отдѣльныя государства. Но не видѣли того, что въ теченіи цѣлаго ряда вѣковъ это новое общество представляло настоящую федеральную систему, которая была нарушена только реформацией; что до тѣхъ поръ народы считали себя однимъ обществомъ, раздѣленнымъ географически, но единымъ нравственно; что долго у нихъ не было другого публичнаго права, кромѣ постановленій церкви; что ихъ войны считались междоусобіями; что двигали ими одни интересы. Исторія среднихъ вѣковъ есть буквально исторія одного христіанскаго народа. Вольтеръ очень вѣрно замѣчаетъ, что мнѣнія бывали причиною войнъ только у

однихъ христіанъ, — это было потому, что царство мысли не могло утвердиться въ мірѣ иначе, какъ давая самому принципу мысли всю его реальность. Если реформація нарушила этотъ порядокъ вещей, и уничтожила единство, — то нельзя сомнѣваться, что придетъ время, когда черты, раздѣляющія народы, опять изгладятся, и первоначальный принципъ общества обнаружится снова, въ новой формѣ, и съ большей энергіей, чѣмъ когда либо....

Въ этомъ - то европейскомъ семействѣ и нужно изучать истинный характеръ новаго общества, а не въ той или другой странѣ: здѣсь находится истинный принципъ прочности и прогресса, отличающій міръ новый отъ міра древняго. Такъ, несмотря на всѣ испытанные имъ перевороты, это общество не только не потеряло ничего изъ своей жизненности, но съ каждымъ днемъ его силы возрастаютъ. Ни арабы, ни турки, ни татары не могли его уничтожить, и только укрѣпили его. Исторія древняго міра была, собственно говоря, непродолжительна, и однако сколько обществъ погибло въ древности въ этотъ короткій періодъ, между тѣмъ какъ въ исторіи новѣйшихъ народовъ мѣняются только географическія границы, а самое общество и народы *остались неприкосновенны*. Изгнаніе мавровъ изъ Испаніи, уничтоженіе американскихъ населеній, уничтоженіе татаръ въ Россіи только подтверждаютъ эту мысль. Такъ близится и паденіе Оттоманской имперіи; затѣмъ придетъ очередь другихъ не-христіанскихъ народовъ. Таковъ кругъ всемогущаго дѣйствія истины: то оттѣсня народы, то обнимая ихъ въ свою окружность, этотъ кругъ постоянно расширяется и приближаетъ насъ къ возвышеннымъ временамъ.

Сила христіанскаго общества заключается именно въ томъ, что оно одно дѣйствительно одушевляется интересомъ мысли, и это самое составляетъ усовершенствость новѣйшихъ народовъ, въ которой находится тайна ихъ цивилизаціи.

Удивительно равнодушіе, съ какимъ смотрятъ обыкновенно на новѣйшую цивилизацію, — между тѣмъ ясное пониманіе ея есть уже и разрѣшеніе соціальной задачи. Въ самомъ дѣлѣ, эта цивилизація содержитъ въ себѣ результатъ всѣхъ протекшихъ вѣковъ, и будущіе вѣка будутъ только ея результатомъ. Никогда масса идей, распространенныхъ на поверхности міра, не была такъ сосредоточена, какъ въ современномъ обществѣ; никогда въ жизни человѣческаго существа одна мысль не обнимала такъ всей дѣятельности-его природы, какъ въ наше время. Мы наслѣдовали все, когда-либо сдѣланное людьми; нѣтъ точки на землѣ, которая была бы изъята отъ вліянія нашихъ идей; во всей

вселенной есть только одна умственная сила; и такимъ образомъ всѣ основные вопросы нравственной философіи необходимо заключены въ одномъ вопросѣ о новѣйшей цивилизаціи... Между нами никогда не будетъ ни китайской неподвижности, ни греческаго упадка; еще менѣе можно представить себѣ полное уничтоженіе нашей цивилизаціи. «Стоить оглянуться кругомъ себя, чтобы въ этомъ убѣдиться. Нужно было бы, чтобы весь земной шаръ былъ перевернутъ вверхъ дномъ, чтобы повторился переворотъ, подобный тому, который далъ ему его настоящую форму, для того, чтобы нынѣшняя цивилизація разрушилась. Если только не произойдетъ втораго всемірнаго потопа, невозможно представить себѣ полнаго разрушенія нашего просвѣщенія. Если, на примѣръ, будетъ поглощено цѣликомъ одно изъ двухъ полушарій,—того, что уцѣлѣетъ отъ нашей цивилизаціи въ другомъ полушаріи, довольно будетъ, чтобы обновить человѣческій духъ».

Въ заключеніе письма, авторъ объясняетъ, что если вліяніе христіанства на развитіе нынѣшней цивилизаціи до сихъ поръ было мало оцѣнено, то виной этого были протестанты. Онъ возстаетъ противъ упорства протестантовъ, которые не находятъ христіанства уже со втораго или съ третьяго вѣка, или находятъ только въ той степени, сколько было необходимо, чтобы оно не разрушилось совсѣмъ; въ среднихъ вѣкахъ они видятъ язычество, которое было хуже, чѣмъ въ древнемъ мірѣ; взамѣнъ того, незаслуженнымъ образомъ и ошибочно превозносятъ такъ-называемое возрожденіе наукъ и т. д. Чаадаевъ надѣется, что эта исторія будетъ нѣкогда освѣщена совершенно иначе, и замѣчаетъ въ сноскѣ, что съ тѣхъ поръ какъ это было написано, Гизо въ значительной степени исполнилъ эту надежду ¹⁾. И что же сдѣлала эта реформація, столько восхваляемая протестантами? Она возвратила міръ въ разрозненность (*désunité*) язычества, и если ускорила движеніе ума, то отняла у человечества высокую и плодотворную идею всеобщности. Протестантскія церкви отличаются страннымъ духомъ разрушенія и какъ будто стремятся уничтожить другъ друга, — къ чему же имъ таинство евхаристіи, зачѣмъ соединяться съ Спасителемъ, если люди раздѣляются другъ отъ друга?

Чаадаевъ становится на сторону католицизма, защищаетъ папство, какъ олицетвореніе единства. Не входя въ это изложеніе, мы приведемъ только общую точку зрѣнія: «Развѣ таково ученіе Того, кто пришелъ на землю, чтобы принести въ

¹⁾ Онъ разумѣетъ именно *Cours d'histoire moderne*, читанный Гизо въ 1828 году и изданный въ тридцатыхъ годахъ.

нее жизнь, и кто побѣдилъ смерть? Развѣ мы уже на небѣ, что можемъ безнаказанно отвергнуть условія нынѣшней экономіи? И эта экономія не есть ли только соединеніе чистыхъ мыслей разумнаго существа съ необходимостями его существованія? А первая изъ этихъ необходимостей есть общество, соприкосновеніе умовъ, сліяніе идей и чувствъ; только тогда, когда удовлетворяется эта необходимость, истина дѣлается живою, и изъ области умозрѣнія нисходитъ въ область реальнаго; только тогда она изъ мысли дѣлается фактомъ, получаетъ наконецъ характеръ силы природы, и дѣйствіе ея становится также несомнѣнно, какъ дѣйствіе всякой другой естественной силы. Но какъ сдѣлается все это въ обществѣ идеальномъ, которое существовало бы только въ ожиданіяхъ и въ воображеніи? Вотъ невидимая церковь протестантовъ, — дѣйствительно невидимая какъ ничто» ¹⁾...

Мы не будемъ останавливаться подробно на третьемъ письмѣ, которое занято развитіемъ тѣхъ же мыслей. Все письмо состоитъ изъ отдѣльныхъ эпизодовъ, гдѣ Чаадаевъ говоритъ сначала о древнемъ искусствѣ, которое онъ обвиняетъ въ чувственномъ матеріализмѣ, затѣмъ характеризуетъ тѣ личности, которыя были имъ упомянуты прежде: Моисея, Давида, Сократа и Марка-Аврелія, Эпикура, Магомета, наконецъ Гомера. Одного послѣдняго эпизода будетъ достаточно, чтобы показать взглядъ Чаадаева на искусство и поэзію классическаго язычества.

«Вопросъ о томъ вліяніи, какое имѣлъ Гомеръ на человѣческій духъ, есть теперь вопросъ рѣшенный. Теперь очень хорошо извѣстно, что такое гомерическая поэзія; извѣстно, какъ она способствовала опредѣленію греческаго характера, который въ свою очередь опредѣлилъ характеръ всего древняго міра; теперь знаютъ, что эта поэзія замѣнила собой другую поэзію, болѣе высокую, болѣе чистую, отъ которой остались только обрывки; знаютъ также, что она поставила новый порядокъ идей

¹⁾ Полная мысль Чаадаева, кажется, достаточно ясна въ слѣдующей тирадѣ, которую онъ пишетъ по поводу протестантства: «La réformation a enlevé à la conscience de l'être intelligent la féconde et sublime idée d'universalité. Le fait propre de tout schisme dans le monde chrétien est de rompre cette mystérieuse *unité*, dans laquelle est comprise toute la divine pensée du christianisme et toute sa puissance. C'est pour cela que l'Eglise catholique jamais ne transigera avec les communions séparées. Malheur à elle et malheur au christianisme, si le fait de la division est jamais reconnu par l'autorité légitime! Tout ne serait bientôt derechef que chaos des idées humaines, mensonge, ruine et poussière. Il n'y a que la fixité visible, pour ainsi dire palpable, de la vérité, qui puisse conserver le règne de l'esprit sur la terre» etc. Стр. 83. Это единство есть, конечно, панство.

на мѣсто другого порядка идей, который родился не изъ почвы Греціи, и что эти первобытныя идеи, вытѣсненныя новою мыслью, удалившіяся или въ мистеріи Самоэракии, или въ тѣнь другихъ святилищъ утраченныхъ истинъ, существовали съ тѣхъ поръ только для небольшого числа избранныхъ или адептовъ¹⁾; но чего не знаютъ, мнѣ кажется, это — того, что Гомеръ можетъ имѣть общаго съ нашимъ временемъ, что еще остается отъ него во всеобщемъ пониманіи.... Для насъ, Гомеръ остается только Тифономъ или Ариманомъ настоящаго міра, какъ онъ былъ имъ въ томъ мірѣ, какой былъ имъ созданъ. Въ нашихъ глазахъ, гибельный героизмъ страстей, грязный идеалъ красоты, необузданная любовь къ земному, все это идетъ къ намъ отъ него. За-мѣтите, что въ другихъ цивилизованныхъ обществахъ міра никогда не было ничего подобнаго. Только греки вздумали идеализировать и обоготворить порокъ и преступленіе; такимъ образомъ, поэзія зла была только у нихъ и у народовъ, наслѣдовавшихъ ихъ цивилизацію. Въ среднихъ вѣкахъ можно ясно видѣть, какое направленіе приняла бы мысль христіанскихъ народовъ, еслибы она вполнѣ отдалась той ругѣ, которая вела ее.... Поэзія гомерическая, послѣ того какъ на древнемъ Западѣ она отвела теченіе мыслей, которыя привязывали людей къ великимъ днямъ творенія, сдѣлала то же и на новомъ Западѣ; перешедши къ намъ съ наукой, философіей, литературой древнихъ, она такъ отождествила насъ съ ними, что въ настоящую минуту мы все еще висимъ между міромъ лжи и міромъ истины. Хотя теперь и очень мало занимаются Гомеромъ и конечно мало его читаютъ, его боги и герои тѣмъ не менѣе оспариваютъ почву у христіанской мысли. Потому что дѣйствительно, въ этой поэзіи совершенно земной, совершенно матеріальной, есть удивительная увлекательность, чрезвычайно пріятная для порока нашей природы, увлекательность, которая ослабляетъ фибру разума, держитъ его глупо прикованнымъ къ своимъ фантамамъ и очарованіямъ, убаюкиваетъ и усыпляетъ его своими могущественными иллюзіями». Только глубокое нравственное чувство, исходящее изъ христіанской истины, можетъ освободить насъ отъ этого рокового заблужденія. «Что касается до меня, я думаю, что для нашего полного возрожденія въ смыслъ откровеннаго разума, намъ нужно еще какое-нибудь великое покаяніе, какое-нибудь всемогущее искушеніе, вполнѣ ощущае-

¹⁾ Въ примѣчаніи Чаадаевъ указываетъ на тѣсную связь Гомера съ греческимъ искусствомъ, и на неважность, въ этомъ случаѣ, вопроса о томъ, существовала или нѣтъ самая личность Гомера.

мое всё́мъ христіанскимъ міромъ, испытываемое всё́ми какъ великая фйзическая катастрофа на поверхности нашего міра; безъ этого, я не понимаю, какъ мы могли бы избавиться отъ грязи, которая все еще оскверняетъ нашу память».

Въ заключеніи письма Чаадаевъ опять возвращается къ русско́й жизни:

«Вотъ мы въ концѣ нашей галлерей. Я не сказалъ вамъ всего, что хотѣлъ вамъ сказать, но надо кончить. И знаете ли что? Въ сущности, мы, русскіе, не имѣемъ ничего общаго съ Гомеромъ, съ греками, римлянами, германцами; все это совершенно намъ чуждо. Но что вы хотите! надо говорить языкомъ Европы. Наша экзотическая цивилизація такъ придвинула насъ (*nous a adossés*) къ Европѣ, что хотя у насъ и нѣтъ ея идей, у насъ нѣтъ другого языка, кромѣ ея языка: итакъ, намъ приходится говорить имъ. Если небольшое число привычекъ ума, преданій, воспоминаній, какія у насъ есть, если наше прошедшее не привязываютъ насъ ни къ какому народу на землѣ, если мы въ самомъ дѣлѣ не принадлежимъ ни къ одной изъ системъ нравственной вселенной, то своей общественной поверхностью мы принадлежимъ однако міру Запада. Эта связь, правда очень слабая, не соединяя насъ съ Европой такъ тѣсно, какъ воображаютъ, и не давая намъ чувствовать во всёхъ пунктахъ нашего существа великое движеніе, которое тамъ совершается, — эта связь ставитъ однако наши будущія судьбы въ зависимость отъ судебъ европейскаго общества. Такимъ образомъ, чѣмъ больше мы будемъ стараться амальгамироваться съ ней, тѣмъ будетъ для насъ лучше. Мы жили до сихъ поръ совершенно одни; то, что мы узнали отъ другихъ, осталось на нашей виѣшности какъ простое украшеніе, не проникая во внутрь нашихъ душъ; въ настоящее время силы *верховнаго общества* (*société souveraine*) такъ увеличились, его дѣйствіе на остальную долю человѣческаго рода такъ расширилось, что мы скоро будемъ унесены во всеобщемъ вихрѣ, съ душой и тѣломъ. Вѣрно то, что мы конечно не можемъ долго оставаться въ нашей пустынѣ. Поэтому будемъ дѣлать все, что можемъ, для того, чтобы приготовить путь новому поколѣнію. Мы не можемъ оставить ему того, чего у насъ не было: вѣрованій, воспитаннаго временемъ разума, рѣзко очерченной личности, мнѣній, развитыхъ въ теченіе долгой умственной жизни, одушевленной, дѣятельной, обильной результатами, — оставимъ имъ, по крайней мѣрѣ, нѣсколько идей, которыя, хотя и не были найдены нами самими, но будучи передаваемы такимъ образомъ отъ поколѣнія къ поколѣнію, будутъ все-таки имѣть въ себѣ долю традиціоннаго элемента, и

по этому самому будутъ имѣть нѣсколько больше силы, больше плодотворности, чѣмъ наши собственные мысли. Этимъ способомъ мы заслужимъ у потомства, мы не пройдемъ на землѣ бесполезно».

Для опредѣленія мнѣній Чаадаева за время, предшествовавшее появленію его статьи, могло бы служить и упомянутое письмо къ гр. Бенкендорфу по поводу запрещенія журнала «Европеецъ». Писанное отъ имени издателя этого журнала, Кирѣвскаго, оно, безъ сомнѣнія, заключало въ себѣ и мысли самого Чаадаева. Это было въ 1832 году, когда Кирѣвскій, вернувшись изъ-за границы, былъ еще поклонникомъ западныхъ идей и когда между имъ и Чаадаевымъ могло быть въ этомъ смыслѣ много общаго. То, что говорится въ этомъ письмѣ о либерализмѣ двадцатыхъ годовъ, ошибочность котораго была понята, о различіи условій и народнаго характера, не допускающемъ у насъ прямого введенія западныхъ учреждений, о желаніяхъ въ настоящемъ, состоявшихъ въ усиленіи образованія, въ разрѣшеніи крестьянскаго вопроса, въ развитіи религіознаго элемента — все это могло быть, и вѣроятно было, мнѣніе Кирѣвскаго и мнѣніе самого Чаадаева.

Перейдемъ теперь къ послѣднему значительному его произведенію, къ «Апологіи Сумасшедшаго», чтобы закончить обзоръ главнѣйшихъ сочиненій Чаадаева. Написанная по поводу извѣстнаго событія, «Апологія» отдѣлена отъ писемъ промежутокъ въ нѣсколько лѣтъ, и представляетъ съ письмами нѣкоторую разницу, которую надо объяснить, кажется, двумя обстоятельствами. Во-первыхъ, едва ли сомнительно, что «Апологія» написана подъ давленіемъ преслѣдованія, которое обрушилось на Чаадаева и повидимому оставило въ немъ навсегда впечатлѣніе. Съ другой стороны, произошло съ теченіемъ времени естественное развитіе мнѣній: прошло нѣсколько лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ были написаны «Письма»; прежнее горькое чувство улеглось, смѣнилось отчасти новыми мыслями, и авторъ, возвращаясь къ темѣ своихъ «Писемъ», послѣ возбужденной ими бури, могъ хладнокровнѣе отнестись къ предмету, о которомъ прежде говорилъ въ иномъ настроеніи. Но при всемъ томъ, «Апологія» есть въ своемъ родѣ произведеніе также весьма замѣчательное. Авторъ дѣластъ въ немъ извѣстныя уступки, соглашается признать извѣстныя преувеличенія въ своихъ прежнихъ словахъ, говорить теперь безъ прежняго абсолютнаго и уничтожающаго скептицизма, — по всей вѣроятности искренно, вслѣдствіе того, что въ его мнѣніяхъ дѣйствительно черезъ нѣсколько лѣтъ явилось больше спокойнаго размышленія; въ двухъ-трехъ мѣстахъ

мы найдемъ также вещи, написанныя какъ будто намѣренно въ извѣстномъ условномъ предохранительномъ смыслѣ: — но въ то же время Чаадаевъ не уступаетъ ни на минуту той публикѣ, которая напала на него съ своимъ дикимъ ожесточеніемъ; напротивъ, «Апологія» есть новая инвектива противъ этой публики, высказанная съ полнымъ убѣжденіемъ и полнымъ чувствомъ своего достоинства. Вообще, «Апологія» остается любопытнымъ, талантливымъ произведеніемъ, которое, по многимъ чертамъ своего содержанія — надо сказать къ сожалѣнію — не устарѣло и до сихъ поръ.

Указавъ, въ началѣ статьи, слова апостола Павла о любви, повелѣвающей вѣрить и терпѣть, авторъ замѣчаетъ, что катастрофа, такъ странно исказившая его умственное существованіе, была въ сущности результатомъ зловѣщихъ криковъ одной части общества при появленіи страницъ, правда ѣдкихъ, но заслуживавшихъ не такого приѣма.

«Правительство, — говоритъ Чаадаевъ, — въ сущности только исполнило свой долгъ; можно даже сказать, что строгость, употребленная противъ насъ въ эту минуту, не имѣетъ ничего чрезвычайнаго, потому что, конечно, она далеко не превзошла ожиданій многочисленной публики. Чтѣ же, въ самомъ дѣлѣ, надо было сдѣлать правительству, самому благонамѣренному, какъ не сообразоваться съ тѣмъ, чтѣ оно искренно считаетъ серьезнымъ желаніемъ страны? Что же касается до криковъ публики, это совсѣмъ иное дѣло. Есть разные способы любить свое отечество: на примѣръ, самоѣдь, который любить родные снѣга, дѣлающіе его подслѣповатымъ, дымную юрту, гдѣ онъ проводитъ скорчившись половину своей жизни, протухлый жиръ своихъ оленей, окружающій его вонючей атмосферой, конечно онъ любитъ свою родину не такъ, какъ англійскій гражданинъ, гордый учрежденіями и высокой цивилизаціей своего славнаго острова; и безъ сомнѣнія было бы очень жалко, еслибы намъ приходилось еще любить нашу родину на манеръ самоѣдовъ. Любовь къ отечеству есть вещь прекрасная, но еще прекраснѣе любовь къ истинѣ... Правда, что мы, русскіе, всегда бывали довольно беззаботны о томъ, чтѣ истинно и чтѣ ложно. Поэтому, не слѣдуетъ очень сердиться на общество, если оно было живо затронуто нѣскольکو ѣдкой апострофой, обращенной къ его слабостямъ. Поэтому, увѣряю васъ, я вовсе не досажую на эту милую публику, которая такъ долго меня баловала: я стараюсь отдать себѣ отчетъ въ моемъ странномъ положеніи хладнокровно, безъ всякаго раздраженія...»

«Я никогда не искалъ популярности и овацій толпы; я

всегда думалъ, что родъ человѣческій долженъ идти только вслѣдъ за своими естественными главами, помазанниками Бога; что онъ можетъ идти впередъ по пути своего истиннаго прогресса только подъ руководствомъ тѣхъ, кто тѣмъ или другимъ образомъ получилъ отъ самого неба миссію и силу вести его; что общее мнѣніе (*la raison générale*) вовсе не есть абсолютно справедливое мнѣніе (*la raison absolue*), какъ это думалъ одинъ великій писатель нашего времени; что инстинкты большинства бываютъ безконечно болѣе страстны, болѣе узки, болѣе эгоистичны, чѣмъ инстинкты отдѣльнаго человѣка; что такъ-называемый здравый смыслъ народа вовсе не есть здравый смыслъ; что истина выходитъ не изъ шумной толпы; что ее нельзя представить цифрою; наконецъ, что умъ человѣческій во всей своей силѣ, во всемъ своемъ блескѣ всегда обнаруживался только въ одинокомъ мыслителѣ». Авторъ не хочетъ разбирать, какъ случилось, что онъ очутился вдругъ передъ гнѣвной публикой, и переходить къ объясненію своей точки зрѣнія, ставя центральнымъ предметомъ спорнаго вопроса европейскую цивилизацію и Петровскую реформу. Слѣдующее мѣсто о Петрѣ Великомъ можно считать первымъ категорическимъ и яснымъ заявленіемъ того образа мыслей и того взгляда на реформу, которые становились тогда основаніемъ мнѣній цѣлой школы и спорнымъ пунктомъ, рѣзко раздѣлившимъ эту школу отъ славянофильской.

«Уже триста лѣтъ Россія стремится слиться съ западомъ Европы, извлекаетъ оттуда всѣ самыя серьезныя свои идеи, всѣ благотворнѣйшія знанія, всѣ живѣйшія наслажденія. Въ теченіе болѣе чѣмъ столѣтія она дѣлаетъ лучше. Величайшій изъ нашихъ царей, тотъ, который, говорятъ, началъ для насъ новую эру, которому, говорятъ, мы обязаны своимъ величіемъ, своей славой, и всѣми благами, какими теперь владѣемъ, отрекся, полтора-ста лѣтъ тому назадъ, отъ древней Россіи передъ лицомъ цѣлаго міра. Онъ смелъ своимъ могущественнымъ дуновеніемъ всѣ наши учрежденія; онъ вырылъ пропасть между нашимъ прошедшимъ и нашимъ настоящимъ, и бросилъ въ нее кучей всѣ наши преданія. Онъ отправился въ страны Запада самымъ малымъ, и возвратился къ намъ самымъ великимъ; онъ преклонился передъ Западомъ и всталъ нашимъ повелителемъ и законодателемъ. Онъ ввелъ въ нашъ языкъ слова Запада; свою новую столицу онъ назвалъ именемъ Запада; онъ бросилъ свой наслѣдственный титулъ, и принялъ титулъ Запада; наконецъ, онъ почти отказался отъ собственнаго имени, и много разъ подписывалъ свои верховныя рѣшенія именемъ Запада. Съ этого времени, постоянно обращая глаза на страны Запада, мы, такъ сказать, только вды-

хали въ себя воздухъ, приходившій оттуда, и питались имъ. Должно сказать, что наши государи, которые почти всегда вели насъ за руку, которые почти всегда вели страну на буксирѣ, безъ всякаго участія съ ея стороны, государи сами налагали на насъ нравы, языкъ, одежду Запада. По книгамъ Запада мы выучились называть имена вещей. Нашей собственной исторіи научилъ насъ человѣкъ изъ странъ Запада; мы переводили литературу Запада, мы учили ее наизусть, мы украшались его обрывками; и наконецъ мы были счастливы, что походили на Западъ, мы хвалились, когда онъ хотѣлъ считать насъ между своими.

«Надо согласиться, что оно было прекрасно, это созданіе Петра Великаго,... глубоко было сказанное имъ слово: видите ли тамъ эту образованность, плодъ столькихъ трудовъ, видите ли эти науки, эти искусства, которыя стоили столько пота столькимъ поколѣніямъ! все это — ваше, съ условіемъ, что вы освободитесь отъ своихъ суевѣрій, что вы отвергнете свои предразсудки, что вы не будете ревнивы къ своему варварскому прошлому, что вы не станете хвастаться вѣками своего невѣжества, что ваше честолюбіе будетъ состоять въ томъ, чтобы усвоить себѣ труды всѣхъ народовъ, богатства, пріобрѣтенныя умомъ человѣческимъ на всѣхъ широтахъ земного шара. И этотъ великій человѣкъ трудился не для одной своей націи... Зрѣлище, которое онъ представилъ вселенной, когда, покинувъ царское величіе и свою страну, онъ скрылся въ послѣднихъ рядахъ цивилизованныхъ народовъ, — развѣ это зрѣлище не было новымъ усиліемъ человѣческаго генія выйти изъ тѣсной ограды родины, чтобы утвердиться въ великой сферѣ человѣчества? Таковъ былъ урокъ, который мы должны были воспринять: мы дѣйствительно имъ воспользовались, и до сихъ поръ мы шли тѣмъ путемъ, который указалъ намъ великій императоръ. Наше громадное развитіе есть только исполненіе этой великолѣпной программы. Никогда народъ не былъ менѣе пристрастенъ къ самому себѣ, чѣмъ народъ русскій, какъ создалъ его Петръ Великій, и никогда другой народъ не получалъ болѣе славныхъ успѣховъ на пути совершенствованія. Высокій разумъ этого необыкновеннаго человѣка въ совершенствѣ угадалъ, какой долженъ былъ быть нашъ исходный пунктъ на дорогѣ цивилизації и умственнаго движенія міра. Онъ увидѣлъ, что намъ почти совсѣмъ недостаетъ историческихъ данныхъ, и что намъ нельзя утвердить нашего будущаго на этомъ безсильномъ основаніи; онъ очень хорошо понималъ, что намъ, поставленнымъ лицомъ къ лицу съ древней цивилизаціей Европы, послѣднимъ выраже-

ніємъ всѣхъ прежнихъ цивилизацій, не зачѣмъ задыхаться въ нашей исторіи, не зачѣмъ влачиться, подобно народамъ Запада, черезъ хаосъ національныхъ предразсудковъ, узкими тропинками мѣстныхъ идей, по ржавой колѣѣ туземнаго преданія; что намъ надо было свободнымъ порывомъ нашихъ внутреннихъ силъ, энергическимъ усиліемъ національнаго сознанія взять сразу тѣ судьбы, которыя намъ были предназначены. Поэтому онъ освободилъ насъ отъ всѣхъ этихъ антецедентовъ, которые загромаждаютъ историческія общества и затрудняютъ ихъ путь; онъ открылъ нашъ умъ для всѣхъ великихъ и прекрасныхъ идей, какія существуютъ между людьми; онъ передалъ намъ Западъ весь, какимъ сдѣлали его вѣка, и отдалъ намъ всю его исторію за исторію, все его будущее за будущее».

Чаадаевъ утверждаетъ дальше, что всего этого Петръ не могъ бы сдѣлать, еслибы имѣлъ дѣло съ націей, имѣющей богатую исторію, рѣзко очертившійся характеръ, глубоко вкоренившіяся учрежденія; съ другой стороны, такая нація не потерпѣла бы, чтобы у нея отнимали ея прошедшее. Но этого не было: Петръ имѣлъ передъ собой бѣлую бумагу, а если нація была такъ послушна его волѣ, значить, въ ея прошедшемъ не было ничего, что могло бы узаконить сопротивление...

«Наши фанатическіе славяне, — продолжаетъ онъ, — въ своихъ различныхъ поискахъ, быть можетъ, будутъ иногда откапывать предметы любопытства для нашихъ музеевъ, для нашихъ библіотекъ; но, кажется, позволительно сомнѣваться, чтобы они успѣли когда-нибудь извлечь изъ нашей исторической почвы чѣмъ можно было бы наполнить пустоту нашихъ душъ, чѣмъ конденсировать неопредѣленность (*vague*) нашихъ умовъ. Взгляните на средневѣковую Европу: нѣтъ событія, которое не было бы тамъ въ нѣкоторомъ смыслѣ абсолютной необходимостью, которое не оставило бы глубокихъ слѣдовъ въ сердцѣ человѣчества. И почему это? Потому, что за каждымъ событіемъ вы находите идею, потому что средневѣковая исторія есть исторія мысли новѣйшихъ временъ, которая стремится воплотиться въ искусствѣ, въ наукѣ, въ жизни человѣка, въ обществѣ.... Я знаю, что не всѣ исторіи имѣютъ строгій, логическій ходъ исторіи этой удивительной эпохи;... но вѣрно то, что таковъ истинный характеръ историческаго развитія.... Съ жизнью народовъ бываетъ почти также, какъ съ жизнью индивидуумовъ. Всѣ люди жили, но только человѣкъ гениальный или человѣкъ, поставленный въ извѣстныя особыя условія, имѣютъ настоящую исторію. Положимъ, напримѣръ, что народъ, по стеченію обстоятельствъ, не имъ созданныхъ, по дѣйствию географическаго положенія, не имъ

выбраннаго, распространяется на громадномъ протяженіи страны, не имѣя сознанія о томъ, что онъ дѣлаетъ, и что въ одинъ прекрасный день онъ окажется народомъ могущественнымъ, — это будетъ конечно удивительный феноменъ, и можно будетъ удивляться ему сколько угодно: но что же, по вашему, должна сказать о немъ исторія? Въ сущности, это фактъ чисто матеріальный, фактъ такъ сказать географическій, въ огромныхъ размѣрахъ безъ сомнѣнія, но и только. Исторія возьметъ его, занесетъ его въ свои лѣтописи, потомъ закроется за нимъ, и кончено. Истинная исторія этого народа начнется только съ того дня, когда онъ будетъ охваченъ той идеей, которая ему довѣрена, которую онъ призванъ осуществить, и когда онъ начнетъ выполнять ее съ тѣмъ постояннымъ, хотя скрытымъ инстинктомъ, который ведетъ народы къ ихъ предназначенію. Вотъ моментъ, который я призываю въ пользу моего отечества всѣми силами моего сердца, вотъ задача, которую мнѣ хотѣлось бы, чтобы вы взяли на себя, мои любезные друзья и сограждане, которые живете въ вѣѣ, высоко поучительномъ, и которые теперь такъ хорошо показали мнѣ, какъ вы живо воспламенены святой любовью къ отечеству».

Послѣ этой проницательской фразы, Чаадаевъ возвращается къ предмету съ другой стороны, — и говоритъ о той школѣ, которая утверждала, что намъ вовсе не зачѣмъ учиться у Запада, что мы принадлежимъ Востоку и что наше будущее на Востокѣ ¹⁾.

Начавъ съ того, что міръ издавна раздѣленъ между Востокомъ и Западомъ, Чаадаевъ характеризуетъ цивилизаціи восточную и западную ихъ извѣстными отличительными чертами.

«Но вотъ является новая школа. Не хотятъ больше Запада, хотятъ разрушить дѣло Петра Великаго, хотятъ снова въ пустыню. Забывая то, что Западъ сдѣлалъ для насъ, и неблагодарные къ великому человѣку, который насъ цивилизовалъ, къ Европѣ, которая насъ научила, эти люди отвергаютъ и Европу и великаго человѣка, и въ своемъ поспѣшномъ жарѣ, этотъ новѣйшій патріотизмъ провозглашаетъ насъ любимыми дѣтьми Востока. Какая намъ была надобность, говорятъ, искать просвѣщенія у народовъ Запада? Развѣ среди насъ не было всѣхъ зародышей общественного порядка, безконечно лучшаго, чѣмъ порядокъ

¹⁾ Обратимъ пока вниманіе читателя, что въ 1829, и даже въ 1837 году, когда вѣроятно была написана «Апология», Чаадаевъ не могъ имѣть въ виду собственно славянофильскую школу, какъ она понималась въ сороковыхъ годахъ и которая тогда только-что образовывалась; многія черты относятся и къ ней, но главнымъ образомъ къ школѣ официальной народности. Ср. замѣчанія г. Свербеева, въ «Р. Архивѣ».

Европы? Отчего не предоставили дѣла времени? Оставленные намъ самимъ, нашему ясному уму, плодотворному принципу, скрытому въ нѣдрахъ нашей могущественной природы, и особенно нашей священной религіи, мы скоро превзошли бы всѣ эти народы, преданные заблужденію и лжи. И въ чемъ намъ было завидовать Западу? Его религіознымъ войнамъ, его папѣ, его рыцарству, его инквизиціи? Прекрасныя вещи въ самомъ дѣлѣ! И развѣ Западъ есть отечество науки и всѣхъ глубокихъ вещей? Извѣстно, что это Востокъ. Возвратимся же на этотъ востокъ, къ которому мы вездѣ касаемся, откуда мы недавно извлекали наши вѣрованія, наши законы, наши добродѣтели, все, что сдѣлало насъ могущественнѣйшимъ народомъ на землѣ. Древній Востокъ падаетъ: развѣ не мы его естественные преемники? Отселѣ между нами будутъ сохраняться эти удивительныя преданія, между нами осуществляются всѣ тѣ великія и таинственныя истины, храненіе которыхъ было поручено Востоку отъ начала вещей. — Вы понимаете теперь, — продолжаетъ Чаадаевъ, — откуда пришла буря, которая недавно разразилась надо мной, и вы видите, что среди насъ, въ національной мысли совершается настоящая революція, страстная реакція противъ просвѣщенія, противъ идей Запада, — противъ того просвѣщенія, противъ тѣхъ идей, которыя сдѣлали насъ тѣмъ, что мы есть, которыхъ плодъ есть сама та реакція, то движеніе, которыя теперь толкаютъ насъ противъ нихъ. Но на этотъ разъ толчокъ не идетъ сверху. Напротивъ, никогда, говорятъ, въ высшихъ областяхъ общества память нашего царя-реформатора не уважалась больше чѣмъ теперь. Итакъ, инициатива вполне принадлежитъ странѣ. Куда поведетъ насъ этотъ первый фактъ эманципированнаго разума націи? Богъ знаетъ! Но когда любишь серьезно свое отечество, нельзя не быть тягостно поражену этимъ отступничествомъ нашихъ наиболѣе образованныхъ (*avancés*) умовъ отъ вещей, которыя сдѣлали нашу славу, наше величіе; и мнѣ кажется, хорошій гражданинъ долженъ стараться, сколько можетъ, объяснить это странное явленіе».

Чаадаевъ объясняетъ затѣмъ, что хотя мы и находимся на востокѣ Европы, но тѣмъ не менѣе никогда не принадлежали Востоку, что наша исторія не имѣетъ ничего общаго съ Востокомъ, что характеръ нашей жизни иной, — что мы просто страна сѣвера, и по идеямъ, и по климату очень далекая отъ долины Кашемира и береговъ Ганга. Нѣкоторыя наши провинціи сосѣдять съ Востокомъ, но нашъ центръ вовсе не тамъ.

«Истина въ томъ, что мы еще никогда не разсматривали своей исторіи съ философской точки зрѣнія. Ни одно изъ вели-

кихъ событій нашего національнаго существованія не было точно характеризовано, ни одна изъ нашихъ великихъ эпохъ не была откровенно оцѣнена; отсюда всѣ эти странныя фантазіи, всѣ эти утопіи прошедшаго, всѣ эти мечты невозможнаго будущаго, которыя мучатъ теперь наши патріотическіе умы. Нѣмецкіе ученые открыли нашихъ лѣтописцевъ, пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ; потомъ Карамзинъ разсказалъ намъ звучнымъ языкомъ дѣянія и подвиги нашихъ государей; въ наше время, посредственные писатели, неловкіе антикваріи, нѣкоторые неудавшіеся поэты, не владѣя ни наукой нѣмцевъ, ни перомъ знаменитаго историка, усиливаются нарисовать или возстановить времена и нравы, о которыхъ никто между нами не сохранилъ ни воспоминанія, ни любви: такова сущность нашихъ трудовъ по національной исторіи. Надо согласиться, что изъ всего этого мудрено извлечь серьезное предчувствіе судебъ, насъ ожидающихъ». Но намъ теперь нужно именно строгое и искреннее изслѣдованіе важнѣйшихъ историческихъ моментовъ народной жизни, гдѣ эта жизнь высказывалась во всей своей глубинѣ,—потому что здѣсь-то и заключается будущее. Если эти моменты рѣдки—признайте это, «не отталкивайте истины, не воображайте, что вы жили жизнью народовъ историческихъ, тогда какъ погребенные въ вашей неизмѣримой гробницѣ вы жили только жизнью ископаемыхъ». Но если вы встрѣтите моменты, когда нація дѣйствительно жила, когда билось ея сердце, если васъ обступала народная волна, — тогда размышляйте, изучайте, и вашъ трудъ не будетъ потерянъ: вы увидите, чѣмъ можетъ быть ваше отечество въ великіе дни, чего оно должно ожидать въ будущемъ. Такимъ моментомъ авторъ считаетъ моментъ, когда народъ, послѣ смутъ междоусобствія, самостоятельнымъ порывомъ своихъ силъ вновь основалъ порядокъ и возвелъ на престолъ новую династію.... «Видно изъ этого,—говоритъ Чаадаевъ,—что я далеко не требую, какъ утверждали, что слѣдуетъ уничтожить всѣ наши воспоминанія».

«Я сказалъ только и повторяю, что пора бросить ясный взглядъ на наше прошлое, и бросить не за тѣмъ, чтобы извлекать изъ него старыя сгнившія реликвіи, старыя идеи, которыя пожрало время, старыя вражды, которыя давно покинулъ здравый смыслъ нашихъ государей и народа,—но чтобы знать, что намъ думать о нашихъ антецедентахъ. Вотъ что я пытался сдѣлать въ трудѣ, который остался неконченнымъ, и къ которому должна была служить введеніемъ статья, такъ странно возбуждавшая національное тщеславіе. Конечно, была нетерпѣливость въ выраженіи, крайность въ мысли; но чувство, господствующее

во всемъ отрывкѣ, нисколько не враждебно отечеству: это — глубокое чувство нашихъ слабостей, выраженное съ болью, съ горестью, и только.

«Повѣрьте, я больше, чѣмъ кто-либо изъ васъ, люблю свое отечество, желаю ему славы, умѣю цѣнить высокія качества своего народа; но справедливо также, что патріотическое чувство, меня одушевляющее, создано не совсѣмъ по тому способу, какъ то, чьи крики разрушили мое спокойное существованіе... Я не умѣю любить свое отечество съ закрытыми глазами, съ преклоненной головой, съ запертыми устами. Я нахожу, что можно быть полезнымъ отечеству только подъ условіемъ ясно его видѣть; я думаю, что время слѣпыхъ амуровъ прошло, что теперь прежде всего мы обязаны отечеству истиной. Я люблю свое отечество такъ, какъ Петръ Великій научилъ меня любить его. Признаюсь, у меня нѣтъ этого блаженнаго (béat) патріотизма, этого лѣниваго патріотизма, который устроивается такъ, чтобы видѣть все въ лучшую сторону, который засыпаетъ за своими иллюзіями и которымъ, къ сожалѣнію, въ наше время страдаетъ много нашихъ хорошихъ умовъ. Я думаю, что если мы пришли послѣ другихъ, то для того, чтобы дѣлать лучше другихъ, чтобы не впадать въ ихъ ошибки, въ ихъ заблужденія, въ ихъ суетвѣрія... Я считаю, что наше положеніе счастливое, если мы сумѣемъ имъ воспользоваться... Этого мало: я имѣю глубокое убѣжденіе, что мы призваны рѣшить большую часть задачъ соціальнаго порядка, завершить большую часть идей, возникшихъ въ старыхъ обществахъ...»

Чаадаевъ возвращается опять къ мысли о выгодности нашего положенія, позволяющаго намъ пользоваться готовымъ историческимъ опытомъ другихъ народовъ, пользоваться, не будучи связанными ни традиціей, ни общественною порчей. «У насъ нѣтъ этихъ страстныхъ интересовъ, этихъ готовыхъ мнѣній, этихъ утвердившихся предразсудковъ; мы приходимъ съ дѣвственными умами навстрѣчу къ каждой новой идеѣ. Въ нашихъ учрежденіяхъ, — свободныхъ созданіяхъ (oeuvres spontanées) нашихъ государей или слабыхъ слѣдахъ порядка вещей, воздѣланнаго ихъ всемогущимъ плугомъ; въ нашихъ нравахъ — странной смѣси неловкаго подражанія и обрывковъ давно изжитаго соціальнаго быта; въ нашихъ мнѣніяхъ, которыя все еще тщетно стараются установиться о самыхъ мелкихъ вещахъ, — ничто не противодѣйствуетъ непосредственному осуществленію всѣхъ благъ, какія Провидѣніе предназначаетъ человѣчеству... Исторія (т.-е. прошедшее) не принадлежитъ намъ больше, это правда, но наука намъ принадлежитъ; мы не можемъ начинать сначала

весь трудъ человѣческаго ума, но мы можемъ участвовать въ его дальнѣйшихъ трудахъ; прошедшее уже не въ нашей власти, но будущее наше. Нельзя сомнѣваться въ томъ, что большая часть міра угнетена своими преданіями, своими воспоминаніями: не будемъ завидовать ограниченному кругу, въ которомъ онъ хлопочетъ; несомнѣнно, что въ сердцѣ большей части націй есть глубокое чувство совершившейся жизни, которое господствуетъ надъ жизнью настоящей, упрямое воспоминаніе о протекшихъ дняхъ, которое наполняетъ нынѣшніе дни. Оставимъ ихъ бороться съ ихъ неумолимымъ прошедшимъ».

Чаадаевъ опять указываетъ ту чрезвычайную выгоду, что для насъ, не связанныхъ исторіей, не существуетъ, какъ у западныхъ народовъ, неизмѣнной необходимости, что мы можемъ измѣрять каждый шагъ, который намъ предстоитъ, обдумывать каждую идею, которая касается нашего разума. «Намъ позволено,—говоритъ онъ,—надѣяться на благосостояніе еще болѣе обширное, чѣмъ то, о какомъ мечтаютъ самые пламенные служители прогресса; и чтобы достигнуть до этихъ окончательныхъ результатовъ, намъ нуженъ только одинъ верховный актъ той высшей воли, которая заключаетъ въ себѣ всѣ воли націи, которая выражаетъ всѣ ея стремленія, которая уже не разъ открывала ей новые пути, развѣтывала передъ ней новые горизонты, и низвела въ ея разумъ новое просвѣщеніе» ¹⁾).

«Что же,—спрашиваетъ затѣмъ Чаадаевъ,—развѣ я предлагаю своему отечеству дурное будущее? Находите вы, что я вызываю для него не славную судьбу?» Но Чаадаевъ соглашается наконецъ, что онъ преувеличилъ свои требованія и отъ прошедшаго:

«Да, было преувеличеніе въ этомъ ¹ своего рода обвиненіи (réquisitoire), направленномъ противъ великаго народа, вся вина котораго въ концѣ концовъ была только въ томъ, что онъ былъ заброшенъ къ послѣднимъ предѣламъ всѣхъ цивилизацій міра, далеко отъ странъ, гдѣ естественно должно было собраться просвѣщеніе, далеко отъ очаговъ, гдѣ оно блистало въ теченіе вѣковъ; было преувеличеніемъ не признать того, что мы пришли въ міръ на почву, не тронутую и не оплодотворенную предыдущими поколѣніями, гдѣ ничто не говорило намъ о протекшихъ вѣкахъ, гдѣ не было никакого слѣда новаго міра; было преувеличеніемъ не отдать ей доли этой церкви, столь смиренной, иногда столь героической, которая одна утѣшаетъ за пустоту

¹⁾ Невольно припоминается при этомъ тотъ скептикъ двадцатыхъ годовъ, который считалъ необходимымъ для Россіи второго Петра Великаго.

нашихъ лѣтописей, которой принадлежитъ честь каждаго подвига мужества, каждаго прекраснаго самоотверженія нашихъ отцовъ, каждой прекрасной страницы нашей исторіи; наконецъ, быть можетъ, было преувеличеніемъ на минуту опечалиться о судьбѣ націи, изъ нѣдръ которой родилась могущественная натура Петра Великаго, универсальный умъ Ломоносова и граціозный геній Пушкина.

«Но затѣмъ надо согласиться также, что фантазіи нашей публики удивительны.

«Вспомнимъ, что вскорѣ послѣ злополучной публикаціи, о которой идетъ рѣчь, на нашей сценѣ играна была новая пьеса ¹⁾. И надо сказать, что никогда нація не подвергалась такому бичеванію, никогда страна не была влачима по землѣ такимъ образомъ, никогда не бросали въ лицо публики такой грязью, и никогда, однако, не было болѣе полного успѣха. Неужели же серьезно думающій человѣкъ, глубоко размышлившій о своемъ отечествѣ, о своей исторіи, о характерѣ народа, будетъ осужденъ на молчаніе, потому, что ему нельзя будетъ устами комедіанта высказать патріотическое чувство, его гнетущее? Чтò же дѣлаетъ насъ такими внимательными къ циническому уроку комедіи, и такими подозрительными къ серьезному слову, идущему до сущности вещей? Надо сказать, это — потому, что у насъ есть теперь только патріотическіе инстинкты; что мы еще очень далеки отъ сознательнаго патріотизма старыхъ націй, созрѣвшихъ въ умственномъ трудѣ, просвѣщенныхъ знаніями, размышленіями науки; что мы любимъ наше отечество еще по способу тѣхъ юныхъ народовъ, которыхъ еще не мучила мысль, которые еще отыскиваютъ принадлежащую имъ идею, еще отыскиваютъ роль, какую они призваны исполнить на сценѣ міра; что наши умственные силы еще не упражнялись на вещахъ серьезныхъ; что, однимъ словомъ, трудъ ума до сего дня почти не существовалъ у насъ...

«Обдѣланные, отлитые, созданные нашими государями и нашимъ климатомъ, мы только въ силу покорности стали великимъ народомъ. Просмотрите съ начала до конца наши лѣтописи, вы найдете въ нихъ на каждой страницѣ глубокое дѣйствіе власти, постоянное вліяніе почвы, и почти никогда не найдете дѣйствія общественной воли. Во всякомъ случаѣ, справедливо также сказать, что, отрекаясь отъ своей силы и отдавая ее въ руки своихъ повелителей, уступая природѣ своей страны, русскій народъ обнаруживалъ высокую мудрость, что онъ при-

¹⁾ Говорится конечно о «Ревизорѣ».

знавалъ, такимъ образомъ, высшій законъ своихъ судебъ: странный результатъ двухъ разнородныхъ элементовъ, котораго онъ не могъ не признать, не вреда своему существу, не подавляя самаго принципа своего возможнаго прогресса»...

«Апология» осталась неконченной. Вслѣдъ за переданнымъ нами, поставлена II глава, въ первыхъ строкахъ которой Чаадаевъ приступаетъ, повидимому, къ подробному изложенію своей теоріи, и въ началѣ ея останавливается на одномъ господствующемъ фактѣ нашей исторіи, который обнаруживается въ ней постоянно, который составляетъ существенный элементъ нашего политическаго величія и настоящую причину нашего умственного безсилія. «Этотъ фактъ — есть фактъ географическій».

Возвратимся къ первой статьѣ Чаадаева.

Въ своемъ общемъ смыслѣ статья Чаадаева имѣла то любопытное историческое значеніе, что, явившись въ періодъ полнѣйшаго развитія системы официальной народности, она выставила самое крайнее противорѣчіе этой системѣ. Во все продолженіе этого періода не было никѣмъ другимъ высказано такого рѣзкаго, мрачнаго, беспощаднаго приговора надъ русской дѣйствительностью и ея прошедшимъ: здѣсь собралось столько горькаго чувства, столько неотразимаго сознанія въ недостаткахъ русской жизни, сколько не было ни у кого еще изъ дѣятелей нашей умственной жизни,—и сколько авторитетъ, привыкшій къ панегирику, вѣроятно даже не считалъ возможнымъ.

О силѣ этого протеста можно судить по послѣдствіямъ, которые онъ повлекъ за собой. Мы готовы признать вмѣстѣ съ Чаадаевымъ, что правительство въ своей мѣрѣ послѣдовало только общему голосу, было даже умѣреннѣе его требованій и не удовлетворило его ожиданій. Можно повѣрить, что меньше оскорбилось правительство, слишкомъ узѣренное въ истинѣ своихъ началъ, чѣмъ та масса, которая жила непробуднымъ убѣжденіемъ, что міръ ея — наилучшій изъ всѣхъ возможныхъ міровъ. Для такихъ людей всякое сомнѣніе есть святотатство, и таковымъ именно была сочтена статья Чаадаева ¹⁾: она самымъ рѣшительнымъ образомъ разрушала національное самоуваженіе, и для тѣхъ, кто по своему умственному развитію способенъ былъ разсуждать, она была еще непріятнѣе и досаднѣе тѣмъ, что въ ея обвиненіяхъ чувствовалась правда.

¹⁾ См. характеристическую переписку объ ней въ Р. Старинѣ.

Переходя къ содержанію статьи, мы должны сдѣлать оговорку. При чтеніи статьи Чаадаева, намъ теперь съ перваго взгляда видны слабыя стороны его теоріи и натынутость нѣкоторыхъ ея примѣненій; историческіе вопросы, здѣсь разбираемые, довольно уже знакомы теперь въ нашей литературѣ, и писателю не такъ легко достанется нѣсколько фантастическій или преувеличенный выводъ. Въ то время эти вопросы были новы, и выводы тѣмъ больше производили впечатлѣнія.

Выше мы говорили отчасти о томъ, откуда шелъ этотъ скептицизмъ Чаадаева. Существенный и ближайшій его источникъ былъ тотъ же, изъ котораго исходило движеніе двадцатыхъ годовъ: глубокое впечатлѣніе европейской цивилизаціи и гражданственности, и сознаніе того, какъ неизмѣримо отстала отъ нихъ русская дѣйствительность. Чаадаевъ былъ свидѣтелемъ порывовъ тайнаго общества, и былъ также свидѣтелемъ ихъ полной безуспѣшности и вмѣстѣ неумѣнья. Католическое доктринерство, вывезенное имъ изъ-за границы или тамъ усовершенствованное, придало его теоретическимъ требованіямъ ту нетерпимую исключительность, которая должна была еще больше усилить въ немъ недовѣріе къ русскому содержанію. Наконецъ, вернувшись въ Россію, онъ долженъ былъ подвергнуться новымъ впечатлѣніямъ, которыя окончательно привели его ко взглядамъ «Письма». Онъ не нашелъ своихъ лучшихъ друзей; время перемѣнилось такъ, что сначала ему не съ кѣмъ было подѣлиться мыслью; характеръ общества измѣнился настолько, что умственный интересъ не находилъ въ немъ мѣста; наконецъ одиночество и хандра собрали въ воображеніи Чаадаева всѣ мрачныя стороны русской жизни, и они съ неслыханной до тѣхъ поръ горечью высказались въ «Письмѣ». Чаадаевъ вѣроятно справедливо въ своей «Апологіи» указывалъ на болѣзненное настроеніе, въ которомъ была писана его статья: его мысль и его чувство были до болѣзненности раздражены.

Скептицизмъ Чаадаева завершилъ собою все, что высказывалось отрицательнаго въ русскомъ обществѣ и литературѣ. Люди тайнаго общества отвергали настоящее всѣми силами; Пушкинъ въ молодости сталъ какъ будто сатирическимъ органомъ тогдашнихъ либераловъ и изображалъ разочарованіе Онѣгина; Грибоѣдовъ написалъ филиппики своего Чацкаго; неизвѣстный авторъ письма 1824 г., о которомъ намъ случалось говорить, уже высказывалъ объ умственномъ состояніи русскаго общества мысли, которыя очень родственны съ мыслями чаадаевского «Письма». Если мы соберемъ всѣ эти симптомы сомнѣнія, которые высказывались у наиболѣе мыслящихъ лю-

дей того времени — мы найдемъ, что скептицизмъ Чаадаева имѣетъ свою родословную. Чаадаевъ только возвелъ эти сомнѣнія въ систему, распространилъ ихъ на прошедшее (либералы уже не вѣрили въ историческія картины Карамзина), и наконецъ далъ своей системѣ доктринерное основаніе...

Историки нашей литературы любятъ указывать въ нашемъ національномъ характерѣ ту готовность къ самообличенію, яркія доказательства которой они видѣли въ непрерывающемся рядѣ сатиры, со временъ Кантемира. Надобно сказать, однако, что когда Чаадаевъ поставилъ эту готовность въ серьезное испытаніе, она оказалась не такъ велика¹⁾. Оказывалось, что общество, которое дѣлало уже имена Кантемира, фонъ-Визина, Державина, Крылова, наконецъ Грибоѣдова, Пушкина и пр. предметами своей гордости, не могло вынести *этого* обличенія. Чаадаевъ въ «Апологіи» самъ указываетъ странное явленіе, что вслѣдъ за проклятіями его «Письму», эта самая публика выслушивала и превозносила «Ревизора», гдѣ русская жизнь вовсе не была польщена. Причина понятна: искусство имѣетъ свои привилегіи — и вмѣстѣ съ тѣмъ, наша художественная литература, даже у самого Гоголя, никогда не открывала этой отрицательной стороны жизни въ такой наготѣ, въ такой безусловной ясности. Въ самомъ Гоголѣ, который былъ вершиной сатирической литературы, глубокую безотрадность теоретическаго смысла его поэзіи можно было понять только пристально вдумываясь въ нее: масса видѣла только одну отдѣльную картину и слишкомъ легко теряла общій смыслъ за шуткой, которая напоминала ей смѣшные водевили. Гоголь въ «Разъѣздѣ» превосходно изобразилъ впечатлѣнія отъ комедіи въ большинствѣ публики, и въ концѣ концовъ истинный смыслъ произведенія пришлось объяснять самому автору. «Письмо» Чаадаева не представляло ни малѣйшаго смягчающаго элемента: оно дѣйствовало всей желчью и силой своего содержанія. Всѣ несообразности и бѣдность русской жизни, какія отдѣльными чертами уже давно бросались въ глаза людямъ, ставившимъ для своего общества идеальныя цѣли, — всѣ эти тяжелыя мысли, накопившіяся многими рядами разочарованій, были собраны здѣсь въ одномъ фокусѣ.

«Письмо» Чаадаева, также какъ и его «Апологія» (вѣроятно извѣстная въ свое время только дружескому кругу) поразительны до сихъ поръ серьезностью своего тона: каковы бы ни были

¹⁾ Передъ тѣмъ, «Горе отъ ума» также казалось долго невозможнымъ въ нашей печати. Много другихъ цензурныхъ вопросовъ того времени такимъ же образомъ возводились на степень вопросовъ государственной важности.

ихъ ошибки, для насъ уже видныя, эти произведенія рѣзко выдѣляются своимъ тономъ изъ массы литературы. Это — уже не та условная литература, которая съ ребяческой важною занималась отведенными ей предметами и если обращалась къ предметамъ дѣйствительно серьезнымъ, то только ставя ихъ въ приличное отдаленіе отъ русской современной жизни; это — совсѣмъ иной уровень, иная складка мысли, — тотъ уровень, въ которомъ (повторяемъ: даже предполагая ошибки въ содержаніи) чувствуется прочное созрѣваніе общественной мысли.

Мы не будемъ говорить о томъ, насколько былъ правъ Чаадаевъ въ своемъ мрачномъ изображеніи нашего національнаго характера и нашей дѣйствительности, — и предоставимъ судить объ этомъ читателю. Въ «Апологіи» самъ Чаадаевъ признаетъ, что въ «Письмѣ» были преувеличенія и крайности; но, быть можетъ, и смягченіе этихъ крайностей мало измѣнило бы неутѣшительную сущность его мнѣній.

Обратимся къ «Письму», какъ оно представлялось въ тогдашнихъ условіяхъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что масса общества, вооружившаяся противъ Чаадаева, обнаружила большое малодушіе и умственную несостоятельность. Біографъ Чаадаева рассказываетъ, что около мѣсяца среди цѣлой Москвы почти не было дома, гдѣ бы не говорили про чаадаевскую статью, что люди всѣхъ слоевъ и категорій общества, — которыхъ очень характеристично пересчитываетъ біографъ, — соединились въ одномъ общемъ воплѣ проклятія и презрѣнія человѣку, дерзнувшему оскорбить Россію; что студенты московскаго университета изъявляли, какъ говорятъ, желаніе съ оружіемъ въ рукахъ мстить за оскорбленіе націи. Только небольшое просвѣщенное меньшинство находило статью высоко замѣчательной и собиралось отвѣчать на нее научно-критическимъ опроверженіемъ.... Чаадаевъ справедливо говоритъ въ «Апологіи», что эту бурю произвела ребяческая непривычка къ мышленію, — и дѣйствительно, такой страхъ передъ противорѣчіемъ, такая нетерпимость къ иному мнѣнію не свидѣтельствуютъ объ умственной зрѣлости. Вся опасность (если кто видѣлъ опасность) выставленныхъ мнѣній легко могла быть устранена одной свободой ихъ обращенія и ихъ обсужденія со стороны другихъ. Къ сожалѣнію, обстоятельства сдѣлали это невозможнымъ, — и изъ этого являлся новый элементъ затаеннаго недовѣрія умовъ, умственная дѣятельность общества еще лишній разъ была запугана.

Свобода критики, безъ сомнѣнія, вскорѣ открыла бы слабую сторону Чаадаева. Какъ бы ни взглянула критика на его

изображенія настоящаго, она конечно *и тогда* увидѣла бы капитальныя ошибки въ построеніи его системы, въ самомъ основномъ представленіи Чаадаева о европейскомъ прогрессѣ. Въ самомъ дѣлѣ, даже съ точки зрѣнія безусловнаго признанія европейскаго прогресса, какой держится Чаадаевъ, его положенія далеко не выдерживали критики. Его историческая теорія могла быть вѣрна развѣ только до XV-го столѣтія, когда еще господствовало превозносимое имъ церковное единство западной Европы: протестантизмъ, организовавшійся съ XVI-го столѣтія и разорвавшій это единство, былъ результатомъ того же развитія, послѣдовательнымъ явленіемъ того же прогресса, и не только не былъ упадкомъ европейской умственной жизни, а напротивъ новымъ ея возбужденіемъ. Папское единство въ прежнемъ смыслѣ было не только поколеблено, но просто разрушено навсегда и безвозвратно: новое религіозное движеніе не было отдѣльной сектой, какихъ было много и въ которыхъ можно допускать извѣстную долю индивидуальнаго произвола, а напротивъ обширнымъ движеніемъ, которое увлекло не какія-нибудь отдѣльныя части общества, а цѣлыя націи. Протестантизмъ вводилъ новый умственный принципъ, отъ котораго уже не можетъ отказаться исторія религіознаго развитія, — принципъ частнаго сужденія, слѣдовательно освобожденія мысли, и этотъ принципъ составлялъ съ тѣхъ поръ столь необходимую черту европейскаго прогресса, что онъ проникаетъ всѣ направленія мысли и господствуетъ въ европейской наукѣ, какая бы ни была она — католическая или протестантская. Католической церкви уже скоро пришлось бороться съ научной мыслью, осуждать ученіе Коперника, осуждать Галилея, осуждать множество другихъ ученій, наполнять безконечный каталогъ Индекса, и однако въ концѣ концовъ, противъ воли, покоряться этой проклинаемой ею наукѣ. Открытія XV—XVI-го вѣка, вмѣстѣ съ Возрожденіемъ и Реформаціей начинающія новую исторію умственной жизни Европы, потомъ раціонализмъ и скептицизмъ XVII-го и XVIII-го столѣтій, совершались конечно вовсе не въ духѣ католицизма, — но тѣмъ не менѣе они были господствующими явленіями европейскаго прогресса, которыми и опредѣляется его современный характеръ, — не только не поддерживающій католическо-папскаго единства, но положительно его отвергающій.

Чаадаевъ чувствовалъ несовмѣстимость подобныхъ явленій съ его теоріей, и мы видѣли, какъ строго онъ съ своей точки зрѣнія осуждаетъ и Возрожденіе и протестантизмъ.

Однимъ словомъ, въ ряду направленій европейскаго мышленія теорія Чаадаева являлась тѣсною католическою доктриной,

которая была скорѣе теоріей реакціонной, чѣмъ теоріей прогресса. Въ нашей литературѣ европейское умственное движеніе было однако настолько знакомо, что уже и въ то время противъ Чаадаева могли быть приведены достаточно сильныя аргументы съ этой чисто исторической точки зрѣнія.

Подобнымъ образомъ, — въ какомъ бы видѣ ни представлялись тогда мнѣнія Чаадаева о русской современности, — противъ него и тогда могли быть приведены достаточно сильныя возраженія объ исторической сторонѣ дѣла: ему могли, между прочимъ, отвѣчать то самое, что самъ онъ высказалъ потомъ въ своей «Апологіи». А главное, ему могли возражать въ томъ, непрямо высказанномъ, но предполагаемомъ пунктѣ, будто бы для Россіи былъ необходимъ именно тотъ путь цивилизаціи, какой выражался католическимъ единствомъ. Ему и тогда могли бы сказать, что если самое это единство оказалось исторически несостоятельнымъ и было подорвано, то естественно слѣдовало, что русскому народу, для его европейскаго воспитанія, не было необходимости обращаться къ принципу, пережитому и покидаемому самой Европой, а напротивъ, надо было остерегаться его.

Нѣтъ сомнѣнія, что подобныя и даже гораздо болѣе энергичскія возраженія были бы выставлены противъ Чаадаева въ серьезной литературѣ, еслибы онъ не подвергся иному обличенію. Противники Чаадаева не захотѣли начинать литературнаго спора, когда прежде ихъ въ это дѣло вступилась власть¹⁾: не будь этого, статья Чаадаева вызвала бы конечно самую оживленную полемику — разумія не ругательства квасныхъ патріотовъ и прислужниковъ, что явилось бы, конечно, прежде всего и въ наибольшемъ количествѣ, но полемику со стороны лучшихъ дѣятелей литературы. Публика могла бы убѣдиться, что существованіе Россіи не подвергалось отъ статьи Чаадаева опасности, а для людей съ серьезными мнѣніями открылась бы борьба мнѣній, которая могла быть не лишена самыхъ оживляющихъ интересовъ, — потому что статья Чаадаева давала для этого богатый матеріалъ. Но полемика не состоялась...

Въ самомъ дѣлѣ, по словамъ біографа, «безусловно сочувствующихъ и совершенно согласныхъ (съ Чаадаевымъ) не было ни одного человѣка», и этому легко повѣрить: не говоря о большинствѣ, которое не понимало даже возможности подобныхъ вопросовъ, люди самые передовые, которые вполне могли

¹⁾ Біографъ Чаадаева видитъ особенное великодушіе въ томъ, что Хомяковъ отказался отъ подобнаго спора. Хомяковъ, конечно, только исполнилъ то, что требовалось литературнымъ приличіемъ.

понимать отрицаніе Чаадаева, никакъ не могли войти во всѣ его аргументы и выводы. Нечего говорить, что начинавшаяся славянофильская школа самымъ рѣшительнымъ образомъ протестовала бы противъ подобнаго нарушенія ея идеальныхъ святынь. Люди другого лагеря точно также не приняли бы историческихъ выводовъ Чаадаева. Герценъ, чрезвычайно высоко ставившій Чаадаева по его умственно возбуждающему значенію, вѣроятно отвергалъ его послѣдніе выводы въ то время также рѣшительно, какъ впоследствии.

Къ сожалѣнію, мы не знаемъ никакихъ отзывовъ людей этого рода о статьѣ Чаадаева, высказанныхъ въ то время. Осталось, сколько мы знаемъ, только письмо Пушкина отъ іюля 1830 года, и повидимому относящееся только къ послѣднимъ двумъ «Письмамъ» Чаадаева, — по крайней мѣрѣ о первомъ здѣсь ничѣмъ не намекается. Пушкинъ говоритъ объ историческихъ мнѣніяхъ Чаадаева, которые были для него новы, но не говоритъ ничего объ отрицательномъ изображеніи русской жизни: онъ могъ не знать перваго письма, гдѣ о томъ идетъ рѣчь, но могло быть, что этотъ взглядъ былъ уже знакомъ Пушкину и о немъ была рѣчь прежде, или что Пушкинъ, по прежней привычкѣ къ свободнымъ бесѣдамъ подобнаго рода, не находилъ въ этой сторонѣ «Письма» ничего особеннаго и непозволительнаго. Отзывъ Пушкина во всякомъ случаѣ любопытенъ, какъ отзывъ чловѣка того же поколѣнія и тѣхъ же преданій. Онъ замѣчаетъ отрывочность статьи и предполагаетъ, что изложеніе связано съ предшествовавшими разсужденіями, для читателя неизвѣстными.... «Потому, — продолжаетъ онъ, — первыя страницы нѣсколько темны, и я думаю, что вы сдѣлаете лучше, если замѣните ихъ простымъ примѣчаніемъ, или сдѣлаете изъ нихъ извлеченіе ¹⁾». Я готовъ былъ также замѣтить вамъ безпорядокъ и отсутствіе метода во всей статьѣ, но подумалъ, что это — письмо и что *этотъ родъ* извиняетъ и уполномочиваетъ и эту небрежность и это *laisser aller*. Все, что вы говорите о Моисей, Римѣ, Аристотелѣ, идеѣ истиннаго Бога, древнемъ искусствѣ, протестантизмѣ, все это изумительно по силѣ, *правдѣ* и краснорѣчію. Все, что ни является портретомъ и картиной — все широко, блестяще и грандіозно. Со *взглядомъ* вашимъ на исторію, *мнѣ совершенно новымъ*, я однакожъ не могу всегда согласиться; напримѣръ, я не понимаю ни вашего отвращенія къ Марку-Аврелію, ни вашего предпочтенія Давиду, псалмамъ котораго удивляюсь и я,

¹⁾ Трудно сказать, къ какому именно письму можетъ относиться это замѣчаніе: было ли въ рукахъ Пушкина одно только письмо, или весь рядъ ихъ.

если только они имъ написаны. Не вижу я также, отчего сильная и наивная живопись Гомера возмущаетъ васъ. Не говоря уже о поэтическомъ достоинствѣ, это и по вашему мнѣнію великій историческій памятникъ. Все, что представляетъ кроваваго Иліада, развѣ не находится также и въ Библии? Вы видите христіанское единство въ католицизмѣ, то-есть въ папѣ. Не въ идеѣ ли оно Христа, которая есть и въ протестантствѣ? Первая идея была монархическою; потомъ сдѣлалась республиканскою. Я дурно выражаюсь, но вы понимаете меня»....

Любопытно, что Пушкинъ видѣлъ въ письмахъ не только теоретическое содержаніе, но и художественное произведеніе — извиняетъ недостатокъ метода формой письма, восхищается картинами. Историческій взглядъ Чаадаева совершенно для него новъ, хотя пріемъ этотъ былъ знакомъ и тогда людямъ, изучавшимъ нѣмецкую философію; католической точки зрѣнія Пушкинъ также не замѣтилъ. При всемъ томъ, Пушкинъ вѣрно оцѣнилъ понятіе о христіанскомъ единствѣ, составляющее основу мнѣній Чаадаева, — и хотя, повидимому, не чувствовалъ связи между идеализмомъ Чаадаева, явно католическимъ, и его мнѣніями о Гомерѣ или Маркѣ-Авреліи, но не соглашался съ этими крайними приговорами.

Если Пушкинъ, не занимавшійся философско-историческими вопросами, тѣмъ не менѣе угадывалъ основную ошибку Чаадаева, безъ сомнѣнія ее совѣтъ ясно поняли бы дѣятели новаго поколѣнія, болѣе изучавшіе эти вопросы. Вообще, едва ли можетъ подлежать сомнѣнію, что точка зрѣнія Чаадаева нашла бы и тогда свой противовѣсъ: католическая теорія удержаться не могла.

Тѣмъ не менѣе, статья Чаадаева была событіемъ. Мы не будемъ говорить объ его значеніи и вліяніи тѣми, немного гиперболическими выраженіями, какія употребляетъ его біографъ, но вліяніе Чаадаева во всякомъ случаѣ несомнѣнно. Его статья, прочитанная всѣми, кого интересовалъ предметъ, должна была произвести на людей размышляющихъ сильное впечатлѣніе. Это была одна изъ тѣхъ немногихъ вещей нашей литературы, въ которыхъ говорила не литературная рутина, не мелочное переливанье изъ пустого въ порожнее; здѣсь говорили серьезная мысль и сильное чувство, направленные на коренной вопросъ національнаго существованія. Чаадаевъ ошибался въ своей теоріи, — но, за исключеніемъ этой ошибки, въ его статьѣ оставались тѣ нѣсколько поразительныхъ страницъ, которыя посвящены русской дѣйствительности. Въ этихъ страницахъ и заключалась вся сила его мысли. Точка зрѣнія Чаа-

даева была поразительна именно своимъ отрицаніемъ современности, дѣйствительнаго положенія вещей. Въ этомъ отношеніи она шла наперекоръ всѣмъ принятымъ мнѣніямъ, и особенно наперекоръ всѣмъ самообольщеніямъ. Можно сказать, что ея отрицаніе шло даже дальше всего того, что могло быть въ мнѣніяхъ самыхъ передовыхъ людей того времени: какъ ни относились они критически и недовѣрчиво къ нашей умственной жизни, къ нашему общественному положенію вещей, ни у кого изъ нихъ не было этого безпощаднаго указанія общественныхъ, даже національных слабостей, никто не указывалъ съ такой уничтожающей рѣзкостью на младенчество нашей цивилизаціи, на младенчество нашего сознанія. Нечего говорить о томъ, насколько Чаадаевъ непримиримо расходился съ начинавшейся тогда славянофильской школой. Но главнымъ образомъ точка зрѣнія Чаадаева была полной противоположностью тѣмъ взглядамъ, какіе принадлежали системѣ официальной народности: здѣсь статья Чаадаева была сочтена оскорбительнымъ для чести Россіи пасквилемъ, преступленіемъ, святотатствомъ. И не могли конечно иначе судить о ней люди, для которыхъ всѣ вопросы были уже рѣшены, которые утверждали, по-французски: *«le passé de la Russie a été admirable; son présent est plus que magnifique; quant à son avenir il est au delà de tout ce que l'imagination la plus hardie se peut figurer»*... Чаадаевъ въ «Апологіи» не совсѣмъ ошибался въ своихъ предположеніяхъ о томъ, изъ какихъ слоевъ общества направилось сильнѣйшее озлобленіе противъ него... Теперь извѣстно, что первое озлобленное обвиненіе поднялъ противъ него извѣстный Вигель.

Противорѣчіе заявлено было открыто, и отсюда такой взрывъ въ массѣ общества, который не имѣетъ другого подобнаго въ исторіи нашей литературы. И здѣсь историческое значеніе произведенія Чаадаева: заявленіемъ своихъ идей онъ открывалъ путь для критическаго сознанія.

Своимъ суровымъ обличеніемъ недостатковъ русской жизни, высотой указанныхъ имъ требованій европейской цивилизаціи Чаадаевъ, какъ немногіе другіе, способствовалъ уничтоженію того національнаго самообольщенія, которое издавна было одной изъ главнѣйшихъ помѣхъ нашему образованію. Выставляя высокій идеалъ общечеловѣческой цивилизаціи, Чаадаевъ побуждалъ общество возвысить и свои стремленія; почти отчаяваясь въ русской жизни, Чаадаевъ тѣмъ самымъ долженъ былъ вызывать реакцію живыхъ силъ, къ какому бы онъ лагерю ни принадлежали...

Въ наше время значеніе Чаадаева нѣсколько забыто. Не-

давно было высказано мнѣніе, что письмо Чаадаева не оказало особенно глубокаго вліянія въ нашей литературѣ и осталось безслѣдно. Едва ли такъ. Замѣтимъ прежде всего, что историческая роль Чаадаева заключается не въ одномъ этомъ «Письмѣ», погибшемъ едва увидѣвши печать. Въ тогдашнихъ условіяхъ сильное умственное вліяніе могло совершаться и внѣ литературы, и въ этомъ смыслѣ положеніе Чаадаева можно сравнить съ положеніемъ Станкевича, — собственно литературная роль послѣдняго была совершенно незначительна, но извѣстно между тѣмъ, что люди его кружка согласно ставили его главой школы, по его чисто личному вліянію. Имя Чаадаева съ неменьшимъ правомъ войдетъ въ исторію умственнаго развитія нашего общества.

Это вліяніе Чаадаева началось съ Пушкина ¹⁾ и продолжалось въ полной силѣ въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, особенно въ тѣхъ кругахъ, западномъ и славянофильскомъ, которые въ литературѣ сороковыхъ годовъ играли господствующую роль. Выраженія, въ которыхъ говорить о немъ Герценъ, могутъ служить достаточнымъ свидѣтельствомъ того значенія, какое онъ придавалъ Чаадаеву. Герценъ могъ нѣсколько преувеличивать это значеніе, могъ ошибаться о нравственномъ характерѣ Чаадаева, но во всякомъ случаѣ личность, которая своимъ умомъ и мнѣніями могла оказывать впечатлѣніе на такого требовательнаго судью, не могла быть незначительной. Мы приведемъ дальше слова другого замѣчательнаго человѣка того времени, изъ которыхъ видно, что такое же значеніе придавали Чаадаеву и въ совершенно противоположномъ лагерѣ. За Чаадаевымъ оставалась память его статьи и онъ дѣятельно участвовалъ своими мнѣніями въ тѣхъ бесѣдахъ и спорахъ, которые въ то время пріобрѣли важное образовательное значеніе и въ которыхъ, за отсутствіемъ нѣсколько свободной литературы, велось развитіе идей и опредѣлялись мнѣнія. — Приведенныя нами «Письма» и «Апология» раскрываютъ намъ подробности его образа мыслей, который, не имѣя дѣйствія въ печатной литературѣ, ярко высказывался въ этихъ живыхъ личныхъ столкновеніяхъ и борьбѣ мнѣній.

Здѣсь этотъ образъ мыслей пріобрѣталъ несомнѣнное влія-

¹⁾ Объ ихъ отношеніяхъ достаточно было сказано біографомъ Чаадаева. Тонъ ихъ отношеній виденъ и въ приведенномъ нами письмѣ Пушкина; оно оканчивается такъ: «Пишите же мнѣ, мой другъ, еслибы даже вамъ пришлось бранить меня. Лучше — говорить Екклесіастъ — слушать наставленія мудраго, нежели пѣсни безумца». Это во всякомъ случаѣ не былъ только одинъ «культъ дружбы».

ніе. Поставленный между двумя партіями, существенно идеалистическими, скептицизм Чаадаева относительно русской жизни былъ конечно ближе къ той, которая настаивала на принципахъ европейской цивилизации, но онъ служилъ для обѣихъ сильнымъ возбужденіемъ къ провѣркѣ понятій и къ послѣдовательной логикѣ. Онъ подавалъ примѣръ независимости мысли, потому что, несмотря на малодушныя уступки въ минуту страха, онъ сохранялъ сущность своихъ мнѣній, и, какъ извѣстно изъ разсказовъ, въ сороковыхъ годахъ общій тонъ его былъ таковъ же, каковъ онъ былъ въ тридцатыхъ годахъ. Онъ былъ готовъ съ остроумной насмѣшкой, когда національное самомнѣніе впадало въ свои крайности, онъ оживлялъ споръ и освѣщалъ предметъ съ новой, неожиданной стороны. То время, тридцатые и сороковые года, особенно занято было стремленіемъ опредѣлить философски начала національной жизни и доказать ихъ исторически, и мнѣнія Чаадаева безъ сомнѣнія содѣйствовали расширенію историческаго интереса, которому предназначено было произвести цѣлый переворотъ въ историческихъ понятіяхъ. Мы указывали еще въ письмахъ Чаадаева 1829 г. его понятія о необходимости историческаго изученія. Историческая критика, по его понятіямъ, должна была стать высокой умственной силой: она должна была «уничтожить всѣ историческіе фантомы, разрушить всѣ ложные образы, для того, чтобы представивъ уму прошедшее въ его истинномъ свѣтѣ, она могла вывести изъ него какія-нибудь несомнѣнныя заключенія для настоящаго, и съ увѣренностью обратить взглядъ на безконечныя пространства, которыя развертываются передъ нею». «Только возвращаясь (историческимъ изученіемъ) къ своимъ протекшимъ существованіямъ,—говоритъ онъ тамъ же,—массы и отдѣльныя лица научатся исполнять свои назначенія; только въ ясномъ пониманіи прошедшаго они найдутъ силу дѣйствовать на свое будущее». «Серьезная мысль нашего времени,—говоритъ онъ въ «Апологіи»,—требуетъ именно суроваго размышленія, искренняго анализа тѣхъ моментовъ, гдѣ жизнь обнаруживалась у народа съ большей или меньшей глубиной, гдѣ его общественный принципъ выказался во всей своей истинѣ,—потому что здѣсь будущее, здѣсь элементы его возможнаго прогресса». Этого и доискивались въ слѣдующія десятилѣтія наши историки; за столкновеніемъ ихъ теорій Чаадаевъ слѣдилъ съ особеннымъ интересомъ. Было бы конечно слишкомъ большимъ преувеличеніемъ видѣть въ немъ преобразователя историческаго метода, какъ видитъ его біографъ; но косвенное и возбуждающее вліяніе его не подлежить сомнѣнію.

Это требованіе исторической критики, но въ особенности глубокое сознаніе недостатковъ прошедшаго и настоящаго и указаніе на высокое превосходство европейской цивилизаціи, составляютъ сущность возбужденій, внесенныхъ Чаадаевымъ. Его крайнее сомнѣніе относительно русской жизни было той точкой перелома, откуда начинался новый періодъ въ нашемъ умственномъ развитіи, перелома, которому въ литературѣ художественной соотвѣтствуетъ появленіе сатиры Гоголя. Въ дѣятельности, какъ и въ личномъ характерѣ Чаадаева было много недостатковъ: въ его понятіяхъ было много ошибочнаго,—но эти недостатки не должны приводить насъ въ заблужденіе объ его значеніи. Въ дѣятельности каждаго историческаго лица смѣшиваются подобнымъ образомъ ходъ общей исторической идеи съ его личными свойствами, наклонностями и мнѣніями: въ концѣ концовъ частное и индивидуальное отпадаетъ какъ шелуха, и остается общій основной результатъ, составляющій историческое приобращеніе и заслугу лица. Въ данномъ историческомъ моментѣ мы находимъ обыкновенно и концы прошлаго, и задатки будущаго. Наконецъ, чтобы судить подобнаго рода недостатки и ошибки мнѣній, необходимо брать ихъ въ связи съ общими условіями: Чаадаевъ находилъ, что нашимъ умамъ вообще недостаетъ основательности, логики, и онъ былъ правъ, потому что дѣйствительно ни одна мысль, касавшаяся общественныхъ отношеній, не находила у насъ правильнаго и полного логическаго развитія. Многообразныя стѣсненія, связывавшія нашу умственную жизнь и приводившія къ этимъ послѣдствіямъ, отразились и въ самыхъ построеніяхъ Чаадаева: предоставленный личнымъ силамъ, безъ возможности открытаго развитія своихъ понятій, безъ провѣрки, безъ правильной критики, Чаадаевъ, рядомъ съ высокими идеальными требованіями, съ глубокимъ пониманіемъ дѣйствительности, впадаетъ въ самыя странныя заблужденія, которымъ не могли ни малѣйшимъ образомъ сочувствовать самые горячіе его поклонники. Они принимали его общія указанія, но отвергали тѣ его объясненія, которыя отзывались его личнымъ мистицизмомъ...

Мы упоминали о томъ, какъ высоко ставилъ Чаадаева Герценъ, писатель той школы, съ которой Чаадаевъ соглашался въ высокомъ представленіи объ европейской цивилизаціи и во враждебномъ отношеніи къ исключительной національности, этой «географической добродѣтели», отличавшей славянофиловъ и школу официальной народности. Любопытно, что почти съ наименьшей симпатіей относились къ Чаадаеву люди, которые по всему характеру своихъ понятій должны были быть и были его заклѣ-

тymi теоретическими противниками. «Почти всѣ мы знали Чаадаева, — говорилъ Хомяковъ въ засѣданіи московскаго общества любителей русской словесности, 28 апрѣля 1860, — многіе его любили, и, можетъ быть, никому не былъ онъ такъ дорогъ, какъ тѣмъ, которые считались его противниками. Просвѣщенный умъ, художественное чувство, благородное сердце, — таковы тѣ качества, которыя всѣхъ къ нему привлекали: но въ такое время, когда, повидимому, мысль погружалась въ тяжкій и невольный сонъ, онъ особенно былъ дорогъ тѣмъ, что онъ и самъ бодрствовалъ и другихъ побуждалъ, — тѣмъ, что въ сгущающемся сумракѣ того времени онъ не давалъ потухать лампадѣ и игралъ въ ту игру, которая извѣстна подъ именемъ: «живъ курилка». Есть эпохи, въ которыя такая игра есть уже большая заслуга. Еще болѣе дорогъ онъ былъ друзьямъ своимъ какою-то постоянной печалью, которою сопровождалась бодрость его живого ума... Чѣмъ же объяснить его извѣстность? Онъ не былъ ни дѣятелемъ-литераторомъ, ни двигателемъ политической жизни, ни финансовою силою, а между тѣмъ имя Чаадаева извѣстно было и въ Петербургѣ и въ большей части губерній русскихъ, почти всѣмъ образованнымъ людямъ, не имѣвшимъ даже съ нимъ никакого прямого столкновенія»... Хомяковъ, съ своей точки зрѣнія, приписываетъ извѣстность Чаадаева тому, что онъ жилъ и умственно дѣйствовалъ въ Москвѣ — потому что, «гдѣ бы ни былъ центръ государственный, Москва не перестала и никогда не перестанетъ быть общественною столицей русской земли». Москва, конечно, способствовала обширной извѣстности Чаадаева тѣмъ свойствомъ создавать себѣ авторитеты, о которомъ упоминаетъ біографъ Чаадаева: но авторитетъ, пріобрѣтенный въ силу этого свойства, не составлялъ бы еще большой славы — лучший источникъ извѣстности Чаадаева былъ безъ сомнѣнія въ томъ, что когда прошелъ первый пылъ негодованія противъ него, общество снова обратило на него свою благосклонность по тому чувству, которое въ «сгущающемся сумракѣ» того времени отдавало уваженіе проявленіямъ независимости и протеста: эти проявленія составляли такую рѣдкость и потому производили такое впечатлѣніе, что извѣстность распространялась даже въ «губерніи» и человѣкъ интересовалъ даже тѣхъ, кто «не имѣлъ съ нимъ никакого прямого столкновенія». О причинахъ значенія Чаадаева въ кругу литературномъ мы говорили.

Матеріалы, печатаемые въ «Вѣстникѣ Евр.», открываютъ новыя черты его отношеній и мнѣній, которыя еще требуютъ біографическихъ разъясненій отъ людей, его знавшихъ и въ кото-

рия мы, поэтому, не будемъ теперь входить. Здѣсь опять являются передъ нами и его сильныя, симпатическія стороны и его недостатки: во всякомъ случаѣ любопытны здѣсь черты его образа мыслей и отголоски тогдашнихъ литературныхъ событій, и не разъ, въ этихъ письмахъ и отрывкахъ проглядываетъ высокое понятіе о своемъ достоинствѣ, въ такомъ тонѣ, какъ онъ говорилъ о себѣ въ «Апологіи»: — «Я не умѣю любить свое отечество съ закрытыми глазами, съ преклоненной головой, съ запертыми устами. Я нахожу, что можно быть полезнымъ отечеству только подъ условіемъ ясно его видѣть; я думаю, что прошло время слѣпыхъ амуровъ, что теперь мы прежде всего обязаны своему отечеству истиной. Я люблю свое отечество такъ, какъ Петръ Великій научилъ меня любить его». — Мы не скажемъ, что Чаадаевъ не имѣлъ права на эти слова, и немного было людей въ нашей литературѣ, за которыми можно признать такое право.

IV.

Развитіе научныхъ изслѣдованій «народности».

Слѣдуя своему плану, мы должны были бы перейти теперь къ двумъ литературнымъ школамъ, въ которыхъ въ особенности выразилось движеніе описываемаго періода, къ славянофиламъ и ихъ противникамъ. Дѣйствительно, внѣ точки зрѣнія разсмотрѣнной уже нами системы официальной народности, представлявшей чистую неподвижность, — вся сущность умственныхъ интересовъ, какіе развивались въ тѣ времена, сводится къ двумъ различнымъ и во многихъ отношеніяхъ противоположнымъ взглядамъ этихъ двухъ школъ. Мы указали выше свойство понятій, господствовавшихъ въ большинствѣ и составившихъ официальную народность, — указали и литературу, которая прямо и непосредственно ей служила: это было полное подтвержденіе, сильное теоретическое оправданіе и восхваленіе *status quo*. Живое развитіе литературныхъ идей начало съ того, что покинуло эту почву; — поставивши себѣ задачей критическое изслѣдованіе, оно тѣмъ самымъ стало въ оппозиціонное отношеніе къ принятому образу мыслей литературному, а также и общественному. Первый, рѣзкій примѣръ этого оппозиціоннаго отношенія, мы видѣли, выразился въ скептицизмѣ Чаадаева. Дальнѣйшею ступенью развитія были съ одной стороны славянофилы, съ другой — такъ называемые западники. Та и другая школа опредѣлились полнѣе только уже въ сороковыхъ годахъ, и образовались не вдругъ, а мало по малу и постепенно. Переходной ступенью къ нимъ, отъ прежняго романтическаго либерализма, послужило то распространеніе нѣмецкой философіи въ тридцатыхъ годахъ, котораго такъ опасался и Пушкинъ для нашихъ молодыхъ умовъ, и въ которомъ эти молодые умы дѣйствительно отдалились отъ мнѣній, принятыхъ большинствомъ, и получили подготовку къ но-

вымъ, ими поставленнымъ вопросамъ. Философское увлеченіе тридцатыхъ годовъ забылось или было поглощено въ новыхъ направленіяхъ, которыя, начавъ съ отвлеченной философіи, скоро перешли къ вопросамъ національной жизни, и впервые стремились поставить ихъ новымъ, рациональнымъ образомъ, найти имъ философско-историческое основаніе и вывести практическія послѣдствія.

Но прежде, чѣмъ перейти къ этимъ двумъ школамъ, мы сдѣлаемъ небольшое отступленіе, и отчасти нарушимъ хронологическую послѣдовательность, — чтобы сдѣлать краткій очеркъ развитія тѣхъ изученій, которыя должны были въ то время давать основаніе и матеріалъ для того и другого рѣшенія о нашей «народности», и указать относительное значеніе этихъ изученій сравнительно съ ихъ послѣдующимъ объемомъ.

Новыя литературныя школы отличались отъ прежняго романтизма между прочимъ тѣмъ, что сознавали болѣе ясно тѣсную связь своего теоретическаго образа мыслей съ опѣнкой практическаго положенія вещей; ихъ идеи не оставались такъ легко одними отвлеченными понятіями, или сантиментальными стремленіями, — напротивъ, имъ нетрудно было переводить ихъ на практическое примѣненіе и требованіе.

Обѣ школы, какъ ни были различны по содержанію, имѣли много общаго въ своемъ внѣшнемъ положеніи, были одинаково связаны господствующими нравами и стѣснены въ своемъ изслѣдованіи. Обѣ онѣ стояли выше этихъ нравовъ, и обѣ становились внѣ системы официальной народности, хотя славянофилы были къ ней во многомъ очень близки и иной разъ даже сливались съ ней. Обѣ школы искали, каждая по-своему, большей свободы общественной мысли, и сходство ихъ критическаго отношенія къ господствующимъ нравамъ соединяло ихъ общимъ исканіемъ умственнаго простора, — хотя, къ сожалѣнію, онѣ и не сумѣли должнымъ образомъ понимать другъ друга (въ особенности славянофилы — понимать своихъ противниковъ). Въ своемъ содержаніи двѣ школы расходились до противоположности: онѣ различно смотрѣли на русскую исторію. слѣдовательно, на все прошедшее и настоящее русскаго общества, но сходились въ томъ, что переживаемую ими минуту считали рѣшительнымъ моментомъ, поворотомъ въ общественной исторіи. Особеннымъ пунктомъ разногласія были взгляды на реформу Петра Великаго, которая для однихъ была великое національное событіе, введеніе Россіи на путь европейской цивилизаціи; для другихъ казалась почти бѣдствіемъ, лишившимъ Россію ея истиннаго національнаго развитія, — но оба направленія сходились въ томъ,

что въ настоящую минуту считали дѣло «реформы» конченнымъ, одинаково думали, что для русскаго общества наступилъ періодъ самосознанія и самостоятельности. Этой самостоятельностью каждая сторона считала свою собственную школу, въ особенности славянофилы, которые приписывали своимъ идеямъ спеціально русское, народное значеніе и видѣли въ нихъ истинное выраженіе народнаго духа. Это была философско-мистическая вѣра. Ихъ противники, болѣе скептическіе и положительные, думали видѣть достиженіе самостоятельности въ собственномъ критическомъ взглядѣ на настоящую дѣйствительность: они видѣли ея недостатки, сознательно понимали возможность лучшаго, и этотъ разрывъ съ господствующими недостатками настоящаго, конечно не безъ основанія, считали новой эпохой русской мысли, если еще не русской жизни.

Мы видѣли, что система официальной народности также высказывала мысль объ окончательной самобытности нашего развитія, которая здѣсь опиралась главнымъ образомъ на военномъ и политическомъ значеніи Россіи. Эта система признавала еще превосходство Европы въ разныхъ научныхъ и практическихъ знаніяхъ, но затѣмъ считала положеніе Россіи и въ этомъ смыслѣ совершенно независимымъ и тѣмъ болѣе выгоднымъ, что, пользуясь этими знаніями, Россія провѣряла ихъ православною вѣрою, могла отвергнуть всё ихъ плевелы и всё гибельныя политическія умствованія.

Такимъ образомъ, это было болѣе или менѣе общее представленіе. Два направленія, о которыхъ мы теперь говоримъ, конечно меньше придавали значенія аргументу матеріальной силы, и находили свои аргументы въ другихъ соображеніяхъ, но у славянофиловъ и это обстоятельство играло немалую роль, когда они возвеличивали русскій народъ ради его высокихъ и единственныхъ національныхъ принциповъ. По мнѣнію славянофиловъ, довольно согласному съ тогдашними официальными мнѣніями, для Россіи наступало время заявить начѣла славянскоѣ цивилизаціи, — какъ для цивилизаціи западной наступало время паденія.

Съ тѣхъ поръ и доннѣ мы постоянно встрѣчаемся въ нашей литературѣ съ этимъ сомнѣніемъ, неизлеченнымъ бывшими опытами, которое высокомерно и хвастливо относится къ Европѣ, не только политической, но и умственной, заявляетъ притязаніе учить заблудившійся Западъ и навязываетъ себя славянскому міру. До сихъ поръ, въ различныхъ оборотахъ повторяется мысль, что мы теперь обратились къ народнымъ источникамъ своей жизни, и что черпая изъ нихъ, мы наконецъ не

нуждаемся въ руководствѣ, начинаемъ свою собственную цивилизацію и можемъ предоставить Европу ея судьбѣ. Эта судьба и теперь представляется многимъ какъ безысходное заблужденіе, какъ начавшееся разложеніе.

Насколько же оправдывается это національное высокомеріе фактами нашей общественной и умственной жизни? И съ другой стороны, насколько можно было бы считать дѣло Петровской реформы законченнымъ?

Мы не будемъ говорить теперь о частностяхъ славянофильскихъ и «западныхъ» мнѣній, и остановимся теперь на тѣхъ фактахъ, которыми могла бы опредѣляться степень общественнаго самосознанія, въ его критическомъ смыслѣ, и въ особенности на фактахъ дѣйствительнаго изученія народной жизни, которое въ ту пору оставалось единственной мѣркой самосознанія, потому что нравы не допускали никакихъ другихъ его проявленій и примѣненій.

При всей исторической заслугѣ передовыхъ людей того времени, должно сказать, что предѣлы «самосознанія» были тогда еще весьма ограниченны.

Противъ него прежде всего и сильнѣе всего говорило внутреннее состояніе самаго общества: оно не представляло и тѣни самостоятельной жизни, безъ которой трудно было бы вообразить вообще какую-нибудь сознательную самобытность національнаго принципа, о которой говорили славянофилы.

Правда, тотъ политическій гнѣтъ реакціи, который еще продолжался по прежнему во многихъ государствахъ Европы, могъ нѣсколько объяснять заблужденіе нашихъ политиковъ на счетъ нашего общественнаго положенія, — но они могли бы однако и тогда видѣть въ другихъ странахъ учрежденія и нравы, которые могли бы разубѣждать ихъ. Такимъ образомъ, сопоставленія съ Европой, особенно любимыя славянофилами, съ этой стороны были совершенно неудачны, или собственно говоря, они были просто забавны. Должно сказать, что противники славянофиловъ въ этомъ отношеніи были совершенно свободны отъ иллюзій и понимали вещи гораздо ближе къ истинѣ. Но любопытно, что новѣйшая славянофильская школа продолжаетъ и до сихъ поръ странное заблужденіе своихъ предшественниковъ, — потому что при всѣхъ измѣненіяхъ во внутреннемъ нашемъ бытѣ у насъ все еще нѣтъ никакой политической самостоятельной жизни.

Далѣе, если лучшіе представители тогдашней литературы и науки безъ сомнѣнія представляли примѣры глубокаго понима-

нія общественнаго интереса, — то кругъ людей, въ которыхъ шло это движеніе, былъ слишкомъ небольшой.

Наконецъ, самосознаніе не было полно и по объему предметовъ, какіе оно тогда въ себѣ заключало. Условія были неблагоприятны; масса общества оставалась въ своемъ стихійномъ состояніи, и на дѣлѣ, наши дѣятели сороковыхъ годовъ имѣли очень скромную цѣль, — въ обѣихъ школахъ одинаково. Чисто политическіе интересы съ двадцатыхъ годовъ были подавлены внѣшними обстоятельствами; они помнились, ожидались въ будущемъ, но въ ту минуту главная задача людей обоихъ направленій была въ отвлеченномъ развитіи понятій — поэзіи, искусства, человѣчности, науки, въ нравственномъ воспитаніи общества, въ пробужденіи болѣе широкихъ интересовъ національнаго достоинства и блага.

Люди, стоявшіе во главѣ литературы сороковыхъ годовъ, и считавшіе свои мысли мѣркой тогдашняго русскаго развитія, не ошибались конечно въ необходимости этого нравственнаго воспитанія для общества, но къ сожалѣнію они были слишкомъ немногочисленны, и хотя рядъ этихъ людей, въ обоихъ направленіяхъ, былъ дѣйствительно рядъ замѣчательныхъ умовъ, дарованій и характеровъ, нужно было еще много времени, чтобы ихъ идеи стали принадлежностью обраованнаго круга, чтобы достигнуть былъ тотъ уровень общественнаго сознанія, на которомъ чувствовала себя ихъ личная энергія, и чтобы возвышеніе этого уровня обнаружилось и практическими результатами. Но и самая энергія этихъ людей не могла восполнить того умственнаго процесса, тѣхъ знаній и опыта, которые были необходимы для истиннаго самосознанія въ обществѣ. «Народъ» былъ уже для нихъ той послѣдней цѣлью, которой должны были служить успѣхи общественнаго прогресса, — но они, какъ и все общество, были отдѣлены отъ этого народа всѣми вѣковыми нравами и учрежденіями (начиная съ крѣпостнаго права). Естественно, что однимъ изъ первыхъ и главнѣйшихъ трудовъ общественнаго сознанія должно было стать изученіе этого народа и дѣйствительное достиженіе того народнаго пониманія, какимъ въ то время хотѣли похвалиться обѣ стороны; это пониманіе — за отсутствіемъ прямыхъ связей съ народомъ, тогда почти совершенно невозможныхъ, — предполагало по крайней мѣрѣ его теоретическое изученіе, научное изслѣдованіе его характера и исторіи, вѣрное художественное воспроизведеніе его жизни.

Въ этомъ и поставляли обѣ стороны заслугу своего времени. На этомъ основалось утвержденіе, что наша жизнь въ своемъ развитіи кончила съ реформой, а по мнѣнію славянофиловъ кон-

чила и съ Европой. Но разсматривая развитіе этого самосознанія, любопытно наблюдать, какъ самыя средства его заимствовались изъ тѣхъ же европейскихъ возбужденій и европейской науки. Потому что въ самомъ дѣлѣ только европейское образованіе могло внушать и славянофиламъ и ихъ противникамъ тотъ просвѣщенный энтузіазмъ, съ которымъ они служили своимъ идеямъ; только это образованіе давало ихъ мысли логическую силу и научную прочность. Пути, которыми они шли къ цѣли, были весьма различны: Хомяковъ, ради скорѣйшаго слиянія съ народомъ, надѣвалъ знаменитые кафтанъ и мурмолку; Герценъ дѣлался социалистомъ, другіе фурьеристами, — но и мурмолка (которая конечно не слила Хомякова съ народомъ, какъ онъ это думалъ) была конечно не непосредственнымъ внушеніемъ народной идеи, а нѣсколько западной выдумкой, такой же романтической демонстраціей¹⁾, какъ древніе костюмы новѣйшихъ нѣмецкихъ «тевтоновъ», и въ сущности была также искусственна, какъ социализмъ и фурьеризмъ. Отношенія къ европейской литературѣ и образованности и въ этомъ періодѣ были такъ тѣсны, и до настоящей минуты играютъ такую роль во всемъ нашемъ образованіи, что ихъ нельзя не принять въ соображеніе, опредѣляя успѣхи нашего общественнаго образованія. Это вліяніе было очень сильное, и тѣмъ самымъ указывало недостаточность умственныхъ средствъ русскаго общества, — и характеръ европейской образованности путемъ этого вліянія наложилъ отпечатокъ и на стремленія самаго русскаго общества.

Изученіе народной жизни въ этомъ періодѣ особенно усиливается. Различныя отрасли его или впервые начались въ ту эпоху, — какъ, напр., специальное изученіе народнаго быта и преданій, или получили тогда болѣе обширный объемъ и новыя направленія, какъ, напр., изученіе собственно-историческое. Всего больше обавала здѣсь вліянія нѣмецкая литература и наука. Въ общемъ счетѣ можно найти, что самый процессъ «самосознанія», тотъ фактъ, на которомъ у насъ была построена особая новѣйшая теорія національной исключительности, что этотъ фактъ совершался такъ сказать по указаніямъ нѣмецкой науки. Въ избѣжаніе превратныхъ толкованій замѣтимъ, что мы вовсе не отвергаемъ при этомъ большого самостоятельнаго труда русскаго общества, — и дѣйствительно, многое въ этомъ процессѣ

¹⁾ Мы не скажемъ, чтобы она была излишня. Напротивъ, эта невинная демонстрація была любопытной пробой официальной народности. Этой пробы официальной народности не выдержала: народный костюмъ Хомякова показался неприличнымъ, и ему, если не ошибаемся, приказывали его снять.

нашего сознанія было дѣломъ самой русской мысли, и лучшіе представители того періода достигли полной независимости мысли, при европейскомъ уровнѣ идей и образованности, и наконецъ самыя средства, которыми совершалось изученіе народа, было дѣломъ самостоятельнаго выбора; — но мы хотимъ сказать, что тѣмъ не менѣе средства были даны европейскимъ знаніемъ, и «самосознаніе» вовсе не было исключительнымъ дѣломъ одного интуитивнаго созерцанія народности, результатомъ простого «погруженія» и «слиянія» съ народомъ, одного «прикосновенія къ почвѣ», которое само уже давало человѣку силу, — какъ объ этомъ говорили и говорятъ славянофилы. Въ томъ разнообразіи изученій, которыя, въ особенности съ тридцатыхъ годовъ, обращены были на различныя стороны народной исторіи и современнаго быта, и которыя—въ тогдашнихъ условіяхъ—одни могли готовить къ нравственно-общественному единству съ народомъ, мы постоянно встрѣчаемся съ различными направленіями европейской, и преимущественно нѣмецкой науки; приемы «самосознанія» были ея примѣненіями.

Это вліяніе не могло не сказаться и въ получавшихся результатахъ. Конечно, сама наука безразлична, и все равно, откуда бы ни были заимствованы въ нашу литературу ея критическіе приемы; но эта безразличная наука возможна только въ вещахъ совершенно отвлеченныхъ,—а тамъ, гдѣ она прямо соприкасается съ жизнью, въ ней неизбежно отражается время и общество, она окрашивается ихъ колоритомъ и входитъ въ кругъ ихъ стремленій. Та европейская, и по преимуществу нѣмецкая наука, съ помощью которой развивалось у насъ изученіе народности и исторіи, была именно отмѣчена особымъ колоритомъ времени.

Въ сказанномъ нами не трудно убѣдиться, бросивъ взглядъ на направленіе и приемы тѣхъ изученій, которыми у насъ приобрѣталось теоретическое знакомство и сближеніе съ народомъ. Съ восемнадцатаго вѣка исторія тѣхъ понятій, усвоеніемъ которыхъ обнаруживалось умственное развитіе нашего общества, представляетъ непрерывное и постоянное европейское вліяніе. Это было параллельное движеніе въ литературѣ художественной, гдѣ постепенно усваивались европейскія формы и идеальныя представленія, и въ научномъ образованіи, гдѣ съ первыхъ переводовъ, дѣланныхъ по приказаніямъ Петра, постоянно переносились въ наши школы и въ наши книги свѣдѣнія изъ научнаго запаса Европы. Еще въ восемнадцатомъ вѣкѣ въ нашей литературѣ и образованіи отражались, слабымъ образомъ, многоразличныя направленія европейской мысли, теологическія, философскія, нрав-

ственно-практическія. Это отраженіе европейскихъ тевденцій было совершенно осязательно въ концѣ прошлаго и первыхъ десятилѣтіяхъ нынѣшняго вѣка. Въ описываемое время, это вліяніе становится еще глубже. Если прежде оно дѣйствовало болѣе или менѣе поверхностно и понятія перенимались, какъ мода, внѣшнимъ образомъ, то теперь оно начинаетъ проникать въ самыя основанія мнѣній, создавать цѣлыя школы, однимъ словомъ словомъ, входитъ существеннымъ элементомъ въ цѣлый характеръ общественной образованности.

Съ двадцатыхъ годовъ у насъ начинается особенная наклонность къ изученію нѣмецкой философіи, въ ея послѣднихъ школахъ. Начиная съ Канта и до Гегеля и его учениковъ правой и лѣвой стороны, нѣмецкія системы находили болѣе или менѣе усердныхъ послѣдователей; система Канта еще въ концѣ прошлаго и въ началѣ нынѣшняго столѣтія излагалась въ нашихъ университетахъ, старыхъ и вновь основанныхъ, непосредственными учениками Канта, приглашенными изъ Германіи профессорами, а также и русскими учеными ¹⁾. Система Шеллинга нашла, кажется, перваго послѣдователя въ Велланскомъ въ началѣ столѣтія, и затѣмъ въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ находитъ цѣлый рядъ приверженцевъ, которые дѣлали ее основаніемъ своей ученой и литературной дѣятельности ²⁾. Затѣмъ пришла очередь Гегеля. Извѣстно, какъ сильно было увлеченіе этой философіей въ тѣхъ кружкахъ, изъ которыхъ вышли потомъ наиболѣе вліятельные люди литературы сороковыхъ годовъ въ обоихъ ея направленіяхъ. Гегелевская философія была общимъ полемъ, на которомъ сходились и мѣряли свои силы представители обоихъ направленій. Философское несогласіе, различное пониманіе отвлеченныхъ положеній предшествовало и сопутствовало тому раздору, который не замедлилъ обнаружиться въ практическихъ воззрѣніяхъ этихъ партій, въ ихъ понятіяхъ литературныхъ, нравственныхъ и національныхъ.

Нѣмецкая философія, вмѣстѣ съ другими вліяніями новой научной критики, о которыхъ скажемъ дальше, была прекраснымъ подготовленіемъ къ изученію національнаго вопроса. Фи-

¹⁾ См. Сухомлинова, Матеріалы; Словарь моск. профессоровъ, и Ист. моск. унив. 1855. Кантіанецъ Мельманъ еще при Екатеринѣ, въ 1795 году, былъ даже высланъ обратно за границу за то, по показанію «Словаря», что «несмотря на свою ученость и другія хорошія стороны, нерѣдко, увлекаясь новою философіею, слишкомъ свободно и неосторожно высказывалъ одностороннія и ложныя свои убѣжденія относительно предметовъ религіозныхъ».

²⁾ Свѣдѣнія о школѣ нашихъ шеллингистовъ см. въ статьяхъ г. Скабичевскаго, «От. Зап.» 1870—1871.

лософія очищала для него путь, устраняя прежнія неясныя представленія, существовавшія по преданію или приобрѣтенныя случайно, и вносила извѣстную систему опредѣленныхъ общихъ представленій; исторія, понимаемая съ новой точки зрѣнія, становилась изслѣдованіемъ внутренней жизни народа, объясненіемъ его національной особенности, и въ этомъ широкомъ смыслѣ приобрѣтала значеніе и объемъ, о которыхъ не помышляли прежніе историки. Вліяніе философскихъ изученій дало иной характеръ научной любознательности и безъ сомнѣнія облегчило усвоеніе новыхъ методовъ, какіе выработаны были въ то время въ наукахъ нравственныхъ и историческихъ. Вновь образовавшіеся у насъ умственные вкусы и потребности искали раціональныхъ, философскихъ основаній для понятій народности, государства, общества. Эти основанія доставлялъ тогда, кромѣ философіи, цѣлый рядъ другихъ изученій—исторія права, сравнительное языкознаніе и міеологія, исторія и этнографія, въ ихъ новой формѣ, наконецъ политическая экономія, — которыя затѣмъ нашли мѣсто и въ нашей литературѣ.

Нѣмецкая наука считалась тогда высимъ пунктомъ, какого достигло развитіе человѣческаго мышленія и знанія; — и какъ бы мы ни смотрѣли теперь на гордыя притязанія тогдашней философіи, вліяніе ея, и вообще европейской науки у насъ было безспорно плодотворно и необходимо, потому что самая наша самостоятельность была немыслима безъ усвоенія приемовъ критическаго изслѣдованія. Наши изслѣдователи естественно брались за то, что считалось лучшимъ умственнымъ оружіемъ, какое только существовало въ Европѣ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, въ ходъ нашихъ изученій и нашего «самосознанія» проникали и тѣ частныя особенности и направленія, которыя образовались въ европейской наукѣ подъ вліяніемъ ея особенныхъ условій и времени. Такъ въ наукѣ нѣмецкой, о которой мы преимущественно говоримъ, именно высказывались тенденціи германскаго общества первыхъ десятилѣтій,—тенденціи, гдѣ чувствовались и остатки освободительнаго движенія конца прошлаго вѣка, и господство реакціонно-романтическаго успокоенія и увлеченія стариной, и наконецъ новые зачатки движенія, соотвѣтствовавшіе событіямъ 1830-го и 1848-го годовъ. Эти особенныя черты времени, которыя мы встрѣтимъ вообще въ различныхъ областяхъ тогдашней науки, и въ философіи, и въ наукѣ права, и въ исторіи, и въ сравнительномъ языкознаніи и въ политической экономіи, — входили обыкновенно въ науку болѣе или менѣе независимо отъ самыхъ приемовъ частной критики, но они вліяли на общую постановку вопросовъ, обнаруживались въ лич-

ныхъ пристрастіяхъ передовыхъ ученыхъ, въ примѣненіяхъ теорій. Понятно само собою, что европейская наука переходила къ намъ съ тѣми же чертами, которыя такимъ образомъ бросали корень и у насъ. Мы укажемъ дальше нѣкоторые примѣры этого рода, и замѣтимъ теперь вообще, что не только нѣмецкая (по преимуществу) наука оказала великую помощь нашему пониманію своего прошлаго и своей настоящей дѣйствительности, сообщеніемъ общихъ научныхъ положеній и приѣмовъ изслѣдованія, — но передавала при этомъ и свои частныя направленія. Такъ что не только самое наше самосознаніе было въ большой степени обязано европейскому знанію, но даже и нѣкоторыя особенныя тенденціи, которыя считались у насъ собственнымъ нашимъ выводомъ, самымъ настоящимъ результатомъ уже достигнутой нами зрѣлости (напр., у славянофиловъ), бывали иногда только повтореніемъ теорій, узнанныхъ въ европейской литературѣ.

Переходя къ фактамъ, какіе мы хотѣли бы указать въ объясненіе развитія нашей науки о народѣ, мы сдѣлаемъ прежде всего нѣсколько замѣчаній относительно общаго хода нашей исторіографіи. Исходнымъ пунктомъ ея движенія въ описываемомъ періодѣ, была «Исторія государства Россійскаго» ¹⁾, которая завершила собой предыдущій періодъ нашей исторической литературы. Историческія понятія Карамзина образовались на идеяхъ и вкусахъ XVIII-го вѣка: онъ понималъ исторію какъ искусство и въ этомъ смыслѣ приступилъ къ ней; въ частности онъ доставилъ много замѣчательныхъ изслѣдованій, но, собственно говоря, не далъ никакой исторической системы; превеличенная идеализація старины и желаніе начать «исторію государства» съ Рюрика дали совершенно фальшивую постановку первыхъ вѣковъ исторіи; желаніе живописать, разцвѣтить и «раскрасить» кончалось весьма часто риторикой.

Слѣдующій рядъ изслѣдователей довольно ясно увидѣлъ эти

¹⁾ Замѣтимъ, по поводу нападеній на высказанныя нами мнѣнія о Карамзинѣ, что имя Карамзина въ послѣднее время понадобилось для прикрытія извѣстныхъ тенденцій, и по этому случаю имя Карамзина сдѣлалось какимъ-то фетишемъ. Всплывшіе за Карамзина запамятовали, какъ относились къ нему ближайшіе преемники его въ русской исторіографіи, и какъ для нихъ уже, сорокъ лѣтъ тому назадъ, при всемъ великомъ уваженіи къ его имени, были видны его слабыя стороны и заблужденія, которыя они много разъ и указывали. Впрямь предлагаемъ нашимъ критикамъ освѣдомляться объ этомъ въ старой литературѣ прежде, чѣмъ приходится въ ужасѣ отъ вещей, отчасти давнымъ давно уже высказанныхъ.

слабыя стороны Карамзина. Въ этомъ рядѣ выступаетъ прежде всего Каченовскій (ум. 1842), начавшій свои работы съ перваго десятилѣтія нынѣшняго вѣка, когда Карамзинъ писалъ первые томы своей исторіи. Каченовскій сталъ во главѣ такъ-называемой скептической школы. Въ свое время онъ подвергался жестокимъ нападеніямъ всей фаланги писателей, которые клялись именемъ Карамзина; въ послѣдствіи, уже по его смерти, г. Погодинъ считалъ нужнымъ сурово (и не совсѣмъ прилично) обличать основателя скептической школы; но затѣмъ еще новое поколѣніе взяло его подъ свою защиту и вѣрнѣе оцѣнило заслугу Каченовскаго для своего времени ¹⁾. Это не былъ, конечно, большой талантъ; въ его журнальной дѣятельности было много странностей, тяжеловѣсной неловкости; раздраженіе выводило его иногда изъ предѣловъ благоразумія; въ ученыхъ своихъ мнѣніяхъ онъ нерѣдко переступалъ мѣру; во мнѣніяхъ литературныхъ, онъ, угрюмый классикъ и немного старовѣръ, былъ цѣлью остроумія поклонниковъ Карамзина и веселыхъ романтиковъ — но при всемъ томъ, дѣятельность Каченовскаго въ русской исторіографіи по своимъ основнымъ мотивамъ составляетъ явленіе, заслуживающее уваженія и не лишенное своихъ результатовъ. Этихъ результатовъ не закроютъ ни нападки его литературныхъ враговъ на смѣшныя стороны его журнальной дѣятельности, и еще не менѣе нападки г. Погодина.

Заслуга Каченовскаго состояла въ постоянной и упорной защитѣ критическаго пріема и права историческаго сомнѣнія. У него не было ни увлеченія риторикой, ни малѣйшаго желанія «раскрасить» исторію. Единственнымъ авторитетомъ его была научная критика, какъ онъ тогда понималъ ее, извлекая ея правила изъ примѣра нѣмецкихъ ученыхъ. Первымъ руководителемъ его былъ Шлецеръ, котораго онъ высоко цѣнилъ. Каченовскому одному изъ первыхъ приходилось бороться въ защиту Шлецера противъ невѣжественныхъ притязаній людей, которые бросали тѣнь на этого писателя и его мнѣнія изъ-за того, что онъ былъ иностранецъ, и при этомъ самихъ себя выставляли защитниками отечества, вѣры и добродѣтели. Защищая въ этомъ

¹⁾ См. разныя статьи г. Кавелина, въ его Сочин., т. II. Ср. отзывъ г. Рѣдкина въ его автобіографіи: онъ положительно называетъ Каченовскаго «*первымъ критикомъ отечественной исторіи*»; и замѣчаетъ, что «болѣе всѣхъ онъ обязанъ (въ университетѣ) лекціямъ по русской исторіи Каченовскаго, въ отношеніи не столько самаго содержанія, сколько *ученыхъ пріемовъ*». (Биогр. словарь моск. унив. II, стр. 380). Новую и справедливую оцѣнку Каченовскаго представляетъ еще г. Иконниковъ въ своей книжкѣ: «Скептическая школа въ русской исторіографіи и ея противники» (илъ Кіев. унив. Извѣстій). Кіевъ, 1871.

смыслѣ Шлёцера, Каченовскій и самъ вообще нисколько не боялся подобныхъ нареканій, и смѣло выступалъ противъ Карамзина, когда послѣдній былъ на верху своей славы и когда стать противъ него значило навлечь на себя ожесточенную вражду его многочисленныхъ поклонниковъ. Написанный Каченовскимъ разборъ Карамзинскаго предисловія, т.-е. общихъ понятій Карамзина объ исторіи, объ основныхъ ея началахъ и требованіяхъ, объ ея моральномъ значеніи, этотъ разборъ ¹⁾ вовсе не такъ незначителенъ, какъ хотѣли представлять приверженцы Карамзина: въ немъ высказано много вѣрныхъ замѣчаній о самыхъ существенныхъ недостаткахъ Карамзинской манеры, и о настоящихъ требованіяхъ исторіи какъ науки. Вѣрная точка зрѣнія въ этомъ случаѣ дана была Каченовскому именно внимательнымъ изученіемъ критическихъ приѣмовъ у нѣмецкихъ историковъ. Въ разборѣ предисловія, Каченовскій между прочимъ замѣтилъ, что во фразѣ Карамзина: «Знаніе всѣхъ правъ въ свѣтѣ, *ученость нѣмецкая*, остроуміе Вольтерова, ни самое глубокомысліе Макиавелево, въ историкѣ не замѣняютъ таланта изображать дѣйствіе», — французскіе переводчики «Исторіи» Карамзина вмѣсто «нѣмецкая» поставили «обширнѣйшая». Каченовскій ловить ихъ на этомъ: «Французская гордость не разсудила за благо упомянуть объ *учености нѣмецкой!* Нѣтъ, милостивые государи! не *обширнѣйшая*, а именно *нѣмецкая* ученость важна для русскаго историка. Признательный авторъ не скрываетъ, кому онъ обязанъ всѣмъ тѣмъ, что объяснено въ древней нашей исторіи, онъ очень знаетъ, что не имѣвши такихъ предшественниковъ, каковы, напримѣръ, *Байеръ, Миллеръ, Тунманнъ, Штринггеръ*, а особливо знаменитый *А. Шлецеръ*, намъ очень мудро было бы предпринять путешествіе къ храму исторіи; и теперь еще путь къ нему безпрестанно углаживается учеными германцами», и проч.

Дѣйствительно, безъ названныхъ ученыхъ мудренѣе было бы предпринять путешествіе ко храму русской исторіи. Понятно, что при этомъ важно было не столько количество разрѣшенныхъ ими вопросовъ, сколько критическій методъ. Безъ сомнѣнія, въ этомъ послѣднемъ много научился отъ нихъ и Карамзинъ, въ своихъ частныхъ изслѣдованіяхъ. Каченовскій ближе держался къ ихъ приѣмамъ, и потому уже не могъ поддаться той сантиментальной идеализаціи, которая въ Карамзинѣ казалась такъ увлекательна для массы читателей и такъ непріятна для людей съ болѣе строгими требованіями. Уваженіе къ нѣ-

¹⁾ «Вѣстн. Европы», 1818—1819.

мелкой наукѣ, много разъ и въ другихъ случаяхъ высказанное Каченовскимъ, было именно уваженіе къ принципу критики.

Новымъ шагомъ въ его ученыхъ мнѣніяхъ было знакомство съ Нибуромъ. Знаменитая книга Нибура о римской исторіи (1811—32) произвела на него сильное впечатлѣніе, какъ цѣлая система критики, выходящей изъ историческаго скептицизма. Признанное высокое достоинство трудовъ Нибура было для него ручательствомъ, что наука оправдываетъ тѣ скептическіе приемы, которые были употреблены имъ самимъ. Онъ сталъ пользоваться ими смѣле, и уже вскорѣ началъ съ меньшимъ довѣріемъ относиться къ самому Шлѣцеру, который былъ прежде его авторитетомъ. Въ нашей литературѣ Нибуръ былъ, кажется, впервые указанъ Лелевелемъ, въ его статьяхъ объ исторіи Карамзина ¹⁾. Затѣмъ сталъ говорить о новой критикѣ Каченовскій ²⁾. «Мы стоимъ на прагѣ неожиданныхъ перемѣнъ въ понятіяхъ нашихъ о ходѣ происшествій на сѣверѣ въ давно-минувшіе вѣки. Наступитъ время, когда мы удивляться будемъ тому, что съ упорствомъ и такъ долго оставались во мглѣ предубѣжденій, почти невѣроятныхъ. Утѣшимся же, если мысль сія можетъ показаться непріятною для самолюбія нашего! Примѣръ передъ глазами: таковы ли нынѣ первые вѣки Рима, какими представлялись они взорамъ ученыхъ до Нибура?» Онъ думалъ, что можетъ примѣнить тѣ же требованія къ русской старинѣ, и смѣло беретъ на себя отвѣтственность своихъ сомнѣній и отрицаній. «Очень понимаю,—говоритъ онъ, приступая къ изложенію своихъ скептическихъ мнѣній о Русской Правдѣ, противъ послѣдователей Карамзина, — на что отвѣщается изслѣдователь, дерзающій отвергать положеніе, принятое всѣми за истину очевидную, несомнительную, не требующую никакихъ доказательствъ, не уязвленную никакими стрѣлами опроверженій, запечатлѣнную довѣріемъ Татищева, Шлѣцера, князя Щербатова, Болтина, Карамзина, Раковецкаго, Эверса, скажу болѣе за истину, освященную благороднымъ патріотизмомъ соотечественниковъ, гордящихся величественною мыслию, что Россія во времена столь отдаленныя уже имѣла систему своихъ писанныхъ законовъ. Можетъ быть, навлеку на себя тучу возраженій; но я самъ нетерпѣливо буду ждать оныхъ... Цицеронъ упоминаетъ о двухъ непреложныхъ законахъ для исторіи: 1) не смѣть говорить ничего ложнаго; 2) смѣло предлагать истинное» и проч.

¹⁾ Сѣв. Арх. 1822—23.

²⁾ Вѣстн. Евр. 1826, и далѣе.

Сомнѣнія Каченовскаго, въ самыхъ существенныхъ пунктахъ, оказались несостоятельными; но если мы станемъ разсуждать, чѣмъ трудамъ въ особенности слѣдуетъ приписать разоблаченіе сентиментальной идеализаціи, которая покрываетъ у Карамзина древнѣйшій періодъ, эту заслугу надо будетъ въ очень большой степени признать за Каченовскимъ. Онъ первый настаивалъ на необходимости строго наблюдать и проверять общую вѣроятность историческихъ данныхъ о древнемъ періодѣ, на этомъ именно основывая свои отрицанія, и если преувеличилъ ихъ черезъ мѣру, то первый конечно внушилъ болѣе здравый и естественный взглядъ на русскую старину, чѣмъ какой распространяла «Исторія государства Россійскаго». Его положительное отвращеніе къ патріотической риторикѣ, столько сильной еще и до сихъ поръ, внушаетъ особенное уваженіе въ то время, когда эта риторика была всеобщей манерой относиться къ прошедшему (и настоящему). Приведенные нами отзывы его учениковъ и людей, еще заставшихъ конецъ его дѣятельности, удостовѣряютъ, что плодъ подобныхъ взглядовъ въ умахъ порядочныхъ былъ именно таковъ, какого надо было ожидать: Каченовскій казался учителемъ исторической критики людямъ, за которыми должно признать пониманіе дѣла и знаніе старой русской исторіи.

За Каченовскимъ, какъ писатель также весьма характеристическій въ ходѣ развитія нашей исторіографіи, слѣдуетъ Полевой. Это развитіе шло такъ быстро, что Полевой былъ забытъ очень скоро; его сочиненія — мы разумѣемъ здѣсь только сочиненія его перваго періода, въ «Телеграфѣ» и въ «Исторіи Русскаго Народа» — потеряли свое непосредственное значеніе и сохранили только чисто историческое; самые труды были исполнены слишкомъ поспѣшно, не представляя вполне развитыхъ мыслей и законченныхъ изслѣдованій, почему и значеніе ихъ было такъ кратковременно, — при всемъ томъ «Исторія Русскаго Народа» была по времени явленіемъ замѣчательнымъ. Какъ было у Каченовскаго, такъ и у Полеваго господствующей задачей было примѣнить къ русской исторіи тѣ выводы и тѣ методы изслѣдованія, какіе были тогда выработаны европейской наукой. То, къ чему онъ стремился, было дѣйствительной потребностью для русской науки. Въ своемъ журналѣ, который въ первомъ десятилѣтіи описываемаго періода былъ безъ сомнѣнія лучшимъ отголоскомъ тогдашней умственной жизни, онъ постоянно указывалъ новыя явленія европейской науки, которыя, по его мнѣнію, должны были быть восприняты нашей образованностью и примѣнены къ изученію русской жизни. Его раздражало незна-

комство нашего общества съ этими успѣхами европейскаго знанія, и онъ съ лихорадочною поспѣшностью стремился усвоить ихъ нашей литературѣ. «У насъ—говорилъ онъ съ досадою въ своемъ журналѣ—переводятъ нѣмецкую дрянъ прошлаго вѣка, подъ именемъ исторій, географій, юридическихъ книгъ, и въ голову не придетъ переводчикамъ ни Нибуръ, ни Риттеръ, ни Савиньи». Досада была очень справедлива.

Полевой вполне признавалъ заслугу Карамзина. «Онъ создавалъ и матеріалы, и сущность, и слогъ исторіи, былъ критикомъ лѣтописей и памятниковъ, генеалогомъ, хронологомъ, палеографомъ, нумизматомъ. Своимъ трудомъ онъ вызвалъ рядъ изслѣдователей и издателей матеріаловъ. Таковы гр. Румянцевъ, Калайдовичъ, Строевъ, Погодинъ, Востоковъ. Самая Академія Наукъ какъ будто ожила», и проч. Но Полевой столько же видѣлъ и недостатки Карамзина. Онъ прекрасный рассказчикъ, его великая заслуга состоитъ въ томъ, что по своему изящному изложенію книга его дѣлаетъ исторію доступной для всякаго читателя: но Карамзину совершенно недостаетъ основной историческо-философской мысли, которая бы давала смыслъ всему историческому развитію народа; недостаетъ истиннаго отношенія къ предмету — почему онъ переноситъ свои понятія на отдаленную древность, гдѣ они были невозможны; изъ дурно понятой любви къ отечеству подкрашиваетъ исторію и т. д. Упреки были опять совершенно справедливы, и въ «Исторіи Русскаго Народа», писанной какъ будто въ антитезъ «Исторіи государства Россійскаго», найдется не мало замѣчаній, гдѣ Полевой вѣрно исправляетъ ошибки Карамзина, и если самъ не угадываетъ точки зрѣнія, то подходит къ ней очень близко.

Главными образцами Полеваго въ исторической критикѣ были, на первомъ планѣ, Нибуръ, «первый историкъ нашего вѣка» (которому онъ нѣсколько простодушно и вмѣстѣ хвастливо посвятилъ свою книгу), затѣмъ въ особенности Гизо, Тьерри, Гееренъ. Это были дѣйствительно замѣчательнѣйшія имена тогдашней исторической науки, и изъ нихъ можно видѣть, къ чему долженъ былъ стремиться Полевой въ своей исторіи. Онъ хочетъ писать «философскую» исторію, которая бы не останавливалась на одной внѣшности событій, не рассказывала только единичные факты, наружно связанные хронологіей, но раскрывала бы ихъ внутреннія основанія и развитіе, объясняла бы ихъ естественную и необходимую послѣдовательность и т. д. Поэтому онъ пишетъ исторію не государства, а «народа», старается отыскать въ его исторической жизни общія явленія, управляющія

событіями, опредѣлить основныя формы быта, смѣнявшіяся въ различные періоды, и т. д.

Исполненіе не отвѣтило планамъ, но книга Полеваго не лишена отдѣльныхъ весьма вѣрныхъ замѣчаній объ этой «внутренней» жизни и заявила требованія, которыхъ уже не могли обойти послѣдующіе историки. Опровергнуть его теоріи было возможно, но для этого нужно было выработать также теоріи. Послѣ Полеваго, изученіе русской исторіи замѣчательно расширяется именно по теоретическимъ основаніямъ, по объему изслѣдованій, которыя обратились именно къ тому, чтобы освѣтить общимъ принципомъ отдѣльные факты исторической жизни. Это расширеніе изысканій было результатомъ ближайшаго знакомства съ европейскою наукою, на необходимости котораго Полевой настаивалъ. Значеніе новой исторіографіи объяснилось, и если примѣненія ея правилъ къ русской исторіи были у Полеваго слишкомъ поспѣшны, то въ послѣдующихъ трудахъ эти правила примѣнялись уже съ бѣльшимъ и положительнымъ успѣхомъ.

Въ тридцатыхъ годахъ въ нашей наукѣ обнаружилось особенное движеніе. Можно сказать, что въ это время начинается въ нашей исторіографіи новый періодъ. Внѣшнее основаніе къ этому дала правительственная инициатива, которая, въ министерство Уварова, открыла возможность новыхъ историческихъ предпріятій. Мы говоримъ, на примѣръ, объ учрежденіи археографической экспедиціи и о мѣрахъ для образованія новыхъ профессоровъ въ наши университеты. Изданіе памятниковъ было до тѣхъ поръ почти исключительно дѣломъ частныхъ лицъ: памятное имя графа Румянцева стоитъ во главѣ людей, которые способствовали трудамъ этого рода. Теперь явилась мысль, что собраніе историческихъ памятниковъ должно быть и дѣломъ правительства, какъ предпріятіе служащее къ національной славѣ. Археографическая экспедиція объѣхала значительную часть Россіи и собрала массы матеріала; начались изданія археограф. комиссіи, которыя стали съ тѣхъ поръ основаніемъ для многоразличныхъ изслѣдованій о русской древности, — хотя, какъ теперь высказываютъ новѣйшіе археографы, самыя изданія, при тогдашнихъ ученыхъ силахъ, и не были достаточно удовлетворительны въ критическомъ смыслѣ. Съ другой стороны, приняты были мѣры къ увеличенію и улучшенію ученаго сословія. Основанъ былъ такъ-называемый профессорскій институтъ — въ Дерптѣ, и сами учредители имѣли при этомъ ту мысль, что здѣсь всего удобнѣе можетъ быть почерпнута нѣмецкая наука. Дерптскій университетъ былъ дѣйствительно совершенно нѣмец-

кій. Образовавшіеся тамъ профессора дѣйствовали до послѣднихъ годовъ, и нельзя не признать, что большинство изъ нихъ сѣумѣли усвоить правильные научные методы, выработанные ученой Германіей, и дать имъ мѣсто въ русской литературѣ. Затѣмъ много будущихъ профессоровъ отправлено было для довершенія своихъ изученій за-границу; значительную долю между ними составляли люди, выбранные особо для изученія законовѣдѣнія, по мысли Сперанскаго, который, рядомъ съ составленіемъ Полнаго Собранія и Свода Законовъ, хотѣлъ приготовить и школу раціональных юристовъ. Правительственная инициатива имѣла свои ближайшія утилитарныя цѣли, но и по ея мнѣнію единственнымъ средствомъ къ достиженію этихъ цѣлей было обращеніе къ нѣмецкой наукѣ. Въ то время (въ первыхъ тридцатыхъ годахъ) нѣмецкіе университеты и наука не представлялись правительству въ такомъ подозрительномъ свѣтѣ, какъ было прежде и какъ еще случилось послѣ. Господствующія школы и личности тогдашней нѣмецкой науки шли изъ той поры, когда она стремилась успокоиться отъ политическихъ волненій; съ одной стороны господствовала умѣренная школа гегелевской философіи, которая искала примиренія съ дѣйствительностью и стала государственной прусской философіей, а съ другой была на верху своей славы знаменитая историческая школа права, школа, по своимъ принципамъ и идеаламъ, преимущественно консервативная. Сперанскій именно адресовалъ своихъ кліентовъ къ Савиньи, главѣ этой школы, и отдалъ ихъ подъ его непосредственное руководство. Савиньи и другія знаменитости берлинскаго и другихъ университетовъ Германіи, принадлежавшіе отчасти той же школѣ стали вообще высшими авторитетами для нашихъ юристовъ и историковъ. Въ біографіяхъ этихъ послѣднихъ и ихъ собственныхъ разсказахъ о томъ времени можно видѣть, какое сильное впечатлѣніе производила на нихъ эта наука, которую они видѣли здѣсь въ-очію въ ея знаменитѣйшихъ представителяхъ, съ авторитетомъ глубокаго знанія и строгой системы: это была умственная сила, которой они готовились быть участниками и въ которой почерпали сознаніе своей задачи и своего достоинства ¹⁾.

Эти странствованія русскихъ ученыхъ за-границу и близкое ознакомленіе съ нѣмецкой наукой составили безъ сомнѣнія боль-

¹⁾ См., напр., біографіи Неволіа, Рѣдкина, Крылова и проч.; статьи А. Благовѣщенскаго (также одного изъ посланныхъ тогда за-границу), въ Ж. Мин. Нар. Пр. 1835, ч. VI, Исторія методъ науки законовѣдѣнія; о воспитанникахъ Сперанскаго, въ «Р. Вѣстн.» 1871 и друг.

шую образовательную силу. Мы видѣли изъ примѣровъ Каченовскаго и Полеваго, что запросъ на эту науку ясно высказывался въ литературѣ еще ранѣе, чѣмъ явилась эта внѣшняя возможность непосредственно черпать изъ нѣмецкаго источника; Каченовскій преклонялся передъ Нибуромъ; Полевой кромѣ Нибура зналъ и Савиньи, Риттера и проч. Литература едва ли не была еще слишкомъ слабосильна, чтобы самой усвоить произведенія этихъ и подобныхъ имъ ученыхъ; Риттеръ и Савиньи на русскомъ языкѣ въ то время едва ли бы нашли достаточно читателей. Посланный за-границу контингентъ инымъ образомъ усвоивалъ результаты нѣмецкой науки, изъ непосредственнаго знакомства съ замѣчательнѣйшими личностями и ученіями Германіи: отчасти наши ученые еще застали самого Гегеля, а послѣ его ближайшихъ учениковъ; юристы слушали Савиньи, Кленце, Эйхгорна, Рудорфа, Ганса; юристы и историки слушали и изучали Ранке, Риттера, Бѣка, Шлейермахера и т. д. и т. д. Были наконецъ любознательные люди, которые безъ официальныхъ порученій проходили ту же школу, какъ Ив. Кирѣевскій, нѣсколько позднѣе Станкевичъ и многіе другіе. Возвратившіеся ученые заняли кафедры права и исторіи въ университетахъ, и внося новые взгляды и методы своей науки вообще, вмѣстѣ съ тѣмъ отмѣтили новый періодъ и въ изученіяхъ собственно русской жизни. Таковы въ ученой разработкѣ права и въ профессорскомъ преподаваніи имена Неволіна, Калмыкова, Куницына, Иванишева, Рѣдкина, Крылова, не упоминая людей менѣе замѣчательныхъ. Уже въ слѣдующемъ десятилѣтіи результаты новыхъ вліяній оказались на изученіи русскаго права и вообще русской исторіи: съ одной стороны впервые примѣнены были къ древнимъ памятникамъ строгіе приемы историко-юридической критики; съ другой, рядомъ съ этимъ, расширилась общая историческая точка зрѣнія. Ближайшее поколѣніе ученыхъ, образовавшихся уже въ Россіи, но подъ вліяніями этой вновь пересаженной науки, и усвоившихъ ея средства, ставятъ изученіе русской исторіи совершенно новымъ, оригинальнымъ образомъ: это была первая раціональная постановка, съ которой начинается серьезная научная критика основныхъ элементовъ старой исторической жизни. Назовемъ въ этомъ новомъ ряду ученыхъ въ особенности Д. Валугева, Н. Калачова, Кавелина, Павлова, Соловьева.

Въ концѣ тридцатыхъ и въ началѣ сороковыхъ годовъ продолжались, хотя въ меньшемъ размѣрѣ, пилигримства русскихъ ученыхъ въ европейскіе, особенно нѣмецкіе университеты. Такія же вліянія, какъ въ правѣ, оказывала нѣмецкая наука въ

исторіи и филологіи, съ ихъ различными связями и развѣтвленіями. Наконецъ, для новаго расширенія русской исторіи и изученія народности открывался еще одинъ, до того времени почти неизвѣстный путь, — изученіе славянства, получившее первую дѣйствительную поддержку въ учрежденіи славянскихъ кафедръ въ университетахъ. Наличныя ученія средства опять были явнымъ образомъ недостаточны, и для основанія новыхъ кафедръ были опять устроены путешествія будущихъ славистовъ по славянскимъ землямъ. Эти путешественники стали настоящими основателями славянскихъ изученій у насъ: гг. Бодянскій, Григоровичъ, Прейсъ, Срезневскій. И на этотъ разъ правительственная мѣра шла за мыслью, которая уже высказывалась въ ученomъ кругу: необходимость изученія стараго славянскаго міра обнаруживалась при первомъ серьезномъ вниманіи къ русской древности; еще раньше указывали эту необходимость Каченовскій, Венелинъ; изслѣдованія древнихъ памятниковъ и языка приводили къ этому изученію Востокова, Калайдовича; случайныя встрѣчи русскихъ съ славянствомъ привлекали любознательность къ изученію этого родственнаго міра, и Пушкинъ черезъ французскіе переводы передавалъ сербскую народную поэзію; наконецъ, къ намъ стали доходить, въ двадцатыхъ годахъ, отголоски славянскаго движенія, особенно изъ Чехіи и Сербіи, и въ средѣ собственно литературной, внѣ университетской школы, являются тѣ же славянскія симпатіи, которыя впоследствии развились въ цѣлую теорію, какъ, напр., у Хомякова, Д. Валюва и вообще у первыхъ славянофиловъ. Съ интересомъ научно-литературнымъ связывался, особенно у славянофиловъ, и интересъ національно-политическій, сначала неясный, потомъ болѣе и болѣе опредѣленный, который до извѣстной степени руководилъ, безъ сомнѣнія, и правительственной инициативой. Упомянутые ученые путешественники вернулись изъ своихъ странствій съ первымъ отчетливымъ знаніемъ славянскихъ фактовъ, — съ различной, правда, степенью пониманія общаго историческаго и настоящаго національнаго вопроса, но съ одинаковой ревностью къ распространенію новаго ученія, которое дѣйствительно бросило корень съ (необширной, впрочемъ) школѣ ихъ учениковъ и въ ученой литературѣ.

Подъ всѣми этими вліяніями изученіе русской исторіи (все еще въ особенности древней) принимаетъ новое направленіе, которое вполне опредѣлилось къ сороковымъ годамъ. Это направленіе, впервые твердо ставшее на научной почвѣ въ объясненіи внутренняго процесса русской исторіи, характеризуется въ особенности трудами г. Соловьева, у котораго новая точка

зрѣнія была разработана въ наиболѣе обширномъ размѣрѣ съ первыхъ его диссертаций и до цѣлой «Исторіи Россіи», приводимой теперь къ концу.

Смыслъ новаго направленія обнаружился уже при самомъ началѣ въ столкновеніи его съ прежней школой. Г. Погодинъ почувствовалъ себя оскорбленнымъ и не могъ простить г. Соловьеву и другимъ ученымъ того же направленія, что они не идутъ подъ его опеку.

О существенной чертѣ дѣятельности г. Погодина мы уже упоминали. Это — одинъ изъ самыхъ характеристическихъ представителей въ литературѣ различныхъ взглядовъ, отличавшихъ систему официальной народности. Дѣятельность г. Погодина была весьма разнообразна, и во многихъ отношеніяхъ онъ сдѣлалъ извѣстныя пріобрѣтенія для русской исторіи. Онъ приготовлялся къ своимъ работамъ въ то время, когда въ разработкѣ русской исторіи получили право гражданства и утвердились критика Шлёцера, многоразличныя изслѣдованія и указанія Карамзина, точныя изысканія нѣмецкихъ ученыхъ, какъ Кругъ, Лербергъ, Френъ, вообще когда устанавливалась предварительная частная критика отдѣльныхъ фактовъ и происходили przygotowatелные работы, почти исключительно направлявшіяся на древній періодъ. Г. Погодинъ началъ свои труды, усвоивши это наслѣдіе. Нѣмецкіе ученые, какъ Кругъ, вообще тогда мало расположенные ожидать многого отъ русскихъ ученыхъ въ серьезной научной критикѣ, отдали всякую справедливость и похвалу первымъ изслѣдованіямъ г. Погодина по русской древности. Предметъ этихъ первыхъ изслѣдованій остался навсегда любимымъ предметомъ г. Погодина: это былъ такъ-называемый имъ норманнскій періодъ; — потомъ онъ считалъ себя какъ будто исключительнымъ хозяиномъ этого періода. Изслѣдованія г. Погодина главнымъ образомъ направлялись всегда на критику частныхъ, и въ этомъ смыслѣ онъ разъяснилъ нѣсколько отдѣльныхъ вопросовъ нашей древней исторіи. Но критика г. Погодина была чисто внѣшняя; опредѣляя самъ свои приемы, онъ назвалъ ихъ «математическимъ» методомъ, — иначе говоря, это былъ счетъ по пальцамъ фактовъ, записанныхъ въ лѣтописи, приемъ весьма элементарный, при которомъ у него ускользала самая сущность вопроса. Дальше тѣхъ приемовъ, съ какихъ онъ началъ, г. Погодинъ не пошелъ. Съ «математическимъ» методомъ весьма естественно соединилась вражда ко всякимъ теоріямъ и обобщеніямъ, которыя бы разъяснили самый смыслъ фактовъ, ихъ связь и послѣдовательность, словомъ, внутреннее развитіе явленій: г. Погодинъ отвергалъ все это какъ «вышіе взгляды», и въ этомъ

смыслѣ полемизировалъ съ новой школой, т.-е. съ г. Соловьевымъ и другими. Г. Погодину еще съ тѣхъ поръ вообразилось, что его кто-то поставилъ дядькой надъ русской исторіей; онъ считалъ себя въ правѣ дѣлать выговоры, замѣчанія, даже не совсѣмъ благовидно обвинять. Полемика его противъ новыхъ историковъ, нерѣдко совершенно неприличная достоинству оберегаемой имъ науки, кончилась тѣмъ, что на него перестали обращать вниманіе, потомъ стали смѣяться надъ нимъ. Это отношеніе къ себѣ онъ конечно заслужилъ; дядькой онъ считаетъ себя до сихъ поръ и еще недавно читалъ выговоры г. Костомарову, столь же, если не болѣе неприличные, какъ нѣкогда г. Соловьеву.

Кромѣ изслѣдованій о древнемъ періодѣ, г. Погодинъ и въ другихъ работахъ дѣлалъ нѣчто полезное. Онъ издавалъ переводныя книги по всеобщей и русской исторіи, печаталъ историческіе матеріалы, въ своемъ журналѣ давалъ много мѣста разнаго рода историческимъ изслѣдованіямъ. Онъ составилъ наконецъ большую историческую коллекцію, гдѣ собралъ не мало замѣчательныхъ памятниковъ старой письменности, матеріаловъ для новѣйшей русской исторіи, разнаго рода древностей, — все это составило богатое «древлехранилище», которое г. Погодинъ выгодно потомъ продалъ въ Публичную Библіотеку, въ Петербургѣ. Наконецъ, г. Погодинъ содѣйствовалъ и изученію славянства. Вмѣстѣ съ Шевыревымъ, онъ издалъ «*Institutiones linguae slavicae*» Добровскаго, въ своемъ журналѣ печаталъ свѣдѣнія о славянскихъ земляхъ, завязывалъ личныя сношенія съ славянскими учеными, распространялъ по своему славянскія тенденціи, и т. п.

Но мы напрасно искали бы у г. Погодина какого-нибудь цѣльнаго взгляда на русскую исторію, кромѣ того, какой мы указывали. Какъ противникъ «высшихъ взглядовъ», онъ и не имѣетъ ихъ; онъ разбираетъ иногда остроумно отдѣльныя явленія, но не понимаетъ внутренняго хода развитія. Поэтому, всякій разъ, когда онъ хочетъ объяснить историческое движеніе, броситъ взглядъ на общую судьбу народа, на главные моменты его исторической жизни, — всѣ его размышленія оканчиваются совершенно пустыми фразами о русскомъ величіи, о громадности имперіи, о неисповѣдимыхъ путяхъ и т. п. Русская исторія представляется ему рядомъ чудесъ, передъ которыми онъ изумляется, чувствуетъ благоговѣніе, приходитъ въ священный ужасъ, наконецъ даже прорицаетъ. Его критики еще въ сороковыхъ годахъ замѣтили эту черту и справедливо называли взглядъ г. Погодина «мистическимъ созерцаніемъ». Въ научномъ смы-

слѣ оно конечно не стоило ровно ничего; но оно имѣло другія примѣненія.

Мистическое созерцаніе г. Погодина въ исторіи сопровождалось особой публицистической теоріей, о которой мы упомянемъ только нѣсколькими словами. Изъ того, какъ онъ отзывался о прошедшемъ Россіи, можно себѣ представить, чтѣ онъ говорилъ объ ея тогдашнемъ настоящемъ. Г. Погодинъ чувствовалъ себя въ лучшемъ изъ міровъ. Сравнивая старую русскую исторію съ западной, онъ постоянно въ этомъ убѣждался: и сколько съ западной исторіи находилъ неразумнаго, несправедливости и угнетенія, столько въ русской—разумности, патриархальной простоты и добродѣтели. Исходный пунктъ развитія указывалъ онъ въ томъ, что на западѣ государства образовались вслѣдствіе завоеванія, а у насъ вслѣдствіе мирнаго призванія. Это послѣднее противоположеніе казалось г. Погодину аксіомой, и онъ извлекалъ изъ нея много выгодныхъ для Россіи послѣдствій; но кромѣ того исторія Россіи совершалась еще рядомъ чудесныхъ вмѣшательствъ и неисповѣдимыхъ вожденій, и отсюда процвѣтаніе Россіи. О Западѣ г. Погодинъ былъ невысокаго мнѣнія, и самонадѣянность нашего историка доходила до того, что Германію онъ называлъ нашими «пятидесятыми губерніями». Понятно, какіе практическіе выводы слѣдовали отсюда для настоящаго; мораль басни подходила очень близко къ тому, чтѣ въ то же время проповѣдывала «Сѣверная Пчела». Это была грубо-высокопарная лесть существующему порядку, и съ другой—засыванье въ новую славянскую политику, которое впрочемъ тогда публикѣ оставалось не вполнѣ извѣстно¹⁾. Какъ мы замѣтили, современники очень хорошо понимали научную цѣну этого паѳоса, равнявшуюся нулю, и справедливо сравнивали «Взглядъ на русскую исторію» г. Погодина съ напечатанными тогда образчиками лекцій профессора прошлаго вѣка, Чеботарева, который приступалъ къ своему изложенію съ риторическими тирадами, нисколько не уступавшими тирадамъ г. Погодина. Неудивительно, что другіе встрѣчали паѳосъ г. Погодина со смѣхомъ, совершенно естественнымъ; и неудивительно также, что это отношеніе къ г. Погодину и его сотоварищу Шевыреву распространялось въ значительной мѣрѣ и на славянофиловъ, которые тогда вовсе не довольно строго отдѣляли себя отъ этихъ тенденцій и этого способа выраженія.

Первые труды г. Соловьева старая школа обвинила въ легко-

¹⁾ Г. Погодинъ только позднѣе напечаталъ нѣкоторые тогдашнія свои записки объ этихъ предметахъ.

мысли и почти неблагонамѣренности, во всякомъ случаѣ въ непочтительности къ старшимъ, — какъ и слѣдовало ожидать отъ этой школы. Взгляды г. Соловьева были дѣйствительно сильнымъ ударомъ для нея: на глазахъ у самозваннаго надзирателя русской исторіи, она принимала новый видъ и направленіе. Труды г. Соловьева старая школа желала подвести подъ ту же категорію «высшихъ взглядовъ», которые были ей ненавистны, и противъ которыхъ она имѣла нѣкоторое право возставать, по поводу Полеваго. Но школа не видѣла, или не хотѣла видѣть, что теперь это не были уже произвольныя приложенія готовыхъ теорій къ недостаточно изученнымъ и провѣреннымъ фактамъ, а совершенно опредѣленные общія положенія, которыя и выставлялись именно потому, что ихъ подтверждала цѣлая послѣдовательность фактовъ. Г. Погодинъ и другіе историки его стила, замѣчали, правда, извѣстныя общія явленія старой исторіи, напр., господство между князьями родовыхъ отношеній и т. п., но его замѣчанія оставались отрывочными и безсвязными. Самъ г. Погодинъ никогда не умѣлъ собрать своихъ понятій въ что-нибудь цѣльное. Его историческое мышленіе высказывалось всего чаще такими произвольными и риторическими разсужденіями, какъ его фразы о чудесныхъ путяхъ русской исторіи, какъ его сравненія между древней русской и западной исторіей, или восклицанія о томъ, что призваніе Рюрика «безсмертно въ русской исторіи», что «Москва есть корень, зерно, сѣмя русскаго государства» (это даже и странно), что славянскіе народы «составляютъ съ нами одно живое цѣлое, соединены съ нами неразрывными узами крови и языка» (и однако же разорваны отъ насъ?), что своими естественными произведеніями «мы можемъ надѣлать Европу, не имѣя нужды ни въ какомъ изъ ея товаровъ» (смѣлое сужденіе, достойное Ивана Александровича Хлестакова). Новая историческая школа никогда не высказывала подобныхъ смѣлыхъ мыслей и не занималась такой риторикой; г. Погодинъ и не понималъ этой школы.

Защищая свою диссертацию: «Исторія отношеній между русскими князьями Рюрикова дома» (1847), г. Соловьевъ въ своей рѣчи высказалъ мысль, что у насъ заботились до тѣхъ поръ особенно о томъ, какъ раздѣлить русскую исторію, что теперь надо, напротивъ, стараться соединить ея части въ одно цѣлое, связать раздробленное и неправильно противопоставленное; надо возсоздать наукой живой организмъ русской исторіи, а онъ уже самъ укажетъ на раздѣленіе необходимое и естественное. Современные критики справедливо замѣчали, что это былъ пріемъ, до тѣхъ поръ невиданный въ русской исторической литературѣ,

и результатомъ его былъ новый взглядъ на государственную жизнь древней Россіи. При этомъ взглядѣ отстраняются случайныя, поверхностныя представленія объ эпохахъ русской исторіи и открывается дѣйствительное, органическое ея развитіе. Такъ, по мнѣнію г. Соловьева, удѣлы, которымъ придавалась такая важность, не существовали до XIII-го столѣтія, и послѣ не имѣли большого значенія. Такъ онъ ограничивалъ вліяніе монгольскаго ига, и давалъ ему только второстепенное значеніе. Въ свое изслѣдованіе онъ не допускалъ никакихъ мистическихъ истолкованій и преобразованій, никакой реторики. Отстранивъ такимъ образомъ всѣ случайныя явленія, закрывавшія истинный ходъ развитія, изслѣдователь имѣетъ возможность наблюдать существенное движеніе исторіи и ея настоящія основанія. Положительное содержаніе взглядовъ г. Соловьева составляла извѣстная теорія родового быта, по которой древняя Россія въ своей государственной жизни представляла сначала господство родовыхъ отношеній, которыя постепенно замѣняются государственными и окончательно падаютъ при Иванѣ Грозномъ, въ его борьбѣ съ боярствомъ. Этимъ завершился одинъ періодъ русской исторіи, и съ новой династіей Россія вступаетъ въ новый періодъ своего существованія.

Разсматривая эту пору нашей исторіографіи теперь, черезъ двадцать-пять лѣтъ, въ теченіе которыхъ новый взглядъ вполне высказался и когда онъ уже до значительной степени определенъ, дополненъ и ограниченъ другими теоріями,—мы все-таки должны признать за идеями г. Соловьева то значеніе, которое было приписано имъ тогдашней критикой. Дѣйствительно, это былъ взглядъ, впервые начинавшій у насъ органическую, внутреннюю исторію. Въ научномъ смыслѣ, труды г. Соловьева и его современниковъ и товарищей стояли безъ сомнѣнія выше всего, что имъ предшествовало; это были изслѣдованія, вообще говоря, стоявшія на уровнѣ европейской науки. Тотъ порывъ къ усвоенію критическаго метода европейской науки, который такъ рѣзко и нѣсколько простоудушно высказывается у Каченовскаго и Полеваго,—здѣсь уже оканчивается: новый изслѣдователь приступаетъ къ дѣлу уже знакомый съ новыми требованіями исторической критики, понимаетъ и примѣняетъ ихъ не внѣшнимъ образомъ, а вводитъ ихъ въ весь процессъ своего разсужденія.

Направленіе, которое можно характеризовать трудами г. Соловьева, было вообще направленіе, или лучше сказать историческій пріемъ цѣлаго ряда болѣе или менѣе замѣчательныхъ изслѣдователей, начавшихъ дѣйствовать въ то время. Это была цѣлая группа ученыхъ, которые были свободны отъ старой ру-

тины, которые вносили въ свое изученіе новые методы историческаго и юридическаго изслѣдованія національной жизни, какъ цѣлое воззрѣніе; они стояли на уровнѣ исторической науки своего времени, и понимали исторію не какъ мертвую номенклатуру фактовъ, подкрашенную риторикой, а какъ теоретическое объясненіе живого явленія, совершавшагося по извѣстнымъ законамъ: старина для нихъ уже тѣсно связывалась съ настоящимъ, какъ части одного силлогизма. Своими общими стремленіями и взглядомъ на вещи, эта группа не отдѣлялась отъ живыхъ интересовъ лучшей части литературы, и тѣмъ самымъ не лишала себя тѣхъ плодотворныхъ возбужденій, какія вообще наука получаетъ отъ жизни. Оттого историческая школа сороковыхъ годовъ и была такъ плодотворна для изученія русской исторіи и современной народной дѣйствительности: она не обняла предмета со всѣхъ сторонъ, но приступила къ нему съ вѣрными приѣмами. Многія имена изъ этого ученаго круга останутся памятны въ русской исторіографіи; таковы имена гг. Кавелина, Калачова, П. Павлова, Д. Валугева, Афанасьева, г. Буслаева, К. Аксакова и друг.

При этихъ именахъ невольно вспоминается весь литературный кружокъ конца тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ, къ которому нѣкоторые изъ названныхъ лицъ тѣсно примыкали,—кружокъ писателей, которые, не бывши специалистами русской исторіи, немало содѣйствовали ея успѣху распространеніемъ общихъ воззрѣній европейской науки, кружокъ, гдѣ соединялись разнообразныя умственные интересы, проникавшіе въ то время въ нашу литературную среду. Чаадаевъ, Грановскій, Герценъ, Бѣлинскій, наконецъ славянофилы съ своей точки зрѣнія, ставили изслѣдованію совсѣмъ инныя требованія, чѣмъ ставились до того времени; общій уровень понятій возвышался, а вмѣстѣ съ тѣмъ разработка русской исторіи становилась серьезнѣе и многостороннѣе.

Невозможно отвергать того вліянія, какое въ этихъ условіяхъ оказывала европейская наука. Здѣсь уже не можетъ быть рѣчи о какомъ-нибудь спеціальномъ вліяніи тѣхъ или другихъ писателей; напротивъ, скорѣе дѣйствовалъ тутъ весь объемъ новыхъ понятій, принесенныхъ самими различными изученіями—и нѣмецкой философій Гегеля, и исторіей права, въ смыслѣ Савиньи, и новой національно-бытовой исторіей, въ смыслѣ Гизо и Тьерри, и изученіемъ народной старины, въ смыслѣ Гримма и т. д. Славянофилы имѣли слабость упрекать г. Соловьева и другихъ защитниковъ теоріи родового быта, что они — послѣдователи нѣмца Эверса, что ихъ направленіе—не русское. Привер-

женцы теории и не отвергали, что она впервые дана Эверсомъ, прямо признавали, что «старанія новѣйшихъ ученыхъ уяснять родовыя отношенія, игравшія столь важную роль въ первоначальномъ бытѣ нашихъ предковъ... непосредственно связываются съ основной идеей Эверса», и вообще весьма высоко ставили этого ученаго; но совершенно ясно было изъ всего ихъ отношенія къ Эверсу, что они приписывали ему это значеніе именно потому, что онъ первый сталъ объяснять древній русскій бытъ съ естественной точки зрѣнія, принявши для этого въ основаніе общій ходъ развитія у всѣхъ народовъ государственнаго быта изъ патріархальныхъ отношеній, и первый показалъ самый способъ разработки древнихъ русскихъ памятниковъ съ этой точки зрѣнія. Теорія Эверса была самая вѣрная (т.-е. всего болѣе объяснявшая), какая существовала въ тогдашней наукѣ, и тогда она еще не была опровергнута никакой другою теоріей; эта теорія была принята нашими учеными именно потому, что всего больше отвѣчала тѣмъ историческимъ взглядамъ, какіе они пріобрѣтали вообще изъ всего тогдашняго изученія ¹⁾).

Новая точка зрѣнія въ особенности направила свое вниманіе на общія формы быта, на смыслъ учрежденій, на постепенное ихъ развитіе, усложнявшіяся отношенія и т. д. Наблюдая такимъ образомъ постепенное развитіе формъ политическихъ, отъ патріархальныхъ отношеній, наши историки съ успѣхомъ внесли тотъ же способъ объясненія и въ другую область народной жизни, — въ область міеологіи, обычая и преданія. Въ этомъ отношеніи между прочимъ любопытный примѣръ представляютъ труды г. Кавелина, изъ которыхъ наиболѣе замѣчательны въ этомъ смыслѣ: «Взглядъ на юридическій бытъ древней Россіи» (1848) и обширный разборъ книги Терещенки: «Бытъ русскаго народа». Въ первомъ изъ этихъ сочиненій онъ представлялъ съ своей стороны теоретическое изслѣдованіе на той же почвѣ, на которую сталъ г. Соловьевъ; во второмъ онъ дѣлаетъ для своего времени замѣчательный опытъ объясненія народнаго быта и преданій: примѣняя къ народной міеологіи, преданіямъ и обычаямъ тотъ способъ изслѣдованія, какой исторія юридическаго быта прилагала къ учрежденіямъ, авторъ не безъ успѣха разъяснял этотъ предметъ прежде, чѣмъ началось специальное изслѣдованіе его при помощи сравнительнаго языкознанія и сравнительной міеологіи. Историческая критика открывала здѣсь новый предметъ изученія; вступала на новый путь, безъ со-

¹⁾ Калачовъ, въ Архивѣ истор.-юр. свѣдѣній о Россіи; Сочиненія К. Аксакова, т. I, стр. 60—61.

миѣнія чрезвычайно плодотворный для уразумѣнія стараго народнаго быта. Это былъ одинъ изъ любопытныхъ опытовъ той внутренней исторіи, къ которой стала теперь стремиться наука. Впослѣдствіи, этнографическое изученіе у насъ значительно расширилось, но мы и до сихъ поръ не имѣемъ исторической картины народнаго быта по плану, черты котораго были обозначены г. Кавелинымъ. Въ томъ же смыслѣ изученія внутреннихъ процессовъ исторіи народа исполнялись труды г. Калачова, Д. Валуева, Аѳанасьева и проч. Изслѣдованіе бытовой исторіи народа приобрѣло въ эти годы такой интересъ, какого она никогда еще не представляла для нашихъ изыскателей. И здѣсь мы опять сходимся лицомъ къ лицу съ нѣмецкой наукой.

Эта отрасль науки, изученіе этнографіи, народной поэзіи и языка, въ тѣ годы соединялась у насъ по преимуществу съ понятіемъ народности, и распространеніе этого научнаго интереса считалась особеннымъ признакомъ народнаго «самосознанія». До извѣстной степени это было справедливо. Въ прежнія времена конечно не было такого интереса къ быту простого народа; въ восемнадцатомъ вѣкѣ у насъ, почти также какъ вездѣ въ Европѣ, пренебрегали народомъ какъ грубой, невѣжественной толпой; два-три благородные человѣка поднимали голосъ въ защиту его отъ крѣпостного и чиновничьяго угнетенія, начиналось отчасти любопытство къ народнымъ повѣрьямъ, пѣснямъ и быту, но никто не думалъ ввести серьезно народные интересы въ литературу; во времена карамзинской школы народъ являлся въ литературѣ только подъ видомъ «добрыхъ поселянъ» или «простыхъ, и нѣжныхъ поселяночекъ» въ смыслѣ сантиментальныхъ подражаній мечтамъ Руссо о «природномъ состояніи»; романтизмъ былъ не много ближе къ настоящему народу; наука тѣхъ временъ не видѣла интереса этнографіи. Такъ что въ ту пору, когда послѣ Гоголя народная жизнь была впервые и вполне естественнымъ образомъ введена въ литературу, когда обратилась къ народу самая наука, которая внимательно стала приглядываться къ его быту, нравамъ и обычаямъ, прислушиваться къ его пѣснямъ, сказкамъ, пословицамъ и повѣрьямъ, можно было дѣйствительно подумать, что ключъ къ «самопознанію» найденъ. Но оглядываясь теперь на сдѣланное въ этомъ направленіи, нельзя не увидѣть, что то были только начатки, первыя пробы знанія, которымъ едва ли возможно было приписать столько значенія, сколько имъ приписывалось. Мы скажемъ далѣе, какъ широко раздвинулись уже вскорѣ интересы этого знанія, а также и его приобрѣтенія. Кромѣ того, настоящіе размѣры тогдашнихъ изученій предста-

вятся намъ, кажется, яснѣе, если мы вспомнимъ, какъ много въ немъ мы были обязаны опять научнымъ вліяніямъ преимущественно Германіи. Новая этнографическая наука была наукой по преимуществу германской; то, что было сдѣлано нами по этому направленію для изученія нашей собственной народности, сдѣлано было — всего болѣе — примѣненіемъ методовъ нѣмецкой науки. Это примѣненіе было конечно естественно. Могутъ сказать, что не нужно было, разумѣется, выдумывать новыхъ методовъ, когда раціональные методы были уже извѣстны; мы бы ихъ и не заимствовали, еслибы у насъ самихъ не явилось потребности въ этихъ новыхъ изученіяхъ — слѣдовательно важность состоитъ въ самомъ обращеніи къ этимъ предметамъ, которое и было однимъ изъ признаковъ «самосознанія». Это справедливо, но въ подобномъ положеніи вещей обнаруживалась однако несамостоятельность нашей ученой литературы, и по этому одному трудно было бы ожидать отъ нея непогрѣшимыхъ и положительныхъ выводовъ относительно народности, — на которые однако она часто изъясняла притязанія. Дѣйствительно, не говоря о недостаточности одного специально-этнографическаго изученія для дѣйствительнаго уразумѣнія народной жизни, — нельзя не видѣть, что и здѣсь въ понятія нашихъ ученыхъ проникали не только научные методы, но и частныя тенденціи, составлявшія особенность самой нѣмецкой науки въ ту эпоху.

Первое правильное и раціональное изученіе народной древности и народной современной жизни со стороны ея бытовой поэзии составляетъ вполне достойное нынѣшняго столѣтія. Это — сравнительное языкознаніе, міеологія, этнографія, археологія и пр. Начавъ свое развитіе съ разныхъ сторонъ и подъ вліяніемъ различныхъ интересовъ, эти науки все больше и больше расширяли свою область, тѣсно связались другъ съ другомъ, и стремятся стать цѣлой многообъемлющей наукой народной психологіи. Быстрое, въ одно поколѣніе, созданіе науки сравнительнаго языкознанія, было почти вполне дѣломъ нѣмецкихъ ученыхъ. Съ одной стороны, послѣ романтическихъ указаній Фр. Шлегеля на Индію и міеологическихъ трудовъ Крейцера, вниманіе ученыхъ обратилось на восточное родство европейскихъ племенъ: послѣ первыхъ англійскихъ изслѣдователей индѣйской литературы развилось изученіе санскрита, въ которомъ увидѣли первобытный языкъ, по богатству стоявшій выше греческаго и переносившій въ еще болѣе глубокую древность. Геніальные труды Вильгельма Гумбольдта создавали новую науку языка и открывали невѣдомую доселѣ область историческаго из-

слѣдованія. Уже вскорѣ Францъ Боппъ издалъ знаменитую сравнительную грамматику языковъ арійскаго племени, раздѣленныхъ громадными пространствами и періодами времени, гдѣ исторія языка указала ихъ тѣсную генетическую связь и общее происхожденіе. Въ это сравненіе введены были тогда же и нарѣчія славянскаго языка, и указанъ былъ путь, къ которому должно было пристать и русской наукѣ, когда бы она хотѣла слѣдить за древнѣйшими временами народной исторіи.

Съ другой стороны, наука языкознанія исходила изъ преимущественно національнаго мотива, изъ обращенія къ старинѣ вслѣдствіе патріотическаго увлеченія идеалами народной древности, простотой народнаго быта, богатою однако лучшими движеніями здраваго ума и сердца—какъ это было у братьевъ Гриммовъ. Между знаменитыми трудами Якова Гримма особенное вліяніе въ тогдашней наукѣ пріобрѣли «Нѣмецкая міеологія» и «Древности нѣмецкаго права», гдѣ онъ научно и вмѣстѣ поэтически и съ любовью возстановлялъ германскую древность, еще до-христіанской поры, когда народъ самъ создавалъ свой бытъ, окружалъ его самобытными нравственно-религіозными и юридически-бытовыми представленіями, облекая ихъ въ живые міеѣческіе образы и полные смысла обряды. Гриммъ по справедливости считается основателемъ сравнительной міеологіи, которая—въ союзѣ съ сравнительнымъ языкознаніемъ—раскрывала наконецъ непонятный до того времени смыслъ народной религіи міеѣвъ и преданій, и бытовую философію древнихъ временъ. Ставя эту задачу относительно германской древности, которая, по извѣстному уже племенному родству, должна была представлять много общаго съ древностью славянской, Гриммъ въ своихъ сравнительныхъ изслѣдованіяхъ нерѣдко касался и этой послѣдней, бросая на нее свѣтъ новаго научнаго взгляда, — и здѣсь опять данъ былъ пунктъ, гдѣ русская наука естественно могла примкнуть къ той же точкѣ зрѣнія и методу. Міеологія, какъ понималъ ее Гриммъ и его школа, была конечно совсѣмъ не то, чѣмъ ее считали прежде: становясь въ широкомъ смыслѣ исторіей народныхъ вѣрованій, она обнимала въ своихъ предѣлахъ всю умственную и нравственную жизнь народа въ его древнія времена, и такъ какъ народный бытъ вообще стойко сохраняетъ старину, то міеологія достигала и до настоящаго, въ которомъ берегались еще старыя пѣсни, повѣрья и суевѣрія. Міеологія дѣлалась исторіей народнаго міровоззрѣнія: отсюда, это изученіе и считало себя истиннымъ объясненіемъ народнаго характера и преимущественной школой изученія «народности».

Таковъ былъ, въ двухъ словахъ, новый научный элементъ,

который предстояло воспринять русской наукѣ. Послѣ всего того, что сдѣлано было для русской исторіи въ прежнихъ трудахъ, установившихъ въ ней научныя понятія западной исторіографіи, послѣ трудовъ Шлецера, Карамзина, Каченовскаго, Полеваго, Эверса, Соловьева, была наконецъ усвоена и еще новая сторона европейской науки, открывавшая перспективу въ еще болѣе глубокіе слои народной жизни¹⁾.

Наши изученія этого рода, вообще говоря, устанавливаются прочно только съ тѣхъ поръ, какъ началось знакомство съ нѣмецкими изслѣдованіями. Нѣкоторое исключеніе можетъ составлять только изслѣдованіе старо-славянскаго языка, гдѣ извѣстная статья Востокова: «Разсужденіе о славянскомъ языкѣ» (1820 г.), независимымъ и самостоятельнымъ образомъ опредѣлила основныя историческія черты стараго славянскаго языка и его отношеній къ другимъ нарѣчіямъ. До этого времени русская филологія, можно сказать, не существовала, и еще долго послѣ считался авторитетомъ Добровскій, система которая въ сущности уничтожалась раціональной теоріей Востокова. Свое настоящее примѣненіе эта послѣдняя получила у насъ только около сороковыхъ годовъ, въ той школѣ славистовъ, которая образовалась въ то время за границей и заняла вновь открытыя каеѣдры славянскихъ нарѣчій. До этого времени, филологическіе взгляды Востокова были должнымъ образомъ, съ полнымъ пониманіемъ дѣла, оцѣнены впервые извѣстнымъ славянскимъ филологомъ Копитаромъ, затѣмъ Шафарикомъ и вообще западными славянскими учеными. Востоковъ нѣсколько разъ примѣнялъ свою систему къ грамматическому объясненію и критикѣ памятниковъ, сдѣлалъ описанія множества подобныхъ памятниковъ, составилъ богатый словарь старо-славянскаго языка (изданный только недавно),—но цѣльныя системы сравнительной грамматики старо-славянскаго языка и другихъ нарѣчій всего болѣе обязаны опять западнымъ ученымъ, послѣ изслѣдованій Боппа и Потта, Миклошичу, ученику Копитара, и Шлейхеру. У насъ однимъ изъ первыхъ опытовъ сравнительнаго изученія языка была диссертация г. Каткова: «Объ элементахъ и формахъ славянорусскаго языка» (1845), послѣ которой можно указать еще нѣсколько трудовъ по сравнительной грамматикѣ славянскихъ

¹⁾ Къ этимъ же послѣднимъ десятилѣтіямъ нужно отнести и первое раціональное изученіе археологій памятниковъ; до того времени оно ограничивалось только немногими отдѣльными примѣрами. И здѣсь опять понятіе о древностяхъ каменнаго и проч. вѣковъ, приемы изученія памятниковъ бытовыхъ, даны были готовые европейскими изслѣдованіями,—что конечно не уменьшаетъ заслуги примѣненія этихъ приѣмовъ къ новымъ изслѣдованнымъ даннымъ.

нарѣчій, и нѣсколько работъ, принадлежащихъ уже послѣднимъ годамъ, въ особенности «Историческую грамматику» господина Буслаева.

Сравнительный методъ въ миѳологіи и этнографіи, обозначае-
мый обыкновенно именемъ Гримма, также былъ примѣненъ у
насъ дозольно поздно. Въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣш-
няго столѣтія разсужденія о древней русской миѳологіи были
обыкновенно чистой фантазіей; писатели, которые брались за нее,
составляли русскія миѳологіи на манеръ старинныхъ французскихъ
книжекъ для дѣтей о греческой миѳологіи; они брали дѣйстви-
тельныя или придуманныя названія древнихъ языческихъ «боговъ»
и подыскивали имъ, по собственному вкусу, какіе-нибудь атрибуты:
кромѣ Перуна, явились «Усладь», «Лель» и т. п. Позднѣе, послѣ
Карамзина, изслѣдователи серьезные ограничивались лѣтописными
данными въ непосредственной формѣ, но произволъ продолжалъ
рисовать фантастическіе узоры на этомъ фонѣ, который едва счи-
тался принадлежащимъ къ исторіи. Первыми серьезными собирате-
лями и истолкователями остатковъ древней миѳологіи, народныхъ
преданій, повѣрій, обычаевъ, произведеній народной поэзіи, яв-
ляются Снегиревъ и Сахаровъ. Первый приступалъ къ предмету
съ научнымъ образованіемъ, хотя по другой области и значи-
тельно устарѣлымъ: но признаки ученой критики, и особенно
большая масса приведеннаго въ извѣстность матеріала долго
поддерживали значеніе сборниковъ Снегирева, — въ свое время
главнѣйшаго авторитета по этой части. Но кромѣ того, что въ тру-
дахъ Снегирева не доставало настоящаго сравнительнаго приѣма, —
въ то время, когда въ нѣмецкой литературѣ этотъ приѣмъ былъ
уже вполне выработанъ и даны были замѣчательные образцы
его, — Снегиревъ сохранилъ еще и упомянутую наклонность къ
совершенному произволу и строилъ выводы, для которыхъ не
оказывалось основанія въ источникахъ. У Сахарова не было и
этой научной подготовки. Его занятія народной стариной, по-
видимому, вызваны были впервые, съ одной стороны общимъ
неяснымъ представленіемъ о научной важности предмета, съ дру-
гой — тѣмъ инстинктивнымъ чувствомъ, которое, дѣйствуя внѣ
научныхъ мотивовъ, тѣмъ сильнѣе обнаруживаетъ стремленія
времени. Сахаровъ имѣетъ несомнѣнныя заслуги какъ ревност-
ный археологъ-сбиратель, какъ библіографъ, издатель матеріа-
ловъ, долго, до очень недавняго времени, составлявшихъ необ-
ходимую настольную книгу для изслѣдователей народности; — но
какъ истолкователь народныхъ преданій и поэзіи онъ стоитъ
совершенно внѣ науки. Онъ говоритъ о старинѣ въ особенномъ
мистическомъ тонѣ, подражая мнимо народному складу, — но

объясняетъ очень мало, и мистическій тонъ указываетъ на фальшивое пониманіе.

Новый шагъ въ изученіи этой народной старины сдѣланъ былъ тѣми же упомянутыми славистами, внесшими къ намъ близкое знакомство съ славянскимъ міромъ и его литературой. Изслѣдованіе міеологической и этнографической старины еще не стояло вполне на точкѣ зрѣнія сравнительно-филологическаго метода, но уже знало о немъ, а главное, имѣло въ распоряженіи обширный славянскій матеріалъ для сличеній и соображеній и, въ большинствѣ случаевъ, отличалось здравой и осторожной критикой. Таковы были труды гг. Срезневскаго, Бодянскаго, Костомарова (у котораго, въ его первыхъ работахъ по міеологии и этнографіи справедливо, кажется, находятъ вліяніе Крейцеровской Символики, которая въ Германіи послужила только ступенью къ сравнительному методу), Касторскаго, а также и Надеждина. Новые изслѣдователи старались прежде всего исчерпать міеологическія и бытовые извѣстія, записанныя въ старыхъ памятникахъ, вмѣстѣ съ тѣмъ широко пользовались современными народными преданіями не только русскаго, но въ особенности и славянскаго міра, чтобы реставрировать древнюю славянскую народную религію; въ отдѣльныхъ случаяхъ они прибѣгали и къ средствамъ сравнительнаго метода. Но полное примѣненіе этого метода, въ томъ смыслѣ, какъ онъ уже господствовалъ въ нѣмецкой наукѣ, было предоставлено новымъ силамъ, выступившимъ еще нѣсколько позднѣе. Главнѣйшія изслѣдованія въ этомъ направленіи сдѣланы были г. Буслаевымъ и А. Н. Афанасьевымъ, который умеръ, не успѣвши докончить своего обширнаго труда,—перваго цѣльнаго труда, какой только представляетъ наша литература въ этой любопытной области ¹⁾).

Эта разработка представляла въ совершенно иномъ видѣ міеологическія и поэтическія воззрѣнія русской старины. Перспектива шла несравненно дальше, чѣмъ достигали предыдущія изслѣдованія; она шла до тѣхъ до-историческихъ временъ, когда не только русское племя еще не выдѣлялось отъ цѣлага славянства, но и само славянское племя еще было близко къ общему арійскому корню,—до тѣхъ временъ, когда совершалась первая формація языка и съ тѣмъ вмѣстѣ міеологии. Сравнительный методъ указывалъ потомъ дальнѣйшую судьбу міеа, его различныя перерожденія до той поры, когда начинается лѣ-

¹⁾ Поэтическія воззрѣнія славянъ на природу. Опытъ сравнит. изученія слав. преданій и вѣрованій, въ связи съ міеическими сказаніями другихъ родственныхъ народовъ. Три тома. М. 1866—1869.

тописная исторія народа, когда старое міровоззрѣніе приходитъ въ столкновеніе съ христіанствомъ и отчасти исчезаетъ подъ новымъ сильнымъ вліяніемъ, отчасти сохраняется наперекоръ ему и кладетъ на него свой собственный отпечатокъ. Исторія народнаго преданія впервые стала раскрываться въ ея истинномъ видѣ: новая критика была въ состояніи разъяснить много вещей, до тѣхъ поръ совершенно непонятныхъ, указать тѣсную связь явленій, которыя прежде трактовались какъ совершенно отдѣльныя, указать правильную послѣдовательность тамъ, гдѣ прежде видѣли случайность и т. п. Это и былъ признакъ, что критика становилась на вѣрную дорогу. Какая громадная разница раздѣляла новый взглядъ отъ прежняго, можно наглядно судить по разбору нѣкоторыхъ старыхъ легендъ, сдѣланному г. Буслаевымъ въ противоположность прежнему объясненію ихъ Шевыревымъ. Прежній взглядъ оказывался ничѣмъ инымъ, какъ произвольнымъ реторическимъ повтореніемъ факта, которое ничего не объясняло и служило только лишнимъ украшеніемъ къ мистической теоріи писателя. Новая критика открывала въ легендѣ любопытный фактъ соединенія двухъ различныхъ теченій народнаго міоа, — это была уже дѣйствительная черта внутренней исторіи народнаго быта и сознанія.

Въ настоящую минуту, новая точка зрѣнія прочно вошла въ историческія представленія о древнемъ періодѣ и о современной народной поэзіи и міеологіи. Дѣло идетъ только о послѣдовательномъ проведеніи теоріи, о разработкѣ громаднаго количества фактовъ; то или другое изъ прежнихъ рѣшеній, будутъ конечно замѣнены, и уже замѣняются, болѣе вѣрными и точными; но изслѣдованія уже стоятъ на научной дорогѣ.

Обративъ вниманіе на отношеніе этихъ новыхъ изысканій къ ихъ первымъ источникамъ въ нѣмецкой наукѣ, нельзя не видѣть, что наше изученіе шло совершенно по слѣдамъ Гримма и его школы. И какъ бывало обыкновенно въ исторіи нашей науки, усвоеніе нѣмецкихъ результатовъ и самаго пріема произошли долго спустя послѣ того, какъ эти результаты были получены и пріемъ установленъ въ самой нѣмецкой наукѣ. Братья Гриммы были настоящими основателями и главнѣйшими представителями этого направленія въ Германіи: ихъ дѣятельность начинается съ первыхъ годовъ нынѣшняго столѣтія и наполняетъ всю первую его половину. Капитальный трудъ Якова Гримма, «Нѣмецкая Міеологія», гдѣ уже собранъ былъ громадный запасъ изслѣдованій, вышла въ 1835 г.; еще ранѣе, 1828, явились «Древности нѣмецкаго Права», гдѣ подобная критика была приложена къ объясненію происхожденія старыхъ народныхъ

юридическихъ понятій, обрядности и обычаевъ. Въ нашей учебной литературѣ первые прочные опыты усвоить этотъ методъ являются не раньше конца сороковыхъ годовъ или даже начала пятидесятихъ годовъ, въ то время когда дѣятельность Гриммовъ была уже близка къ своему концу. Однимъ словомъ, методъ былъ усвоенъ только тогда, когда онъ уже давно господствовалъ въ самой нѣмецкой литературѣ.

Какъ выше замѣчено, сравнительный методъ отразился у насъ не только своей чисто научной стороной, но вмѣстѣ и тѣми особенностями, какія соединялись съ нимъ въ дѣятельности его нѣмецкаго основателя, — особенностями личныхъ возрѣній самого Гримма. Въ этомъ отношеніи названные нами русскіе послѣдователи Гримма представляютъ чувствительную разницу, и оказанное вліяніе обнаруживается главнымъ образомъ у г. Буслаева; у Афанасьева оно было гораздо слабѣе. Это вліяніе состояло въ извѣстной идеализаціи патріархальной старины. У Гриммовъ эта идеализація имѣла свои психологическія и общественныя основанія. Условія времени создавали въ умахъ это возвращеніе къ прошедшему: Яковъ Гриммъ началъ свои труды въ первые годы нынѣшняго вѣка (отчасти подъ впечатлѣніями иноземнаго господства) въ непосредственной связи съ романтиками и подъ ближайшимъ вліяніемъ исторической школы права; глубокое изученіе, одушевляемое горячимъ патріотическимъ чувствомъ, такъ привязало его къ этой старинѣ, что онъ самъ жилъ въ ней, находя въ ней свои идеалы, наивную, но глубокую поэзію, простые, но патріархально-разумные нравы; личный характеръ братьевъ Гриммовъ только содѣйствовалъ этой идеализаціи, — которая неизбежно отразилась въ самой сущности ихъ трудовъ, при всей силѣ ихъ критики.

Господствующее значеніе Якова Гримма въ новой наукѣ естественно придало вліяніе и этимъ личнымъ чертамъ его трудовъ. Мы не можемъ лучше характеризовать этой личной особенности, какъ приведемъ слова Гервинуса, его друга и товарища по профессурѣ въ гёттингенскомъ университетѣ. Указавъ высокую скромность этого замѣчательнаго человѣка, кротость и свѣжесть его характера, Гервинусъ продолжаетъ: «Весь исполненный величіемъ нѣмецкой древности, возмущаемый тѣмъ «надменнымъ взглядомъ», который въ жизни прошедшихъ вѣковъ видитъ только темное печальное варварство, Гриммъ рѣзко возставалъ противъ прозаической сухости временъ возрожденія и противъ ихъ непониманія всей прошлой жизни, и отворачивался отъ всего, что пахло новѣйшимъ резонерствомъ, новѣйшими

крайностями въ искусствѣ и въ образованіи, отворачивался съ послѣдовательностью, которая кажется невѣроятной въ наши слишкомъ утонченныя времена. Въ своей методѣ, направленной на подробности и не пренебрегавшей самыми мелкими частностями, которыя какъ тонкая чеканка даютъ всѣмъ предметамъ ихъ наибольшую опредѣленность, онъ съ самаго начала былъ противъ всякихъ разборчивыхъ и надменныхъ манеръ и въ наукѣ и въ искусствѣ. Онъ нападалъ на классическія изученія уже изъ одной нелюбви къ той неестественности, «что народъ, любящій свою родину, почерпаетъ свои первыя понятія и свою самую позднюю мудрость изъ сосуда чужого языка»,—но главнымъ образомъ все-таки изъ своего постоянного предпочтенія домашняго научнаго и художественнаго стола передъ классическими лакомствами, изъ предпочтенія ко всему своенародному и демократически-простому въ литературѣ передъ всякими аристократическими затѣями. Ему приходилось завидовать въ греческой міеологіи ея изящной обработкѣ, но онъ склоненъ былъ предпочитать ей нѣмецкія сказанья объ эльфахъ, великанахъ и карликахъ, изъ-за ихъ родной близости, простодушія и воздержнаго чистосердечія. Для его художественнаго вкуса всякая природная поэзія была выше всякой искусственной поэзіи, народная пѣсня выше пѣсни миннезингеровъ; устное преданіе имѣло для него болѣшую прелесть, чѣмъ писанное эпическое стихотвореніе, гдѣ это преданіе уже мѣшается съ исторіей. Онъ приписывалъ гораздо болѣшую цѣну труверамъ, этимъ изящно образованнымъ, но вмѣстѣ простодушнымъ рассказчикамъ рыцарской поэзіи, чѣмъ прославленнымъ Аріосту и Тассу, которыхъ никогда не могъ дочитать до конца. Такъ и въ блестящихъ мастерахъ итальянской живописи ему недоставало народнаго преданія, миѣической точности и достовѣрности. Такъ и его гордость нѣмецкимъ языкомъ коренилась главнымъ образомъ въ его глубокой древности; его благоговѣніе передъ нимъ возрастало по мѣрѣ того, какъ онъ восходилъ дальше и дальше къ древне-нѣмецкому, англо-саксонскому, древне-сѣверному, готскому (въ которомъ Боппу казалось, будто онъ читаетъ по-санскритски)... При изслѣдованіи паденія старой языческой народной религіи въ ея соприкосновеніи съ христіанствомъ, у него, по поводу той черты унынія и безнадежности, которую онъ находилъ во многихъ остаткахъ старыхъ представленій, у него, съ его полной искренностью, могло даже являться меланхолическое сочувствіе къ павшему величію, у него могъ вырваться гнѣвный взглядъ на христіанство, которое превратило веселыя божества нѣмецкихъ предковъ въ мрачныя злобныя силы. Но онъ находилъ однако побѣ-

ду и распространіе христіанства необходимыми; потому что и вообще онъ имѣеть склонность къ естественному и простому не потому, что оно древне, но имѣеть склонность къ древнему, потому что оно просто и естественно. Гдѣ бываетъ обратный порядокъ, тамъ перемѣняются и его склонности: онъ принадлежитъ новому времени тамъ, гдѣ оно возстановило или сохранило простоту и естественность. Онъ могъ нѣсколько недовольнымъ тономъ сожалѣть, что вслѣдствіе устраненія (въ протестантствѣ) святыхъ, этихъ многочисленныхъ полу-божественныхъ существъ, богослуженіе потеряло «богатство яркихъ представленій»; но тѣмъ не менѣе онъ былъ тѣломъ и душой протестантъ, наивной политикѣ котораго существованіе папства въ наши времена казалось чрезвычайно лишнимъ... Его любовь къ отечеству коренилась въ болѣе тѣсной любви его къ родинѣ, къ его нижнему Гессену; въ своей юности онъ смотрѣлъ свысока на дармштадтцевъ, но въ старости онъ публично высказалъ одному земляку желаніе видѣть, чтобы неестественное раздѣленіе обоихъ Гессеновъ пришло къ старому единству... Его нѣмецкія изученія, — замѣчаетъ наконецъ Гервинусъ, — обращаясь постоянно съ вещами, которыя соединяють, а не раздѣляютъ народъ, должны были рѣшительно привлечь этого человѣка къ мысли о нѣмецкомъ единствѣ, какъ только она возникла; но какъ, при его прекрасной двойной любви къ родинѣ, какъ сердился бы онъ на того, кто захотѣлъ бы прикоснуться къ его гессенской народности! Ему было непонятно, какимъ образомъ нѣмецъ среднихъ государствъ, отчасти имѣющихъ гораздо болѣе гордую исторію, чѣмъ двѣ большія нѣмецкія державы, могъ бы ради общности и единства (которыя можно спасти въ строгомъ союзномъ устройствѣ) предать свою отдѣльную родину одному большому государству — нелѣпость, невысказанная для всякаго гражданина американскихъ штатовъ, для всякаго швейцарца самага крошечнаго кантона, но беззаботно принимаемая милліонами нѣмцевъ въ ихъ политическомъ неразуміи и упадкѣ!»¹⁾

Таковъ былъ основатель изслѣдованій, которыхъ главными представителями были у насъ г. Буслаевъ и А. Н. Аѳанасьевъ. И кто знакомъ съ характеромъ сочиненій г. Буслаева, тотъ найдетъ безъ сомнѣнія, что многія черты личныхъ мнѣній и вкусовъ Гримма повторились у нашего изслѣдователя и притомъ повторились такъ близко, что едва ли можетъ быть сомнѣніе въ источникѣ этихъ мнѣній. Это вліяніе довольно понятно: Гриммъ, по которому г. Буслаевъ изучалъ новый методъ, весь

¹⁾ Gesch. des neunz. Jahrh. 8, Erste Hälfte, 57 и слѣд.

проникнуть указанными идеями, и если всякое продолжительное специальное изучение создаетъ известную долю пристрастія къ предмету, которое легко переходитъ въ идеализацію у людей, не уравнивающихъ своего взгляда вниманіемъ къ другимъ сторонамъ дѣла, то здѣсь это пристрастіе подкрѣплялось цѣлой теоріей, идеализировавшей старину. Такъ это и было съ нашимъ изслѣдователемъ. У Аѳанасьева было конечно не меньше любви къ дѣлу и научнаго увлеченія, но онъ не впадалъ въ тѣ крайности безъ сомнѣнія потому, что его историческіе интересы были разнообразнѣе, что онъ не останавливался на той одной далекой старинѣ, которую такъ легко можетъ закрывать туманъ идеализаціи и сентиментальности; но рядомъ съ своими археологическими трудами, съ тѣмъ же интересомъ вникалъ въ другіе вѣка народной жизни, въ другія стороны развитія, и въ новую исторію русскаго общества.

Эта идеализація старины безъ сомнѣнія выходила наконецъ изъ предѣловъ науки, особенно когда вмѣшивалась въ рѣшеніе практическихъ вопросовъ: въ самомъ дѣлѣ, въ ней есть односторонность, которая слишкомъ поддается преувеличенію, и въ этомъ случаѣ легко переходитъ въ фальшивую и несимпатичную тенденцію. Эта идеализація была понятна у Гримма: она зарождалась въ тяжелыхъ условіяхъ національной жизни, подъ гнетущимъ сознаніемъ чужого господства; это было поэтическое увлеченіе, оправданіе котораго заключается въ исполинскихъ научныхъ трудахъ, имъ внушенныхъ и поддержанныхъ, — оно оправдывается и тѣмъ, что писатель оставался вѣренъ своимъ народнымъ пристрастіямъ не въ одной археологіи, и въ вопросѣ современной жизни жертвовалъ археологіей, когда жизнь была противъ нея: сожалѣя о томъ, что богослуженіе потеряло свою яркость отъ изгнанія святыхъ, онъ остался однако протестантомъ, — когда другіе изъ подобныхъ побужденій становились католиками, т.-е. изъ пристрастія къ старинѣ дѣлали уродливую вещь въ настоящемъ; германская древность представляла для него не только міръ поэзіи, но и міръ народной самостоятельности и свободы. Къ сожалѣнію, мы напрасно стали бы искать подобной послѣдовательности у нашихъ сентиментальныхъ археологовъ: мудрено даже извлечь у нихъ какое-нибудь ясное представленіе о томъ, какъ представляется имъ идеаль народной жизни въ современныхъ ея условіяхъ, — кромѣ только стороны піэтизма. По крайней мѣрѣ, они ясно объ этомъ не говорили. Идеаль Гримма былъ полный, и потому, несмотря на свою исключительность, онъ оказывалъ нравственное дѣйствіе, тѣмъ болѣе, что прославляемая имъ старина была реставрирована

имъ въ памятникахъ научнаго творчества, по истинѣ грандіозныхъ. У нашихъ археологовъ сентиментальной школы къ сожалѣнію не составилось такого цѣльнаго и свободно понятаго идеала народной жизни: въ ихъ мысляхъ всего крѣпче запомнилась средняя эпоха народной исторіи, съ полу-народной легендарной поэзіей, съ бытовымъ застоємъ, съ подавленной народной свободой. «Самосознаніе», которому должна была служить наша наука о народной старинѣ, — въ этомъ случаѣ не получала отъ нея большой услуги.

Впрочемъ, г. Буслаевъ представляетъ только одну сторону идеализаціи старины. Въ началѣ своей дѣятельности, да и послѣ, онъ не принадлежалъ къ такъ-называемому славянофильству, хотя по своимъ послѣднимъ мнѣніямъ часто очень приближается къ его теоріямъ. Выше упомянуто о томъ, какъ онъ расходился въ объясненіяхъ старины съ Шевыревымъ; подобнымъ образомъ онъ расходился и съ славянофилами — ихъ раздѣлялъ, во-первыхъ, методъ изученія, который тогда ясно указывалъ г. Буслаеву произвольность многихъ славянофильскихъ представлений о древнемъ бытѣ; и вообще г. Буслаевъ принадлежалъ къ ученому университетскому кружку, не ладившему съ славянофилами. Между славянофилами въ то время не было ученыхъ, которые были бы знакомы съ этой стороной науки; они и вообще склонны были рѣшать вопросъ общими теоретическими разсужденіями, и въ ихъ рядахъ за К. Аксаковымъ являлся г. Безсоновъ съ своими аллегорико-мистическими истолкованіями древней поэзіи (былинъ), противъ которыхъ г. Буслаевъ выставлялъ свои болѣе вѣрныя и научныя объясненія. Но въ концѣ концовъ, г. Буслаевъ въ своихъ особенныхъ симпатіяхъ къ средневѣковому типу нашей народности, съ ея преданьями и византійско-легендарнымъ искусствомъ, сошелся съ славянофилами гораздо больше чѣмъ предполагалъ.

Славянофилы заняли свое особое мѣсто въ исторіи изученія русской народности. Въ теченіе описываемаго періода ихъ мнѣнія, хотя и высказались съ рѣзкой исключительностью, давшей имъ въ литературѣ своеобразную роль, но тѣмъ не менѣе далеко не были, или не могли быть ими высказаны съ должной полнотой. Мы остановимся впослѣдствіи на различныхъ мнѣніяхъ этой школы, въ особенности настаивавшей на необходимости возвращенія къ народности и утверждавшей свои собственные народныя качества, и замѣтимъ здѣсь только, что въ смыслѣ научнаго метода школа мало отдѣлялась отъ «западнаго» направленія, которому себя противопоставляла. Старѣйшіе славянофилы, какъ Ив. Кирѣевскій, Хомяковъ, затѣмъ г. Самаринъ,

К. Аксаковъ, воспитались на той же нѣмецкой философіи. Иванъ Кирѣевскій въ первое время вовсе не становился ни въ какое исключительное положеніе, и такое положеніе было имъ принято только впослѣдствіи. Въ сороковыхъ годахъ обѣ враждебныя стороны представлялись какъ бы различными вѣтвями одной школы, языкъ которой онѣ одинаково понимали. Даже К. Аксаковъ писалъ свою первую диссертацию въ духѣ той же гегелевской философіи. Эта философія послужила и здѣсь подкладкой, на которой развились потомъ другія мнѣнія славянофиловъ; идея историческаго предназначенія народовъ была одинаково знакома обѣимъ сторонамъ, и онѣ расходились только въ ея примѣненіи; въ историческомъ изученіи славянофилы также какъ ихъ противники направили свое вниманіе на формы быта, на характеръ учреждений, въ которыхъ слѣдили внутреннюю исторію народа. Споръ о родовомъ или общинномъ бытѣ древней Руси въ сущности могъ вовсе не быть рѣзкимъ вопросомъ между двумя партіями (какъ это было); многія цѣнныя замѣчанія славянофиловъ по русской исторіи могли составлять скорѣе личную заслугу писателей, чѣмъ заслугу партіи; Д. Валугевъ, какъ изслѣдователь мѣстничества, могъ идти совершенно рядомъ съ г. Кавелинымъ или г. Соловьевымъ, которые, съ своей стороны, могли участвовать въ славянофильскихъ изданіяхъ (какъ и въ самомъ дѣлѣ участвовали); теоретическій, научный интересъ къ славянскому міру также былъ болѣе или менѣе общій ученымъ обѣихъ сторонъ, хотя не одинаково сильный, и т. д. Впослѣдствіи, литературныя отношенія отдалились, и стороны опредѣлились рѣзче. Славянофилы утверждали, что ихъ противники смотрѣли на русскую исторію черезъ очки иностранной науки, и свой взглядъ называли истиннымъ русскимъ ¹⁾. Это было ко-

¹⁾ Вотъ нѣсколько славянофильскихъ отзывовъ, въ которыхъ любопытно отношеніе къ Карамзину:

«Нѣмцы первые стали объяснять русскимъ ихъ исторію. Байеръ, Миллеръ, Шлѣцеръ, Эверсъ, не принадлежа къ народу, не имѣя съ нимъ жизненной связи, принялись толковать его жизнь. Русскіе сами, получивъ иностранное воззрѣніе, смотрѣли также не по-русски на свою исторію, какъ и на все свое. Ломоносовъ, въ природѣ котораго, впрочемъ, болѣе другихъ проявлялись русскія движенія, Карамзинъ и другіе изображали русскую исторію такъ, что въ ней русскаго собственно ничего не было видно. Но дальнѣйшее знакомство съ лѣтописями и грамотами, по бытъ простого народа, сохранившійся въ своей тысячелѣтней оригинальности, подѣйствовали наконецъ на взгляды нашихъ ученыхъ, и желаніе понять русскую исторію настоящимъ образомъ, желаніе самобытнаго воззрѣнія — пробудилось. Политическій взглядъ, гдѣ обыкновенно рисуются князья, войны, дипломатическіе переговоры и законы, взглядъ шлѣцеровскій и карамзинскій былъ наконецъ оставленъ, и въ наше время вниманіе обратилось на бытъ народный, на общественныя, внутреннія

нечно заблужденіе: никакой особой новой науки съ ними не явилось, и напротивъ теперь, какъ и прежде, во многихъ случаяхъ содѣйствіе очковъ иностранной науки оказывалось дѣйствительнѣе простаго глазомѣра. Славянофилы, правда, высказывали извѣстныя, имъ собственно принадлежавшія научныя мнѣнія, но въ этихъ мнѣніяхъ, иногда очень справедливыхъ и новыхъ, не было однако «новой науки»; а иногда эти мнѣнія не были и справедливы. Не были славянофилы и спеціально, преимущественно народными людьми. Впослѣдствіи выяснилось, что они представляли собой, въ идеѣ, дѣйствительно не русскій народъ — весь, какимъ до настоящей минуты создала его исторія, а только одну (хотя и наибольшую) долю его, и притомъ въ чертахъ — не тѣхъ, какія развила въ немъ исторія до новѣйшаго времени, а въ чертахъ московскаго семнадцатаго вѣка. Существенная особенность славянофильства (о ней мы будемъ говорить дальше), не относившаяся къ наукѣ, заключалась именно въ томъ, что настоящей Русью, настоящимъ русскимъ народомъ они считали Москву и русскій народъ семнадцатаго вѣка, и упорно отвергали «петербургскій періодъ», какъ чужой, нѣмецкій, не народный: такимъ образомъ они отбрасывали цѣлый историческій періодъ, и искали идеала внѣ и отдѣльно отъ него, — какъ будто въ исторіи возможны такія исключенія того, что намъ лично не нравится. Отсюда складывался ихъ особенный, тѣсно-національный мистицизмъ, съ которымъ естественно соединился и извѣстный мистицизмъ теологическій.

Въ такихъ общихъ чертахъ представлялось научное изученіе народности къ тому времени, когда въ нашей общественной жизни наступилъ новый періодъ. Нельзя не видѣть, что изслѣдованіе народности историческое и этнографическое шло при несомнѣнномъ вліяніи теорій европейскихъ, даже у тѣхъ писа-

причины его жизни». Таково направленіе новыхъ ученыхъ, особенно г. Соловьева. Но — «желаніе не есть достиженіе; и г. Соловьевъ съ послѣдователями — все-таки послѣдователь другого нѣмца, Эверса» (послѣдователемъ перваго нѣмца, Шлецера, оставался еще г. Погодинъ). Поэтому, и оказывалась надобность въ новой, уже чисто русской точкѣ зрѣнія. (Соч. К. Аксакова, I, стр. 59). Аксаковъ не обратилъ вниманія на то, что вопросъ былъ не только въ томъ, что мы учились у нѣмцевъ, но и въ томъ, что таковъ былъ и ходъ цѣлой науки. Нѣмецкая наука, не знавшая въ XVIII-мъ вѣкѣ русской народной жизни, не знала тогда и старой нѣмецкой народной жизни: это была точка зрѣнія, принадлежавшая всей образованности прошлаго столѣтія, а съ возникновеніемъ новыхъ историческихъ взглядовъ, тѣ же нѣмцы, именно Эверсъ, первые указали необходимость новаго приема: они же «оставили взглядъ шлецеровскій и каразинскій» и «обратили вниманіе на бытъ народный, на общественныя, внутреннія причины (вѣроятно: пружины) его жизни», какъ авторъ указывалъ это въ г. Соловьевѣ — послѣдователь Эверса.

телей, которые съ негодованіемъ отвергали все иностранное. Поэтому, сказать, что мы достигли «самосознанія» было въ ту пору—нѣсколько смѣло и по этой одной причинѣ; но были и другія причины по которымъ мудрено было бы говорить о «самосознаніи» хотя бы теоретическомъ. Во-первыхъ, въ изученіи народа оставалось еще слишкомъ много пробѣловъ, вслѣдствіе которыхъ, даже для образованнаго меньшинства, оставались неясны весьма существенныя стороны народной жизни. Во-вторыхъ, само образованное общество тѣхъ или другихъ тенденцій,—которое, при умственномъ бездѣйствіи, неразвитости или подавленности массъ, одно могло представлять собою дѣятельную часть націи, — это общество обнаруживало такъ мало самостоятельности, было такъ недѣятельно, или даже если хотѣло быть дѣятельнымъ, было такъ стѣснено въ самыхъ первоначальныхъ не только практическихъ, но умственныхъ дѣйствіяхъ, что самостоятельность общества была конечно вообразимая...

На дѣлѣ, эта собственно теоретическая самостоятельность достигалась только немногими лучшими умами, и для того, чтобы она могла быть передана обществу нѣсколько дѣйствительнымъ образомъ, нужно было значительное повышеніе уровня понятій въ массѣ общества, и съ другой стороны нужно было, чтобы самые принципы были болѣе выяснены со стороны ихъ пракческаго значенія въ жизни. Къ сожалѣнію, литература была въ этомъ отношеніи совершенно связана. Много разъ было замѣчено, что люди сороковыхъ годовъ (въ обоихъ главныхъ направленіяхъ, о которыхъ здѣсь говорится) сознавали вполнѣ необходимость освобожденія крестьянъ: это справедливо, но понятно, что освобожденіе должно было составлять лишь первую ступень преобразованія; оставался еще цѣлый рядъ дальнѣйшихъ моментовъ развитія, дальнѣйшихъ освобожденій, которыя нужно было бы пройти обществу, чтобы найти свое первое нормальное положеніе. Объ этомъ послѣднемъ масса общества имѣла еще самыя неясныя представленія, а для людей передовыхъ это была чистая, совершенно отвлеченная теорія, для которой связанная общественная жизнь того времени не давала никакой опоры.

Чтобы опредѣлить размѣръ движенія описываемаго времени, нужно сравнить его не только съ тѣмъ, изъ чего оно вышло, но и съ тѣмъ, что за нимъ послѣдовало.

Въ двадцатыхъ годахъ, люди, представлявшіе наибольшую степень общественнаго развитія, бросились на идею политическаго преобразованія. Теперь эта политическая идея была какъ будто забыта, но развитіе ея не остановилось. Интересъ къ

народу, въ лучшихъ людяхъ двадцатыхъ годовъ глубоко искренній и благородный, былъ только у немногихъ реально сознательный, а у большей ихъ части это былъ интересъ романтический. Въ томъ періодѣ, о которомъ мы здѣсь говоримъ, въ понятіяхъ произошла большая перемѣна. Романтическіе взгляды вымирають болѣе и болѣе, и вмѣстѣ съ этимъ прежняя политическая идея (именно, насколько она связывалась съ романтизмомъ), — сохранивъ свой смыслъ нравственнаго возбужденія, перестала удовлетворять своимъ тогдашнимъ содержаніемъ. Романтический интересъ къ народу смѣняется болѣе и болѣе положительнымъ, и таково именно было значеніе тѣхъ изученій народной жизни, ходъ которыхъ мы указывали. Историческое и этнографическое изученія стремились понять народную жизнь какъ она есть, — достигали этого конечно не вдругъ, проходили при этомъ разныя предварительныя ступени, дѣлали ошибки, но въ результатѣ эти изученія, какъ они стояли въ сороковыхъ годахъ, были уже, какъ моментъ развитія, гораздо выше романтической точки зрѣнія двадцатыхъ годовъ.

Правда, историческія изслѣдованія сороковыхъ годовъ вращались почти исключительно на древнемъ періодѣ и были слѣдовательно очень далеки отъ жизни. Доводить изслѣдованіе до новѣйшихъ временъ и ихъ учрежденій и порядковъ — мѣшало самое положеніе литературы, въ которой сколько-нибудь откровенная исторія новѣйшихъ временъ была невозможна подѣ цензурными запрещеніями; но съ другой стороны, ученые, вынужденные къ молчанію здѣсь, нашли болѣе широкій интересъ и въ изслѣдованіяхъ прошедшаго: отыскивая основныя идеи историческаго развитія, они естественно искали ихъ корней въ прошломъ, и позднѣйшія явленія принимались (отчасти по необходимости) какъ подразумеваемый результатъ, къ которому само собой должны были прилагаться послѣдствія рѣшеній, принятыхъ относительно фактовъ основныхъ.

Но вопросы, поставленные въ двадцатыхъ годахъ, т. - е. внутренніе политическіе вопросы — при всѣхъ недостаткахъ въ ихъ тогдашней постановкѣ, — были однако вопросы, естественно возникавшіе въ общественномъ развитіи, и потому, они должны были возвратиться и выясниться въ послѣдующемъ его ходѣ. Заслоненные въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ другими, но по сущности съ ними тѣсно связанными вопросами, они дѣйствительно яснѣе выдаются, и ихъ практическія требованія отчасти осуществляются въ послѣдующія дѣсятилѣтія, — въ наше время.

Разсматривая новѣйшія изученія «народности», нельзя не видѣть, что онѣ чрезвычайно расширились противъ сороковыхъ годовъ. Историческія изслѣдованія обращаются къ новымъ предметамъ, и принимаютъ новое направленіе. Главныя ступени, пройденныя ими до нашего времени, были слѣдующія. Карамзинъ понималъ русскую исторію и представлялъ ее вообще какъ апотеозу абсолютизма, понятіе котораго было имъ взято готовое, какъ оно тогда существовало, и перенесено въ древность. Его противники въ либеральномъ общественномъ кругу спорили противъ всей тенденціи; ученые опровергали его взгляды относительно древняго періода. Каченовскій и Полевой, не касаясь цѣлой темы Карамзина, старались поставить древнія событія въ ихъ естественномъ свѣтѣ; предвзятой тенденціи Карамзина у нихъ уже не было; они понимали ясно разницу періодовъ и требованія исторической вѣроятности, и старались найти дѣйствительный характеръ событій и ихъ внутреннее значеніе. Но Полевой слишкомъ внѣшнимъ образомъ прилагалъ результаты европейской исторіографіи, и сдѣлавши не мало вѣрныхъ отдѣльных замѣчаній, ошибся въ цѣлой постройкѣ своего взгляда. Правильное примѣненіе новаго историческаго метода къ изученію внутренней жизни народа начинается съ трудами г. Соловьева и ученыхъ сороковыхъ годовъ; начавъ съ изображенія родового быта, г. Соловьевъ въ послѣдующихъ историческихъ періодахъ сталъ опять по преимуществу историкомъ государства—хотя уже не патріархальнымъ, какъ Карамзинъ, а историкомъ рационалистическимъ, историкомъ государственной централизаціи. Славянофилы, примѣняя тѣ же ученые средства, пришли къ другой постановкѣ вопроса. Въмѣсто родового быта и его явленій, они находили въ древней русской исторіи господство общины, и старое государство понимали какъ особый любовный союзъ цѣлой великой общины, Земли, съ властью; этотъ союзъ существовалъ по ихъ мнѣнію въ теченіе всего древняго періода, разорванъ былъ Петромъ Великимъ и, по всѣмъ вѣроятіямъ, долженъ былъ возстановиться, когда русскій народъ возвратится къ истиннымъ началамъ своей жизни, нарушеннымъ реформой:—признаки возвращенія они уже видѣли, между прочимъ въ своемъ собственномъ образѣ мыслей.

Дальнѣйшее развитіе исторіографіи, принадлежащее уже нашему времени, принесло новую точку зрѣнія, которая была одинаково и результатомъ развивавшагося научнаго изслѣдованія и отголоскомъ живыхъ стремленій самой народности. Это была такъ-называемая федеративная теорія. Эта теорія, почувствованная уже давно и теперь только высказанная, прежде всего

становилась въ противорѣчіе съ историками въ смыслѣ централизаціи — тѣмъ, что выставляла кромѣ потока государственнаго развитія потокъ народной жизни, который не всегда сливался съ первымъ; она не принимала, что народъ, разъ создавъ государство, уже отказывался совершенно отъ своей автономіи и отдавалъ ее безповоротно въ руки государства; она не считала государства такимъ идеальнымъ учрежденіемъ, которое создается разъ навсегда и остается непогрѣшимымъ авторитетомъ, а напротивъ видѣла въ немъ обыкновенное учрежденіе, съ временными формами, характеръ которыхъ опредѣляется — въ высшей инстанціи — представленіями и потребностями массъ, — и защищала для этихъ массъ право самоопредѣленія. То, что въ народныхъ движеніяхъ прошедшихъ вѣковъ для теоріи централизаціонной казалось только «анти-государственнымъ» элементомъ, въ теоріи федеративной представлялось отраженіемъ естественныхъ инстинктовъ народной жизни, которые, правда, могли принимать ложное направленіе, но тѣмъ не менѣе сами были естественны и законны и становились анти-государственными только потому, что въ существовавшемъ государствѣ не находили себѣ правильнаго удовлетворенія. Народныя движенія стараго времени обозначали не борьбу стараго отживающаго элемента (народной автономіи) съ новымъ (государствомъ), которому одному принадлежитъ будущее; а напротивъ борьбу двухъ элементовъ, изъ которыхъ каждый имѣетъ свое право; если по обстоятельствамъ времени, по наличнымъ силамъ, фактическій исходъ борьбы оканчивался въ пользу государства, то онъ не уничтожалъ въ будущемъ возвращенія народнаго вопроса и новаго его рѣшенія.

Съ другой стороны, федеративная теорія сталкивалась и съ славянофильской точкой зрѣнія. Между ними было не мало общаго, какъ въ нѣкоторыхъ теоретическихъ положеніяхъ, такъ и въ томъ, что для главнѣйшихъ писателей той и другой школы вопросъ о народѣ былъ не только дѣломъ размышленія, но и дѣломъ чувства, внушеніямъ котораго они часто и предоставляли вести свою мысль. Но между ними была и значительная разница. Для славянофиловъ та русская Земля, та великая Община, въ которой они видѣли основаніе своего національнаго идеала, была земля и община великорусская; средоточіемъ русской исторіи дѣлалась Москва, которая казалась славянофиламъ священнымъ символическимъ городомъ, которой они давали почти мистическое значеніе. Теорія федеративная также знала это значеніе земли, но какъ въ древней Руси она видѣла федерацію различныхъ земель, отдѣльныхъ и автономическихъ, такъ она не

теряла ихъ изъ виду и въ дальнѣйшемъ движеніи исторіи. Съ теченіемъ времени земли теряли свою отдѣльность, сливались въ большія массы, наконецъ въ единое государство, но тѣмъ не менѣе онѣ не уничтожались, и современная русская нація все не есть однородное цѣлое, къ которому удобно было бы примѣнить московскіе идеалы XVII-го вѣка. Русская народность, кромѣ великорусской, имѣетъ другія обширныя вѣтви, каковы Малоруссія и Бѣлоруссія, которыя и старой исторіей, и языкомъ, и бытомъ значительно отличаются отъ великорусской массы, и соединенныя съ послѣдней отчасти при исключительныхъ условіяхъ, отчасти только въ позднѣйшее время, не могутъ принимать московской мѣрки, и, мало того,—по праву народности развивать свои особенныя черты, т. е. въ сущности, жить въ условіяхъ, данныхъ ей прошедшимъ развитіемъ, — должны въ этомъ отношеніи имѣть извѣстный просторъ и льготу. Въ этихъ условіяхъ московская символика не имѣетъ смысла для *цѣлага* русскаго народа, она должна ограничиться предѣлами своего племени, и предоставить другимъ племенамъ свойственное имъ развитіе; пунктомъ соединенія цѣлага является не московскій XVII-й вѣкъ, а скорѣе новая Россія.

Таковы были теоретическія соображенія. Въ научномъ смыслѣ всѣ указанныя направленія стояли на одной почвѣ, работали по одному методу, который былъ данъ новѣйшей европейской исторіографіей. Но, какъ мы выше замѣтили, въ образованіе историческихъ и этнографическихъ мнѣній вмѣшивались наконецъ и непосредственныя живыя вліянія — начинавшееся броженіе общественныхъ и народныхъ стихій.

Романтизмъ смѣнился у насъ направленіемъ, обратившимся къ изученію и изображенію народной жизни. Наше обращеніе къ «народности» шло параллельно подобному же явленію, которое возникало тогда въ разныхъ краяхъ Европы: здѣсь оно обнаруживалось или прямо въ видѣ политическаго «принципа національностей», или въ видѣ общественнаго движенія, которое было съ одной стороны реакціей космополитическому началу революціи (и здѣсь имѣло свою консервативную сторону), а съ другой—реакціей противъ нивелирующаго абсолютизма и стремившагося возродиться феодализма (и здѣсь оно было демократическимъ и прогрессивнымъ). Въ нашей жизни, въ рукахъ авторитета, это же стремленіе создало систему официальной народности. Но рядомъ съ официальной системой возникали народные интересы среди самаго общества. Это были интересы инаго рода: свободные отъ предвзятой консервативной тенденціи официальной системы, они скорѣе обращались къ народу для самого на-

рода, исходя отъ непосредственнаго чувства къ родинѣ и отъ неясныхъ мечтаній о благѣ народа, въ которомъ начинала чувствоваться національная сущность государства. Движеніе это въ началѣ было весьма неопредѣленное и стихійное; — мы видѣли, какъ историки, по теоретическимъ указаніямъ науки, искали проникнуть въ смыслъ народнаго бытія, какъ самоучки-этнографы и археологи пытались понять старину и настоящій народный бытъ, и т. д.: но здоровая сила движенія обнаружилась тѣмъ, что проникнувъ — также полусознательно — въ литературу, оно выразилось свѣжими, оригинальными, яркими произведениями, которыя сразу начали новый литературный періодъ, — произведениями Гоголя. Народная жизнь въ первый разъ заняла прочное мѣсто въ литературѣ и для ея изображенія въ первый разъ нашлись настоящія краски въ школѣ Гоголя. Такимъ же явленіемъ было возникновеніе славянофильства, гдѣ интересъ къ народу принялъ указанный нами специально-московскій оттѣнокъ. Наконецъ, то же движеніе выразилось возникновеніемъ малорусской литературы: оно было совершенно параллельно славянскому возрожденію, и любопытно тѣмъ болѣе, что если народности западно-славянскія находили особый стимулъ въ томъ, что были окружены и въ практической жизни подавляемы чужой народностью, къ которой принадлежала и государственная власть, то здѣсь народная литература возникала въ государствѣ той же славянской народности очень близкой и по исторіи, и по религіи, и по языку. Ихъ старая исторія была одна, новая — также, но въ промежутокъ ихъ раздѣленія легла сильная разница между сѣверомъ и югомъ, и послѣдній выдѣлился въ такую особность, которая уже чувствовала свое различіе отъ великорусскаго племени и не находила удовлетворенія своимъ народнымъ инстинктамъ въ простомъ сліяніи съ сѣверомъ. Малорусская литература брала своимъ содержаніемъ поэтическіе мотивы народнаго быта и своей южной исторіи — за періодъ отдѣльности отъ сѣвера, собственно и положившій самый яркій отпечатокъ на эту народность. Этнографическое изученіе, даже совершенно свободное отъ всякихъ мѣстныхъ пристрастій, встрѣтилось бы здѣсь съ явленіемъ, для котораго нужна была бы совершенно иная мѣрка. Вопросъ малорусской народности и ея отношеній къ сѣверу требовалъ бы разясненія — тѣмъ болѣе, что одна часть ея, съ тѣмъ же существеннымъ характеромъ, жила въ той Австрійской имперіи, на которую и московское славянофильство, ради единоплеменнаго славянства, бросало нѣсколько алчные взгляды. Когда явилась въ литературѣ нѣкоторая возможность высказываться общественнымъ ин-

тересамъ, малорусскій вопросъ былъ поставленъ въ довольно ясныхъ, хотя очень скромныхъ, чертахъ. Намъ нѣтъ надобности говорить о подробностяхъ этой постановки¹⁾; довольно сказать, что она отразилась въ научной исторіи. Случилось, что одинъ изъ самыхъ талантливыхъ представителей малорусской литературы былъ вмѣстѣ и замѣчательнымъ историкомъ: въ немъ нашла своего главнаго представителя федеративная теорія въ древней русской исторіи. Объясняя внутреннія политическія отношенія въ древней Руси, теорія служила въ то же время и для объясненія основаній малорусской народной исторіи.

Послѣднія событія вызвали еще новое явленіе того же порядка, какъ малорусское возрожденіе: это вопросъ западно-русской народности, явившійся въ послѣдніе годы какъ реакція польскому національному господству. Къ сожалѣнію, и тотъ и другой вопросъ до послѣдняго времени не были доступны свободной критикѣ, и, напротивъ, стали предметомъ реакціонной эксплуатаціи, которая только запутывала ихъ и бросала на нихъ фальшивый свѣтъ. Нѣтъ сомнѣнія, что когда кончится эта эксплуатация малорусскаго, бѣлорусскаго, а также и польскаго вопроса, и откроется возможность опредѣлить настоящее положеніе дѣла, то для исторической науки предстоитъ еще задача правильнѣе объяснить многое и въ прошедшемъ. Теперь эти вопросы оставались пока и остаются нерѣшенными; но для будущаго изслѣдованія ихъ научное содержаніе должно уже стать въ иномъ видѣ—чистая теорія уже начинаетъ получать осязательное значеніе, и является съ болѣе глубокимъ и опредѣленнымъ смысломъ.

Новыя колебанія произошли и въ отношеніяхъ къ западно-славянскому вопросу. Изученіе славянства у насъ развивалось, вкратцѣ, слѣдующимъ образомъ. До упомянутаго выше учрежденія славянскихъ кафедръ въ университетахъ, и до посылки нѣсколькихъ лицъ для спеціального изученія славянскихъ земель,—знакомство съ славянскимъ міромъ было у насъ весьма ограниченное. Немногіе ученые, какъ Востоковъ, Кеппенъ, Калайдовичъ, Венелинъ, знали движеніе новѣйшихъ славянскихъ литературъ; еще немногіе другіе имѣли о немъ болѣе или менѣе неопредѣленные представленія. Правильное изученіе началось только со введеніемъ этого предмета въ университетскій курсъ филологіи; преподаваніе новыхъ профессоровъ внесло въ науч-

¹⁾ Читатель найдетъ первое въ нашей литературѣ обстоятельное изложеніе этого предмета въ статьяхъ г. М. Т—ова: „Восточная политика Германіи и обрусеніе“, В. Евр. 1872.

ное обращеніе, черезъ (немногочисленные впрочемъ) филологическіе факультеты, точныя понятія о западномъ и южномъ славянскомъ мірѣ. Собственные русскіе труды главнымъ образомъ направились на близкую намъ исторически древность южнаго славянства, въ остальномъ приходилось по крайвей мѣрѣ усваивать то, что сдѣлано было самими западно-славянскими учеными. Въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, кромѣ книги Добровскаго (устарѣвшей уже въ то время), переведены были «Славянская Этнографія» и «Древности» Шафарика, книжка Коллара о «Литературной взаимности», «Краледворская рукопись», нѣсколько историческихъ отрывковъ, — это почти все, что было усвоено литературой изъ этого источника; собственные труды состояли въ диссертацияхъ гг. Бодянского, Срезневскаго, въ нѣсколькихъ (весьма замѣчательныхъ) книжкахъ г. Григоровича. Въ сороковыхъ годахъ начинается и славянофильская пропаганда этого вопроса; — возвѣщенная еще задолго раньше поэтическими воззваніями Хомякова, эта пропаганда открылась извѣстнымъ «Сборникомъ» Валуева и продолжалась славянофильскими изданіями, Москвитяниномъ и т. п.

Въ литературѣ вопросъ былъ наконецъ поставленъ между двумя партіями съ самой рѣзкой противоположностью. Въ то время, какъ славянофилы весьма ясно примыкали къ такъ-называемому панславизму, ихъ противники, отчасти мало его знавшіе, не только отвергали эту точку зрѣнія, но подсмѣивались надъ ней. И они не были совсѣмъ неправы: панславизмъ, въ первой порѣ своихъ увлеченій (которые именно повторялись и у насъ), обнаруживалъ такія притязанія, которыя не оправдывались ни историческимъ опытомъ, ни настоящей ролью славянства. Для нашихъ противниковъ панславизма было довольно ясно, что эти мечтанія — какова бы ни была степень ихъ основательности для будущаго, во всякомъ случаѣ не близкаго, — были уже тѣмъ вредны, что мѣшали реальному пониманію настоящаго, что въ нихъ было слишкомъ много фантазіи и похвальбы. Итакъ, въ научномъ смыслѣ у насъ было сдѣлано для славянскаго изученія еще немного; нашъ панславизмъ былъ въ значительной степени повтореніемъ западно-славянскихъ мечтаній, разгорячаемыхъ на славянскомъ Западѣ ожиданіемъ политическаго столкновенія.

Въ послѣдніе годы и въ этихъ славянскихъ воззрѣніяхъ произошла значительная перемѣна. Для извѣстной части публики славянской вопросъ нѣсколько выяснился политической дѣятельностью западнаго славянства, — послѣ 1848 года и новѣйшихъ событій; но масса общества и до сихъ поръ остается равнодушною къ этому вопросу, слишкомъ для нея далекому и отвлечен-

ному. Въ славянофильскомъ ученіи появилась особая фракція. Въ послѣднее время путешествія въ славянскія земли стали дѣломъ довольно обыкновеннымъ; слависты второго поколѣнія могли являться туда болѣе приготовленными или предупрежденными, но новое изученіе въ своихъ результатахъ было не совсѣмъ согласно съ прежнимъ. Они не увидѣли въ славянскомъ мірѣ той могущественной силы, которою нѣкогда грозился панславизмъ; «единая семья» славянскихъ народовъ оказалась все-таки слишкомъ раздроблена и языкомъ, и религіей, и степенью развитія, и политическими интересами; съ тѣхъ поръ какъ заявлена была идея «славянской взаимности», эта взаимность сдѣлала мало успѣховъ. Въ славянскомъ мірѣ очевидно не было единства, и слависты новаго поколѣнія приходили къ убѣжденію, что это единство можетъ быть утверждено только однимъ способомъ—именно господствомъ или гегемоніей (московской) Россіи, или на первый разъ введеніемъ русскаго языка, какъ общаго литературнаго языка для всѣхъ славянскихъ племенъ. Пропагандѣ русскаго языка пришлось доказывать, что никакія другія средства не помогутъ дѣлу, что усилія славянскихъ племенъ создавать и развивать свои литературы въ сущности бесполезны, даже вредны—потому что отдаляютъ время объединенія посредствомъ русскаго языка. Пропагандѣ приходилось не придавать большой цѣны явленіямъ современной западно- и южно-славянской литературы; въ каждой отдѣльной народности литература слишкомъ тѣсна, чтобы обнять всеславянскій интересъ, чтобы дать средства для широкихъ созданій поэзіи и науки. Такъ, или почти такъ, дѣйствительно говорила пропаганда... Была ли вѣрна или невѣрна новая точка зрѣнія, но любопытна была такая перемѣна понятій въ средѣ самой партіи, въ короткій промежутокъ болѣе близкаго знакомства съ положеніемъ вещей. Разница въ основномъ принципѣ была слишкомъ ощутительна. Въ прежнее время, приверженцы славянской идеи радовались возникновенію славянскихъ литературъ, какъ возрожденію народностей, и ихъ разнообразіе казалось тѣмъ разнообразіемъ діалектовъ древней Греціи, которое служило къ большому богатству и красотѣ греческаго языка. Теперь, это разнообразіе казалось вавилонскимъ смѣшеніемъ языковъ, которое чѣмъ скорѣе кончится, тѣмъ лучше—т.-е. казалось почти тѣмъ же, что видѣли въ этомъ прежніе противники славянофильства.

Эта перемѣна отразилась и на домашнемъ «славянскомъ» вопросѣ. Славянофилы колебались въ своихъ отношеніяхъ къ развитію нашихъ мѣстныхъ литературъ, малорусской и бѣлорусской, въ своихъ отношеніяхъ къ польской народности. Они то

признавали ихъ право на существованіе, то сомнѣвались... Въ ихъ теоріи и теперь повторялось слово «народъ» и слово «любовь», но обрусительныя наклонности не разъ становилась въ противорѣчіе съ этими словами, и въ славянофильскихъ тенденціяхъ народная идея высказывалась въ своемъ спеціально-московскомъ смыслѣ.

Въ 1867-мъ происходилъ славянскій съѣздъ на московской этнографической выставкѣ. Есть цѣлая книга, рассказывающая объ этомъ съѣздѣ, о торжественныхъ встрѣчахъ, обѣдахъ, концертахъ, длинныхъ рѣчахъ, заявленіяхъ братскихъ чувствъ, и т. д. Но есть основаніе думать, что вообще говоря, значеніе этого съѣзда осталось нѣсколько двусмысленно: «братья» увидѣли въ своемъ путешествіи не только то одно, что хотѣли имъ показать, и едва ли убѣдились въ томъ, въ чемъ хотѣли увѣрить ихъ славянофилы, старые и новые. Въ людяхъ непредубѣжденныхъ съѣздъ подтвердилъ недовѣріе къ фантастическимъ изображеніямъ славянскаго вопроса, и въ прежней, и въ новой формѣ. Между восточными и западными «братьями» обнаружались недоразумѣнія, которыхъ невозможно было скрыть.

Такъ, и съ этой стороны практическая жизнь освѣщала новымъ свѣтомъ вопросы народные, и племенные, и открывала дѣйствительныя отношенія, которыхъ не видно было въ прежней исключительно теоретической и идеальной точкѣ зрѣнія.

Наконецъ, совершенно новыя стороны народной жизни открыты были изученію и сознанію событіями нашей внутренней исторіи послѣдняго времени. Центральнымъ и основнымъ изъ этихъ событій была крестьянская реформа. Нѣтъ сомнѣнія, что источникомъ ея были два побужденія: нравственное — сознаніе общественной несправедливости, низводившей громадную часть господствующей націи въ положеніе крайняго безправія и угнетенія; и затѣмъ, внѣшнее, матеріальное — сознаніе явнаго вреда для государства отъ неправильныхъ экономическихъ отношеній. То и другое сознаніе выросло издавна въ обществѣ — ихъ исторію можно ясно прослѣдить въ теченіе послѣдняго столѣтія. Тѣмъ не менѣе, оно стало болѣе или менѣе отчетливо только съ самымъ началомъ реформы, когда въ первый разъ явилась возможность открыто говорить объ этомъ предметѣ. Еще памятно недавнее время, когда предстоявшее рѣшеніе крестьянскаго вопроса наполнило наше полусознательное существованіе невиданнымъ оживленіемъ, въ которомъ высказались разнообразныя понятія и тенденціи, надежды и досады, вызванныя ожидаемымъ преобразованіемъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ стало возможно и началось серьезное изслѣдованіе. Вопросъ былъ такъ важенъ,

касаясь такъ глубоко народной и государственной жизни, что можно безъ преувеличенія сказать, что наше изученіе этой жизни, наше «самосознаніе» начинается только съ тѣхъ поръ, какъ крестьянскій вопросъ разрѣшался и въ общественныхъ понятіяхъ разъяснялось его истинное значеніе. Въ самомъ дѣлѣ, о какомъ «самосознаніи» могла быть рѣчь, когда десятки миллионовъ коренного народа имперіи были *юридически*, государственнымъ закономъ, устранены отъ всякой возможности какого-либо образованія, какого-нибудь иного сознанія, кромѣ гнетущаго чувства своей беспомощности и беззащитности. Крѣпостная реформа впервые позволяла понимать «народъ» въ томъ смыслѣ, въ какомъ ему могло быть приписано нравственное значеніе, когда слово «народъ», какъ обозначеніе національной идеи, перестало быть странной фикціей, двусмысліемъ и печальной ироніей.

Признаніе гражданскаго достоинства за крѣпостнымъ «народомъ» не могло не отразиться или не сопровождаться бѣльшимъ вниманіемъ къ исторической судьбѣ народныхъ массъ. Такъ федеративная теорія, высказанная именно въ этотъ періодъ освобожденія, исправляла или дополняла въ этомъ смыслѣ прежніе взгляды—историковъ государственности и историковъ славянофильскихъ. Исторія народныхъ движеній, казачества, крестьянскихъ возстаній, до тѣхъ поръ темная, получала свое объясненіе; это была уже не исторія излишнихъ и только вредныхъ броженій «противо-государственнаго начала», напротивъ, историкъ наблюдалъ здѣсь проявленія подлинной народной стихіи, естественныхъ народныхъ влеченій и инстинктовъ, и находилъ для нихъ полное объясненіе, почти оправданіе. Въ такомъ же смыслѣ началось, — опять современно съ крестьянской реформой, — изученіе другого, чисто народнаго явленія, раскола. Пренняя исторія трактовала расколъ исключительно только съ точки зрѣнія системы официальной народности и обличала его:—это былъ своего рода религіозный бунтъ толпы, тѣмъ болѣе упорной, чѣмъ болѣе она была невѣжественна; правительства неизмѣнно преслѣдовали этотъ бунтъ въ теченіе двухъсотъ лѣтъ; къ сожалѣнію, преслѣдованіе большей частью было безуспѣшно, хотя необходимо и справедливо, потому что заблужденіе, доходившее до послѣднихъ крайностей, было вредно и для государства и для церкви. Теперь исторія впервые отнеслась къ расколу безпристрастно, по крайней мѣрѣ безъ предвзятаго осужденія. Она старалась возстановить бытъ, понятія и обстоятельства, при которыхъ возникалъ расколъ, и должна была придти къ убѣжденію, что его происхожденіе имѣетъ свои основанія во все не въ бунтовскихъ наклонностяхъ невѣжественной массы, а

въ условіяхъ времени,—что по всему характеру тогдашняго религіознаго быта и просвѣщенія народъ могъ совершенно естественно придти къ тѣмъ понятіямъ, которыя казались такъ странны новѣйшимъ догматическимъ обличителямъ и вовсе не были странны въ XVII-мъ вѣкѣ. Изслѣдованіе пошло еще далѣе. Разсматривая ближе народное міровоззрѣніе семнадцатаго вѣка, при началѣ раскола, оно находило, что тѣ понятія, которыя потомъ стали считаться особенной принадлежностью раскола, были вообще тѣмъ, что можно назвать тогдашней народной религіей. Корни этой религіи лежали далеко въ предшествующихъ вѣкахъ, когда христіанство впервые установилось прочно въ умахъ народа, но—при бѣдности его образованія—установилось не въ той чистотѣ, какъ требуетъ оффиціальная догматика или какъ мы понимаемъ его теперь, а подъ вліяніемъ прежнихъ народныхъ воззрѣній и народнаго склада ума. Изслѣдователи стараго народнаго быта согласно признавали, что народныя религіозныя воззрѣнія тѣхъ временъ вѣрно характеризуются словомъ «двоевѣріе», которымъ упрекали свое время старый благочестивый писатель и гдѣ смѣшались оба источника народныхъ вѣрованій, старыя преданія, уцѣлѣвшія отъ язычества, и новыя предметы поклоненія, которые были принесены христіанствомъ. «Двоевѣріе» было принадлежностью всей народной, некнижной массы, и расколъ, въ началѣ своемъ, былъ только продолженіемъ этой народной религіи и вмѣстѣ храненіемъ всей виѣшней старины; никоновское исправленіе книгъ должно было отвергнуть эту старину, такъ какъ она дѣйствительно отступала отъ правильной церковной практики. До тѣхъ поръ народъ спокойно держался своихъ религіозныхъ преданій; многія его заблужденія раздѣляли даже лица изъ высшей іерархіи. Когда, при Никонѣ, употреблено было принужденіе и сила, народъ естественно бросился на защиту старины, въ которой искренно видѣлъ «истинную вѣру». Дальнѣйшія преслѣдованія вывели расколъ изъ естественнаго развитія; подъ анаемой и правительственнымъ гоненіемъ, онъ, предоставленный собственнымъ средствамъ, рисковалъ на всевозможные религіозные толки, впадая въ самыя разнообразныя заблужденія, но во все продолженіе гоненій твердо стоялъ за то, что считалъ своимъ религіознымъ правомъ.

Подобное объясненіе раскола было совершенно не похоже на прежнія, безъ сомнѣнія было ближе къ истинѣ и обнаруживало больше теплаго участія къ народу. Въ параллель этому въ литературѣ высказалось и новое отношеніе къ современному

расколу,—заявлена потребность въ религіозной терпимости, необходимость иного порядка въ церковной администраціи и вообще иныхъ отношеній церкви къ государству. Въ этомъ вопросѣ большая заслуга принадлежитъ различнымъ славянофильскимъ изданіямъ, здѣшнимъ и заграничнымъ, которыя очень вѣрно и энергически указывали разныя слабыя стороны существующихъ отношеній. Собственно говоря, здѣсь было не много новаго, потому что не только вопросъ вѣротерпимости, но и вопросъ о положеніи нашей церкви въ государствѣ давно былъ достаточно ясенъ для людей образованныхъ; но важно было то, что эти мнѣнія, по поводу нашихъ церковныхъ отношеній, были заявлены въ литературѣ: если въ настоящую минуту они еще не могли ни быть высказаны съ должной полнотой, ни получить должнаго къ нимъ вниманія, не говоря уже о практическомъ примѣненіи, то все-таки эта открытая постановка вводила ихъ въ понятія большаго круга общества — и во всякомъ случаѣ заявляла совершенную неизбѣжность этихъ вопросовъ. Должно сказать, что и здѣсь мнѣнія славянофиловъ раскрылись не совсѣмъ въ томъ тонѣ, въ какомъ они говорили объ этомъ прежде. Ихъ новая критика отношеній церкви къ государству повидимому не совсѣмъ соотвѣтствовала тому, какъ они изображали свой церковный идеалъ въ прежнее время — и не потому, чтобы они тогда не договаривали (по невозможности) своихъ мыслей: намъ кажется, что тогда самый идеалъ былъ исключительнѣе, и критическія мнѣнія не были такъ опредѣленны. И должно сказать, что если ихъ положительный идеалъ нельзя раздѣлять и теперь, то критическая сторона ихъ мнѣній (насколько она теперь высказана г. Ив. Аксаковымъ, въ статьяхъ «Дня», «Москвы» и «Москвича», и г. Самаринымъ, въ его характеристикѣ личности и мнѣній Хомякова) не можетъ не возбуждать сочувствія. Полагаемъ, что въ этой критической сторонѣ совершенно согласились бы съ ними и ихъ прежніе противники.

Предметъ, затронутый здѣсь, имѣетъ безъ сомнѣнія великую важность какъ для историческаго такъ и для современнаго практическаго уразумѣнія русской жизни. Начало, къ которому сводятся въ послѣднемъ результатѣ новыя мнѣнія о религіозной жизни народа и отношеніяхъ церкви въ государству, есть конечно начало терпимости или свободы совѣсти, и если бы мы стали искать источниковъ этихъ новыхъ мнѣній — осуществленіе которыхъ могло бы составить высоко важный моментъ нашего «самосознанія», — едва ли бы мы нашли этотъ источникъ гдѣ-нибудь, кромѣ идей европейской образованности. Къ сожалѣнію,

мы не находимъ его въ преданіяхъ нашей исторіи¹⁾, и находимъ долгую, упорную и славную борьбу изъ-за этого начала въ исторіи западной, которая и передаетъ намъ въ этомъ отношеніи свои уроки.

Далѣе. Къ послѣднимъ годамъ принадлежитъ также особенное распространившееся изученіе новѣйшей исторіи. До сихъ поръ, кромѣ исторіи чисто официальной, или военной, другая не существовала. Единственнымъ средствомъ, какимъ приобрѣталось и передавалось пониманіе нашего новѣйшаго общественнаго развитія,—было изученіе литературы, та литературно-историческая критика, которая возникла у писателей двадцатыхъ годовъ, потомъ особенно въ трудахъ Полеваго, и наконецъ стала большой образовательной силой въ рукахъ Бѣлинскаго. Вслѣдствіе теоріи, что литература есть выраженіе общества, историческій обзоръ художественной литературы дѣлался рамкой для исторіи самаго общества,—но конечно только въ той степени, насколько послѣдняя въ нее входила. Едва ли подлежитъ сомнѣнію, что рамка была тѣсна, что наша литература, не установившаяся въ сущности и до сихъ поръ, не была полнымъ выраженіемъ общества, и исторія поэтическихъ произведеній не разъясняла достаточно внутреннихъ отношеній общества. Поэтому, начавшееся въ послѣдніе годы изученіе внутренней исторіи, домашней, закулисной, прошлаго и нынѣшняго вѣка, явилось какъ нѣчто совершенно новое, и, повидимому, возбудило большое вниманіе. Публика не останавливалась тѣмъ, что здѣсь являлось очень мало трудовъ нѣсколько цѣльныхъ и законченныхъ, что большей частью это былъ сырой и все-таки неполный матеріалъ; какъ ни былъ этотъ матеріалъ отрывоченъ и безсвязенъ, онъ все-таки ей давалъ множество любопытныхъ и оригинальныхъ извѣстій, недоступныхъ ей прежде. Дѣйствительная исторія, т.-е. свободное критическое объясненіе явленій, чрезвычайно затруднительна и до сей минуты, и даже многое изъ упомянутыхъ матеріаловъ могло являться въ печати только ради своей безсвязности и отрывочности. Но при всѣхъ

¹⁾ Находить упомянутый источникъ въ воззрѣніяхъ «народа»—едва ли возможно: терпимость народа къ расколу, раскольничьихъ сектъ другъ къ другу, объясняется, кажется намъ, тѣмъ долгимъ общимъ угнетеніемъ, крѣпостнымъ, церковнымъ и чиновничьимъ, которое сближало ихъ въ общей антипатіи къ этому гнету, или же объясняется индифферентизмомъ. По крайней мѣрѣ, эти причины играютъ важную роль, и если въ народномъ быту и понятіяхъ наши этнографы указываютъ истинныя вѣротерпимости въ болѣе или менѣе интересныхъ примѣрахъ, то мы думаемъ однако, что эти истинныя еще требуютъ воспитанія, чтобы вырости до прочнаго сознательнаго правила.

неблагопріятныхъ условіяхъ разработки матеріала, онъ самъ по себѣ былъ большой и важной новостью: то, что прежде было извѣстно лишь по разсказамъ и преданіямъ, или узнавалось только изъ иностранныхъ книгъ, стало появляться въ нашемъ запасѣ историческаго матеріала. Какъ вообще ни мало удовлетворительно положеніе литературы нашей новѣйшей исторіи, оно составляетъ большую и выгодную разницу съ тѣмъ, что было два десятилѣтія, даже одно десятилѣтіе назадъ. Такъ нашему «національному самосознанію» недоставало даже самыхъ существенныхъ свѣдѣній о нашей недавней исторіи...

Наконецъ, новый періодъ нашей общественной жизни, въ особенности заявленіе крестьянской реформы дали мѣсто еще одному обширному и глубокому интересу изученія, который можно сказать завершалъ все то, что дѣлалось до тѣхъ поръ. Это было изученіе экономическое. Оно началось, правда, еще раньше, но, крайне стѣсненное прежде въ прямомъ примѣненіи къ положенію крѣпостного населенія, теперь оно впервые ставилось серьезнымъ образомъ какъ относительно собиранія матеріала, такъ и относительно его разъясненія. Когда работали крестьянскіе комитеты и редакціонныя комиссія, вопросъ дѣятельно разрабатывался и въ литературѣ. И опять, какъ самое пониманіе ненормальности крѣпостного быта и лучшее отношеніе къ крестьянскому народу были несомнѣнно въ значительной степени воспитаны европейской образованностью, такъ теперь европейская наука давала опору и въ теоретическомъ рѣшеніи. Экономическіе вопросы стали предметомъ, на которомъ больше чѣмъ когда-нибудь сосредоточивались живѣйшіе интересы: споръ двухъ боровшихся сторонъ общественнаго мнѣнія дѣлался споромъ экономическимъ. Въ немъ естественно отразились различныя направленія западной экономической науки, повторены были аргументы консервативные и прогрессивные,—насколько возможно разъяснялись общественныя и политическія послѣдствія экономическихъ отношеній; вопросъ объ общинѣ приводилъ къ самому рѣзкому столкновенію экономическихъ теорій, затрогивая вмѣстѣ съ тѣмъ одну изъ самыхъ существенныхъ сторонъ народнаго быта. Крестьянскій вопросъ не безъ основанія представлялся какъ видоизмѣненіе западнаго рабочаго вопроса, обставленное, правда, иными условіями, не настолько еще созрѣвшее, но тѣмъ не менѣе требующее настоятельно вниманія.

Этотъ новый предметъ общественнаго изученія былъ едва ли не важнѣйшимъ изъ всѣхъ предшествующихъ изученій «народности», по богатству указаній для уразумѣнія народной дѣйствительности. Въ первый разъ въ литературѣ, и въ мнѣніяхъ

общества, раскрывалась истинная картина народного быта, облачаемая отъ чиновническихъ умолчаній и отъ лицемѣрнаго прикрашиванья; слабыя стороны народного быта и его бѣдствія въ первый разъ открыто указывались общественной совѣсти и еще болѣе возбуждали сказавшееся сочувствіе къ народнымъ массамъ. Вліяніе этого изученія и вмѣстѣ впечатлѣніе всей крестьянской реформы непосредственно отразились на самыхъ различныхъ сторонахъ общественныхъ понятій. Броженіе политическихъ идей, прошедши съ двадцатыхъ годовъ свои различныя ступени романтическаго либерализма, тяжелыхъ сомнѣній, философско-историческихъ изслѣдованій, устанавливалось въ интересъ обще-народнаго развитія, которое понималось теперь болѣе яснымъ и реальнымъ образомъ, чѣмъ когда-нибудь прежде. Экономическая справедливость, которая становилась исходнымъ идеальнымъ пунктомъ новыхъ понятій, уже заключала въ себѣ рѣшеніе другихъ вопросовъ, на которыхъ останавливались люди, сочувствовавшіе народу. Въ самомъ дѣлѣ, освобожденіе—чтобы быть логически вѣрнымъ — предполагало цѣлый рядъ новыхъ преобразованій, которыя только и дѣлали его дѣйствительнымъ: необходимость общественной равноправности для народа — въ правѣ равнаго суда, равнаго участія въ земскомъ самоуправленіи, въ правѣ на образованіе,—эта необходимость не представляла ни малѣйшаго сомнѣнія для людей, искренно искавшихъ общественнаго улучшенія. Мы видѣли, какъ нравственное вліяніе крестьянской реформы отразилось на оживленіи мѣстныхъ народностей, особенно малорусской, въ основаніи котораго лежало тоже стремленіе образованныхъ классовъ сблизиться съ народомъ и служить его нравственнымъ интересамъ. Обществу, которое такъ долго обвиняли въ отдѣленіи отъ народа, открывалась теперь возможность завязать съ нимъ нравственную связь, которой безъ сомнѣнія суждено развиваться въ практически-дѣйствительную связь, а эта послѣдняя только и можетъ быть основаніемъ настоящей, а въ воображаемой національной образованности.

Мы не будемъ говорить о рядѣ другихъ реформъ, отмѣтившихъ послѣднее дѣсятилѣтіе,—реформъ въ судѣ, администраціи, печати, земствѣ, городахъ. Эти реформы, отчасти задуманныя подъ очевиднымъ вліяніемъ европейскихъ взглядовъ и учрежденій (какъ реформа судебная), тѣсно связаны съ крестьянской реформой, какъ послѣдовательное ея продолженіе, и имѣли подобное же дѣйствіе: будучи результатомъ понятій, созрѣвшихъ въ прежнее время, они—при своемъ первомъ осуществленіи—раскрывали еще разъ народную жизнь съ такой реальной яс-

ностью, какой еще не достигало литературное изучение. Затѣмъ, до какой степени были необходимы эти преобразованія, какія существенныя отношенія предстояло имъ исправить и улучшить, и насколько эти реформы въ своемъ настоящемъ видѣ выполняютъ эту задачу, или насколько ихъ дальнѣйшая судьба удовлетворяла ихъ первой идеѣ и ожиданіямъ общества, — обо всемъ этомъ безпристрастный читатель можетъ найти достаточно указаній въ литературѣ послѣднихъ годовъ.

Во всемъ этомъ движеніи, совершавшемся со времени Крымской войны, проявлялось уже не мало признаковъ дѣйствительнаго самосознанія, въ серьезномъ смыслѣ этого слова, и сравнивъ то, что было приобрѣтено теперь въ этомъ отношеніи, съ понятіями сороковыхъ годовъ, мы не можемъ не увидѣть большой разницы. Многое, что было тогда однимъ теоретическимъ предположеніемъ, становилось вопросомъ практической жизни; реформы и учрежденія, о которыхъ едва позволялось помышлять литературѣ, совершались на дѣлѣ; изученіе «народности» сдѣлало несомнѣнные успѣхи въ историческихъ, бытовыхъ и экономическихъ изслѣдованіяхъ; началась впервые нѣсколько открытая работа общественнаго мнѣнія и литературы по предметамъ внутренней политики.

Но преобразованія уже вскорѣ начали принимать новое направленіе, и въ ихъ исполненіи (пока еще не оставленномъ) стала, болѣе и болѣе очевидно, брать верхъ реакція консервативныхъ элементовъ. Преобразованія потеряли свой рѣшительный характеръ, который въ первое время возбуждалъ столько ожиданій въ идеалистахъ прогресса, и вмѣстѣ съ тѣмъ въ развитіи общественнаго мнѣнія является новый поворотъ.

Рядомъ съ тѣми успѣхами, которыми уже начали у насъ гордиться вслѣдствіе начатыхъ преобразованій, въ одной части общества и литературы развивается сильный скептицизмъ, который недовѣрчиво относился къ ходу вещей и прослылъ «отрицаніемъ». Объ этомъ отрицаніи, или противъ него, было наговорено и еще говорится такъ много, и такъ много враждебно-фальшиваго, что, быть можетъ, не излишне сказать нѣсколько словъ объ его истинномъ смыслѣ. Прежде всего, такъ-называемое отрицательное направленіе имѣло различные предметы и уровни; съ конца пятидесятихъ годовъ въ числѣ его представителей стояли нѣсколько замѣчательнѣйшихъ писателей нашихъ (начиная, напр., съ Добролюбова и кончая новѣйшей сатирой г. Салтыкова), изъ которыхъ не всѣ уже дѣйствуютъ теперь въ литературѣ; затѣмъ отрицаніе получило другой особенный типъ въ младшемъ поколѣніи, послужившій предметомъ обличенія для

столькихъ романистовъ и публицистовъ, и подѣ конецъ, должно сказать, изуродованный ими до потери человѣческаго образа. Въ числѣ обличителей «отрицанія», которые теперь такъ размножились, стали въ первомъ ряду даже лучшіе писатели прежняго періода, какъ авторъ «Отцовъ и Дѣтей», который самъ еще незадолго передъ тѣмъ съ сочувствіемъ рисовалъ отрицательные типы прошлаго періода и который теперь въ личности Базарова конечно изображалъ (невѣрно понятыхъ имъ) людей, дѣйствовавшихъ около 1860-го года—такая разниа легла между двумя поколѣніями. Дальнѣйшіе противники отрицанія обыкновенно вылавливали изъ современной жизни всякія случавшіяся крайности этого рода, и взваливали ихъ на отрицаніе, какъ его систематическую принадлежность. Этого рода обличители конечно не заслуживаютъ вниманія. Наконецъ, въ послѣднее время вражда къ «отрицанію» доходитъ до того, что въ эту категорію относятъ вообще всякую попытку независимой критики, всякое сомнѣніе въ вѣрности охранительнаго идеала или въ обширности нашихъ гражданскихъ успѣховъ, всякую насмѣшку надъ грубымъ національнымъ самодовольствомъ и самохвалствомъ. Публицисты извѣстнаго свойства не уставали обвинять въ «отрицаніи» и заподозривать огуломъ все, что не принимало ихъ реакціоннаго символа, и имъ долго вѣрила не только мало развитая масса, но къ сожалѣнію и люди вліятельныхъ сферъ. Все то, что нѣкогда испугалось начавшихся реформъ, при первомъ признакѣ реакціи поспѣшило стать за охранительные принципы и съ благонамѣреннымъ негодованіемъ возстать противъ «отрицанія».

Здѣсь не мѣсто указывать всѣ источники и подробности этого направленія, объяснять частныя свойства и увлеченія нѣкоторыхъ его отлѣнковъ; но нельзя не видѣть, что вообще, съ конца пятидесятихъ годовъ и донинѣ, въ общественномъ мнѣніи и въ литературѣ проходитъ — съ различной силой — черта сомнѣнія и критики, предметомъ которыхъ служитъ современное состояніе русской жизни.

Болѣе серьезнымъ противникамъ такъ-называемаго отрицательнаго направленія, можно желать больше безпристрастія, чтобы понять это направленіе. Если разсматривать дѣло безъ предубѣжденія, этотъ скептицизмъ пятидесятихъ и шестидесятихъ годовъ не требуетъ большихъ объясненій. Не трудно было бы увидѣть, что въ глубинѣ этого отрицанія лежали самыя ясныя и вразумительныя положенія и идеалы, что желчныя проявленія скептицизма тѣмъ больше говорили о силѣ чувства, съ какимъ ждалось осуществленіе этихъ идеаловъ. Можетъ показаться

парадоксомъ, но совершенно справедливо то, что отрицаніе было слѣдствіемъ нравственнаго вліянія крестьянской реформы. Эта давно жданная лучшими людьми реформа, своей основной идеей, производила на нихъ столь сильное впечатлѣніе, что возбужденное чувство не удовлетворялось ни слишкомъ нерѣшительными мѣрами, ни слишкомъ легкимъ отношеніемъ къ дѣлу даже со стороны такъ-называемаго прогрессивнаго общества. Недовольство было совершенно естественно, если припомнить всѣ обстоятельства дѣла. При первыхъ возникшихъ сомнѣніяхъ естественно представлялся прошедшій долгій застой, который слишкомъ вошелъ въ нравы и грозилъ остановить начавшееся дѣло на пол-дорогѣ. Дѣйствительно, прошло немного лѣтъ, и опасенія стали почти оправдываться.

Скептическая наклонность, какъ извѣстно, вовсе не рѣдка въ русской литературѣ, и ее множество разъ указывали и истолковывали въ нашей сатирѣ. Последнее проявленіе ея было конечно наиболѣе сильное и богатое содержаніемъ. Писателямъ сороковыхъ годовъ, которымъ становилось непонятно современное сомнѣніе, стоило вспомнить, что нѣкогда говорили они сами о тѣхъ проявленіяхъ скептицизма, какія они видѣли въ свое время. Вотъ для примѣра отрывокъ, писанный двадцать пять лѣтъ тому назадъ. Авторъ объясняя причины тогдашнихъ проявленій скептицизма, говоритъ:

„Просто, мы возмужали и пришли къ тому возрасту, когда и человѣкъ и народъ начинаютъ отдавать отчетъ себѣ въ томъ, что сдѣлалъ и дѣлаетъ — оттого мы стали строже и къ себѣ и къ другимъ; стали пытливей и недовѣрчивѣе. Словомъ, наступило время разсудка, анализа, критики. Этотъ поворотъ въ нашей жизни начался полнымъ отрицаніемъ, сомнѣніемъ во всемъ, даже въ нашихъ юношескихъ силахъ, и очень немногіе поняли настоящій смыслъ этого явленія. Въ литературѣ, въ отдѣльныхъ мнѣніяхъ послышалась тогда (хоть это было и очень недавно) та странная, пестрая разноголосица, то смѣшеніе языковъ, которыя наполнили собою послѣднее десятилѣтіе и которыхъ замирающіе отзвуки слышатся еще и до сихъ поръ. Большинство не вынесло общаго скепсиса, овладѣвшаго всѣмъ и всѣми. Оно испугалось той видимой пустоты, которую въ немъ оставляло скептическое направленіе времени, и отъ общаго кораблекрушенія преданій, готовыхъ убѣжденій, непередуманныхъ вѣрованій, каждый спасался куда могъ и какъ могъ. Отъ дѣйствительности кто бѣжалъ въ прошедшее и на немъ успокоивался, разумѣется подкрасивъ его по своему крайнему разумѣнію; кто бѣжалъ въ будущее и въ него перенесъ все то, чего недоставало въ настоящемъ. Самое незначительное число осталось при настоящимъ, смотрѣло на него прямо и старалось разгадать его разумныя требованія...

„Скептическое направленіе — необходимый результатъ отжитаго прошедшаго, необходимый прологъ къ зарождающемуся будущему, —

произвело на насъ благотѣльное дѣйствіе. Недавно еще высказывалось оно рѣзко, отвлеченно, а теперь мы можемъ уже отчасти провидѣть его результаты сквозь хламъ и соръ, которымъ еще завалена наша литература. Такъ мы быстро идемъ впередъ! Оно, какъ медицинскіе яды, съѣло, сожгло въ насъ гнилые соки и очистило кровь. Когда ложныя понятія, взгляды, стремленія, чувства, вся эта формалистика недавняго прошедшаго, въ которыхъ оно силилось увѣковѣчиться, мало по малу были распатаны и разрушены, туманъ исчезъ изъ головы, и прежнія аксіомы сдѣлались по крайней мѣрѣ теоремами, — что оставалось дѣлать! Отбросить всѣ нелѣпыя и узенькіе взгляды, всѣ изношенныя чувствійца, служившія теперь лишь для пріятнаго, но совершенно бесполезнаго препровожденія времени, отказаться отъ предубѣжденій, предрасположеній къ прошедшему и будущему, и серьезно приняться за дѣло, ища одной истины и ничего больше“... (1846)

Эти слова написаны какъ будто вчера, о нашемъ собственномъ времени, и написаны разсудительнымъ человѣкомъ, который умѣетъ понимать сущность дѣла... Мы сказали бы теперь почти то же самое.. Разница времени оказалась, разумѣется, въ самыхъ предметахъ скептицизма: тогда, за полнымъ отсутствіемъ въ литературѣ собственно публицистическаго содержанія, шла рѣчь о вопросахъ, гораздо болѣе отвлеченныхъ и теоретическихъ; въ наше время, такъ или иначе, дѣло идетъ о настоящей дѣйствительной жизни, о понятіяхъ совершенно реальныхъ. Оттого новый скептицизмъ былъ глубже и серьезнѣе, проявленія его рѣзче (и въ извѣстной части общества — грубѣе), мнѣнія, можетъ быть нетерпимѣе. Но мы и теперь сказали бы точно также, что «скептическое направленіе — необходимый результатъ отрицатаго прошедшаго, необходимый прологъ къ зарождающемуся будущему», и не сомнѣваемся, что оно будетъ имѣть благотѣльное дѣйствіе, — что въ понятіяхъ извѣстной доли общества, оно имѣетъ это дѣйствіе уже и теперь. Въ такихъ условіяхъ, каковы наши, скептицизмъ есть обыкновенный запросъ на дальнѣйшее развитіе, и сила «отрицанія» показываетъ только, что ожидаемое развитіе предполагается очень непохожимъ на существующее положеніе вещей. И человѣкъ безпристрастный едва ли скажетъ, чтобы наша общественная дѣйствительность не представляла слишкомъ много основаній для отрицательнаго направленія, чтобы даже самыя крайности его не были порожденіемъ другихъ крайностей. Къ сожалѣнію, до сихъ поръ ни одинъ изъ нынѣшнихъ противниковъ скептическаго направленія не былъ настолько правдивъ или безпристрастенъ, чтобы признать эти основанія; лицемѣріе или боязнь провѣрить и испытать свои собственныя мнѣнія, мѣшали имъ говорить объ этомъ. Но если мы захотимъ безъ предубѣжденія взглянуть на истинныя осно-

ванія нынѣшняго скептицизма, не теряясь въ «пестрой разно-голосицѣ мнѣній» и не смущаясь «видимой пустотой», которую онъ будто бы производитъ, мы найдемъ, что онъ весьма естественно ставить для нашего развитія новыя задачи и требованія. Въ практической жизни, начавшееся преобразование нашего общественнаго быта не удовлетворяло возбужденныхъ желаній, и здѣсь начало «отрицанія», которое идетъ рядомъ съ реакціоннымъ движеніемъ. Будущій историкъ безъ сомнѣнія замѣтитъ, что въ этомъ скептицизмѣ нашего времени и заключался вѣрный инстинктъ развитія, и что ему предстояло смѣниться положительнымъ направленіемъ, но уже новаго, высшаго порядка.

Такимъ образомъ шла, съ двадцатыхъ годовъ и донынѣ, эта постоянная работа общества надъ опредѣленіемъ своихъ элементовъ и ихъ должнаго устройства. Наиболѣе дѣятельна была эта работа въ два послѣднія десятилѣтія, когда правительственная инициатива въ началѣ приняла открыто прогрессивное направленіе, и когда въ отвѣтъ на это началась оживленная дѣятельность самого общества. Цѣль еще далеко не достигнута: масса, хотя освобожденная, до сихъ поръ остается безъ нравственнаго обезпеченія, безъ образованія, безъ тѣснаго дѣйствія на нее образованныхъ классовъ, и слѣдовательно, почти безъ всякой возможности участвовать сознательно въ высшихъ интересахъ національнаго развитія; общество не имѣетъ свободной инициативы и простора для своей дѣятельности.

Въ такихъ условіяхъ, и до сихъ поръ трудно говорить о самосознаніи общества иначе, какъ разумѣя только разьединенное меньшинство наиболѣе образованныхъ людей, одушевляемыхъ общественнымъ интересомъ,—хотя теоретическія основанія этого самосознанія уже выработались до значительной ясности. Еще труднѣе было говорить объ этомъ въ сороковыхъ годахъ, когда кругъ такихъ людей былъ еще менѣе, когда невозможно было даже говорить объ основной необходимой реформѣ, произведенной теперь, когда гораздо ограниченнѣе былъ самый запасъ свѣдѣній и объ историческомъ развитіи самого общества, и о народномъ бытѣ. Съ другой стороны, относительно способовъ, какими достигалось это самоопредѣленіе, должно замѣтить, что если въ своей сущности оно исходило отъ внутреннихъ естественныхъ побужденій развитія, то научная и теоретическая его работа шла постоянно по слѣдамъ европейской науки и опыта.

Вотъ обстоятельства, которыя нужно имѣть въ виду, опре-

дѣлая историческое значеніе двухъ главныхъ литературныхъ школъ, которыя въ описываемое время образовались внѣ системы оффиціальной народности. Усилія и стремленія тогдашней литературы имѣютъ такимъ образомъ значеніе именно какъ переходъ отъ романтизма двадцатыхъ годовъ къ нашему времени. Понятія и выводы этой литературы не могутъ конечно не казаться намъ неполными, но все же, нельзя не признать, они были великимъ успѣхомъ противъ старой традиціонной точки зрѣнія: своими критическими требованіями они дѣлали совершенно несостоятельно систему оффиціальной народности, и, слѣдуя въ порядкѣ развитія за либерализмомъ двадцатыхъ годовъ, эти понятія становились выше и его романтической, и его скептической стороны. Однимъ словомъ, литература сороковыхъ годовъ нашла болѣе вѣрную точку зрѣнія на нашу народную и общественную жизнь, и наше время шло тѣмъ самымъ путемъ развитія, который—нерѣдко замѣчательнымъ образомъ—предчувствовали и указывали лучшіе люди тогдашней литературы.

V

СЛАВЯНОФИЛЬСТВО.

А. Общій взглядъ и теологическая система славянофильства.

Въ то самое время, когда Чаадаевъ пришелъ къ крайнему скептицизму своихъ «Писемъ», въ литературѣ готовилась новая точка зрѣнія, которая отличалась столько же крайнимъ, самоувѣреннымъ увлеченіемъ въ совершенно противоположную сторону. Это было славянофильство.

До сихъ поръ еще не пришло время для полной оцѣнки этого направленія: оно понынѣ продолжаетъ свою роль въ литературѣ и вѣроятно полагаетъ, что еще не высказалось окончательно; его первые дѣятели отчасти дѣйствуютъ до сихъ поръ; другіе, которые сошли со сцены, еще не имѣютъ настоящихъ біографій; собранія ихъ сочиненій только начаты. По нашей задачѣ, мы ограничимся только тою частью ихъ дѣятельности, которая принадлежитъ выбранному нами періоду. Понятно, что эта часть не была наиболѣе характеристична. Славянофилы, какъ и остальная литература, не могли тогда высказать своихъ мнѣній достаточно полно; но и тогда они успѣли выставить нѣкоторыя изъ главныхъ своихъ положеній, и рѣзко выдѣлились въ литературѣ, какъ особая школа. Намъ приходится въ этихъ началахъ ихъ дѣятельности наблюдать задатки дальнѣйшаго, болѣе обширнаго развитія ихъ мнѣній; изъ ихъ, позднѣйшей дѣятельности мы заимствуемъ только немногія необходимыя указанія.

Въ послѣдніе годы, — по причинамъ, о которыхъ мы упомянемъ дальше, — число приверженцевъ славянофильства стало больше, чѣмъ было прежде; составила даже новая, особаго рода школа, въ славянофильскомъ духѣ. Эти новые послѣдователи, хотя иногда значительно отступаютъ отъ первоначальной школы, вообще однако придаютъ великое значеніе начинателямъ славянофильства, считаютъ, что ихъ ученіе, все болѣе будто бы овладѣвающее умами, стало цѣлымъ умственнымъ переворотомъ, вслѣдствіе котораго русская мысль и общественное мнѣніе получаютъ наконецъ самобытность и народность. Славянофильство изображается какъ новый періодъ, уничтожающій то подчиненіе Европѣ, которымъ такъ долго страдала наша образованность.

Извѣстно, что это была мечта и самихъ славянофиловъ. При началѣ ихъ дѣятельности, имъ казалось, что они именно и призваны свергнуть европейское иго и выставить знамя русской самостоятельной мысли, найти истинно народныя основы нашего общественнаго и умственнаго бытія и дать имъ силу. Новѣйшіе послѣдователи думаютъ, что они дѣйствительно это сдѣлали, что основы найдены, и что не признають ихъ и спорять противъ нихъ только люди, лишенные пониманія, упорствующие въ заблужденіи, или даже дурные патріоты. Славянофилы относятся къ этимъ людямъ обыкновенно съ высокоумнымъ пренебреженіемъ, мелкіе ихъ приверженцы—съ озлобленіемъ, впрочемъ довольно безвреднымъ ¹⁾).

Славянофильство имѣло конечно свои заслуги въ нашей литературѣ и общественныхъ понятіяхъ. Но эти заслуги были не такъ универсальны, и въ нихъ надо сдѣлать немалыя исключенія противъ ихъ собственныхъ притязаній. Мы попробуемъ опредѣлить мѣру этихъ заслугъ и мѣру недостатковъ славянофильства за описываемый нами періодъ, впрочемъ только въ общихъ чертахъ, не входя въ подробности его исторіи.

Школа, извѣстная впослѣдствіи подъ этимъ именемъ, образовалась около второй половины тридцатыхъ годовъ. Ея старѣйшими представителями были братья Кирѣевскіе (Иванъ Вас., 1806—1856, и Петръ Вас. 1808—1856), Хомяковъ (1804—1860); къ нимъ тѣсно примыкали болѣе молодые: Дмитрій Валувевъ, умершій въ 1845 г., Константинъ (1817—1860) и Иванъ Аксаковы, Ю. О. Самаринъ; далѣе, гг. Кошелевъ, Елагинъ, Новиковъ, Чижовъ, и др. Этими именами школа держалась въ сущности до послѣдняго времени.

Казалось бы, что столь замѣчательное явленіе въ исторіи нашей образованности, какимъ считаютъ славянофильство, должно имѣть свои antecedentes въ предшествующемъ ходѣ русской общественной мысли, но до сихъ поръ генеалогія славянофильскаго ученія не была хорошенъко опредѣлена, ни его послѣдователями, ни противниками. Если видѣть его сущность въ приверженности къ началамъ древней Руси, во враждѣ къ Петровской реформѣ, то очень длинный рядъ предшественниковъ его можно найти въ теченіе всего XVIII-го вѣка, между людьми, у которыхъ сохранялась или непосредственная память, или преданья о временахъ до-Петровскихъ, — этотъ рядъ можно было бы начать пожалуй отъ царевны Софьи и стрѣльцовъ, и далѣе считать въ немъ ца-

¹⁾ „Заря“ и т. п.

ревича Алексѣя; русскую партію при Аннѣ и Елизаветѣ; людей стараго вѣка при Екатеринѣ, какъ князь Щербатовъ; далѣе, Шишкова и «Бесѣду». Какъ ни странны были бы многія изъ этихъ аналогій, онѣ не были бы лишены извѣстнаго основанія,— потому что вражда къ преобразованіямъ Петра и къ «петербургскому періоду» не одинъ разъ высказывалась славянофилами съ крайней нетерпимостью, и старина восхвалялась съ самымъ рѣшительнымъ предпочтеніемъ. Прибавимъ, что теологическая сторона славянофильскихъ понятій сближаетъ эту школу еще больше съ идеалами старыхъ защитниковъ до-Петровской Россіи. Эта теологическая сторона, занимающая очень важное мѣсто въ славянофильскомъ ученіи, нерѣдко вполне напоминаетъ о религіозной исключительности и теологическихъ притязаніяхъ старой московской Россіи. Древность вообще такъ драгоценна славянофиламъ, что сравненіе ихъ съ противниками «новыхъ обычаевъ» въ XVIII-мъ вѣкѣ дѣлается естественнымъ ¹⁾.

Но съ другой стороны не трудно видѣть, что это сравненіе было бы неточно. При всемъ пристрастіи къ старинѣ, славянофилы ставятъ вопросъ гораздо сложнѣе и мудренѣе, чѣмъ консерваторы XVIII-го вѣка, народные и литературные. Славянофильство—не простой инстинктъ, но цѣлое ученіе, дѣйствующее философскими доказательствами, владѣющее средствами той новѣйшей образованности, на которую нападаетъ во имя народной старины. Оно такъ отличается отъ консерваторовъ XVIII-го вѣка и степенью образованія и свойствомъ многихъ своихъ общественныхъ стремленій (гдѣ иногда идетъ рядомъ съ лучшими представителями либерализма), что сравненіе прекращается, и въ славянофильствѣ приходится признать явленіе иного порядка.

Оно отличается и отъ консерваторовъ болѣе близкаго времени, — Александровскаго. Славянофиловъ нельзя серьезно сравнивать съ Шишковымъ и его приверженцами, какъ это дѣлалъ Бѣлинскій въ разгарѣ полемики; они любятъ старину не такимъ наивно-грубымъ образомъ, и многое въ ихъ понятіяхъ было бы для Шиш-

¹⁾ Г. Ламанскій указываетъ слѣдующихъ начинателей и предшественниковъ славянофильства. „Въ этотъ періодъ видимаго упадка внутреннихъ народныхъ силъ, — говоритъ онъ, — въ періодъ, заключенный крымскою войною и парижскимъ миромъ, возникла у насъ такъ-называемая школа славянофиловъ, имѣвшая впрочемъ высокодаровитыхъ и замѣчательныхъ предшественниковъ въ Ломоносовѣ и Болтинѣ, Карамзинѣ (послѣдняго періода) и Грибоѣдовѣ, митр. Платонѣ и Голубинскомъ, и въ другихъ нашихъ духовныхъ писателяхъ“... („День“, 1865, № 50 и 51, стр. 1200). Очевидно, что здѣсь отмежевано для славянофильства слишкомъ много изъ исторіи русской литературы.

кова китайскою грамотой. Словомъ, источниковъ славянофильства мы должны искать гораздо ближе: своими сочувствіями оно дѣйствительно связано съ преданіями стараго вѣка и, постоянно твердя о нихъ и занимаясь ими, успѣло даже усвоить многія непривлекательныя стороны этихъ, собственно московскихъ, преданій, но эта связь—чисто теоретически придуманная, и славянофильство по своему происхожденію есть явленіе существенно новое, характеръ котораго лежитъ въ условіяхъ русской образованности и общественной жизни въ первыя десятилѣтія нашего вѣка. Его теоретическое содержаніе было развито по пріемамъ и подъ указаніями европейской литературы, именно подъ вліяніями романтизма и нѣмецкой философіи: въ его основаніи была извѣстная нравственно-общественная сила, были здоровые и естественные элементы, но столкнувшись въ своемъ развитіи съ тяжелыми общественными условіями, эта сила не сохранила правильного направленія и впала въ одностороннюю крайность, съ которой остается и до сихъ поръ.

Извѣстны рассказы автора «Былаго и Думъ» о томъ, какъ въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ складывались въ Москвѣ двѣ партіи, вскорѣ овладѣвшія литературой; какъ шли тогда оживленныя бесѣды и споры въ кружкѣ, гдѣ дружелюбно сходились люди, ставшіе вскорѣ потомъ руководителями двухъ различныхъ направленій въ литературѣ и общественныхъ понятіяхъ.

Содержаніе этихъ споровъ вращалось на томъ, чтѣ было тогда господствующимъ интересомъ новаго литературнаго поколѣнія. Это была нѣмецкая философія съ тѣмъ всеобъемлющимъ значеніемъ, по которому она сосредоточивала въ себѣ всѣ вопросы общаго отвлеченнаго мышленія и всѣ частныя примѣненія въ предметахъ политической жизни, исторіи, литературы. Къ разсказамъ автора «Былаго и Думъ», идутъ параллельно воспоминанія г. Самарина:

«Въ то время, — говоритъ онъ, — общество московскихъ ученыхъ и литераторовъ распадалось на два кружка, такъ-называемыхъ западниковъ и такъ-называемыхъ славянофиловъ. Первый, и многочисленнѣйшій, группировался около новоприбывшихъ изъ-за границы профессоровъ московскаго университета и представлялъ собою отраженіе, въ маломъ размѣрѣ, господствовавшей въ то время, въ нѣмецкомъ ученomъ мірѣ, правой стороны Гегелевой школы. Въ другомъ кружкѣ вырабатывалось мало по малу воззрѣніе православно-русское... Представителями его были Хомяковъ и Кирѣевскіе.

«Оба кружка не соглашались почти ни въ чемъ; тѣмъ не

менѣе, ежедневно сходились, жили между собою дружно и составляли какъ бы одно общество; они нуждались одинъ въ другомъ и притягивались взаимнымъ сочувствіемъ, основаннымъ на единствѣ умственныхъ интересовъ и на глубокомъ, обоюдномъ уваженіи. При тогдашнихъ условіяхъ, полемика печатная была немыслима и, какъ въ эпоху предшествовавшую изобрѣтенію книгопечатанія, ее замѣняли послѣдовательные и далеко не безплодные словесные диспуты. Споры вертѣлись около слѣдующихъ темъ: возможенъ ли логическій переходъ, безъ скачка или перерыва, отъ понятія чистаго бытія, черезъ понятіе небытія, къ понятію развитія и бытія опредѣленнаго, отъ *Seyn*, черезъ *Nichts*, къ *Werden* и къ *Daseyn*? Иными словами, что править міромъ: свободно-творящая воля, или законъ необходимости?

«Далѣе: какъ относится православная церковь къ латинству и протестантству: какъ первобытная среда начального безразличія, изъ которой, путемъ дальнѣйшаго развитія и прогресса, вышли другія, высшія формы религіознаго міросозерцанія, или какъ вѣчно пребывающая и неповрежденная полнота Откровенія, подчинившагося въ западномъ мірѣ латино-германскимъ представленіямъ и вслѣдствіе этого раздвоившагося на противоположные полюсы? Наконецъ: въ чемъ заключается разница между русскимъ и западно-европейскимъ просвѣщеніемъ, въ одной ли степени развитія или въ самомъ характерѣ просвѣтительныхъ началъ? Предстоитъ ли русскому просвѣщенію проникаться болѣе и болѣе, не только внѣшними результатами, но и самыми началами западно-европейскаго просвѣщенія или, вникнувъ глубже въ свой собственный, православно-русскій духовный бытъ, опознать въ немъ начала новаго, будущаго фазиса общечеловѣческаго просвѣщенія?

«...Невѣроятнымъ покажется, что люди неглупые могли такъ долго жить и жить умственною жизнью, въ области отвлеченнаго умозрѣнія, повернувшись спиною къ вопросамъ политическимъ. Между тѣмъ, это несомнѣнно...

«О политическихъ вопросахъ никто въ то время не толковалъ и не думалъ. Это составляло одну изъ отличительныхъ особенностей московскаго учено-литературнаго общества сороковыхъ годовъ, которой не могли объяснить себѣ люди предшествовавшей эпохи. Они прислушивались и въ недоумѣніи пожимали плечами» ¹⁾.

¹⁾ Ср. съ этими воспоминаніями біографіи Станкевича и Грановскаго; воспоминанія г. Свербеева о Чаадаевѣ и Герценѣ (Р. Архивъ, 1868, стр. 976; 1870, стр.

Такимъ образомъ, той почвой, на которой развивались славянофильскія идеи, была нѣмецкая философія; изъ нея славянофилы заимствовали свою аргументацію, свои средства борьбы, и также постановку руководящихъ вопросовъ. Къ спорамъ о чистомъ и опредѣленномъ бытіи, рѣшавшимъ общій вопросъ объ отношеніи знанія и вѣры, непосредственно примыкали споры изъ области философіи исторіи, о значеніи міра восточнаго и западнаго, объ отношеніи православія къ католицизму и протестантству. Это были вопросы отвлеченные и универсальные. Если въ то время не толковали и не думали о политическихъ вопросахъ, то это было довольно естественно: не говоря о томъ, что прикосновеніе къ чистой политикѣ было въ тѣ времена очень не безопасно и для нея не было мѣста въ тогдашнихъ нравахъ, она исчезала или подразумѣвалась въ тѣхъ всеобъемлющихъ вопросахъ, на которыхъ сосредоточено было все вниманіе обѣихъ сторонъ, частные вопросы разрѣшались сами собой, какъ скоро устанавливались общія положенія. Въ концѣ концовъ, развитіе миѣній привело и къ прямымъ политическимъ вопросамъ.

Вслѣдствіе того, что спорные пункты рѣшались диспутами, по способу, употреблявшемуся до изобрѣтенія книгопечатанія, славянофильское ученіе выработалось наконецъ (въ первоначальномъ тѣсномъ кружкѣ) до значительной выдержанности общихъ основаній и подробностей: когда оно выступило особымъ направленіемъ въ литературѣ, оно явилось въ ней какъ готовый рядъ воззрѣній, которымъ были довольно вѣрны всѣ члены школы. Это было уже довольно поздно, въ половинѣ сороковыхъ годовъ, когда вслѣдъ за «Симбирскимъ Сборникомъ» (наполненнымъ историческими матеріалами), появились «Сборникъ» Валуева и «Московскіе Сборники». Слѣдить постепенное развитіе славянофильства въ печатной литературѣ, поэтому, довольно мудрено. Впрочемъ еще до этого времени славянофильскіе писатели въ печатной литературѣ примыкали нерѣдко къ людямъ, близкаго съ ними, но тѣмъ не менѣе особаго направленія въ «Москвитянинѣ». Это союзничество отразилось на ихъ литературныхъ отношеніяхъ: писатели «Москвитянина» не пользовались репутаціей; противники славянофиловъ не всегда могли выдѣлить ихъ изъ писателей этого журнала, тѣмъ больше, что сами славянофилы давали поводъ къ этому смѣшенію, — и когда печатная полемика наконецъ открылась, это повело къ большому раздраженію обѣихъ сторонъ.

Кружокъ словянофиловъ тѣмъ удобнѣе могъ согласовать свои идеи въ одно ученіе, что это былъ немногочисленный тѣсный кружокъ, связанный дружескими и родственными отношеніями. Ихъ внѣшнее положеніе въ литературѣ могло назваться болѣе выгоднымъ, чѣмъ положеніе ихъ противниковъ. Славянофилы, вообще люди довольно независимые (большей частью, довольно или очень богатые помѣщики, занимавшіе мѣсто между верхними слоями средняго дворянства и настоящей аристократіей), въ литературѣ были мало дѣятельны, выступали въ ней болѣе случайно, менѣе чувствовали неудобства журнальной дѣятельности, и могли больше сосредоточиться на выработкѣ своего ученія, — хотя, быть можетъ, этому же надо приписать то обстоятельство, что въ то время, какъ противоположное направленіе уже вскорѣ встрѣтилось съ практическими вопросами дѣйствительности, эта школа долѣе оставалась дилеттантской системой, которой удобно было витать въ отвлеченностяхъ, не особенно заботясь о практическихъ выводахъ.

Дружескія отношенія двухъ сторонъ, о которыхъ мы упоминали, удержались не надолго. Рѣзкая противоположность мнѣній вызвала, наконецъ, личныя заявленія, въ которыхъ обнаружилась явная вражда. Если не ошибаемся, первый примѣръ нетерпимости поданъ былъ славянофилами, въ рукописномъ стихотвореніи Языкова противъ Чаадаева, недавно напечатанномъ въ біографіи послѣдняго. Языковъ, поэтъ славянофильства, принялъ такой тонъ, который выходилъ уже изъ предѣловъ литературнаго спора, — это было чуть не обращеніе къ «свѣтской рукѣ», и хотя отдѣльныя лица обѣихъ партій продолжали встрѣчаться, но вообще миръ былъ нарушенъ, и въ литературѣ полемика уже съ первыхъ славянофильскихъ изданій приняла характеръ недружелюбный и язвительный. Къ сожалѣнію, славянофильство подавало къ нему поводъ и другими обстоятельствами. Выше упомянуто было объ его связяхъ съ дѣятелями «Москвитянина». Когда на страницахъ этого журнала появились имена Хомякова, Кирѣевскаго, извѣстнаго тогда славянофильскаго псевдонима М... З... К..., и проч., когда славянофильскія теоріи являлись рядомъ съ разсужденіями Погодина, Шевырева и проч., и между ними не разъ можно было замѣтить большое согласіе, противники славянофильства не могли не отнестись и къ нему съ тою же враждой, какую внушала имъ этотъ журналъ, — представлявшій весьма непривлекательный сборъ казенныхъ взглядовъ официальной народности.

Сами славянофилы держались при этомъ различно. Многіе изъ нихъ были люди съ большимъ образованіемъ, для которыхъ

самая встрѣча съ противоположнымъ образомъ мыслей была пріятна, какъ случай для провѣрки и новаго доказательства своихъ идей; изъ нихъ Кирѣевскій самъ прежде принадлежалъ къ тому лагерю, противъ котораго онъ сталъ въ новомъ поворотѣ своихъ взглядовъ—и, быть можетъ, поэтому онъ именно и отличался всего больше терпимостью мнѣній. Но, наконецъ, исключительность теоріи обнаружила свои качества, и славянофильскіе полемисты показали въ своихъ нападеніяхъ рѣзкость, тѣмъ болѣе неумѣстную, что спорить, въ печати, противъ самыхъ основаній ихъ теоріи, противники ихъ не могли безъ нѣкоторой опасности, или же не могли вовсе ¹⁾.

Славянофилы были притомъ преисполнены гордости своею системою, и противники ихъ не могли простить имъ этихъ притязаній: — во-первыхъ, эти высокомерныя притязанія далеко не были

¹⁾ Противники знали другъ друга довольно хорошо, и не останавливались передъ личными намеками. Критикъ „Моск. Сборника“ и „Москвитянина“, упомянутый М... З... К..., нападая на Бѣлинскаго, попрекалъ его нетвердостью его мнѣній (вѣроятно по старой памяти о статьѣ Бѣлинскаго: „Бородинская годовщина“), и говорилъ такимъ образомъ: „Вовсе не чуждый эстетическаго чувства — чему доказательствомъ служатъ особенно прежнія статьи его, — Бѣлинскій какъ будто пренебрегаетъ имъ и, обладая собственнымъ капиталомъ, постоянно живетъ въ долгъ. Съ тѣхъ поръ какъ онъ явился на поприщѣ критики, онъ былъ всегда подъ вліяніемъ чужой мысли. Несчастная воспримчивость, способность понимать легко и поверхностно, отречься скоро и рѣшительно отъ вчерашняго образа мыслей, увлекаться новизною и доводить ее до крайностей, держала его въ какой-то постоянной тревогѣ, которая обратилась наконецъ въ нормальное состояніе и помѣшала развитію его способностей“ (Москвит. 1847, ч. 2). Бѣлинскій отвѣчалъ „Москвитянину“ въ „Современникѣ“, и упоминая о разныхъ мелкихъ нападкахъ перваго, между прочимъ говорилъ: „...Но пока г. Бѣлинскій не видитъ никакой нужды горячо спорить за себя съ такими противниками, или прибѣгать въ спорѣ къ ихъ средствамъ. Да и къ чему? Публика и сама сумѣетъ увидѣть разницу между человекомъ, у котораго литературная дѣятельность была призваніемъ, страстью, который никогда не отдѣлялъ своего убѣжденія отъ своихъ интересовъ, который, руководствуясь врожденнымъ инстинктомъ истины, имѣлъ больше вліянія на общественное мнѣніе, чѣмъ многіе изъ его дѣйствительно ученыхъ противниковъ,—и между какимъ-нибудь баричемъ, который изучалъ народъ чрезъ своего камердинера, и думаетъ, что любить его больше другихъ, потому что сочинилъ или принималъ на вѣру готовую о немъ мистическую теорію, который, между служебными и свѣтскими обязанностями, занимается также и литературою, въ качествѣ дилеттанта... Въ наше время талантъ самъ по себѣ не рѣдкость; но онъ всегда былъ и будетъ рѣдкостью въ соединеніи съ страстнымъ убѣжденіемъ, съ страстною дѣятельностію, потому что только тогда онъ можетъ быть дѣйствительно полезенъ обществу. Что касается до вопроса, сообразна ли съ способностью страстнаго, глубокаго убѣжденія способность измѣнять его, онъ давно рѣшенъ для всѣхъ тѣхъ, кто любить истину больше себя и всегда готовъ пожертвовать ей своимъ самолюбіемъ“... (Сочин. XI, стр. 257).

ими доказаны; во-вторыхъ, оставалось невыяснено отношеніе славянофильства къ авторитету, къ оффиціальной народности.

Мы упоминаемъ объ этомъ положеніи славянофильства въ литературѣ потому, что ихъ послѣдователи обыкновенно сваливаютъ вину этихъ отношеній на такъ-называемую западную партію. На дѣлѣ, это было не совсѣмъ такъ, и если на комъ лежитъ вина того, что два направленія — при всемъ стѣсненномъ положеніи литературы — не могли найти общаго дѣла, то всего скорѣе эта вина лежитъ на самихъ славянофилахъ. При первомъ появленіи, школа принимала высокоумѣрный тонъ, прежде чѣмъ ея заслуги дали бы ей на то какое-нибудь право; она дѣлала полемическія вылазки противъ другого направленія (съ которымъ имѣла много общихъ враговъ) тамъ, гдѣ надо было говорить изложеніемъ своего взгляда и аргументами, и въ то же время затрогивала такіе мотивы, на которые невозможно было прямо отвѣчать: ея самодовольство и нетерпимость дѣлали то, что когда возраженія не выслушивались и не опровергались, правильный споръ становился невозможенъ. Наконецъ, увлекаясь проповѣдью о новыхъ началахъ, мечтами о будущемъ паденіи западной цивилизаціи и торжествѣ восточной, школа забывала насущныя потребности времени, когда противъ нея, также какъ и противъ другого направленія стоялъ общій врагъ, круглое невѣжество и обскурантизмъ. Это послѣднее обстоятельство школа слишкомъ часто забывала и потомъ, въ наше время. Намъ кажется вообще, что она отчасти по собственной винѣ сдѣлала для развитія общественнаго мнѣнія меньше, чѣмъ могла бы сдѣлать...

Съ другой стороны, славянофильство, хотя и очень близкое къ господствовавшей оффиціальной народности, не пользовалось благосклонностью высшихъ сферъ, которыя, если не осуждали основныхъ его тенденцій, то, кажется, думали, что оно идетъ въ нихъ слишкомъ далеко, и берется не за свое дѣло, предпринимая истолкованіе истинныхъ началъ русской жизни. Исторія этихъ тогдашнихъ отношеній славянофильства съ властью еще не была рассказана, — но сколько извѣстно, славянофиламъ приходилось испытывать личныя неудобства своего образа мыслей. Правда, неудобства не были чрезмѣрны, но тѣмъ не менѣе они существовали, и литературная дѣятельность славянофильства, въ теченіи описываемаго періода, не одинъ разъ терпѣла непріятныя помѣхи. Первый послѣдовательный славянофильскій журналъ явился только въ 1856-мъ году. Славянофилы и здѣсь не дали еще полного систематическаго свода своихъ мнѣній, но по крайней мѣрѣ уже больше думали объяснить ихъ съ различныхъ сторонъ, и между

прочимъ печатали многое «изъ прежняго періода». Къ сожалѣнію, опытъ сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ не послужилъ имъ достаточно въ пользу: они могли бы видѣть, что многое въ общественныхъ условіяхъ тяготѣетъ одинаково надъ ними и ихъ противниками, и могли бы нѣсколько иначе взглянуть на потребности литературы... Впослѣдствіи, опытъ повторился для нихъ еще разъ.

Въ первое время существованія школы была еще нѣсколько болѣе понятна ея исключительность и нетерпимость; это могла быть извѣстная гордость новой найденной мыслью, самоувѣренность людей, убѣжденныхъ въ своемъ стремленіи и готовыхъ выполнять его въ жизни. Съ такими чувствами дѣйствительно славянофилы впервые выступали на свое поприще: сознавая, что являются въ литературу съ новымъ содержаніемъ, и одушевляемые мыслью служить народной идеѣ, они могли преувеличить значеніе этого содержанія, и потерять мѣру въ выраженіяхъ. Но эта исключительность и потому является почти общей и постоянной чертой школы, и если отчасти она объясняется указаннымъ сейчасъ увлеченіемъ, и также свойствомъ тѣснаго кружка, то существенной причины ея надо искать въ характерѣ самаго ученія.

Какимъ же образомъ составилось новое ученіе? Выше замѣчено, что его трудно непосредственно связать съ какимъ-нибудь предшествующимъ направленіемъ: въ прежней литературѣ не было ученія съ такими рѣзко опредѣленными чертами. Напротивъ, источника его должно въ особенности искать въ новѣйшемъ умственномъ движеніи. Основатели славянофильства были образованные люди двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, — они начинали съ того движенія, которое дѣйствовало въ двадцатыхъ годахъ, и затѣмъ довоспитались на нѣмецкой философіи: изъ нея они брали способъ разсужденія и по ней составили теоретическія положенія своей системы. Въ *этомъ* отношеніи славянофилы не отличались отъ своихъ противниковъ, и также мало, какъ тѣ, могли похвалиться народной оригинальностью, на которой настаивали. Ихъ философія стремится къ тому, чтобы открыть истинно-народныя начала русской жизни, развить ихъ и дать имъ мѣсто и въ нашемъ образованіи и въ практическомъ быту. Но они очень ошибались, когда думали, что эта идея народа пришла къ нимъ не иначе, какъ только отъ самого народа, что они являются выразителями его истиннаго духа и его стремленій въ дальнѣйшемъ развитіи. Нѣтъ сомнѣнія, конечно, что патріотическая любовь къ своему народу горячо одушевляла славянофиловъ, — какъ одушевляла и всѣхъ лучшихъ людей литературы, — и они дѣйствительно обращались къ народу, къ его исторіи и совре-

менному быту,—но ихъ отношеніе къ народу не было простое, свободное, а въ значительной степени теоретическое и искусственное. Здѣсь славянофилы были именно людьми своего времени, и ихъ отношеніе къ народу было главнымъ образомъ *философско-романтическое*. Въ свойствахъ славянофильскаго ученія дѣйствительно находятся существенные признаки романтическаго происхожденія. При его началѣ было столько же поэтическаго увлеченія, сколько теоретическихъ основаній, или даже болѣе, — и нѣсколько фантастическій колоритъ постоянно отличалъ славянофильскую теорію. Основную романтическую черту представляетъ у славянофиловъ стремленіе къ давнему прошедшему; народъ, къ которому они стремились, былъ не столько настоящей нынѣшній народъ,—которому они конечно желали добра,—сколько народъ идеальный, и именно прошедшій, потому что этотъ прошедшій народъ всего удобнѣе можно было изобразить представителемъ тѣхъ началъ, которыя они ставили краеугольнымъ камнемъ своей системы. Прошедшее было ихъ идеаломъ; они должны были дѣлать неизбежную уступку исторіи и дѣлать оговорки о недостаткахъ старины, но на дѣлѣ она поставляла имъ главнѣйшій запасъ образцовъ; только она и казалась имъ истиннымъ выраженіемъ русскаго народнаго духа. Ихъ новѣйшая философія была желаніемъ возвеличить московскій бытъ до петровскаго времени и возвести его на степень новаго принципа цивилизаціи. Этотъ московскій бытъ они считали чистымъ, безъ всякой примѣси, русскимъ (они забывали только византійскія и татарскія примѣси), и изъ любви къ нему враждебно относились къ петровской реформѣ и такъ-называемому петербургскому періоду.

Мы говорили прежде о томъ, какъ въ эти десятилѣтія и въ нашей жизни отразилось то европейское движеніе, которое съ одной стороны производило феодальныя реставраціи, съ другой дѣйствовало въ пользу народовъ и сопровождалось возрожденіемъ національностей; какъ возникла у насъ официальная народность, органами которой стали между прочимъ и нѣкоторые изъ лучшихъ нашихъ писателей. Новая школа шла дальше; она не довольствовалась изображеніями старины въ простодушно-идиллическомъ и благочестиво-рыцарскомъ духѣ; не довольствовалась славой, побѣдами, грозой врагамъ. Подъ новымъ научнымъ и литературнымъ вліяніемъ, особенно подъ вліяніемъ новѣйшей философіи исторіи, стали теперь искать національнаго принципа, народныхъ особенностей и предназначеній, отыскивать роль народа въ судьбахъ человѣчества и т. д. Романтический патріотизмъ нахо-

диль себѣ удовлетвореніе въ представленіи о нравственномъ величіи народа, о глубинѣ его духа, о великомъ его предназначеніи для общечеловѣческаго развитія: все это облеклось теперь въ форму философско - исторической теоріи, въ которой несомнѣнно обнаруживается присутствіе романтизма. Новая школа и въ чисто литературномъ смыслѣ тѣсно примыкала къ прежнимъ романтикамъ. Старѣйшіе изъ славянофиловъ воспитались въ самый разгаръ европейскаго романтизма и его русскихъ повтореній. Пушкинъ уже затронулъ панславистскую тему, которая потомъ обильно повторялась славянофилами. Первые заявленія школы также были поэтическія — въ стихотвореніяхъ Хомякова, Языкова, — поэтовъ пушкинской школы, къ которымъ послѣ присоединяются К. и Ив. Аксаковы. Въ очень раннихъ стихотвореніяхъ Хомякова обнаруживается зарождавшаяся и бродившая тенденція.

Положеніе русскаго общества въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ особенно содѣйствовало этому порыву романтическаго патріотизма. Это было время, когда сухой формализмъ официальной народности насильственно подводилъ подъ свою мѣрку всѣ движенія общественной мысли и чувства, и гнетущимъ образомъ дѣйствовалъ на всѣ живые умы, въ которыхъ была потребность самостоятельной работы и свободного убѣжденія. Передъ тѣмъ только совершилась трагическая судьба предыдущаго поколѣнія... Но въ обществѣ не потерялась потребность идеала; настоящее не удовлетворяло; прямая практическая дѣятельность, въ смыслѣ пробудившихся общественныхъ стремленій, была невозможна, — и оттого весь умственный трудъ лучшихъ людей новаго поколѣнія пошелъ на исканіе общихъ принциповъ, на созданіе отвлеченнаго идеала. Движеніе пошло по двумъ направленіямъ. Оба не удовлетворялись настоящимъ, но одно относилось къ нему прямо отрицательнымъ образомъ, и видя его недостатки, — безсознательность и безсиліе общества, невѣжество народа, — ожидало спасенія отъ большаго распространенія образованности, отъ усвоенія европейскаго знанія. Другое направленіе также искало лучшаго, но отъ настоящаго оно бросилось къ прошедшему. Въ прошедшемъ — которое такъ удобно отдалено отъ насъ — оно не видѣло этого мучительнаго разлада, напротивъ, видѣло полное единство власти, общества и народа, господство однихъ крѣпкихъ преданій, вѣрованій и обычаевъ, — и на этомъ остановилось. Это направленіе хотѣло служить народу черезъ самый народъ: европейское образованіе, принятое нами послѣ Петра, принятое на вѣру, было фальшивое, потому что не соотвѣтствовало характеру народа; отдѣленный реформой отъ высшаго

класса, народъ вѣрно сохранилъ настоящую національную дорогу, по которой шла отверженная высшими классами старина; слѣдовательно, надо было оставить ихъ судьбѣ высшіе классы, или стараться обратить ихъ, и изучать этотъ народъ, чтобы въ его бытѣ найти средства изцѣленія.

Это было послѣднее направленіе славянофильское.

Понятно, что могло быть много увлекательнаго въ этой мысли служенія народу, въ стремленіи слиться въ одну жизнь съ нимъ, изучить таинственныя пружины его бытія, создавшія его удивительную исторію и сохранившія его цѣлымъ, среди столькихъ падавшихъ и падающихъ на него бѣдствій. Эта мысль могла казаться гораздо болѣе энергической, чѣмъ «рабское» слѣдованіе за Европой, чѣмъ повтореніе той чужой образованности, которая оторвала насъ отъ народа, не принеся ни пользы ни намъ, ни народу: въ этой мысли былъ смѣлый вызовъ укоренившемуся заблужденію (по мнѣнію славянофиловъ) и надежда стать основателями новаго періода въ національномъ сознаніи. Но съ противной стороны могло казаться, что этотъ путь, хотя оригинальный и великодушный, былъ не особенно смѣлый, и очень ошибочный: могло казаться, что это направленіе или не додумало своихъ выводовъ или боится взглянуть прямо въ глаза дѣйствительности и открыто признать ея истинные недостатки; что восхваляя старину, оно попадаетъ въ то же безысходное положеніе, которое уже стоило національной жизни одного переворота; что въ концѣ концовъ это направленіе, не довольствуясь настоящимъ, создаетъ идеалы, которые ничѣмъ не лучше этого настоящаго и могутъ служить только къ большому его утвержденію.

Дѣйствительно, славянофильскій идеалъ иногда былъ такъ двусмысленъ въ этомъ отношеніи, что въ нихъ видѣли иногда просто союзниковъ обскурантизма...

Нѣтъ сомнѣнія, что въ славянофильствѣ было теплое отношеніе къ народу, о которомъ забыли и общество и официальная народность; и это была лучшая, наиболѣе сочувственная сторона славянофильства. Къ сожалѣнію, во взглядахъ славянофиловъ была и до сихъ поръ есть неясность, вслѣдствіе которой ихъ сочувствіе къ народу принесло въ литературѣ меньше пользы, чѣмъ они предполагаютъ; ихъ исключительная теорія не всегда разбирала, гдѣ враги народа и гдѣ его друзья.

Переходя къ обзорѣнію славянофильскихъ мнѣній и ихъ значенія въ исторіи общественныхъ понятій, мы ограничимся только общими чертами ихъ и избѣгая подробностей, предоставимъ читателю обращаться за ними къ самымъ сочиненіямъ.

Общая связь славянофильскаго ученія была приблизительно слѣдующая.

Русская жизнь стоитъ въ настоящую минуту въ ложномъ положеніи. Петровская реформа нарушила естественный ходъ старой русской жизни; заимствованіе чужой европейской цивилизаціи внесло разладъ, вслѣдствіе котораго высшіе классы отдѣлились отъ народа. Заимствованная цивилизація, отдаливъ образованные классы отъ народа, сдѣлала ихъ бесполезными для національнаго развитія, — даже вредными, потому что ихъ образованіе взято съ оригинала, который не только чуждъ русскому народному духу, но самъ находится на ложной дорогѣ и близокъ къ упадку. Для спасенія русскаго развитія, должно уничтожить этотъ разладъ и это подчиненіе чужой цивилизаціи, — для этого слѣдуетъ возвратиться къ старому единству, къ тѣмъ принципамъ, которыми развивалась русская жизнь до Петра, и на которыхъ она выработала свою крѣпкую, истинно народную особенность. Народъ, заброшенный и загнанный въ теченіе «петербургскаго періода», сохранилъ вѣрно преданія старины въ своемъ бытѣ, въ своихъ вѣрованіяхъ и общественныхъ инстинктахъ: поэтому, слѣдуетъ обратиться къ нему, чтобы найти нужные намъ элементы развитія. Думать о томъ, чтобы поднять народъ до нашего образованія, странно и даже смѣшно, потому что его внутреннее содержаніе гораздо выше нашей прививной и внѣшней образованности.

Русскій народъ принадлежитъ къ одному изъ двухъ міровъ, на которые дѣлится европейская образованность, и въ настоящее время главный его представитель. Эти два міра — восточный греко-славянскій и западный. Между ними лежитъ глубокое и коренное различіе. Образованность западная составилась изъ трехъ элементовъ: римской церкви, древней римской образованности и завоеванія, опредѣлившаго бытовыя формы Запада. Христіанство въ западномъ и восточномъ мірѣ получило весьма различный характеръ. Въ римской церкви, съ тѣхъ поръ, какъ она отдѣлилась отъ общенія съ церковью вселенской, христіанство извратилось вслѣдствіе элемента внѣшней разсудочности, съ которымъ римская церковь опредѣляла и свое ученіе, и свое устройство, и затѣмъ вслѣдствіе происшедшаго отсюда папскаго авторитета, который сталъ выше церкви. Протестантство было естественнымъ

результатомъ этого характера церкви, когда она поставила логическій разумъ выше сознанія вселенской церкви, а затѣмъ совершенно послѣдовательно развились всѣ его секты и направленія; изъ реформациі, заявившей право частнаго сужденія, столь же естественно развилось ученіе Штрауса. На той же сухой разсудочности выросла и вся образованность и литература западной Европы: ея философское мышленіе есть безконечная борьба и смѣна логическихъ отвлеченій, которая въ концѣ концовъ производила «общую слѣпоту къ тѣмъ живымъ убѣжденіямъ, которыя лежатъ выше сферы разсудка и логики». Государственная жизнь Европы была основана завоеваніемъ, насиліемъ и отсюда все дальнѣйшее ея движеніе совершалось также рядомъ насилій, борьбой партій, переворотами.

Совсѣмъ иной порядокъ вещей является въ восточномъ греко-славянскомъ православномъ мірѣ, главнымъ представителемъ котораго является теперь русскій народъ. Восточное христіанство есть православіе, отличительная черта котораго есть неизмѣнное храненіе вселенскаго преданія. Православіе есть поэтому единственное истинное христіанство; его ученія—тѣ ученія, которыя собраны и утверждены соборами вселенской церкви, сознаніемъ цѣлаго христіанства. Духовная философія восточныхъ отцовъ церкви—особенно писавшихъ послѣ раздѣленія церквей—есть истинная христіанская философія, основанная не на разсудочномъ механизмѣ, а на высшемъ нравственно-свободномъ умозрѣніи: эти философы, «держась постоянно въ самомъ такъ-сказать средоточіи истиннаго убѣжденія, отсюда яснѣе могли видѣть и законы ума человѣческаго и путь, ведущій его къ истинному знанію». Русскій народъ принялъ христіанство изъ этого чистаго источника, и черезъ него получилъ и результаты древней образованности, не въ той односторонней и неполной римской формѣ, въ какой они наслѣдованы были Западомъ, а получилъ ихъ прямо съ Востока, гдѣ они уже прошли черезъ христіанское ученіе, были имъ очищены и исправлены. Византійскіе писатели издавна были извѣстны русской церкви, и стали основаніемъ древнерусской образованности, которая безъ сомнѣнія уступала западной во внѣшнемъ развитіи разума, но превышала ее глубокимъ чувствомъ живой христіанской истины. Въ государственномъ устройствѣ такая же разница: начало русскаго государства отличается отъ начала государствъ западныхъ тѣмъ, что у насъ не было завоеванія, а было добровольное призваніе. Этотъ основной фактъ отражается и на всемъ дальнѣйшемъ развитіи общественныхъ отношеній: у насъ не было насилія, соединеннаго съ за-

воеваніемъ, а потому не было феодализма, не было той внутренней борьбы, какая постоянно дѣлила западное общество, не было сословій; земля была не личной собственностью феодальной аристократіи, но принадлежала общинѣ; наша церковь не враждовала съ свѣтской властью и не стремилась къ свѣтскому господству, и т. д. Весь бытъ, вся образованность древней Руси носятъ на себѣ печать восточнаго православія и мирнаго основанія государства: развитіе шло естественно, религіозное сознаніе было основной нравственной силой и руководствомъ въ жизни; народный бытъ отличался единствомъ понятій и единствомъ нравовъ. Государство было обширной общиной, власть принадлежала царю, представлявшему общую волю, — тѣсная связь общины выражалась соборами, всенароднымъ представительствомъ, смѣнившимся древнія вѣча.

Великая ошибка и вредъ Петровской реформы состояли именно въ томъ, что Петръ отвергъ народныя начала русскаго развитія, и поставивъ русское образованіе на путь подражанія Европѣ, налагалъ на восточный міръ чуждые ему принципы міра западнаго. Реформа была насильственна и, какъ насиліе, принесла ложные плоды: народное единство было разорвано; государственная жизнь стала совершаться внѣ участія народнаго сознанія, развивалась внѣшнимъ образомъ, но падала во внутреннемъ живомъ смыслѣ: образованіе высшихъ классовъ отрывало ихъ отъ народа; церковь впадала въ сухой формализмъ; народъ, покинутый, остался одинъ вѣренъ старымъ основнымъ началамъ, но впалъ въ невѣжество, разбился на секты и т. д.

Для того, чтобы жизнь снова пошла своимъ естественнымъ ходомъ, сообразнымъ со всѣмъ исконнымъ характеромъ греко-славянскаго православія, нужно возвратиться къ началамъ древней Руси. Нѣтъ надобности отвергать все, что было нами пріобрѣтено отъ Запада; потому что многое, или иное, изъ этихъ пріобрѣтеній было полезно, такъ какъ они «дозволили намъ овладѣть современными приѣмами діалектическаго познанія и обогатиться громадною опытностью Запада». Но необходимо отвергнуть самый принципъ западной образованности, — и притомъ не только потому, что онъ намъ не свойственъ, но и потому, что онъ оказывается несостоятельнымъ и на самой своей родинѣ.

Начала западной образованности были ложны, потому что отвергли общее сознаніе вселенской церкви. Дальнѣйшая образованность, развившаяся изъ этихъ началъ, въ концѣ концовъ должна была оказаться ложною. Она пріобрѣла большую разсудочную силу, произвела множество полезныхъ открытій, увели-

чила ви́шнія удобства жизни, но страдаетъ въ самомъ корнѣ тѣмъ внутреннимъ разладомъ, который происходитъ отъ раздѣненія разума и вѣры. Современная (въ сороковыхъ годахъ) европейская образованность явнымъ образомъ выказываетъ несостоятельность своихъ принциповъ, ищетъ во всевозможныхъ философскихъ теоріяхъ и религіозныхъ сектахъ исхода изъ этого положенія, и—въ лучшихъ умахъ—начинаетъ постигать необходимость того принципа, который всегда хранился въ образованности восточной. Такимъ образомъ, для насъ становится тѣмъ настоятельнѣе необходимость возвращенія къ этому принципу: она подтверждается сознаніемъ самого Запада, къ которому пришелъ онъ послѣ многовѣкового опыта.

Зрѣлище, которое намъ представляется въ нашей современной жизни такъ-называемымъ образованнымъ обществомъ, чрезвычайно печально. Это общество не принадлежитъ своему народу; оно рабски принимаетъ чужія понятія, чужіе обычаи, даже чужой языкъ; оно увлекается всѣмъ западнымъ, какъ бы оно ни было странно и даже нелѣпо; оно относится съ пренебреженіемъ къ народу, точно къ низшему племени, хотя живетъ трудами этого народа. Для того, чтобы устранить это прискорбное положеніе общества, чтобы возстановить утраченное единство съ народомъ, дать жизни истинное направленіе, осуществить вполне наше національное предназначеніе и занять подобающее намъ высокое, независимое и господствующее мѣсто въ цивилизаціи, надо обратиться къ народу, изучать его исторію, преданія, нравы и обычаи, слиться съ этимъ народомъ въ одномъ сознаніи: общество должно перевоспитаться, воспринять въ себя снова затерянные имъ народныя начала.

Въ такомъ приблизительно смыслѣ говорила школа въ концѣ тридцатыхъ и въ сороковыхъ годахъ. Къ нашему времени нѣкоторыя изъ этихъ положеній значительно выяснились, дошли до полной осязательности, до прямого практическаго требованія—во многихъ случаяхъ не въ пользу школы. Эта позднѣйшая редакція славянофильскихъ положеній не относится впрочемъ къ нашей задачѣ.

Понятно, что эти мысли не всѣми высказывались одинаково, и мы старались привести ихъ по возможности въ среднемъ выводѣ, не внося крайностей отдѣльныхъ мнѣній. Одни изъ послѣдователей школы были болѣе, другіе—менѣе осторожны; одни сохраняли философское спокойствіе, другіе впадали въ раздраженіе, въ нетерпимость. Одни заботились о доказательствахъ,

другіе сочли дѣло уже рѣшеннымъ, и думали только объ уничтоженіи литературныхъ противниковъ, которые не только не убѣждались доводами славянофильства, но даже въ его теоріи и практикѣ находили и нѣчто довольно смѣшное ¹⁾).

Славянофильское ученіе не было ни разу изложено цѣльнымъ образомъ, но основная его тема въ различныхъ ея отрасляхъ была развиваема писателями школы довольно согласно. Чувствовалось, что это были люди, которые сговорились и согласились въ главныхъ положеніяхъ и разработывали каждый какую-либо сторону ученія въ духѣ этихъ положеній. Сходство общей романтической-православной тенденціи и самое положеніе ихъ въ литературѣ дѣлали для нихъ очень удобнымъ это соглашеніе. Выше замѣчено, что основатели славянофильства были вообще люди довольно независимые, дѣйствовавшіе въ литературѣ сначала чистыми дилеттантами, имѣвшіе возможность работать не торопясь, развить на досугѣ свою систему, дѣлиться взглядами, — прежде чѣмъ внести ихъ въ печать. Многіе изъ ихъ работъ оставались извѣстны только здѣсь, въ своемъ кругу и даже пріобрѣтали своего рода славу еще не выходя въ литературу (напр. историческія занятія Петра Кирѣвскаго и его собраніе народныхъ пѣсенъ; трактатъ Хомякова о всеобщей исторіи, откуда были напечатаны пока только отрывки; нѣкоторыя статьи К. Аксакова).

Особенно дѣятельная пропаганда славянофильства начинается въ половинѣ сороковыхъ годовъ. До этого времени имена славянофильскихъ писателей появлялись въ журналахъ и книгахъ только болѣе или менѣе случайнымъ образомъ, или съ чисто литературными произведеніями, или безъ ясной позднѣйшей окраски. Въ 1845-мъ году началось было изданіе «Москвитянина» подъ редакціей Ивана Кирѣвскаго, — продолжавшееся впрочемъ только нѣсколько мѣсяцевъ. Въ томъ же году изданъ былъ «Сборникъ» Валуева. Затѣмъ слѣдовали «Московскіе Сборники» 1846, 1847 и 1852 годовъ. Наконецъ — съ 1856-го года «Русская Бесѣда», въ которую вошли отчасти и работы прежнихъ лѣтъ.

Въ изложеніи основныхъ принциповъ школы одно изъ первыхъ, если не первое мѣсто, принадлежало Ивану Кирѣвскому.

¹⁾ Болѣе рѣзкое изложеніе этой теоріи, какъ она высказывалась откровенно въ устныхъ бесѣдахъ и спорахъ, читатель можетъ найти въ біографіи Чаадаева, составленной г. Жихаревымъ. Оно можетъ объяснить, между прочимъ, почему журнальная полемика двухъ партій принимала въ тѣ времена такой враждебный характеръ.

Въ началѣ, въ молодую пору его развитія и во время изданія «Европейца» (1832), его образъ мыслей, какъ извѣстно, былъ вовсе не славянофильскій: онъ былъ поборникъ европейскаго просвѣщенія, защитникъ Петровской реформы — совершенно въ томъ смыслѣ, какъ послѣ говорили о томъ противники славянофиловъ. Романтическіе задатки были въ немъ однако и тогда ¹⁾, и его мнѣнія тѣмъ легче могли впослѣдствіи принять православно-славянское направленіе. Перемѣна его мнѣній произошла главнымъ образомъ, кажется, подъ вліяніемъ его брата Петра, который съ самаго начала имѣлъ взгляды славянофильскаго характера, а также подъ вліяніемъ схимника Филарета и духовныхъ лицъ Оптиной пустыни, съ которыми Ив. Кирѣевскій вошелъ въ дружескія отношенія. Особеннымъ предметомъ его изученія издавна была философія; онъ продолжалъ заниматься ею и потомъ, болѣе и болѣе увлекаясь своей новой точкой зрѣнія. Работая надъ будущимъ философскимъ сочиненіемъ, онъ прилежно изучалъ отцовъ церкви, для чего уже въ зрѣлыхъ лѣтахъ выучился по-гречески. «Ученіе о святой Троицѣ, — говорилъ онъ, — не потому только привлекаетъ мой умъ, что является ему какъ высшее средоточіе всѣхъ святыхъ истинъ, намъ откровеніемъ сообщенныхъ, — но и потому еще, что, занимаясь сочиненіемъ о философіи, я дошелъ до того убѣжденія, что направленіе философіи зависитъ, въ первомъ началѣ своемъ, отъ того понятія, которое мы имѣемъ о Пресвятой Троицѣ». Такова была исходная точка его послѣднихъ трудовъ. Біографъ его не безъ основанія утверждаетъ, что перемена взглядовъ въ Кирѣевскомъ не была такимъ противорѣчіемъ, какъ можно думать; правда, его историческія представленія о значеніи европейской цивилизаціи и положеніи русскаго образованія очень измѣнились съ конца двадцатыхъ годовъ, но въ приемахъ мышленія Кирѣевскій и тогда уже не довольствовался чисто-философской дѣятельностью ума, но искалъ такъ-называемой «цѣльности воззрѣнія», т.-е. въ работу мысли вносилъ и чувство, вѣру. «Кто не понялъ мысли чувствомъ, — говорилъ онъ еще въ 1827-мъ году, — тотъ еще не понялъ ее вполне, точно также какъ и тотъ, кто понялъ ее

1) Кирѣевскій очень рано задумалъ выбрать для себя литературное поприще, и еще въ 1827-мъ г. онъ писалъ къ г. Кошелеву: „Я буду имѣть вѣсѣ въ литературѣ, и дамъ ей свое направленіе... Мы возвратимъ права истинной религіи, изыщное согласимъ съ правдственностію, возбудимъ любовь къ правдѣ, глухой либерализмъ замѣнимъ уваженіемъ законовъ, и чистоту жизни возвысимъ надъ чистотою слога“ и проч. (Сочин. Кир., т. I, біогр., стр. 13).

однимъ чувствомъ»¹⁾. Впослѣдствіи, чувство взяло положительный перевѣсъ въ его воззрѣніи.

Изъ этого основнаго принципа естественно выросли тѣ взгляды, какіе мы выше излагали. Главная доля общихъ философско-историческихъ положеній школы дана была Кирѣевскимъ. Въ особенности важны здѣсь его статьи: «Обозрѣніе современнаго состоянія литературы» (1845), которое должно было служить введеніемъ къ славянофильскому изданію «Москвитянина»; далѣе: «О характерѣ просвѣщенія Европы и о его отношеніи къ просвѣщенію Россіи» (1852), въ послѣднемъ «Московскомъ Сборникѣ», и наконецъ «О необходимости и возможности новыхъ началъ для философіи» (1856), руководящая статья «Русской Бесѣды». Здѣсь устанавливаются вообще взгляды школы на отношеніе восточнаго и западнаго міра, различныя свойства ихъ образованности, на превосходство православно-славянскаго принципа и на необходимость его изученія и введенія въ жизнь, гдѣ онъ составитъ новую эпоху не только русской, но и всемірной цивилизаціи.

Другой братъ, Петръ Кирѣевскій, какъ мы сказали, съ самаго начала отличался своеобразнымъ взглядомъ на вещи, который впослѣдствіи и сообщилъ старшему брату. Онъ избралъ предметомъ изученія русскую исторію и народный бытъ. Его литературная дѣятельность ограничилась почти только одной статьей о древней русской исторіи (по поводу изслѣдованій г. Погодина), въ «Москвитянинѣ» 1845 года²⁾, которая, по мнѣнію Ивана Кирѣевскаго, «представляетъ самую ясную картину первобытнаго устройства древней Руси»³⁾. Здѣсь объясняется начало русскаго государства путемъ мирнаго призванія варяговъ, устройство родовыхъ общинъ, княжеское и вѣчевое управленіе и т. д., при чемъ авторъ пользуется сравненіями изъ древняго быта другихъ славянскихъ племенъ и старается вообще указать параллельность древней ихъ исторіи. Эти мнѣнія Петра Кирѣевскаго повторены были и его братомъ, а потомъ получили въ особенности развитіе въ сочиненіяхъ К. Аксакова. Плодомъ изученія народнаго быта было обширное собраніе пѣсенъ, начатое П. Кирѣевскимъ въ 1831-мъ году и возросшее наконецъ до весьма обширныхъ размѣровъ. Самъ собиратель не успѣлъ издать своего собранія, отчасти потому, что хотѣлъ собрать сколько возможно

¹⁾ Сочин., т. I, біографія, стр. 82, 100.

²⁾ № 3, стр. 11—46.

³⁾ Сочин., т. II, стр. 263.

болѣе текстовъ, отчасти кажется и по цензурнымъ затрудненіямъ, — въ тѣ времена и подобное изданіе считалось не безопаснымъ¹⁾. Издано было только собраніе духовныхъ стиховъ, и нѣсколько отдѣльныхъ пѣсенъ. Полное изданіе сборника Кирѣвскаго дѣлается только въ настоящее время.

Рядомъ съ Иваномъ Кирѣвскимъ стоитъ въ школѣ имя Хомякова, о которомъ послѣдователи школы говорятъ вообще съ самымъ восторженнымъ удивленіемъ. Это былъ человѣкъ съ тонкимъ, парадоксальнымъ умомъ, съ блестящей способностью къ діалектикѣ, легко впадавшей въ софизмы, съ очень разнообразными, хотя почти во всемъ дилеттантскими свѣдѣніями. Противники отдавали всегда справедливость его уму, но многимъ не были сочувственны нѣкоторыя стороны его литературнаго характера. Хомяковъ любилъ поспорить съ людьми противоположнаго лагеря, и развертывать въ спорѣ свои обширныя свѣдѣнія и діалектическую ловкость, которую иногда употреблялъ во зло. Это былъ энциклопедистъ школы, самый разносторонній изъ ея писателей. Онъ былъ и богословъ, и историкъ, и этнографъ, и филологъ, и эстетикъ, и сельскій хозяинъ и проч. Онъ въ разныхъ направленіяхъ развивалъ славянофильскую тему, и былъ вообще однимъ изъ самыхъ дѣятельныхъ и вліятельныхъ членовъ школы. Нѣкоторые пункты славянофильскаго ученія въ особенности были предметами его истолкованій. Таковы его богословскія сочиненія, основная мысль которыхъ заключается въ опредѣленіи церковныхъ отношеній Востока и Запада, въ теологическомъ доказательствѣ несостоятельности западной церкви, — католической или протестантской, все равно, — въ изложеніи и апологіи ученій православія. Во внутреннихъ вопросахъ, ему отдается заслуга объясненія вопроса о сельской общинѣ, который въ особенности выступилъ на сцену и разъяснялся въ славянофильскихъ изданіяхъ при началѣ крестьянской реформы.

Далѣе славянофилы придаютъ великое значеніе упомянутому

¹⁾ Вотъ отрывокъ изъ письма Ив. Кирѣвскаго къ брату Петру, въ 1844-мъ году. „Если министръ будетъ въ Москвѣ, то тебѣ непременно надобно просить его о *пѣсняхъ*, хотя бы къ тому времени тебѣ и не возвратили экземпляровъ изъ цензуры. Можетъ быть даже и не возвращать, но просить о пропускѣ это не мѣшаетъ. Главное на чемъ основываться (!), это то, что пѣсни *народныя*, а что весь народъ поетъ, то не можетъ сдѣлаться *тайною* (!), и цензура въ этомъ случаѣ столько же сильна, сколько Перевощиковъ надъ погодою. — Уваровъ вѣрно это пойметъ, также и то, какую репутацію сдѣлаетъ себѣ въ Европѣ наша цензура, запретивъ *народныя пѣсни*, и еще *старинныя*. Это будетъ смѣхъ во всей Германіи“ (Соч., I, биогр., стр. 93). Столько резонновъ нужно было имѣть въ запасѣ для изданія пѣсенъ!

выше трактату о всеобщей исторіи, о которомъ еще трудно судить по извѣстнымъ до сихъ поръ отрывкамъ.

Затѣмъ Хомяковъ касался множества другихъ вопросовъ, теоретическихъ и практическихъ, которые вообще привлекали вниманіе школы.

Г. Самаринъ началъ свою литературную дѣятельность диссертацией о проповѣдникахъ временъ Петра Великаго, или собственно о направленіяхъ, дѣйствовавшихъ въ русской церкви того времени. Диссертация, впрочемъ, явилась только отрывкомъ обширнаго сочиненія, которое не увидѣло свѣта по обстоятельствамъ, не зависѣвшимъ отъ автора. Направленіе этой книги уже ясно славянофильское. Затѣмъ г. Самаринъ относительно мало участвовалъ въ славянофильскихъ изданіяхъ: ему приписывали между прочимъ нѣкоторые критическія статьи славянофильскихъ изданій, направленныя противъ писателей и журналовъ западнаго направленія. Затѣмъ, г. Самаринъ является болѣе дѣятельнымъ сотрудникомъ «Русской Бесѣды» и «Дня», и наконецъ, въ послѣдніе годы, онъ составилъ себѣ новую публицистическую славу книгами объ «Окраинахъ Россіи» и другими изданіями. Эта послѣдняя дѣятельность г. Самарина не входитъ въ рамку нашихъ очерковъ, и намъ довольно указать въ ней послѣдовательное выполненіе той же славянофильской программы: дѣло идетъ теперь о практическихъ вопросахъ, трактовать которые было въ прежнее время совершенно невозможно, — но самое изученіе предмета сдѣлано, или по крайней мѣрѣ начато было очень давно, въ тѣхъ же сороковыхъ годахъ. Общая теорія о центрѣ и окраинахъ ставится въ извѣстномъ славянофильскомъ смыслѣ, какъ примѣняла ее въ послѣдніе годы и газета «День».

Въ разработкѣ исторической стороны славянофильскихъ взглядовъ, начало которой положено было Петромъ Кирѣевскимъ, много обѣщали труды Д. Валуева, автора изслѣдованій о мѣстничествѣ и издателя извѣстнаго «Сборника» (1845). Исходя изъ славянофильскаго предположенія о различіи, противоположности западнаго и восточнаго міра, Валуевъ указывалъ необходимость освободиться отъ подчиненія Западу и выработать изъ самихъ себя внутреннія начала своей нравственной и умственной жизни: для этого надо было возвратиться къ изученію нашего прошедшаго, къ изученію племени, которому мы принадлежимъ, а также племень единовѣрныхъ, — здѣсь должны для насъ открыться отличительныя особенности нашей національности и вообще внутреннее содержаніе восточнаго, греко-славянскаго, православнаго

міра, содержаніе, въ разработкѣ котораго только и заключается будущее нашей собственной, самобытной образованности.

Другимъ ревностнымъ историческимъ изслѣдователемъ, изъ болѣе молодого поколѣнія, былъ Константинъ Аксаковъ. Главными темами, къ которымъ онъ любилъ возвращаться, были объясненіе древняго общиннаго быта (въ опроверженіе теоріи г. Соловьева о родовомъ бытѣ), древняго народовластія, думъ и соборовъ, и обличеніе «петербургскаго періода», которому приписывалось самое губительное вліяніе. Константинъ Аксаковъ, сколько извѣстно, былъ пылка, увлекающаяся, благородная натура, въ которой не было тѣни искусственности. Народъ былъ первымъ и главнымъ предметомъ его увлеченія; на него онъ возлагалъ все свои надежды, возвеличивалъ его и въ стихотворныхъ диограмахъ (которые между прочимъ печатались въ газетѣ «День», въ числѣ стихотвореній «изъ прежняго періода»), и въ историческихъ изслѣдованіяхъ, гдѣ также его вниманіе и сочувствіе направлялось къ интересамъ народной массы. Въ этомъ смыслѣ его мнѣнія нерѣдко бывали полезнымъ противовѣсомъ взгляду историковъ государственности и централизаціи, для которыхъ народъ, съ его инстинктивными политическими движеніями, представлялся только противупошественнымъ элементомъ. Значеніе трудовъ К. Аксакова по древней русской исторіи въ свое время было оцѣнено г. Костомаровымъ. Но увлеченіе любимой идеей доводило Аксакова, какъ вообще славянофиловъ, до историческаго непониманія. Таковъ взглядъ его на петербургскій періодъ, который кажется ему произвольнымъ, лишеннымъ народнаго значенія, вреднымъ. Таковъ и его взглядъ на древніе соборы, важность которыхъ онъ преувеличивалъ и на которыхъ онъ довольно просто-душно строилъ особую систему государственнаго устройства: эта система, въ противоположность политическому формализму Запада, исходившему изъ вражды и недовѣрія власти и народа, — отвергала такъ-называемыя «гарантіи» и основывалась на любовномъ единствѣ...

Печатные труды г. Ив. Аксакова за разсматриваемое нами время были немногочисленны: это были почти исключительно поэтическія произведенія, въ которыхъ развивались славянофильскіе идеалы и дѣлались пробы поэзіи въ народномъ стилѣ. Вмѣстѣ съ стихотвореніями и другими чисто литературными произведеніями К. Аксакова, Хомякова, Языкова и нѣк. др., это была особенная поэзія славянофильства, въ которой вообще не столько свободного поэтическаго творчества, сколько тенденціознаго чувства. Къ этому времени принадлежатъ и другіе труды г. Ив. Аксакова, въ свое время не имѣвшіе возможности появиться въ

печати, и теперь также не вполне известные. Таково было его изучение раскола, начатое по официальному поручению. Позднее, он издал замечательное исследование об украинских ярмарках. Изучение народного быта—в широком смысле—было особенным предметом его занятий. Новейшая его деятельность известна: как издатель «Дня», «Москвы», «Москвича», он был главным представителем школы по разным предметам современной внутренней политики. Время открыло возможность обсуждать в печати многие из этих предметов, которые были для нея прежде совершенно закрыты: г. Аксаков оставался верен принципам и преданиям школы, странности которой не замедлили обнаружиться и на практических вопросах.

Мы не будем пересчитывать других тогдашних последователей школы, которые участвовали в славянофильских изданиях посильным повторением общей темы.

Славянофильские идеи с самого начала находили мало кредита у их противников,—также мало они могут иметь кредита и теперь. Большею частью, противники считали даже излишним опровергать систему,—так она казалась произвольной и фантастической. Новейшая деятельность славянофильства, имевшая дело уже с настоящими практическими вопросами жизни, не изменила этого мнения,—быть может, даже усилила его. В практическом применении система обнаруживала те самые результаты, которых можно было ожидать по ее посылкам, и которые предвидели ее противники в сороковых годах.

Вражда к славянофильству была весьма естественна. В то время, как лучшие силы литературы стремились пробудить в обществе критическое сознание, возвыситься над той официальной народностью, которую проповедывал бюрократический консерватизм, славянофилы вступали в эту борьбу мнений с такими взглядами, по которым их нередко можно было принять за союзников официальной народности.

В половине пятидесятих годов, когда начиналась новейшая публицистика славянофилов и когда литература вообще несколько оживилась, самые противники желали отдать справедливость лучшей стороне их мнений, и желали, кажется, вызвать их на более ясное изложение их идей, на соглашение в том, что могло быть общим интересом обеих сторон. Эти противники не хотели смешивать их с «Москвитянином», как то делалось прежде, приписывали им лучшие намерения, с сочувствием отыскивали у них просвещенные понятия о свободной мысли, необходимости исследования и т. п.; не разделяли

ихъ мнѣній, но охотно признавали въ нихъ то же стремленіе къ истинѣ и общественному благу ¹⁾. Это были — мнѣнія высказанныя въ пору ожиданій и надеждъ, когда для обѣихъ сторонъ только-что появлялась возможность болѣе широкой литературной дѣятельности. Но и эти мнѣнія значительно измѣнились нѣсколько лѣтъ спустя, когда обнаружилось, что школа не могла устоять на почвѣ свободнаго изслѣдованія, — какъ этого не допускаетъ сама сущность ея идей.

Это предвидѣли уже и противники ихъ въ сороковыхъ годахъ. Этихъ противниковъ (Бѣлинскаго въ особенности) винятъ, что они несправедливо приравнивали славянофиловъ къ «Маяку», и къ «Москвитянину» г. Погодина и Шевырева. Но сосѣдство было дѣйствительно близкое. Съ «Маякомъ» славянофилы имѣли общаго — крайнюю вражду къ Западу и теологическія свойства ихъ философіи. Глава славянофиловъ, Кирѣевскій, считалъ возможнымъ серьезно говорить о «Маякѣ», который былъ совершенно похожъ на нынѣшнюю «Домашнюю Бесѣду». Что касается до «Москвитянина», то съ нимъ славянофиловъ, въ то время, почти невозможно было отличить. Если философія г. Погодина не пускалась въ такія глубины, какъ философія Кирѣевского и Хомякова, то практическое пониманіе было одно и то же. «Москвитянинъ», какъ журналъ г. Погодина и Шевырева, видѣлъ отличительныя черты русской народности и русской исторіи въ томъ же, въ чемъ находили ихъ славянофилы: Шевыревъ изображалъ православное благочестіе русской старины въ столь же яркихъ краскахъ, и славянофилы съ удовольствіемъ должны были читать въ его лекціяхъ, что любомудріе древнихъ русскихъ мыслителей превышаетъ глубиною философію Гегеля. Кромѣ общей любви къ старинѣ, — достойной служить образцомъ для настоящаго по «цѣльности возрѣнія», — «Москвитянинъ» сходилъ съ славянофилами и въ частныхъ представленіяхъ о русской исторіи: по поводу статьи г. Погодина, «Параллель русской исторіи съ исторіею западныхъ европейскихъ государствъ», славянофилы находили, что его мысль о коренномъ различіи между исторіей западной и нашей — «неоспорима», и противоположенія Запада и Востока у нихъ очень сходны. «Москвитянинъ» терпѣть не могъ Запада и распространялъ теорію объ его гніеніи, — которая почти совершенно равняется тому мнѣнію, какое имѣли и имѣютъ о Западѣ сла-

¹⁾ Современникъ, 1856, № 2, стр. 68 и слѣд. Эти мысли высказывались по поводу нѣкоторыхъ страницъ Кирѣевского, быть можетъ больше всѣхъ остальныхъ славянофиловъ понимавшаго необходимость свободы мнѣній.

вянофилы. Правда, у славянофиловъ была своя оппозиціонная доля мнѣній, на которую «Москвитянинъ» не рисковалъ, но потомъ, когда это стало безопаснѣе, чѣмъ въ сороковыхъ годахъ, г. Погодинъ также фрондировалъ въ славянофильскомъ вкусѣ.

Надобно вспомнить тогдашнее время, чтобы оцѣнить впечатлѣніе этого союза или большой близости съ «Москвитяниномъ». Журналъ г. Погодина не пользовался уваженіемъ, велся плохо, и самъ по себѣ вызывалъ только шутки; вмѣстѣ съ «Маякомъ» онъ былъ въ литературѣ представителемъ «древняго благочестія» и квасного патріотизма; теперь къ этой тенденціи присоединялась новая школа изъ людей другого порядка, людей съ несомнѣннымъ талантомъ и образованіемъ. Старовѣрство вооружалось философскими доказательствами; во имя народа проповѣдывалось отрицаніе той образованности, которая едва бросала корень въ русскомъ обществѣ,—можно было подумать, что въ этихъ людяхъ старый обскурантизмъ встрѣчалъ новыхъ союзниковъ.

Аргументы, которыми новая школа защищала свои мнѣнія, были такого свойства, что казались не только ошибочными, но и вредными, потому что дѣйствительно открывали путь для настоящаго обскурантизма. Не входя въ подробности тогдашней полемики (которая, притомъ, часто вовсе не могла касаться самыхъ существенныхъ спорныхъ пунктовъ, или могла только далекимъ образомъ намекать на нихъ), мы остановимся на нѣкоторыхъ изъ главнѣйшихъ положеній школы.

Славянофильская система имѣетъ ту особенность, рѣдкую въ общественно-политическихъ взглядахъ нашего времени, что существенное основаніе ея—теологическое. Сюда сводится и нелюбовь къ Западу, и восхищеніе русской, до-петровской стариной: мы должны отвратиться отъ Запада, потому что его просвѣщеніе намъ чуждо и лишено *верховой истины*; мы должны обратиться къ старинѣ, потому что она, хотя и не всегда сознательно, была проникнута ученіемъ, заключающимъ въ себѣ эту верховную истину.

Мы не можемъ разбирать здѣсь, вѣрно ли изображаютъ славянофилы самую эту верховную истину: это—предметъ, чисто и исключительно богословскій; скажемъ только о томъ историческомъ и социальномъ употребленіи, какое они дѣлаютъ изъ этой общей мысли.

Они подходятъ къ этому предмету съ различныхъ сторонъ. Кирѣевскій нѣсколько разъ возвращается къ нему, и напримѣръ

опредѣляя отношенія европейскаго просвѣщенія къ нашему, утверждаетъ, будто бы самый Западъ, истощивъ свою латино-германскую цивилизацію, очевидно ищетъ теперь другого, болѣе широкаго начала просвѣщенія, и что это начало онъ найдетъ именно въ православіи.—Еще недавно, лѣтъ тридцать назадъ ¹⁾,—говоритъ Кирѣевскій,—думали, что вся разница европейскаго и русскаго просвѣщенія заключается не въ качествѣ, а въ степени; но «съ тѣхъ поръ» и въ томъ, и въ другомъ, и въ западномъ, и въ русскомъ просвѣщеніи произошла сильная перемѣна. Европейское просвѣщеніе достигло полноты развитія, его особенность ярко выразилась, опредѣлились его итоги, и въ результатѣ оказалось «общее чувство недовольства». Правда, науки процвѣтали, внѣшняя жизнь устроивалась, но жизнь лишена была своего внутренняго смысла; анализъ разрушилъ «всѣ основы», на которыхъ стояло европейское просвѣщеніе съ самаго начала. Вмѣстѣ съ тѣмъ самый анализъ дошелъ до сознанія своей ограниченности и односторонности, и убѣдился, что высшія истины лежатъ внѣ круга его діалектическаго процесса. Этотъ результатъ выраженъ, по словамъ Кирѣевскаго, передовыми мыслителями Запада. И теперь Западу предстоитъ или быть равнодушнымъ ко всему, что выше чувственныхъ интересовъ, а это невозможно и унижительно,—или возвратиться къ своимъ начальнымъ убѣжденіямъ, но онѣ разрушены анализомъ. Чтобъ избѣгнуть этой мучительной пустоты, Западъ сталъ изобрѣтать разныя новыя начала жизни, мѣшалъ старое съ новымъ, возможное съ невозможнымъ. Вообще, современный характеръ европейскаго просвѣщенія, по мнѣнію Кирѣевскаго, совершенно однороденъ съ той эпохой древней греко-римской образованности, когда, развившись до противорѣчія самой себѣ, она необходимо должна была «принять въ себя другое, новое начало, хранившееся у другихъ племенъ, не имѣвшихъ до того времени всемірно-исторической значительности». Каждое время имѣетъ свой господствующій жизненный вопросъ, и если дѣйствительно таково положеніе западной цивилизаціи, то всѣ вопросы европейской жизни—вопросы о движеніи умовъ, о наукѣ, о формахъ общественнаго устройства,—всѣ эти вопросы «сливаются въ одинъ существенный, живой, великій вопросъ объ отношеніи Запада къ тому незамѣченному до сихъ поръ началу жизни, мышленія и образованности, которое лежитъ въ основаніи міра православно-словенскаго».

¹⁾ Писано въ 1852 г.

Такимъ образомъ вопросъ ставился совершенно категорически. Не только мы должны стать на дорогу, завѣщанную намъ нашей стариной, но и для самой Европы эта дорога есть единственный способъ обновить свою цивилизацію, дошедшую до послѣднихъ предѣловъ своего развитія. И повторимъ опять, это—тема всеобщая у славянофиловъ, съ той разницей, что одни, какъ самъ Кирѣевскій, еще нѣсколько благоволятъ Западу за его прежнія послуги и добродушно желаютъ ему возвратиться на путь истинный, а другіе больше раздражены противъ него за вражду къ Востоку, и предоставляютъ Западъ его судьбѣ—пусть дѣлаетъ какъ знаетъ. Кирѣевскій еще признаетъ высокія умственные достоинства западной цивилизаціи, находитъ нелѣпой мысль, будто мы должны бросить то, чѣмъ уже воспользовались отъ нея, считаетъ даже нужнымъ и дальнѣйшее общеніе съ ней,—подъ условіемъ только вѣрности основному православно-славянскому началу;—другіе бросаютъ эти оговорки и утверждаютъ прямо, что Западъ гніетъ, что отъ него слѣдуетъ бѣжать, чтобъ не заразиться гніеніемъ, что зараза даже замѣтна и у насъ. Остановимся пока на умѣренномъ выраженіи этихъ мыслей у Кирѣевского.

Странно прежде всего, что тотъ же авторъ въ началѣ статьи, изъ которой приведена послѣдняя цитата, довольно хорошо понимаетъ новѣйшее движеніе умовъ въ Европѣ. Вотъ отрывокъ:

«Умственные движенія на Западѣ, — говоритъ онъ, — совершаются теперь съ меньшимъ шумомъ и блескомъ, но очевидно имѣютъ *болѣе глубины и общности*. Въмѣсто ограниченной сферы событій дня и внѣшнихъ интересовъ, мысль устремляется къ самому источнику всего внѣшняго, къ *человѣку, какъ онъ есть*, и къ его *жизни, какъ она должна быть*. Дѣльное открытіе въ наукѣ уже болѣе занимаетъ умы, чѣмъ пышная рѣчь въ камерѣ. Внѣшняя форма судопроизводства кажется менѣе важною, чѣмъ внутреннее развитіе справедливости; живой духъ народа существеннѣе его наружныхъ устроеній. Западные писатели начинаютъ понимать, что подъ громкимъ вращеніемъ общественныхъ колесъ таится неслышное движеніе нравственной пружины, отъ которой зависитъ все, и потому въ мысленной заботѣ своей стараются перейти отъ явленія къ причинѣ, отъ формальныхъ внѣшнихъ вопросовъ хотятъ возвыситься къ тому объему идеи общества, гдѣ и минутныя событія дня, и вѣчныя условія жизни, и политика, и философія, и наука, и ремесло, и промышленность, и сама религія, и вмѣстѣ съ ними словесность народа, сливаютъ

ся въ одну необозримую задачу: *усовершенствованіе человека и его жизненныхъ отношеній*» ¹⁾. —

Эти послѣднія слова дѣйствительно очень вѣрно указываютъ господствующее стремленіе европейской образованности, и если бы авторъ больше вникалъ въ нее съ этой точки зрѣнія, онъ, быть можетъ, не пришелъ бы къ выводу, что она уже кончила кругъ своего развитія. Какъ ошибоченъ былъ весь этотъ выводъ, объ этомъ какъ-то странно говорить: нужно было бы рассказывать исторію современной Европы, съ великими созданіями ея новѣйшей науки, съ ея энергическими усиліями къ «усовершенствованію человека и его жизненныхъ отношеній», — откуда приходили и къ намъ тѣ немногія крохи, которыя въ сущности были главнѣйшей опорой нашего собственнаго умственнаго развитія. Скорѣе, является только вопросъ о томъ, какъ могли возникнуть въ Кирѣевскомъ эти мысли. Увлекаясь своимъ религіознымъ настроеніемъ и старыми философскими воспоминаніями, Кирѣевскій думалъ, что рѣшенія вопроса о западномъ просвѣщеніи надо искать въ положеніи той отвлеченной философіи, на которой совершалось нѣкогда его собственное развитіе. Это положеніе казалось ему неудовлетворительнымъ (и справедливо); онъ видѣлъ (справедливо) въ новѣйшихъ системахъ колебаніе, непрочность и напрасныя усилія схватить абсолютный принципъ, котораго философія такъ давно доискивалась. Ему казалось, что это колебаніе обозначаетъ послѣднія попытки, быть можетъ конецъ той «разсудочной мысли», которою Западъ исключительно жилъ по его мнѣнію; а въ этихъ порывахъ уловить абсолютное, онъ находилъ еще не исполнѣнное стремленіе — именно къ православно-славянскому началу. Во всемъ этомъ вѣрно было только одно, — что спекулятивная философія Гегелевой и Шеллинговой школы дѣйствительно отживала свое время. Чистое умозрѣніе этой школы дѣйствительно потеряло вѣру въ новыхъ поколѣніяхъ. Но странно было считать это упадкомъ самой «разсудочной мысли». Напротивъ того, новый періодъ ея ничѣмъ не уступалъ прежнимъ въ научной дѣятельности и отличался только новымъ направленіемъ, которое она видимо начинала принимать. Намѣсто отвлеченныхъ теолого-философскихъ умозрѣній наука больше и больше обращалась къ точнымъ положительнымъ изученіямъ — въ многоразличныхъ областяхъ науки. Естествознаніе больше и больше выступаетъ на первый планъ, и приемы точнаго знанія распространяются и на тѣ области, которыя прежде

¹⁾ Сочин., II, стр. 4—5.

брала въ свою опеку отвлеченная философія—на исторію, право, общественныя и политическія науки и проч. «Передовые мыслители» были здѣсь, въ этихъ направленіяхъ науки, и едва ли у нихъ Кирѣевскій встрѣчалъ тѣ недоумѣнія о послѣдней судьбѣ европейской образованности, о которыхъ онъ упоминаетъ. Самъ онъ, къ сожалѣнію, не указываетъ, кто были «передовые мыслители», на которыхъ онъ ссылается.

Направленіе, приобретающее теперь все болѣшую и болѣшую силу въ наукѣ, правда, уже не думало объ основаніи новой спекулятивной философіи, но вовсе не потому, чтобы «разсудочная мысль» истощилась, а именно потому, что теперь она расширила область изслѣдованія до такихъ размѣровъ, о которыхъ и не помышляла ученость за нѣсколько десятковъ лѣтъ ранѣе. Тѣ приложенія абсолютной гегелевской философіи, которыми думали прежде опредѣлить содержаніе и приемы частныхъ наукъ, именно оказывались совершенно неудовлетворительными,—такова была Гегелевская философія исторіи, его ученіе о правѣ, его философія природы, — потому что новѣйшее реально-историческое изученіе и естественныя науки показали, фактами, грубыя ошибки построеній *a priori*. «Разсудочная мысль» стала только на высшую ступень противъ прежней.

Такимъ образомъ, все разсужденіе о положеніи европейской мысли, въ этомъ отношеніи, основано на чистомъ недоразумѣніи. Кирѣевскій не замѣчалъ и странности своего вывода, будто бы это разложеніе западной образованности, имъ предполагаемое, совершилось въ теченіе указанныхъ имъ тридцати лѣтъ—слишкомъ короткій срокъ, чтобы въ теченіи его могъ стать замѣтнымъ упадокъ многовѣковой цивилизаціи. Далѣе, на такомъ же недоразумѣніи основывались славянофильскія сужденія о нравственномъ и общественномъ положеніи Европы. Отмѣчая различные случайные, притомъ мало доказанные факты, они готовы съ заключеніемъ, что нравы падаютъ, — все по той же общей причинѣ, — но и здѣсь славянофилы не видѣли того обширнаго общественнаго броженія, которое уже ясно высказывалось въ тѣ годы (быть можетъ, слишкомъ поспѣшными опытами и рѣшеніями, очень естественными при первомъ порывѣ) и дѣйствовало въ смыслѣ «усовершенствованія жизненныхъ отношеній», и въ пользу низшихъ классовъ народа. Одно это явленіе могло бы объяснить, что европейская жизнь не только не утомилась, не устарѣла, но что она полна энергіи: она ставила вопросъ въ высшей степени трудный, съ давнихъ вѣковъ нетронутый, ставила его не пугаясь громаднѣхъ препятствій, созданныхъ долгой прошедшей исторіей

общества, и мы думаемъ, что — несмотря на всё, неизбежныя, ошибки — это было дѣло, исполненное высокаго человѣческаго достоинства, и конечно не такое, которое говорило бы о безспилии, равнодушии и упадкѣ. — Далѣе, славянофилы, особенно Кирѣевскій и Хомяковъ, любятъ останавливаться на положеніи религіознаго вопроса, преимущественно въ Германіи, — любятъ указывать на разладъ въ религіозной мысли, на борьбу различныхъ партій, изъ которыхъ каждая считаетъ себя истинной формулой христіанства, и выводятъ отсюда, что въ религіозномъ отношеніи Европа также находится въ безвыходномъ положеніи, и уже ищетъ иного, «не замѣченнаго прежде» начала, которое возстановило бы потерянное ею нравственно-религіозное равновѣсіе. На этотъ разладъ они смотрятъ съ высоты своего принципа, какъ на рядъ жалкихъ заблужденій, изъ которыхъ однако этимъ западнымъ людямъ такъ легко было бы выйти. Не обходится безъ сравненій, гдѣ этой церковной анархіи противопоставляется наше единство и крѣпкое согласіе... Но и это едва ли такъ. Славянофилы сравниваютъ двѣ вещи, очень непохожія одна на другую, потому что дѣйствительно жизнь западныхъ церковныхъ общинъ, преимущественно германскихъ, имѣетъ чрезвычайно мало общаго съ восточнымъ порядкомъ вещей. Прежде всего, наблюдатель, дѣлающій подобное сопоставленіе, можетъ впасть въ грубую ошибку уже потому, что церковная дѣятельность совершается тамъ на виду, такъ что высказываются всё движенія религіозной мысли, между тѣмъ какъ наша церковная жизнь вовсе не допускаетъ, по настоящую минуту, сколько-нибудь свободнаго, даже никакого обсужденія церковныхъ дѣлъ, такъ что здѣсь мы видимъ только единство молчанія; — самъ Хомяковъ могъ защищать православіе только французскими брошюрами, печатанными за границей; — во-вторыхъ, если уже дѣлать сравненія, то слѣдовало и наши дѣла брать какъ они есть, напр., не забыть десяти-милліоннаго раскола. Быть можетъ, тогда представились бы соображенія, при которыхъ нельзя было бы подшучивать надъ какой нибудь куръ-гессенской церковью, не помнящей своего родства съ остальнымъ протестантствомъ.

Далѣе, западное религіозное мышленіе стояло въ такихъ условіяхъ, какихъ еще не подозрѣвало наше общество. Последнее время было замѣчательно особеннымъ распространеніемъ критическаго изслѣдованія: западная религіозная философія стояла лицомъ къ лицу съ этимъ изслѣдованіемъ, и такъ или иначе должна была считаться съ нимъ, отвѣчать на изслѣдованіе своей критикой, защищаться отъ его отрицательныхъ и скептическихъ

притязаній,—дѣлать ему уступки. Такъ происходили раціоналистическія секты и ученія, которыя имѣютъ весьма достаточное основаніе своего бытія. Славянофилы сурово отвергають это направленіе теологіи какъ «сухой раціонализмъ», «разсудочную религію» и т. п., но для того, чтобы осудить эти направленія, нужно ихъ опровергнуть — тѣмъ оружіемъ, которое они употребляютъ. Этого еще нашими славянофилами не сдѣлано, и ихъ осужденія остаются бездоказательными. Очевидно, что упомянутыя критическія изслѣдованія относятся столько же и къ восточному началу, сколько къ западному; но въ нашей умственной жизни онѣ до сихъ поръ не только не имѣли мѣста, но большею частью остаются вовсе неизвѣстны. Европейская религіозная образованность не прячется отъ этихъ изслѣдованій, и имѣетъ во всякомъ случаѣ ту высокую цѣну, что вступаетъ въ открытую и очень смѣлую борьбу съ тѣми трудностями, которыя предстояли ей отъ развитія критики и скептицизма.

Догматическіе споры нѣмецкихъ церквей конечно скучны и бесполезны, какъ вообще догматическіе споры,—но едва ли они составляютъ особенно важное явленіе современной религіозной жизни. Несравненно важнѣе были другіе споры, которые издавна захватывали религіозную жизнь Запада и дѣйствовали на самую сущность ея: это — тѣ споры, которые мало по малу ограничивали важность догматической стороны религіи, и давали преобладаніе ея нравственной сторонѣ. На этомъ основаніи Западъ выработалъ—въ разныхъ странахъ больше или меньше—понятіе и чувство терпимости, которая еще слишкомъ мало была извѣстна Востоку и безъ сомнѣнія должна бы принадлежать къ существеннымъ чертамъ христіанства, какъ ученія и какъ государственной религіи. Если слова «свобода духа», «цѣльность воззрѣнія» не одни только слова, то въ нихъ должна заключаться и полная свобода изслѣдованія для тѣхъ, у кого извѣстные вопросы возникли. Въ западной образованности уже очень давно заявлена и давно, такъ сказать, практикуется такая свобода изслѣдованія, и Западу конечно съ бѣльшимъ правомъ можно приписать эту прерогативу, которую славянофилы усваиваютъ одному Востоку. На Востокѣ напротивъ этой «свободы» и «цѣльности» не существуетъ,—и если взять въ примѣръ самихъ славянофиловъ, приписывающихъ себѣ эти свойства восточнаго духа, то въ нихъ оказывается напротивъ самый исключительный конфессіонализмъ, очень далекій отъ всякой «свободы».

Вслѣдствіе свободы изслѣдованія въ западной религіозной образованности естественно развилось упомянутое стремленіе ея стоять

вровень съ наукой, — брать въ расчетъ ея результаты, мириться съ ними, когда они приносятъ то или другое видоизмѣненіе принятыхъ прежде понятій. Раціонализмъ, столь ненавистный славянофиламъ, есть явленіе неизбѣжное тамъ, гдѣ люди не отворачиваются и не затыкаютъ ушей отъ науки. Для «цѣльности воззрѣнія» нужно конечно, чтобы результаты науки не противорѣчили религіозному сознанію, и вѣра, конечно, не должна требовать такихъ уступокъ отъ разума, которыя составляли бы противорѣчіе съ результатами знанія. Отсюда извѣстное видоизмѣненіе религіозныхъ представленій отъ одного историческаго періода до другого; отсюда устраненіе многихъ заблужденій, напр. средневѣковыхъ представленій о порядкѣ природы, — которымъ прежде приписывалась почти догматическая важность, и которыя теперь оскорбили бы достоинство религіи, если бы имъ давалось и теперь такое же значеніе. Исторія научаетъ, что религіозныя представленія шли такимъ образомъ параллельно съ общимъ движеніемъ образованности, расширялись, освобождались отъ случайныхъ заблужденій, облагораживались. Общее развитіе человѣчества и развитіе религіозныхъ представленій идутъ рядомъ, и возвращеніе назадъ и здѣсь точно также было бы упадкомъ и заблужденіемъ, какъ въ другихъ областяхъ цивилизаціи.

Между тѣмъ славянофилы именно этого и желаютъ. Кирѣевскій весьма недвусмысленно говоритъ о необходимости для Европы возвращенія къ восточному началу: онъ для этого предлагалъ особенный путь умозрѣнія (мы упомянемъ о немъ дальше). Но отвлеченное начало дѣйствуетъ въ жизни не одной логической силой своего содержанія, и обставляется извѣстными внѣшними проявленіями, — такъ что дѣло должно было идти не только о понятіяхъ, но также объ извѣстныхъ формахъ, учрежденіяхъ, обычаяхъ. Дѣйствительно, другіе славянофилы прямо ожидали, что Европа должна принять православіе; Хомяковъ принялъ живѣйшій интересъ въ обращеніи Пальмера въ православіе; славянофилы придавали великое значеніе обстоятельству, что у нѣсколькихъ англичанъ явилась мысль о соединеніи англиканства съ православной церковью... Такимъ образомъ, усвоеніе Западомъ восточнаго начала понималось славянофилами въ самой осязательной внѣшней формѣ, и такъ какъ эта форма есть форма историческая, весьма древняго образованія, то ожидаемое ими усвоеніе ея Западомъ представило бы весьма удивительное явленіе въ исторіи цивилизаціи.

Кирѣевскій, вообще едва ли не наиболѣе благоразумный изъ славянофиловъ, не одинъ разъ выражалъ мысль, что хотя

для Запада, и для нашихъ его послѣдователей необходимъ поворотъ къ восточному началу, но что при этомъ не только Западу не должно отказываться отъ пріобрѣтеннаго имъ запаса образованности, но и намъ, избранному сосуду, не должно покидать того, что мы успѣли заимствовать отъ Запада. Но другіе славянофилы, и тогда, и послѣ, смотрѣли на дѣло иначе: западная цивилизація была для нихъ только предметомъ вражды; имена европейскихъ писателей, не подходившихъ подъ ихъ вкусы, особенно имена, которыя пріобрѣтали популярность у насъ въ послѣднее время, вызывали въ нихъ только издѣвательства, которыя, будучи совершенно неумѣстны по всему состоянію нашей учености, довольно умѣренной, были бы приличны только одному невѣжеству. Такъ, этому издѣвательству подвергались и Фохтъ, и Спенсеръ, и Ренанъ, и Бокль «съ братією». Можно себѣ представить, что подобное отношеніе къ европейской литературѣ, ставившее славянофиловъ вровень съ «Домашней Бесѣдой», не было способно внушать особенное уваженіе къ ихъ образованности и довѣріе къ ихъ практическому вліянію на общественныя дѣла, если бы когда-нибудь таковое предстояло.

Кирѣевскій понималъ, что возведеніе восточнаго начала въ высшее основаніе человѣческаго мышленія есть вещь, мало понятная для обыкновеннаго разсужденія, и посвятилъ особую статью объясненію «необходимости и возможности новыхъ началъ для философіи». Эти новыя начала—конечно, начала восточныя. Онъ понимаетъ, что для самаго существованія философіи необходима свободная дѣятельность разума, и старается доказать, что эта свобода совершенно возможна при этихъ началахъ,—только разумъ долженъ быть вѣрующій разумъ; только самый способъ мышленія долженъ возвыситься до сочувственнаго согласія съ вѣрою. Это послѣднее дѣлается такимъ образомъ: «Внутреннее сознаніе, что есть въ глубинѣ души живое общее средоточіе для всѣхъ отдѣльныхъ силъ разума, сокрытое отъ обыкновеннаго состоянія духа человѣческаго, но *достижимое* для ищущаго, и одно достойное постигать высшую истину,—такое сознаніе постоянно возвышаетъ самый образъ мышленія человѣка: смиренія его разсудочное самомишленіе, оно не стѣсняетъ свободы естественныхъ законовъ его разума; напротивъ, укрѣпляетъ его самобытность и вмѣстѣ съ тѣмъ добровольно подчиняетъ его вѣрѣ». Передъ тѣмъ Кирѣевскій только-что указалъ, что въ основаніи восточной философіи лежатъ неизмѣнныя положенія съ ясно обозначенными и твердыми границами, что эти положенія «неприкосновенны» (Соч. II, 307 и слѣд.): очевидно, что «самобытно-

сти» разума при этомъ быть не можетъ, это будетъ та же средне-вѣковая *ancilla theologiae*. Самъ Кирѣевскій чувствовалъ, что разуму не много будетъ тутъ дѣла: «для развитія этого самобытнаго православнаго мышленія,—говоритъ онъ,—не требуется особенной геніальности. *Напротивъ*, геніальность, предполагающая непремѣнно оригинальность, могла бы даже повредить полнотѣ истины» (Соч. II, 331). Странное признаніе, — по весьма послѣдовательное: въ такой системѣ философіи, которая уже впередъ имѣетъ свое неприкосновенное основаніе, дѣйствительно не потребуется геніальности: придется только наполнять схоластическія схемы. Но какова будетъ сама философія?

Эти основанія восточной философіи уже давно положены: Кирѣевскій находитъ ихъ у византійскихъ писателей, преимущественно послѣ раздѣленія церкви, и удивляется, что эта возвышенная философія, несмотря на всѣ достоинства, была «такъ мало доступна разсудочному направленію Запада, что не только никогда не была оцѣнена западными мыслителями, но, что еще удивительнѣе, до сихъ поръ осталась имъ почти вовсе неизвѣстною» (II, стр. 256). Еще удивительнѣе то, какимъ образомъ Кирѣевскій, говоря это, забывалъ, что этихъ восточныхъ философовъ могъ читать только въ изданіяхъ, сдѣланныхъ западными учеными, которымъ вообще мы обязаны своими свѣдѣніями о византійской древности.

Вопросъ образованности такимъ образомъ тѣсно связывался съ вопросомъ чисто-церковнымъ. Кирѣевскій, какъ мы видѣли, пришелъ къ убѣжденію, что направленіе всякой философіи зависитъ отъ того понятія, какое мы имѣемъ о св. Троицѣ (Соч. I, біогр., стр. 100). Слѣдовательно, споръ о философскихъ направленіяхъ превращался въ споръ чисто-догматическій, споръ исповѣданій, принимающихъ то или другое понятіе объ упомянутомъ догматѣ. Именно, различныя понятія объ этомъ догматѣ послужили главнѣйшимъ поводомъ къ разрыву церкви восточной и западной, къ цѣлому разрыву двухъ міровъ европейской образованности. Вопросъ объ отношеніи Россіи къ Европѣ и ея цивилизации, вопросъ о нашемъ національномъ значеніи, о нашей будущей роли въ человѣчествѣ (о которой постоянно заботились славянофилы) долженъ былъ рѣшиться въ теологическомъ трактатѣ. Эту долю задачи и взялъ на себя Хомяковъ: разрѣшеніемъ ея заняты недавно изданныя за границей богословскія сочиненія Хомякова. Содержаніе ихъ и заслугу писателя г. Самаринъ указываетъ въ томъ, что Хомяковъ «выяснялъ и выяснилъ идею церкви въ логическомъ ея опредѣленіи» (Соч. Хом. II, XXVII).

Мы не можемъ входить въ разсмотрѣніе этихъ сочиненій, исполненныхъ догматическаго и церковно-учительнаго содержанія. Смысль ихъ—защита и возвеличеніе православной церкви,—какъ единственной, сохранившей древній вселенскій характеръ и основное содержаніе церкви,—надъ западными исповѣданіями, которыя отпали отъ вселенскаго единства и потеряли истинный смыслъ христіанства. Издатель указываетъ высокую заслугу Хомякова въ томъ, что онъ сталъ на новую, широкую точку зрѣнія въ вопросѣ, которой до тѣхъ поръ рѣшался односторонне. Положеніе церкви, или нашей теологической школы, относительно католичества и протестантства было до сихъ поръ оборонительное, и притомъ такое, что защищаясь отъ католичества, школа становилась антипапистской, и защищаясь отъ протестантства, становилась антипротестантской: она принимала вопросы такъ, какъ они ставились враждебными исповѣданіями, и почти вынуждена была браться противъ нихъ за оружіе, издавна выработанное ими для ихъ междоусобной войны. Этимъ путемъ, обѣ школы приняли одна—закваску протестантскую, другая католическую; успѣхъ одной отзывался невыгодно для другой, и наконецъ, съ теченіемъ этой борьбы, «раціонализмъ просочился въ православную школу и остылъ въ ней въ видѣ научной оправы къ догматамъ вѣры, въ формѣ доказательствъ, толкованій и выводовъ». Такъ, въ восемнадцатомъ столѣтіи одно направленіе представлялось Теофаномъ, другое—Стефаномъ Яворскимъ, и все, чтó являлось послѣ, группируется около ихъ капитальныхъ сочиненій, и представляетъ какъ бы оттиски съ нихъ, но ослабленные и смягченные. Школа раздвоилась и становилась въ уровень съ противникомъ; Хомяковъ первый взглянулъ на католичество и протестантство съ точки зрѣнія самыхъ основаній церкви, *сверху*, и потому могъ опредѣлить ихъ.

Богословскіе трактаты Хомякова написаны дѣйствительно съ большимъ діалектическимъ искусствомъ, и должны занять почетное и своеобразное мѣсто въ догматической литературѣ,—котораго впрочемъ мы опредѣлить не беремся ¹⁾. Эта литература, какъ всякая специальность, имѣетъ свои вопросы, свои условія,—и здѣсь, быть можетъ, его аргументы дѣйствительно такъ могущественны, какъ изображаетъ г. Самаринъ. Но рѣшеніе поставленнаго вопроса заключается не въ одной догматической аргументаціи. Система, построенная Хомяковымъ, быть

¹⁾ Они встрѣтили въ нашей литературѣ, сколько мы знаемъ, пока одинъ только отголосокъ, въ книжкѣ г. Николая Барсова: „Новый методъ въ богословіи. По поводу богословскихъ сочиненій Хомякова“, и проч. Спб. 1870.

можетъ, отличается строгою логикою; но эта логика остается чистой отвлеченностью. Для того, чтобы система получала полную убѣдительность, нужно, чтобы исторія и дѣйствительная жизнь давали ей извѣстную опору; иначе она остается для насъ поэтическимъ идеаломъ, или логической фикціей. Система, которую изображаетъ Хомяковъ, есть вмѣстѣ съ тѣмъ учрежденіе — въ томъ смыслѣ, какъ говоритъ о немъ г. Самаринъ (стр. XXVII—XXVIII), и самъ г. Самаринъ сознаетъ и доказываетъ, что реальное учрежденіе далеко не соотвѣтствуетъ логическо-идеальному построению Хомякова. Откуда же это противорѣчіе, и не есть ли построение Хомякова произвольное и воображаемое? Этого противорѣчія миновать невозможно. Существующій характеръ и существующее пониманіе учрежденія не есть, конечно, дѣло только одного нынѣшняго поколѣнія, — не есть слѣдствіе только его степени разумѣнія или неразумѣнія; это пониманіе есть результатъ цѣлой, весьма продолжительной исторіи, — начало которой даже довольно трудно опредѣлить. Самъ Хомяковъ очень хорошо понималъ, что «учрежденіе» можетъ становиться въ крайне фальшивыя положенія (стр. 75); не менѣе ясно понимаетъ это и г. Самаринъ въ данномъ случаѣ (стр. VI—VIII, XXV—XVI); — но какимъ же образомъ раздѣлить отвлеченную систему отъ учрежденія, которое именно и служить предметомъ идеальнаго воззненія и должно давать для этого основаніе? Жизнь имѣетъ дѣло и должна считаться не съ логической формулой или идеальнымъ представленіемъ принципа, а съ реальнымъ явленіемъ, унаслѣдованнымъ отъ прошедшаго въ настоящее. Можетъ быть, что логическая формула и идеальное представленіе соотвѣтствуютъ основному характеру учрежденія, въ первоначальную пору его образованія въ давнопрошедшихъ историческихъ условіяхъ, — но съ тѣхъ поръ оно прошло многовѣковой путь развитія. Могло ли учрежденіе остаться свободнымъ отъ вліянія исторіи, — чтобы на немъ не отпечатлѣлось, и притомъ трудно изгладимымъ образомъ, дѣйствіе условій, въ какихъ оно существовало въ теченіе своей послѣдующей исторіи? Возможно ли, чтобы явленіе, создавшееся въ извѣстную эпоху въ духѣ ея понятій, могло въ томъ же смыслѣ и тѣхъ же формахъ жить и дѣйствовать въ другое время, послѣ долгаго періода хотя бы «разсудочной» образованности?

Въ частности нынѣшнія, русскія условія, въ которыхъ поставленъ вопросъ, таковы, что самое приближеніе къ его разъясненію въ высшей степени затруднительно. Какимъ же образомъ можно считать широкіе, порядочно заносчивые планы Хомякова не чистой, далекой отъ жизни, отвлеченностью или

фантастическимъ идеаломъ. «Непроницаемая туча недоразумѣній», о которой говорить самъ г. Самаринъ, дѣйствительно такъ велика, что люди, которые даже искренно бы желали разъяснить вопросъ, едва могутъ видѣть свою цѣль и различать другъ друга. Если дѣйствительно нужно объяснить великій принципъ религіи и цивилизаціи,—какъ хотятъ въ этомъ случаѣ славянофилы,—нужно бы, кажется, прежде всего позаботиться хоть о какомъ нибудь разсѣяніи «непроницаемой тучи»,—позаботиться, такъ сказать, о домашнемъ разрѣшеніи вопроса, прежде чѣмъ брать на себя видъ «воинствующій» и обличительный: безъ этого, мы думаемъ (и говоримъ это въ ихъ собственномъ интересѣ), усилія славянофиловъ сколько-нибудь провести свою точку зрѣнія останутся совершенно безплодны. То, о чемъ мы говоримъ, будетъ гораздо потруднѣе, чѣмъ полемика съ г. Лоренси. Между тѣмъ, сами славянофилы,—какъ это кажется не только намъ, но множеству людей, спокойно разсуждающихъ,—дотрогиваются, правда изрѣдка, до непроницаемой тучи, но вовсе не разгоняютъ ея, а иногда сами ее увеличиваютъ.

Мы готовы повѣрить, что Хомяковъ представлялъ собой оригинальное, почти небывалое у насъ явленіе полнѣйшей «свободы въ религіозномъ сознаніи» (стр. XX). Надо было бы думать, что его школа, если сама еще не представляетъ подобнаго явленія, то по крайней мѣрѣ стремится къ нему. По рассказамъ мы знаемъ дѣйствительно, что отношеніе Хомякова къ предмету было свободное; его личное убѣжденіе — какимъ бы путемъ оно ни было приобрѣтено — было свободное убѣжденіе просвѣщеннаго человѣка, который не боялся противнаго мнѣнія, даже искалъ его, чтобы удовлетворить своей потребности пропаганды или диалектическаго спора. Но школа, къ сожалѣнію, представила слишкомъ много доказательствъ того, что въ ней нѣтъ этого свободного отношенія. Совсѣмъ напротивъ. Въ сочиненіяхъ самого Кирѣевскаго и Хомякова найдутся выраженія, въ которыхъ проглядываетъ нетерпимость; у послѣдователей, эта нетерпимость есть правило. Забывая о всѣхъ существующихъ условіяхъ, они высокомерно заявляютъ свои принципы въ столь исключительномъ духѣ, что и разъясненіе вопросовъ дѣлается совершенно невозможнымъ. Правда, изрѣдка они заявляютъ свое недовольство извѣстными современными качествами «учрежденія», заявляютъ даже съ нѣкоторымъ задоромъ, — но въ другое время это не мѣшаетъ имъ пускаться въ обличенія, и если не самимъ хвататься за «камень» (Соч. Хом. II, стр. 16), то указывать на этотъ камень, за который и хватаются другіе.

Наша литература, по извѣстнымъ обстоятельствамъ ея положенія, — которая славянофиламъ не безъизвѣстна, — никогда не могла и до сихъ поръ не можетъ говорить объ этихъ предметахъ съ какой-нибудь искренностью и ясностью. Очевидно было однако, что въ литературѣ развилось, въ параллель всему остальному ея содержанію, извѣстное критическое, даже скептическое направленіе. Предметы религіозные были исключены изъ обыкновенной, — не специальной, — литературы, но интересы вопроса существовали; новѣйшія философскія и историко-критическія произведенія иностранныхъ литературъ болѣе или менѣе были извѣстны въ образованномъ кругу и нѣкоторыя изъ нихъ, естественнымъ образомъ, производили впечатлѣніе, котораго не могли устранить произведенія домашнія. При тѣхъ условіяхъ нашей общественной жизни, которая хорошо долженъ понимать г. Самаринъ, наше критическое направленіе высказывалось только отрывочно, урывками, насколько было возможно; быть можетъ, иногда скептицизмъ обнаруживался болѣе рѣзко, чѣмъ можно было бы ожидать въ болѣе нормальномъ положеніи литературы: впрочемъ, въ цѣломъ объемѣ литературы онъ былъ едва замѣтенъ, а для обыкновенной массы читателей едва ли и вообще понятенъ. Но и этихъ немногихъ выраженій, отчасти вызванныхъ другой крайностью славянофиловъ или ихъ союзниковъ, бывало для славянофиловъ достаточно, чтобы обрушиваться на новѣйшую литературу, и тѣмъ оказывать просвѣщенію истинно медвѣжьью услугу. Они смѣшивали въ одну кучу все, что не нравилось имъ въ новѣйшей литературѣ, и предавали все огульному осужденію, — и въ томъ числѣ труды и мысли людей, вѣроятно не уступающихъ имъ въ любви къ истинѣ и въ желаніи общаго блага. Въ упоръ имъ, славянофилы выставляли свою систему, позади которой лежалъ «камень». Не должно удивляться, если наконецъ стали считать славянофиловъ въ той категоріи, въ которой они сами конечно не желаютъ себя считать.

Оговоримся, что факты подобнаго рода принадлежатъ главнымъ образомъ болѣе позднему времени, но эти факты важны для насъ тѣмъ, что они вовсе не случайны, и напротивъ обличаютъ дѣйствительный характеръ школы, ея исключительность, — которая можетъ смягчаться личными свойствами и образованностью нѣкоторыхъ ея послѣдователей, но принадлежитъ къ сущности ея ученія.

Хомяковъ, кажется еще болѣе чѣмъ Кирѣевскій, былъ убѣжденъ въ неизмѣримомъ превосходствѣ ихъ теологической системы и ея прочной, незыблемой опредѣленности. Они почти не счи-

таютъ нужнымъ спорить противъ мнѣній, которыя отвергали ихъ систему въ средѣ самого русскаго общества и литературѣ; эти мнѣнія они считаютъ (также и у г. Самарина, стр. XXXVI—XXXVII) какъ бы несуществующими, чѣмъ-то случайно навѣянными чужими вліяніями, непродуманнымъ, пустымъ, и полагаютъ, что могутъ не обращать вниманія даже на критическіе результаты европейскаго изслѣдованія, а просто вести расчеты съ западными церквами, обличать и обращать. Такъ Хомяковъ и дѣлаетъ, считая свою систему за готовый несомнѣнный кодексъ, которымъ онъ можетъ побѣдоносно обличить Западъ. Мы приведемъ небольшой примѣръ его мнѣній. Онъ съ жалостью говоритъ, на-примѣръ, о «нравственномъ изнеможеніи» Запада, о «страхѣ, овладѣвшемъ западными религіозными партіями», т. - е. католичествомъ и протестантствомъ, и т. д. (т. II, стр. 76—77). По словамъ его, эти «раціоналистическія секты, въ ужасѣ отъ грозящей опасности, ищутъ союза противъ общаго ихъ врага, невѣрія». Въ этомъ союзѣ онъ видитъ вѣрный признакъ упадка, безсилія и отсутствія истинной вѣры.

«Лѣтъ сто тому назадъ, ни паписты, ни протестанты, даже не подумали бы приглашать другъ друга дѣйствовать съобща. Нынѣ, нравственная ихъ энергія надломлена, и отчаяніе наталкиваетъ ихъ на путь очевидно ложный; ибо не могутъ же они не понимать, что если (въ чемъ я не сомнѣваюсь) *одно* христіанство всесильно противъ невѣрія и заблужденія, то наоборотъ, въ *десяткѣ* различныхъ христіанствъ, дѣйствующихъ совокупно, человечество съ полнымъ основаніемъ опознало бы созданное безсиліе и замаскированный скептицизмъ». Но во-первыхъ, если дѣйствительно существуетъ въ западныхъ раціоналистическихъ сектахъ этотъ страхъ, то развѣ та же опасность не стоитъ и передъ системой Хомякова? Хомяковъ какъ будто не понимаетъ и возможности того, чтобы для нихъ и для нея могъ быть одинъ и тотъ же вопросъ, и ему кажется, что всемогущимъ средствомъ противъ этой опасности, цѣлительнымъ бальзамомъ противъ изнеможенія раціоналистическихъ сектъ, можетъ просто служить догматика, имъ предлагаемая. Далѣе, если дѣйствительно для этихъ сектъ наступаетъ теперь трудное время, то едва ли есть какая-нибудь бѣда въ союзѣ раціоналистическихъ сектъ, какъ это думаетъ Хомяковъ. Можетъ быть дѣйствительно, извѣстныя стороны этихъ сектъ, какъ чисто историческія формы религіи, изжили свое время, и нынѣшнее религіозное движеніе, можетъ быть, есть именно признакъ, что этотъ процессъ совершается; но за этимъ долженъ наступить новый періодъ даль-

нѣйшаго развитія — которое восприметъ въ себя результаты нынѣшней борьбы и, надо думать поэтому, будетъ происходить далеко не въ томъ направленіи, какое предлагаетъ Хомяковъ. Религіозная исторія, начиная съ среднихъ вѣковъ, показываетъ, что развитіе заключается здѣсь именно въ томъ, что догматика больше и больше теряетъ значеніе, и возрастаетъ чисто нравственное вліяніе религіи. Приведенный Хомяковымъ историческій примѣръ поставленъ не совсѣмъ вѣрно. Правда, сто лѣтъ тому назадъ, ни паписты, ни протестанты не подумали бы приглашать другъ друга дѣйствовать съобща; но если считать, что это было хорошо (Хомяковъ именно думаетъ, что тогда «энергія не была надломлена»), то еще лучше было *двасти* лѣтъ тому назадъ, — тогда паписты и протестанты еще рѣзались изъ-за различія своихъ исповѣданій. То, что кажется Хомякову полнымъ упадкомъ, — возможность сближенія между ними, — есть скорѣе успѣхъ, потому что свидѣтельствуешь о терпимости, объ уваженіи къ чужому вѣрованію. Съ этой послѣдней точки зрѣнія Хомяковъ, кажется, вообще никогда не думалъ смотрѣть на исторію религіознаго развитія.

Главныя богословскія сочиненія Хомякова явились (на французскомъ языкѣ) въ началѣ пятидесятихъ годовъ; нѣкоторыя теоретическія ихъ основанія обнаруживались конечно и въ другихъ, не-богословскихъ его сочиненіяхъ; наконецъ, общія его мысли высказывались имъ въ тѣхъ бесѣдахъ, въ которыхъ соединялись въ прежнее время представители обоихъ литературныхъ направленій и которыя замѣняли тогда отсутствіе свободной печати. Два направленія вообще расходились, и въ этомъ пунктѣ мнѣнія также были весьма различны. Противники славянофиловъ, представлявшіе собою прямое продолженіе прежняго движенія, воспринимали и распространяли гуманистическую сторону европейской образованности; они увлекались идеалами европейской поэзіи, усвоивали сколько можно результаты европейской науки, и стремились внести тѣ и другіе въ умственный запасъ русскаго общества. Первое время обѣ стороны витали въ чисто отвлеченной сферѣ, но немного нужно было времени, чтобъ для тѣхъ и другихъ стала чувствоваться практическая дѣйствительность. Ихъ идеи вскорѣ начали переходить отъ отвлеченностей къ живымъ интересамъ, стали опредѣляться ихъ образъ мыслей въ общественныхъ предметахъ. Такъ-называемые западники перешли къ нимъ съ довольно реальнымъ пониманіемъ дѣла: съ тѣмъ критеріемъ, какой составилъ въ ихъ понятіяхъ, для нихъ становилось ясно положеніе полу-образованнаго общества, которому недостаетъ

еще многихъ самыхъ простыхъ принадлежностей просвѣщенія; они скоро почувствовали и трудность собственнаго положенія, потому что для ихъ дѣятельности представлялись неодолимыя препятствія въ правахъ, въ малочисленности дѣятелей, въ безучастіи подавленной и необразованной массы. Но тѣмъ больше усиливалось убѣжденіе, что только успѣхи свободнаго образованія могутъ обѣщать что-нибудь лучшее. И въ то время, когда это убѣжденіе вполнѣ ими овладѣвало, славянофилы выставляли свое ученіе, которое своимъ неяснымъ, полу-мистическимъ содержаніемъ какъ будто поддерживало именно то, противъ чего первые боролись, старалось оправдать и возвеличить то, въ чемъ они видѣли существенное препятствіе для достиженія лучшаго будущаго. Противъ европейскаго просвѣщенія въ духѣ свободной мысли, они выставляли теологическій принципъ; противъ стремленія къ лучшему будущему, въ смыслѣ европейскаго образованія, они рекомендовали прошедшее. Сначала открылся довольно мягкій споръ; потомъ рѣзкая литературная борьба.

Какъ бываетъ нерѣдко въ подобныхъ случаяхъ, съ обѣихъ сторонъ была правда, и съ обѣихъ сторонъ ошибки. Славянофилы были правы въ томъ, что, указывая на теологическій принципъ и древнюю Россію, они имѣли въ виду и самый народъ; имъ казалось, что въ своей теологіи и своей археологіи они отыскиваютъ истинный нервъ народной жизни, и возстановляютъ національное начало, столь долго забытое и пренебреженное. Дѣйствительно, необходимо было напоминать о народѣ, — и славянофилы въ извѣстной степени содѣйствовали установленію лучшаго отношенія къ народной жизни, чѣмъ то было прежде. Но славянофилы ошибались въ томъ, что предавались этой теологіи и археологіи слишкомъ исключительно: онѣ много помогали историческому уразумѣнію народной жизни, но не могли дать безусловнаго принципа для ея дальнѣйшаго развитія. Славянофилы успѣли схватить одну черту историческаго прошедшаго, — но впадали въ глубокое заблужденіе, когда въ одной чертѣ думали видѣть все, и когда изъ прошедшаго хотѣли извлечь непремѣнную программу для будущаго. Идеализируя старину и народъ, они нерѣдко защищали въ нихъ и то, чего нельзя было защищать справедливо; отсюда и становились возможны упреки и обвиненія въ старовѣрствѣ и обскурантизмѣ. Не убѣждая противниковъ, ихъ система въ этомъ случаѣ только могла больше раздражать ихъ: противники ихъ не могли убѣждаться исторіей съ теологической точки зрѣнія; не могли убѣждаться подкрашенными изображеніями стараго быта, котораго

послѣдствія были еще такъ очевидны въ настоящемъ; не могли понять и спокойно выносить фантастическихъ, исключительныхъ и самодовольныхъ теорій въ виду настоящаго, чувствуемаго зла,—которое стояло съ этими теоріями въ очень близкомъ родствѣ.

Возвратимся къ историческому примѣненію теологической системы славянофильства. Въ школѣ издавна принято было положеніе о противоположности западнаго и восточнаго міра, романо-германскаго и православно-славянскаго. Ее высказывали и Кирѣевскіе, и Хомяковъ, и Д. Валувъ и затѣмъ всѣ, безъ исключенія, послѣдователи славянофильства до нашихъ дней. Въ новѣйшей славянофильской школѣ это положеніе было разработано съ большими подробностями; восточное православіе было совершенно отождествлено со славянствомъ, и составилаcя цѣлая историческая теорія, изъ которой слѣдовало, что православіе есть всеобщая религія славянскаго міра: христіанство было принято славянами изъ Византіи, слѣдовательно въ православной формѣ, и если оно потомъ было утрачено нѣкоторыми племенами, то теперь, для успѣха ихъ новѣйшаго возрожденія, они должны возвратиться къ православію.

Откуда взялось это рѣзкое противоположеніе западной Европы и славянскаго міра? Съ одной стороны, оно конечно было слѣдствіемъ указаннаго выше теологическаго возбужденія; съ другой, оно было безъ сомнѣнія навѣяно западнымъ панславизмомъ. Съ начала нынѣшняго столѣтія начинается политическое освобожденіе и національное возрожденіе славянскихъ племенъ. Національныя движенія временъ реставраціи, броженіе національностей въ австрійскихъ земляхъ, возникновеніе чешской литературы, споры венгровъ съ кроатами, создали такъ-называемый панславизмъ. Имъ искренно увлекались славянскіе патріоты, чаявшіе какого-нибудь освобожденія отъ иноземнаго гнета, и ему повѣрили многіе изъ публицистовъ западной Европы: мысль, что панславизмъ можетъ быть въ связи съ тайными завоевательными планами Россіи (которой въ то время очень боялись особенно въ Германіи), — мысль совершенно ошибочная, какъ это фактически доказала венгерская война,—на нѣкоторое время сдѣлала панславизмъ предметомъ толковъ въ европейской литературѣ, вопросомъ дня. Въ той формѣ, какую давали этому вопросу и само славянское движеніе, и европейская печать, панславизмъ нашелъ послѣдователей и у насъ, еще съ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ. Въ это время написано было Хомяковымъ извѣст-

ное стихотвореніе о полуночномъ орлѣ, высоко поставившемъ свое гнѣздо (1832).

Поэтическія мечты такимъ образомъ предшествовали научному знакомству съ славянскимъ міромъ. Въ славянофильскомъ кружкѣ оно только-что тогда начиналось — у Хомякова, у Петра Кирѣевского. Эти мечты собственно и дали направленіе послѣдующимъ мнѣніямъ славянофиловъ объ этомъ предметѣ. Первой пробой серьезнаго изученія былъ извѣстный «Сборникъ историческихъ и статистическихъ свѣдѣній о Россіи и народахъ, ей единовѣрныхъ и единоплеменныхъ». Издатель этого Сборника, Валуевъ, былъ воспитанникъ и другъ Кирѣевскихъ, о которомъ остались самыя сочувственные отзывы обѣихъ сторонъ. «Смерть похитила его въ самыхъ цвѣтущихъ лѣтахъ, — говоритъ г. Кавелинъ. Съ юношескимъ благороднымъ самоотверженіемъ, онъ весь отдался наукѣ, и непрерывныя занятія ускорили его преждевременную кончину. Валуевъ умеръ очень-очень молодъ, когда силы, не уравновѣшенныя опытомъ и строгою дѣйствительностью, бьютъ сильнымъ ключомъ, ища себѣ удовольствія; когда дѣйствительное и возможное, настоящее и будущее, сливаются въ одномъ радужномъ цвѣтѣ, и самодовольное воображеніе чаруетъ человѣка, обманываетъ его, раскрашивая мечту красками существенности. Какъ многіе, и онъ не былъ чуждъ нѣкоторыхъ странныхъ (т. - е. славянофильскихъ) мыслей и предубѣжденій. Но его благородная, любящая натура, положительный складъ его ума рѣзко имъ противорѣчили и не давали имъ развиваться до послѣднихъ выводовъ въ его головѣ и сердцѣ»... Валуевъ принялъ ученіе, но онъ не могъ побѣдить въ себѣ внутреннихъ возраженій противъ его крайностей, и въ той статьѣ, гдѣ онъ высказалъ свои общіе взгляды и говорилъ о новой русской наукѣ, г. Кавелинъ вѣрно указываетъ эту двойственность его мнѣній. «Изъ того, что онъ безпрестанно и во всѣхъ отношеніяхъ противопоставляетъ Европу Россіи и славянскому міру, — изъ общаго тона статьи можно думать, что, по его мнѣнію, эта русская наука должна быть противоположна европейской. Впрочемъ авторъ чрезвычайно остороженъ... Нетерпѣніе скорѣе видѣть осуществленіе своихъ любимыхъ надеждъ томило его, и вотъ онъ видитъ, что время созданія этой науки уже наступаетъ, что появляется заря золотого будущаго, — и потомъ онъ опять становится робкимъ передъ голосомъ дѣйствительности: онъ понимаетъ эту науку только какъ возможную или только какъ имѣющую быть. Погружаясь въ будущее, онъ тяготится настоящимъ отношеніемъ европейскаго міра къ славянскому; ему кажется, что западная наука заслоняетъ

насъ; возвращаясь къ взгляду болѣе практическому, болѣе дѣйствительному, онъ чувствуетъ, какъ благодѣтельно и какъ необходимо было бы Россіи вліяніе Европы, онъ примиряется съ реформою Петра. Оба направленія — дѣйствительное и не-дѣйствительное, вытекающее изъ исторіи и опирающееся на надежду, высказались въ странномъ смѣшеніи, непримиренныя, несогласенныя между собою» ¹⁾).

Эта двойственность была неудивительна въ такомъ искусственно-составленномъ ученіи, какъ славянофильское; она отличаетъ вообще писателей этой школы, но Валуева выгодно отличаетъ то, что онъ съ самаго начала направился на фактически-научное изслѣдованіе. Таковы его труды о мѣстничествѣ — плодъ неутомимыхъ изысканій, не отклоняемыхъ предвзятыми идеями; таковъ его «Сборникъ», который можно назвать первымъ цѣльнымъ трудомъ у насъ по изученію славянскаго міра. Этотъ приступъ къ дѣлу былъ такъ естественъ, такъ правиленъ, что въ «Сборникъ» могли войти и труды писателей, нисколько не принадлежавшихъ къ славянофильскому лагерю, напримѣръ Грановскаго, г. Кавелина.

Въ предисловіи къ «Сборнику» Валуевъ высказалъ свой взглядъ на русскую науку, которая должна освѣтить намъ наше прошедшее и будущее, и даже бросить новый свѣтъ на событія европейскаго міра, — и свой взглядъ на отношенія наши къ Западу. Это — общія славянофильскія идеи, высказанныя вообще съ юношескимъ увлеченіемъ и потому, быть можетъ, особенно характеристическія для опредѣленія школы. Валуевъ находитъ, что дѣло Петра окончилось въ первой четверти нынѣшняго столѣтія завершеніемъ государственнаго зданія, имъ основаннаго, — и вмѣстѣ съ тѣмъ окончилось, или должно окончиться время европейскаго господства надъ нашей образованностью. Мы начинаемъ обращаться къ самимъ себѣ, и новѣйшія событія, вѣшнія и внутреннія, указываютъ новый путь русской жизни. Такими событіями были — появленіе, при помощи Россіи, новыхъ православныхъ государствъ (Греція, Сербія, Молдавія и Валахія), соединеніе армянъ восточнаго исповѣданія въ одну область, воссоединеніе Уніи, заведеніе православныхъ школъ на Востокѣ, проповѣдь евангелія язычникамъ въ отдаленныхъ краяхъ Россіи; во внутреннихъ дѣлахъ — изданіе Свода и Полнаго Собранія Законовъ, полюбовное размежеваніе череполосныхъ владѣній, изданіе источниковъ нашей исторіи, постепенное введеніе русскаго языка въ высшихъ

¹⁾ Соч. Кавелина, II, стр. 42, 48.

классахъ, почти забывшихъ его, появленіе національныхъ русскихъ поэтовъ въ лицѣ Пушкина и Гоголя. Только наша наука еще не послѣдовала этому общему движенію, и особенно наука историческая. Ея задача — познакомить классы общества, воспитанные подъ европейскимъ вліяніемъ, съ тѣми, которыхъ это вліяніе почти не коснулось, познакомить Россію съ народами единовѣрными и единоплеменными, и тѣмъ дать ей возможность узнать самую себя.

Цѣль безъ сомнѣнія прекрасная; но въ то время, какъ эта наука была еще искомая, или по крайней мѣрѣ когда она еще только начиналась, Валуевъ уже высказываетъ свои приговоры западной жизни и образованности, и возвеличиваетъ русскую жизнь и образованность, — конечно древнюю. Хотя мы и должны еще заимствовать у Запада его внѣшнее, матеріальное просвѣщеніе, — но, «если понимать подъ просвѣщеніемъ не одни вещественныя улучшенія въ быту человѣка, а то совокупное умственное и нравственное движеніе, которое должно соединять народы въ единство братолюбивой жизни и осуществлять въ обществѣ чистую мысль христіанства, во сколько она осуществима въ человѣкѣ, — то во всякомъ случаѣ еще останется подъ сомнѣніемъ, кого съ большею справедливостію можно назвать просвѣщенной — Россію ли XV и XVI вѣка, или ей современную католическую и протестантскую Европу?» ¹⁾ Онъ сначала не берется произносить «приговоръ міру латинскому», — трудами котораго пользуется наша образованность, — но въ послѣдующемъ изложеніи онъ однако произноситъ этотъ приговоръ, обвиняя европейское просвѣщеніе, что оно стремится только къ внѣшнему блеску и мишурѣ, наполняющимъ пустоту жизни просвѣщеннаго большинства. Онъ недоувѣрчивъ даже къ лучшему плоду «латинскаго» просвѣщенія, къ наукѣ, потому что, — «къ сожалѣнію, нерѣдко и лучшіе умы, — чего они ищутъ въ этой наукѣ, искусствѣ и самомъ просвѣщеніи, которому служатъ? Часто, если и безсознательно, они ищутъ того же комфорта, усыпленія мысли и силъ души въ ограниченности той или другой системы или рутины, удовлетворенія всѣмъ новымъ изысканнымъ требованіямъ просвѣщеннаго существованія и его нравственнаго сибаритства... И наконецъ не было ли такое развитіе всесторонняго комфорта, удовлетворяющаго всѣмъ потребностямъ человѣка, основною задачею всего западнаго просвѣщенія и всего западнаго человѣчества?» ²⁾ За-

¹⁾ Сборникъ, 1845, стр. 2, прим.

²⁾ Тамъ же, стр. 12.

падъ оказалъ конечно свои услуги человѣчеству, — но не ему принадлежитъ настоящая истина. «Своими опытами и даже своими заблужденіями онъ не менѣе принесъ въ общее достояніе человѣчества и служилъ ему, чѣмъ сколько служили христіанству, высшему и конечному единству всего человѣческаго, *другіе народы и земли своимъ страдательнымъ и робкимъ бездѣйствіемъ*;—которое, можетъ быть, *одно дѣлало возможнымъ въ недозрѣвшемъ духовно человѣкѣ сохраненіе въ чистотѣ его духовнаго завѣта»*¹⁾. То богатство, которое мы получаемъ отъ Запада даровое, или купленное только «утратами изъ своей внутренней жизни» (потому что, увлекаясь блескомъ Запада, мы забываемъ о своемъ народномъ), это богатство непрочно; оно привито къ намъ внѣшнимъ образомъ, но не могло перейти въ кровь и соки самой жизни, остается чѣмъ-то чуждымъ и не общается никакого живого плода. Мы не можемъ помочь Западу въ его дѣлѣ, — потому что отдѣлены отъ него всѣмъ прошедшимъ и всѣмъ, что есть въ насъ своего и живого: Западъ долженъ самъ «вернуть назначенный ему кругъ жизни». А намъ пора подумать о томъ, чтобы изъ самихъ себя выработать начала нашей умственной и нравственной жизни, — иначе обрекаемъ себя на вѣчную посредственность и умственное несовершеннѣйшее, надъ которыми посмѣется самый Западъ.

Очевидно, что здѣсь повторяются мысли Кирѣевскихъ и Хомякова; въ этихъ мысляхъ уже были задатки всѣхъ крайностей и увлеченій славянофильства. Основная мысль школы высказывается очень ясно: цивилизація Запада — чисто внѣшняя забота о комфортахъ, лишенная «духовнаго завѣта», фальшивая. Развиваемая дальше, эта мысль была очень похожа на извѣстный приговоръ о гніеніи Запада, еще раньше произнесенный тогдашнимъ союзникомъ славянофиловъ, «Москвитяниномъ». Славянофилы, кажется, не выражались объ этомъ предметѣ такъ сильно, какъ этотъ журналъ²⁾, но самыя теоріи очень трудно было различить, потому что осужденіе Запада и у славянофиловъ было достаточно кате-

¹⁾ Стр. 3.

²⁾ „Москвитянинъ“ утверждалъ положительно, что Западъ сгнилъ, и соответственными красками изображалъ это гніеніе. Вотъ отрывокъ, гдѣ Шевыревъ изображаетъ наше „общеніе“ съ этимъ Западомъ: „Въ нашихъ искреннихъ, дружескихъ, тѣсныхъ сношеніяхъ съ Западомъ, мы имѣемъ дѣло съ человѣкомъ, носящимъ въ себѣ злой, заразительный недугъ, окруженнымъ атмосферою опаснаго дыханія. Мы цалуемся съ нимъ, обнимаемся, дѣлимъ трапезу мысли, пьемъ чашу чувства — и не замѣчаемъ скрытаго яда въ безпечномъ общеніи нашемъ, не чуемъ въ потѣхѣ пира будущаго трупа, которымъ онъ уже пахнетъ“ и проч. (Москвитянинъ, 1841, № 1, стр. 247).

горическое. У самих славянофиловъ увлеченіе доходило до того, что невозможно было возражать на него серьезно. Надо было забыть исторію западной образованности, добывавшей, цѣною тяжкихъ жертвъ, преслѣдованій, инквизиціонныхъ костровъ, тѣ знанія, которыя выводили насъ изъ ребяческаго невѣжества,—чтобы говорить о Западѣ съ этимъ высокомѣріемъ, и впередъ хоронить его цивилизацію. Въ людяхъ, иначе понимавшихъ исторію, эти мнѣнія должны были вызывать самое непріятное впечатлѣніе,—тѣмъ больше, что была часть общества, которая могла воспользоваться этими возгласами славянофиловъ такъ, какъ они и сами не ожидали. Защитники оффиціальной народности должны были съ большимъ удовольствіемъ услышать мысль о гніеніи Запада, и еще больше утвердиться въ своей программѣ, — надобно думать, не похожей все-таки на ту, которую предлагали славянофилы.

Мы упоминали, что поставивъ основаніемъ всѣхъ историческихъ вопросовъ теологическое начало, славянофилы уже давно отождествляли православіе и славянство; они понимали это такимъ образомъ, что славянское не-православное не есть истинно-славянское, что для предстоящаго славянскаго соединенія необходимо и присоединеніе славянъ латинскаго и другихъ исповѣданій къ восточному православію. Славяне католики, уніаты, протестанты, составляютъ расколъ тѣмъ болѣе прискорбный, что съ заблужденіемъ теологическимъ онъ соединяетъ и заблужденіе національное.

Такъ какъ все построеніе славянофильскаго ученія было прежде всего предвзятой идеальной теоріей, то указанная мысль была необходима для полноты, и она была принята и сдѣланы изъ нея выводы раньше, чѣмъ она могла быть доказана. Есть, правда, историческія свидѣтельства, указывающія, что у нѣкоторыхъ племенъ, принадлежащихъ теперь къ католической церкви, христіанство было въ первый разъ принесено изъ Византіи, — но потомъ должно было уступить господству католицизма. Вотъ единственный фактъ, которымъ могли воспользоваться славянофилы, и они извлекли изъ него цѣлую историческую и національную теорію. Но если оставить въ сторонѣ вопросъ общаго преимущества восточной церкви надъ западною, не подлежащаго конечно спорамъ,—какимъ образомъ изъ упомянутаго факта слѣдовалъ славянофильскій выводъ? Фактъ этотъ дѣйствительно былъ, но за нимъ слѣдовалъ другой фактъ—фактъ перехода нѣсколькихъ изъ славянскихъ племенъ въ католицизмъ, судьбы котораго они и раздѣлили: несмотря на переходъ, эти племена остались славянскими, имѣли свою образованность, достигавшую вы-

сокой степени въ Чехіи, въ Польшѣ, у славянъ далматинскихъ. Неправославный отдѣлъ славянства занимаетъ цѣлыя обширныя племена, многіе миллионы людей; они раздѣлены были отъ главнаго православнаго племени, русскаго, не только исповѣданіемъ, но цѣлымъ ходомъ своей исторіи, цѣлымъ характеромъ быта,— ихъ народность естественно развилась въ особый своеобразный типъ, они вѣка сживались съ своей религіей, дорожили ею, — а по славянофильской теоріи оказывалось, что все это было только такъ, что ихъ историческое существованіе была одна ошибка, не допускающая никакихъ извиненій. Спрашивается: что же имъ дѣлать съ своей исторіей, съ тѣми свойствами, какія приобрѣла ихъ жизнь и которыя стали второй ихъ природой? Не споримъ, что славянское католичество, съ латинскимъ богослуженіемъ, съ церковной принадлежностью къ чужому центру, можетъ представлять свои ненормальныя стороны; но если они сжились съ этимъ и дорожатъ своими религіозными преданіями и вовсе не желаютъ отъ нихъ отказываться? или, если исторія представляла имъ иной выходъ изъ этого положенія вещей, такой выходъ, напр., какъ чешскій протестантизмъ, и они предпочитаютъ этотъ путь своего религіознаго развитія? или самый католицизмъ преобразуется, и приближается къ здоровымъ требованіямъ времени? или, наконецъ, если эти славянскіе католики и протестанты думаютъ, — и могутъ думать это справедливо, — что теперь уже пришло время болѣе спокойнаго рѣшенія религіозныхъ несогласій, время вѣротерпимости, и народы разныхъ исповѣданій могутъ спокойно соединяться для общихъ интересовъ, если они есть, предоставляя другъ другу оставаться каждому при своей религіи? — Славянофилы, не обращая вниманія на все это, продолжаютъ настаивать на своей системѣ, и въ результатѣ является конечно одно—религіозная исключительность; вопросъ національнаго единства подчиняется вопросу теологическому.

Такимъ образомъ, главнымъ основаніемъ славянофильской теоріи является теологическій принципъ, понятый въ исключительномъ конфессіональномъ смыслѣ. Но если вообще для людей, не увлеченныхъ духомъ школы, невозможно было помириться съ славянофильской постановкой этого принципа и съ выведенными изъ него послѣдствіями, то вопросъ, кажется, еще больше запутывался другими мнѣніями школы. Та двойственность, на которую мы уже указывали, и которая, напримѣръ, то отвергала реформу Петра и ея результаты, то признавала ея дѣйствіе неистребимымъ, или признавала великія заслуги Запада, а потомъ

открещивалась отъ него ¹⁾), повторяется и здѣсь. Славянофилы ставятъ превыше всего свою теологическую систему; но въ то же самое время неоднократно высказывались, и достаточно сильно, противъ практическаго выраженія принципа въ «учрежденіи». Ихъ критика настоящаго положенія учрежденія бывала нерѣдко такова, что съ ней согласится каждый, нѣсколько просвѣщенный человѣкъ, и ихъ пожеланія приносятъ имъ большую честь. Но при этомъ возникаетъ противорѣчіе, котораго они не рѣшаютъ. Можно понять, что извѣстное начало, переходя въ практическую жизнь, теряетъ высоту своего идеальнаго достоинства, бываетъ не всѣми понято, подвергается злоупотребленіямъ и т. п.; но здѣсь оказывается, что рѣчь идетъ не объ однихъ частныхъ и случайныхъ недостаткахъ, поправимыхъ и неважныхъ,—а напротивъ о недостаткахъ столь крупныхъ, что ими заслоняется самая сущность принципа, отчего онъ и теряетъ даже свое вліяніе на общество, перестаетъ направлять его дѣятельность и т. д. Гдѣ же началась порча, и чѣмъ она можетъ быть исправлена? Мнѣніе школы состоитъ, кажется, въ томъ, что порча начинается со времени Петра, въ основанномъ имъ бюрократическомъ государствѣ;—но, во-первыхъ, исторія раскола доказывала бы противное, что внутренній разладъ въ самомъ учрежденіи начался гораздо раньше; во-вторыхъ, что если первое прикосновеніе Петра могло произвести порчу, то, значитъ, учрежденіе было уже тогда къ этому податливо, не имѣло энергіи и выдержки. Съ исторической точки зрѣнія, такого рода измѣненіе въ характерѣ учрежденія вообще является результатомъ не однихъ случайныхъ внѣшнихъ условій, но самой сущности учрежденія. Въ счетахъ между стариной и реформой гораздо естественнѣе искать вину совершившагося факта не въ томъ, кто нарушалъ старину, а въ слабости самой старины, которую не трудно было устранять тому, кому она мѣшала. вмѣстѣ съ тѣмъ, славянофилы недостаточно объясняютъ и другое обстоятельство:—если есть недостатки въ нашемъ религіозномъ просвѣщеніи, то гдѣ заключается, въ самомъ дѣлѣ, ихъ исправленіе, — въ строгомъ ли возстановленіи старины, или въ прививкѣ новыхъ понятій къ прежнему содержанію? Старина была сурово исключительна; она едва-ли бы не потребовала именно того, въ чемъ сами славянофилы видятъ стѣсненіе религіознаго просвѣщенія и его современные недостатки. Есть большое основаніе думать, что собственныя требованія славянофиловъ отъ религіознаго просвѣщенія внушаются вовсе не духомъ нашей ста-

¹⁾ Подобныхъ примѣровъ можно найти не мало у Кирѣвскаго, Валуева, и пр.

рины, а именно духомъ той западной образованности, отъ которой они вообще многимъ позаимствовались. Таковы именно кажутся намъ ихъ заявленія объ иномъ устройствѣ отношеній церкви къ государству, о преобразованіяхъ въ церковномъ управленіи, о болѣе терпимости къ умѣреннымъ сектамъ раскола, о нѣкоторой свободѣ изслѣдованія, и т. п. И что, наконецъ, они предложить западному славянству, въ которомъ хотятъ вести свою пропаганду, — если они сами недовольны?...

Въ этихъ послѣднихъ указаніяхъ мы опять имѣли въ виду позднѣйшія заявленія славянофильства, — потому, что въ сороковыхъ годахъ славянофилы не могли высказаться достаточно объ этихъ предметахъ; но тѣ противорѣчія, которыя обнаруживались въ позднѣйшихъ заявленіяхъ славянофиловъ, заключались уже и въ первоначальныхъ положеніяхъ школы, въ самой постановкѣ теологическаго принципа.

В. Историческіе и общественные идеалы славянофильства.

Историческая теорія славянофиловъ, какъ и естественно ожидать, была тѣсно связана съ теоріей теологической. Какъ въ чисто-догматическомъ смыслѣ, верховная истина принадлежитъ православно-славянскому міру, а ложь — міру западному, такъ и въ жизни исторической православно-славянскій міръ, и въ частности русскій народъ, представляетъ истинное выраженіе христіанскихъ началъ общества и государства, а міръ западный — ихъ извращеніе.

Въ такомъ смыслѣ вопросъ поставленъ былъ еще братьями Кирѣевскими. Далѣе, эту теорію повторилъ Д. Валувъ; потомъ развивалъ ее, историко-юридическими соображеніями, славянофильскій полемистъ М... З... К..., въ спорѣ съ г. Кавелинымъ о роли и значеніи личности въ исторіи русскаго общества; наконецъ, всего ярче высказывалъ ее К. Аксаковъ. У послѣдняго историческая теорія славянофильства получила наиболѣе полную обработку.

Относительно мнѣній Кирѣевскаго, достаточно напомнить его слова о древней русской жизни, въ статьѣ о характерѣ просвѣщенія Европы и его отношеніи къ просвѣщенію Россіи. Вотъ его основныя положенія:

«Обширная русская земля, даже во времена раздѣленія своего на мелкія княжества, всегда сознавала себя какъ одно живое тѣло и не столько въ единствѣ языка находила свое притягательное средоточіе, сколько въ единствѣ убѣжденій, происходящихъ изъ *единства вѣрованія* въ церковныя постановленія. Ибо ея необозримое пространство было все покрыто, какъ бы одною непрерывною сѣтью, неисчислимымъ множествомъ уединенныхъ монастырей, связанныхъ между собою сочувственными нитями духовнаго общенія. Изъ нихъ единообразно и единосмысленно разливался свѣтъ сознанія и науки (?) во всѣ отдѣльныя племена и княжества. Ибо не только духовныя понятія народа изъ нихъ исходили, но и всѣ его понятія нравственныя, общежительныя и юридическія, переходя черезъ ихъ образовательное вліяніе, опять отъ нихъ возвращались въ общественное сознаніе, принявъ одно общее направленіе...

«Потому, этотъ русскій бытъ (бытъ, уцѣлѣвшій и теперь въ народѣ) и эта, прежняя, въ немъ отзывающаяся, жизнь Россіи, драгоценны для насъ, особенно по тѣмъ слѣдамъ, которые оставили на нихъ чистыя христіанскія начала, дѣйствовавшія безпрепятственно на добровольно покорившіяся имъ племена словенскія...» ¹⁾.

Надежду на будущее процвѣтаніе славянскаго народа даютъ, впрочемъ, не какія-нибудь племенные особенности,—эти особенности могутъ только ускорить или замедлить развитіе;—свойство плода зависитъ отъ свойства самого сѣмени, т.-е. восточнаго, византійскаго христіанства. Оно измѣнило нравственныя понятія русскаго человѣка, и все общественное устройство древней Руси должно было принять направленіе христіанское.

Древняя русская церковь твердо опредѣлила границы между собою и мірскимъ государствомъ, не смѣшивалась съ его интересами, стояла надъ нимъ какъ высшій идеаль,—и никогда не искала формальнаго господства надъ правительственной властью. Русь была нравственно «святая Русь», и не похожа была въ этомъ на «священную римскую имперію».

Далѣе. «*Духовное вліяніе церкви* на это естественное развитіе общественности могло быть тѣмъ полнѣе и чище, что никакое препятствіе историческое не мѣшало внутреннимъ убѣжденіямъ людей выражаться въ ихъ внѣшнихъ отношеніяхъ. *Не искаженная завоеваніемъ*, русская земля, въ своемъ внутреннемъ устройствѣ, не

¹⁾ Сочин., т. II, стр. 259 и слѣд.

стѣснялась тѣми насильственными формами, какія должны возникать изъ борьбы двухъ ненавидящихъ другъ друга племенъ, принужденныхъ, въ постоянной враждѣ, устроить свою совмѣстную жизнь. Въ ней не было ни завоевателей, ни завоеванныхъ. Она не знала ни желѣзнаго разграниченія неподвижныхъ сословій, ни стѣснительныхъ для одного преимуществъ другого, ни истекающей отсюда *политической и нравственной борьбы*... Она не знала и необходимаго порожденія этой борьбы: искусственной формальности общественныхъ отношеній и болѣзненнаго процесса общественнаго развитія, совершающагося насильственными измѣненіями законовъ и бурными переломами постановленій. И князья, и бояре, и духовенство, и народъ, и дружины княжескія и дружины боярскія, и дружины городскія, и дружина земская,—все классы и виды населенія были проникнуты однимъ духомъ, одними убѣжденіями, однородными понятіями, одинакою потребностію общаго блага...

«Вслѣдствіе такихъ естественныхъ, простыхъ и единодушныхъ отношеній, и законы, выражающіе эти отношенія, не могли имѣть характеръ искусственной формальности; но выходя изъ двухъ источниковъ: изъ бытоваго преданія и изъ внутренняго убѣжденія, они должны были, въ своемъ духѣ, въ своемъ составѣ и въ своихъ примѣненіяхъ, носить характеръ болѣе *внутренней*, чѣмъ *внѣшней правды*, предпочитая очевидность существенной справедливости—буквальному смыслу формы; святость преданія—логическому выводу; нравственность требованія—внѣшней пользѣ... Внутренняя справедливость брала въ древне-русскомъ правѣ перевѣсъ надъ внѣшнею формальностію...

«Въ древней Россіи, внутренняя цѣльность самосознанія, къ которой самые обычаи направляли русскаго человѣка, отражалась и на формахъ его жизни семейной, гдѣ законъ постояннаго, ежеминутнаго самоотверженія былъ не геройскимъ исключеніемъ, но дѣломъ общей и обыкновенной обязанности...

«При такомъ устройствѣ нравовъ, простота жизни и простота нуждъ была не слѣдствіемъ недостатка средствъ и не слѣдствіемъ неразвитія образованности, но требовалась самымъ характеромъ основнаго просвѣщенія. На Западѣ роскошь была не противорѣчіе, но законное слѣдствіе раздробленныхъ стремленій общества и человѣка; она была, можно сказать, въ самой натурѣ искусственной образованности... Русскій человѣкъ, больше золотой парчи придворнаго, уважалъ лохмотья юродиваго. Роскошь проникала въ Россію, но какъ зараза отъ сосѣдей. Въ ней извинялись; ей поддавались какъ пороку, всегда чувствуя ея не-

законность, не только религіозную, но и нравственную и общественную», и т. д. ¹⁾).

Таковы были представленія Кирѣвскаго о русской старинѣ ²⁾. Въ томъ же основномъ смыслѣ, о характерѣ старой русской исторіи говорилъ славянофильскій полемистъ, писавшій подъ буквами М... З... К..., которая скрывали одно изъ главнѣйшихъ именъ славянофильской школы ³⁾.

По формѣ статьи, состоящей почти только изъ возраженій, въ ней нѣтъ послѣдовательнаго изложенія собственнаго взгляда автора, но въ руководящихъ положеніяхъ ея уже заключаются отличительныя особенности славянофильской исторической теоріи. Авторъ статьи, оспаривая теорію г. Кавелина о родовомъ бытѣ и развитіи личности въ древней Россіи, уже заявляетъ теорію общиннаго быта, и древнюю Русь изображаетъ въ идеальныхъ чертахъ общества, построеннаго на истинно-христіанскихъ началахъ.

Вотъ главные положенія, выставленныя здѣсь славянофильскимъ теоретикомъ:

Отвергая мнѣнія г. Кавелина о силѣ родового начала въ древнемъ русскомъ бытѣ, и слабости общиннаго, авторъ находитъ, что, слѣдя за развитіемъ государства, г. Кавелинъ упустилъ изъ виду русскую *землю*, что напротивъ—«общинное начало составляетъ основу, грунтъ всей русской исторіи, прошедшей, настоящей и будущей; сѣмена и корни всего великаго, возносящагося на поверхности, зарыты въ его плодотворной глубинѣ...

«Не общинное начало, а родовое устройство, которое было низшею его степенью, клонилось къ упадку, а такъ какъ въ немъ были зачатки жизни и сознанія, то оно спасло себя и облеклось въ другую форму. Родовое устройство прошло, а общинное начало уцѣлѣло въ городахъ и селахъ, выражалось внѣшнимъ образомъ въ вѣчахъ, позднѣе въ земскихъ думахъ. Древнеславянское, общинное начало, освященное и оправданное началомъ духовнаго общенія, внесеннымъ въ него церковью, безпрестанно расширялось и крѣпло...

«Семейство и родъ представляютъ видъ общежитія, основан-

¹⁾ Въ дальнѣйшемъ изложеніи Кирѣвскаго укажемъ еще страницы (т. II, 275—277), гдѣ онъ собираетъ найденныя имъ особенности древней Россіи и отличія происхожденія русскаго отъ западно-европейскаго.

²⁾ Статьи, изъ которой мы приводимъ выписки, появилась въ 1852 г. Самыя мнѣнія, конечно, были заявлены Кирѣвскимъ въ своемъ кругѣ гораздо раньше.

³⁾ „Москвитининъ“, 1847 г., ч. II, стр. 135—174 (въ статьѣ „о мнѣніяхъ „Современника“ историческихъ и литературныхъ“), по поводу статьи г. Кавелина о юридическомъ бытѣ древней Россіи.

ный на единствѣ кровномъ; городъ съ его областью—другой видъ, основанный на единствѣ областномъ, и позднѣ епархіальномъ; наконецъ, единая, обнимающая всю Россію государственная община, послѣдній видъ, выраженіе земскаго и церковнаго единства. Всѣ эти формы различны между собою, но онѣ суть только формы, моменты постепеннаго расширенія одного общиннаго начала, одной потребности жить вмѣстѣ въ согласіи и любви, потребности, сознанной каждымъ членомъ общины, какъ верховный законъ, обязательный для всѣхъ, и носящій свое оправданіе въ самомъ себѣ, а не въ личномъ произволѣи каждаго. Таковъ общинный бытъ въ существѣ его; онъ основанъ не на личности и не можетъ быть на ней основанъ (—противный взглядъ утверждалъ, что общественное устройство древней Руси было слабо, именно по недостатку развитія личности—); но онъ *предполагаетъ высшій актъ личной свободы и сознанія—самоотреченіе.*

«Въ каждомъ моментѣ его развитія онъ выражается въ двухъ явленіяхъ, идущихъ параллельно и необходимыхъ одно для другого. Вѣче родовое (напр. княжескіе сеймы) и родоначальникъ. Вѣче городовое и князь. Вѣче земское, или дума, и царь.

«Первое служить выраженіемъ общаго связующаго начала; второе — личности.

«Положимъ, взаимныя отношенія князей опредѣлялись родовымъ началомъ; но что такое князь въ отношеніи къ міру, если не представитель личности, равно близкій каждому, если не признанный заступникъ и ходатай каждаго лица передъ міромъ? Почему община не можетъ обойтись безъ него?...

«Князь былъ для нея не только военачальникъ; и въ предпочтеніи одного князя другому видны слѣды не патріархальнаго, до-варяжскаго быта старѣйшинъ, а болѣе возвышеннаго, христіанскаго понятія о призваніи личной власти, о нравственныхъ обязанностяхъ свободнаго лица...»

Въ древней Руси христіанство привилось гораздо ближе и сильнѣе, чѣмъ, на примѣръ, у германцевъ, хотя послѣдніе и могли быть лучше къ нему приготовлены: «по свидѣтельству исторіи, которое изъ двухъ племенъ, германское или славяно-русское, приняло христіанство добровольнѣе, ближе къ сердцу? которое прониклось имъ глубже и принесло ему въ жертву болѣе народныхъ предразсудковъ и безнравственныхъ обычаевъ?... Если сравнить весь бытъ Кіевской Руси въ XI-мъ и XII-мъ вѣкахъ и современныи бытъ любого изъ германскихъ племенъ, въ которомъ изъ нихъ вліяніе новаго ученія окажется наиболѣе ощутительнымъ?» — Кіевская Русь вообще представляется автору въ свѣтѣ

ломъ, привлекательномъ видѣ сравнительно съ послѣдующими временами (и это справедливо). При этомъ сравненіи съ позднѣйшей Русью, авторъ дѣлаетъ такое признаніе: «Въ Кіевскомъ періодѣ не было вовсе ни тѣсной исключительности, ни суроваго невѣжества позднѣйшихъ временъ ¹⁾. Это не значитъ, — торопится прибавить авторъ, — чтобы исторія пошла назадъ; явились инныя потребности, инныя цѣли, которыхъ необходимо было достигнуть во что бы ни стало; теченіе жизни стѣснилось и за то пошло быстрой по одному направленію; но Кіевская Русь остается какимъ-то блистательнымъ прологомъ къ нашей исторіи».

Замѣтимъ еще мнѣніе о вѣчѣ. Писатели, принимавшіе теорію родового быта, очень справедливо видѣли въ вѣчѣ только весьма несовершенную форму общественнаго устройства, такъ какъ въ немъ не было никакихъ точныхъ опредѣленій;—славянофилы находили, что, напротивъ, это и была форма наилучшая. На мнѣніе г. Кавелина, что дѣла рѣшались не по большинству голосовъ, не единогласно, а какъ-то совершенно неопредѣленно,—славянофильскій критикъ замѣчаетъ:

«Способъ рѣшенія по большинству запечатлѣваетъ распаденіе общества на большинство и меньшинство и разложеніе общиннаго начала; вѣче, выраженіе его (то-есть общиннаго начала), нужно именно для того, чтобы примирить противоположности; цѣль его —вынести и спасти единство. Отъ этого оно обыкновенно оканчивается въ дѣтописяхъ формулою: снисдошася вси въ любовь. Способъ рѣшенія единогласный, отличаемый авторомъ (г. Кавелинымъ) отъ формы вѣчевыхъ приговоровъ, въ которыхъ не было счета голосовъ и баллотировки, относится къ ней какъ совокупность единицъ къ цѣлому числу, какъ единство количественное къ единству нравственному, какъ внѣшнее къ внутреннему. Съ предубѣжденіемъ автора въ пользу формальной правильности противъ внутренняго согласія и живого единства, нельзя понять ни общины, ни русской исторіи, ни вообще какого бы то ни было историческаго проявленія идеи народа».

Въ заключеніе своей критики, М... З... К... выставилъ свои общія положенія;—по его собственнымъ словамъ, онѣ наполовину имѣли видъ гипотезъ, еще не были (хотя могли быть) доказаны тогда,—но славянофильская точка зрѣнія выражена въ нихъ очень рѣшительно. Гипотезы шли прямо наперекоръ тѣмъ взглядамъ, которыхъ держались послѣдователи родовой теоріи, и представляли свой особый взглядъ на развитіе «личности». Замѣтимъ,

¹⁾ Впослѣдствіи К. Аксаковъ совершенно отвергалъ присутствіе этихъ недостатковъ и въ позднѣйшей эпохѣ,

что подъ «развитіемъ личности», для обѣихъ сторонъ, вообще подразумѣвалось стремленіе личности къ сознательной дѣятельности въ свободныхъ общественныхъ условіяхъ, — стремленіе къ умственной и политической свободѣ.

По теоріи и гипотезамъ М... З... К..., развитіе личности шло вовсе не по тѣмъ ступенямъ, какія предполагалъ его противникъ; что развитіе германскаго начала личности (какъ оно принималось въ тогдашнихъ философско-историческихъ и философско-юридическихъ понятіяхъ) само по себѣ не можетъ привести къ предполагаемому результату, то-есть къ нормальному устройству свободного общества; что «это начало (идея челоуѣка, или точнѣе — *идея народа*) явилось не какъ естественный плодъ развитія личности, но какъ прямое ему противодѣйствіе и проникло въ сознание передовыхъ мыслителей западной Европы изъ сферы *религии*»; что западный міръ выражаетъ теперь требованіе органическаго примиренія начала личности съ началомъ объективной и для всѣхъ обязательной нормы — требованіе *общины* (авторъ разумѣлъ новѣйшія, социальныя движенія), и что это требованіе «совпадаетъ съ нашей субстанціей», что «въ оправданіе формулы мы приносимъ быть», и что въ этомъ точка соприкосновенія нашей исторіи съ западной ¹⁾.

Эта общая мысль дополняется, въ теоріи М... З... К..., слѣдующими положеніями, опредѣляющими историческое развитіе русскаго быта. Общинный бытъ славянъ основанъ былъ вовсе не на отсутствіи личности (противники утверждали, что въ старой русской жизни личность поглощалась родомъ, и старая община, какъ на-примѣръ новгородская вѣчевая община, пала именно оттого, что въ ней бродилъ только неопредѣленный элементъ общественнаго союза, не подкрѣпленный развитіемъ личности), а на *свободномъ* и сознательномъ ея *отреченіи отъ своего полновластія*; христіанство внесло въ національный славянскій бытъ сознание и *свободу* (?), и община, принявши въ себя начало общенія духовнаго, стала «какъ-бы свѣтскою, историческою стороною церкви». Задача нашей внутренней исторіи опредѣляется именно какъ просвѣтлѣніе народнаго общиннаго начала началомъ общинно-цер-

¹⁾ Это — почти та самая точка зрѣнія, которой потомъ держался Герценъ, и въ этомъ было его „славянофильство“. Такова его брошюра: „Старый міръ и Россія“ и друг. Но за этимъ вопросомъ собственно сельской общины (въ ея широкомъ политическомъ развитіи), онъ опять совершенно расходился съ славянофилами во всѣхъ подробностяхъ своихъ мнѣній,

ковнымъ; а исторія внѣшняя имѣла цѣлью основать политическую независимость этого начала не только для Россіи, но и для цѣлаго славянства созданіемъ крѣпкой политической формы, которая «не исчерпываетъ общиннаго начала, но и не противорѣчить ему».

Теорія М... З... К..., набросанная въ его статьѣ только въ самомъ бѣгломъ очеркѣ, очевидно стояла на одной общей почвѣ со взглядами Кирѣевского. Собственно въ литературѣ, статья М... З... К... въ первый разъ выставяла основныя ученія славянофильства объ историческомъ ходѣ русской жизни и его внутреннемъ смыслѣ, — выставяла ихъ въ строгомъ логическомъ построеніи. Очевидно, что приведенные сейчасъ тезисы славянофильскаго полемиста заключали въ себѣ цѣлую законченную систему, и, какъ увидимъ далѣе, историческія мнѣнія славянофильства были главнымъ образомъ развитіемъ этой системы.

Итакъ, программа была дана, хотя самъ авторъ считалъ ее наполовину гипотезой. Но если уже дѣло ставилось на почву научнаго изслѣдованія, а не однихъ идеалистическихъ стремленій, то программа требовала доказательствъ, и гипотезамъ не было мѣста. Въ виду мнѣній противной стороны, нужно было доказывать все, начиная съ чисто-теоретическихъ положеній о развитіи идеи человѣка или идеи народа и до историческихъ заключеній о значеніи русской общины. Такъ, была еще чистой гипотезой мысль, что нашъ *бытъ* представляетъ уже разрѣшеніе вопроса, то-есть, примиреніе начала личности и начала объективной нормы, или нормальный, объединяющій всѣ интересы общественный союзъ. Такъ, гипотезой было и то положеніе, что общинный бытъ славянъ основанъ былъ не на отсутствіи личности, и что христіанство внесло въ него сознаніе и свободу. Нужно было доказывать и предполагаемыя достоинства старой вѣчевой общины, которыя возбуждали сомнѣніе не только неопредѣленностью отправленій этой общины, но и ея дальнѣйшей судьбой, въ которой она не могла выдержать исторической пробы, и т. д. Впослѣдствіи, эти вопросы и дѣйствительно поднимались въ спорахъ двухъ сторонъ, вызывая самыя несходныя рѣшенія, и тема, выставленная славянофилами, вовсе не доказана ими и до сихъ поръ... Особенное вниманіе этотъ вопросъ возбудилъ снова въ пору крестьянской реформы; бытовая крестьянская община встрѣтила горячихъ защитниковъ и внѣ славянофильскаго лагеря; но эти защитники, отдавая всю справедливость славянофильскому взгляду на бытовую общину, не находили возможнымъ согласиться съ цѣлой теоріей, — ни съ славянофильскимъ обобщеніемъ этого начала на

всю національную жизнь, ни съ его теологическими примѣсами, ни съ историческими заключеніями... Въ сороковыхъ годахъ, славянофильская тема казалась еще менѣе убѣдительною. Общее указаніе на значеніе общиннаго быта въ древнемъ русскомъ быту было справедливо, и составляетъ заслугу славянофильскихъ историковъ, какъ и ихъ указаніе на современную сельскую общину; но ихъ противники справедливо отвергали преувеличенія, на которыхъ выстроена была вся идеальная теорія русской исторіи. Картина древняго общиннаго быта, нарисованная славянофилами, могла быть очень обольстительна, — но гдѣ доказательства, что такова была дѣйствительно жизнь древней Руси; гдѣ доказательства той «свободы», того «сознанія», той «любви», которыя приписывала ей славянофильская теорія, — была ли община дѣйствительно такимъ всепроникающимъ принципомъ, или, напротивъ, не уцѣлѣла ли она просто какъ одна изъ тѣхъ формъ быта, тѣхъ обычаевъ, которые могли сохраниться лишь потому, что не мѣшали государственному развитію и ни въ чемъ не сталкивались съ требованіями времени, напримѣръ, съ развитіемъ велико-княжества, стремленіями московскаго самодержавія, съ реформой Петра, и т. п.? Какъ, при великомъ предполагаемомъ значеніи этого принципа и предполагаемомъ непрерывномъ его вліяніи, русская жизнь стараго времени могла дойти до такого восточнаго деспотизма въ управленіи и до такой бѣдности умственнаго образованія, какіе несомнѣнно отличали московскую Русь?

Словомъ, теорія крайне нуждалась въ историческихъ доказательствахъ. Эту задачу въ особенности взялъ на себя К. Аксаковъ.

Онъ не вдругъ сталъ защитникомъ этой теоріи. Его диссертация о Ломоносовѣ написана еще подъ другими вліяніями; онъ былъ тогда чистымъ гегельянцемъ, держался обычныхъ взглядовъ на ходъ русской исторіи и смотрѣлъ на эпоху Петра, какъ на переходъ отъ исключительной національности къ общечеловѣческой цивилизаціи. Но уже вскорѣ въ мнѣніяхъ К. Аксакова произошла радикальная перемѣна. Въ то же время, когда появилась его диссертация (1846), онъ является участникомъ «Московскихъ Сборниковъ», гдѣ его статьи, подписанныя псевдонимомъ «Имрекъ», были уже славянофильской критикой тогдашней литературы. Впослѣдствіи, Аксаковъ окончательно остановился на принятой имъ точкѣ зрѣнія, и сталъ горячимъ ея проповѣдникомъ. Его давнишній народный патріотизмъ нашелъ въ славянофильствѣ самую сочувственную для него формулу: народъ

сталъ его господствующей идеей—таковы его стихотворенія, его критическія статьи, публицистика, историческіе труды...

Не входя въ подробности историческихъ трудовъ К. Аксакова, мы укажемъ на оцѣнку ихъ, сдѣланную г. Костомаровымъ¹⁾, но которая впрочемъ требуетъ оговорокъ. Въ томъ, что г. Костомаровъ считаетъ заслугою К. Аксакова, не все принадлежало ему. Такъ самое основное изъ его положеній—объ общинномъ началѣ въ древней русской жизни—было еще ранѣе заявлено славянофильской школой, и какъ мы сейчасъ видѣли въ статьѣ М... З... К..., заявлено самымъ рѣшительнымъ образомъ. Общинная идея была принята К. Аксаковымъ готовая, и ему принадлежить только дальнѣйшее ея развитіе, и можно прибавить, доведеніе ея до крайности. Дѣйствительно, Аксаковъ развивалъ эту идею въ томъ самомъ направленіи, какъ она была высказана до него; въ первоначальной постановкѣ ея уже заключались существенныя черты его взгляда, напр. опредѣленіе характера общины, значеніе древнихъ вѣтъ и земскихъ соборовъ, значеніе царской власти и т. п. Что касается «русскаго воззрѣнія», которому г. Костомаровъ приписываетъ столь высокую цѣну трудовъ К. Аксакова, относительно его существуетъ, кажется, нѣкоторое недоразумѣніе. Для новѣйшихъ историковъ, и не принадлежавшихъ вовсе къ славянофильскому лагерю, была

¹⁾ „Труды Аксакова останутся навсегда знаменательными для науки русской исторіи,—говоритъ г. Костомаровъ. Онъ опровергъ теорію родового быта, на которой хотѣли построить русскую исторію; онъ обратилъ вниманіе на другое древнее начало въ русской исторіи—общинное, вѣчевое, которое прежде наукою оставлено было въ тѣни; онъ возвѣстилъ плодотворную мысль удалиться отъ рабскаго подражанія западнымъ теоріямъ, обратиться къ разработкѣ народной жизни, и вмѣсто чуждыхъ, наносныхъ взглядовъ поискать своихъ, народныхъ. Онъ превосходно отгадалъ характеръ Ивана Грознаго и тѣмъ открылъ путь къ простому и ясному разумѣнію его эпохи; наконецъ, онъ нашелъ двойственность земли и государства въ русской исторіи—идею великую, плодъ того русскаго воззрѣнія, надъ которымъ глумились и издѣвались, и безъ котораго неосуществима плодотворность научной дѣятельности въ сферѣ русской исторіи, ибо никакія событія непонятны, если мы не знаемъ воззрѣнія, образовавшагося у того народа, который творилъ эти событія и участвовалъ въ нихъ“. Но г. Костомаровъ находитъ также ошибки и преувеличенія въ мнѣніяхъ Аксакова, происшедшія отъ идеализма, отличающаго послѣдователей этой школы. Таковы сужденія Аксакова о земскихъ соборахъ, о правѣ кормленія и т. п. Самъ г. Костомаровъ находитъ, что „русское воззрѣніе“ Аксакова бывало не совсѣмъ вѣрно, что московскій патріотизмъ заставлялъ его видѣть въ древней Руси такія совершенства, какихъ она вовсе не имѣла, какъ, напр., свободу торговыхъ сношеній, вѣротерпимость и т. п. (О значеніи критическихъ трудовъ К. Аксакова по русской исторіи. Спб. 1861).

вообще ясна необходимость изученія бытовых явленій; это сознаніе вообще являлось въ русской исторической и этнографической наукѣ, какъ результатъ ея собственной зрѣлости, а также и какъ результатъ вліяній цѣлой европейской науки. Нисколько не отвергая того, что писатели славянофильской школы дѣятельно участвовали въ выработкѣ этого сознанія, было бы исторически невѣрно приписать это сознаніе имъ однимъ, считать ихъ особенными выразителями этого сознанія. Не трудно было бы провѣрить научную заслугу обоихъ литературныхъ направленій, обративъ вниманіе на самые результаты, добытые ихъ новѣйшимъ историческимъ изученіемъ. Едва ли можно оспаривать, что наибольшая сумма этихъ результатовъ добыта была не тенденціозными работами въ славянофильскомъ духѣ, а именно работами болѣе безпристрастнаго, ученаго характера, чисто-научными изслѣдованіями, не только свободными отъ славянофильской тенденціи, но даже прямо ей враждебными...

У К. Аксакова общія, болѣе или менѣе неопредѣленные положенія Кирѣевскихъ, коротко высказанные тезисы М... З... К..., являются въ болѣе обработанной формѣ, съ объясненіями и подробностями. вмѣстѣ съ тѣмъ, эти положенія, получивъ свою ясную опредѣленность, доводили основную идею до ея крайнихъ предѣловъ. Личный характеръ дѣлалъ то, что для Аксакова его идеи стали какъ будто исторической религіей.

Въ особенности характеристичны тѣ статьи его по русской исторіи, которыя въ первый разъ напечатаны въ началѣ (и, къ сожалѣнію, съ 1861 года остановившемся на 1-мъ томѣ) собраніи его сочиненій. Эти статьи, писанныя около 1850 года, еще не были вполне обработаны для печати и являются въ томъ видѣ, какъ онѣ были написаны авторомъ подъ всѣмъ вліяніемъ его чувства, несдерживаемыя тѣми посторонними соображеніями, которыми писатель долженъ иногда невольнo руководиться, приступая къ печати ¹⁾. Мнѣнія Аксакова исходятъ изъ слѣдующихъ основаній, въ которыхъ мы найдемъ уже знакомую славянофильскую теорію.

«Россія — земля совершенно самобытная, вовсе не похожая на европейскія государства и страны. Очень ошибутся тѣ, которые вздумаютъ прилагать къ ней европейскія воззрѣнія и на

¹⁾ Если мы не ошибаемся въ своемъ предположеніи, то надобно сожалѣть, что вѣроятно цензурныя соображенія не дозволили издателямъ напечатать этихъ статей въ полномъ составѣ; см., напр., стр. 15—16.

основаніи ихъ судить о ней ¹⁾. Но такъ мало знаетъ Россію наше просвѣщенное общество, что такого рода сужденіе слышишь часто.—Помилуйте,—говорятъ многіе—неужели вы думаете, что Россія идетъ какимъ-то своимъ путемъ?—На это *отвѣтъ простой*: нельзя не думать того, *что знаешь*, что таково на самомъ дѣлѣ...

«Исторія нашей родной земли такъ самобытна, что разнится (отъ западной) съ самой первой своей минуты. Здѣсь-то, въ самомъ началѣ, раздѣляются эти пути, русскій и западно-европейскій, до той минуты, когда странно и насильственно встрѣчаются они, когда Россія даетъ страшный крюкъ, кидаетъ родную дорогу и примыкаетъ къ западной ²⁾».

«Всѣ европейскія государства основаны завоеваніемъ. Вражда есть начало ихъ. Власть явилась тамъ непріязненною и вооруженною, и *насильственно* утвердилась у покоренныхъ народовъ...

«Русское государство, напротивъ, было основано не завоеваніемъ, а *добровольнымъ призваніемъ* власти. Поэтому, не вражда, а миръ и согласіе есть его начало. Власть явилась у насъ желанною, не враждебною, но защитною, и утвердилась съ согласіемъ народнаго...

«Итакъ, въ основаніи государства западнаго: *насиліе, рабство и вражда*. Въ основаніи государства русскаго: *добровольность, свобода и миръ*. Эти начала составляютъ важное и рѣшительное различіе между Русью и Западною Европою, и опредѣляютъ исторію той и другой.

«Пути совершенно разные, разные до такой степени, что никогда не могутъ сойтись между собою, и народы, идущіе ими, *никогда* не согласятся въ своихъ воззрѣніяхъ. Западъ, изъ состоянія рабства переходя въ состояніе бунта, принимаетъ бунтъ за свободу, хвалится ею и видитъ рабство въ Россіи. Россія же постоянно хранитъ у себя признанную ею самую власть, хранитъ ее добровольно, свободно, и поэтому въ бунтовщикѣ видитъ

¹⁾ Нужно слѣдовательно „русское воззрѣніе“. Но большинство, почти всѣ противники, которыхъ упрекаетъ далѣе Аксаковъ, если прилагали къ нашей исторіи европейскія воззрѣнія, то въ томъ же смыслѣ какъ онъ самъ — напримѣръ, употребляя извѣстные приемы новѣйшей исторической критики, выработанные не нами, и которыми пользовался и самъ славянофильскій историкъ. Теорія родового быта—одно изъ главнѣйшихъ преступленій г. Соловьева въ глазахъ славянофиловъ — хотя бы она и была ошибочна, не дѣлаетъ же въ самомъ дѣлѣ взглядовъ г. Соловьева пѣмецкими, а это искренно думалъ К. Аксаковъ.

²⁾ Петровская реформа.

только раба съ другой стороны, который также унижается передъ новымъ идоломъ бунта, какъ передъ старымъ идоломъ власти; ибо бунтовать можетъ только рабъ, а свободный человѣкъ не бунтуетъ.

«Но пути эти стали еще различнѣе, когда важнѣйшій вопросъ для человѣчества присоединился къ нимъ: вопросъ вѣры. Благодать сошла на Русь. Православная вѣра была принята ею. Западъ пошелъ по дорогѣ католицизма. *Страшно* въ такомъ дѣлѣ говорить свое мнѣніе: но если мы не ошибаемся, то скажемъ, что *по заслугамъ* (!) дался и истинный и ложный путь вѣры,—первый Руси, второй Западу.

«Ясно стало для русскаго народа, что истинная свобода только тамъ, идѣже духъ Господень» ¹⁾.

Очевидно, что это опредѣленіе основаній русской исторіи было развитіемъ общей славянофильской мысли, которую мы видѣли у Кирѣевскихъ и М... З... К... Изъ приведенныхъ отрывковъ видно, до какой рѣшительности доходила теорія. Но теорія все-таки оставалась теоріей и, за отдѣльными исключеніями, фактическое доказательство ея мало подвинулось впередъ. Такъ, относительно положенія о добровольномъ призваніи и принятіи власти, высказаннаго еще Петромъ Кирѣевскимъ, г. Погодинъ тогда же приводилъ факты, показывавшіе, что добровольность, въ остальной русской землѣ, которую стали занимать варяги, была очень сомнительная: новая власть, «желанная», «защитная» по словамъ Аксакова, распространялась рядомъ «воеваній», «примученій» и т. п. Возраженіе не было опровергнуто, но К. Аксаковъ продолжалъ идеализировать «добровольное призваніе», и возвелъ его въ цѣлый возвышенный фактъ народнаго духа... Можно было бы уступить славянофиламъ извѣстное различіе въ основаніи русскаго и западнаго государства, — но это различіе никакъ не давало права для славянофильскаго вывода о совершенной противоположности Запада и Востока.

Эту противоположность, кажется, никто изъ славянофиловъ не изображалъ такими смѣлыми контрастами, какъ Аксаковъ: несчастный Западъ онъ осуждаетъ на рабство, и свободу отдаетъ одному Востоку — это странное злоупотребленіе словомъ «свобода» встрѣчается нерѣдко въ его историческихъ разсужденіяхъ.

Далѣе, теологическій принципъ славянофильства повторяется и здѣсь съ тѣмъ же господствующимъ значеніемъ... Окончивъ свой очеркъ древней русской жизни, Аксаковъ предвидѣлъ воз-

¹⁾ Полн. Собр. Соч. К. Аксакова, I, стр. 7—9.

раженіе. «Намъ скажутъ: неужто же было полное блаженство? Конечно, нѣтъ. На землѣ нельзя найти совершеннаго положенія, но можно найти совершенныя начала. Нѣтъ *ни въ одномъ* обществѣ *истиннаго христіанства*, но христіанство истинно, и христіанство есть единый истинный путь. Слѣдовательно, этимъ единымъ истиннымъ путемъ и надобно идти. *Вся сила* въ томъ, что человекъ призналъ за законъ, за начало. Въ основу русской жизни легли истинныя начала, съ чѣмъ, я думаю, нельзя не согласиться», и проч. ¹⁾. Передъ тѣмъ, онъ же рѣшилъ, что Западу «по заслугамъ» данъ былъ ложный путь, а намъ—истинный путь вѣры. Когда же успѣли оказать эти заслуги и Западу, и русскій народъ? И какія онѣ были?

Историческія основанія этого заключенія опять не совсѣмъ достаточны. Выше мы упоминали объ общихъ явленіяхъ восточной и западной религіозности, которыя не укладываются въ славянофильскую мѣрку; также произвольно славянофильская теорія истолковываетъ и факты русской исторіи. Русская древность представляется Аксакову въ самомъ радужномъ цвѣтѣ. Русскіе славяне, еще язычники, впередъ уже готовы были къ христіанскому благочестію и добродѣтели. Аксаковъ утверждаетъ, что русскій народъ искони обнаруживалъ наклонность къ воспріятію истинныхъ началъ. Въ статьѣ о язычествѣ древнихъ славянъ, Аксаковъ старается доказать, что еще при язычествѣ славяне жили «въ чаяніи христіанства» ²⁾.—«Язычество русскаго славянина было *самое чистое язычество*, было, при вѣрованіи въ Верховное Существо, постоянное освященіе жизни на землѣ, постоянное ощущеніе общаго высшаго смысла вещей и событій. Слѣдовательно, вѣрованіе темное, неясное, готовое къ просвѣщенію и ждавшее луча истины». «Когда вспомнишь, какъ крестился русскій народъ, невольно умиляешься душою. Русскій народъ крестился легко и безъ борьбы, какъ младенецъ, и христіанство озарило всю его младенческую душу. Въ его душѣ не было воспоминаній языческихъ, не было огрубѣлой, опредѣленной лжи», и т. д.

Нечего говорить, что это была чистая теорія. Миеологическія изслѣдованія, уже начатыя въ то время, когда писалъ Аксаковъ, показывали, что русская языческая міеологія не представляла никакихъ подобныхъ особенностей и имѣла, напротивъ, чрезвычайно много общаго съ цѣлой индо-европейской міеологіей, особливо германской и литовской,—что главнѣйшая разница рус-

¹⁾ Стр. 15.

²⁾ Стр. 311 и слѣд.

ской мифологіи съ другими была та, что она не успѣла пройти всѣхъ ступеней развитія, уже пройденныхъ язычествомъ другихъ племенъ, когда была застигнута введеніемъ христіанства. Поэтому — отсутствіе жрецовъ и выработаннаго языческаго поклоненія. Съ другой стороны, введеніе христіанства не было такъ мирно и безмятежно, какъ изображаетъ Аксаковъ. Какъ ни скупа наша лѣтопись на фактическія свѣдѣнія объ этомъ предметѣ, въ ней сохранилось воспоминаніе объ упорствѣ язычества въ разныхъ краяхъ древней Руси. Исторія народной поэзіи и преданій свидѣтельствуетъ о множествѣ «языческихъ воспоминаній», и писатель даже такого поздняго времени, какъ XIV-е столѣтіе, черезъ нѣсколько вѣковъ послѣ «озаренія», съ негодованіемъ говорить о «двоевѣріи», т. е. полу-языческомъ христіанствѣ народа.

Въ другой статьѣ объ основныхъ чертахъ русской исторіи, Аксаковъ указываетъ отличительную особенность русскаго народа и его исторіи—въ христіанской простотѣ и смиреніи. «Русская исторія,—говоритъ онъ,—въ сравненіи съ исторіей запада Европы отличается такою простотою, что приведетъ въ отчаяніе человѣка, привыкшаго къ театральнымъ выходкамъ (?). Русский народъ не любитъ становиться въ красивыя позы; въ его исторіи вы не встрѣтите ни одной фразы, ни одного красиваго эффекта, ни одного яркаго наряда, какими поражаетъ и увлекаетъ васъ исторія Запада; личность въ русской исторіи играетъ вовсе не большую роль; принадлежность личности—необходимо гордость, а гордости и всей обольстительной красоты ея—и нѣтъ у насъ. Нѣтъ рыцарства съ его кровавыми доблестями, ни безчеловѣчной религіозной пропаганды, ни крестовыхъ походовъ, ни вообще этого безпрестаннаго щегольского драматизма страстей. Русская исторія—явленіе совсѣмъ иное. Дѣло въ томъ, что здѣсь другую задачу задалъ себѣ народъ на землѣ, что христіанское ученіе глубоко легло въ основаніе его жизни. Отсюда, среди бурь и волненій, насъ посѣщавшихъ, эта молитвенная тишина и смиреніе, отсюда внутренняя духовная жизнь вѣры. Не отъ недостатка силъ и духа, не отъ недостатка мужества возникаетъ такое кроткое явленіе! Народъ русскій, когда бывалъ вынужденъ обстоятельствами явить свои силы, обнаруживалъ ихъ въ такой степени, что гордые и знаменитые храбростію народы, эти лихіе бойцы челоуѣчества, падали въ прахъ предъ нимъ, смиреннымъ, и тутъ же, въ минуту побѣды, дающимъ пощаду. Смиреніе, въ настоящемъ смыслѣ, несравненно большая и высшая сила духа, чѣмъ всякая гордая, безстрашная доблесть. Вотъ съ какой сто-

роны, со стороны христіанскаго смиренія, надо смотрѣть на русскій народъ и его исторію»... ¹⁾

Настоящее является Аксакову наградой этого смиренія:—«И Господь возвеличилъ смиренную Русь. Вынуждаемая своими драчливыми сосѣдами и пришельцами къ отчаянной борьбѣ, она повалила ихъ всѣхъ одного за другимъ. Ей дался просторъ на землѣ. Въ трехъ частяхъ свѣта ²⁾ ея владѣнія, седьмая часть земного шара принадлежитъ ей одной. Въ ея предѣлахъ *невыносимое* знойное лѣто и *невыносимая* вѣчная зима; въ ея предѣлахъ солнце восходитъ на одномъ концѣ и заходитъ на другомъ въ одно и то же время. И вотъ гордая Европа, всегда презиравшая Русь, презиравшая и не понимавшая ея духовной силы, увидѣла страшное могущество силы матеріальной, и для нея понятной—и снѣдаемая ненавистью, въ какомъ-то *тайномъ ужасѣ*, смотреть она на это страшное, полное жизни, тѣло,—души котораго понять не можетъ»... ³⁾

Тема нашего смиренія была однимъ изъ любимыхъ предметовъ краснорѣчія Шевырева, и слѣдовательно новый пунктъ соприкосновенія славянофильства съ тенденціями «Москвитянина». Известно, какъ Шевыревъ довелъ до совершенной и смѣшной нелѣпости это восхваленіе русскаго смиренія ⁴⁾. Едва ли надо говорить, что эти притязанія на христіанскую добродѣтель плохо мирились и съ историческими фактами. Россія стала громаднымъ государствомъ едва ли вслѣдствіе смиренія: ея завоеванія съ XV-го вѣка не были особенно смиренны, а о XVIII-мъ столѣтіи и говорить нечего. Это послѣднее столѣтіе всего больше отличалось цѣнными и далеко не смиренными завоеваніями, и на этотъ разъ Аксаковъ, повидимому, ничего не имѣетъ противъ «петербургскаго періода», вообще столь ему непріятнаго. О томъ, насколько обнаруживала смиренія наша внутренняя исторія, мы упомянемъ дальше. Относительно новѣйшаго настроенія русскаго общества и самихъ славянофиловъ, противники должны были, наконецъ, замѣтить имъ, что ихъ смиреніе такъ высокомѣрно, что

¹⁾ Стр. 18.

²⁾ Ныпѣ—въ двухъ.

³⁾ Стр. 20—21.

⁴⁾ Въ свое время особенно знаменита была тирада о смиреніи и простотѣ русскаго челоука, въ „Поѣздкѣ въ Кирилло-Вѣлозерскій монастырь“ (М. 1852). Шевыревъ восхищается, какъ не жаденъ русскій челоуекъ, не завистливъ: летаетъ вокругъ него птица,—онъ не бьетъ ея; плаваетъ кругомъ рыба, онъ не ловитъ ея, и „довольствуется скудною, и часто нездоровою пищею“, и т. п.

ничѣмъ не уступаетъ самой непохвальной западной гордости; и напоминали имъ стихотвореніе Хомякова, гдѣ говорится, что —

«Онъ (Богъ)—съ тѣмъ, кто гордости лукавой
Въ слова смиренія не ридилъ».

То, что говоритъ К. Аксаковъ о фразѣ, красивомъ эффектѣ, яркомъ нарядѣ, которые будто бы такъ любить Западъ («Западъ весь проникнуть ложью внутренней, фразой и эффектомъ»), конечно, очень странно. Есть дѣйствительно случаи, гдѣ непріятно поражаетъ фраза въ западной литературѣ и жизни, напр. французской; но неужели это вся исторія Запада? Древняя русская жизнь, да и новая, была, конечно, проще; но эта простота была только слѣдствіемъ немудреного патріархальнаго быта, какой въ свое время бывалъ и во всей Европѣ, а вовсе не какой-нибудь особенной врожденной добродѣтели. Съ другой стороны, «красивый эффектъ» западной жизни былъ естественнымъ спутникомъ цивилизаціи, утонченной формой нравовъ и общежитія; наконецъ, онъ бывалъ естественнымъ приѣмомъ, манерой національнаго темперамента, напр., темперамента южныхъ племенъ, вообще несравненно болѣе живого, подвижнаго, впечатлительнаго, чѣмъ нашъ сѣверный темпераментъ: англичанинъ также могъ бы похвалиться своей степенностью передъ испанцемъ, французомъ или итальянцемъ. Наконецъ, въ «яркомъ нарядѣ» точно также нѣтъ никакой бѣды, какъ въ томъ «комфортѣ», который послужилъ обвиненіемъ противъ Запада у Д. Валугева.

Изображеніе награды, доставшейся Россіи за ея смиреніе, напоминаетъ хвастливый патріотизмъ временъ, предшествовавшихъ крымской войнѣ... Славянофилы, какъ и масса общества, послѣ этой войны и даже прежде ея окончанія, убѣждались въ фальшивости этого тона ¹⁾.

Въ опредѣленіи внутреннихъ отношеній древней Руси, центральнымъ положеніемъ К. Аксакова является мысль о двойственности земли и государства,—которая кажется г. Костомарову «великою идеею».

«Народъ призываетъ власть добровольно, призываетъ ее въ лицѣ князя-монарха, какъ въ лучшемъ ея выраженіи, и становится съ нею въ *пріязненные* отношенія. Это—союзъ народа съ властію»,—или союзъ Земли и Государства.

«Земля, какъ выражаетъ это слово,—неопредѣленное и мирное состояніе народа. Земля призвала себѣ Государство на за-

¹⁾ См. напр. стихотвореніе Хомякова „Россія“, 1854 г. (въ „Стих.“ 1861, стр. 122—123), и позднѣйшую публицистику „Русской Вѣсѣды“.

щиту, огражденіе; прежде всего отъ враговъ внѣшнихъ, потомъ и отъ враговъ внутреннихъ. Отношеніе Земли и Государства легло въ основаніе русской исторіи. Въ первыя времена Россія управлялась цѣлымъ родомъ, совокупностью князей въ отдѣльных княжествахъ, и въ каждомъ княжествѣ повторялись тѣ же самыя отношенія. Князей стало много, они сами спорили между собою, и между князьями возможенъ былъ выборъ: поэтому они часто перемѣщались...

«Наконецъ, время княжихъ междоусобій прошло. Явился великій князь и потомъ царь московскій и всея Руси, наслѣдственный и самодержавный. Отношеніе Земли и Государства, народа и правительства, прежняя взаимная довѣренность—были основою ихъ отношеній. Подобно тому, какъ князь собиралъ вѣче, царь созывалъ земскую думу или земскій соборъ. Народъ не требовалъ, чтобы государь спрашивалъ его мнѣніе. Государь не опасался спрашивать мнѣнія народа... Спрашивали выборныхъ отъ всѣхъ сословій; они говорили: мысль наша такова, а тамъ какъ будетъ угодно государю. Не личное самолюбіе, не гордость западной свободы была здѣсь, а обоюдное искреннее желаніе пользы...

«Во все время русской исторіи народъ русскій не измѣнилъ правительству, не измѣнилъ монархіи. Если и были смуты, то онѣ состояли въ вопросѣ о личной законности государя: о Борисѣ, Лжедимитріѣ и Шуйскомъ. Но никогда не раздавался голосъ въ народѣ:—не надо намъ монархіи, не надо намъ самодержавія, не надо царя.—Напротивъ, въ 1612-мъ году, одолѣвъ враговъ своихъ и будучи безъ государя, вновь громко и единогласно призвалъ народъ царя...

«Любопытно, хотя вкратцѣ, взглянуть на этотъ бытъ, на эти неизблемыя, неизмѣнныя отношенія между властію и народомъ, отношенія свободныя, разумныя, не рабскія, и потому обезпеченныя отъ всякой революціи.

«Государево и земское дѣло—вотъ слова, которыя слышались изъ устъ народа, вотъ слова, которыя слышались изъ устъ государя; какъ часто встрѣчаемъ ихъ въ древнихъ, и отъ государя, и отъ народа идущихъ грамотахъ...»

И затѣмъ Аксаковъ дѣлаетъ краткій очеркъ земли,—народа, съ его общиннымъ бытомъ, и государства, съ его правительственной дѣятельностью. Въ этой жизни не было ни западной аристократіи, ни западной демократіи. «Вся Россія была подъ двумя властями—*Земли* и *Государства*, раздѣлялась на два отдѣла—на людей *земскихъ* и людей *служилыхъ*».

«Что же соединяло эти два отдѣла, что составляло неразрывную связь между ними?.. Вѣра и жизнь; вотъ почему всякій чиновникъ, начиная отъ боярина, былъ свой человѣкъ народу; вотъ почему, переходя изъ земскихъ людей въ служилые, онъ не становился чуждымъ Землѣ. Выше всѣхъ этихъ раздѣлений было единство вѣры и единство жизни, быта, соединявшее Россію въ одно цѣлое. Вѣрою и жизнію само государство становилось земскимъ».

Въ началѣ этого изложенія, Аксаковъ, изображая отношенія между народомъ и призванной имъ властью, ставшія потомъ отношеніями Земли и Государства, восхваляя ихъ «свободное соглашеніе»,—предвидитъ возраженіе и отвѣчаетъ на него:

«Но нѣтъ никакого обезпеченія, скажутъ намъ; или народъ, или власть могутъ измѣнить другъ другу. *Гарантія* нужна!—*Гарантія* не нужна! *Гарантія* есть зло. Гдѣ нужна она, тамъ нѣтъ добра; пусть лучше разрушится жизнь, въ которой нѣтъ добраго, чѣмъ стоять съ помощію зла. Вся сила въ *идеалѣ*. Да и что значать условія и договоры, какъ скоро нѣтъ силы внутренней? Никакой договоръ не удержитъ людей, какъ скоро нѣтъ на это желанія. Вся сила въ нравственномъ убѣжденіи. Это сокровище есть въ Россіи, потому что она всегда въ него вѣрила и не прибѣгала къ договорамъ» ¹⁾.

Итакъ, мы имѣемъ картину древне-русскаго устройства и вмѣстѣ — идеалъ.

Славянофилы часто упрекали своихъ противниковъ, что они принимаютъ европейскія теоріи, чуждыя русской жизни, и прямо строятъ на нихъ русскую исторію. Въ настоящемъ случаѣ, славянофилы дѣлаютъ въ сущности то же. Взглядъ К. Аксакова есть тоже готовая теорія, созданная прежде всего его горячимъ чувствомъ и приложенная имъ къ русской исторіи раньше, чѣмъ разработка послѣдней давала бы право вывести подобную теорію. Не скажемъ, чтобы она была совершенно произвольна, — нѣтъ; нѣкоторыя частности ея можно основывать на фактическихъ данныхъ,—но далеко не всѣ, и цѣлый составъ этой теоріи остается произвольнъ. Побужденіемъ къ построенію этой теоріи служило весьма похвальное сочувствіе къ народу; оно украсило его исторію всѣми идеальными качествами, которыхъ желало бы народу въ дѣйствительности; способъ изложенія взять былъ и са-

¹⁾ Стр. 9—14. К. Аксаковъ вообще не разъ возвращается къ этой темѣ; но она достаточно рельефно высказана и въ приведенныхъ нами цитатахъ, и другихъ мы приводить не будемъ.

мими славянофилами (какъ они упрекали въ томъ своихъ противниковъ) изъ приемовъ той же самой западной науки, которая передъ тѣмъ именно занята была созданиємъ философіи исторіи, стремилась осмыслить исторію народовъ отвлеченными нравственно-общественными началами, указать особыя идеальныя задачи, поставленныя судьбою или Провидѣніемъ каждому изъ народовъ въ его историческомъ бытіи... Но въ то время, какъ противники славянофильства все-таки больше старались держаться фактической почвы, Аксаковъ бросился въ идеализмъ, напоминающій философскую романтику двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ. Весь характеръ его исторической теоріи свидѣтельствуетъ о силѣ увлекавшаго его чувства больше, чѣмъ о глубинѣ историческаго пониманія. Приступая съ готовымъ энтузіазмомъ къ изученію старины, Аксакову довольно было нѣсколькихъ фактовъ, поразившихъ его возбужденное чувство, чтобы возвести ихъ въ историческій принципъ; онъ идеализируетъ ихъ.

Аксаковъ вѣрно замѣчаетъ присутствіе двухъ элементовъ стараго русскаго быта — элементъ Земли и Государства, элементъ общиннаго самоуправленія и правительственной централизаціи. Но его выводы слишкомъ поспѣшны; въ своемъ народно-патріотическомъ увлеченіи онъ уже рисуетъ русскій бытъ стараго времени, какъ осуществленіе нравственнаго идеала, какъ истинное христіанское государство. Для него шель вопросъ уже не столько о строгой, всесторонней критикѣ замѣченныхъ имъ фактовъ, сколько о томъ, чтобы подобрать скорѣе ихъ логическую связь, закруглить ихъ въ систему. Но уже въ то время, когда писалъ Аксаковъ, историческая наука относилась очень недовѣрчиво къ подобному смѣлому идеализму и искала болѣе реальнаго объясненія исторіи — въ изученіи условій природныхъ, этнографическихъ, экономическихъ, въ изученіи отношеній народа къ цѣлому движенію цивилизаціи и т. п. Въ этомъ отношеніи теорія Аксакова запаздывала на цѣлый періодъ развитія науки. — Она не выдерживала критики и въ ближайшемъ смыслѣ. Отношенія «Земли» и «Государства» не были такъ мягки и пріязненны, какъ изображаетъ Аксаковъ. Начиная съ ихъ первой связи, — которая (какъ выше упомянуто) вовсе не была столь идиллическая, — и до послѣдняго времени, исторія этихъ отношеній, быть можетъ, есть скорѣе наоборотъ — исторія постоянной борьбы, чѣмъ исторія любовнаго, «свободнаго соглашенія». Древняя община, вѣче, земская дума — тѣсно связанныя Аксаковымъ въ его теоріи — не были такъ связаны въ самой жизни. Г. Костомаровъ приводилъ возраженія, которыя дѣлали очень сомнительнымъ изображеніе земскихъ думъ

и соборовъ въ теоріи Аксакова. Исторія московскаго самодержавія вообще не подходитъ подъ эту теорію: Государство развивалось вовсе не параллельно и неравномѣрно съ Землей, и Земля еще въ московскомъ періодѣ осталась — назади, или внизу. Мнѣніе земскаго собора было не обязательно для власти, слѣдовательно могло быть приведено къ нулю. Земля наконецъ бѣжала отъ Государства — въ казачество, въ расколъ; Государство прикрѣпило крестьянъ и положило основаніе крѣпостному праву.

Аксаковъ рѣшительно возстаетъ противъ «гарантіи», то-есть противъ конституціонной гарантіи, которой европейскія государства утверждали свои отношенія земли и государства, представителей народа и центральной власти. Гарантія противна Аксакову, какъ свидѣтельство недовѣрія. Но, если и правда, что гарантія не всегда была дѣйствительной опорой противъ захватовъ той или другой стороны, то она все-таки была заявленіемъ *права*, и есть страны, гдѣ гарантія имѣла издавна очень дѣйствительную силу, какъ въ Англіи... Въ государствѣ, которое идеализировалъ Аксаковъ, гарантіи въ сущности нечего было бы и ограждать.

Далѣе, Аксаковъ вѣрно указываетъ единство быта въ старой Россіи, неразрывную связь, которую полагали между различными слоями народа вѣра и жизнь, или однообразіе понятій и нравовъ. Можно справедливо увлекаться подобнымъ единствомъ, если оно существовало, и противопоставлять его, какъ идеаль, тому разладу, который дѣлитъ высшіе классы отъ массы націи, дѣлаетъ ихъ даже совершенно чуждыми народу паразитами. Все это прекрасно, — говоря вообще, — но въ данномъ случаѣ есть историческія обстоятельства, которыя заставляютъ очень ограничить заключеніе Аксакова. Подобное единство быта, чтобы стать завиднымъ идеаломъ, требуетъ одной, существенно важной оговорки.

Аксаковъ безусловно восхищается единствомъ быта, которое находитъ въ древней Руси, но факты показываютъ ясно, что старый русскій бытъ могъ сохранить свое единство только потому, что это былъ слишкомъ непосредственный и патріархальный бытъ, такъ-сказать, нетронутый никакой рефлексіей. Основа его міровоззрѣнія была мионическо-религіозная; ея не касались еще никакіе запросы критической мысли; образованіе было такъ незначительно, что высшіе классы почти ничѣмъ не отличались отъ низшихъ; характеръ этого образованія былъ тотъ самый, какимъ до сихъ поръ отличаются «начетчики» православные и раскольничьи въ простомъ народѣ; такіе начетчики бывали одинаково во всѣхъ классахъ народа, и ихъ міровоззрѣніе было сходно, потому что основывалось на одинаковомъ чтеніи и оди-

наковой тѣснотѣ умственнаго горизонта во всемъ, что было внѣ этого чтенія; преданіе было поэтому всеильно. Того же рода единство было въ правахъ: Россія, отдѣленная событіями своей исторіи отъ остального міра, впала въ крайнюю національную и религіозную исключительность, которая, конечно, самымъ могущественнымъ образомъ противодѣйствовала всякому нововведенію и помогала сохраненію старины. Въ этой исключительности прожиты были цѣлые вѣка...

Но, очевидно, что этотъ порядокъ вещей не могъ удержаться въ народѣ, которому предстояла бы болѣе широкая политическая жизнь. Еслибы этотъ порядокъ сохранялся неизмѣнно, онъ приводилъ бы къ застою и національному паденію; это была бы остановка въ развитіи, какую представляла Византія, Китай или Турція; если же въ народныхъ силахъ задатки развитія были, оно неизбѣжно должно было столкнуться съ традиціей такъ или иначе. И эти столкновенія дѣйствительно бывали. Уже древняя русская жизнь произвела цѣлый рядъ ересей, въ которыхъ — среди ихъ заблужденій — нельзя не видѣть стремленія развить традицію, или, отвергнувъ ее, найти болѣе широкое содержаніе. Тотъ или другой видъ отрицанія долженъ былъ составить необходимую ступень въ дальнѣйшемъ движеніи. Болѣе высокая степень образованности, большее количество свѣдѣній о природѣ, о человѣческой исторіи, однимъ словомъ, знакомство съ тѣмъ, что уже въ тѣ времена было приобрѣтено образованностью европейской, — неизбѣжно ограничивали и подрывали бы старую традицію во всемъ томъ, что въ ней не соотвѣтствовало новому научному содержанію. Это произошло бы, еслибъ и не было реформы Петра, или еслибы она не употребляла своихъ суровыхъ и насильственныхъ средствъ. Славянофилы утверждали (какъ увидимъ), что Россія и до Петра заимствовала отъ Запада «все хорошее» ¹⁾, сохраняя однако свою сущность, — но на дѣлѣ заимствовалось тогда далеко не все, что было нужно, и вообще очень немногое, и только по этой причинѣ старина и могла спокойно сохраняться: заимствованнаго «хорошаго» было слишкомъ мало, чтобы затронуть ее. — Такимъ образомъ, традиціонное воззрѣніе древней Руси не могло бы уцѣлѣть при болѣе высокой степени образованія, и слѣдовательно единство понятій удержаться не могло: высшіе классы, которымъ естественно доставалась въ первое время болѣшая или вся доля образованности, именно поэтому (а вовсе не по существу самой образованности) должны были отдалиться отъ народа. Это было

¹⁾ Соч. Аксакова, стр. 43.

безъ сомнѣнія прискорбно, но при существовавшемъ уже различіи въ матеріальномъ и юридическомъ положеніи сословій, было неизбѣжно.

Это вовсе не значило также, чтобы такое раздѣленіе стало роковымъ и неисправимымъ. Матеріальное и юридическое положеніе низшихъ сословій уже измѣняется къ лучшему; рядомъ съ общественной равноправностью открывается возможность бѣльшаго успѣха образованности и въ народной массѣ. Стремленія лучшихъ людей современнаго общества идутъ именно къ тому, чтобы возстановить старое единство или, лучше сказать, основать новое — не изгнаніемъ и отверженіемъ западной образованности и не возстановленіемъ старины и ея единства, а просто расширеніемъ образованности въ самомъ народѣ.

Паденіе старыхъ обычаевъ было такимъ образомъ естественно. Замѣтимъ кромѣ того, что старые обычаи, относясь къ различнымъ сторонамъ жизни, могутъ имѣть и весьма различную цѣнность: или чисто бытовую, какъ извѣстная обстановка частной жизни, или болѣе высокую цѣнность общественно-политическую, какъ выраженіе извѣстнаго политическаго права. Обычаевъ послѣдняго рода имѣла много, на примѣръ, Англія; и утрата такихъ обычаевъ (если бы ихъ не замѣняли другіе, лучшіе) была бы дѣйствительно вредомъ, потерей и упадкомъ для національной жизни. Не оправдывая петровскаго истребленія старыхъ обычаевъ, должно признать однако, что обычаевъ этого втораго разряда едва ли русская жизнь потеряла много при реформѣ. Наконецъ, въ судьбѣ обычая играетъ роль и еще одно обстоятельство — расширеніе самаго государства: сохраненіе стараго обычая въ высшихъ классахъ, начиная съ двора, было удобно въ тѣсныхъ условіяхъ московскаго быта; оно было труднѣе въ петровскомъ государствѣ, которое по необходимости сближалось съ Европой, начинало распространяться на страны западной цивилизаціи и принимало въ себя множество новыхъ элементовъ, ассимиляція которыхъ (если государство къ ней стремилось) не могла обойтись безъ той или другой уступки и съ его стороны. А славянофилы также, какъ другіе, гордятся завоеваніями и пріобрѣтеніями новой Россіи...

Очень естественно, что при своемъ общемъ взглядѣ на древнюю Русь, Аксаковъ вообще относился къ явленіямъ ея жизни съ крайнимъ оптимизмомъ. Примѣровъ можно привести очень много. Нравы славянъ кажутся ему самыми кроткими нравами, язычество русскихъ славянъ — самымъ чистымъ язычествомъ, что бы ни говорила лѣтопись о «звѣринскихъ» обычаяхъ нѣкоторыхъ

племень, о способѣ дѣйствій самихъ князей, что бы ни говорила «Русская Правда» о кровавой мести и т. п. Тѣ же нравы онъ находитъ въ поэзіи былинъ, и если ему встрѣчаются случаи, не свидѣтельствующіе объ особенной кротости, напр., нѣкоторые не особенно человеколюбивые подвиги богатырей, у Аксакова готово наивно-казуистическое объясненіе ¹⁾. Мнѣніи его въ этомъ случаѣ не смущаютъ никакіе факты грубости нравовъ, которыхъ къ сожалѣнію древняя Русь представляетъ немало.

Аксакову хочется доказать, что древній народный взглядъ уже заключалъ въ себѣ тѣ принципы разумности и свободы, которые у противниковъ славянофильства считались приобрѣтеніемъ и заслугой европейскаго просвѣщенія. Оспаривая въ этомъ смыслѣ мнѣніи г. Соловьева (въ разборѣ VII-го тома его Исторіи), онъ указываетъ на первомъ планѣ идею Земли, осуществленную въ земскихъ соборахъ. Далѣе, онъ утверждаетъ, что древняя Русь выразила также свой взглядъ на свободу международныхъ отношеній и торговли, и ссылается при этомъ на слова московскихъ пословъ шведамъ: «Сотворилъ Богъ человека *самовластна* и далъ ему волю сухимъ и водянымъ путемъ, гдѣ ни захочетъ, ѣхать: такъ вамъ противъ воли Божіей стоять не годится, всѣхъ поморскихъ и нѣмецкихъ государствъ гостямъ и всякимъ торговымъ людямъ, землею и моремъ задержки и неволи чинить не пригоже». Аксаковъ ссылается также на подобныя выраженія въ грамотѣ царя Θεодора къ Елизаветѣ по поводу того, что англійская торговая компанія не пропускала въ Россію кораблей другихъ, къ компаніи не принадлежавшихъ, и иностранныхъ купцовъ. Далѣе, Аксаковъ утверждаетъ, что Россія высказывала «извѣстный, признанный и другими за нею взглядъ, что каждый имѣетъ право исповѣдовать свою вѣру»,—по поводу того, что англичанамъ предоставлено было жить у насъ «въ своей вѣрѣ». «Въ приведенныхъ нами примѣрахъ,—говоритъ Аксаковъ,—достаточно, кажется, высказывается высокій взглядъ (?) русскаго народа. Это—

¹⁾ „Такая строгая казнь,—говоритъ онъ по поводу „ученія“ Маринны Добрынею, состоявшаго въ томъ, что Добрыня рубить ей руку, ногу и голову съ языкомъ,—совершенная съ полнымъ спокойствіемъ Добрынею, не можетъ служить опредѣленіемъ его нравственнаго образа и кидать на него тѣнь обвиненія въ жестокости. Это *обычай* всѣхъ богатырей того времени; будучи не личнымъ дѣломъ, а обычаемъ, подобный поступокъ лишень злобы и свирѣпости, вытекающихъ уже изъ личнаго ощущенія. Гдѣ постоянно играютъ палицы, копыя и стрѣлы, тамъ главное дѣло подвигъ, а жизнь становится дѣломъ второстепеннымъ, и большого уваженія къ ней не оказывается“, и т. д. (стр. 344). Но что же такое обычай, какъ не результатъ и сводъ частныхъ личныхъ ощущеній?

русское воззрѣніе, которое въ то же время есть истинное, общечеловѣческое»¹⁾.

Относительно всего этого г. Костомаровъ замѣчалъ уже преувеличенія Аксакова. Въ самомъ дѣлѣ, земскіе соборы, именно за отсутствіемъ «гарантіи», были весьма непрочнымъ учрежденіемъ; это были послѣднія воспоминанія вѣчевого устройства, нетронутыя властью только потому, что при господствѣ тогдашняго патріархальнаго деспотизма это учрежденіе не могло повести ни къ какому ущербу для царской власти. Потому-то вскорѣ оно и могло такъ легко выйти совершенно изъ употребленія. Мнимый взглядъ древней Россіи на свободу международныхъ сношеній не оправдывался нисколько ея собственной практикой. Московскіе дипломаты, у которыхъ не было недостатка въ хитромъ лукавствѣ, могли ссылаться на «самовластіе» человѣка, на его волю ѣхать сухимъ и водянымъ путемъ гдѣ ни захочетъ,—когда такъ нужно было по ихъ соображеніямъ; но очень извѣстно, что для самихъ русскихъ купцовъ эта воля была крайне стѣснена: отправиться, хотя бы для торговли, въ чужое государство было чрезвычайно трудно, почти невозможно. Точно также не оправдывается фактами мнимый взглядъ древней Руси на свободу исповѣданій. Дѣйствительно, иностранцамъ позволяли жить «въ своей вѣрѣ», но тѣмъ и кончалась вся терпимость: это не мѣшало русскимъ считать вѣру западныхъ христіанъ, католиковъ и протестантовъ, поганую, какъ они считали поганымъ магометанство или язычество; нечего и говорить о томъ, что для русскаго было немислимо перейти изъ православія въ какое-нибудь другое христіанское исповѣданіе. Словомъ, для того, чтобы стать дѣйствительно «истиннымъ» и «общечеловѣческимъ», русскому воззрѣнію недоставало очень многого.

К. Аксаковъ до такой степени ослѣпленъ въ этомъ отношеніи, что смѣло утверждаетъ, будто древняя Русь даже нисколько не знала національной исключительности. Приведя слова Нестора, что у всякаго языческаго народа свой обычай, «мы же, христіане, законъ имамы единъ, елицы во Христа крестихомся, во Христа облекохомся»,—Аксаковъ восклицаетъ: «вотъ когда (и вотъ какъ ясно, глубоко и истинно) уже перейдены были границы той исключительной національности, въ которой пребывали мы, по мнѣнію Запада²⁾, до начала прошедшаго столѣтія, и которой

¹⁾ Сочин., стр. 250—253.

²⁾ Въ этомъ Западѣ Аксаковъ, вѣроятно, считалъ и русскихъ историковъ, которые держались этого мнимо-западнаго мнѣнія.

у насъ никогда не бывало» ¹⁾. Онъ возвращается къ той же мысли въ другомъ мѣстѣ, отказываясь отъ противоположнаго мнѣнія, которое было высказано имъ прежде, въ диссертациі о Ломоносовѣ. «Напрасно говорили (я самъ напечаталъ это нѣкогда), что Петръ возсталъ противъ исключительной русской національности. Исключительности въ Россіи не было вовсе; все полезное принималось и до Петра, только это не мѣшало русскимъ оставаться русскими». Повторивъ опять цитату изъ Нестора ²⁾, Аксаковъ говоритъ: «Христіанская вѣра—вотъ союзъ человѣческій, вотъ союзъ нашъ. Всѣ христіане—братья. Это истинное пониманіе христіанской вѣры есть основаніе всей нашей исторіи» и проч. ³⁾.

Не говоря о томъ, что приведенное мѣсто изъ Нестора не допускаетъ такого тенденціознаго толкованія, заключаая только самое общее противоположеніе христіанства другимъ, не-христіанскимъ вѣрамъ,—должно повторить опять, что старая русская исторія слишкомъ часто свидѣтельствуетъ о національной и религіозной исключительности, чтобы противъ нея можно было спорить серьезно. Быть можетъ, кievскій періодъ, — вообще весьма непохожій на послѣдующія эпохи,—еще представлялъ нѣкоторые факты въ пользу мнѣнія Аксакова, но чѣмъ дальше въ московскій періодъ, тѣмъ исключительность становится суровѣе и нетерпимѣе.

Такимъ образомъ, въ понятіяхъ К. Аксакова древняя Россія была идеальное, истинно-христіанское государство, и если жизнь ея не была полное блаженство, по свойственнымъ человѣчеству слабостямъ, то обладала истинными началами и шла по истинному пути. Если этотъ путь не былъ совершенъ до конца, въ этомъ виновата была реформа.

Выше упомянуто, что сначала Аксаковъ имѣлъ о реформѣ иное понятіе, то самое, которое вообще господствовало въ литературѣ и которое поддерживалось противниками славянофильства. Такъ, въ своей диссертациі о Ломоносовѣ онъ понимаетъ реформу, какъ необходимый историческій моментъ русской жизни, какъ отрицаніе національной исключительности и воспринятіе общечеловѣческаго развитія. Теперь онъ думалъ совершенно противное. Теперь онъ считалъ реформу не иначе, какъ за *измѣну* власти передъ народомъ, ей никогда не измѣнявшимъ ⁴⁾.

¹⁾ Стр. 20.

²⁾ Онъ замѣчаетъ, что „это важное указаніе принадлежитъ Ю. Ѳ. Самарину“.

³⁾ Стр. 42.

⁴⁾ Сочин., стр. 10, *конецъ* 15-й и *начало* 16-й, стр. 49.

Петръ совершенно извратилъ ходъ русской жизни. Переворотъ, имъ произведенный, былъ самый важный изъ всѣхъ переворотовъ въ русской исторіи, потому, что онъ коснулся самыхъ корней родного дерева. Въ самомъ дѣлѣ: «Изъ *могучей* земли, *могучей* болѣе всего вѣрою и внутреннею жизнію, смиреніемъ и тишиною, Петръ захотѣлъ образовать могущество и славу *земную*, захотѣлъ, слѣдовательно, оторвать Русь отъ родныхъ источниковъ ея жизни, захотѣлъ толкнуть Русь на путь Запада—путь ложный и опасный». Благодареніе Богу, что только одна часть Руси оставила путь смиренія,—но эта часть сильна и богата, и отъ нея зависитъ другая, «не измѣнившая вѣрѣ и землѣ родной»... Историки (какъ г. Соловьевъ) говорятъ, что Петръ былъ только продолжателемъ, что заимствованія отъ иностранцевъ дѣлались и прежде. Дѣйствительно, заимствованія дѣлались и прежде: при истинно-христіанскомъ взглядѣ русскаго народа на другіе народы (объ этомъ взглядѣ было сейчасъ говорено), русскому народу, по словамъ Аксакова, естественно было принимать «все хорошее»: такъ при Димитріѣ Донскомъ принято огнестрѣльное оружіе (вещь очень хорошая для истинно-христіанскаго народа), при Іоаннѣ IV—книгопечатаніе, при Θεодорѣ—даже внутреннее военное устройство. Но Петръ все-таки былъ не продолжателемъ: прежде брали полезное, не заимствуя чужой жизни, а Петръ сталъ принимать все, не только полезное и общечеловѣческое, но частное и національное, самую иностранную жизнь, перемѣняя на иностранный ладъ всю систему управленія, образъ жизни, одежду, самый языкъ,—такъ, что «даже самое полезное, что принимали въ Россіи и до Петра, непременно стало не свободнымъ заимствованіемъ, а рабскимъ подражаніемъ». Къ этому присоединилось насиліе, вслѣдствіе котораго реформа стала настоящимъ переворотомъ, *революціей*.

Въ другомъ мѣстѣ (въ разборѣ I-го тома Исторіи г. Соловьева) Аксаковъ предлагаетъ свое дѣленіе русской исторіи на періоды по столицамъ (кіевскій періодъ, владимірскій, московскій, петербургскій) и слѣдующимъ образомъ характеризуетъ послѣдній, петербургскій періодъ. «Государство совершаетъ переворотъ, разрываетъ союзъ съ Землею и подчиняетъ ее себѣ, начиная новый порядокъ вещей. Оно спѣшитъ построить новую столицу, *свою*, не имѣющую ничего общаго съ Россією, никакихъ русскихъ воспоминаній. Измѣняя землѣ русской, народу, государство измѣняетъ и народности, образуется по примѣру Запада, гдѣ наиболѣе развилась государственность, и вводитъ подражательность чужимъ краямъ, западной Европѣ. Гоненіе на *все* (?)

русское. Люди государственные, люди служилые, переходят на сторону государства. Народъ, собственно простой народъ, остается при прежнихъ началахъ. Переворотъ сопровождается насиліемъ. Впослѣдствіи, переобразованные верхніе классы дѣйствуютъ соблазномъ разврата, выгодъ и преимуществъ на простой народъ; отъ него по одиночкѣ отстаютъ и переходятъ на враждебную сторону, но весь народъ, въ цѣломъ, остается тотъ же. Россія раздѣлилась на двое и на двѣ столицы. Съ одной стороны, государство съ своей иностранной столицей Санкт-Петербургомъ; съ другой стороны, земля, народъ, съ своей русской столицей Москвой». Затѣмъ, дальнѣйшія отношенія Государства и Земли опредѣляются такъ: «Нашествіе Наполеона на Государство и Землю русскую. Государство, въ смятеніи, обращается къ Землѣ и къ Москвѣ; и проситъ о помощи. Москва принимаетъ ударъ. Москва и Земля спасаютъ и себя и Государство. Несмотря на то, полный плѣнъ нравственный, подъ игомъ Запада, верхнихъ классовъ, примыкающихъ къ Государству. Наконецъ, наступаетъ борьба. Москва начинаетъ и продолжаетъ дѣло нравственного освобожденія... Русская мысль начинаетъ освобождаться изъ плѣна; *вся* (?) дѣятельность ея въ Москвѣ и изъ Москвы,—и окончаніе долгаго испытанія, а вмѣстѣ и торжество и возникновеніе истинной Руси и Москвы, кажется, приближается... Главное, существенное дѣло — нравственная духовная свобода. Она возникаетъ»¹⁾.

Въ приведенныхъ мнѣніяхъ, кажется, сильнѣе, чѣмъ гдѣ-либо, высказанъ славянофильскій взглядъ на реформу. «Петербургскій періодъ» былъ предметомъ оживленныхъ споровъ между славянофилами и ихъ противниками, и послѣдніе собрали много опроверженій страннаго историческаго взгляда. Должно, впрочемъ, сказать, что защитники реформы съ своей стороны не были свободны отъ преувеличеній: восхваляя реформу, они доводили до крайности защиту государственности, и существенная заслуга славянофильства была въ томъ, что, выставя крайность противоположную, они заставили противниковъ ограничить свой панегирикъ реформы и внимательнѣе всмотрѣться въ ея достоинства и недостатки.

Тѣмъ не менѣе, славянофильскій взглядъ, въ его рѣшительной формѣ у Аксакова, безъ сомнѣнія, не выдерживаетъ критики. Здѣсь, какъ и въ другихъ случаяхъ, Аксаковъ строить произвольную систему, которая далеко не оправдывается фактами. Прежде всего, совершенно невѣроятной должна показаться съ

¹⁾ Сочин., стр. 23, 41—43, 49—50.

исторической точки зрѣнія такая необыкновенная «измѣна», какою Аксаковъ считаетъ петровскую реформу. Измѣна народности вовсе не такая легкая вещь, въ особенности для такого множества людей, которые пошли вслѣдъ за реформой. Петръ и его послѣдователи дѣйствительно отказались отъ многихъ обычаевъ, но русская народность не истощивалась, конечно, этими обычаями; иначе, это была бы слишкомъ ограниченная и жалкая народность. Другіе, напротивъ, думали, и справедливо, что Петръ не только не измѣнялъ русской народности, но былъ однимъ изъ лучшихъ ея выражений и раскрылъ новыя ея стороны, которыя не находили себѣ мѣста въ прежнемъ порядкѣ вещей... Многія его мѣры были насильственны, и во многихъ онъ не можетъ быть оправданъ; но другія крутыя нарушенія старины были неизбежно связаны съ самымъ свойствомъ его дѣла. Это дѣло было дѣйствительно переворотъ, революція, но эта революція, во-первыхъ, была необходима по всему ходу предшествующей исторіи, и подобные перевороты вообще не бываютъ чисто личнымъ дѣломъ одного человѣка; во-вторыхъ, революція произведена была самимъ представителемъ той власти, съ которой Земля вошла въ «свободное соглашеніе», которой предоставила полномочія, неограниченныя никакой «гарантіей», и которая по этому самому уже задолго передъ тѣмъ стала «самодержавной». Намъ кажется, что Аксаковъ не имѣлъ историческихъ основаній говорить объ «измѣнѣ».

Далѣе, состояніе до-петровской Россіи вовсе не было таково, какъ изображаетъ Аксаковъ. Онъ говоритъ о могуществѣ древней Россіи, основанномъ на «вѣрѣ» и «смиреніи», и о томъ, что Петръ стремился къ могуществу «земному», — точно въ самомъ дѣлѣ русскіе были какими-то новозавѣтными израильтянами или московское царство было царство небесное. Искренность и убѣжденіе Аксакова стоятъ внѣ всякаго сомнѣнія; у него эти слова были, конечно, простодушнымъ увлеченіемъ, у другого они показались бы несноснымъ фарисействомъ... Русь была благочестива, спора нѣтъ; но странно изображать ее народомъ, предназначеннымъ для цѣлей только «не-земныхъ». Если же говорить о ней съ обыкновенной человѣческой точки зрѣнія, то и благочестіе ея имѣло свои, и немалые недостатки, и могущество ея было очень условное: Петръ во-время укрѣпилъ ея матеріальныя силы, потому что иначе ей грозила серьезная опасность отъ ея европейскаго сосѣдства. Ошибочно также и то, что Россія и до Петра заимствовала у Европы все хорошее: напротивъ, какъ мы уже замѣчали, хорошее приходило въ очень небольшомъ количе-

ствѣ и очень поздно. Такъ довольно поздно принято огнестрѣльное оружіе; только черезъ сто лѣтъ послѣ изобрѣтенія Гуттенберга начали у насъ печатать книги, и т. д. Идя тѣмъ же шагомъ, старая Русь въ сто лѣтъ едва ли бы успѣла сдѣлать то, что сдѣлано было въ одно царствованіе Петра, и эта медленность, при быстромъ развитіи самой Европы, не могла не представлять большой опасности...

Болѣе умѣренные изъ славянофиловъ смотрѣли мягче на реформу, и хотя не одобряли насильственного нарушенія обычаевъ, переменъ столицы и т. д., но, собственно говоря, были довольны тѣмъ политическимъ могуществомъ, которое основано было Петромъ Великимъ. Самъ К. Аксаковъ съ удовольствіемъ указываетъ это внѣшнее могущество Россіи, которое считалъ «наградой за ея смиреніе». Славянофилы считали это могущество даже необходимымъ, для того, чтобы Россія, одна изъ славянскихъ племенъ создавшая сильное государство, могла спасти славянское начало. Противники славянофильства были, какъ замѣчено, не только убѣждены въ необходимости и естественности реформы, но полагали, что истинная русская народность и есть та самая, которая приняла въ себя реформу.

Прошло еще немного времени съ тѣхъ поръ, какъ велись споры о петербургскомъ періодѣ, и въ постановкѣ вопроса, если не ошибаемся, произошла значительная переменъ, и не въ пользу славянофильской точки зрѣнія. Теперь уже мало такихъ безусловныхъ защитниковъ реформы, какіе были въ сороковыхъ годахъ; но, съ другой стороны, едва ли кто рѣшится теперь также безусловно осуждать реформу, какъ осуждалъ Аксаковъ. Двѣ крайности сводятъ свои счеты, и главное, чтó служило къ ихъ взаимному ограниченію и извѣстному примиренію, было ближайшее изученіе эпохи. Исторія нашего XVIII-го столѣтія сдѣлала большой (конечно, относительно) успѣхъ съ того времени, когда писалъ Аксаковъ, и, къ удивленію, даже историки, склонные къ славянофильству или совсѣмъ славянофилы (назовемъ г. Бартенева, г. Ламанскаго и др.), начинаютъ находить во многихъ дѣятеляхъ XVIII-го вѣка столько русскихъ добродѣтелей, что онѣ уже не вязались съ прежней славянофильской характеристикой «петербургскаго періода». Чѣмъ больше наши историки знакомятся съ событіями временъ Петра и съ самой его личностью, тѣмъ больше открываютъ въ самомъ Петрѣ чисто русскую, высоко-талантливую, свободную и часто необузданную натуру съ ея достоинствами и недостатками. Между прочимъ, начинаютъ

видѣть, что Петръ вовсе не былъ и такимъ врагомъ русскихъ обычаевъ, и, напротивъ, самъ перѣдко обнаруживалъ любовь къ нимъ ¹⁾. Стали измѣняться и понятія о цѣломъ XVIII-мъ вѣкѣ. Симпатіи XVI-го и XVII-го вѣка, которыя такъ сильны у Аксакова и славянофиловъ вообще, повидимому, начинаютъ совсѣмъ выдыхаться, и писатели новѣйшаго славянофильскаго оттѣнка какъ будто начинаютъ искать «добраго стараго времени» ближе, въ XVIII-мъ вѣкѣ, въ «кроткомъ» царствованіи Елизаветы, въ «мудромъ» и «славномъ» правленіи Екатерины. Словомъ, ближайшее изученіе исторіи, принявъ и переработавъ нѣкоторыя возраженія славянофильства противъ прежнихъ мнѣній, отвергаетъ, однако, самую теорію, и приводитъ къ новому взгляду, который едва ли не остается ближе къ прежнимъ взглядамъ—не славянофиловъ, а ихъ противниковъ.

Въ послѣдней цитатѣ Аксакова мы видѣли, какъ онъ понималъ возникновеніе и смыслъ самого славянофильства. Это было возрожденіе истинныхъ русскихъ началъ, исправленіе измѣны, совершенной при Петрѣ, начало новаго господства «внутренней правды». Это возрожденіе Аксаковъ представляетъ исходящимъ отъ той же Москвы, которая въ лучшую эпоху была государственнымъ и нравственнымъ центромъ Россіи.

Это объясненіе источника и начала самого славянофильства совершенно совпадало съ мнѣніями всѣхъ послѣдователей школы, точно также, какъ предоставленіе рѣшающей роли — Москвѣ. Славянофилы съ давнихъ поръ старались присвоить своему направленію это московское происхожденіе. Имъ также давно отвѣчали, что названіе невѣрно, потому что въ той же Москвѣ, рядомъ съ славянофильствомъ, развивалось и совершенно противоположное направленіе, что въ Москвѣ же издавались журналы, проповѣдывавшіе «западныя» теоріи, что Москвѣ, наравнѣ съ Петербургомъ, принадлежали лучшіе представители школы, ставившей совершенно иначе вопросъ русскаго просвѣщенія.

Это пристрастіе къ Москвѣ было понятно. Если въ старыя времена Москва была палладіумомъ истинныхъ русскихъ началъ, теоретически слѣдовало, что и теперь изъ нея должно исходить ихъ возрожденіе. Съ любовью къ Москвѣ естественно связывается вражда къ Петербургу. Ненавистный Петербургъ есть городъ нѣ-

¹⁾ См., напримѣръ, Записки Неплюева.

мецкій, оторванный отъ настоящей Россіи и чужой для нея; это— плодъ и сѣдалище измѣны.

Это особенное пристрастіе къ Москвѣ вмѣстѣ съ тѣмъ выдаетъ слабую сторону славянофильства. Едва ли можно сомнѣваться, что славянофильство есть московскій партикуляризмъ, который оно хотѣло распространить на общія основанія русской жизни. Большинство славянофиловъ прежней эпохи были москвичи, обжившіеся въ Москвѣ, и ревниво оберегавшіе ея достоинство отъ притязаній новой столицы. Москва дѣйствительно во многомъ не похожа на Петербургъ; тамъ цѣлы были пенаты старой русской жизни, которые продолжали привлекать народное благочестіе; жизнь и нравы были болѣе свободны, или распущенно-лѣнивы, чѣмъ въ административномъ и слишкомъ военномъ Петербургѣ; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, первопрестольная столица во многихъ отношеніяхъ стала городомъ провинціальнымъ, и этого не могли вынести московскіе патріоты. Съ ихъ отвлеченной склонностью къ старинѣ, которой Москва оставалась во многомъ представительницей, соединялось ревнивое желаніе поддержать достоинство Москвы, которой пришлось «главой склониться» передъ новой столицей. Оставалось отвергать всячески Петербургъ.

Но, при хладнокровномъ разборѣ дѣла, не трудно видѣть, что притязанія московскаго партикуляризма не имѣютъ достаточнаго основанія. Самъ Аксаковъ, вздумавши дѣлить исторію Россіи по столицамъ, нашель, что, въ теченіе этой исторіи, Россія имѣла не меньше *четырехъ* столицъ (хотя послѣднюю онъ и считалъ измѣннической и незаконной). И эти столицы дѣйствительно имѣли свое значеніе: каждое передвиженіе столицы означало, что происходило извѣстное передвиженіе самого національнаго центра тяжести. Но странно, что Аксаковъ, объясняя, почему столица перешла изъ Кіева на сѣверъ (во Владиміръ), а потомъ болѣе на западъ (въ Москву), не могъ объяснить, почему она подвинулась еще на сѣверо-западъ, въ Петербургъ,—между тѣмъ какъ и для этого послѣдняго были свои причины въ исторической логикѣ. Правда, по частнымъ условіямъ мѣстность была неудачная,—климатъ Петербурга тяжелый и вредный; столица была поставлена въ то время на самомъ краю государства,—но для новаго петровскаго государства нужно было имѣть столицу ближе къ западу, для цѣлей государственной защиты и цѣлей образованія; нужна была и близость къ морю для развитія несуществовавшей прежде морской силы. Эти ближайшія основанія въ свое время имѣли достаточную убѣдительность. Но перенесеніе столицы имѣло и болѣе глубокій національный смыслъ. Говорятъ,

что Петръ долженъ былъ оставить Москву, которая олицетворяла собой старую національно-исключительную традицію, и основать новую столицу, гдѣ бы его дѣла не останавливали воспоминанія московскаго царства. И дѣйствительно, времена московскаго царства проходили, и для національной жизни наступалъ новый періодъ. Какъ въ прежнемъ развитіи, кievскій, владимірскій и московскій періодъ представляли особый оттънокъ національной жизни, и, напpимѣръ, въ московское время самая національность русская имѣла уже иной характеръ, чѣмъ въ періодъ кievскій, такъ и въ «петербургскій періодъ» само національное цѣлое измѣнялось. Новое громадное развитіе государства вводило новыя національныя стихіи, начинался процессъ новой политической и національной ассимиляціи, и въ результатѣ образовался новый національный типъ, которому странно было бы и невозможно навязывать исключительно московскій чеканъ. Въ петербургскій періодъ государство пріобрѣло южный край нынѣшней Россіи, юго-западные и сѣверо-западные русско-польскія провинціи, остзейскій край, Польшу и т. д. Въ національный составъ вступали элементы, присутствіе которыхъ не могло на немъ не отразиться; почти всѣ изъ этихъ новыхъ элементовъ естественнѣе примыкали къ Петербургу, чѣмъ примыкали бы къ Москвѣ съ прежнимъ ея исключительнымъ характеромъ: типъ собственно великорусскій, какъ типъ все-таки мѣстный, въ новомъ періодѣ переставалъ быть исключительной основой государства, и Петербургъ представлялъ собой сліяніе частныхъ народностей въ болѣе широкое національное, общерусское цѣлое.

Странно говорить о томъ, что исторія «петербургскаго періода», принеся указанную перемѣну въ національномъ бытіи, не была только личнымъ дѣломъ Петра и слѣдствіемъ его произвола. Геніальная личность можетъ многое, но не все. Обвиненія Аксакова противъ Петра и «петербургскаго періода» доходятъ до ребяческаго упорства и совершеннаго непониманія исторіи. Если Аксаковъ и другіе славянофилы съ нѣкоторой гордостью называли свое направленіе московскимъ; то гордость ихъ была заблужденіемъ, потому что эта характеристика и означала именно односторонность школы. Чтобы быть истинно народнымъ и русскимъ, направленію не нужно было быть непремѣнно и исключительно московскимъ; напротивъ, въ истинно-народномъ направленіи московскій элементъ могъ и долженъ былъ войти только какъ одна изъ его составныхъ частей: это былъ старый *мѣстный* элементъ, историческая роль котораго была уже исполнена,

и въ новой исторіи русской національности онъ могъ занять только относительное мѣсто ¹⁾).

Въ томъ литературномъ періодѣ, о которомъ мы теперь говоримъ, еще не успѣли высказаться послѣдствія этой московской односторонности. Но въ новѣйшее время, когда представилось больше случаевъ примѣненія теоріи къ дѣйствительной жизни, эта односторонность не замедлила обнаружиться: таково было отношеніе «московскаго» направленія къ украинофильству, гдѣ первое отнеслось недружелюбно къ движенію, имѣвшему такой же народный смыслъ, но уже не московскій. Славянофильство встрѣтилось съ украинофильствомъ не какъ истинно-русское *народное* направленіе, — которое должно бы съ радостью привѣтствовать эти признаки мѣстнаго народнаго оживленія, каковы бы ни были его частныя видоизмѣненія, — а чисто какъ московскій исключительный партикуляризмъ. Печальнымъ образомъ славянофильству пришлось говорить въ одинъ голосъ съ «Моск. Вѣдомостями». А что такое были «Моск. Вѣдомости» — это извѣстно... Произошли недоразумѣнія и въ отношеніяхъ къ славянству: оказалось, что это послѣднее понимало свои связи съ русскимъ народомъ не совсѣмъ такъ, какъ хотѣли бы московскіе славянофилы; оно вовсе не думало, что его, славянская, народность можетъ спастись только обращаясь въ московскую народность... Оказались недоразумѣнія и въ толкованіи внутреннихъ вопросовъ. Древне-московская окраска славянофильскихъ мнѣній, самыхъ народолюбивыхъ и свободолюбивыхъ, дѣлала то, что этимъ мнѣніямъ все-таки нельзя было сочувствовать вполне: въ нихъ оставались черты, не только ослаблявшія ихъ дѣйствіе, но и вредившія самой ихъ сущности...

Какая же была та программа, по которой славянофилы располагали примѣнять свои начала?

До-сихъ-поръ мы имѣли дѣло почти только съ чисто-теоретическими соображеніями. Славянофильство, разсматривая современное состояніе просвѣщенія и изучая русскую древность, приходило къ убѣжденію о противоположности или чрезвычайномъ различіи началъ быта и просвѣщенія на Востокѣ и на Западѣ,

¹⁾ Аксаковъ утверждаетъ, что въ новѣйшемъ (которое онъ считаетъ славянофильскимъ) возрожденіи русской мысли *вся* дѣятельность идетъ въ Москвѣ и изъ Москвы. Напротивъ, съ XVIII-го вѣка и до сей минуты лучшіе дѣятели русской мысли являлись положительно изъ всѣхъ концовъ Россіи, а многіе изъ нихъ не имѣли никогда ни малѣйшаго отношенія собственно къ Москвѣ: Ломоносовъ, Державинъ, Крыловъ, Кольцовъ, Гоголь; Пушкинъ гораздо больше связанъ съ Петербургомъ, и т. п.

и о необходимости для Россіи возвратиться къ истиннымъ началамъ ея древняго просвѣщенія. Этотъ теоретическій и историческій выводъ былъ существеннымъ результатомъ славянофильской дѣятельности въ описываемомъ періодѣ. За этой задачей славяно-фила еще не успѣли развить подробностей своего взгляда въ частныхъ примѣненіяхъ; съ другой стороны, при тогдашнемъ положеніи литературы, они могли встрѣтить къ этому и внѣшнія препятствія. Такимъ образомъ болѣе ясная программа ихъ мнѣній опредѣляется только вполсѣдствіи. Поэтому, ограничиваясь по возможности только описываемымъ періодомъ, мы приведемъ лишь нѣсколько примѣровъ ихъ общественно-практическихъ мнѣній.

Какъ скоро рѣшена была необходимость возвращенія къ старымъ русскимъ началамъ, являлся вопросъ: какимъ образомъ можетъ быть совершено это возвращеніе? Славянофилы отвѣчали на этотъ вопросъ болѣе или менѣе сходно, хотя очень неопредѣленно. Кирѣевскій чувствовалъ серьезность и трудность вопроса, и не одинъ разъ къ нему возвращается. Въ своей статьѣ 1845 года, онъ разбираетъ два существовавшія мнѣнія о томъ, какъ можетъ быть доставлена зрѣлость и значительность нашей литературѣ, или вообще нашей образованности. Одни думали, говорить онъ, что «полнѣйшее усвоеніе иноземной образованности можетъ современемъ пересоздать всего русскаго человѣка, какъ оно пересоздало нѣкоторыхъ пишущихъ и не-пишущихъ литераторовъ», что «развитіе нѣкоторыхъ основныхъ началъ должно измѣнить нашъ коренной образъ мыслей, переименовать наши нравы, наши обычаи, наши убѣжденія, *изгладить нашу особенность* (?) и такимъ образомъ сдѣлать насъ европейски-просвѣщенными». Предполагается, конечно, что это было мнѣніе западной партіи. «Стоитъ-ли опровергать такое мнѣніе?» спрашиваетъ Кирѣевскій, и возражаетъ, что особенность умственной жизни народа уничтожить невозможно, какъ невозможно и замѣнить литературными понятіями коренныя убѣжденія народа, — или, еслибъ это было возможно, это означало бы уничтоженіе самого народа. Притомъ, «мысль, вмѣсто началъ нашей образованности ввести у насъ начала образованности европейской, уже и потому уничтожаетъ сама себя, что въ конечномъ развитіи просвѣщенія европейскаго *нѣтъ начала господствующаго*. Одно противорѣчитъ другому, взаимно уничтожаясь». Если есть въ западной образованности нѣсколько живыхъ истинъ, то эти истины не европейскія, потому что онѣ противорѣчатъ всѣмъ результатамъ европейской образованности,—это сохранившіеся остатки христіанскихъ истинъ, и потому принадлежать болѣе намъ, чѣмъ Западу,

потому, что мы приняли христіанство въ его *чистѣйшемъ видѣ*. Поклонники Запада можетъ быть и не подозрѣваютъ этихъ нашихъ началъ, смѣшивая въ нашемъ просвѣщеніи существенное съ случайнымъ, собственное съ искаженіями чужихъ вліяній: татарскихъ, польскихъ, нѣмецкихъ и проч. Наконецъ, европейскія начала, привитыя къ нашей жизни, способны произвести на этой чуждой имъ почвѣ только жалкую каррикатуру просвѣщенія: это было бы послѣднее дѣло. Кирѣевскій указываетъ затѣмъ другое мнѣніе, противоположное безотчетному поклоненію передъ Западомъ и столько же одностороннее, хотя гораздо меньше распространенное: оно состоитъ въ столь же безотчетномъ поклоненіи прошедшимъ формамъ нашей старины, и въ той мысли, что европейское просвѣщеніе когда-нибудь изгладится изъ нашей памяти развитіемъ нашей особенной образованности. Это послѣднее мнѣніе Кирѣевскій находитъ болѣе логическимъ потому, что оно основывается на уваженіи къ нашей старинной образованности, на сознаніи ея противорѣчія съ западнымъ просвѣщеніемъ и несостоятельности этого послѣдняго. Тѣмъ не менѣе, Кирѣевскій не соглашается и съ этимъ вторымъ мнѣніемъ, потому, говоритъ онъ, что прошедшія формы нашей образованности были все-таки частныя, преходящія формы, а слѣдовательно невозвратимы болѣе; далѣе потому, что мы уже не можемъ забыть разъ приобрѣтенной западной образованности, и еслибъ забыли, то когда-нибудь должны были бы возвратиться къ ней еще разъ, и наконецъ потому, что это мнѣніе «отрѣзываетъ насъ отъ всякаго участія въ общемъ дѣлѣ умственнаго бытія человѣка»; такъ какъ западная образованность все-таки наслѣдовала всѣ плоды прежней умственной жизни человѣчества. — Собственный взглядъ Кирѣевскаго заключается въ томъ, что мы, не отвергая результатовъ западнаго просвѣщенія, должны *подчинять* его истинному началу нашей жизни. Онъ объясняетъ это такимъ силлогизмомъ: «Если европейское просвѣщеніе въ самомъ дѣлѣ ложное, если дѣйствительно противорѣчитъ началу истинной образованности, то начало это, какъ истинное, должно не оставлять этого противорѣчія въ умѣ человѣка, а напротивъ, принять его въ себя, оцѣнить, поставить въ свои границы, и подчинивъ такимъ образомъ собственному превосходству, сообщить ему свой истинный смыслъ. Предполагаемая ложность этого просвѣщенія нисколько не противорѣчитъ возможности его подчиненія истинѣ». Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ: «Одинъ изъ самыхъ прямыхъ путей къ уничтоженію вреда отъ образованности иноземной, противорѣчащей духу просвѣщенія христіанскаго, былъ бы, конечно,

тотъ, чтобы развитіемъ законовъ самобытнаго мышленія подчинить весь смыслъ западной образованности господству православно-христіанскаго убѣжденія»¹⁾.

Такъ характеризуетъ Кирѣевскій положеніе вопроса въ нашей литературѣ. Насколько вѣрно опредѣлялъ онъ существующія мнѣнія? Первое изъ указанныхъ имъ мнѣній есть, конечно, мнѣніе тогдашнихъ «западниковъ», второе — мнѣніе «Маяка». Это послѣднее онъ находитъ «болѣе логическимъ» — потому что Кирѣевскаго соединяло съ «Маякомъ» общее уваженіе къ старинѣ и убѣжденіе въ ложности западнаго просвѣщенія. Но надо припомнить себѣ мнѣнія этого полудикаго журнала, — который въ своемъ «логическомъ» уваженіи къ старинѣ дошелъ до того, что буквально пропагандировалъ вѣру въ вѣдьмъ и домовыхъ, — чтобы подивиться, какъ могъ Кирѣевскій говорить о немъ серьезно. Мнѣнія «западниковъ» переданы не совсѣмъ вѣрно, — потому что едвали кто-нибудь изъ нихъ говорилъ, будто «развитіе нѣкоторыхъ основныхъ началъ» должно «изгладить нашу особенность». Не можемъ рѣшительно припомнить, чтобы кто-нибудь высказывалъ столь радикальную мысль, — хотя, конечно, многіе говорили, что образованіе должно измѣнить многое въ нашихъ понятіяхъ, въ нашихъ нравахъ и обычаяхъ, — именно то, что исходитъ отъ недостатка образованія, въ родѣ, напр., господствующаго донинѣ множества суевѣрій, не индифферентныхъ, но часто положительно вредныхъ, грубыхъ обычаевъ, и т. п., существующихъ даже въ тѣхъ классахъ, которые по матеріальному положенію могли бы имѣть средства къ образованію и смягченію нравовъ. Если западники говорили о приобрѣтеніи идей и стремленій «общечеловѣческихъ», то, конечно, никому изъ нихъ не приходило въ голову, что это должно «изгладить нашу особенность». Славянофилы вообще нерѣдко преувеличивали мнѣнія своихъ противниковъ, къ выгодамъ своей полемики, которая потомъ и гордилась опроверженіемъ заблужденій, — въ которыхъ обличаемые противники иногда нисколько не были виноваты. Впослѣдствіи, эти опроверженія между прочимъ послужили особой заслугой славянофильства, въ глазахъ его дальнѣйшихъ послѣдователей...

Естественно, что мнѣніе Кирѣевскаго о русской литературѣ было невысокое. «Произведенія нашей словесности — говорить онъ — какъ отраженія европейскіхъ, не могутъ имѣть интереса для другихъ народовъ, кромѣ интереса статистическаго, какъ пока-

¹⁾ Сочин. Кирѣевскаго, т. II, стр. 35—39, 331.

занія мѣры нашихъ ученическихъ успѣховъ въ изученіи ихъ образцовъ. Для насъ самихъ они любопытны какъ дополненіе, какъ объясненіе, какъ усвоеніе чужихъ явленій; но и для насъ самихъ, при всеобщемъ распространеніи знанія иностранныхъ языковъ, наши подражанія остаются всегда нѣсколько ниже и слабѣе своихъ подлинниковъ». Наши подражательныя упражненія почти даже вредны,—потому что, оставаясь безплодны для просвѣщенія общечеловѣческаго, «отдѣляютъ насъ отъ внутренняго источника отечественнаго просвѣщенія». Онъ дѣлаетъ впрочемъ исключеніе—для сильныхъ талантовъ: «Державинъ, Карамзинъ, Жуковский, Пушкинъ, Гоголь, хотя бы слѣдовали чужому вліянію, хотя бы пролагали свой особенный путь, всегда будутъ дѣйствовать сильно, могуществомъ своего личнаго дарованія, независимо отъ избраннаго ими направленія»¹⁾.

Это невысокое мнѣніе о русской литературѣ было справедливо вообще, потому что литература была дѣйствительно бѣдна. Таково было давно и мнѣніе противной стороны (Бѣлинскаго «Литературныя мечтанія», 1834), но послѣдняя отдавала себѣ болѣе вѣрный отчетъ о причинахъ бѣдности литературы. Дѣйствительно, русская литература, въ наибольшей долѣ своей, состояла изъ ученическихъ упражненій, но нѣсколько литературныхъ поколѣній и были для нея необходимой школой, чтобы ознакомиться, хотя въ общихъ чертахъ, съ содержаніемъ далеко опередившихъ ее европейскихъ литературъ. Необходимость школы не подлежитъ сомнѣнію. Вопросъ только въ томъ, насколько эта школа была успѣшна, оставалась ли литература на одномъ мѣстѣ или все-таки подвигалась впередъ? Безпристрастная историческая критика показываетъ, что движеніе было, что—въ существовавшихъ условіяхъ это движеніе было правильное и здоровое, какъ и свидѣтельствовалъ результатъ, — въ концѣ движенія явились писатели, какъ Пушкинъ и особенно Гоголь. Въ періодъ самаго сильнаго подражанія, въ чужихъ заимствованныхъ формахъ, сказывалось однако и чисто-русское содержаніе, и въ немъ больше и больше созрѣвала національная, самостоятельная мысль;—присутствія ея славянофилы не замѣчали, потому что чистой національностью считали національность своего теоретическаго изобрѣтенія. Кантемиръ, Ломоносовъ, Державинъ, фонъ-Визинъ, Озеровъ, Крыловъ, Грибоѣдовъ, Пушкинъ, Кольцовъ, Гоголь—въ этомъ рядѣ писателей только упрямое пристрастіе не захочетъ видѣть постепеннаго развитія общественныхъ понятій и націо-

¹⁾ Стр. 33.

нальнаго (хотя вовсе не славянофильскаго) сознанія. Наконецъ, передъ Гоголемъ преклонились и сами славянофилы.

Итакъ, Кирѣевскій полагалъ, что для возвращенія и водворенія истинной образованности мы должны *подчинить* европейское просвѣщеніе древнимъ началамъ нашей жизни, истинному греко-славянскому духу. Задача «подчиненія» казалась Кирѣевскому даже очень простою... Его мысль раздѣляли и другіе послѣдователи школы.

Въ «Московскомъ Сборникѣ» 1847 года, Константинъ Аксаковъ помѣстилъ (подъ псевдонимомъ «Имрекъ») нѣсколько критическихъ статей, предметомъ которыхъ послужили разныя произведенія «петербургской» литературы.

Приступая къ разбору повѣсти кн. Одоевскаго «Сиротинка», Аксаковъ замѣчаетъ: «Всегда съ невольнымъ горькимъ чувствомъ и съ негодованіемъ читаемъ мы такія повѣсти, гдѣ изображается (будто бы изображается) нашъ народъ; невыносимо тяжело и больно, когда какой-нибудь писатель, народу совершенно чуждый, совершенно отъ него оторванный, лицо отвлеченное, какъ все, что оторвано отъ народа, когда такой писатель, полный чувства своего мнимаго превосходства, вдругъ снисходительно заговорить о народѣ, могущественномъ хранителѣ жизненной великой тайны, во всей силѣ своей самобытности предстоящемъ предъ нами, легко и весело съ нимъ разставшимися. Писатель не трудится надъ тѣмъ, чтобы узнать, понять его; для него узнавать и понимать въ немъ нечего; ему стоить только снизойти написать о немъ. Противно видѣть, когда онъ, для вѣрнѣйшаго изображенія, прибѣгаетъ къ народному будто бы оттѣнку рѣчи, къ народнымъ выраженіямъ, дошедшимъ до его слуха чрезъ переднюю и гостинную. Такой умышленный маскарадъ, такая милостивая поддѣлка, особенно когда пишутъ для народа, оскорбительна. Въ такомъ родѣ и повѣсть кн. Одоевскаго...» ¹⁾. Эта повѣсть, описывающая, какъ сирота Настя, взятая изъ деревни барыней, и получивши образованіе въ столичномъ пріютѣ, возвращается въ деревню и распространяетъ въ ней цивилизацію, — дѣйствительно въ такомъ родѣ, и Аксаковъ вѣрно выставляетъ всю фальшивость того отношенія къ народу, которое обнаруживаетъ здѣсь кн. Одоевскій. Конечъ, какъ и начало разбора, опять приходитъ къ славянофильской темѣ: «Сколько людей, именно въ наше время, именно въ нашей землѣ, такихъ, которые оторвались отъ народа, отъ естественной тяжести союза съ нимъ, умѣряющей и утверж-

¹⁾ „Моск. Сборн.“, Крит., стр. 4.

дающей шаги человѣка, дающей ему дѣйствительность, и пошли летать и носиться, полные гордости и снисхожденія, — такихъ людей, которые, будучи одѣты въ европейское платье и заглянувъ въ европейскія книги, выучившись болтать на чужомъ языкѣ и приходить, какъ слѣдуетъ, въ заемный восторгъ отъ итальянской оперы, подходить съ указкою къ бѣдному необразованному народу и хотять чертить путь его народной и внутренней и внѣшней жизни. Хотя бы они поглотили въ самомъ дѣлѣ всю европейскую мудрость, но если они оторваны отъ народа и хотять оставаться въ этой оторванности, въ этомъ попутайномъ развитіи, если они свысока смотрять на него, — они ничтожны».

По поводу поэмы г. Майкова «Двѣ судьбы», Аксаковъ такъ объясняетъ страшную апатію, господствующую въ образованномъ русскомъ обществѣ, и на которую жалуется герой поэмы. «Что въ нашемъ поколѣніи есть апатія — это правда; но понятна тому причина. Такою апатіею и блѣдностію, такимъ жалкимъ эгоизмомъ — съ одной стороны животнымъ и безчувственнымъ, съ другой — идеальнымъ, сухимъ, иногда тоже довольнымъ красивою своею позою, иногда, у болѣе живыхъ людей, возмущаемымъ чрезъ сомнѣніе, вопросъ, желаніе чего-то лучшаго, — этою апатіею и эгоизмомъ казнятся люди русскіе за презрѣніе къ народной жизни, за оторванность отъ русской земли, за аристократическую гордость просвѣщенія, за исключительность присвоеннаго права называть себя настоящимъ и отодвигать въ прошедшее всю остальную Русь. Спѣсивое невѣжество протівополагають они всей древней, всей остальной, и прежней, и нынѣшней Руси, — гордость учениковъ, ставящихъ себя, въ свою очередь, въ учителя. Мы похожи на растенія, обнажившія отъ почвы свои корни: мы сохнемъ и вянемъ. Но насъ спасаетъ глубокая сущность русскаго народа, — тотъ виноватъ самъ, кто не обратится къ ней...» ¹⁾).

¹⁾ Тамъ же, стр. 40 — 41. Эти взгляды Аксакова повторяетъ г. Костомаровъ (въ указанной брошюрѣ, стр. 4—6), объясняя, что реформа, собственно говоря, произвела у насъ двѣ народности: одна была старая, другая новая, — „народность Евгенія Онѣгина“, оторванная отъ народа съ своимъ легкимъ, пустымъ и безплоднымъ образованіемъ. „Извѣстно, до чего доживаетъ наконецъ Евгеній Онѣгинъ, — говоритъ г. Костомаровъ. Убийственная тоска, доходящая почти до сумасшествія, снѣдаетъ его; еще юный, здоровый, полный силъ, неудовлетворенной жажды дѣятельности, безъ сознанія путей, куда бы можно обратить эту дѣятельность, Онѣгинъ завидуетъ тульскому заседателю, страдающему параличемъ. Почти до такого же состоянія дошла и русская мысль (?), и съ нею русская наука. И хотѣла-было она обратиться къ покинутой, отвергнутой, презрѣнной старой народности, когда западные учителя позволили ей уважать то, что сдѣлалось достояніемъ черни; да не давалась ей эта народность, какъ отвергнутая Татьяна Онѣгину, когда, презрѣвши деревенскую дѣвушку, онъ началъ на нее глядѣть иными глазами, коль скоро другіе стали уважать въ ней знатную барыню“.

Положеніе нашей образованности, вообще довольно печальное по его внѣшнимъ условіямъ, было бы дѣйствительно еще печальнѣе, еслибы оно было таково, какъ описываетъ К. Аксаковъ, т.-е., если бы къ его внѣшнимъ тягостямъ присоединился еще тяжелый грѣхъ такого полнаго забвенія о народѣ и непониманія его. Къ счастью, это было не совсѣмъ такъ, и обвиненіе, бросаемое славянофилами; справедливое относительно однихъ сторонъ этой образованности и однихъ ея представителей, глубоко несправедливо относительно другихъ. Жизнь и литература со временъ Петра, представляли въ средѣ «образованнаго» общества нѣсколько различныхъ теченій, — смѣшивать которыя было бы противно самымъ элементарнымъ требованіямъ исторіи. Были дѣйствительно и есть до сихъ поръ люди, къ которымъ были вполне приложимы обвиненія Аксакова, — люди, оторвавшіеся отъ народа, относившіеся къ нему съ пренебреженіемъ и презрѣніемъ, люди, нахватавшіе вершковъ познаній и внѣшняго лоска европейской моды, и нравственно совершенно ничтожные. Это было въ особенности — почти исключительно — богатое барство, избалованное, лѣнивое и испорченное. Но и въ средѣ этого барства были люди, которымъ вѣроятно и славянофильская нетерпимость не откажетъ въ заслугахъ національному нравственному интересу, — люди, задававшіе себѣ вопросы о томъ просвѣщеніи, благодаря которому могла только возникнуть и самая мысль объ обращеніи къ народу, и благодаря которому явились первыя средства историческаго изученія (назовемъ хоть Шувалова, Бецаго, Румянцева и т. д.). У этихъ людей были, безъ сомнѣнія, недостатки вѣка, сословія, недостатки личные, но несправедливо было бы отвергать у нихъ общественныя стремленія, заслуживающія похвалы. Мы упоминали выше, что въ настоящее время историки, съ славянофильскимъ оттѣнкомъ, начинаютъ все больше и больше отыскивать въ XVIII-мъ столѣтіи «русскихъ людей», именно въ той средѣ «петербургскаго періода», которую поголовно осуждалъ Аксаковъ. Дѣйствительно, отрываясь отъ народа характеромъ своего образованія, быта и нравовъ, люди этой среды умѣли понимать другіе національные интересы, напримѣръ, интересы внѣшней политики; этимъ оторваннымъ отъ народа людямъ, между прочимъ, принадлежитъ своя заслуга въ дѣлѣ внѣшняго распространенія и усиленія государства. И если въ этой, самой отдаленной отъ народа, самой избалованной и эгоистической средѣ «петербургскаго періода» была возможность подобныхъ явленій, то надобно думать, что вина оторванности отъ народа лежала не въ однихъ условіяхъ образованности, а въ обстоятельствахъ иного рода, и

болѣ сложныхъ... Но внѣ испорченнаго барства, между людьми практически связанными съ народомъ, и въ литературѣ странно не видѣть той связи съ народомъ, которую такъ рѣшительно отвергаютъ славянофилы. Въ среднемъ образованномъ классѣ и даже въ высшемъ старые нравы были гораздо сильнѣе, чѣмъ думалъ К. Аксаковъ; мы убѣждаемся въ этомъ постоянно, перечитывая записки людей XVIII-го вѣка; эти нравы были сильны даже въ началѣ нынѣшняго столѣтія... Не видѣть связи съ народомъ въ литературѣ также было бы совершенно ошибочно: неужели былъ чуждъ народу Ломоносовъ, Новиковъ, Радищевъ въ XVIII-мъ столѣтіи? Писатели, еще съ XVIII-го вѣка начавшіе говорить о свободѣ и облегченіи для народа, умѣвшіе говорить народнымъ языкомъ; люди нашего столѣтія,—положимъ мечтатели, но стремившіеся къ тому же освобожденію, и всѣмъ рисковавшіе для своихъ идей,—только съ крайней несправедливостью могутъ быть названы чуждыми народу и отнесенными въ категорію «народности Евгенія Онѣгина». Должно замѣтить притомъ, что «Онѣгинъ», котораго такъ часто принимаютъ за типъ своего поколѣнія, на дѣлѣ вовсе не есть полный характеръ въ этомъ смыслѣ; если современники высказывали такое мнѣніе объ Онѣгинѣ, то они дополняли въ своемъ воображеніи черты, недосказанныя писателемъ, объясняя разочарованіе и всеобщее сомнѣніе Онѣгина тѣмъ подавленнымъ состояніемъ общества, которое живо чувствовалось лучшими людьми. Вообще Онѣгина понимали серьезнѣе и глубже, чѣмъ сколько слѣдовало изъ его изображенія у Пушкина ¹⁾. Объ этомъ забываютъ тѣ, кто повторяетъ теперь мнѣніе объ Онѣгинѣ, какъ типѣ цѣлаго поколѣнія. Если рядомъ съ Онѣгинымъ поставить Чацкаго, то это одно объяснить, что содержаніе разочарованности было въ обществѣ гораздо серьезнѣе, чѣмъ сколько умѣлъ выразить Пушкинъ въ своемъ героѣ. Взятый какъ онъ есть, Онѣгинъ въ самомъ дѣлѣ даетъ невысокое понятіе о представляемомъ имъ поколѣніи; и если онъ совершенно вѣренъ, какъ частный типъ, то не все поколѣніе было таково, и обратившись къ двадцатымъ годамъ, о которыхъ здѣсь должна идти рѣчь, мы найдемъ цѣлый кругъ людей, которыхъ невозможно обвинить въ мелкомъ, балованномъ разочарованіи, и которыхъ напротивъ отличалъ искренній, благородный, хотя и мечтательный энтузіазмъ. Чтó же было въ основѣ этого энтузіазма, какъ не чувство народного блага и освобожденія?

¹⁾ Известны продолжительныя хлопоты нашей эстетической критики съ объясненіемъ этого „типа“.

Правда, въ сравненіи съ массой общества этотъ кругъ былъ не великъ; но это вовсе не причина забывать его въ исторіи общества—потому что онъ оставилъ за собой нравственное вліяніе; къ сожалѣнію, и до сихъ поръ, говоря о лучшихъ стремленіяхъ общества, мы должны понимать кругъ людей, все еще весьма не обширный. Но самая масса, конечно, никогда не страдала ни онѣгинскимъ, ни какимъ другимъ разочарованіемъ.

Истинная причина разочарованія, апатіи,—въ которыхъ Аксаковъ видѣлъ казнь за оторванность отъ народа,—состояла вовсе не въ этой оторванности, а именно въ томъ, что для лучшихъ людей, горячо желавшихъ служить общественному и народному благу, въ существовавшихъ условіяхъ не представлялось никакой возможности осуществить своего желанія. Самое желаніе внушалось естественнымъ патріотическимъ чувствомъ, подъ вліяніемъ идей, развитыхъ европейскимъ образованіемъ, и причина разочарованія лежала именно въ сознаніи, что достиженіе цѣли невозможно, и отсюда слѣдовалъ разрывъ не съ народомъ, а съ существующими формами общественнаго быта и выросшими изъ нихъ нравами, съ бюрократическимъ и другимъ гнетомъ, которые не давали никакого исхода этимъ зарождавшимся стремленіямъ. Такъ (если ограничиться однимъ, довольно простымъ и яснымъ примѣромъ), давнишней цѣлью, къ которой стремилась мыслящая часть общества, было освобожденіе крестьянъ. Самая идея, истекавшая изъ желанія народнаго блага и чувства чело-вѣческаго достоинства, развивалась безъ сомнѣнія подъ сильнымъ вліяніемъ освободительной философіи прошлаго столѣтія; эта идея не свидѣтельствовала о нравственной оторванности отъ народа, но въ концѣ концовъ легко могла привести къ разочарованію и апатіи,—потому что при условіяхъ, существовавшихъ до самаго нашего времени, служеніе этой идеѣ было неосуществимо. И гдѣ же были всѣ препятствія къ ея осуществленію? Конечно, въ господствовавшихъ учрежденіяхъ и созданныхъ ими нравахъ: съ ними и разрываетъ та часть общественнаго мнѣнія, которая представляла прогрессивное развитіе.

Приведенный примѣръ есть только одинъ частный случай изъ цѣлаго ряда подобныхъ противорѣчій. Это столкновеніе понятій, сообщенныхъ всѣмъ развитіемъ нашей образованности, съ данными формами жизни, и составляло причину разлада, наполнявшаго существованіе Онѣгиныхъ (въ указанномъ выше смыслѣ), Чацкихъ, «лишнихъ людей» и т. д. Въ этомъ смыслѣ разочарованіе, по нашему мнѣнію, могло бы овладѣть и славянофиломъ,

для котораго дѣятельность, въ смыслѣ своихъ идей, также бывала и бываетъ не весьма удобна...

«Но они относились къ народу все-таки свысока, они не проникались его началами, и ихъ представленія о народѣ, занятыя отъ Запада, были отвлеченныя, лишеныя жизненнаго значенія»,—такъ могутъ возразить славянофилы. Нечего спорить, что въ частныхъ мнѣніяхъ могли быть ошибки, какъ были онѣ и въ славянофильскомъ патріотизмѣ;—но если возраженіе сводится къ вопросу, почему эти люди не были славянофилами, то отвѣтъ на это простой,—потому, что они иначе смотрѣли на исторію, не имѣли охоты къ мистическимъ теоріямъ, считая ихъ безплодными, и имѣли въ виду тѣ прямыя препятствія народному развитію, которыя были на лицо и оказывали вредъ въ самый настоящій моментъ народной жизни. Они чувствовали (славянофилы это забыли), что ихъ собственныя идеи были дѣломъ образованности, и потому интересъ образованности стоялъ для нихъ на первомъ планѣ. Не задаваясь отвлеченными системами, они думали, что какъ для высшихъ, такъ и для низшихъ классовъ есть одинаковые общіе интересы—извѣстное общественное освобожденіе и образованіе. Не принимая на себя рѣшать судьбы человѣчества чистыми русскими началами, они думали, что образованіе, состоящее въ усвоеніи научныхъ результатовъ, не только не можетъ стоять въ какомъ-нибудь противорѣчій съ народной сущностью, но что оно даже совершенно необходимо для того, чтобы эта сущность могла должнымъ образомъ опредѣлиться.

Самому критику «Московского Сборника» случилось встрѣтить и признать явленіе, которое не совсѣмъ походило на его теорію. Въ своихъ обличеніяхъ петербургской литературы, Аксаковъ язвительно нападалъ на г. Тургенева, за его первыя стихотворныя пьесы, и ставилъ его въ рядъ «пошлыхъ» (*ipsa verba* Аксакова) «петербургскихъ литераторовъ». Но въ то самое время, когда Аксаковъ печаталъ свои приговоры, явился «Хоръ и Калинычъ», первый изъ «Разсказовъ Охотника». Аксаковъ замѣтилъ «превосходный» разсказъ и оговорилъ его въ особомъ примѣчаніи: «Вотъ что значитъ прикоснуться къ землѣ и къ народу: въ мигъ дается сила!.. онъ прикоснулся къ народу, прикоснулся къ нему съ участіемъ и сочувствіемъ, и посмотрите, какъ хорошъ его разсказъ! Талантъ, таившійся въ сочинителѣ, скрывавшійся во все время, пока онъ силился увѣрить другихъ и себя въ отвлеченныхъ и потому небывалыхъ состояніяхъ души, этотъ талантъ въ мигъ обнаружился и какъ сильно и прекрасно, ко-

гда онъ заговорилъ о «другомъ» и пр.¹⁾ Спрашивается, какъ могло совершиться подобное превращеніе, откуда могло явиться это «сочувствіе» къ народу у «петербургскаго литератора», со-всѣмъ отпѣтаго? Первые пьесы г. Тургенева могли быть плохи, но, сколько извѣстно, въ промежутокъ между ними и «Записками Охотника» съ авторомъ не произошло никакой метаморфозы,—онъ оставался и тогда, и послѣ, человѣкомъ того же круга, тѣхъ же убѣжденій, того же направленія, по мнѣнію Аксакова совершенно пустого, оторваннаго отъ народа: какимъ же образомъ именно въ средѣ этого оторваннаго направленія могло явиться столь прекрасное сочувствіе къ народу, могло явиться произведеніе, приведшее въ такой восторгъ славянофильскаго критика? Понятно, что одно «прикосновеніе къ народу» не могло дать таланта (оно никакъ не дало его многимъ и въ томъ числѣ многимъ славянофильскимъ писателямъ и поэтамъ, хватавшимся за народъ): человѣкъ пустой, или съ превратными идеями, обращаясь къ народу, конечно, и здѣсь обнаружилъ бы пустоту своихъ понятій,—какъ славянофильскій критикъ показывалъ это на авторѣ «Сиротинки». Слѣдуетъ думать, что Аксаковъ не со-всѣмъ вѣрно понималъ осуждаемое имъ направленіе, что за отдѣльными недостатками его писателей онъ не видѣлъ его настоящихъ воззрѣній, его отношенія къ народу, и т. д. Славянофильскому критику трудно было сознаться, что возможность уразумѣнія и вѣрнаго изображенія народной жизни существуетъ и внѣ славянофильской школы, въ томъ самомъ направленіи, которое казалось этой школѣ безнадежно ложнымъ, вреднымъ, отступническимъ...

* Литературныя мнѣнія Хомякова въ своей сущности сходны съ тѣмъ, что мы видимъ у Кирѣевскаго и Аксакова; онъ настаиваетъ на тѣхъ же главныхъ темахъ, это—ложность господствующихъ литературно-общественныхъ взглядовъ, безсиліе нашего просвѣщенія, оторваннаго отъ народа, необходимость единства съ народомъ и народной точки зрѣнія. Было бы слишкомъ длинно собирать въ одно цѣлое эти мнѣнія, разбросанныя въ различныхъ статьяхъ Хомякова, печатанныхъ въ «Москвитинѣ», «Московскихъ Сборникахъ», потомъ въ «Бесѣдѣ» и др., тѣмъ больше, что Хомяковъ, писатель безъ сомнѣнія остроумный и съ обширной образованностью, въ своихъ разсужденіяхъ любилъ трактовать *de omni re scibili*, и его отдѣльныя мнѣнія трудно

¹⁾ „Моск. Сборн.“ 1847, Крит., стр. 38—39.

выбирать изъ цѣлой связи его рѣчи ¹⁾. Онъ постоянно возвращается къ одной темѣ, съ новыми подробностями, съ различныхъ сторонъ; избѣгая положительнаго, догматическаго изложенія (кромѣ его теологическихъ статей), касается всевозможныхъ частныхъ, бросаетъ мысли, задаетъ вопросы и т. д. Мнѣнія Хомякова были въ особенности парадоксальны, и иногда онъ ставилъ въ затрудненіе самую школу,—какъ, напр., въ своихъ возраженіяхъ на мнѣнія Кирѣевскаго о древней Руси.

Хомяковъ вообще обвиняетъ нашу образованность въ недостаткѣ національнаго сознанія, безъ котораго она и не имѣетъ силы. Западная образованность, перешедши къ намъ, отторгалась отъ жизни, которая ее произвела, и съ другой стороны не имѣла корней и у насъ. «Въ такомъ-то видѣ представлялось до сихъ поръ у насъ просвѣщеніе и общество, принявшее его въ себя; оба носили на себѣ какой-то характеръ колоніальный, характеръ безжизненнаго сиротства, въ которомъ всѣ лучшія требованія души невольно уступаютъ мѣсто эгоистическому самодовольству и эгоистической расчетливости». Наше отношеніе къ Европѣ есть робкое поклоненіе; мы «добродушно признаемъ просвѣщеніемъ всякое явленіе западнаго міра, всякую новую систему и оттѣнокъ системы,... всякій плодъ досуга нѣмецкихъ философовъ и французскихъ портныхъ», не осмѣливаемся даже робко спросить у Запада: все ли то правда, что онъ говоритъ, и все ли прекрасно, что онъ дѣлаетъ? Мнѣніе иностранцевъ о Россіи опредѣляется именно собственнымъ нашимъ преклоненіемъ передъ ними: «Наша сила внушаетъ зависть; собственное признаніе въ нашемъ духовномъ и умственномъ безсиліи лишаетъ насъ уваженія,—вотъ причина всѣхъ отзывовъ Запада о насъ».

Эти и подобныя разсужденія славянофиловъ вообще сильно преувеличены. Они могутъ быть вѣрны развѣ только относительно той части высшаго барства, о которой мы упоминали, которая, получая французское воспитаніе и пользуясь большими готовыми

¹⁾ Одинъ современникъ, давно знавшій Хомякова, отдавая должную похвалу его благородному и кроткому характеру, замѣчаетъ: ... „Хомяковъ былъ неумолимый (вѣроятно, неумоимый) спорщикъ, какихъ трудно найти. Не было предмета, о чемъ бы не вступалъ онъ въ словопреніе и, при необыкновенной памяти, будучи чрезвычайно начитанъ, всегда имѣлъ верхъ во всякомъ спорѣ (авторъ разсказываетъ о временахъ турецкой войны, 1828 г., когда Хомяковъ служилъ въ военной службѣ, гусаромъ, и когда они встрѣчались въ обществѣ военныхъ). Такъ велико было его искусство въ діалектикѣ, что одинъ и тотъ же предметъ могъ онъ защищать съ двухъ противоположныхъ сторонъ, и бѣлое дѣлалось у него чернымъ, а черное—бѣлымъ“... (Знакомство съ русскими поэтами, Кіевъ, 1871, стр. 15).

доходами, дѣйствительно отрывалась отъ народа и поклонялась французскимъ портнымъ. Но противъ этихъ людей напрасно было, конечно, тратить аргументы. Въ остальной части общества поклоненіе Западу едва ли имѣло такіе размѣры, тѣмъ болѣе, что громадное большинство такъ-называемаго общества издавна и до сихъ поръ состояло изъ людей, «нѣсколько беззаботныхъ на счетъ литературы». Но что въ людяхъ, болѣе заботившихся о литературѣ, западная образованность, научная и практическая, поселяла къ себѣ уваженіе, это было совершенно естественно, и смотрѣть на нее свысока едва ли прилично было бы людямъ, или народу, которые еще не успѣли оказать ей дѣйствительнаго соперничества. Для иностранцевъ «собственное признаніе» наше было бы пожалуй и вовсе не нужно: они и безъ него могли бы достаточно судить о нашихъ духовныхъ и умственныхъ силахъ. Причина отзывать Западу о насъ заключалась конечно въ томъ, что онъ (въ одну эпоху) опасался нашей силы, его тѣснившей, и въ томъ, что онъ видѣлъ у насъ только ограниченную степень образованности; но Хомяковъ забылъ еще одно обстоятельство, не внушавшее къ намъ особеннаго уваженія: Западъ видѣлъ въ насъ общество мало развитое въ гражданскомъ отношеніи...

Славянофиламъ казалось, что стоить нашему обществу, «пишущимъ и не-пишущимъ литераторамъ», принять излагаемые ими народныя начала, и все будетъ пріобрѣтено, и самостоятельная мысль, и роль въ человѣчествѣ, и уваженіе иностранцевъ, и т. д. Скоро сказка сказывается, но умственная самостоятельность достигается не такъ легко: чтобы стать независимо отъ западной цивилизаціи и выше ея, чтобы «подчинить западное просвѣщеніе нашимъ началамъ», какъ требовалъ Кирѣевскій, — нужно сначала пріобрѣсти необходимую силу, воспринять и переработать содержаніе западнаго просвѣщенія, придать ему собственные вклады. А это не такъ просто; почеркомъ пера нельзя раздѣлаться съ многовѣковымъ развитіемъ; никакой, самый благородный, впрочемъ, патріотическій энтузіазмъ не замѣнитъ умственной работы; легко сказать — «подчинить» западное просвѣщеніе, — но если оно не захочетъ подчиняться? Сила чувства заставляла славянофиловъ думать, что это возможно, что они сами въ силахъ совершить эту задачу, — но чувствомъ не рѣшается вопросъ науки, который и есть вопросъ просвѣщенія.

Хомяковъ, вѣроятно наиболѣе самонадѣянный изъ славянофильскихъ писателей, думалъ, что уже настоящее время (сороковые года) должно бы быть временемъ нашей самобытности. Онъ даже указываетъ задачи науки, которыя мы могли бы рѣ-

шить лучше других народов,—напримѣръ, въ исторіи. Историкъ всегда зависитъ отъ самой жизни народа, которому принадлежитъ; оттого въ понятіяхъ національнаго историка является необходимая односторонность, какъ слѣдствіе особеннаго склада національных воззрѣній. Сдѣланное однимъ народомъ дополняется и улучшается другимъ, и мы въ особенности могли и должны были пополнить труды нашихъ европейскихъ братьевъ: «намъ возможно даже, чѣмъ западнымъ писателямъ (по крайней мѣрѣ по части историческихъ наукъ) обобщеніе вопросовъ, выводы изъ частныхъ изслѣдованій и живое пониманіе минувшихъ событій». Но мы, по умственной лѣни и непониманію нашей собственной національной высоты, до сихъ поръ еще не уразумѣли этой своей задачи. И Хомяковъ приводитъ образчики вопросовъ и ихъ рѣшенія, которое могло бы быть нами сдѣлано. «Я не скажу, разрѣшили ли мы, но подняли ли хоть одинъ изъ тѣхъ вопросовъ, которыми полна судьба человѣчества? Догадались ли мы, что до сихъ поръ исторія не представляетъ ничего кромѣ хаоса происшествій, связанныхъ кое-какъ на живую нитку непонятною случайностью? Поняли ли мы, или хоть намекнули, что такое народъ—единственный и постоянный дѣйствительный историкъ... Самыя важныя явленія въ жизни человѣчества и великихъ народовъ, управлявшихъ его судьбами, остались незамѣченными. Такъ, напр., критика историческая не замѣтила, что при переходѣ просвѣщенія съ Востока на Западъ, не все было чистымъ барышомъ, и что несмотря на великія усовершенствованія въ художествѣ, въ наукѣ и въ народномъ бытѣ—многое утратилось, или обмелѣло въ мысляхъ и познаніяхъ человѣческихъ, особенно при переходѣ изъ Эллады въ Римъ и отъ Рима къ романизированнымъ племенамъ Запада. Такъ не обратили еще вниманія на разноначальность просвѣщенія въ древней Элладѣ... Такъ, раздѣленіе имперіи на двѣ половины, уже появляющееся въ Дуумвиратѣ (мнимомъ триумвиратѣ) послѣ перваго кесаря, потомъ яснѣе выразившееся послѣ Діоклетьяна и при преемникахъ Константина, и оставившее неизгладимыя черты въ духовной исторіи человѣчества отдѣленіемъ Востока отъ Запада, является постоянно дѣломъ грубой случайности, между тѣмъ какъ, очевидно, оно происходило отъ древнихъ началъ (отъ разницы между просвѣщеніемъ эллинскимъ и римскимъ) и было неизбѣжнымъ и великимъ ихъ послѣдствіемъ...», и проч. ¹⁾. Вотъ цѣлый рядъ задачъ, будто бы нетронутыхъ западною наукой, и на которыя мы должны были отвѣчать. Къ сожалѣнію, требова-

¹⁾ Сочин. Хомякова I, стр. 38—39.

тельный судья западной науки ошибался относительно ее положения. Могло быть, что упомянутые историческіе недосмотры онъ нашель въ какомъ-нибудь устарѣломъ учебникѣ, но приписывать ихъ цѣлой европейской наукѣ была чистая напраслина. Въ отвѣтъ Хомякову уже было указано, что мнимыя задачи, нетронутыя западной наукой, составляютъ въ ней вещь очень извѣстную, другія—давно стали общимъ мѣстомъ, напримѣръ, что понятіе о народѣ, какъ живомъ лицѣ, представляющемъ въ своей жизни развитіе какого-нибудь нравственнаго и умственнаго начала, повторялось безпрестанно со временъ Гегеля; что съ тѣхъ поръ, какъ стали изучать греческихъ классиковъ, всѣмъ извѣстно, что греки въ наукѣ и поэзіи были выше римлянъ, что Гомеръ выше Виргилія и т. п., а то, что латинскіе классики выше средневѣковыхъ писателей, было извѣстно даже въ средніе вѣка; что раздѣленіе римской имперіи на восточную и западную давно объяснялось различіемъ греческой и римской цивилизаціи, и т. д. ¹⁾). Такъ легко брались вожди славянофильства за преобразование западной науки, — и такъ легко было надѣлать здѣсь грубыхъ ошибокъ.

Въ другой статьѣ, перебирая тѣ же вѣчные вопросы, Хомяковъ высказываетъ увѣренность во всемірномъ призваніи русской земли, но замѣчаетъ, что вопросъ—какъ она можетъ исполнить это призваніе и какіе органы можетъ найти для этого теперь въ частной дѣятельности—что этотъ вопросъ порождаетъ невольное и справедливое сомнѣніе. Сомнѣніе возбуждалось въ немъ положеніемъ русскаго общества, слишкомъ забывшаго свою національную сущность, и потому немогущаго дѣйствовать въ истинно-народномъ духѣ. «Только тотъ можетъ выразить для другихъ свои начала духовныя,—говоритъ Хомяковъ,—кто ихъ уразумѣлъ для самого себя; только стройный и цѣльный организмъ духовный можетъ передать крѣпость и стройность другимъ организмамъ, разслабленнымъ и разъединеннымъ. Мысль и жизнь народная можетъ быть выражена и проявлена только тѣми, кто вполне живетъ и мыслитъ этою мыслию и жизнію. Таковы ли мы съ нашимъ просвѣщеніемъ?» И Хомяковъ объясняетъ необходимость согласія двухъ силъ, составляющихъ правильное и разумное движеніе общества: силы жизни, принадлежащей всему составу общества и его прошедшему, и разумной силы личностей, которая не можетъ ничего создать сама, но постоянно присуща общему развитію и не даетъ ему впадать въ мертвую одно-

1) „Современникъ“, 1856, № 6, крит., стр. 6—7.

сторонность. Обѣ силы необходимы; но вторая должна быть связана съ первой живою и любящею вѣрою. Иначе—слѣдуетъ разрывать и борьба.

Это — связь историческаго преданія, бытоваго обычая, и разумной свободы личности. Хомяковъ находилъ ихъ правильное согласіе въ древнѣйшей Руси; свобода личности не была стѣснена и связывалась съ силой жизни; стихія народная не враждовала съ общечеловѣческой (кіевскія и новгородскія связи съ Западомъ, заимствование поэзіи, искусствъ и т. п.). Иное положеніе вещей начинается позднѣе; кажется, съ Флорентинскаго собора возникаетъ подозрительность и вражда къ западной мысли. «Борьба 1612 года была не только борьбою государственною и политическою, но и борьбою духовною. Европеизмъ съ его зломъ и добромъ, съ его соблазнами и истиною, являлся въ Россіи въ образѣ польской партіи. Салтыковы и ихъ товарищи были представителями западной мысли. Правда, въ нравственномъ отношеніи они не заслуживали уваженія: *иначе и быть не могло*. Нравственно-низкія души легче другихъ отрываются отъ святыни народной жизни...» Но ихъ направленіе было не совсѣмъ неправо: это было «требованіе мысли, возстающей противъ стѣснительнаго деспотизма обычаевъ и стихій мѣстныхъ». Представителемъ этого требованія явился потомъ Петръ. Его направленіе «не было совершенно неправо» ¹⁾, но оно сдѣлалось неправымъ въ своемъ торжествѣ. «Нечего говорить, что всѣ Котошихины, Хворостинины и Салтыковы (то-есть нравственно-низкія души) бросились съ жадностью по слѣдамъ Петра, рады-радехоньки тому, что освободились отъ тяжелыхъ требованій и нравственныхъ законовъ духа народнаго, что они могли, такъ-сказать, распылаться въ русскій постъ: та доля правды, которая заключалась въ торжествующемъ протестѣ Петра, увлекла многихъ и *лучшихъ*; окончательно же соблазнъ житейскій увлекъ всѣхъ». Такъ произошелъ разрывъ, о которомъ сказано выше. Хомяковъ сравниваетъ этотъ разрывъ съ подобнымъ разрывомъ преданія и личности въ Англіи, съ тою разницей, что у насъ этотъ разрывъ произошелъ вслѣдствіе «историческихъ случайностей», а въ Англіи отъ неполноты и ложности ея духовныхъ законовъ.

Отношеніе воспитаннаго Петромъ общества къ народу Хомяковъ изображаетъ чертами не менѣе рѣзкими, чѣмъ Аксаковъ. «Отрицаніе *всего* русскаго, отъ названій до обычаевъ, отъ ме-

¹⁾ По Е. Аксакову, оно было совершенно неправо, оно было „измѣной“.

лочныхъ подробностей одежды до существенныхъ основъ жизни— доходило (въ новѣйшемъ періодѣ нашей исторіи) до крайнихъ предѣловъ возможности. Въ немъ проявлялась какая-то страсть, какая-то комическая восторженность, обличающая въ одно время величайшую умственную скудость и совершеннѣйшее самодовольствіе. Конечно, эти крайности, повидимому, принадлежатъ болѣе первому періоду нашей европеизаціи, чѣмъ послѣднему; но послѣдній, при болѣе безстрастїи, заключаетъ въ себѣ болѣе презрѣніе и полнѣйшее отрицаніе *всего народнаго*¹⁾. Это обнаруживается именно въ отверженіи обычая. Значеніе обычая не довольно оцѣнено. «Обычай есть законъ; но онъ отличается отъ закона тѣмъ, что законъ является чѣмъ-то внѣшнимъ, случайно примѣняющимся къ жизни, а обычай является силою внутреннею, проникающею во всю жизнь народа, въ совѣсть и мысль всѣхъ его членовъ», и т. д.²⁾ Петръ убивалъ обычаи, и мы отвергаемъ и не понимаемъ ихъ.

Такимъ образомъ, «сила жизни» (или сила преданія, обычая) и «разумная сила личности» составляютъ историческое движеніе; достоинство этого движенія опредѣляется отношеніемъ этихъ силъ. Самъ Хомяковъ, при всей наклонности къ преданію, находитъ требованіе личности несовсѣмъ неправымъ, объясняя, что требованіе личности было требованіе разумной мысли, стѣсненной деспотизмомъ обычая и мѣстныхъ стихій. Рядомъ съ этимъ онъ уже готовъ съ обвиненіемъ, что всего скорѣе отрываются отъ преданія «нравственно-низкія души», — хотя вслѣдъ затѣмъ оказывается, что при Петрѣ «доля правды» увлекала и «лучшихъ» людей. Это опять — безконечный споръ о реформѣ.

Но гдѣ же мѣрка отношеній преданія и разума, чѣмъ опредѣляется «доля правды», и какимъ образомъ нашъ разрывъ преданія и разумной мысли совершился вслѣдствіе «историческихъ случайностей»? Никакой случайности не было въ фактѣ реформы, который составляетъ главнѣйшее основаніе этого разрыва. Реформа, безъ сомнѣнія, имѣла свои преувеличенія и непривлекательныя крайности, но «доля правды», въ ней заключавшаяся, была очень значительна: только это и дало успѣхъ дѣлу. К. Аксаковъ прямо понималъ реформу какъ переворотъ, какъ революцію, и это было справедливо. Этотъ характеръ явленія казался Аксакову его осужденіемъ, какъ и Хомякову; но хотя переворотъ, революція не могутъ назваться спокойнымъ развитіемъ

¹⁾ Сочин., I, стр. 152—156.

²⁾ Тамъ же, стр. 164.

жизни, они никакъ однако не дѣлаются оттого случайностью и произволомъ лица (какъ Петръ) или общества. Въ теченіи развитія, переворотъ имѣетъ также свое мѣсто, но только какъ быстрый крайній порывъ, вынуждаемый противоположной крайностью и застоємъ предшествующаго періода. Какъ насильственный переворотъ, реформа не обошлась безъ крайностей, но для правильнаго историческаго пониманія явленія надо предположить, что основаніе ихъ было въ свойствахъ быта временъ московскихъ, какъ это дѣйствительно и было. На эту тему уже давно представляемо было немало объясненій. Въ свое время, и сами славянофилы соглашались ¹⁾, что въ обвиненіяхъ противъ реформы многое относилось собственно не къ ней, а къ ея дальнѣйшимъ послѣдствіямъ,—послѣдствія часто были плохи: движеніе, данное Петромъ, замедлилось; дѣятельность послѣдователей была ограничена, посредственна,—и въ этомъ замедленіи и ограниченности не сказывалась ли именно реакція старой умственной дѣлн и московскаго застоа?

Особеннымъ, нагляднымъ признакомъ внутренняго разрыва въ русской жизни Хомяковъ считаетъ упадокъ обычая и приводитъ въ образецъ Англію, общественная жизнь которой такъ сильна благодаря этой вѣрности силѣ обычая, «внутренняго закона». Хомяковъ съ прискорбіемъ говоритъ объ «убитыхъ» обычаяхъ, — какъ-будто въ самомъ дѣлѣ петровская реформа была одно безсмысленное истребленіе старыхъ обычаевъ. Обычаи по неизбѣжному закону падали и смѣнялись другими въ теченіе всей исторіи: обычаи язычества смѣнялись обычаями полу-языческими, двоевѣрными, наконецъ, болѣе христіанскими; обычаи патріархальной непосредственности смѣнялись обычаями болѣе сложнаго позднѣйшаго быта; обычаи древнѣйшей Руси смѣнялись обычаями московскими, и исторія записала насильственное водвореніе этихъ послѣднихъ въ другихъ краяхъ Руси, — такъ что еще можно было бы спросить, — когда народный обычай потерялъ больше: во времена ли московской централизаціи, или во времена Петра? Обычаи бываютъ разнаго смысла и важности, — обычай самоуправленія важнѣе обычая «березки» на Троицынъ день,—и эпоха московская едва-ли не больше истребила обычаевъ старой народной самобытности и свободы, чѣмъ эпоха Петра. Таково было паденіе обычаевъ вѣчевыхъ, отъ которыхъ земскія думы остались только слабымъ отголоскомъ. Сравненіе съ Англіей въ этомъ случаѣ едва-ли справедливо:

¹⁾ Статья М... З... К..., въ „Москвитинѣ“.

Англія сильна была именно тѣмъ, что вмѣстѣ со многими странными бытовыми обычаями, сберегала и обычаи политической свободы, которые и послужили для нея гарантіей противъ деспотизма власти; у насъ, обычаи подобнаго рода исчезли, кажется, совсѣмъ еще до Петра. Противнаго славянофилы еще не доказали ¹⁾. Въ нашей старинѣ Петръ уже нашелъ готовую ту силу центральной власти, которая дала ему возможность исполнять свои планы...

Въ послѣднія десятилѣтія, и съ сороковыхъ годовъ особенно, началось у насъ болѣе внимательное изученіе народности и старины. Это изученіе, развивавшееся естественно и постоянно пріобрѣтавшее больше и больше научной правильности и точности, могло служить пріятнымъ признакомъ сознательнаго обращенія и интереса къ народу. Но Хомякову и это не нравится. «Правда, — говоритъ онъ, — съ нѣкотораго времени многіе стали хлопотать о томъ, чтобы собрать и обнародовать обычаи народные. Такія собранія представляютъ для временъ грядущихъ любопытное *печатное кладбище убитыхъ обычаевъ*. Очевидно (?), это ученая прихоть, нисколько не свидѣтельствующая объ уваженіи. Конечно, неуваженіе можетъ оправдываться совершеннымъ невѣдѣніемъ; но, съ другой стороны, совершенное невѣдѣніе не могло бы существовать безъ совершеннаго неуваженія»... ²⁾. Съ славянофильской точки зрѣнія желалось вѣроятно непосредственное возстановленіе обычая, сантиментальное подчиненіе ему, а не эта этнографическая и историческая критика. Хомяковъ самъ такъ и дѣлалъ; онъ хотѣлъ тотчасъ и непосредственно слиться съ народомъ—соблюденіемъ обычая: онъ, говоря, строго соблюдалъ посты, надѣлъ кафтанъ и мурملку. Не трудно видѣть, что этими средствами Хомяковъ мало помогалъ народному дѣлу...

Въ славянофильской критикѣ современнаго характера нашей образованности, у Хомякова, какъ и другихъ, оставалось неясно одно, весьма существенное обстоятельство. Это—ихъ отношеніе къ официальной народности. Они были недовольны современной образованностью, разрывомъ съ народными началами; но чего собственно хотѣли сами? Чѣмъ думали исправить ненравившееся имъ отношеніе общества къ народу? Въ чемъ видѣли

¹⁾ Ссылки Хомякова на Англію въ наше время все больше теряютъ убѣдительности, потому что и здѣсь сила времени все больше и больше стѣсняетъ область стараго обычая. Такъ, напр., начинаютъ падать исключительные нравы Оксфорда и Кембриджа, которыми Хомяковъ такъ восхищается.

²⁾ Стр. 166.

практическую помѣху своимъ желаніямъ? Нѣтъ сомнѣнія, конечно, что ихъ мнѣній нельзя смѣшивать съ казеннымъ, такъ сказать, патріотизмомъ извѣстнаго разряда писателей и съ официальной народностью, но тѣмъ не менѣе трудно сказать, къ какимъ именно сторонамъ тогдашней жизни относилось ихъ недовольство, и черезъ кого должны были дѣйствовать впредь внушаемыя ими начала. Среди своего недовольства они были въ извѣстнаго рода союзѣ съ писателями «Москвитянина» и въ борьбѣ съ противниками, представлявшими либеральное направленіе, насколько оно было тогда возможно. Ихъ указанія на свою программу оставались слишкомъ общи и неопредѣленны. Въ самыхъ основаніяхъ ихъ теоріи было уже неисполнимое требованіе — отказать, въ одно прекрасное утро, отъ «разсудочной» образованности и подчинить ее извѣстному догматическому условію. Въ общественномъ вопросѣ было поставлено ими столь же мудренное требованіе—повидимому, нужно было, чтобы общество (или государство?), измѣнившее землѣ, въ одно прекрасное утро, возвратилось къ древнимъ началамъ жизни и основало свое устройство на одной «любви». Когда это начало «любви», какъ основы государства, было проповѣдуемо славянофилами, Хомяковъ кажется серьезно огорчился, что противники не оказали должнаго вниманія этой идеѣ ¹⁾, и нашли въ ней нѣчто такъ-сказать пастушеское и наивно-мечтательное. Дѣйствительно, нельзя было сказать иного о политической теоріи «любви», «свободы въ единствѣ» и «единства въ свободѣ». Если бы даже согласиться съ тѣмъ, что таковъ былъ въ самомъ дѣлѣ принципъ древней русской жизни, то онъ уже давно уступилъ свое мѣсто другимъ, менѣе нѣжнымъ политическимъ принципамъ, и въ настоящее время, — какъ это ни прискорбно, — можетъ быть справедливо отнесенъ въ область пасторальной поэзіи. Замѣтимъ, что славянофилы старательно отдѣляли свой принципъ любви отъ того движенія, которое начинало появляться въ нашемъ обществѣ, какъ интересъ къ народному быту и ясная (хотя высказываемая только отдаленными намеками) мысль о необходимости освобожденія крестьянъ. Этотъ интересъ, который обнаруживался въ противномъ имъ лагерѣ, они считали только модой (какъ начавшееся изученіе народнаго быта—ученой прихотью), потому что подозрѣвали въ немъ иностранное происхожденіе, слѣдствіе вліянія западной образованности. Это дѣйствительно не была идиллическая любовь или мистическое чувство, а начинавшееся реальное пони-

¹⁾ Стр. 159 и слѣд.

маніе общественной справедливости и необходимости государственной...

Къ кому же именно должно было относиться это требованіе любви? Повидимому, требованіе обращалось главнымъ образомъ къ обществу, къ образованнымъ классамъ. Но что же могло бы сдѣлать наше общество? Заявить свою любовь къ народу такъ, какъ это дѣлалъ Хомяковъ въ своей «наружности» и «домашнихъ отношеніяхъ»? Противники не сочли этого дѣломъ серьезнымъ, — и это раздражало Хомякова до неблагоприятной брани, (стр. 173), — но къ сожалѣнію нельзя и теперь не видѣть, что сохраненіе внѣшней обрядности и маскарадное переодѣванье нѣсколькихъ лицъ въ русское платье, было бы очень жалкимъ оружіемъ въ пользу народа ¹⁾, — это и хотѣли сказать тѣ «печатныя нападенія» (на мурملку и кафтанъ), на которыя сердится Хомяковъ. Можно ли было сдѣлать что-нибудь серьезное подобнымъ средствомъ? Сомнительно. Самое переодѣванье доставалось не совсѣмъ просто.

Противники славянофиловъ, не раздѣлявшіе вовсе ихъ философско-религіозныхъ воззрѣній, столь же мало раздѣляли ихъ общественныя воззрѣнія. Интересъ къ народу былъ у тѣхъ и другихъ; но онъ былъ различенъ по всему своему характеру. Въ-сто чувства здѣсь преобладала «разсудочная мысль», и эта мысль довольно скоро пришла къ тому понятію, что для удовлетворенія этому интересу должно не отказываться отъ образованности, а расширять ее, не налагать на себя аскетическаго (и безплоднаго) самоотрицанія, а бороться съ тѣми практически дѣйствовавшими условіями, которыя дѣлаютъ состояніе народа приниженнымъ и самый народъ безсильнымъ. Не обольщаясь надеждами на мистическое возрожденіе государства въ смыслѣ древнихъ началъ, они видѣли, что въ государствѣ немислима пасторальная поэзія и что лучшее будущее возможно только съ измѣненіемъ извѣстныхъ нравовъ и учрежденій, словомъ, съ политическимъ развитіемъ самого общества. Такъ одной изъ ближайшихъ цѣлей было для нихъ освобожденіе крестьянъ, какъ первый шагъ политической самостоятельности. Только при извѣстныхъ учрежденіяхъ, извѣстныхъ общественныхъ правахъ, если угодно, гарантіяхъ, возможно то возвышеніе народа, котораго славянофилы хотѣли достигать проповѣдью чувства. Еслибы когда-нибудь достигнута была цѣль

¹⁾ Не всѣ и славянофилы могли, напр., переодѣться; это было возможно для людей независимыхъ; но если бы человѣкъ, находящійся на службѣ, явился въ русскомъ платьѣ въ какую-нибудь канцелярію или министерство, его, конечно, просто исключили бы изъ службы, и т. п.

славянофильства, государство въ древне-русскихъ формахъ—противники славянофильства находили въ этомъ очень мало привлекательную перспективу, потому что древне-русскій порядокъ вещей именно и былъ, по ихъ мнѣнію, тѣмъ основаніемъ, изъ котораго произошло безправіе и безсиліе общества и народа; дурныя и слабыя стороны настоящаго и были, по ихъ мнѣнію, результатомъ древне-русскаго порядка, продолжающаго донинѣ свое вліяніе... Самый древне-русскій порядокъ, восхваляемый славянофилами, былъ по ихъ мнѣнію скорѣе специально-московскій, гдѣ русская стихія была, во-первыхъ, представлена неполно, а во-вторыхъ, къ ней примѣшаны были элементы татарскіе и византійскіе... Затѣмъ, для нихъ представлялъ уже мало интереса вопросъ о томъ, что перешло бы отъ народа въ общество въ то время, когда народъ будетъ свободенъ и въ состояніи будетъ заявить свои стремленія. Это былъ гадательный вопросъ будущаго.

Легко было сказать Хомякову:... «всемирное развитіе исторіи, осудивъ неполныя и одностороннія начала, которыми она управлялась до сихъ поръ, *требуетъ* отъ нашей Святой Руси, чтобы она выразила тѣ болѣе полныя и всестороннія начала, изъ которыхъ она выросла и на которыя она опирается» (стр. 169)—но какая выходила въ этихъ словахъ печальная иронія!

Историческую оцѣнку славянофильства сороковыхъ и первыхъ пятидесятихъ годовъ трудно отдѣлять отъ его современной дѣятельности: эти періоды еще очень близки, до сихъ поръ продолжаютъ дѣйствовать люди, принадлежавшіе къ первоначальному славянофильскому кружку; но съ другой стороны, нѣкоторые изъ главныхъ вожаковъ школы уже кончили свое поприще, и первый періодъ дѣятельности славянофиловъ, нами разсматриваемый, имѣетъ характеръ приговорительнаго разъясненія общихъ началъ,—которыя потомъ стали примѣняться ближе къ практической дѣятельности.

Итакъ, разсматривая славянофильство перваго періода въ общемъ его смыслѣ, мы не колеблясь скажемъ, что оно имѣло свою большую историческую заслугу въ развитіи русскаго общества. Родившись подъ несомнѣнными и сильными вліяніями романтическихъ стремленій, оно сохранило—въ сущности до сихъ поръ—этотъ романтическій, идеальный, мало-приложимый къ жизни характеръ; но оно съ такимъ упорствомъ настаивало на своемъ идеалѣ, такъ искренно въ него вѣрило, такъ горячо его защищало, что успѣло дать ему силу въ литературѣ и мнѣніяхъ общества. Этимъ идеаломъ былъ народъ, и здѣсь было основаніе

ихъ силы. Не совсѣмъ вѣрно, но очень сильно оно затрогивало чувствительную струну времени. Славянофильское пониманіе народа было преувеличенное, но въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ оно было заслугой; со стороны славянофиловъ было въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ довольно смѣлымъ дѣломъ указывать въ народѣ единственный критеріумъ государственной и общественной жизни, придавать ему такое значеніе, о которомъ не помышляла господствовавшая офиціальная народность, возвышать и превозносить этотъ «черный» народъ тогда, когда надъ нимъ еще тяготѣло осужденіе государственнаго закона, пренебреженіе барства, чиновничества и почти всего, что стояло надъ низшими классами, когда считалось, что онъ годится только служить рабочей силой и толпой для парадныхъ празднествъ офиціальной жизни. Славянофилы указывали обществу его оторванность отъ народа, ничтожество его въ этомъ раздѣленіи отъ истиннаго основанія національной жизни, на необходимость союза, который одинъ дастъ обществу нравственную силу и дастъ его образованію дѣйствительную плодотворность. Славянофилы указывали исторической наукѣ мало тронутую ею задачу — раскрыть внутреннія основы народнаго характера, которыя одни могутъ пролить истинный свѣтъ на историческую судьбу народа и государства.

Эти стороны славянофильскаго ученія составляютъ лучшую и достойную уваженія его заслугу. Его положительныя, догматическія истолкованія народности очень часто были ошибочны, — самое основаніе ихъ системы, теологическій принципъ, поставлено было исключительно и невѣрно; но за этими ошибками осталось сильное нравственное впечатлѣніе, возбужденіе чувства.

Заслуга не была поэтому такъ универсальна, какъ утверждаютъ ихъ послѣдователи и почитатели. Интересъ къ народности — въ различныхъ отношеніяхъ — не былъ исключительной принадлежностью ихъ школы, и издавна развивался въ литературѣ. Славянофилы съ своей стороны усилили его своимъ восторженнымъ чувствомъ, сдѣлали довольно много частныхъ разъясненій, — но вовсе не были такими преобразователями нашей внутренней жизни, какъ имъ самимъ казалось и какъ утверждаютъ ихъ новѣйшіе ученики.

Мы видѣли, въ одной изъ предыдущихъ главъ, что въ исторической и этнографической наукѣ народный интересъ былъ тѣсно связанъ съ предыдущими изученіями и составлялъ ихъ естественное развитіе и продолженіе. Славянофилы работали здѣсь на ряду съ другими, и именно на ряду съ писателями враждебной имъ школы. Въ историческомъ изученіи они имѣли ту заслугу, что

умѣрили исключительность историковъ государственности и немало способствовали объясненію народной стороны историческихъ событій. Но цѣлая историческая теорія ихъ не была, и, вѣроятно, никогда не будетъ принята ни наукой, ни мнѣніями общества. Въ изученіи народнаго быта, старины, народной поэзіи они также сдѣлали многое въ изученіи матеріала и нѣкоторыхъ отдѣльныхъ вопросовъ, но задумавъ примѣнять къ этнографическимъ фактамъ, и наprimѣръ къ объясненію древней народной поэзіи, свой методъ идеалистическихъ истолкованій, они впадали въ ошибки, исправлять которыя приходилось ихъ противникамъ, — тѣмъ самымъ, кого они осуждали за подчиненіе «нѣмецкой наукѣ».

Въ литературѣ художественной, движеніе въ смыслѣ народности совершалось опять независимо отъ славянофильства и еще до его возникновенія. Этотъ интересъ къ народному не имѣлъ въ себѣ ничего романтическаго и, напротивъ, отличался несомнѣннымъ стремленіемъ къ реальному изображенію дѣйствительности и тѣмъ приобрѣлъ, наконецъ, яркій общественный смыслъ. Таковы были произведенія Гоголя. «Ревизоръ», «Повѣсти», «Мертвыя Души» не имѣли въ себѣ тѣни славянофильской тенденціи, и напротивъ, когда Гоголь впослѣдствіи сблизился съ представителями школы и, кажется, съ ея идеями, онъ отрекся отъ своихъ прежнихъ сочиненій. Выше было указано, какъ г. Тургеневъ, писатель вовсе не славянофильской школы, привелъ въ восторгъ К. Аксакова, который только-что успѣлъ произнести надъ нимъ уничтожающій приговоръ. Славянофильскія тенденціи, напротивъ, до сихъ поръ не произвели ни одного писателя, который бы получилъ вліятельное значеніе въ литературѣ, далъ ей новое направленіе и т. п.¹⁾

Общественныя воззрѣнія славянофиловъ, въ сороковыхъ и въ началѣ пятидесятихъ годовъ, высказывались почти только общими заявленіями о ложности нашего образованія и необходимости связи съ народомъ. Въ своей личной жизни они старались объ этой связи, раздѣляли народное благочестіе и входили въ его интересы (споры Хомякова съ раскольниками, благочестіе Ивана Кирѣевскаго), уважали обычаи (Хомяковъ, К. Аксаковъ и др. надѣли народный костюмъ), были горячими поклонниками Москвы (предполагая, что въ ней заключенъ палладіумъ прошедшаго и будущаго Россіи), относились съ величайшимъ уваженіемъ къ

¹⁾ Славянофилы придавали великое, господствующее значеніе произведеніямъ С. Т. Аксакова. Онѣ, конечно, замѣчательно талантливы, — но, посвященные воспоминаніямъ, имѣютъ свое специальное значеніе. До сихъ поръ онѣ и дѣйствительно остаются одинокимъ явленіемъ.

произведеніямъ народной мысли и поэзіи (таковы труды и странствованія Петра Кирѣвскаго для собиранія пѣсенъ); они извѣстны были какъ противники крѣпостного права, съ тѣхъ поръ еще были приверженцами сельской общины, и т. д. Славянофильская тенденція имѣла, безъ сомнѣнія, высокую нравственную цѣну относительно массы общества, какъ стараніе пробудить въ немъ какое-нибудь нравственное сознаніе; она имѣла цѣну и для литературы, для той части общества, гдѣ шло уже извѣстное броженіе понятій, какъ требованіе большаго вниманія къ народному быту, большаго уваженія къ собственнымъ понятіямъ и желаніямъ народа,—на который дѣйствительно всего чаще смотрѣли съ извѣстной долей самодовольнаго снисхожденія,—но дальше и не простиралась здѣсь роль и вліяніе славянофильства. Славянофилы вѣрно указывали на отчужденіе общества отъ народа, но невѣрно объясняли его причины и средства достигнуть сближенія. Наше просвѣщеніе грѣшило не тѣмъ, что ложны были его принципы, а тѣмъ, что оно было слишкомъ ограничено, и по своему распространенію въ обществѣ, и по объему его содержанія,—и эта ограниченность дѣйствія, конечно, была виной не самого просвѣщенія, и не общества,—виноваты были вѣшнія стѣсненія, отъ которыхъ само просвѣщеніе едва существовало: отсутствіе школъ, удаленіе изъ нихъ народа (особенно крѣпостного крестьянства), по высшимъ соображеніямъ бюрократіи, чрезмѣрная и подозрительная опека. Самобытности просвѣщенія надо было достигать не отверженіемъ этой скудной образованности, а сколько можно большимъ распространеніемъ ея въ массѣ общества; «западнаго» собственно было въ этомъ обществѣ такъ мало, что смѣшно было приписывать ему столь гибельное вліяніе; причина отчужденія отъ народа въ настоящее время лежала не въ просвѣщеніи, а въ бѣдственномъ состояніи массы, подавленной крѣпостнымъ правомъ, и въ политическомъ безсиліи самого общества. По всѣмъ этимъ предметамъ, славянофилы, къ сожалѣнію, распространили много превратныхъ понятій, которыя (особенно въ послѣднее время) пришлись на-руку разнаго рода дешевымъ народолюбцамъ, которымъ очень удобно было прикрывать собственное ничтожество мнимо-народнымъ либерализмомъ. Заблужденіе славянофиловъ обнаруживалось тѣмъ историческимъ фактомъ, что первое нѣсколько серьезное вліяніе образованія въ нашемъ обществѣ именно создавало глубокія сочувствія къ народу, или инстинктивные или совершенно сознательныя, въ томъ самомъ обществѣ, которое славянофилы считали окончательно погибшимъ подъ игомъ «Запада», и эти сочувствія высказались въ томъ литературномъ лагерѣ, въ

которомъ славянофилы съ своей точки зрѣнія видѣли главнѣйшихъ враговъ «народнаго начала».

Таково было ихъ положеніе въ литературѣ и общественныхъ понятіяхъ. Они сдѣлали много своимъ возбуждающимъ энтузіазмомъ, но—по нашему мнѣнію—и немало запутали общественныя понятія, чему впрочемъ помогали и невольныя неясности ихъ ученія, которое въ сущности не высказалось до конца и по сію пору.

Намъ остается упомянуть еще одно обстоятельство. До сихъ поръ мы упоминали о той общественной дѣятельности и мнѣніяхъ славянофиловъ, которыя были извѣстны литературнымъ образомъ. Но они пробовали и болѣе практическую дѣятельность, между прочимъ на службѣ, дѣятельность, и теперь мало извѣстную, а тогда тѣмъ менѣе доступную литературѣ и слѣдовательно не входившую въ оцѣнку ихъ мнѣній тогдашними ихъ противниками. Г. Самаринъ работалъ на службѣ въ Остзейскомъ краѣ—въ томъ духѣ, который можно узнать теперь изъ «Окраинъ Россіи»,—потомъ въ Кіевѣ, при Бибиловѣ, гдѣ его занимало введеніе инвентарныхъ правилъ. Г. Ив. Аксаковъ, состоявъ въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, работалъ по дѣламъ раскольничьимъ—въ томъ духѣ, который можно узнать теперь изъ напечатаннаго недавно отрывка его обширной записки о сектѣ странниковъ. Они показали въ этой дѣятельности столько серьезнаго убѣжденія и такія просвѣщенныя воззрѣнія, что имъ сочувствовали бы и люди, не раздѣлявшіе ихъ образа мыслей.

Но *эти* воззрѣнія были внушены имъ ихъ новымъ образованіемъ, а не тѣми древне-русскими началами, на которыхъ они хотѣли утверждать свой образъ мыслей. На это заблужденіе славянофиловъ, относительно своихъ мнѣній, мы указывали не разъ. Съ другой стороны, они заблуждались, полагая, что ихъ «русскія» мнѣнія могутъ быть приняты въ той сферѣ, къ которой они обращались. Впослѣдствіи, они, кажется, должны были убѣдиться въ этомъ заблужденіи, но своего опыта повидимому не переработали и до сихъ поръ...

Хомяковъ желалъ пропагандировать православіе въ западной Европѣ; г. Самаринъ, въ изданіи его богословскихъ сочиненій, приводитъ благопріятныя отзывы иностранной печати о брошюрахъ Хомякова. Переписка съ Пальмеромъ осталась выраженіемъ этой пропаганды... Не вдаваясь въ разсужденіе о томъ, насколько мыслима была эта пропаганда и планы соединенія англиканства съ нашей церковью, мы удовольствуемся также цитатой изъ иностранной печати,—которая выясняетъ мнѣніе ан-

гличанъ о предметѣ ¹⁾). Подобныхъ цитатъ можно было бы собрать не мало. Самъ Пальмеръ ушелъ, кажется, въ католицизмъ.

К. Аксаковъ считалъ равно необходимыми и соединимыми и господствующій порядокъ, и полную свободу печати...

Въ началѣ мы замѣтили, что число приверженцевъ славянофильства въ послѣднее время увеличилось, если судить по фактамъ литературы. Тогда какъ прежде, славянофилы могли имѣть только отдѣльные и случайные «сборники», въ послѣдніе годы существовало нѣсколько изданій, съ болѣе или менѣе явнымъ славянофильскимъ характеромъ ²⁾). Отчасти, это размноженіе славянофильства происходило оттого, что вообще увеличилась, въ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годахъ, литературная публика; но отчасти и независимо отъ этого размножились приверженцы ученія. Но этого размноженія нельзя однако назвать успѣхомъ школы. Новый періодъ ея мало увеличилъ литературныя силы первоначальной школы, и мало подвинулъ доказательство ея основныхъ положеній; за то слабыя стороны этого ученія обнаружились теперь ярче, чѣмъ когда-нибудь. Къ славянофильству применили новыя школы, которыя также заговорили о «народныхъ началахъ», «почвѣ» и т. п., и не имѣя ни таланта, ни горячаго убѣжденія первыхъ начинателей ученія, распространяли только пустыя фразы на тему народности и болѣе или менѣе явный обскурантизмъ. Славянофильская публика стала увеличиваться рядами той публики, патриотизмъ которой въ прежнее время называли кваснымъ, которая, не вдаваясь въ особыя размышленія, довольствовалась шумливыми и хвастливыми фразами о народности, грозила Европѣ, приходила въ восторгъ отъ посѣщенія братьевъ-славянъ, собиралась дѣлить будущее съ друзьями-американцами, поставляетъ въ послѣдніе годы контингентъ «обрусителей» и т. д. Съ другой стороны, по нѣкоторымъ предметамъ, славянофиламъ пришлось говорить въ одинъ тонъ съ «Московскими Вѣдомостями»... Въ этихъ неблагополучныхъ союзахъ виноваты были тѣ самонадѣянные односторонности славянофильства, которыя къ сожалѣнію принадлежатъ къ самой сущности школы.

¹⁾ „Daily-News“, 17-го сент. 1866 г.

²⁾ Кромѣ чисто-славянофильской „Русской Бесѣды“ и „Дня“, здѣсь надо назвать „Время“, потомъ „Эпоху“, далѣе „Зарю“, „Бесѣду“, въ нѣкоторые періоды „Голосъ“ и др.

VI

Гоголь.

Славянофильство имѣло свою противоположность въ другомъ направленіи, которое славянофилы называли «западнымъ», — терминъ, не совсѣмъ точный даже въ ихъ смыслѣ, потому что первыя теоретическія возбужденія и «западнаго» направленія, и самого славянофильства, заключались, въ большой степени, въ той же западной нѣмецкой философіи; кромѣ того, такъ-называемое «западное» направленіе воспиталось тѣмъ же изученіемъ самой русской жизни, — только съ другихъ сторонъ, чѣмъ изучали ее славянофилы; наконецъ, могущественную опору «западному» направленію далъ между прочимъ писатель, не заключавшій въ своихъ понятіяхъ ничего «западно»-тенденціознаго и одинаково цѣнимый славянофилами, — именно Гоголь.

Существенное значеніе этого направленія заключалось въ томъ, что оно было главнымъ русломъ тѣхъ идей, въ развитіи которыхъ состояло прогрессивное движеніе общества; оно было тѣмъ направленіемъ, которому принадлежали самыя дѣйствительныя приобрѣтенія русской общественной мысли, за которымъ было будущее. Оно стремилось внести новыя общественныя понятія; противъ него была вся рутина старыхъ традицій, вполнѣ господствовавшихъ въ обществѣ. Въ этомъ заключается смыслъ его тогдашнихъ отношеній. Оно дѣйствовало несмотря на всю трудность своей задачи, на всѣ окружающія его препятствія; и отсюда потомъ получило свой смыслъ и свои первые аргументы то движеніе, которое обнаружилось въ нашей жизни въ послѣднія десятилѣтія. Люди «сороковыхъ годовъ» подготовили нынѣшній литературный и общественный періодъ.

Два основные элемента давали силу этому направленію въ литературѣ: съ одной стороны — дѣятельность Гоголя, съ другой — дѣятельность того круга, главнѣйшимъ лицомъ котораго можно назвать Бѣлинскаго. Ихъ дѣйствіе сливалось въ одинъ результатъ, въ одно сильное нравственное вліяніе, глубокій слѣдъ котораго замѣтенъ до настоящей минуты. Можно безъ преувеличенія сказать, что со времени Гоголя и тогдашней критики наша

литература въ первый разъ получаетъ значеніе настоящей общественной силы, въ первый разъ она становится дѣйствительной литературой, заслуживающей этого имени, высказывающей настоящія жизненныя требованія. Это уже не одинъ эстетическій дилеттантизмъ, «служеніе прекрасному», отвлеченное правоученіе, чѣмъ она была до тѣхъ поръ (за немногими только исключеніями); она—сколько было возможно по ея внѣшнимъ условіямъ—затронула настоящіе вопросы жизни, высказала давно зрѣвшія мысли лучшей части общества, накопившуюся скорбь о недостаткахъ жизни и стремленіе къ лучшему порядку вещей, къ болѣе высокой степени гражданскаго и человѣческаго развитія. Это былъ запросъ на преобразование...

Два упомянутые элемента дѣйствовали здѣсь наиболѣе сильнымъ образомъ, — такъ что въ нихъ по преимуществу сосредоточивается тотъ моментъ нашего литературнаго развитія. Гоголь — дѣйствовалъ силой своего поэтическаго творчества; кругъ Бѣлинскаго — литературной критикой и другими научными разъясненіями истории и общественной жизни. Къ Гоголю примыкають, за исключеніемъ особо стоящаго Лермонтова, всѣ лучшіе писатели того времени; главнѣйшія стороны литературы намъ современной отъ него ведутъ свое начало. Съ критики Бѣлинскаго начинается современная публицистическая литература.

Мы остановимся сначала на Гоголѣ.

Біографія Гоголя, опредѣленіе его литературной заслуги возбуждали интересъ нашей критики съ самаго начала сороковыхъ годовъ. Критика уже тогда вѣрно указала многое въ свойствѣ таланта Гоголя, въ значеніи его произведеній для русскаго общества: въ смыслѣ художественной оцѣнки все существенное сказано было еще при первомъ появленіи «Мертвыхъ душъ» ¹⁾, — но опредѣленіе его истиннаго «направленія» вызвало оживленные, даже ожесточенные споры послѣ появленія печально знаменитыхъ «Выбранныхъ Мѣстъ изъ Переписки съ друзьями», когда самъ Гоголь отвергъ тѣ толкованія, какія давались его произведеніямъ самыми горячими его приверженцами, и когда онъ отвергъ самыя произведенія свои — кромѣ этой «Переписки», — какъ ошибочныя, вредныя, грѣховныя.

Къ этой книгѣ естественно приводится вопросъ о «направленіи» Гоголя.

¹⁾ Не только въ статьяхъ Бѣлинскаго, но напр. также въ статьяхъ К. Аксакова, Плетнева и т. д.

Каждому читателю знакома безъ сомнѣнія исторія «Выбранныхъ Мѣстъ», странное впечатлѣніе, произведенное этой книгой, споры и обличенія, вызванныя ею противъ Гоголя со стороны его почитателей, которымъ пришлось защищать великія произведенія отъ самого ихъ автора. Но вопросъ о личномъ развитіи Гоголя, затронутый по этому поводу, все еще не можетъ считаться вполне рѣшеннымъ. На полное объясненіе нельзя рассчитывать и теперь, но многія черты этой исторіи начинаютъ выясняться больше, вслѣдствіе значительнаго количества новаго біографическаго и критическаго матеріала, явившагося въ послѣдніе годы.

При жизни Гоголя, его направленіе, — прежде почти безспорно опредѣляемое его извѣстными произведеніями, — стало предметомъ споровъ съ появленіемъ «Переписки»; рѣшеніе вопроса было невозможно при жизни писателя, которому еще предстояла дѣятельность, — примиреніе двухъ сторонъ было немыслимо. Но дѣятельность кончилась, и стала дѣломъ исторіи. Первый, довольно богатый матеріалъ для исторіи личнаго развитія Гоголя, доставила извѣстная біографія его, написанная г. Кулишомъ ¹⁾, и также сдѣланное имъ изданіе сочиненій Гоголя, гдѣ, въ двухъ послѣднихъ томахъ, помѣщено обширное собраніе его писемъ. Но біографія и самая переписка были еще далеко не полны: біографія многое умалчивала, отчасти по вынужденной скромности ²⁾; въ переписку не вошли многія характеристическія письма, напечатанныя впоследствии.

Изданія г. Кулиша дали новый поводъ и матеріалъ къ изслѣдованіямъ и воспоминаніямъ о Гоголѣ; многія стороны въ характерѣ и дѣятельности Гоголя стали опредѣляться яснѣе, и рѣшеніе историческаго вопроса дѣлалось возможнымъ. Въ послѣднее время собралось вообще много мелкаго, но довольно важнаго матеріала, — въ новыхъ письмахъ Гоголя, въ перепискѣ его друзей, — который раскрываетъ нѣкоторые нелишніе интересы подробности его личныхъ отношеній и его взглядовъ ³⁾.

¹⁾ Второе, распространенное изданіе ея, подъ именемъ „Записокъ о жизни Гоголя“, Спб. 1856—1857, 2 тома.

²⁾ Авторъ умалчиваетъ многія имена и обстоятельства; онъ не могъ даже назвать Мицкевича (скрытаго подъ буквой М**), и его поэмы „Панъ Тадеушъ“ (скрытой подъ буквами П** Т**), — которыми разъ поинтересовался Гоголь.

³⁾ Указываемъ, для сокращенія цитатъ, матеріалъ, который мы, между прочимъ, имѣли въ виду въ настоящемъ случаѣ.

Во-первыхъ, новыя, прежде ненапечатанныя сочиненія и письма Гоголя:

— Новые отрывки и варианты ко второму тому „Мертвыхъ Душъ“, сообщ. г. Боголюбскимъ. Р. Старина, 1872, V, стр. 85—118.

Пользуясь этимъ матеріаломъ, мы постараемся указать, въ общихъ чертахъ, какъ можетъ быть опредѣленъ теперь давно поставленный вопросъ о направленіи Гоголя.

При первомъ появленіи «Переписки», книга Гоголя принята была за сознательное отреченіе его отъ прежняго направленія, за поворотъ въ другую сторону. Самъ Гоголь положительно объ этомъ говорилъ; онъ находилъ вредными свои старыя сочиненія, отвергалъ тотъ смыслъ, который придали имъ его почитатели; его собственные друзья, одобрявшіе «Переписку», считали ее «переломомъ» и притомъ такимъ, который былъ совершенно необходимъ и основателенъ. Устанавливалось вообще мнѣніе, что Гоголь, дѣйствовавшій прежде въ одномъ направленіи,—общественно-критическомъ, которое ознаменовано «Ревизоромъ» и «Мертвыми

— Последніе годы Гоголя. По поводу «Новыхъ отрывковъ и вариантовъ ко II-му тому М. Д.», В. П. Чижова. «Вѣстникъ Европы», 1872, іюль, 432 стр.,—съ извлеченіемъ изъ письма Бѣлинскаго къ Гоголю.

— Непзданныя мѣста изъ «Переписки съ друзьями». Р. Архивъ 1866, стр. 1730—174, и затѣмъ въ Полномъ Собраніи соч. Гоголя, 1867 (2-е изд. наслѣдниковъ), т. III.

— Повѣсть о капитанѣ Копѣйкинѣ, по рукописи, найденной въ Римѣ. Р. Архивъ 1865, 2 изд., стр. 1281—94.

— О комедіи Гоголя: «Владиміръ 3-й степени», г. Родиславскаго. «Бесѣды въ общ. любителей русской словесности», М. 1871, стр. 138—141.

— Письма Гоголя къ Жуковскому, съ 1831 года. Р. Архивъ, 1871, стр. 929, 946, 950—954, 957, 9932, 9933.

— Письма къ И. И. Дмитріеву, 1832. Тамъ же, 1866, стр. 1726—1730.

— Письмо къ М. П. Погодину, 1833. Тамъ же, 1872, стр. 2369—72 (годъ ошибочно поставленъ 1834);—то же, что въ изд. Кулиша, V, 174, но съ дополненіемъ цензурныхъ пропусковъ.

— Письмо къ кн. Вяземскому, отъ 28 февр. 1847 (а не 1846, какъ напечатано). Тамъ же, 1872, стр. 1328—32. Другое письмо (по поводу статьи кн. Вяземскаго о Гоголѣ),—тамъ же, 1866, стр. 1077—81. Третье, изъ Рима, кажется до 1842. Тамъ же, 1865, стр. 1295—98.

— Письма къ кн. В. Ѳ. Одоевскому, 1838—42 г. Тамъ же, 1864, 2-е изданіе, стр. 1030—32 (между прочимъ о цензурѣ «Мертвыхъ Душъ»).

— Письмо къ П. А. Плетневу о московской цензурѣ «Мертвыхъ Душъ», 1842. Тамъ же, 1866, стр. 766—770. См. также у Кулиша, V, 457.

— Два письма къ Малиновскому, около 1847. Тамъ же, 1865, стр. 1278—82.

— Записка въ альбомъ г-жи Чертовой. Р. Старина, 1870, II, стр. 528—529.

— Записка къ С. Т. Аксакову, около 1839. Тамъ же, 1871, IV, 681.

— Письмо къ актеру Сосницкому, о «Ревизорѣ», 1846. Тамъ же, 1872, VI, стр. 441—444.

Во-вторыхъ, критическія изслѣдованія, воспоминанія о Гоголѣ и упоминанія о немъ въ перепискѣ разныхъ лицъ:

— Воспоминанія о Гоголѣ (Римъ, лѣтомъ 1841 года). П. Анненкова. Б. для Чт. 1857, № 2 и 11.

— Критическая статья по поводу «Сочиненій и Писемъ» Гоголя, изданныхъ Кулишомъ. «Современникъ», 1857, № 8.

Душами», — потомъ измѣнилъ этому направленію, бросился въ аскетизмъ и поклоненіе господствующимъ порядкамъ, и былъ окончательно потерянъ для искусства. На него обратились суровыя осужденія и укоры.

Но этихъ осужденій не довольно было для *историческаго* объясненія. Надо было объяснить внутренній процессъ, которымъ могла быть приведена столь сильная перемѣна, открыть побужденія, дѣйствовавшія въ человѣкѣ, проникнуть въ истинный характеръ его убѣжденій и его цѣлей. Одинъ изъ лучшихъ нашихъ критиковъ, разбирая матеріалы, изданные г. Кулишомъ, старался именно опредѣлить, — могутъ ли падать на Гоголя эти осужденія и каковъ былъ дѣйствительно его нравственный характеръ и его убѣжденія. Не скрывая отъ себя извѣстныхъ сторонъ этого характера, не возбуждающихъ сочувствія, авторъ объясняетъ ихъ источникъ и ихъ предѣлы, но отвергаетъ много другихъ обвиненій, которыя могли быть подняты противъ Гоголя только потому, что до изданія его переписки не была достаточно извѣстна его внутренняя исторія. Въ заключеніе, критикъ приходилъ

-
- Воспоминанія Л. Арнольдъ. „Русск. Вѣстникъ“, 1862, № 1, стр. 54—95.
 - Воспоминанія о Гоголѣ, г. Грота. Р. Архивъ, 1864, стр. 1065—68.
 - Воспоминанія г. Погодина (о римской жизни Гоголя). Тамъ же, 1865, стр. 1270—78.
 - Воспоминанія гр. Соллогуба. Тамъ же, 1865, стр. 1208—214 (упоминается Гоголь).
 - Воспоминанія о Гоголѣ, Н. В. Берга. Р. Старина, 1872, V, стр. 118—128.
 - Первое знакомство Гоголя съ М. С. Щепкинымъ. Тамъ же, 1872, V, стр. 282—283.
 - Воспоминанія г-жи Смирновой о Жуковскомъ. Р. Архивъ, 1871, стр. 1874, 1883.
 - Официальное дѣло министерства народнаго просвѣщенія, 1845 г., о назначеніи Гоголю денежнаго пособія, въ „Сѣверной Почтѣ“, 1865, № 277.
 - Письма Жуковского къ г-жѣ Смирновой о дѣлахъ Гоголя. Р. Архивъ, 1871, стр. 1858, 1860.
 - Письма Плетнева къ Жуковскому, о дѣлахъ Гоголя, о литературѣ. Тамъ же, 1870, стр. 1273, 1277—80, 1293, 1305—1306. Между прочимъ чрезвычайно замѣчательныя извѣстія о цензурѣ сочиненій Жуковского въ 1850 г., стр. 1322—1330.
 - Письмо Плетнева къ кн. Вяземскому, 1847, о новой приготовляемой книгѣ Гоголя. Тамъ же, 1866, стр. 1069. (Это—не „Объясненіе на Литургію“, какъ предположено въ „Архивѣ“, а „Авторская исповѣдь“. Ср. въ изд. Кулиша, VI, 405, то самое письмо Гоголя, о которомъ упоминаетъ Плетневъ. Въ письмѣ къ Шевыреву, у Кулиша VI, 411, Гоголь также говоритъ, что эта книга будетъ—„чистосердечное изъясненіе моего авторскаго дѣла“).
 - Письмо Жуковского къ кн. Вяземскому, по поводу статьи послѣдняго: „Языковъ. Гоголь“, въ „Спб. Вѣд.“ 1847, №№ 90—91. Тамъ же, 1866, стр. 1074.
 - Письмо Булгарина къ Хавскому, по поводу смерти Гоголя. Р. Старина, 1872, V, стр. 481—482.
 - W. A. Joukoffsky, von Carl v. Seidlitz. Mitau, 1870, стр. 183—190, 198—199, 202.
- Другія указанія читатель можетъ найти въ каталогѣ г. Межова.

къ выводу, что у Гоголя, въ послѣднемъ періодѣ его жизни, собственно говоря, не было никакой «измѣны убѣжденіямъ», что исторія его мнѣній была цѣльная исторія, однородная съ начала до конца,—что если въ разные періоды его жизни сильнѣе выступали у него тѣ или другія качества его ума и таланта, то самая сущность его убѣжденій была одна и та же. «Если вы,—говорить авторъ,—преодоливъ скуку, наводимую однообразіемъ этихъ писемъ (писемъ второго періода жизни Гоголя), всмотритесь въ нихъ ближе и точнѣе, сравните ихъ съ письмами прежнихъ годовъ, вы увидите, что во второмъ періодѣ сохранилось, кромѣ молодой веселости, все то, что было въ письмахъ перваго періода, и наоборотъ, въ письмахъ перваго періода вы найдете уже тѣ черты, которыя, повидимому, должны были бы принадлежать второму періоду». Подробное сличеніе писемъ конца двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ съ письмами сороковыхъ годовъ показывало, что основныя мысли и представленія Гоголя въ тѣ и другіе годы были чрезвычайно сходны, что въ первомъ періодѣ были уже основанія его позднѣйшихъ мнѣній.

Напримѣръ, въ «Перепискѣ» удивлялись странной просьбѣ автора къ читателямъ—присылать ему всякія извѣстія о русской жизни и нравахъ и даже всякія чисто личныя свѣдѣнія:—но то же можно встрѣтить и въ прежнихъ письмахъ Гоголя. Онъ еще въ 1829-мъ г. дѣлалъ своей матери подобныя порученія относительно малороссійскаго быта, требуя отъ нея даже такихъ мелочныхъ свѣдѣній, которыя можно бы предположить ему извѣстными. Теперь онъ только расширилъ область своихъ запросовъ, въ той мѣрѣ, какъ считалъ болѣе широкими и свои планы.

«Переписка» исполнена увѣреніями, что человѣку нужно только укрѣпиться въ вѣрѣ и тогда онъ будетъ легко переносить самыя тяжелыя испытанія. Но, удивительнымъ образомъ оказывается, что то же самое онъ говоритъ еще въ 1825-мъ году (16-ти лѣтъ) по поводу смерти своего отца: «не безпокойтесь, дражайшая маменька! я сей ударъ перенесъ съ твердостью истиннаго христіанина» и проч. Въ такомъ же родѣ говоритъ онъ въ другомъ письмѣ къ матери о подобномъ горѣ, постигшемъ одного изъ ближайшихъ его друзей...

Гоголя винили въ лицемѣріи, когда онъ въ «Перепискѣ» въ каждомъ случаѣ своей жизни видѣлъ непосредственную волю самого Провидѣнія;—но есть письма, еще отъ 1829-го года, которыя своимъ тономъ относительно этого предмета ничѣмъ не уступаютъ «Перепискѣ». Такъ, однажды онъ дѣлаетъ своей матери признаніе объ одномъ таинственномъ событіи своей жизни,—ка-

кой-то безумной и безнадежной любви, — и говорить: «Съ ужасомъ осмотрѣлся и разглядѣлъ я свое ужасное состояніе. Все совершенно въ мірѣ было для меня тогда чуждо, жизнь и смерть равно несносны... Я увидѣлъ, что мнѣ нужно бѣжать отъ самого себя... Въ умиленіи, я призналъ невидимую Десницу, пекущуюся о мнѣ, и благословилъ *такъ давно назначаемый* путь мнѣ»...

Его обвиняли въ безмѣрномъ ханжествѣ, когда онъ принимался въ «Перепискѣ» поучать своихъ знакомыхъ и читателей, рекомендовалъ имъ изучать его книгу, и т. п. Но то же было и гораздо раньше. Въ началѣ сороковыхъ годовъ онъ уже рекомендуетъ своимъ роднымъ чтеніе его собственныхъ писемъ и даетъ имъ уроки благочестія. Разъ онъ перешелъ въ этомъ всякую мѣру, такъ что мать и сестры его глубоко были огорчены его нетерпимымъ, требовательнымъ, суровымъ тономъ; изъ ихъ отвѣта Гоголь долженъ былъ увидѣть, что мѣра перейдена, и тогда въ немъ опять сказывается самое теплое чувство и покорность, совершенно искреннія, какъ прежде онъ искренно поучалъ ихъ, радуя за ихъ душевное спасеніе. Что во всей этой проповѣди, которою наполнена «Переписка», не было притворства, это ясно изъ цѣлаго ихъ характера; проповѣдь перемѣшана съ мыслями и чувствами, очевидно задушевыми; и потомъ, — послѣ очень многихъ и не легкихъ испытаній его гордости и личнаго достоинства, испытаній, навлеченныхъ «Перепиской», и потомъ онъ нисколько не измѣняетъ своего тона съ друзьями. Его конецъ довелъ до печальной очевидности, какъ глубоко укоренилось въ немъ его благочестіе.

Однимъ словомъ, сличая то, какъ высказывался Гоголь объ этихъ и другихъ коренныхъ предметахъ его убѣжденія, въ различные періоды своей жизни, въ самой ранней молодости и въ послѣдніе годы, сличая это, авторъ упомянутой статьи находитъ, что въ убѣжденіи Гоголя постоянно господствовало одно воззрѣніе, что оно приняло крайнее развитіе въ послѣдніе годы, дошло до фанатизма, но въ сущности не измѣнялось.

Это заключеніе кажется намъ совершенно вѣрнымъ: личность Гоголя является цѣльной, развитіе послѣдовательнымъ, для объясненій котораго незачѣмъ предполагать ни «измѣны», ни «перелома», — потому что направленіе его послѣднихъ годовъ имѣло основаніе въ его давнишнихъ понятіяхъ, кромѣ которыхъ онъ никогда и не имѣлъ другихъ ¹⁾. Страшное противорѣчіе съ самимъ

¹⁾ Мы сдѣлаемъ оговорку только о личномъ характерѣ Гоголя, въ которомъ было гораздо меньше наивной искренности и гораздо больше рассчитанной, эгоистической хитрости, чѣмъ предполагалъ авторъ статьи. Фактическія указанія объ этомъ читатель найдетъ въ воспоминаніяхъ г. Анненкова.

собой, мучившее его въ послѣдніе годы, крылось въ немъ съ самаго начала. Это противорѣчіе, которое называли борьбой художническаго начала съ аскетизмомъ, было, еще въ большей степени, борьбой его врожденнаго высокаго побужденія служить обществу, съ тѣми ошибочными теоретическими представленіями объ обществѣ, съ которыми онъ сжился. Въ личной судьбѣ Гоголя отразилась борьба двухъ различныхъ сторонъ общественнаго развитія: какъ великій талантъ, онъ принадлежалъ его прогрессивной сторонѣ, тогда какъ его теоретическія понятія не шли дальше обиходнаго консерватизма, — и здѣсь главный источникъ той борьбы понятій, которой онъ и не выдержалъ. Личная исторія Гоголя, какъ писателя, является характеристическимъ фактомъ въ исторіи самаго общества.

Нѣтъ надобности много говорить о томъ, какой великій смыслъ имѣли произведенія Гоголя. Это былъ талантъ, равныхъ которому не много можно найти въ нашей литературѣ; люди Пушкинскаго кружка сами въ то время находили, что «Мертвыя Души—безъ сомнѣнія *лучшее изъ всего*, что только есть въ нашей литературѣ» ¹⁾. Для нашей литературы Гоголь открывалъ новую область идей, полагалъ основаніе ея дальнѣйшаго развитія, впервые сообщалъ ей глубокой общественный смыслъ. Эта сатира съ такой живостью воспроизводила обыденную жизнь общества, что изображеніе бросалось въ глаза и производило глубокое впечатлѣніе: общество не могло не видѣть вѣрности зеркала, и невольно оглядывалось на себя. Какія бы ни были собственныя идеи писателя о содержаніи его картины, его произведенія стали могущественной силой: они такъ ярко и наглядно изображали русскую жизнь, что заставляли задумываться; изъ-за ряда смѣшныхъ сценъ и характеровъ бросалась въ глаза нравственная нищета этой жизни, отъ которой не на чемъ было отдохнуть. Съ произведеніями Гоголя совершался актъ сознанія, одинъ изъ самыхъ важныхъ, какіе были въ новѣйшей исторіи нашего общества.

Въ общемъ ходѣ развитія, дѣятельность Гоголя несомнѣнно составляетъ послѣдовательную ступень; она окончательно закрываетъ періодъ искусственнаго романтизма и начинается новый періодъ строго-реальнаго изображенія жизни, — но мы напрасно стали бы искать непосредственной связи Гоголевской сатиры съ предыдущей литературой. Виѣшнимъ образомъ Гоголь тѣсно связанъ съ Пушкинскимъ кружкомъ; онъ считаетъ Пушкина своимъ учителемъ; его друзья—люди Пушкинскаго круга; среди ихъ онъ

¹⁾ Слова Плетнева въ письмѣ къ Жуковскому, 1842.

проводить свою жизнь; они считают его своимъ, — но тѣмъ не менѣе, его дѣло выходить изъ ихъ умственного и общественнаго горизонта; поэтому самъ Гоголь, привыкшій смотрѣть ихъ глазами, и могъ не уразумѣть вполне того смысла, какой имѣли его произведенія для общественнаго развитія. Въ своихъ теоретическихъ понятіяхъ Гоголь отчасти сохранялъ простыя патріархальныя традиціи, отчасти заимствовалъ взгляды Пушкинскаго круга, но въ своемъ творчествѣ онъ уже былъ человѣкомъ новаго историческаго слоя. Его друзья изъ Пушкинскаго круга на первыхъ порахъ поняли высокій поэтический талантъ Гоголя и его художественную силу, — но они не поняли общественнаго значенія его произведеній, и потомъ отступились отъ нихъ, когда сдѣлалось ясно ихъ дѣйствіе на общество. Самъ Гоголь также отступился отъ своихъ произведеній, — потому что это дѣйствіе ихъ превышало степень теоретическаго пониманія, вынесенную имъ изъ его школы и изъ его отношеній...

Воспитаніе Гоголя шло сначала въ малороссійской патріархальной семьѣ, гдѣ онъ имѣлъ возможность близко приглядѣться къ старосвѣтскому быту украинскаго дворянства, къ правамъ, преданіямъ и обычаямъ народа, которые потомъ дали ему богатый матеріалъ для его малорусскихъ разсказовъ. Ученіе въ Нѣжинскомъ лицѣѣ, откуда на вакаціи и праздники онъ ѣздилъ домой, продолжило этотъ первый періодъ его воспитанія; малорусскіе поэтическіе интересы поддерживались по прежнему, между прочимъ—театромъ, который Гоголь съ товарищами устроилъ въ лицѣѣ и гдѣ, въ числѣ другихъ пьесъ, давались малорусскія комедіи его отца: Гоголь-отецъ составлялъ ихъ для сцены, устроенной въ Кишинѣ, имѣннѣ извѣстнаго Тропинскаго, который жилъ тогда здѣсь на покой. Ученіе въ лицѣѣ, по словамъ Гоголя и по признанію самихъ его наставниковъ, дало ему немного; его свѣдѣнія были необширныя, и главное изъ нихъ онъ вѣроятно приобрѣлъ собственнымъ чтеніемъ. Его знанія были случайны и отрывочны; понятно, что у двадцати-лѣтняго юноши подобнаго воспитанія легко могло не составить никакого опредѣленнаго образа мыслей,—но и въ его дальнѣйшемъ образованіи и обстановкѣ не было задатковъ для этого, а между тѣмъ почти тотчасъ по выходѣ изъ школы онъ уже вступаетъ на свое литературное поприще. Его мнѣнія о коренныхъ вопросахъ нравственности и общественной жизни оставались и теперь тѣ же патріархально-простодушныя мнѣнія. Въ немъ созрѣвалъ могуще-

ственный талантъ,—его чувство и наблюдательность глубоко проникали въ жизненные явленія,—но его мысль не останавливалась на причинахъ этихъ явленій. Онъ рано былъ исполненъ великодушнаго и благороднаго стремленія къ человѣческому благу, сочувствія къ человѣческому страданію; онъ находилъ для ихъ выраженія возвышенный поэтическій языкъ, глубокій юморъ и потрясающія картины,—но эти стремленія оставались на степени чувства или идеальной отвлеченности, въ томъ смыслѣ, что при всей ихъ силѣ Гоголь не переводилъ ихъ въ практическую мысль улучшенія общественнаго. Подобная мысль не приходила ему въ голову: для устраненія человѣческихъ бѣдствій по его мнѣнію нужно было только, чтобы люди избавились отъ пороковъ и стали добродѣтельны,—извѣстная точка зрѣнія старинныхъ моралистовъ. Въ первое время у него, безъ сомнѣнія, не было и мысли объ этихъ предметахъ, а когда другіе стали указывать ему иную точку зрѣнія, онъ уже не въ силахъ былъ понять ее и въ послѣднее время...

Еще въ лицѣ Гоголь высказывалъ свое горячее желаніе быть полезнымъ обществу; онъ чувствовалъ въ себѣ какія-то необыкновенныя силы, и ожидалъ, что сдѣлаетъ что-то особенное и выходящее изъ ряда; онъ былъ исполненъ высокими, но неясными стремленіями,—но, какъ онъ говорилъ потомъ не одинъ разъ, онъ вовсе не думалъ быть писателемъ, и полагалъ, что всего лучше и всего полезнѣе употребить свои силы на службу—той главнѣйшей, чуть не единственной дорогѣ, которую могъ тогда выбрать человѣкъ его положенія ¹⁾. По окончаніи курса онъ рѣшилъ отправиться для этого въ Петербургъ. Здѣсь онъ дѣйствительно поступилъ на службу, но уже скоро увидѣлъ, что это занятіе не доставляетъ ему того удовольственія, какого онъ ждалъ. Въ немъ скоро сказался писатель. Литературныя предпріятія его начались довольно естественно въ романтическомъ тонѣ («Италія», «Ганцъ Кюхельгартенъ» 1829), въ которомъ онъ прямо слѣдовалъ господствовавшей тогда школѣ. Гоголь скрывалъ свое имя подъ псевдонимомъ, считая свои первыя произведенія пробнымъ опытомъ. Когда вышедшая книжка встрѣтила неблагосклонный пріемъ, Гоголь самъ увидѣлъ неудачу, собралъ свое изданіе и сжегъ его: книжка сдѣлалась чрезвычайной рѣдкостью и самые близкіе друзья его не знали потомъ ничего объ этомъ первомъ его произведеніи. Слѣдовало потомъ еще нѣсколько небольшихъ пьесъ, и наконецъ новая попытка была уже настоящимъ успѣхомъ. Это

¹⁾ См. Записки о жизни Гоголя, I, стр. 25, 36, 75, 129.

были «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки» (1831), обезпечившіе Гоголю мѣсто въ литературѣ и начавшіе его славу. Гоголю было тогда двадцать два года.

Въ періодѣ этихъ первыхъ опытовъ (1829 — 1831) Гоголь успѣлъ познакомиться съ П. А. Плетневымъ, который между прочимъ присовѣтовалъ ему извѣстный псевдонимъ Рудаго-Панька, поставленный на «Вечерахъ». Какъ произошло это первое знакомство, до сихъ поръ еще не было, кажется, рассказано; но такъ или иначе, съ 1831 года мы видимъ уже Гоголя окончательно связаннымъ съ кругомъ писателей, средоточіемъ котораго былъ Пушкинъ. Черезъ Плетнева, или прямо, Гоголь познакомился съ Жуковскимъ, затѣмъ съ самимъ Пушкинымъ; далѣе, мы видимъ въ числѣ его друзей съ этого времени кн. Вяземскаго, гр. М. Ю. Вѣльгорскаго, г-жу А. О. Смирнову и ея брата Росети, и др. Почти въ то же время начинаются его другія близкія связи въ Москвѣ—съ г. Погодинымъ и Шевыревымъ; съ М. А. Максимовичемъ, съ которымъ одно время его тѣсно соединяла общая любовь къ малороссійской старинѣ и народной поэзіи. Послѣдній литературный кругъ, съ которымъ онъ — нѣсколько позднѣе — сталъ въ дружескія отношенія, былъ кругъ славянофильскій—поэтъ Языковъ и семейство Аксаковыхъ. Но главнѣйшія связи, дѣйствовавшія на развитіе литературныхъ идей Гоголя, находились въ Пушкинскомъ кружкѣ. Онъ вступилъ сюда двадцати-двухъ-лѣтнимъ юношей, съ любовью принять былъ въ этотъ кругъ, и остался въ немъ навсегда. Для исторіи внутреннего развитія Гоголя этотъ кругъ имѣлъ весьма большое значеніе.

Въ самомъ дѣлѣ, всматриваясь въ образъ мыслей Гоголя, нельзя не увидѣть, что всѣ его коренныя представленія о жизни и литературѣ были именно представленія Пушкинскаго круга; что, выдѣляясь отъ него особенной оригинальностью своего таланта, Гоголь ничѣмъ не разнился съ нимъ въ своихъ теоретическихъ понятіяхъ объ искусствѣ, о религіи, авторитетѣ, обществѣ, народѣ. Гоголь вступилъ въ этотъ кругъ младшимъ членомъ. Когда Гоголь едва оставилъ школу, люди, составлявшіе этотъ кругъ, были уже признанными главами литературы; это были люди зрѣлаго развитія, опредѣленныхъ понятій, болѣе обширнаго (если не болѣе глубокаго) образованія, болѣе или менѣе значительнаго положенія въ обществѣ. Они стали для Гоголя высшей школой, довершившей его образованіе...

Въ началѣ настоящихъ очерковъ мы старались опредѣлить общій характеръ литературы тридцатыхъ годовъ, и то положеніе, которое приняли въ ней ея корифеи — Жуковскій и Пушкинъ.

Этимъ опредѣляется тотъ порядокъ идей, какой могъ быть усвоенъ Гоголемъ въ этой школѣ; нѣсколько подробностей могутъ ближе объяснить вліяніе этого круга на внутреннюю исторію Гоголя.

«...Гоголь сдѣлался литераторомъ, — говоритъ авторъ упомянутой выше статьи, — и случайность, которая до сихъ поръ называется необыкновенно счастливой и благотворной для развитія творческихъ силъ Гоголя, ввела его въ кружокъ, состоявшій изъ избраннѣйшихъ писателей тогдашняго Петербурга. Первымъ былъ въ этомъ кружкѣ человѣкъ съ талантомъ дѣйствительно великимъ, съ умомъ дѣйствительно очень быстрымъ, съ характеромъ дѣйствительно очень благороднымъ въ частной жизни. Пушкинъ ободрялъ молодого писателя и внушалъ ему, какимъ путемъ надобно идти къ поэтической славѣ. Но каковъ могъ быть характеръ этихъ внушеній? Извѣстенъ образъ мыслей, вполне развившійся въ Пушкинѣ, когда прежніе его руководители смѣнились новыми друзьями и прежняя непріятная обстановка замѣнилась благосклонностью со стороны людей, третировавшихъ Пушкина нѣкогда, какъ дерзкаго мальчишку. До конца жизни Пушкинъ оставался благороднымъ человѣкомъ въ частной жизни; человѣкомъ современныхъ (т.-е. тогда) убѣжденій онъ никогда не былъ; прежде, подъ вліяніями, о которыхъ вспоминаетъ въ «Аріонѣ», — казался, а теперь даже и не казался. Онъ могъ говорить объ искусствѣ съ художественной стороны, ссылаясь на глубокомысленнаго Катенина; могъ прочитать молодому Гоголю прекрасное стихотвореніе «Поэтъ и Чернь» съ знаменитыми стихами:

«Не для житейскаго волненья,
«Не для корысти, не для битвъ, и т. д.

могъ сказать Гоголю, что Полевой — пустой и вздорный крикунъ; могъ похвалить непритворную веселость «Вечеровъ на хуторѣ». Все это пожалуй и хорошо, но всего этого мало; а по правдѣ говоря, не все это и хорошо...

«Если мы предположимъ, что въ общество, занятое исключительно разсужденіями объ артистическихъ красотахъ, вошелъ человѣкъ молодой, до того времени не имѣвшій случая составить себѣ твердый и систематическій образъ мыслей, человѣкъ, не получившій хорошаго образованія, должны ли мы будемъ удивляться, когда онъ не приобрѣтетъ здравыхъ понятій о метафизическихъ вопросахъ и не будетъ приготовленъ къ выбору между различными взглядами на государственныя дѣла?»

«Привычки, утвердившіяся въ обществѣ, имѣютъ чрезвычайную силу надъ дѣйствіями почти каждаго изъ насъ. У насъ еще

очень сильно то мелкое честолюбіе, которое мѣшаетъ человѣку находить удовольствіе въ средѣ людей менѣе высокаго ранга, какъ скоро открывается ему доступъ въ кружокъ, принадлежащій къ болѣе высокому классу общества. Гоголь былъ похожъ почти на каждаго изъ насъ, когда пересталъ находить удовольствіе въ обществѣ своихъ прежнихъ молодыхъ друзей (земляковъ и товарищей по лицю), вошедши въ кружокъ Пушкина. Пушкинъ и его друзья съ такимъ добродушіемъ заботились о Гоголѣ, что онъ былъ бы человѣкомъ неблагодарнымъ, еслибы не привязался къ нимъ какъ къ людямъ. «Но можно имѣть расположеніе къ людямъ и не поддаваться ихъ образу мыслей.» Конечно, но только тогда, когда я самъ уже имѣю твердыя и приведенныя въ систему убѣжденія; иначе откуда же я возьму основаніе отвергать мысли, которыя внушаются мнѣ цѣлымъ обществомъ людей, пользующихся высокимъ уваженіемъ въ цѣлой публикѣ, — людей, изъ которыхъ каждый образованнѣе меня? Очень натурально, что если я, человѣкъ мало образованный, нахожу этихъ людей честными и благородными, то мало-по-малу привыкну я и убѣжденія ихъ считать благородными и справедливыми».

Таковы дѣйствительно были отношенія Гоголя къ этому кругу, гдѣ онъ вскорѣ занимаетъ мѣсто, какъ свой человѣкъ. Изданный въ послѣдніе годы историческій матеріалъ даетъ возможность ближе опредѣлить свойства образа мыслей, соединявшаго людей пушкинскаго круга, до такихъ частныхъ, которыхъ мы напрасно искали бы въ ихъ тогдашнихъ печатныхъ произведеніяхъ, и эти новыя свѣдѣнія вполне подтверждаютъ взглядъ, выраженный въ приведенной нами цитатѣ.

Кругъ Пушкина составлялъ, въ литературѣ тридцатыхъ годовъ, особую котерію, которая мало сближалась съ другими литературными кругами. Главнѣйшіе его представители, Жуковский и Пушкинъ, пользовались всѣмъ авторитетомъ своей славы, который и служилъ знаменемъ для ихъ второстепенныхъ и третьестепенныхъ сподвижниковъ. Еще со второй половины двадцатыхъ годовъ этотъ кругъ сплотился въ прочно-связанное, почти замкнутое общество со своимъ эстетическимъ и общественнымъ кодексомъ.

Въ этомъ кругѣ, уцѣлѣвшіе остатки «Арзамаса» соединялись съ болѣе молодыми представителями пушкинскаго романтизма. Изъ Арзамаса перешелъ сюда взглядъ на литературу какъ на отвлеченное художество, взглядъ, приводившій въ концѣ концовъ къ полному удаленію литературы отъ вопросовъ дѣйствительной жизни. Пушкинъ недаромъ заявлялъ свое пренебреженіе къ «чер-

ни», т.-е. къ обществу, которое вздумало бы ждать отъ литературы какого-нибудь живого участія къ своимъ нравственнымъ интересамъ, а не одного зрѣлища жертвоприношеній Аполлону,— и высокоумѣнно выдѣлялъ привилегію поэта быть рожденнымъ для вдохновенія и сладкихъ звуковъ, далекихъ отъ «житейскаго волненія» и къ нему безучастныхъ.

Съ этимъ понятіемъ о поэзіи, удаляемой отъ «черни» — естественно соединялся тѣсно-консервативный взглядъ въ предметахъ общественныхъ. Удаляясь отъ дѣйствительности, эта литература переставала и понимать ее. Взглядъ кружка и здѣсь развивалъ преданія «Арзамаса»; легкій оттѣнокъ либерализма, сохранявшійся въ виду Шишковаго старовѣрства и партіи классиковъ, теперь почти исчезъ; затѣмъ, по предметамъ общественнымъ, мнѣнія кружка состояли въ апотеозѣ господствовавшего положенія вещей. Жуковский держался издавна этой точки зрѣнія; у Пушкина съ половины двадцатыхъ годовъ пропадаютъ всѣ остатки прежняго либерализма, и наконецъ официальная народность нашла въ немъ своего преданнаго пѣвца. Пушкинскій кружокъ поклонялся имени Карамзина, и въ этомъ поклоненіи политическія идеи историка государства російскаго были однимъ изъ главнѣйшихъ основаній: кружокъ увлекался славою Россіи, вѣрилъ въ ея величіе, не имѣлъ никакихъ сомнѣній и запросовъ относительно настоящаго, а различные недостатки, которыхъ нельзя было не видѣть, приписывалъ только недостатку въ людяхъ добродѣтели, неисполненію законовъ.

Въ литературѣ тридцатыхъ годовъ, кружокъ Пушкина занималъ господствующее положеніе, пока еще не кончилась борьба противъ стараго классицизма. Последнимъ вмѣшательствомъ его въ литературное движеніе того времени была вражда-этого круга къ литературной аферѣ, которую вели тогда Гречъ съ Булгаринымъ и Сенковский. Въ этихъ полемическихъ отношеніяхъ пушкинскій кружокъ высказывалъ очень недвусмысленно свое презрѣніе къ этому униженію литературы;—но къ сожалѣнію, у друзей Пушкина не достало характера, выдержки, или умѣнья, поддержать болѣе дѣйствительнымъ образомъ достоинство литературы. Они жаловались, бранили Сенковского, но были противъ него безсильны... Къ концу тридцатыхъ годовъ положеніе кружка стало измѣняться; еще при жизни Пушкина начался поворотъ, показывавшій, что его школа перестаетъ удовлетворять нараставшимъ потребностямъ общества. Кружокъ Пушкина (вообще говоря, потому что были исключенія) не понималъ уже новаго движенія, возникавшаго на его глазахъ. Такъ, онъ не любилъ Полеваго, не счумѣвши отли-

чить въ его дѣятельности—правда, нѣсколько поспѣшной и шумливой — того, что было въ ней серьезнаго. Живая часть публики поняла однако рьянаго журналиста, и «Телеграфъ» имѣлъ вліяніе. Съ другой стороны, та нѣмецкая философія, которая казалась Пушкину подозрительной, дѣйствительно начала оказывать свое дѣйствіе; съ первымъ изученіемъ этой философіи, въ литературѣ стали больше и больше укрѣпляться воззрѣнія, основанія которыхъ были во всякомъ случаѣ шире, чѣмъ основанія пушкинской школы. Послѣдняя опять не поняла новаго явленія. Нѣкоторыя рѣзкости и неряшества, которыя случались у писателей новаго московскаго кружка, напр. у Надеждина, возстановляли противъ нихъ друзей Пушкина, а серьезная сторона новыхъ мнѣній отъ нихъ ускользала. Предубѣжденіе распространилось и на людей, которые продолжали потомъ движеніе, начатое Надеждинымъ,—такъ оно распространилось на Бѣлинскаго и его друзей. Чѣмъ дальше, тѣмъ больше увеличивалось взаимное непониманіе. Кругъ Пушкина, послѣ его смерти, сталъ все больше терять свое дѣятельное значеніе, все больше уединялся; за непониманіемъ новыхъ направленій явилось наконецъ раздраженіе, вражда; наконецъ — въ нѣсколькихъ случаяхъ — настоящій обскурантизмъ...

«Время тогда (около 1837 года) было очень уже смирное», — рассказываетъ г. Тургеневъ въ воспоминаніяхъ своихъ объ одномъ изъ достойнѣйшихъ членовъ пушкинскаго кружка, Плетневѣ. — «Правительственная сфера, особенно въ Петербургѣ, захватывала и покоряла подъ себя все». Это были — «тѣ времена, которыя покойный Аполлонъ Григорьевъ прозвалъ допотопными. Общество еще помнило удары, обрушившіеся на самыхъ видныхъ его представителей лѣтъ двѣнадцать передъ тѣмъ; и изъ всего того, что проснулось въ немъ впослѣдствіи, особенно послѣ 1855 года, ничего даже не шевелилось, а только бродило — глубоко, но смутно — въ нѣкоторыхъ молодыхъ умахъ. Литературы въ смыслѣ живаго проявленія одной изъ общественныхъ силъ, находящагося въ связи съ другими, столь же и болѣе важными проявленіями ихъ, не было, какъ не было прессы (политической печати), какъ не было гласности, какъ не было личной свободы, а была словесность, и были такіе словесныхъ дѣлъ мастера, какихъ мы уже потомъ не видали».

Кружокъ Пушкина, по своему настроенію, мало чувствовалъ это положеніе вещей. Въ немъ были прекрасные лично люди; иное они и понимали въ этомъ положеніи, но ихъ отношеніе къ дѣйствительности было вообще слишкомъ связанное и пассивное.

Слова г. Тургенева о Плетневѣ раскрываютъ цѣлую сторону самого кружка. «Для критики, въ воспитательномъ, въ отрицательномъ значеніи слова, ему не доставало энергіи, огня, настойчивости, прямо говоря—*мужества*. Онъ не былъ рожденъ бойцомъ»... Пыль и дымъ битвы, говорить г. Тургеневъ, для его натуры были столь же непріятны, какъ и опасность, которой онъ могъ въ ней подвергнуться. Но настолько же удаляли его отъ этой битвы и совсѣмъ другія обстоятельства, его положеніе въ обществѣ, связи съ дворомъ. «Оживленное созерцаніе, участіе искреннее, незыблемая твердость дружескихъ чувствъ и радостное поклоненіе Поэтическому—вотъ весь Плетневъ».

Эти черты мы найдемъ и у другихъ членовъ кружка. Но по своимъ теоріямъ и по общественному положенію, они все больше и больше удалялись отъ того пониманія жизни, для котораго требовалось «мужество»; ихъ литературное содержаніе ограничивалось только совершенно безобидными и слѣдовательно безразличными вещами, — поклоненіе «Поэтическому» становилось изыщнымъ развлеченіемъ, которое никакъ не должно было смущать ихъ спокойствія. Литература, которую могъ поддерживать этотъ кругъ, могла быть только литература, отвѣчающая ихъ идеально-романтическому настроенію и ихъ общественному положенію. Можно себѣ представить, что такое условіе дѣлало объемъ этой литературы не очень широкимъ... Это и оказалось впослѣдствіи, въ сороковыхъ годахъ и въ концѣ разсматриваемаго періода.

Въ такого рода обстановку попасть Гоголь при своемъ вступленіи на литературное поприще. Жуковский, Пушкинъ, Плетневъ приняли теплое участіе въ молодомъ челоѣкѣ, почти юношѣ, первыя произведенія котораго поражали такой свѣжей оригинальностью. У нихъ было довольно эстетическаго чувства, чтобъ заинтересоваться своеобразнымъ талантомъ, и Гоголь уже вскорѣ дѣлается очень близкимъ въ ихъ кругу. Они заботятся объ его матеріальныхъ дѣлахъ, доставляютъ ему мѣста и протекціи, поощряютъ его литературные труды. Извѣстно, съ какимъ горячимъ чувствомъ Гоголь говорилъ всегда о Пушкинѣ, котораго считалъ своимъ учителемъ, и отъ котораго вѣроятно многому учился и въ самомъ дѣлѣ. Пушкинскія преданія были для него святы. Недаромъ случилось, что Пушкинъ далъ Гоголю самые сюжеты «Ревизора» и «Мертвыхъ Душъ». Какъ говорятъ, Пушкинъ разсказалъ Гоголю случай, бывший въ городѣ Устюжнѣ, Новгородской губерніи, гдѣ какой-то проѣзжій господинъ выдалъ себя за чиновника министерства и обобралъ городскихъ жителей. Самого Пушкина при-

нялъ за тайнаго ревизора нижегородскій губернаторъ, когда Пушкинъ проѣзжалъ черезъ Нижній въ Оренбургъ для собранія свѣдѣній о пугачевскомъ бунтѣ: нижегородскій губернаторъ даже предупреждалъ объ этомъ въ Оренбургъ В. А. Перовскаго, который былъ пріятелемъ Пушкина и самъ ему объ этомъ рассказывалъ. На этихъ данныхъ и былъ задуманъ «Ревизоръ», котораго Пушкинъ называлъ себя крестнымъ отцомъ. Въ «Авторской Исповѣди» Гоголь самъ рассказываетъ, что Пушкинъ передалъ ему сюжетъ «Мертвыхъ Душъ», сюжетъ, котораго, по его словамъ, Пушкинъ не отдалъ бы никому другому, кромѣ его. Въ письмахъ Гоголя остались выраженія самаго глубокаго уваженія къ Пушкину ¹⁾.

Извѣстны слова Пушкина о Гоголѣ, что никто не умѣетъ лучше его подмѣтить всю пошлость русскаго человѣка. Гоголь приводитъ его слова: «какъ съ этой способностью (у Гоголя) угадывать человѣка и нѣсколькими чертами выставлать его вдругъ всего, какъ живаго, съ этой способностью не приняться за большое сочиненіе! Это просто грѣхъ!» Убѣждая Гоголя сдѣлать это, Пушкинъ приводилъ примѣръ Сервантеса, который только съ «Донъ-Кихотомъ» занялъ свое высокое мѣсто въ литературѣ... При всемъ томъ Пушкинъ едва ли предвидѣлъ то значеніе, которое Гоголю предстояло получить въ нашей литературѣ. Одинъ современникъ той эпохи (гр. Соллогубъ) справедливо, по нашему мнѣнію, замѣчаетъ, что кромѣ способности подмѣчать пошлость, у Гоголя были еще другія громадныя достоинства, и что Пушкинъ никогда въ томъ вполне не убѣдился, и во всякомъ случаѣ не ожидалъ, чтобы имя Гоголя «стало подлѣ, если не выше его собственнаго имени»... Пушкинъ ожидалъ отъ произведеній Гоголя большихъ художественныхъ достоинствъ, большого успѣха въ публикѣ, но не могъ предвидѣть ихъ *общественнаго* вліянія, — какъ потомъ не понимали этого вліянія друзья Пушкина, и самъ Гоголь.

¹⁾ Напримѣръ, въ напечатанномъ недавно письмѣ Гоголя къ Жуковскому, изъ Рима въ апрѣлѣ 1839 г., онъ говоритъ; „...Я долженъ продолжать мною начатой большой трудъ, который писать взялъ съ меня слово Пушкинъ, котораго мысль есть его созданіе и который обратился для меня съ этихъ поръ въ *священное завѣщаніе*“. Въ письмѣ къ Плетневу, въ мартѣ 1837 г., по полученіи извѣстія о смерти Пушкина, Гоголь говоритъ: „...Никакой вѣсти нельзя было получить хуже изъ Россіи. Все наслажденіе моей жизни, все мое высшее наслажденіе исчезло вмѣстѣ съ нимъ. Ничего не предпринималъ я безъ его совѣта. Ни одна строка не писалась безъ того, чтобы я не воображалъ его передъ собою. Чтѣ скажетъ онъ, чтѣ замѣтитъ онъ, чему посмѣется, чему изречетъ неразрушимое и вѣчное одобреніе свое—вотъ чтѣ меня только занимало и одушевляло мои силы“, и проч. Сочиненія и письма Гоголя, изд. Кулиша, V, стр. 286—287. См. также „Выбранныя Мѣста“ и „Авторскую Исповѣдь“, и Записки о жизни Гоголя, I, стр. 194 (мнѣніе друзей Гоголя объ его отношеніяхъ съ Пушкинымъ).

Въ самомъ дѣлѣ, этого вліянія не предвидѣли тогда ни Плетневъ, ни Жуковскій. Плетневъ ближе и проще зналъ русскую дѣйствительность, чѣмъ Жуковскій; человѣкъ большого практическаго опыта и здраваго смысла, онъ еще могъ предполагать подобное вліяніе Гоголя, даже находить его законнымъ, — хотя только до извѣстныхъ предѣловъ. Что же касается до Жуковскаго, то ему еще менѣе, чѣмъ кому-нибудь изъ этого круга, понятна была возможность русской сатиры не въ видѣ отвлеченной нравственности, а въ видѣ настоящей независимой общественной мысли.

Личныя связи Гоголя съ Жуковскимъ также были очень тѣсны. Жуковскій располагалъ къ себѣ другими сторонами характера. При всѣхъ односторонностяхъ своего поэтическаго мистицизма, Жуковскій отличался благородной, мягкой человѣчностью, готовой на практическую помощь даже въ самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, — на что не хватало храбрости ни у кого больше изъ людей той среды ¹⁾. Гоголь былъ привязанъ къ нему тѣмъ больше, что былъ обязанъ ему въ устройствѣ многихъ своихъ практическихъ дѣлъ. Еще въ письмахъ 1831 года между ними видна самая дружеская короткость; впоследствии, она еще увеличилась, особенно во время жизни Гоголя за границей, гдѣ онъ часто пріѣзжалъ къ Жуковскому и гдѣ послѣдній во время болѣзни Гоголя носился съ нимъ какъ съ капризнымъ ребенкомъ ²⁾... Къ послѣднимъ десятилѣтіямъ своей жизни, именно

¹⁾ Вотъ два замѣчанія, любопытнымъ образомъ стоящія рядомъ въ воспоминаніяхъ г-жи Смирновой: „Лунная ночь, съ ея таинственностью и чарами, приводила Жуковскаго въ восторгъ. Отношенія его къ старымъ товарищамъ, къ друзьямъ молодости никогда не измѣнялись. Не разъ онъ подвергался неудовольствію государя за свою непоколебимую вѣрность нѣкоторымъ изъ нихъ“ (т.-е. къ нѣкоторымъ изъ декабристовъ)...

²⁾ Въ образчикъ ихъ отношеній можно привести, напр., слѣдующій отрывокъ изъ письма Гоголя къ Жуковскому въ іюнѣ 1836 г., по отъѣздѣ перваго за границу: „Разлуки между нами быть не можетъ и не должно быть, и гдѣ бы я ни былъ, въ какомъ бы отдаленномъ уголкѣ ни трудился, я всегда буду возлѣ васъ. Каждую субботу я буду въ вашемъ кабинетѣ, вмѣстѣ со всѣми близкими вамъ. Вѣчно вы будете представляться мнѣ слушающимъ меня читающаго. Какое участіе, какое заботливо-родственное участіе видѣлъ я въ глазахъ вашихъ. Низкимъ и пошлымъ почиталъ я выраженіе благодарности моей къ вамъ. Нѣтъ, я не былъ проникнутъ благодарностью; клянусь, это что-то выше, что-то больше ея; я не знаю, какъ назвать это чувство, но катящаяся въ эту минуту слеза, но взволнованное до глубины сердце, говорятъ, что оно одно изъ тѣхъ чувствъ, которыя рѣдко достаются въ удѣлъ жителю земли». Мы не будемъ разбирать, былъ ли Гоголь *воплоть* искрененъ въ этихъ заявленіяхъ своей преданности; мы оставляемъ вообще въ сторонѣ опредѣленіе его

въ пору отношеній съ Гоголемъ, Жуковский, нѣкогда романтическій идеалистъ съ отвлеченной религіей, больше и больше переходилъ въ православнаго мистика, и когда въ Гоголѣ стала развиваться его тревожная и мнительная религіозность, общество Жуковского могло только поддержать ее и усилить собственными увлеченіями Жуковского. Въ понятіяхъ о жизни онъ до конца остается идеалистомъ, и легко повѣрить рассказамъ о немъ г-жи Смирновой: «Такой натурѣ (добродушной и довѣрчивой) пришлось провести столько лѣтъ въ корридорахъ Зимняго дворца! Но онъ былъ чистъ и свѣтъ душою и въ этой атмосферѣ»... «Онъ какъ-то зналъ, что есть зло *en gros*, но не видалъ его *en détail*, когда и случилось ему столкнуться съ чѣмъ-нибудь дурнымъ»... Въ вопросѣ русской дѣйствительности, изображеніе которой Гоголь поставилъ своей задачей, Жуковский былъ бы конечно самый плохой совѣтникъ; скорѣе, онъ могъ только поддержать въ Гоголѣ его мистическое апостольство, къ которому впослѣдствіи онъ вообразилъ себя призваннымъ.

Были наконецъ въ этомъ кругѣ и люди другого характера, нѣкогда остроумцы и *esprits forts*, но теперь и остроуміе и бывший либерализмъ уже выдыхались и замѣнялись житейскимъ благоразуміемъ и успокоеніемъ на лаврахъ. Въ своемъ кружкѣ подобные люди еще ходили со своей старой репутаціей; внѣ кружка они уже переставали быть литературной силой.

Въ тридцатыхъ, а еще болѣе въ сороковыхъ годахъ, друзья Пушкина, ставшіе друзьями и покровителями Гоголя, были люди довольно высоко поставленные, вполне или отчасти придворные... Литературные интересы принимали въ этихъ условіяхъ совсѣмъ особый характеръ: онъ сообщился вскорѣ и Гоголю. Кружокъ все больше и больше удалялся отъ главнаго теченія литературы. При Пушкинѣ, — это начиналось враждой къ Полевому, къ Надеждину; въ сороковыхъ годахъ это окончилось — враждой къ Бѣлинскому и всѣмъ писателямъ его направленія. Единственныя оставшіяся симпатіи были къ «Москвитянину», который пріятель былъ своимъ благочестіемъ, своей вѣрностью Карамзину и вообще старымъ преданіямъ; остальная литература мало интересовала кружокъ или возбуждала въ немъ крайнюю антипатію. О ней даже мало говорится въ перепискѣ кружка; но рѣдкія упоминанія о ней показываютъ, что чувства къ ней были одинаковы у различныхъ его членовъ. Вотъ отрывокъ изъ письма

личнаго характера, — оно мало измѣнило бы выводы о теоретическихъ мнѣніяхъ, какими Гоголь научался въ Пушкинскомъ кругѣ.

1845 г. къ Жуковскому, отъ одного изъ его друзей: «Маленькое число тѣхъ людей, съ которыми я бывалъ у васъ, теперь странно разрознилось. Нѣтъ общей любви, общаго интереса и общей цѣли. Однихъ охолодило чувство *глубокаго презрѣнія къ господствующимъ идеямъ* въ кругахъ литературныхъ. Другіе, недостойно увлекшись соблазномъ корысти, невольно отталкиваютъ отъ себя каждое несовременное ¹⁾ сердце. Третьи, какъ златые тельцы стоятъ на своемъ подножіи—боги для упавшихъ передъ ними, болваны для не-язычниковъ. Нѣтъ Моисея и нѣтъ религіи. Я увѣренъ, что и Вяземскій испытываетъ ощущенія, отъ которыхъ я часто задыхаюсь» и проч. Въ письмѣ не говорится ближе, о чемъ именно идетъ рѣчь, но несомнѣнно, что «господствующія идеи» относились именно къ идеямъ Бѣлинскаго и его круга. Эти враждебныя отношенія и высказались въ 1847-мъ, при появленіи «Переписки съ друзьями».

Нѣсколько позднѣе, въ мартѣ 1850 года, Плетневъ писалъ къ Жуковскому: «... Норовъ (товарищъ министра народнаго просвѣщенія, Абрамъ Сергѣевичъ) затѣваетъ, по моей мысли, образовать журналъ для противодѣйствія *конвульсивно-скарредной* литературы нашей. Что вы объ этомъ думаете? Въ распоряженіи министерства не только всѣхъ университетовъ профессора и всѣ академики, но и сильные денежные способы. Итакъ, мнѣ кажется, этою арміею навѣрно побѣдить можно нестройную толпу наѣзниковъ, которые безъ предводителя (?) и поддерживаются однимъ развратнымъ невѣжествомъ провинціаловъ. Очень желаю знать, какъ вы объ этомъ судите»...

Если не ошибаемся, что-то было уже начато для осуществленія этой мысли. Норовъ устроилъ у себя ученые рауты, на которыхъ собирались профессоры и академики, но предпріятіе тѣмъ не менѣе не исполнилось. Самъ Плетневъ долженъ былъ, повидимому, уже скоро разочароваться въ своихъ надеждахъ. (Припомнимъ, что «конвульсивно-скарредная» литература тогда едва существовала; это было время усиленной цензуры, негласнаго комитета и т. д.). Случилось, что въ это самое время Жуковский прислалъ Плетневу рядъ своихъ статей для отдачи въ цензуру и напечатанія. Это были именно статьи по религіозно-нравственнымъ и общественнымъ предметамъ, писанныя Жуковскимъ въ послѣдніе годы жизни—гдѣ онъ объяснялъ свои «основныя начала въ политикѣ и въ философіи и нравственности», а именно—«христіанство и самодержавіе, христіанство и православіе». Можно

¹⁾ Иронически.

себѣ представить, что могъ написать вѣрующей, строго-консервативный, преданный Жуковскій о предметахъ этого рода ¹⁾. Статьи привели Плетнева въ восторгъ. Но на дѣлѣ оказалось (письмо Плетнева отъ мая 1850), что тотъ же Норовъ, на котораго Плетневъ возлагалъ свои надежды, не пропустилъ статьи Жуковского, особенно Плетнева восхитившей; что духовная цензура не пропустила статей Жуковского, которыя имѣли отношеніе къ религіи.—До такого опыта должны были дойти люди, собиравшіеся спасать литературу... Опытъ конечно былъ слишкомъ поздній, да и напрасный.

Когда въ дѣятельности Пушкина настала пора чисто художественнаго творчества, интересъ общественный сталъ для него довольно безразличенъ; это обстоятельство, которое ставили въ связь съ его новыми отношеніями въ высшихъ сферахъ, начало охлаждать прежнее горячее сочувствіе къ нему въ той части публики, которая искала въ литературѣ нравственно-общественнаго смысла. Послѣ Пушкина, его кружокъ еще менѣе заботился объ этихъ сочувствіяхъ, считая, что литература въ ихъ смыслѣ, чисто поэтическая, совершенно консервативная, и есть настоящая литература, что другой не должно быть, или она будетъ извращеніемъ ея здравыхъ началъ. Такимъ образомъ, теорія чистаго искусства сходилась съ практическимъ отвращеніемъ кружка къ критикѣ дѣйствительности, а съ другой стороны это нерасположеніе къ критикѣ становилось необходимостью для членовъ кружка по ихъ связямъ въ высшемъ кругу, при дворѣ. Въ тѣ времена, и вообще критика дѣйствительности была возможна только въ самомъ ограниченномъ размѣрѣ и была еще мало распространена; въ этомъ же кругу независимый взглядъ на общественную дѣйствительность просто былъ бы вещью немыслимой. Что внѣшнее положеніе кружка вліяло извѣстнымъ образомъ на его литературныя мнѣнія,—этого не могла не замѣтить новая школа; и справедливо не могла этому сочувствовать, потому что здѣсь начиналась неискренность, лицемеріе, подведеніе требованій литературы, такъ высоко оффняемыхъ самимъ кружкомъ, подъ личные посторонніе расчеты. Это былъ весьма существенный пунктъ, гдѣ двѣ литературныя школы или направленія въпослѣдствіи окончательно перестали понимать другъ друга.

Гоголю пришлось испытать на себѣ удобства и неудобства этихъ отношеній. Его матеріальныя обстоятельства почти всегда были не блестящи; онъ вѣчно нуждался въ деньгахъ; когда они

¹⁾ Эти статьи вошли теперь въ послѣднее изданіе сочиненій Жуковского.

бывали, онъ самъ распоряжался ими не совсѣмъ благоразумно; въ позднѣйшіе годы онъ нерѣдко обращалъ ихъ на филантропію. Друзья указали ему одинъ путь для поправленія своихъ дѣлъ,—путь, къ которому онъ потомъ много разъ обращался. Новая обнародованная переписка прибавляетъ еще нѣсколько свѣдѣній къ фактамъ, извѣстнымъ изъ біографіи. Напримѣръ:

Въ іюнѣ 1836 г., уже въ первую поѣздку за границу, Гоголь пишетъ изъ Гамбурга къ Жуковскому: «Не знаю, какъ благодарить васъ за хлопоты ваши доставить мнѣ отъ императрицы на дорогу. Если это сопряжено съ неудобствами, или сколько нибудь неприлично, то не старайтесь объ этомъ», и проч. Онъ надѣется обойтись собственными средствами.

Въ октябрѣ 1837 г., онъ пишетъ къ Жуковскому изъ Рима: «Я получилъ данное мнѣ великодушнымъ нашимъ государемъ вспоможеніе. Благодарность сильна въ груди моей», и проч.

Въ апрѣлѣ 1839 г., въ письмѣ къ Жуковскому изъ Рима, онъ описываетъ свое безденежье и продолжаетъ: «Я думалъ, думалъ и ничего не могъ придумать лучше, какъ прибѣгнуть къ государю. Онъ милостивъ; мнѣ памятно до гроба то вниманіе, которое онъ оказалъ къ моему Ревизору. Я написалъ письмо, которое прилагаю» и проч. Онъ *советуетъ* предложить на высочайшее прочтеніе «Старосвѣтскихъ помѣщиковъ» и «Тараса Бульбу», какъ такіа произведенія, которыя могутъ дать о немъ «правильное понятіе»,—именно произведенія, какъ видимъ, совершенно удаленныя отъ всякаго непріятнаго столкновенія съ дѣйствительностью...

Въ 1842-мъ, по выходѣ «Мертвыхъ Душъ», онъ ожидаетъ опять «милости» ¹⁾. Далѣе, Жуковскій въ январѣ 1845 пишетъ къ г-жѣ Смирновой: «Вамъ бы надобно о немъ (о Гоголѣ) позаботиться у царя и царицы... Онъ въ безпрестанной зависимости отъ завтрашняго дня. Подумайте объ этомъ; вы лучше другихъ можете *характеризовать Гоголя съ его настоящей лучшей стороны*. По его *комическимъ твореніямъ* могутъ въ немъ видѣть совсѣмъ не то, что онъ есть. У насъ смѣхъ принимаютъ за грѣхъ, слѣдовательно всякій насмѣшникъ долженъ быть великій грѣшникъ».

¹⁾ Въ письмѣ къ Пястеву: „Я къ вамъ съ корыстолюбивой просьбой... Узнайте, что дѣлаютъ экземпляры „Мертвыхъ Душъ“, назначенные мною къ представленію... Въ древнія времена, когда былъ въ Петербургѣ Жуковскій, мнѣ обыкновенно что-нибудь слѣдовало. Это мнѣ теперь очень, очень было бы нужно“, и проч. Изд. Кулиша V, стр. 499. Записки, I, стр. 322.

Въ апрѣлѣ того же года, Жуковскій пишетъ г-жѣ Смирновой о скорѣйшей высылкѣ назначенныхъ Гоголю денегъ. Ему было назначено на три года отъ Государя по 1,000 рублей, и отъ Наслѣдника по тысячѣ франковъ ¹⁾.

Итакъ далѣе.

Гоголю потомъ ставили въ упрекъ это исканіе милостей, запрашиванье денегъ, которое получило особенно странный видъ, когда появилась въ свѣтъ «Переписка» — проповѣдь мистическаго аскетизма, общественнаго застоя и приниженія. Странное совпаденіе фактовъ заставляло недоумѣвать и сомнѣваться о личномъ характерѣ Гоголя, о полномъ безкорыстіи его дѣйствій. — Но теперь можно видѣть, что дѣло было здѣсь не столько въ личномъ характерѣ, сколько въ цѣломъ взглядѣ на вещи, который былъ имъ усвоенъ. Правда, въ характерѣ Гоголя нельзя не видѣть непріятно поражающей черты — какой-то искательности, особеннаго желанія имѣть друзей въ аристократическомъ мірѣ; и хотя эта искательность конечно слишкомъ обыкновенное дѣло, но въ писателѣ такой силы можно бы желать больше независимости и свободы отъ подобныхъ искушеній. Правда также, что желая выпросить денегъ, Гоголь могъ бы не употреблять (по крайней мѣрѣ самъ) такихъ средствъ, какъ рекомендація тѣхъ, а не другихъ своихъ произведеній, для произведенія того, а не другого впечатлѣнія. Но вообще, если онъ искалъ себѣ средствъ на упомянутой дорогѣ, это не было *такое* попрошайничество, какъ о томъ думали; онъ просто слѣдовалъ понятіямъ кружка, въ которомъ жилъ. Литература въ глазахъ кружка, а затѣмъ и въ глазахъ Гоголя вовсе не имѣла значенія такой независимой идеальной общественной силы, какое приписывалось ей новыми литературными поколѣніями; литература, какъ поэзія («поэзія есть добродѣтель», по словамъ Жуковскаго) и поученіе, служба народному просвѣщенію, служила прямо цѣлямъ государства, — такъ что занятіе литературой было со стороны писателя такая же «служба», какъ всякая другая. Такъ думалъ еще Карамзинъ. Начавши заниматься исторіей государства русскаго, онъ желалъ быть именно «исторіографомъ», получалъ за то жалованье (правда, скромное), чины и кресты, и приступая къ печати, непременно хотѣлъ, чтобы книга издана была на казенный счетъ... Въ кружкѣ Пуш-

¹⁾ См. къ этому официальную переписку, напечатанную въ „Сѣв. Почтѣ“, 1865 г. Послѣ выхода „Выбранныхъ Мѣстъ“, Гоголь напротивъ пишетъ Плетневу: „...Ни отъ кого не бери подарковъ и постарайся отъ этого вывернуться“, — но совѣтуетъ „смѣло брать“, если предложить деньги на вспомошествованіе тѣмъ, кого Гоголь встрѣтитъ идущихъ на поклоненіе св. мѣстамъ. Изд. Кулиша VI, 272. Записки II, 69.

кина было очень принято патриархальное представление, что литературная дѣятельность, даже не исторіографія, можетъ и должна быть поощряема подобнымъ образомъ, и что если поощреніе замедлялось, его можно было искать и выпрашивать. Карамзинъ по крайней мѣрѣ писалъ книгу, первую въ своемъ родѣ, дѣйствительно съ точки зрѣнія государственной, официальной. Теперь стали думать, что юмористическіе рассказы, комедіи—также «служба», и, слѣдовательно, также могутъ требовать официального поощренія... Это было странно, но это было искреннее убѣжденіе не только друзей, но и Гоголя ¹⁾. Вниманіе, оказанное высшими сферами «Ревизору» въ то время, какъ въ чиновничьей публикѣ раздавались вопли противъ него,—утверждало Гоголя въ этомъ мнѣніи. Впослѣдствіи, сильное впечатлѣніе, имъ произведенное, начинающаяся слава, удостовѣряли Гоголя, что дѣло его крупное дѣло, и онъ окончательно увѣрился, что призванъ обличать пороки и злоупотребленія, именно въ видахъ правительства и для государственной пользы.

Въ этихъ и подобныхъ понятіяхъ Гоголь несомнѣнно многое заимствовалъ прямо отъ своихъ друзей. Вступая въ пушкинскій кругъ, онъ встрѣтилъ въ немъ уже вполне сформированные, опредѣленные взгляды. Онъ естественно имъ подчинился; другихъ понятій онъ тогда ни отъ кого не слыхалъ. Онъ принималъ понятія кружка, и считалъ свои произведенія вполне подходящими подъ ихъ теорію; друзья его, хотя замѣчали высокія достоинства его произведеній, также не предвидѣли въ нихъ ничего особеннаго и такого, что вносило бы въ литературу какой-нибудь совсѣмъ новый, имъ неизвѣстный элементъ.

Въ самомъ дѣлѣ, по первымъ произведеніямъ Гоголя можно было и не предвидѣть этого. «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки» (1831—1832) была очень живая, веселая книга, съ богатымъ юморомъ, изображавшая малорусскій бытъ. Въ общественномъ смыслѣ это была вещь безразличная, не поднимающая никакого

¹⁾ Вотъ его собственныя слова въ „Авторской Исповѣди“:—ему надо было объяснить себѣ цѣль своего труда („Мертвыхъ Душъ“), чтобы онъ самъ возгорѣлся къ нему любовью,—словомъ, чтобы почувствовалъ и убѣдился самъ авторъ, что, творя творенье свое, онъ исполняетъ именно тотъ долгъ, для котораго онъ призванъ на землю, для котораго именно даны ему способности и силы, и что исполняя его, онъ *служитъ въ то же самое время такъ же государству своему, какъ бы онъ дѣйствительно находился въ государственной службѣ*. Мысль о службѣ у меня никогда не пропадала... Какъ только я почувствовалъ, что на поприщѣ писателя могу сослужить также службу государственную, я бросилъ все... чтобы обсудить... какъ произвести такимъ образомъ свое творенье, чтобы доказать, что я былъ также гражданинъ земли своей и хотѣлъ служить ей“. Изд. Кулиша III, стр. 502—503.

вопроса, хотя, собственно говоря, и въ ней было уже новое, именно любящее отношеніе къ народу, безъ всякаго искусственнаго романтизма. «Вечера» были параллельны тому литературному движенію, которое въ эти годы стало обращаться къ изученію народной жизни, — обращаться не всегда вѣрно, но уже не свысока, не съ сознаніемъ превосходства, а съ теплымъ сочувствіемъ. Гоголь около этого времени именно увлекался малороссійской стариной и народной поэзіей, дѣля это увлеченіе съ Максимовичемъ, и безъ сомнѣнія не мало содѣйствовалъ народно-этнографическому изученію возбужденіемъ сочувствія и любопытства къ живому народному быту. *Этотъ* интересъ Гоголя едва ли былъ совершенно раздѣляемъ его петербургскими друзьями.

Въ «Арабескахъ» (1835) юморъ Гоголя коснулся новыхъ сторонъ жизни, и уже въ полную силу его глубокаго таланта. Здѣсь явились «Записки Сумасшедшаго». Въ слѣдующемъ году появился «Ревизоръ» въ печати и на сценѣ. Гоголь достигалъ вершинъ своего творчества, и вліяніе, предстоявшее ему въ литературѣ, уже начало теперь обозначаться. Гоголь становился для новыхъ литературныхъ поколѣній представителемъ иного, болѣе глубокаго значенія литературы.

Но такъ ли думали о немъ его друзья, и самъ Гоголь предполагалъ ли эту, болѣе широкую цѣль и смыслъ своихъ произведеній? Друзья его думали не такъ. Высоко цѣня Гоголя, они не видѣли въ его трудахъ той особенной значительности, которая обнаружилась вскорѣ ихъ обширнымъ вліяніемъ на всю литературу. «Ревизоръ» былъ для нихъ прекрасная комедія, отличная картина русскихъ нравовъ, одушевленная желаніемъ указать пороки и злоупотребленія; но для нихъ, и для самого Гоголя осталось непонятно общественное значеніе его произведеній. Дѣло въ томъ, что дѣйствительный смыслъ этихъ произведеній, вытекавшій изъ ихъ поэтической правды, шелъ гораздо дальше того, что Гоголь и его друзья предполагали по своему литературному и общественному образу мыслей. Этотъ образъ мыслей былъ чисто и совершенно консервативный, дѣйствіе сатиры Гоголя было далеко не консервативное; и въ этомъ-то Гоголь и его друзья не отдавали себѣ яснаго отчета ¹⁾.

¹⁾ Этотъ общественный смыслъ и для его другихъ почитателей раскрылся не вдругъ. Бѣлинскій, съ перваго раза высоко поставившій Гоголя, въ первыхъ его произведеніяхъ восхищается только чисто-художественными, отвлеченными достоинствами. Г. Тургеневъ, который еще помнить появленіе „Ревизора“, замѣчаетъ, что ему, какъ, вѣроятно, вообще его сверстникамъ, въ то время еще не было понятно все значеніе гениальной комедіи.—Это и естественно; потому что значеніе ея опредѣлялось тѣмъ

«Нѣтъ, кажется, сомнѣнія — говоритъ авторъ цитированной выше статьи, — что до того времени, когда начало въ Гоголѣ развиваться такъ-называемое аскетическое направленіе, онъ не имѣлъ случая приобрести ни твердыхъ убѣжденій, ни опредѣленнаго образа мыслей. Онъ былъ похожъ на большинство полуобразованныхъ людей, встрѣчаемыхъ нами въ обществѣ. Объ отдѣльныхъ случаяхъ, о фактахъ, попадающихся имъ на глаза, судить они такъ, какъ велитъ имъ инстинктъ ихъ натуры. Такъ и Гоголь, отъ природы имѣвшій расположеніе къ болѣе серьезному взгляду на факты, нежели другіе писатели тогдашняго времени, написалъ «Ревизора», повинаясь единственно инстинктивному внушенію своей натуры: его поражало безобразіе фактовъ, и онъ выражалъ свое негодованіе противъ нихъ; о томъ, изъ какихъ источниковъ возникаютъ эти факты, какая связь находится между тою отраслью жизни, въ которой встрѣчаются эти факты, и другими отраслями умственной, нравственной, гражданской, государственной жизни, онъ не размышлялъ много. Напримѣръ, конечно рѣдко случилось ему думать о томъ, есть ли какая-нибудь связь между взяточничествомъ и невѣжествомъ, есть ли какая-нибудь связь между невѣжествомъ и организаціей различныхъ гражданскихъ отношеній. Когда ему представлялся случай взяточничества, въ его умѣ возбуждалось только понятіе о взяточничествѣ, и больше ничего; ему не приходило въ голову понятіе безправности и т. п. Изображая своего городничаго, онъ, конечно, и не воображалъ думать о томъ, находятся ли въ какомъ-нибудь другомъ государствѣ чиновники, кругъ власти которыхъ соотвѣтствуетъ кругу власти городничаго и контроль надъ которыми состоитъ въ такихъ же формахъ, какъ контроль надъ городничимъ. Когда онъ писалъ заглавіе своей комедіи «Ревизоръ», ему вѣрно и въ голову не приходило подумать о томъ, есть ли въ другихъ странахъ привычка посылать ревизоровъ; тѣмъ менѣе могъ онъ думать о томъ, изъ какихъ формъ вытекаетъ потребность посылать въ провинціи ревизоровъ. Мы смѣло предполагаемъ, что ни о чемъ подобномъ онъ и не думалъ, потому что ничего подобнаго не могъ онъ и слышать въ томъ обществѣ, которое такъ радушно и благородно пріютило его, а еще менѣе могъ слышать прежде, нежели познакомился съ Пушкинымъ. Теперь, напримѣръ, Щед-

сильнымъ впечатлѣніемъ, которое она сдѣлала на общество, а впечатлѣніе опредѣлилось не вдругъ. Надобно замѣтить однако, что при всемъ томъ Бѣлинскій, еще *при жизни Пушкина*, видѣлъ въ Гоголѣ новый начинающійся періодъ русской литературы.

ринь вовсе не такъ инстинктивно смотреть на взяточничество.... онъ очень хорошо понимаетъ, откуда возникаетъ взяточничество, какими фактами оно поддерживается, какими фактами оно могло бы быть истреблено... Гоголь видитъ только частный фактъ, справедливо негодуешь на него, и тѣмъ кончается дѣло. Связь этого отдѣльнаго факта со всею обстановкою нашей жизни вовсе не обращаетъ на себя его вниманія».

Эта связь ускользала отъ Гоголя и его друзей или не привлекала ихъ вниманія, или они сами иной разъ не хотѣли ея видѣть; но ее старалось отыскать и отыскивало новое литературное направленіе, и въ этомъ различіи заключается существенная черта ихъ отношеній. Новое направленіе (направленіе Бѣлинскаго и его друзей) вообще получило въ своемъ развитіи болѣе серьезную заправку; не довольствуясь фактомъ, оно искало его причины и вскорѣ нашло ее въ соображеніяхъ, которыхъ никогда не дѣлала пушкинская школа (или дѣлала слишкомъ поверхностно), направлявшая Гоголя; не довольствуясь негодованіемъ на отдѣльный фактъ, новое направленіе негодовало на его причины, и искало средствъ устранить ихъ,—отсюда и возникалъ цѣлый образъ мыслей, совершенно опредѣленный, относившійся недовѣрчиво къ настоящему, горячо стремившійся къ лучшимъ формамъ общественной жизни. Это былъ образъ мыслей, очень далекій отъ мнѣній Гоголя. Тѣмъ не менѣе, Гоголь сталъ великой опорой этого образа мыслей и опорой новаго направленія. Онъ дѣйствовалъ какъ художникъ, какъ поэтъ; его теоретическія мнѣнія могли быть неудовлетворительны, но ихъ не было видно въ его произведеніяхъ,—онъ говорилъ картинами нравовъ, а эти картины были такъ вѣрны, онъ раскрывалъ фальшивыя и вредныя стороны нашего быта съ такой силой, что для новаго направленія эти произведенія были въ высшей степени сочувственны: онѣ исполняли половину его задачи, какъ наглядное изображеніе, которое давало уже матеріалъ для размышленія тому, кто захотѣлъ бы подумать о томъ серьезнѣе. Самъ Гоголь не выводилъ изъ своихъ трудовъ тѣхъ заключеній, какія изъ нихъ слѣдовали и какія были выводимы новымъ направленіемъ; онъ былъ не въ силахъ вывести этихъ заключеній, или, по своимъ теоретическимъ понятіямъ, вывелъ бы ихъ ошибочно (какъ это и случилось впослѣдствіи): въ этомъ и сказывалась разница двухъ поколѣній, пушкинскаго, въ которомъ онъ воспитался, и поколѣнія сороковыхъ годовъ. Это были двѣ ступени общественнаго сознанія: Гоголь только воспринималъ и указывалъ извѣстныя мрачныя стороны жизни; новое

направленіе отыскивало ихъ смыслъ, причину и думало о средствахъ ихъ удаленія ¹⁾.

Такъ это было въ первое время дѣятельности Гоголя. Мы увидимъ, что и до конца ея онъ не приобрѣлъ другой точки зрѣнія. Съ болѣе зрѣлыми годами, у Гоголя является потребность выяснитъ себѣ начала той дѣятельности, которая до тѣхъ поръ шла у него только въ силу инстинктивной потребности его поэтической природы; къ этому опредѣленію вызывалъ его успѣхъ его произведеній, ихъ несомнѣнное и для него не вполне понятное дѣйствіе на общество. Но привычки мысли были сдѣланы. Притомъ, отправившись вскорѣ за границу, откуда онъ продолжалъ связи только съ людьми своего первоначального круга, онъ оставался внѣ умственныхъ вліяній, нараставшихъ въ литературѣ, и внѣ непосредственнаго вліянія жизни—такъ что его теоретическія разсужденія остались совершенно на прежней почвѣ. Изъ нихъ потомъ и стали развиваться, безъ всякихъ другихъ внушеній, тѣ странныя мнѣнія, какими Гоголь отличался впоследствии. Если онъ сталъ понимать свое отношеніе къ обществу нѣсколько высокоумѣрно, какъ отношеніе учителя нравственности, христіанскаго моралиста, то это представленіе мы встрѣтимъ у него еще въ пору «Ревизора», слѣдовательно въ самую свѣжую пору его дѣятельности, и основныя идеи «Переписки» были готовы уже теперь, а въ этой книгѣ онъ получили только свою окончательную отдѣлку, свою самую рѣзкую форму. Отъ своей основной точки зрѣнія Гоголь шелъ путемъ довольно естественнымъ и логическимъ. Если онъ призванъ исправлять людскіе пороки, если онъ проповѣдникъ нравственности, то ему нужно прежде всего подумать о самомъ себѣ и изучить себя, нужно, чтобы было твердо его собственное убѣжденіе; чтобы осуждать чужіе недостатки и пороки, надо осудить и свои собственные. Путь къ такъ-назы-

¹⁾ Та же неясность и нерѣшительность обнаруживались и въ литературныхъ мнѣніяхъ Гоголя. Онъ дѣлилъ съ пушкинской школой понятія объ искусствѣ (съ которымъ потомъ онъ впалъ въ свои печальныя заблужденія), дѣлилъ тогда ея литературныя отношенія, имѣлъ однихъ союзниковъ и враговъ. Въ извѣстной статьѣ о «движеніи журнальной литературы» въ пушкинскомъ «Современникѣ» (1836) онъ ловко и умно разоблачалъ Сенковского; онъ не любилъ натянутаго романтизма Кукольника, презиралъ дѣятелей «Сѣверной Пчелы»,—но этими отрицательными взглядами почти и кончалась его журнальная программа... Бѣлинскій высказалъ большое сочувствіе этой статьѣ, но тогда же замѣтилъ неподноту ея взглядовъ. См. Соч., т. II, стр. 269 и слѣд. См. мнѣнія Гоголя о Кукольникѣ — изд. Кулиша, V, 152, 173, 323, еще съ 1832 года; о Сенковскомъ и „Библиотека для Чтенія“, въ 1834, — Кулиша, V, стр. 194—195, 225; о Гречѣ и Булгаринѣ, съ 1833 года, — Кулиша, V, стр. 172, 323, 324.

ваемому аскетизму и ко всѣмъ странностямъ «Выбранныхъ Мѣстъ» былъ уже готовъ.

Въ этомъ не трудно убѣдиться, внимательное всмотрѣвшись въ развитіе понятій Гоголя. Вновь изданные матеріалы даютъ для этого нѣсколько любопытныхъ подробностей.

Онъ уже издавна высказывалъ, что чувствуетъ въ себѣ какую-то великую силу, какой не дано другимъ; ожидалъ, что сдѣлаетъ что-то высокое и особенное; это было инстинктивное сознание таланта ¹⁾. Но первыя ожиданія были еще неясны, и сначала онъ думалъ удовлетворить своимъ побужденіямъ службой. Только послѣ первыхъ литературныхъ опытовъ для него стало ясно, что его призваніе — литература. И здѣсь онъ думалъ сперва, что можетъ быть ученымъ, педагогомъ, историкомъ, этнографомъ. Его опыты въ этомъ направленіи показали въ немъ довольно плохого ученаго, но обнаруживали несомнѣнные достоинства художественныя. Наконецъ, поэтический элементъ его природы взялъ окончательно верхъ надъ всѣми другими интересами, какіе Гоголь себѣ приискивалъ. Это произошло уже довольно поздно: Гоголь былъ тогда уже авторомъ «Ревизора».

Этотъ извѣстный фактъ чрезвычайно любопытенъ тѣмъ, что показываетъ, какъ много въ поэтической дѣятельности Гоголя было именно инстинктивнаго и бессознательнаго. Его умъ и фантазія были уже готовы къ творчеству, но онъ еще не зналъ, куда направить ихъ. Онъ бросается на исторію, и съ своими ничтожными средствами, едва прочитавъ нѣсколько переводныхъ учебниковъ, онъ уже составляетъ широкіе планы историческаго труда; едва ознакомившись съ источниками малороссійской исторіи, онъ начинаетъ писать исторію Малороссіи, и бросаетъ, потому что, пока онъ писалъ начало, планъ его выросъ еще шире. Въ его историческихъ статьяхъ нѣтъ настоящихъ историческихъ знаній, но набросаны смѣлыя рельефныя картины; въ исторіи его занимало созданіе живыхъ образовъ.

¹⁾ Въ „Авторской Исповѣди онъ“ самъ говорить: „... Въ тѣ годы, когда я сталъ задумываться о моемъ будущемъ (а задумываться о будущемъ я началъ рано, въ ту пору, когда всѣ мои сверстники думали еще объ играхъ), мысль о писательствѣ мнѣ никогда не всходила на умъ, хотя *мнѣ всегда казалось, что я сдѣлаюсь человекомъ извѣстнымъ, что меня ожидаетъ просторный кругъ дѣйствій*, и что я сдѣлаю даже что-то для общаго добра“ (изд. Кулиша, III, 499).

Эти слова совершенно справедливы; доказательствомъ могутъ служить его самыя раннія письма, съ пребыванія въ лицей и въ самую первую пору его литературной дѣятельности.

Любопытно въ этомъ отношеніи письмо его къ г. Погодину (въ то время онъ съ нимъ много переписывался объ исторіи), отъ 20 февраля 1833-го года ¹⁾. Тутъ цѣлый рядъ плановъ. Онъ задумывалъ издать какую-то книгу, въ родѣ географическаго сборника для юношескаго чтенія, но дѣло не пошло: «...я не знаю, отчего на меня нашла тоска... Корректурный листокъ выпалъ изъ рукъ моихъ, и я остановилъ печатаніе». Тоска нашла, конечно, потому, между прочимъ, что Гоголь взялся за дѣло ему совершенно чужое и постороннее.

Послѣ педагогіи, онъ жалуется на исторію ²⁾. «Какъ-то не такъ теперь работается!... Едва начинаю, и что нибудь совершу изъ исторіи, уже вижу собственные недостатки. То жалѣю, что не взялъ шире, *огромные* объему, то *вдругъ* виждется *совершенно новая* система и рушить старую. Напрасно я увѣряю себя, что это только начало, эскизъ, что оно не нанесетъ пятна мнѣ... Чортъ поberi пока трудъ мой, набросанный на бумагѣ. До другаго *спокойнѣйшаго* времени!»

Этого времени онъ не дождался, исторія осталась втунѣ, потому что онъ нашелъ наконецъ свое настоящее дѣло. Письмо продолжаетъ такъ: «*Я не знаю, отчего я теперь такъ жажду современной славы. Изъ глубины души такъ и рвется наружу. Но я до сихъ поръ не написалъ ровно ничего. Я не писалъ тебѣ: я помышлялъ на комедіи*».

Такъ, наконецъ, Гоголь доходитъ до того, что именно и составляло главный коренной предметъ его безсознательныхъ стремленій. Онъ еще и теперь не чувствуетъ, что эта «комедія» именно и мѣшала ему при занятіяхъ педагогіей, заставляла вываливаться изъ рукъ корректурный листокъ, заставляла его посылать «къ чорту» исторію, которою онъ такъ, повидимому, дорожилъ, наводила на него тоску, отбивала отъ работы.

О комедіи онъ рассказываетъ слѣдующее. «Она, когда я былъ въ Москвѣ, въ дорогѣ, и когда я пріѣхалъ сюда (въ Петербургъ), *не выходила изъ головы моей*, но до сихъ поръ я ничего не написалъ. Уже и сюжетъ было на дняхъ началъ составляться, уже и заглавіе написалось на бѣлой, толстой тетради: «Владиміръ 3-й степени», и *сколько злости, смѣха и соли!*»

Очевидно, что здѣсь были всѣ помышленія писателя. Эта ко-

¹⁾ У Кулиша, V, стр. 174—176, оно поставлено подъ 1833-й г. и напечатано не вполне; болѣе полный текстъ въ Р. Арх., 1872.

²⁾ Гоголь вообще думалъ, что его занятія *однородны* съ занятіями г. Погодина! См. напр. письмо 1833 г., у Кулиша, V, стр. 166.

медія никогда не была кончена Гоголемъ ¹⁾, но въ высшей степени любопытно видѣть, въ этихъ подробностяхъ, ту внутреннюю работу, которая происходила въ Гоголѣ. «Владиміръ 3-й степени» былъ предшественникомъ «Ревизора». Гоголь, едва проживши въ Петербургѣ три-четыре года, уже покидаетъ свою прежнюю поэтическую область, и выбравъ новый кругъ наблюденій, съ удивительной мѣткостью попадаетъ на тѣ предметы, которые были наиболѣе характеристической чертой времени. Комедія должна была вращаться на интересахъ бюрократіи, и «сколько злости, смѣха и соли» уже предвидѣлъ писатель въ ихъ изображеніи. Въ самомъ дѣлѣ, бюрократія едвали когда доходила у насъ до такого могущества, до такой виртуозности, какъ именно въ тѣ времена... Но Гоголь предвидѣлъ трудности своего плана:

«Но вдругъ остано́вился,—продолжаетъ онъ,—увидѣвши, что перо такъ и толкается объ такія мѣста, которыя цензура ни за что не пропуститъ. А чтó изъ того, когда пьеса не будетъ играна: драма живетъ только на сценѣ. Безъ нея она какъ душа безъ тѣла. Какой же мастеръ понесетъ на показъ народу неконченное произведеніе? *Мнѣ больше ничего не остается*, какъ выдумать сюжетъ самый невинный, которымъ бы даже квартальный не могъ обидѣться. Но чтó комедія безъ правды и злости! Итакъ, за комедію не могу приняться. Примусь за исторію — передо мною движется сцена, шумитъ аплодисментъ, рожи изъ ложъ, изъ райка, изъ креселъ и оскаливаютъ зубы, и—исторія къ чорту! И вотъ почему я сижу при *мнѣи мыслей*.»

Затѣмъ онъ опять заводитъ съ г. Погодинымъ рѣчь о Бѣттигерѣ: «Бѣттигера... прочелъ въ переводѣ. Имѣется ли у него и новая исторія, или только одна древняя?... Не будетъ ли еще чего-нибудь у васъ историческаго, переведеннаго университетскими?..»

Написанъ былъ и явился на сценѣ «Ревизоръ». Извѣстно, какихъ тревогъ стоила Гоголю эта пьеса. Въ «Разъѣздѣ» онъ мастерскими сценами изобразилъ, почти исключительно невѣжественныя, мнѣнія и впечатлѣнія публики, и наконецъ свои высокія понятія объ искусствѣ. Враждебные крики, встрѣтившіе комедію въ публикѣ, глубоко огорчали его. Въ его письмахъ за это время мы находимъ выраженія глубокаго огорченія.

«Мочи нѣтъ,—пишетъ онъ въ апрѣлѣ 1836 къ Щепкину. Дѣлайте съ нею (комедіей) что хотите, но я не стану хлопотать о ней. Мнѣ она сама надоѣла такъ же, какъ хлопоты о ней.

¹⁾ О ней—въ „Бесѣдахъ моск. общества росс. словесности“, вып. 3, 1871.

Дѣйствіе, произведенное ею, было большое и шумное. Всѣ противъ меня. Чиновники пожилые и почтенные кричатъ, что для меня нѣтъ ничего святого, когда я дерзнулъ говорить такъ о служащихъ людяхъ; полицейскіе противъ меня; купцы противъ меня; литераторы противъ меня. Бранятъ и ходятъ на пьесу... Еслибы не высокое заступничество Государа, пьеса моя не была бы ни за что на сценѣ, и уже находились люди, хлопотавшіе о запрещеніи ея. Теперь я вижу, что значить быть комическимъ писателемъ. Малѣйшій призракъ истины — и противъ тебя возстаютъ, и не одинъ, а цѣлыя сословія...»

«Бѣду за-границу, тамъ размыкаю ту тоску, которую наносятъ мнѣ ежедневно мои соотечественники,—пишетъ онъ къ г. Погодину въ маѣ 1836 г. Писатель современный, писатель комическій, писатель нравовъ, долженъ подальше быть отъ своей родины. Пророку нѣтъ славы въ отчизнѣ. Что противъ меня уже рѣшительно возстали теперь всѣ сословія, я не смущаюсь этимъ, но какъ-то тягостно, грустно, когда видишь противъ себя несправедливо возстановленныхъ своихъ-же соотечественниковъ, которыхъ отъ души любишь, когда видишь, какъ ложно, въ какомъ невѣрномъ видѣ ими все принимается. Частное принимать за общее, случай за правило! Что сказано вѣрно и живо, то уже кажется писк-вилемъ...»

Гоголь какъ будто самъ умаляетъ значеніе своей комедіи,—представляетъ какъ «частное», какъ «случай» то, въ чемъ именно и заключается широкій, типическій смыслъ комедіи, что произвело ея большое и шумное дѣйствіе. Онъ какъ будто хочетъ оправдать свою смѣлость, извинить свою сатиру; мы увидимъ, что онъ дѣйствительно, по своему понятію объ общественныхъ предметахъ, и не предполагалъ за своей комедіей того обширнаго значенія, какое она приобрѣтала на самомъ дѣлѣ, по своему вліянію на лучшую часть общественнаго мнѣнія.

Но рядомъ съ этимъ онъ чувствуетъ однако, что въ пріемѣ «Ревизора» выражается характеръ массы общества, степень ея умственнаго развитія, что эта степень очень низменная и жалкая. Его мысли надо было сдѣлать еще одинъ шагъ, и онъ самъ увидѣлъ бы, что «Ревизоръ» и получилъ такой пріемъ именно потому, что выведено не «частное» и не «случай», а типическое явленіе, указать которое значило указать жалкое состояніе нашей общественности и нашихъ внутреннихъ порядковъ.

Въ другомъ письмѣ отъ мая 1836 г. онъ пишетъ: «Грустно мнѣ это всеобщее невѣжество, движущее столицу, грустно, когда видишь, что глупѣйшее мнѣніе ими же опозореннаго и оплеван-

наго писателя ¹⁾ дѣйствуетъ на нихъ же самихъ и ихъ же водить за ность; грустно, когда видишь, *въ какомъ еще жалкомъ состояніи* находится у насъ *писатель*. Всѣ противъ него... И кто же говоритъ? Это говорятъ — опытные люди, которые должны бы имѣть насколько-нибудь ума, чтобы понять дѣло въ настоящемъ видѣ, люди, которые считаются образованными и которыхъ свѣтъ, по крайней мѣрѣ русскій свѣтъ, называетъ образованными. Выведены на сцену плуты, и всѣ въ ожесточеніи... Прискорбна мнѣ эта невѣжественная раздражительность, *признакъ глубокаго, упорнаго невѣжества, развитаго на наши классы*. Столица щекотливо оскорбляется тѣмъ, что выведены нравы шести чиновниковъ провинціальныхъ; что же бы сказала столица, если бы выведены были хотя слегка ея собственные нравы... какъ тогда заговарятъ мои соотечественники!»

Въ концѣ письма уже обозначается тема, на которую теперь направлялись мучительныя мысли Гоголя. «Бѣду разгулять свою тоску, — говоритъ онъ, — глубоко *обдумать свои обязанности авторскія*, свои будущія творенія, и возвращусь... вѣрно освѣженный и обновленный. *Все, что ни дѣлалось со мною, все было спасительно* для меня. Всѣ оскорбленія, всѣ *неприятности* посылались мнѣ высокимъ Провидѣніемъ *на мое воспитаніе*, и нынѣ я *чувствую*, что *неземная воля* направляетъ путь мой. Онъ вѣрно необходимъ для меня» ²⁾).

Эти слова были написаны ровно за десять лѣтъ до изданія «Выбранныхъ Мѣстъ», написаны Гоголемъ, только-что издавшимъ «Ревизора» и еще не написавшимъ «Мертвыхъ Душъ». Одного этого письма было бы достаточно, чтобы показать, что въ Гоголѣ вовсе не совершалось такого особеннаго «перелома», какой находили въ «Выбранныхъ Мѣстахъ» и вооружившіеся противъ него прежніе почитатели, и его собственные пѣтистическіе и консервативные друзья. Въ приведенныхъ словахъ были уже всѣ задатки его дальнѣйшихъ мнѣній: человекъ, упорно занятый своими идеями, онъ развивалъ ихъ съ страстнымъ увлеченіемъ, и всѣ послѣдующія крайности его становятся понятны. Въ періодъ времени отъ «Ревизора» до «Мертвыхъ Душъ» въ его мнѣнія не вошло никакихъ совѣтъ новыхъ элементовъ, которые могли бы измѣнить и направить иначе его взгляды въ теоретическихъ вопросахъ: онъ остается съ прежними общественными понятіями, — которыя такъ мало съ самаго начала соотвѣтствовали широкому

¹⁾ Авторъ разумѣлъ, вѣроятно, нападенія „Сѣверной Пчелы“.

²⁾ Изд. Кулиша, V, стр. 254—255, 269 и слѣд.

объему его сатиры,—но эти понятія были таковы, что еслибы онѣ были высказаны Гоголемъ въ литературѣ, какъ высказывались имъ въ письмахъ къ друзьямъ, онѣ безъ сомнѣнія произвели бы то же самое впечатлѣніе и въ 1842-мъ, какое произвели въ 1847-мъ году. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ дѣйствіе было сильнѣе потому, что фактъ былъ слишкомъ неожиданный, заявленія сдѣланы были въ слишкомъ рѣзкой формѣ, съ слишкомъ большой нетерпимостью, и шли отъ писателя, къ которому по его созданіямъ давно привыкли относиться совершенно иначе, предполагать у него совсѣмъ иное теоретическое содержаніе.

Выѣхавши за-границу, Гоголь въ письмѣ къ Жуковскому отъ іюня 1836 г., изъ Гамбурга, говоритъ о своей внутренней жизни въ слѣдующихъ выраженіяхъ, въ которыхъ уже нельзя не замѣтить съ одной стороны явнаго мистическаго элемента, съ другой—высокаго понятія о самомъ себѣ и своихъ произведеніяхъ, понятія, очень близкаго къ его позднѣйшему, непріятному и иногда, должно сказать правду, довольно нелѣпому высокоумію.

«Мнѣ ли не благодарить Пославшаго меня на землю! Какихъ высокихъ, какихъ торжественныхъ ощущеній, не видимыхъ, не замѣтныхъ для свѣта, исполнена жизнь моя! Клянусь, я *что-то* сдѣлаю, чего не дѣлаетъ обыкновенный человѣкъ. *Львиную силу* чувствую въ душѣ своей и замѣтно слышу переходъ свой изъ дѣтства, проведеннаго въ школьныхъ занятіяхъ, въ юношескій возрастъ. Въ самомъ дѣлѣ, если разсмотрѣть строго и справедливо, чтó такое все написанное мною до сихъ поръ? Мнѣ кажется какъ будто я разворачиваю давнюю тетрадь ученика, въ которой на одной страницѣ видно нерадѣніе и лѣнь, на другой нетерпѣніе и поспѣшность, робкая, дрожащая рука начинающаго и смѣлая замашка шалуна, вмѣсто буквъ выводятся крючки, за которую (которые) бьютъ по рукамъ. Изрѣдка, можетъ быть, выберется страница, за которую похвалить развѣ только учитель, провидящій въ нихъ зародышъ будущаго. Пора, пора, наконецъ, заняться дѣломъ».

Небрежное отношеніе къ прежнимъ трудамъ тѣмъ болѣе вышаетъ труды предстоящіе. Онъ положительно считаетъ себя особымъ, избраннымъ человѣкомъ. «О, какой непостижимо изумительный смыслъ имѣли всѣ случаи и обстоятельства моей жизни! Какъ спасительны были для меня всѣ непріятности и огорченія... Никакое развлеченіе, никакая страсть не въ состояніи была на минуту овладѣть моею душою и отвлечь меня отъ моей обязанности. Для меня нѣтъ жизни внѣ моей жизни, и нынѣшнее мое удаленіе изъ отечества, оно *послано свыше*, тѣмъ же великимъ

Провидѣніемъ, ниспославшимъ все на *воспитаніе мое*. Это великій переломъ, великая эпоха моей жизни»...

Итакъ, если былъ какой-нибудь «переломъ» въ дѣятельности Гоголя, онъ совершился, по его собственнымъ словамъ, въ эпоху «Ревизора». Онъ произошелъ вслѣдствіе непріятностей и огорченій по поводу «Ревизора», и «великой эпохой» было именно то, что Гоголь нашелъ необходимымъ думать о своихъ «авторскихъ обязанностяхъ». Онъ въ первый разъ почувствовалъ необходимость опредѣлить свой образъ мыслей и свое отношеніе къ обществу. Мы увидимъ дальше, какъ онъ опредѣлилъ ихъ.

Съ отъѣзда за границу Гоголь занялъ исключительно «Мертвыми Душами». Въ изданной теперь перепискѣ есть нѣсколько новыхъ упоминаній объ этомъ трудѣ, о которомъ Гоголь постоянно говоритъ какъ о высшей задачѣ своей жизни. Въ письмѣ Жуковскому изъ Парижа, въ ноябрѣ 1836 г., онъ говоритъ: «Если совершу это твореніе, такъ какъ нужно его совершить, то... какой огромный, какой оригинальный сюжетъ! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится въ немъ! Это будетъ первая моя порядочная вещь; вещь, которая вынесетъ мое имя». Далѣе, онъ намекаетъ на какой-то новый планъ, который остается очень неясенъ: «...Еще новый Левіаоанъ затѣвается. Священная дрожь пробираетъ меня заранѣе, какъ подумаю о немъ; слышу кое-что изъ него... божественныя вкушу минуты... но... теперь я погруженъ весь въ Мертвыя Души». Въ томъ же письмѣ онъ опять говоритъ объ ожидаемой враждѣ соотечественниковъ: «Огромно, велико мое твореніе, и не скоро конецъ его. Еще возстанутъ противъ меня новыя сословія и много разныхъ господъ; но чтожъ мнѣ дѣлать! Уже судьба моя враждовать съ моими земляками. Терпѣніе! Кто-то Незримый пишетъ передо мною могущественнымъ жезломъ. Знаю, что мое имя послѣ меня будетъ счастливей меня, и потомки тѣхъ же земляковъ моихъ, можетъ быть, съ глазами влажными отъ слезъ, произнесутъ примиреніе моей тѣни»... ¹⁾).

¹⁾ Вотъ еще нѣсколько образчиковъ того, въ какомъ тонѣ Гоголь говорилъ о „Мертвыхъ Душахъ“ въ письмахъ къ друзьямъ:

1841, мартъ: онъ сравниваетъ себя съ глиняной вазой — „конечно эта ваза теперь вся въ трещинахъ, довольно стара и еле держится, но въ этой вазѣ теперь заключено сокровище“.

Тогда же, на простой вопросъ, не можетъ ли онъ прислать статьи для журнала, онъ говоритъ: „Нѣтъ, клянусь, грѣхъ, тяжкій грѣхъ отвлекать меня! Только одному невѣрующему словамъ моимъ и недоступному мыслямъ высокимъ (!) позволительно это сдѣлать. Трудъ мой великъ, мой *подвигъ* спасителенъ. Я умеръ теперь для всего

Очевидно, что Гоголь уже съ этого времени (1836) стоялъ на мистической точкѣ зрѣнія, которую потомъ стали считать въ немъ новой чертой, которую его собственные друзья называли спасительнымъ, нужнымъ «переломомъ». Отъ мысли, что кто-то Незримый пишетъ передъ нимъ могущественнымъ жезломъ, очень нетрудно перейти къ «душевному дѣлу», которое онъ связывалъ потомъ съ своими произведеніями, и ко всѣмъ странностямъ его позднѣйшаго образа мыслей. Словомъ, сущность его мистическихъ и консервативныхъ теорій принадлежитъ не времени около появленія «Переписки», а еще времени «Ревизора».

Такимъ образомъ, во внутреннемъ развитіи Гоголя, собственно говоря, не было никакого «перелома», и мнимая перемѣна, которую увидѣли въ немъ по «Выбраннымъ Мѣстамъ», состояла только въ различныхъ ступеняхъ одного и того же образа мыслей, съ которымъ онъ является при самомъ началѣ своей дѣятельности. До этой книги Гоголь никогда не высказывалъ своихъ теоретическихъ мнѣній, и объ нихъ не имѣли понятія; теперь онъ ихъ высказалъ, и особенно въ рѣзкой, угловатой формѣ, въ минуту особенной экзальтаціи, и книга показалась настоящей измѣной Гоголя его прежнимъ (предполагаемымъ) убѣжденіямъ... Болѣзнь, безъ сомнѣнія, играла роль въ его экзальтаціи; она усилила его религіозность до фанатизма и галлюцинацій, дала его мнѣніямъ піэтистическую окраску; но сущность его взгляда на общественные предметы и собственную дѣятельность всегда была одна и та же. Въ постепенномъ развитіи его мнѣній можно отличить три періода. Въ началѣ, это была чисто поэтическая дѣятельность, слѣдовавшая безсознательно побужденіямъ его таланта, и рядомъ съ тѣмъ усвоеніе общественныхъ взглядовъ отъ его друзей Пушкин-

мелочнаго; и для *презрѣннаго* ли (!) журнальнаго пошлаго занятія ежедневнымъ дрянгомъ я долженъ совершать *непрощаемыя преступленія*“, т.-е. отвлекаться отъ работы надъ „Мертвыми Душами“. Вслѣдъ затѣмъ онъ однако замѣчаетъ: „но статья будетъ готова и недѣли черезъ три выслана“. Затѣмъ опять: „обнимите Погодина и скажите ему, что я плачу, что не могу быть полезнымъ ему со стороны журнала, но что онъ, если у него бьется русское чувство любви къ отечеству (!), онъ долженъ требовать, чтобы я не давалъ ему ничего“.

1842, мартъ, о своемъ трудѣ: „Онъ важенъ и великъ, и вы не судите о немъ по той части, которая готовится теперь предстать на свѣтъ (если только будетъ конецъ ея *непостижимо*му странствію). Это больше ничего какъ только *крылицо* къ тому *дворцу*, который во мнѣ строится“. См. изд. Кулиша, V, стр. 437, 438, 465.

скаго круга. Этотъ періодъ кончается «Ревизоромъ». Успѣхъ «Ревизора» и первое столкновѣніе съ «невѣжественнымъ» обществомъ произвели на него сильное впечатлѣніе; онъ сталъ думать о своихъ «авторскихъ обязанностяхъ», и при большомъ всегдашнемъ самоанализѣ и всегдашней религіозности понималъ свою дѣятельность какъ исполненіе *свыше* данной задачи. Онъ считаетъ себя учителемъ и пророкомъ, авторскій трудъ свой — священнымъ, великимъ трудомъ; въ немъ уже развивается мистическій піэтизмъ, но чисто поэтическія внушенія еще сопротивляются резонерству, и онъ издаетъ первый томъ «Мертвыхъ Душъ». Этимъ заканчивается второй періодъ. Только зоркій глазъ Бѣлинскаго увидѣлъ въ «лирическихъ мѣстахъ» поэмы признаки неблагопріятные. Успѣхъ «Мертвыхъ Душъ» окончательно утвердилъ Гоголя въ тѣхъ мнѣніяхъ о своей роли, какія возымѣлъ онъ уже давно. Свою авторскую работу онъ считаетъ теперь настоящей «службой», а себя — такъ-сказать государственнымъ моралистомъ: *второй* томъ «Мертвыхъ Душъ» долженъ былъ представить какія-то откровенія личной и государственной нравственности. Между тѣмъ, отчасти неувѣренный въ своемъ знаніи русскаго общества, немного забытаго въ «прекрасномъ далеѣ», отчасти «подталкиваемый друзьями» (не терпѣвшими новыя литературы), Гоголь издалъ «Выбранныя Мѣста», гдѣ высказалъ свою общественную философію съ высокомеріемъ и нетерпимостью фанатика и избалованнаго человѣка, со всѣми крайностями своей мистической религіи и узкаго, довольно нелѣпаго консерватизма. Ошибку свою онъ вскорѣ понималъ, но исправить ее былъ уже не въ состояніи; резонерство уже подавляло его поэзію, и второй томъ «Мертвыхъ Душъ» остался нерѣшеннымъ вопросомъ...

Таковы были общія черты исторіи Гоголя; обратимся къ подробностямъ.

Отправившись разгулять тоску, опечаливаясь враждой и невѣжествомъ соотечественниковъ, обдумывая свои авторскія обязанности, работая надъ новымъ произведеніемъ, Гоголь, повидимому, ни разу не подумалъ о томъ, откуда же идетъ это невѣжество и какъ слѣдуетъ къ нему относиться. Невѣжество было несомнѣнно, и конечно прискорбно; но можно было видѣть, что оно началось не со вчерашняго дня, и что вѣроятно есть какія-нибудь сильныя причины, которыя поддерживали такое положеніе вещей. Гоголь скорбѣлъ, что соотечественники не понимали обличенія общественныхъ недостатковъ; но онъ не видѣлъ, что это общество, возставшее противъ него, было въ конецъ испорчено, и что причина порчи заключается не въ однихъ недостаткахъ частныхъ

лицъ, но въ самыхъ условіяхъ ихъ гражданскаго быта. Гоголь не видѣлъ, что онъ могъ бы не огорчаться враждой *этого* общества, что эту вражду могло бы перевѣсить горячее сочувствіе другой части общества, для которой его сатира являлась началомъ нравственнаго освобожденія, и для которой одной, собственно говоря, сатира его имѣла свое поэтическое и воспитывающее значеніе. Къ сожалѣнію, Гоголь и впослѣдствіи не видѣлъ, что въ обществѣ уже началось раздвоеніе, что возникали новыя понятія объ общественныхъ порядкахъ,—и нелѣпымъ образомъ сталъ даже нападать на своихъ почитателей... Мы видѣли, что его собственные представленія объ общественныхъ порядкахъ были очень ограниченные; онъ изображалъ явленія, не понимая ихъ причинъ, и теперь, когда онъ сталъ обдуманно выбирать свой путь для дѣйствія на общество, онъ выбралъ путь странный и невозможный. Не думая объ общихъ основаніяхъ жизни,—даже находя ихъ настоящимъ совершенствомъ,—Гоголь предполагалъ, что все дѣло только въ объясненіи людямъ истинной, христіанской нравственности. Онъ думалъ въ своихъ произведеніяхъ достичь именно этой цѣли, привести каждаго къ личному исправленію, и ему казалось, что тогда все будетъ сдѣлано, и все будетъ хорошо: исправится личная нравственность, и чиновники не будутъ брать взятокъ, судьи справедливо судить, помѣщики благотѣльствовать крестьянъ и т. д. Ему не приходило въ голову, что отъ взятокъ и произвола чиновниковъ можно избавиться только измѣненіемъ самой администраціи и предоставленіемъ обществу какой-нибудь самостоятельности; что справедливаго суда можно было достигнуть только введеніемъ хорошихъ судебныхъ учреждений и порядковъ, что для устройства крестьянъ надо было прежде всего освободить ихъ отъ помѣщиковъ и т. д. Иначе, вся проповѣдь нравственности уподоблялась бы проповѣди извѣстнаго повара коту-васькѣ, и по всей вѣроятности, столько же была бы успѣшна. Въ перепискѣ Гоголя не находится и слѣда, чтобы мысль его когда-нибудь принимала такое направленіе.

Къ счастью, въ эти годы (1836—42) поэтическая сила Гоголя была еще такъ велика, что ее не могло останавливать и свращать съ пути начинавшееся мистическое резонерство. Его фантазія еще сохранила свою независимость и подъ его перомъ создавались картины русской жизни, изумительныя по своему поэтическому значенію и по своей *вѣрности*.

Въ 1842 вышли «Мертвыя Души». Извѣстно, съ какимъ восторженнымъ сочувствіемъ книга была встрѣчена въ литературѣ. Гоголю надо было не понимать тогдашняго положенія литера-

туры, чтобы много заботиться о нападеніяхъ, которыя шли только отъ Полеваго, Сенковского, «Сѣверной Пчелы». Тѣ партіи, между которыми уже начало тогда дѣлиться господство въ литературѣ, приняли книгу Гоголя съ одинаковымъ сочувствіемъ и восхищеніемъ. Три разные лагеря считали Гоголя своимъ, и его успѣхъ — успѣхомъ своей партіи или своихъ мнѣній. Во-первыхъ, его друзья, знавшіе подноготную его личной жизни и его труда: Плетневъ, Жуковский, кн. Вяземскій и проч. Плетневъ помѣстилъ въ своемъ «Современникѣ» статью ¹⁾, которая была одной изъ лучшихъ статей, явившихся тогда въ защиту и объясненіе «Мертвыхъ Душъ». Начинавшійся славянофильскій кружокъ принялъ Гоголя съ тѣмъ же чувствомъ: семья и кружокъ Аксаковыхъ восхищались Гоголемъ; «Москвитянинъ» помѣстилъ хвалебную (хотя нелѣпую) статью Шевырева; Константинъ Аксаковъ издалъ особой брошюрой настоящій панегирикъ, извѣстный сравненіемъ Гоголя съ Гомеромъ, — и почему-то непринятый г. Погодинымъ въ «Москвитянинъ». Наконецъ, для Бѣлинскаго и его цѣлаго круга «Мертвыя Души» были многозначительнымъ явленіемъ, утверждавшимъ въ литературѣ новую эпоху.

Изъ этого всеобщаго сочувствія Гоголь, повидимому, извлекъ очень немного для своихъ теоретическихъ мнѣній; напротивъ, онъ, кажется, еще сильнѣе двинулся на ту дорогу, которая грозила самой серьезной опасностью его поэтической дѣятельности. Онъ уже начинаетъ усиленно доспрашиваться у своихъ друзей и знакомыхъ искренняго мнѣнія объ его книгѣ, доискивается въ особенностяхъ осужденій, предполагая найти въ нихъ самую настоящую правду, всего больше интересуется ими и въ печати. Напротивъ, онъ повидимому очень мало замѣтилъ то, что было сказано его защитниками и поклонниками новаго литературнаго направленія. Можно думать даже, что къ нему уже въ это время перешло предубѣжденіе противъ направленія Бѣлинскаго, господствовавшее между его друзьями Пушкинскаго круга. Изъ его писемъ не видно, чтобы взглядъ Бѣлинскаго былъ имъ оцѣненъ...

Въ отзывахъ Бѣлинскаго, кромѣ всего ихъ тона, одна подробность не сходилась между прочимъ съ отзывами другихъ панегиристовъ и защитниковъ Гоголя. Бѣлинскій обратилъ вниманіе на извѣстныя «лирическія мѣста» и высказался противъ нихъ: онъ угадывалъ, что есть въ нихъ что-то ложное, и дѣйствительно,

¹⁾ Онъ скрылъ свое имя подъ буквами С. Ш. и подписью „Житомиръ“; онъ хотѣлъ этимъ устранить отъ статьи личное нерасположеніе къ нему его литературныхъ противниковъ.

«лирическія мѣста» были отчасти отголоскомъ тѣхъ мнѣній Гоголя, который онъ собралъ потомъ въ цѣлую систему въ «Перепискѣ».

Съ появленіемъ перваго тома «Мертвыхъ Душъ» Гоголь начинаетъ заботиться о продолженіи труда. Въ «Авторской Исповѣди» и въ нѣсколькихъ письмахъ о «Мертвыхъ Душахъ» (въ «Выбранныхъ Мѣстахъ изъ переписки»), Гоголь самъ собираетъ и рассказываетъ всѣ тѣ недоумѣнія, которые имъ овладѣвали, тѣ мысли, къ которымъ онъ приходилъ. Вмѣсто того, чтобы слѣдовать только непосредственнымъ внушеніямъ своего таланта, онъ всю заботу полагаетъ теперь на то, чтобы *теоретически* опредѣлить своему труду планъ, дать ему цѣль, рассчитать его дѣйствіе. Эти теоретическія опредѣленія стоили ему величайшихъ усилій, и понятно, что поэтическая свобода исчезла, и что въ его трудъ неизбѣжно должны были войти внѣшнія соображенія, посторонніе расчеты. Гоголь необходимо долженъ былъ явиться передъ публикой не такъ, какъ прежде — независимымъ поэтомъ, но долженъ былъ выдти въ роли мыслителя, теоретика. Понятно, что для *этой* роли онъ не могъ найти *права* въ своей поэзіи; что его теорію должно было судить по ея доказательствамъ, по ея критикѣ... Что же привело Гоголя къ его теоретическимъ вопросамъ? Причины этой тревожной заботливости надо искать въ различныхъ обстоятельствахъ. Прежде всего, въ религіозныхъ сомнѣніяхъ. Религіозность Гоголя теперь больше и больше усиливалась, и онъ тѣмъ больше сталъ бояться соблазна въ тѣхъ урокахъ, которые думалъ давать людямъ въ своихъ произведеніяхъ. Съ другой стороны, онъ, кажется, отвыкалъ отъ русской жизни. Въ 1836 году, проживши нѣсколько лѣтъ въ Петербургѣ, Гоголь замѣчаетъ, что провинція «уже слабо рисуется въ его памяти». Повидимому, теперь и многое другое стало рисоваться слабѣе, и Гоголь, живя за-границей, ради своего нездоровья, и вообразивъ, что можетъ писать о Россіи только въ Римѣ, старается, съ наивной серьезностью, подкрѣпить свои воспоминанія о русской жизни тѣми свѣдѣніями, какихъ онъ сталъ просить теперь у своихъ пріятелей. Наконецъ,—и это одно изъ самыхъ сильныхъ побужденій, какія являлись въ это время у Гоголя,—онъ сталъ думать, что его «Мертвыя Души» должны стать для русскаго общества своего рода кодексомъ морали, личной и гражданской нравственности. Въ успѣхѣ «Мертвыхъ Душъ» онъ увидѣлъ указаніе, что всякое слово, сказанное имъ, будетъ убѣдительно, и что теперь именно пришло ему время явиться въ роли учителя и «пророка». Онъ думалъ, что теперь именно онъ можетъ ис-

полнить свою «службу» и вообразил себя чѣмъ-то въ родѣ государственнаго моралиста. Такому моралисту конечно неприлично заниматься однимъ глумленіемъ; консервативные друзья внушали, что его смѣхъ можетъ быть вреденъ, что русская жизнь представляетъ и свои свѣтлыя, высокія стороны, и Гоголь рѣшилъ (немного заднимъ числомъ), что первый томъ его занять смѣшными и мрачными сторонами русской жизни, а второй представить ея высокія и идеальныя стороны.

Между тѣмъ его мистицизмъ развивался больше и больше, не встрѣчая никакой сдержки со стороны его друзей; онъ уже съ 1842 года и раньше принимаетъ тонъ наставника и «руководителя душъ». По мѣрѣ того, какъ усиливался піэтизмъ, тонъ его становится повелительный и высокомѣрный. «Мертвыя Души» шли туго; въ 1845 онъ сжегъ второй томъ, вѣроятно не сумѣвши соединить въ немъ своей поэзіи и своей государственной морали. Между тѣмъ, ему, кажется, хотѣлось скорѣе дать обществу свои уроки, попробовать на немъ свою силу, — и съ другой стороны вызвать книгой отзывы самого общества, которые онъ считалъ нужными для своей работы. Въ 1846 году онъ рѣшился издать «Переписку». Въ немъ уже окончательно созрѣло убѣжденіе, что его «дѣло — душа и прочное дѣло жизни», что онъ «рожденъ вовсе не за тѣмъ, чтобъ произвести эпоху въ области литературной». Намѣревался дать своимъ читателямъ «прощальную повѣсть», онъ утверждалъ, что «долгъ писателя не одно доставленіе пріятнаго занятія уму и вкусу: строго взыщется съ него, если отъ сочиненій его не распространяется какая-нибудь польза душъ и не останется отъ него ничего въ *поученье* людямъ».

«Выбранныя Мѣста изъ Переписки съ друзьями» — такая странная книга, что все еще любопытно изслѣдовать, какъ могъ до изданія ея писатель, стоявшій во главѣ нашей литературы. Этотъ писатель въ одно прекрасное утро явился передъ публикой съ отреченіемъ отъ своихъ прежнихъ произведеній, съ осужденіемъ тѣхъ, кто ими увлекался, съ высокомѣрной, надутой проповѣдью, наполненной темнымъ мистицизмомъ, при которомъ онъ не считалъ неприличнымъ и нѣсколько выражений, порядочно площадныхъ. Гоголь издалъ книгу, убѣдившись, по его словамъ, что его письма приносили людямъ гораздо больше пользы, чѣмъ его сочиненія.

«Переписка» Гоголя есть не только любопытный фактъ его личной исторіи, но и фактъ въ исторіи нашей общественной мысли. Въ личности Гоголя столкнулись два стремленія, двѣ стороны этой мысли: его инстинктъ велъ его по той дорогѣ, гдѣ

были истинные задатки общественного самосознанія и лучшіе интересы нашей образованности; но по своимъ понятіямъ, полученнымъ въ средѣ его друзей, онъ всего меньше сочувствовалъ этимъ интересамъ, былъ, какъ его друзья, консерваторомъ самаго незамысловатаго рода и поклонникомъ официальной народности. По свойствамъ образованія своего, Гоголь не въ состояніи былъ выбиться изъ понятій своей среды и кончилъ тѣмъ, что возсталъ противъ того, что было истинно великимъ дѣломъ его жизни; онъ приходилъ къ нравственному самоубійству. Мы указывали выше, какъ «Ревизоръ», «Мертвыя Души» были приписываемы себѣ тремя различными кружками литературы; за «Переписку» стоялъ только одинъ изъ нихъ, кружокъ его собственныхъ друзей, бывшій кружокъ Пушкина. Химическое средство обнаружилось.

Дѣйствительно, книга не была только личнымъ дѣломъ Гоголя, и не лежала только на его исключительной отвѣтственности: она, косвенно, выражала мнѣніе цѣлаго класса людей, можно сказать, цѣлой партіи. Гоголь особенно любилъ входить въ отношенія съ людьми аристократическаго круга, оказывая, по выраженію Павлова, «особенное радушіе и самую человѣколюбивую склонность къ такъ-называемымъ свѣтскимъ людямъ» ¹⁾, и должно къ сожалѣнію сказать, что своей книгой онъ давалъ критикамъ поводъ указывать, кромѣ страннаго пѣтизма, и на слишкомъ одностороннее направленіе его сочувствій въ предметахъ общественныхъ.

Вѣроятно, большая часть писемъ, заключающихся въ «Выбранныхъ Мѣстахъ», писалась къ этимъ свѣтскимъ людямъ, мужчинамъ и дамамъ; письма писались въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, и по мнѣнію Гоголя, приносили пользу, и притомъ гораздо больше, чѣмъ приносили его сочиненія. Очевидно, письма не встрѣчали возраженій, — едва ли бы Гоголь сталъ печатать вещи, подвергнутыя спору и опровергаемыя; что возраженій не было, объ этомъ можно судить и по тому рѣшительному, проповѣдническому тону, который наконецъ выработалъ себѣ авторъ писемъ. Когда Гоголь требовалъ свои письма у корреспондентовъ для помѣщенія ихъ въ эту коллекцію, очевидно никто не дѣлалъ никакихъ замѣ-

¹⁾ Павловъ находилъ эту склонность „знаменательной“, положившей отличительную печать на всю книгу Гоголя. „Можетъ быть, повѣсть ваша (т.-е. прощальная повѣсть)—говорить онъ въ письмѣ къ Гоголю—займется однимъ ихъ спасеніемъ. И это понятно, и это извинительно: они кружатся среди міра, въ вихрѣ соблазновъ и прельщеній... чье сердце не возкорбитъ о жертвахъ суеты? Кому не захочется избавить ихъ отъ этой напасти? Кто, истративъ на нихъ всѣ драгоцѣнности своей любящей души, не позабудетъ другихъ, не свѣтскихъ существъ, и не станетъ отъязвляться объ нихъ съ такимъ пренебреженіемъ, какимъ наполнены всѣ ваши письма?“

чаній по этому поводу, напр. о какомъ-нибудь несогласіи съ авторомъ, неудобствѣ его совѣтовъ, рѣзкости тона и т. п. Когда Гоголь, составивши сборникъ, высылалъ его для печатанія въ Петербургъ, его тамошніе друзья, первые ознакомившіеся со всѣмъ страннымъ характеромъ книги, не думали остановить Гоголя отъ поступка, во всякомъ случаѣ слишкомъ поспѣшнаго, отъ публикаціи, ошибки которой онъ самъ вскорѣ ясно увидѣлъ... Гоголь даже прямо упоминалъ потомъ о «подталкиваньяхъ» его друзей. Они безпрекословно отпечатали рукопись Гоголя, находили книгу въ порядкѣ вещей, полезной и даже необходимой...

Изданіе держалось въ большомъ секретѣ, но слухи о новой книгѣ Гоголя быстро распространились; даже московскіе друзья Гоголя испугались ихъ ¹⁾. Появленіе ея произвело не только въ кружкѣ Бѣлинскаго, но и въ кружкѣ Аксаковыхъ чувство негодованія и печали о погибающемъ талантѣ. Явились статья Бѣлинскаго въ «Современникѣ», письма къ Гоголю Н. Ф. Павлова, и пр. и пр.

Какъ приняли книгу Гоголя ближайшіе его друзья? Повидимому, Жуковскій только былъ въ ней чѣмъ-то неполнѣ доволенъ, — конечно частностями. Плетневъ, въ маѣ 1847, когда уже многое было высказано въ печати по поводу «Переписки», пишетъ къ Жуковскому: «Въ книгѣ Гоголя я не нахожу такихъ ошибокъ, какія вамъ представляются. Она только оригинальна какъ самъ Гоголь и все, имъ издаваемое. Наша публика конечно не привыкла къ такимъ явленіямъ и потому приведена въ недоумѣніе ²⁾. Но благо, ею произведенное, не двусмысленно. Я знаю многихъ, которые восхищены этою новостью». Плетневъ находитъ только недостатки въ языкѣ: «Не думаю, чтобы когда-нибудь дошелъ онъ до той исправности въ выраженіяхъ, которая отличаетъ школу Карамзина отъ новѣйшихъ русскихъ писателей»...

Итакъ, книга была хоть куда. Жуковскій, хотя и находилъ въ ней нѣкоторые недостатки, но и онъ былъ въ полномъ удовольствіи отъ статьи кн. Вяземскаго, написанной въ защиту Гоголя. «Статью твою о Гоголевой книгѣ — пишетъ Жуковскій къ

¹⁾ С. Т. Аксаковъ говоритъ: „Въ концѣ 1846 года... дошли до меня слухи, что въ Петербургѣ печатается „Переписка съ Друзьями“; мнѣ даже сообщили по нѣсколькимъ строкъ изъ разныхъ ея мѣстъ. Я пришелъ въ ужасъ и немедленно написалъ къ Гоголю большое письмо, въ которомъ просилъ его отложить выходъ книги хоть на нѣсколько времени“. Зап. о жизни Гоголя, II, стр. 95.

²⁾ Плетневъ ошибался; недоумѣнія о содержаніи книги не было у людей, имѣвшихъ опредѣленный взглядъ на вещи, у Бѣлинскаго, у Павлова, даже у Аксаковыхъ; недоумѣніе было развѣ только о томъ, какъ человѣкъ могъ дойти до подобнаго содержанія.

кн. Вяземскому въ іюлѣ 1847 — я читалъ съ необыкновеннымъ удовольствіемъ. Многое даже меня глубоко тронуло... Мастерски написанная статья. Вотъ истинная критика».

Статья кн. Вяземскаго ¹⁾ изображала книгу Гоголя именно какъ переломъ въ его дѣятельности, и притомъ нужный переломъ. Эта статья является именно какъ мнѣніе ближайшихъ друзей Гоголя, какъ объясненіе ихъ общаго взгляда на его литературную дѣятельность, и потому любопытно прослѣдить ея главнѣйшія положенія.

«Она была нужна,—говоритъ критикъ словами самого Гоголя. Это лучшая похвала книгѣ. Такъ нуженъ былъ *переломъ*. Переломъ этотъ тѣмъ полезенъ, что противодѣйствіе истекло изъ той же силы, которая *невольн*о, но не менѣе того, всеувлекательнымъ стремленіемъ, дала *пагубное* направленіе». Авторъ винитъ въ этомъ и самого Гоголя, а главное — его почитателей, на которыхъ и обрушиваетъ все негодованіе. На Гоголѣ, по его мнѣнію, лежала обязанность открыто и торжественно разорвать «съ частью своего прошедшаго» — или съ тѣмъ, чтó ему придали его поклонники и подражатели. Самъ по себѣ, Гоголь великое дарованіе, онъ занимаетъ свѣтлое и высокое мѣсто въ литературѣ, но — «какъ родоначальникъ *школы*, во чтó хотѣли возвести его, онъ былъ не только не у мѣста, но даже *вреденъ*». Самъ по себѣ, его голосъ имѣлъ полезное значеніе, но поклонники его все испортили. Гоголь рано или поздно долженъ былъ «опомниться», и на его крутой поворотъ, который теперь столько людей удивилъ и «сбилъ съ толку», всего больше подѣйствовали его *блженные приверженцы*. Отъ своихъ хулителей, людей безвкусныхъ, Гоголь не могъ научиться ничему; онъ оставилъ безъ вниманія брань, но чрезмѣрные и ложные похвалы не могли не навести унынія на него. «Въ нѣкоторыхъ журналахъ имя Гоголя сдѣлалось альфою и омегою всякаго литературнаго разсужденія. Въ духовной нищетѣ своей многіе непризванные писатели кормились этимъ именемъ, какъ единымъ насущнымъ хлѣбомъ своимъ». Гоголю должны были опротивѣть его творенія. Въ похвалахъ и идолопоклонствѣ, которыхъ онъ былъ предметомъ, были вещи, которыя должны были неминуемо «растревожить и напугать его здравый умъ и добросовѣстность». «Его хотѣли поставить главою какой-то новой литературной школы, олицетворить въ немъ какое-то *черное* литературное знамя (?!). Такимъ образомъ съ больныхъ головъ на здоровую складывали всѣ не-

¹⁾ „Языковъ. Гоголь“, въ „Спб. Вѣдомостяхъ“, 1847, № 90—91, 24 и 25 апрѣля.

сообразности, всё нелѣпости, провозглашаемыя нѣкоторыми журналами. На его душу и отвѣтственность обращали всё грѣхи, коими ознаменовались послѣдніе года нашего литературнаго паденія. Какъ тутъ было не одуматься, не оглядѣться? Какъ писателю *честному* не осыпать головы своей пепломъ и не отказаться съ досадою отъ торжества, устроеннаго непризванными и непризнанными ¹⁾ руками? Всѣ эти ликторы и глашатаи, которые шли около него и за нимъ съ своими хвалебными восклицаніями и праздничными факелами, именно и озарили въ глазахъ его опасность и ложность избраннаго имъ пути. Съ благородною рѣшимостью и откровенностью онъ тутъ же *круто своротилъ* съ торжественнаго пути своего и спиною обратился къ своимъ поклонникамъ. Теперь, оторопѣвъ, они не знаютъ за что и приняться. Конечно, положеніе ихъ непріятно и забавно. Но что же дѣлать? Сами накликali и накричали они бѣду на себя».

Фактъ изложенъ здѣсь не совсѣмъ точно. Литературное направленіе, съ котораго «своротилъ» Гоголь, вовсе не было въ такомъ отчаянномъ положеніи. У людей этого направленія не было колебаній; они высказались о книгѣ Гоголя очень скоро и самымъ категорическимъ образомъ, потому что смыслъ и теоретическія нити новой книги Гоголя были для нихъ довольно ясны: статья Бѣлинскаго о «Выбранныхъ Мѣстахъ» появилась въ первой послѣдовавшей книгѣ его журнала; затѣмъ письма Павлова въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ». Обѣ эти вещи были такого рода, что едва ли не всего больше заставили оторопѣть самого автора «Выбранныхъ Мѣстъ»...

Далѣе, авторъ статьи не удивляется, что «Гоголь попалъ въ руки литературнымъ шарлатанамъ», но удивляется, какъ даже «умные и добросовѣстные» судьи сбились съ пути благоразумія въ оцѣнкѣ трудовъ Гоголя. Это — славянофилы. Авторъ не понимаетъ, какъ могли увлекаться Гоголемъ люди, которые отказываются отъ чужеземнаго вліянія и хотятъ, чтобы мы напротивъ шли своимъ путемъ, росли въ своихъ началахъ, — потому что картины *своего* у Гоголя мрачны и грустны. Самъ авторъ статьи дѣлаетъ слѣдующее любопытное и справедливое признаніе: «Онъ преслѣдуетъ, онъ за живое задираетъ не однѣ наружныя и прививныя болячки: нѣтъ, онъ *проникаетъ въ глубь*, онъ выворачиваетъ всю природу, всю душу и не находитъ ни одного здороваго мѣста. Жестокій врачъ, онъ растравливаетъ раны, но не

¹⁾ Непризванными и непризнанными — кѣмъ?

придаетъ больному ни бодрости, ни упованія. Нѣтъ, онъ приводитъ къ безнадежной скорби, къ страшному сознанию» ¹⁾. Авторъ не видѣлъ только, что здѣсь-то и было могущественное вліяніе Гоголя,—оно могло причинять скорбь, но вмѣстѣ и возбуждало къ исканію иного, лучшаго порядка идей и вещей.

Авторъ признаетъ, что такой взглядъ, какъ личный и отдѣльный взглядъ, можетъ имѣть нѣкоторую вѣрность, хотя условную и одностороннюю,— но сдѣлать изъ него цѣлое воззрѣніе, основаніе цѣлаго направленія—значитъ придти къ хаосу противорѣчій и ложныхъ выводовъ.

Этотъ хаосъ, по его мнѣнію, и разрѣшается книгой Гоголя.

Впрочемъ авторъ находитъ, что были нѣкоторые недостатки въ книгѣ Гоголя. «Переломъ былъ нуженъ, но, можетъ быть, не такой внезапный и крутой,» — собственно по неразвитости публики и критиковъ. «Самая истина, если хочетъ доходить до насъ, должна подчинять себя нѣкоторымъ условіямъ, соразмѣрять дѣйствіе свое съ ограниченностью нашей воспріимчивости, щадить наше упрямство, наши слабости и дурныя привычки». По мнѣнію автора, многихъ разсердило также то, что книга была для нихъ совершенно неожиданна. «Уже за нѣсколько лѣтъ предъ симъ началось въ Гоголѣ *духовное преображеніе*. Объ этомъ знали только нѣкоторые *пріатели, посвященные его сердечныхъ исповѣдей*. Для нихъ появленіе книги Гоголя—совершеніе ожиданнаго событія.» Книга застала публику и критику въ расплохъ. «Вообще журнальная критика по поводу новой книги Гоголя явила странныя требованія. Казалось ей, будто она и мы всѣ имѣемъ крѣпостное право надъ нимъ, какъ будто онъ приписанъ къ такому-то участку земли, съ которой онъ не воленъ былъ сойти. На эту книгу смотрѣли какъ на возмущеніе, на изъясненіе предательства и неблагодарности»... Авторъ «Выбранныхъ Мѣстъ» изливаетъ свои сокровеннѣйшія тайны и страданія, а его самопроизвольно судятъ, разбираютъ, такъ ли онъ плачетъ, не противорѣчить ли онъ себѣ — «какъ будто скорбь можетъ всегда разсчитывать слова свои.» Авторъ статьи впрочемъ не хочетъ и говорить о тѣхъ критикахъ, «о которыхъ говорить нечего», а обращается къ тѣмъ судьямъ, на мнѣніе которыхъ должно

¹⁾ Авторъ не принялъ въ соображеніе, что для славянофиловъ изображеніе отрицательной стороны русской жизни было также аргументомъ въ защиту ихъ мнѣній: у нихъ не было никакого пристрастія къ той Россіи, которую изображалъ Гоголь. Кромѣ того, они не были вовсе нечувствительны къ художественной правдивости и силѣ произведеній Гоголя.

обратить вниманіе. И изъ нихъ многіе погрѣшили недостаткомъ справедливости: «Гоголь только тѣмъ предъ вами и виноватъ, что вы не такъ мыслите, какъ онъ. Мы чувствуемъ и толкуемъ о независимости, о свободѣ понятій, а въ насъ нѣтъ даже и терпимости. Кто только мало-мальски не совершенный нашъ единомышленникъ... мы готовы закидать его камнями.» (Авторъ забылъ, что недостатокъ терпимости показанъ былъ прежде всего самимъ Гоголемъ, потому что «Переписка» далеко не отличалась «терпимостью», а напротивъ крайней заносчивостью и не совсѣмъ въ хорошую сторону,—и эта заносчивость впередъ оправдывала его критиковъ).

Авторъ соглашается однако самъ, что ошибки были, что переломъ былъ слишкомъ «крутъ», что, напр., «завѣщаніе» было не совсѣмъ умѣстно, что практическія мнѣнія Гоголя не совсѣмъ основательны... «Практическій человѣкъ (въ Гоголѣ) отсталъ. Взглядъ его не всегда свѣтелъ и вѣренъ. Когда дѣло идетъ о житейскомъ, онъ не всегда прямо глядитъ ему въ лицо, а съ угла умозрительной точки, какъ, напримѣръ, въ письмахъ: *Русскій помѣщикъ, сельскій судъ и расправа*, а частью и въ другихъ письмахъ. Не все то событочно, что желательно. Недостаточно написать прекрасныя идилліи и мечтательные проекты о неразрывномъ мирѣ, чтобы возвратить золотой вѣкъ на землѣ.» Авторъ считаетъ и мнѣнія Гоголя объ Одиссеѣ «благонамѣренными мечтаніемъ».

Вообще, однако, авторъ статьи находитъ, что если и есть недостатки въ книгѣ Гоголя, они искупаются ея общимъ достоинствомъ; это—«не что иное какъ *соринки*, которыя легко смести однимъ движеніемъ пера. Но цѣлое есть чистая, свѣтлая хранина.» Авторъ сравниваетъ ее съ извѣстной книгой Сильвіо Пеллико объ обязанностяхъ человѣка, и духовное состояніе Гоголя таково, что человѣку, не исключительно преданному суетнымъ потребностямъ, нельзя не позавидовать этому состоянію. — Но на вопросъ, надо ли желать, чтобы Гоголь совсѣмъ оставилъ прежнюю дорогу, шелъ далѣе исключительно по своей новой дорогѣ, авторъ отвѣчаетъ: «Скажу не запинаясь: нѣтъ! Я увѣренъ, что между прежнимъ Гоголемъ и нынѣшнимъ можетъ послѣдовать и послѣдуетъ прекрасная сдѣлка, полезная мировая. Онъ умѣрилъ и умирилъ въ себѣ человѣка: теперь пусть умѣритъ и умирить въ себѣ автора. Пускай передастъ онъ намъ все нажитое имъ въ эти послѣдніе годы въ сочиненіяхъ... чуждыхъ этой исключительности, этого ожесточенія, съ которыми онъ донинѣ преслѣдовалъ пороки и смѣшныя слабости людей, не оставляя нигдѣ

добраго слова на миръ, нигдѣ не видя ничего отраднаго и ободрительнаго. Гоголь во многихъ мѣстахъ книги своей кается въ *безполезности* всего написаннаго имъ: это невѣрно. Написанное имъ не *безполезно*, а напротивъ, принесло свою пользу; но оно частью *вредно*, потому что многими было худо понято и употреблено во зло. Онъ первый, особенно «Мертвыми Душами», далъ осѣдлость у насъ литературѣ укорительной, желчной... Всѣ за нимъ, надбавляя надъ подлинникомъ, бросились унижать, безобразить человѣка и общество, злословить ихъ, доносить на нихъ»...

Итакъ, авторъ статьи совершенно подтверждалъ и одобрялъ отреченіе Гоголя отъ прежнихъ произведеній; и солидарность Гоголя съ друзьями была заявлена несомнѣнно ¹⁾... Не знаемъ, весело ли было петербургскимъ друзьямъ Гоголя увидѣть, что защиту «Переписки» одно время взяла на себя «Сѣверная Пчела»: она также хвалила книгу и радовалась, что самъ Гоголь подтверждалъ теперь ея давнишнее мнѣніе о ничтожествѣ «Мертвыхъ Душъ» и «Ревизора»... ²⁾. Но авторъ статьи «Спб. Вѣдомостей» нѣсколько ошибался въ своихъ надеждахъ на переломъ. На *новой* дорогѣ талантъ очевидно покидалъ Гоголя, и Гоголь еще не совсѣмъ покинулъ *старую*, истинную, дорогу своего таланта; мы увидимъ дальше, что онъ еще не покончилъ съ «пагубнымъ» направленіемъ и имѣлъ случай убѣждаться въ ошибочности мнѣній «Переписки».

Дальше мы укажемъ любопытное письмо Гоголя по поводу этой статьи. Книга, такимъ образомъ, для обѣихъ сторонъ дѣлалась полемъ битвы, гдѣ два направленія встрѣтились уже съ открытой враждой. Но прежде, чѣмъ слѣдить далѣе за этимъ столкновеніемъ, возвратимся къ самой книгѣ, — именно къ тѣмъ письмамъ, которыя не вошли въ первоначальное изданіе по цензурнымъ причинамъ и были напечатаны только не такъ давно. Онѣ тѣмъ любопытнѣе, что ближе раскрываютъ именно общественные взгляды Гоголя. Выше указано, каковы эти взгляды были съ самаго начала. Теперь, ко времени изданія «Выбранныхъ Мѣстъ», они въ сущности своей нисколько не измѣнились, но стали значительно рѣзче и опредѣленнѣе, и Гоголь, прежде никогда о нихъ не считавшій нужнымъ говорить, теперь возвращается къ нимъ нѣсколько разъ, и въ выраженіяхъ, не оставляющихъ никакого сомнѣнія.

¹⁾ Новѣйшее подтвержденіе того же см. въ „Р. Арх.“, 1866, стр. 1081—82.

²⁾ „Сѣверная Пчела“ и Сенковский терпѣть не могли „Мертвыхъ Душъ“ и „Ревизора“.

Въ письмѣ о лиризмѣ нашихъ поэтовъ Гоголь словами Пушкина объясняетъ свои политическія понятія. «Какъ вообще Пушкинъ былъ уменъ во всемъ, что ни говорилъ въ послѣднее время своей жизни», — замѣчаетъ Гоголь и приводитъ слова его, опредѣляющія значеніе полномощнаго монарха. «Зачѣмъ нужно, — говоритъ онъ, — чтобы одинъ изъ насъ сталъ выше всѣхъ и даже выше самаго закона? Загѣмъ, что законъ — дерево; въ законѣ слышится человѣкъ что-то жестокое и не братское. Съ однимъ буквальнымъ исполненіемъ закона не далеко уйдешь (!); нарушить же, или не исполнить его никто изъ насъ не долженъ; для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая законъ, которая можетъ явиться людямъ только въ одной полномощной власти. Государство безъ полномощнаго монарха — автоматъ: *много, много*, если оно достигнетъ того, до чего достигнули Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? *Мертвечина*. Человѣкъ въ нихъ вывѣтрился до того, что и *выпѣннаго яйца* не стоитъ», и т. д. Нельзя не видѣть, что политическое устройство Россіи опредѣляется здѣсь слишкомъ произвольно, и сравненіе съ Соединенными Штатами, употребленное какъ доказательство, болѣе чѣмъ неудачно. Гоголь принялъ изреченіе Пушкина буквально и не прибавилъ къ нему никакого своего аргумента, болѣе основательнаго. Они оба зашли, кажется, дальше, чѣмъ сами высшія сферы того времени, потому что, какъ говорятъ, эти послѣднія хорошо видѣли разницу положенія и отдавали больше справедливости Соединеннымъ Штатамъ. Понятно, что при этомъ Гоголь былъ ревностнымъ почитателемъ status quo во всѣхъ подробностяхъ его теоріи (нѣкоторые практическіе недостатки онъ видѣлъ, и объяснял ихъ по-своему), и полагалъ даже, что Европа придетъ къ намъ учиться. Въ статьѣ «Страхи и ужасы Россіи», писанной къ какой-то графинѣ, Гоголь утверждаетъ: «Въ то время, когда на однихъ концахъ Россіи еще доплясываютъ польку и доигрываютъ преферансъ, уже незримо (!) образуются на разныхъ поприщахъ истинные мудрецы жизненнаго дѣла. Еще пройдетъ десятокъ лѣтъ, и вы увидите, что Европа пріѣдетъ къ намъ не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости (!), которой не продаютъ больше на европейскихъ рынкахъ»... ¹⁾. Въ письмѣ къ гр. А. П. Т—му (1845), Гоголь такъ рассуждаетъ о тѣхъ недостаткахъ, которые онъ видѣлъ все-таки въ нашей администраціи. Это рассужденіе наивно до послѣдней сте-

¹⁾ Ср. также, по поводу этихъ мнѣній Гоголя, письмо его къ Жуковскому, отъ апрѣля 1839.

пени. «Мы съ вами еще не такъ давно разсуждали о *всѣхъ должностяхъ*, какія *ни есть* въ нашемъ государствѣ. Разсматривая каждую въ ея законныхъ предѣлахъ, мы находили, что онѣ именно то, что имъ слѣдуетъ быть, *всѣ до единой* какъ бы свыше созданы для насъ (!), съ тѣмъ, чтобы отвѣчать на *всѣ* потребности нашего государственнаго быта, а всѣ сдѣлались не тѣмъ отъ *того*, что *всякъ*, какъ бы наперерывъ, старался или разрушать предѣлы своей должности, или даже вовсе выступить изъ ея предѣловъ. Всякій, *даже честный и умный человекъ* (!), старался хотя на одинъ вершокъ быть полномочнѣй и выше своего мѣста, полагая, что онъ этимъ-то именно облагородитъ и себя и свою должность. Мы перебрали тогда всѣхъ чиновниковъ отъ верху до низу, но *секретарей* позабыли, а они-то именно больше всѣхъ стремятся выступить изъ предѣловъ своей должности. Гдѣ секретарь заведенъ только въ качествѣ писца, тамъ онъ хочетъ сыграть роль посредника между начальникомъ и подчиненнымъ. Гдѣ же онъ поставленъ дѣйствительно какъ нужный посредникъ между начальникомъ и подчиненнымъ, тамъ онъ начинаетъ важничать» и проч. Въ этомъ Гоголь и видитъ всю бѣду, совпадая съ мнѣніемъ Акакія Акакіевича, что секретари ненадежный народъ.

Съ такимъ немудренымъ запасомъ общественной философіи вышелъ Гоголь изъ своихъ размышлений, бесѣдъ съ друзьями, переписки съ корреспондентами, и съ этимъ запасомъ онъ считалъ возможнымъ явиться передъ обществомъ въ роли строгаго учителя. Не будемъ перечислять другихъ образчиковъ ея, разсѣянныхъ въ «Перепискѣ»,—этихъ странныхъ наставленій копить деньги и дѣлить ихъ на кучки, говорить мужику: «неумытое рыло», и т. д., и т. д. Все это друзья благословляли его печатать; все это они считали «нужнымъ» и «полезнымъ переломомъ», хотя «нѣсколько крутымъ»!

У Гоголя не видимъ мы и признака мысли о тѣхъ общественныхъ вопросахъ, которые уже довольно ясно представлялись образованнымъ людямъ того времени, и на которые обратила вниманіе даже строго-консервативная высшая сфера. Гоголь настаиваетъ только на авторитетѣ, а всѣ недостатки, какія видѣлъ въ теченіи дѣлъ, сваливаетъ на исполнителей, хотя бы это были даже «честные и умные люди». У него нѣтъ и мысли о возможности улучшенія самыхъ учреждений, объ измѣненіи въ отношеніяхъ словій, о воспитаніи въ обществѣ бѣльшей моральной и гражданской самодѣятельности. Тѣ, чѣмъ исполнены были умы и сердца лучшихъ людей того времени, что впослѣдствіи стало основаніемъ общественнаго преобразованія, это было ему совершенно чуждо,—

онъ ничего не читалъ и не слышалъ объ этомъ; взамѣнъ того, онъ проповѣдуетъ старую, безжизненную мораль, созданную печальными временами и ничтожествомъ общественной жизни. Самъ авторъ статьи «С.-Петерб. Вѣдомостей» не могъ одобрить его крѣпостническо-идеальныхъ разсужденій о «русскомъ помѣщикѣ» и проч... Гоголь не чувствуетъ, какъ странно читать у него же слѣдующія строки о томъ, почему Пушкинъ при жизни не высказывалъ своихъ политическихъ привязанностей: «Никому не говорилъ онъ при жизни о чувствахъ, его наполнявшихъ, и поступалъ умно. Послѣ того, какъ вслѣдствіе всякаго рода холодныхъ газетныхъ возгласовъ, писанныхъ слогомъ помадныхъ объявленій, и всякихъ сердитыхъ, неопратно-запальчивыхъ выходовъ, производимыхъ всякими квасными и неквасными патріотами, перестали вѣрить у насъ на Руси искренности всѣхъ печатныхъ изліяній, — Пушкину было опасно выходить. Его бы какъ разъ называли подкупнымъ, или чего-то ищущимъ человѣкомъ»... Откуда же могло взяты такое состояніе цѣлаго общества?

Вскорѣ послѣ выхода «Выбранныхъ Мѣстъ» явилась въ «Современникѣ» (№ 2, 1847 г.) статья Бѣлинскаго, первый энергическій протестъ противъ идей, заявленныхъ Гоголемъ, противъ отреченія его отъ прежнихъ произведеній, противъ подобнаго употребленія своего авторитета ¹⁾. О личныхъ отношеніяхъ Бѣлинскаго и Гоголя очень мало извѣстно; но они не были люди незнакомые. Гоголь прежде обращался къ нему раза два въ нужныхъ случаяхъ ²⁾, зналъ, какъ относится къ нему Бѣлинскій и почему онъ такъ къ нему относится. Статья Бѣлинскаго не могла поэтому не представлять для него особеннаго интереса. И сколько можно судить по его характеру, она вѣроятно произвела на него самое сильное впечатлѣніе, — онъ не проговаривается о ней никому изъ своихъ обыкновенныхъ корреспондентовъ и друзей, отъ которыхъ прежде держалъ въ секретѣ самыя сношенія свои съ Бѣлинскимъ. Статья Бѣлинскаго повела за собой извѣстную переписку между ними. Гоголь написалъ первое письмо, и, еще не имѣя отвѣта Бѣлинскаго, писалъ къ князю Вяземскому любопытное письмо (отъ іюня 1847 г.), по поводу его статьи въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ». Въ этомъ письмѣ мы встрѣтимъ черты, едва ли не внушенныя чтеніемъ статьи Бѣлинскаго; это — мысль о необходимости разъяснять для общества «государственные» предметы, т.-е. внутренніе общественные вопросы; кромѣ того —

¹⁾ См. Сочин. Бѣлинскаго, т. XI, стр. 80—103.

²⁾ См. воспоминанія г. Анненкова.

нѣсколько неожиданное *заступничество* Гоголя въ пользу его новыхъ враговъ въ литературѣ.

«Ваша статья... о Языковѣ и обо мнѣ,—пишетъ онъ,—кромѣ всѣхъ тѣхъ достоинствъ и свойствъ, которыя принадлежать особенности собственно вашего ума, меня очень тронула тѣмъ чувствомъ соучастія, которое принадлежитъ только одной нѣжной и любящей душѣ. Одно только меня остановило: мнѣ кажется, что выразились вы *нѣсколько сурово* о нѣкоторыхъ моихъ нападателяхъ, особенно о *тѣхъ*, которые прежде меня хвалили. Мнѣ кажется вообще, мы судимъ ихъ слишкомъ неумолимо. *Богъ знаетъ, можетъ быть*, въ существѣ многіе изъ нихъ добрые люди и влекутся даже нѣкоторымъ, *хотя отдаленнымъ*, желаніемъ добра: но кого не увлекаетъ самолюбіе, нѣкоторой успѣхъ» и пр.

Намъ кажется, что въ этихъ словахъ уже отражалось тайное сознаніе Гоголя, что «нападатели» во многомъ были правы; но онъ боится заявить это сознаніе и передъ самимъ собой, и передъ своимъ корреспондентомъ (который вѣроятно былъ въ числѣ людей, не знавшихъ о секретныхъ свиданіяхъ), и обставляетъ предположеніями и оговорками.

Гоголь говоритъ дальше, что, быть можетъ, ихъ самихъ обвинять въ гордости, когда они «жестокотолкнули» хулителей, когда, быть можетъ, имъ нуженъ былъ «совѣтъ» (онъ думалъ, что нуженъ былъ ихъ «совѣтъ», напр. Бѣлинскому!); что онъ самъ не рѣшается говорить сурово, такъ какъ видитъ, что «положеніе всѣхъ въ нынѣшнее время страшно трудно и, къ кому ни приглядишься ближе, всякъ поражаетъ къ себѣ состраданье». Имъ овладѣваетъ «жалость» къ людямъ страдающимъ или заблуждающимся и отъ недостатка *любви* «всѣ статьи наши ¹⁾ не вносятъ надлежащаго примиренія».

Эти послѣднія слова могли быть совершенно искренни, и если даже, не высказывая настоящей своей мысли, Гоголь хотѣлъ только косвенно навести своего корреспондента на что-то такое, чего ему хотѣлось,—во всякомъ случаѣ, очевидно, что у Гоголя являлись новыя мысли, вовсе не въ духѣ «перелома»; какъ будто онъ втайнѣ сознавалъ справедливость возраженій, и въ немъ являлась потребность «примиренія». Но онъ еще не оцѣнилъ всей трудности примиренія, не видѣлъ, какъ далеко лежали корни раздора, съ чьей стороны должны быть сдѣланы уступки, на чьей сторонѣ была бѣлая общественная неправда. Передъ

¹⁾ Вѣроятно, Гоголь не хотѣлъ сказать прямо: статья «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей».

нимъ начинается мелькать слабый проблескъ дѣйствительныхъ общественныхъ вопросовъ,—но его пониманіе все еще только догадка, спутанная его привычными понятіями.

«...Мнѣ кажется,—пишетъ онъ далѣе,—что теперь, въ нынѣшнее время, болѣе нужны не статьи *нападательныя* ¹⁾ или защитительныя, которыя невольнымъ образомъ обратятся на чью-нибудь личность и выставятъ на сцену насъ самихъ, сколько статьи *яснительныя* многихъ важныхъ вопросовъ, относящихся къ тѣмъ вѣчнымъ истинамъ, которыя, хотя покуда еще и не раздаются въ обществѣ, но къ которымъ поворотъ однако же неминуемо долженствуетъ наступить. Я разумѣю здѣсь собственно тѣ истины, о которыхъ могутъ сказать только *люди государственные*. Если о нихъ не раздадутся теперь здравыя опредѣленія, годныя укрѣпить хотя нѣкоторыхъ, или дать имъ знать по крайней мѣрѣ приблизительно, чего держаться, то ихъ пойдутъ скоро коверкать вовсе не-государственные люди и могутъ сбить всѣхъ (?) съ толку. Вы видите, что нѣкоторое поползновеніе къ тому уже обнаруживается. Даже и я, человѣкъ вовсе не государственный, заговорилъ о томъ. Итакъ, есть какое-то повѣтріе, которому всѣ подвергаются равномѣрно. Тѣмъ болѣе теперь нуженъ голосъ мастеровъ того ремесла, въ которое впутываются люди посторонніе.»

Словомъ, Гоголь начиналъ видѣть, что въ обществѣ возникаетъ интересъ къ тѣмъ предметамъ, которые онъ называетъ «государственными», т.-е. просто интересъ къ общественнымъ дѣламъ, но онъ все-таки думаетъ, что человѣку не-государственному непозволительно говорить объ этихъ дѣлахъ; онъ для нихъ человѣкъ «посторонній»... Гоголь полагалъ, что здѣсь нуженъ голосъ «мастеровъ государственнаго ремесла», и ждалъ такихъ разъясненій отъ кн. Вяземскаго, котораго считалъ имѣющимъ все, что для этого нужно...

Между тѣмъ, онъ ожидалъ отъ него своей рукописи «Выбранныхъ Мѣстъ» съ его замѣчаніями ²⁾, — «потому что съ моей

1) Какова была статья „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“; но Гоголь забылъ уже, что „Выбранныя Мѣста“ были сами вещь очень нападательная.

2) Гоголь былъ недоволенъ тѣмъ, что цензура много исключила изъ „Выбранныхъ Мѣстъ“ и поручалъ своимъ друзьямъ приготовить новое изданіе, уже вполнѣ. Онъ желалъ этого, полагая, что многія нападенія происходили оттого, что книга явилась не въ полномъ составѣ; что „по клочку, обгрызенному цензурой, о ней нельзя судить“. Онъ въ особенности просилъ кн. Вяземскаго пересмотрѣть книгу, исключить изъ нея то, что было въ ней рѣзкаго и проповѣдническаго, вообще сгладить, смягчить и дополнить, какъ только онъ найдетъ нужнымъ. „Не будемъ считаться мысля-

стороны все-таки нужно что-нибудь сказать, хотя разумѣется по-приличнѣй и въ такой мѣрѣ, въ какой позволительно сказать *не-государственному* человѣку. Нужно, чтобы мы все-таки (?) питали любовь къ своей государственности, а не летали мысленно по всѣмъ землямъ, говоря о Россіи; чтобъ чувствовали по крайней мѣрѣ, что строенье новаго исходитъ изъ духа самой земли, изъ находящихся среди насъ матеріаловъ». Эта послѣдняя мысль, какъ будто отзывающаяся мнѣніями славянофильскихъ друзей Гоголя, брошена однако какъ-то случайно и недоконченно.

Мы не будемъ излагать переписку Гоголя съ Бѣлинскимъ, и упомянемъ только объ общемъ тонѣ ея. Переписку началъ Гоголь, по прочтеніи статьи Бѣлинскаго въ «Современникѣ»; Бѣлинскій, находившійся тогда за-границей, отвѣчалъ (15-го іюля 1847 г.) длиннымъ письмомъ, гдѣ высказалъ все, накопившееся у него на душѣ и чего не могъ онъ сказать въ печатной статьѣ ¹⁾. Переписка закончилась новымъ письмомъ Гоголя.

Въ первомъ письмѣ Гоголь выражаетъ свое прискорбіе по поводу статьи Бѣлинскаго,—не потому, что ему прискорбно было униженіе его, а потому, что въ ней слышится голосъ разсерженнаго человѣка. Онъ не понимаетъ, за что вдругъ всѣ разсердились на него—восточные, западные, нейтральные. «Это правда,—говоритъ Гоголь,—я имѣлъ въ виду *небольшой щелчокъ* каждому изъ нихъ, считая это *нужнымъ*, испытавши надобность его на собственной кожѣ (всѣмъ намъ нужно побольше смиренія)», но онъ никакъ не думалъ, чтобы *щелчокъ* выпелъ такъ грубо, недовоко и оскорбителенъ. Затѣмъ онъ объясняетъ, что не легко судить книгу, гдѣ замѣшалась собственная душевная исторія человѣка; укоряетъ Бѣлинскаго за «оплошныя выводы»; оправдывается отъ обвиненія въ пристрастіи и своекорыстіи, и наконецъ снова выражаетъ прискорбіе, что противъ него питаетъ озлобленіе человѣкъ, котораго онъ все-таки считалъ за добраго человѣка.

Отвѣтъ Бѣлинскаго — болѣе или менѣе извѣстенъ. Это безъ сомнѣнія самое характеристическое изъ всего, что написано Бѣлинскимъ, и самый рѣзкій протестъ изъ всѣхъ, какіе вызвала книга Гоголя. Онъ яркими красками изображаетъ Гоголю смыслъ его

ми,—говоритъ онъ при этомъ, — онѣ не наши и не принадлежатъ намъ; онѣ посылаются Богомъ“ и проч. См. письмо отъ 28-го февраля 1847 г. Въ письмѣ отъ іюня 1847 г. онъ проситъ о присылкѣ просмотрѣнной рукописи, которую теперь хотѣлъ еще дополнить самъ по „государственнымъ“ предметамъ.

¹⁾ См. отрывки въ Вѣстн. Евр. 1872, іюль, стр. 439—443.

книги въ тогдашнемъ положеніи русскаго общества — объясняетъ ему, почему онъ имѣлъ такое великое значеніе для этого общества и такихъ страстныхъ поклонниковъ: въ немъ видѣли одного изъ великихъ вождей страны на пути сознанія, развитія, прогресса. «Теперь же,—говоритъ Бѣлинскій,—я не въ состояніи дать вамъ ни малѣйшаго понятія о томъ негодованіи, которое возбудила ваша книга во всѣхъ благородныхъ сердцахъ, ни о тѣхъ вопляхъ дикой радости, которые издали при появленіи ея всѣ враги ваши, и не-литературные — Чичиковы, Ноздревы, Городничіе... и литературные, которыхъ имена хорошо вамъ извѣстны.» Онъ успокоиваетъ Гоголя, что «щелчки» неспособны были бы возбудить въ немъ это негодованіе, хотя и «щелчки» своимъ же почитателямъ и друзьямъ за ихъ привязанность—дѣло не совсѣмъ христіанское и смиренное. Онъ объясняетъ Гоголю, что главный источникъ негодованія противъ «Переписки» и ея автора — само содержаніе книги: въ то время, какъ лучшіе люди общества начинаютъ сознавать недостатки и несправедливости существующихъ порядковъ, когда они всѣми силами души стремятся къ улучшенію общественныхъ отношеній, къ уничтоженію крѣпостнаго права, тѣлесныхъ наказаній и пр., и пр., — въ это время великій писатель — «является съ книгою, въ которой во имя Христа и церкви учить варвара-помѣщика наживать отъ крестьянъ болѣе денегъ, учить ихъ ругать побольше... И это не должно было привести меня въ негодованіе?... Да еслибы вы обнаружили покушеніе на мою жизнь, и тогда бы я не болѣе возненавидѣлъ васъ, какъ за эти позорныя строки...» Бѣлинскій объясняетъ, какъ опасно довольствоваться наблюденіями надъ русскою жизнью изъ «прекраснаго далека», изъ котораго можно видѣть предметы какими угодно. Въ концѣ письма онъ еще разъ объясняетъ Гоголю, что споръ между ними вовсе не личный споръ оскорбляемыхъ самолюбій. «Тутъ дѣло идетъ не о моей или вашей личности, но о предметѣ, который гораздо выше не только меня, но даже и васъ; тутъ дѣло идетъ объ истинѣ, о русскомъ обществѣ, о Россіи. И вотъ мое послѣднее заключительное слово: если вы имѣли несчастіе съ гордымъ смиреніемъ отречься отъ вашихъ истинно великихъ произведеній, то теперь вамъ должно съ искреннимъ смиреніемъ отречься отъ послѣдней вашей книги, и тяжкій грѣхъ ея изданія въ свѣтъ искупить новыми твореніями, которыя бы напомнили ваши прежнія ¹⁾.»

¹⁾ Бѣлинскій двумя словами упомянулъ въ своемъ письмѣ и о защитѣ „Выбранныхъ Мѣстъ“ въ „Спб. Вѣдомостяхъ“. Къ автору этой защиты онъ уже издавна не былъ расположенъ. Соч. Вѣл., т. II, стр. 272 (статья о „Современникѣ“, 1836 г.).

Отвѣтъ Гоголя на это письмо свидѣтельствуешь о сильномъ душевномъ упадкѣ. «Я не могъ отвѣчать на ваше письмо, говорить онъ. Душа моя изнемогла, все во мнѣ потрясено; могу сказать, что не осталось чувствительныхъ струнъ, которымъ не было бы нанесено пораженіе, еще прежде, нежели я получилъ ваше письмо. Письмо ваше я прочелъ почти безчувственно, но тѣмъ не менѣе былъ не въ силахъ отвѣчать на него. Да и что мнѣ отвѣчать? Богъ вѣсть, можетъ быть въ вашихъ словахъ есть часть правды»... Онъ высказываетъ свои недоумѣнія: онъ получилъ уже около пятидесяти писемъ о своей книгѣ, и нѣтъ двухъ человѣкъ, мнѣнія которыхъ были бы согласны, а между тѣмъ на всякой сторонѣ есть люди благородные и умные. Онъ убѣждается только, что не знаетъ Россіи, что многое въ ней измѣнилось и что ему нельзя издать двухъ строкъ о Россіи — «до тѣхъ поръ покуда пріѣхавши въ Россію не увижу многого собственными глазами и не пощупаю собственными руками». Онъ не уступаетъ однако всей правды своему противнику, думаетъ, что и онъ можетъ быть о многомъ въ заблужденіи, и пр.

Письмо Бѣлинскаго, очевидно, произвело на Гоголя очень сильное впечатлѣніе. Кромѣ приведеннаго письма, которое было получено Бѣлинскимъ, былъ еще другой отвѣтъ Гоголя, гораздо болѣе обширный, но, кажется, оставшійся непосланнымъ. Въ бумагахъ Гоголя нашлось послѣ его смерти письмо, изорванное въ мелкіе клочки, изъ которыхъ многіе были потеряны, такъ что біографъ и издатель Гоголя, П. А. Кулишъ, только съ трудомъ могъ составить изъ нихъ отрывочное изложеніе ¹⁾. Это и есть отвѣтъ Бѣлинскому, гдѣ Гоголь старался по всѣмъ пунктамъ опровергнуть обвиненіе и оправдать свою книгу и свой образъ мыслей, и гдѣ относится къ Бѣлинскому гораздо суровѣе и рѣзче, нежели въ посланномъ письмѣ.

До сихъ поръ остается неизвѣстно, который изъ двухъ отвѣтовъ написанъ раньше: писалъ-ли Гоголь свой длинный отвѣтъ тогда, когда успѣлъ оправиться отъ первыхъ тяжелыхъ впечатлѣній, про-

¹⁾ Это письмо напечатано г. Кулишомъ въ „Запискахъ о жизни Гоголя“, II, 108—113, и въ „Сочин. и Письмахъ Гоголя“, т. VI, стр. 379—387. Но г. Кулишъ ошибается, повидимому, полагая, что именно объ этихъ „оправдательныхъ статьяхъ“ идетъ рѣчь въ письмѣ Гоголя отъ 10 іюня 1847 къ Плетневу. Письмо Бѣлинскаго, сколько мы знаемъ, помѣчено 15-го іюля 1847 г.; стало-быть, объ „оправдательныхъ статьяхъ“ не могло еще идти рѣчи. Въ письмѣ къ Плетневу подразумѣвается, вѣроятно, „Авторская Исповѣдь“, потому что въ ней именно Гоголь хотѣлъ изложить „повѣсть своего писательства“. А „оправдательныя статьи“ вовсе не заключаютъ этой повѣсти, и все содержаніе ихъ—отвѣты и возраженія на письмо Бѣлинскаго.

изведенныхъ письмомъ Бѣлинскаго, и уже тогда собралъ всѣ свои аргументы, чтобы отвергнуть обвиненія, слишкомъ его затронувшія; или же, какъ думаютъ другіе, онъ началъ-было длиннымъ обвиненіемъ Бѣлинскаго, но не въ силахъ былъ довести его до конца, бросилъ его, и въ сознаніи своей безпомощности послалъ ему ту короткую записку, о которой мы сейчасъ говорили. Но такъ или иначе, въ своемъ длинномъ отвѣтѣ Гоголь говоритъ другимъ тономъ, и самъ выступаетъ обвинителемъ противной стороны. Отвѣчая Бѣлинскому, Гоголь долженъ былъ въ первый и чуть ли не единственный разъ говорить о томъ рядѣ вопросовъ, которые занимали тогда людей другихъ мнѣній и которые были ему выставлены Бѣлинскимъ. Поэтому, отвѣтъ Гоголя сталъ изложеніемъ его понятій о русской общественной жизни, объ ея тогдашнемъ положеніи и требованіяхъ.

Это и были его обычныя мнѣнія, какія могли образоваться въ средѣ его круга. Гоголь старается быть доказательнымъ, дѣлаетъ иногда возраженія, отчасти справедливыя; но въ цѣломъ аргументація его далеко не убѣдительна, и несмотря на рѣзкія фразы, которыя онъ еще употребляетъ, диктаторскій тонъ «Переписки» очевидно подорванъ.

«Съ чего начать мой отвѣтъ на ваше письмо, если не съ вашихъ же словъ: «опомнитесь, вы стоите на краю бездны!» Какъ далеко вы сбились съ прямого пути! въ какомъ вывороченномъ видѣ стали передъ вами вещи! въ какомъ грубомъ, невѣжественномъ смыслѣ приняли вы мою книгу!» и пр.,—такъ начинается Гоголь свое обвиненіе. На эту первую фразу Бѣлинскій справедливо могъ бы сказать, что самая книга его была такова, что ея смыслъ дѣйствительно могъ выходить невѣжественнымъ. Гоголь сожалѣетъ потомъ, что Бѣлинскій вдался въ «этотъ омутъ политической жизни», оставивъ свое прекрасное дѣло — «показывать читателямъ красоты въ твореньяхъ нашихъ писателей, возвышать ихъ душу до пониманья всего прекраснаго... и такимъ образомъ невидимо дѣйствовать на ихъ души». Самъ Гоголь до того удался отъ интересовъ общественной жизни, что дѣятельность Бѣлинскаго кажется ему политическимъ омутомъ! Онъ не думаетъ о томъ, что творенья писателей получаютъ свой интересъ только въ связи съ жизнью, и съ этимъ «омутомъ»; онъ забываетъ, что его собственныя произведенія имѣли великій смыслъ именно тѣмъ, что рисовали эту дѣйствительную, неподкрашенную жизнь, и повторяетъ эстетическую теорію своихъ друзей, которые говорили, что поэзія—«даръ неба», не имѣющая отношенія къ земнымъ предметамъ и къ пошлой дѣйствительности. «Дорога эта (показыванье

красоты) привела бы васъ къ примиренію съ жизнью, дорога эта заставила бы васъ благословлять все въ природѣ». Но Гоголь самъ испыталъ, что поэзія не есть одно эпикурейское наслажденіе, что въ ней могутъ высказываться самая тяжелая скорбь и личная и общественная...

Онъ отвѣчаетъ потомъ на слова Бѣлинскаго о томъ, что нашему обществу нужна цивилизація. «Вы говорите, что спасеніе Россіи въ европейской цивилизаціи; но какое это безпредѣльное и безграничное слово! Хоть бы вы опредѣлили, что такое нужно разумѣть подъ именемъ европейской цивилизаціи! Тутъ и фаланстеры (?), и красные, и всякіе (?), и всѣ другъ друга готовы съѣсть, и всѣ носить такія разрушающія, такія уничтожающія начала, что трепещетъ въ Европѣ всякая мыслящая голова и спрашиваетъ невольно: гдѣ наша цивилизація? Пустой призракъ явился въ видѣ этой цивилизаціи»... На это можно было бы развѣ только подивиться, что Гоголь, проживши такъ долго въ Европѣ, ухитрился не увидѣть европейской цивилизаціи, и дожидался, «хоть бы ему опредѣлили ее». Ясно, что объ этихъ «фаланстерахъ», «красныхъ» и «всякихъ» онъ имѣлъ очень смутныя представленія, и что вообще его представленія объ европейской жизни были также смутны...

Гоголь справедливо возражалъ на рѣзкое черезъ мѣру заключеніе Бѣлинскаго о степени религіозности русскаго народа. Справедливо могъ онъ заявлять объ отсутствіи постороннихъ видовъ при изданіи его книги, объ одномъ желаніи опредѣлить свои собственные взгляды и узнать характеръ русскаго общества, хотя самъ онъ соглашается, что книга «была издана въ торопливой поспѣшности», что онъ «попалъ въ излишества». Но странно читать его упреки Бѣлинскому, что тотъ «получилъ легкое журнальное образованіе», что «не кончилъ даже университетскаго курса»,—потому что его собственное образованіе было конечно еще легче; или упреки, что нельзя судить о русскомъ народѣ тому, кто «прожилъ вѣкъ въ Петербургѣ»,—какъ будто судить о немъ слѣдовало тому, кто прожилъ вѣкъ въ Римѣ. На слова Бѣлинскаго о необходимости уничтоженія крѣпостного права, Гоголь говоритъ, будто мнѣнія Бѣлинскаго о помѣщикахъ отзываются временами Фонвизина: «съ тѣхъ поръ много, много измѣнилось въ Россіи, и теперь показалось многое другое». Очевидно, этотъ вопросъ не существовалъ для Гоголя.

«Многіе—продолжаетъ онъ—видя, что общество идетъ дурной дорогой, что порядокъ дѣлъ безпрестанно запутывается, думаютъ, что преобразованьями и реформами, обращеніемъ на такой

и на другой ладъ можно поправить міръ... Мечты!» Общество, продолжаетъ Гоголь, слагается изъ единицъ; пусть каждая единица исполняетъ свой долгъ, пусть вспомнить человѣкъ о своемъ *небесномъ гражданствѣ*, и покуда каждый не будетъ сколько-нибудь жить жизнью небеснаго гражданства, до тѣхъ поръ не исправится и земное гражданство. Если мы всѣ будемъ исполнять свои обязанности, все пойдетъ хорошо: «владѣльцы разъѣдутся по помѣстьямъ; чиновники увидятъ, что не нужно жить богато (!), перестанутъ брать взятки; а честолобецъ, увидя, что важныя мѣста не награждаютъ ни деньгами, ни богатымъ жалованьемъ...» (въ рукописи недостаетъ нѣсколькихъ словъ) вѣроятно сдѣлается образцомъ добродѣтели... Очевидно, между прочимъ, что по мнѣнію Гоголя, одно предположеніе, что «владѣльцы разъѣдутся по помѣстьямъ», совершенно разрѣшаетъ крестьянскій вопросъ.

Въ письмѣ, какъ мы сказали, видно раздраженіе противъ Бѣлинскаго и желаніе, въ защитѣ своихъ мнѣній, обвинить самого Бѣлинскаго въ нелѣпыхъ мнѣніяхъ и въ несправедливости къ Гоголю. Но по собственнымъ словамъ Гоголя, онъ самъ «напалъ и нападаетъ» на свою книгу, — странно было послѣ того удивляться, что на нее нападалъ Бѣлинскій. Партизаны Гоголя и въ то время (какъ напр. авторъ статьи «Спб. Вѣдомостей»), и впослѣдствіи винили его противниковъ за нетерпимость, за грубое обращеніе съ тѣмъ, что было, хотя и не вполне правымъ, но искреннимъ и глубокимъ убѣжденіемъ Гоголя, стоившимъ ему сильныхъ душевныхъ страданій. На всѣ эти обвиненія можно привести слова, сказанныя по другому поводу однимъ изъ друзей Бѣлинскаго. «Безпощадная потребность разбудить человѣка является только тогда, когда онъ облачаетъ свое безуміе въ полемическую форму, или когда близость съ нимъ такъ велика, что всякій диссонансъ раздражаетъ сердце и не даетъ покоя» ¹⁾. Таково именно было отношеніе Бѣлинскаго къ Гоголю въ этомъ случаѣ. Защитники Гоголя совсѣмъ забываютъ о характерѣ самой книги, вызывавшей нападенія. Высокомѣрный тонъ Гоголя придавалъ невыносимо рѣзкое удареніе его мнѣніямъ; его самодовольство надо было принимать за самодовольство цѣлой системы, и это именно вызывало столь же суровый отпоръ. Не надо далѣе забывать, что Гоголь во всеуслышаніе и съ этимъ высокомѣріемъ проповѣдывалъ и такія вещи, противъ которыхъ было немыслимо

¹⁾ Эти слова сказаны Герценомъ по поводу мистицизма И. В. Кирѣевскаго; первый говорить, что у него не доставало духу спорить противъ этого мистицизма, и затѣмъ дѣлаетъ приведенное замѣчаніе.

спорить въ литературѣ. Наконецъ, эти проповѣди исходили отъ писателя, сильно возбудившаго общественную мысль своими прежними произведеніями, и употреблявшаго при этомъ тотъ авторитетъ, какой доставили ему эти произведенія, имъ теперь отвергаемыя и осуждаемыя.

Изъ всего содержанія мнѣній Гоголя, высказанныхъ имъ и въ книгѣ и въ частной перепискѣ, очевидно, что это были мнѣнія, отличавшія систему официальной народности. Соединеніе такихъ мнѣній, въ одномъ лицѣ, съ высокимъ поэтическимъ талантомъ, создавшимъ нѣкогда «Мертвыя Души» и «Ревизора», производило и этотъ разрывъ Гоголя съ его школой и почитателями, и мучительную нравственную борьбу, совершавшуюся въ самомъ Гоголѣ. Чѣмъ же кончилась эта борьба?

Относительно принциповъ этотъ споръ давно рѣшился. Черезъ два-три года по смерти Гоголя, для общества наступилъ новый періодъ, когда несостоятельность системы, которую онъ защищалъ съ такимъ увлеченіемъ, бросалась въ глаза. Но въ ту пору личная борьба Гоголя осталась неконченною, неразрѣшенной.

Гоголь до самаго конца остался въ противорѣчій между своими теоретическими понятіями и внушеніями его поэтической природы. Всѣ послѣдніе годы жизни онъ работалъ надъ вторымъ томомъ «Мертвыхъ Душъ», но не удовлетворялся, и истреблялъ написанное. Изданные потомъ отрывки сохранились только случайнымъ образомъ. Передъ смертью онъ совершилъ еще одно сожженіе—послѣдній актъ его борьбы. Есть однако возможность угадывать отчасти, въ какомъ направленіи шли его мысли.

Во время изданія «Переписки» у его почитателей возникло опасеніе, почти увѣренность, что талантъ Гоголя погибъ невозвратно. Не только почитатели его въ смыслѣ Бѣлинскаго, но и кружокъ Аксаковыхъ ¹⁾ испугались за Гоголя. Эти сомнѣнія дошли до Гоголя, и въ его письмахъ, 1847 года, нѣсколько разъ повторяются увѣренія, что онъ не измѣнялъ своему прежнему направленію (онъ уже начиналъ понимать дѣйствительную странность своей книги и возможность опасеній). Въ январѣ 1847 г. онъ говоритъ С. Т. Аксакову, который былъ въ числѣ людей, очень смущенныхъ появленіемъ «Переписки», и не скрывалъ этого отъ Гоголя: «Въ письмѣ вашемъ замѣтно большое безпокойство

¹⁾ Изд. Кулиша, VI, 420 и др.

обо мнѣ... Вновь повторяю вамъ еще разъ, что вы въ заблужденіи, подозрѣвая во мнѣ какое-то новое направленіе. Отъ ранней юности у меня была *одна дорога*, по которой иду. Я былъ только скрытенъ, потому что былъ неглупъ, — вотъ и все». Какъ бы онъ ни объяснялъ теперь эту *одну* дорогу, это уже не было похоже на категорическое отреченіе отъ прежнихъ трудовъ въ «Перепискѣ». Относительно книги, Гоголь уже сознается въ излишней поспѣшности, но ссылается также и на «неблагодаримыя *подтѣлкиванья* со стороны друзей» — что, вѣроятно, совершенно справедливо.

Въ письмѣ къ Шевыреву, въ мартѣ 1847 года, онъ, между прочимъ, увѣряетъ его: «Покуда не заговоритъ общество о тѣхъ предметахъ, о которыхъ говорится въ моей книгѣ, мнѣ физическій невозможно двинуть свою работу». Такъ онъ объясняетъ книгу теперь, и въ это время ему, вѣроятно, въ самомъ дѣлѣ хотѣлось узнать состояніе общества, въ которое прежде онъ мало вникалъ и которое, во время жизни за границей, еще больше для него затемнялось. Гоголь не зналъ, что общество, т.-е. литература, уже высказывались объ этихъ предметахъ, сколько могли, и онъ могъ бы понять высказанное, еслибъ потрудился. Въ это же время пишетъ онъ другому корреспонденту: «... Такъ какъ вы питаете искренно доброе участіе ко мнѣ и къ сочиненіямъ моимъ, то считаю долгомъ извѣстить васъ, что я отнюдь *не перемѣняю направленія* моего. Трудъ у меня все одинъ и тотъ же, все тѣ же «Мертвыя Души», и одна изъ причинъ появленія нынѣшней моей книги была — *возбудить* ею тѣ *разговоры и толки* въ обществѣ, вслѣдствіе которыхъ непременно должны были высказаться многія мнѣ незнакомыя стороны современнаго русскаго человѣка»... Это — тѣ же слова, какъ въ предыдущемъ письмѣ. Гоголь, очевидно, придумываетъ *post facto* оправданіе для своей книги, забывая, что въ книгѣ онъ не вызывалъ толки и разговоры, а напротивъ, диктаторски рѣшалъ и проповѣдовалъ. Онъ косвенно сознавался, что слишкомъ поспѣшно произносилъ свои приговоры о «незнакомыхъ сторонахъ русскаго человѣка».

Въ апрѣлѣ 1847 года онъ пишетъ опять къ Шевыреву: «Слово о моемъ отреченіи отъ искусства. Я не могу понять, отчего поселилась эта *нелѣпная мысль* объ отреченіи моемъ отъ своего таланта и отъ искусства¹⁾, тогда какъ изъ моей же книги можно бы, кажется, увидѣть было... какія страданія я долженъ былъ

¹⁾ Гоголь, повидимому, въ самомъ дѣлѣ не понималъ того, что, однако, было слишкомъ ясно сказано въ «Перепискѣ».

выносить изъ любви къ искусству»... Онъ говоритъ, что стать только «строже» къ своему искусству. Это слово, конечно, слишкомъ неопредѣленно, и если «строгость» была причиной осужденія прежнихъ произведеній, то она именно и должна была поселить «нелѣпую мысль»; но дальнѣйшія, уже не преднамѣренныя слова письма убѣждаютъ, что Гоголь еще сохранялъ прежнія свойства своего взгляда. Объясняя, какъ выше, необходимость изданія своей книги, чтобы заставить русское общество высказаться, онъ говоритъ: «Одно средство—выпустить заносчивую, задирающую книгу, которая заставила бы встрепенуться всѣхъ. Повѣрь, что русскаго человѣка, покуда не разсердишь, не заставишь заговорить. Онъ все будетъ лежать на боку и требовать, чтобы авторъ попотчивалъ его чѣмъ-нибудь *примиряющимъ съ жизнью* (какъ говорится). Бездѣлица! какъ будто можно *выдумать* это примиряющее съ жизнью. Повѣрь, что какое ни выпусти художественное произведеніе, оно не возымѣетъ теперь вліянія, если нѣтъ въ немъ именно тѣхъ вопросовъ, около которыхъ вращается нынѣшнее общество»... Это было совершенно справедливо.

Въ это же время Гоголь пишетъ къ Щепкину съ обыкновенными назойливыми заботами о томъ, чтобы «Ревизоръ» исполнился какъ можно лучше, пишетъ подробныя наставленія и пр. ¹⁾.

Нѣсколько позднѣе, въ августѣ 1847 года, Гоголь пишетъ опять о своемъ направленіи и къ С. Т. Аксакову, съ которымъ онъ уже не могъ говорить, какъ съ другими, съ точки зрѣнія «Переписки». «Да,—говоритъ онъ,—книга моя нанесла мнѣ поражение: но на это была воля Божія... Я получилъ много писемъ очень значительныхъ, гораздо значительнѣе всѣхъ печатныхъ критикъ. Несмотря на все различіе взглядовъ, въ каждомъ изъ нихъ, также какъ и въ вашемъ, есть своя справедливая сторона... Къ чему вы также повторяете *нелѣпости*, которыя вывели изъ моей книги *недальнозоркіе*, что я отказываюсь въ ней отъ званія писателя, перемѣняю призваніе свое, направленіе и тому подобные пустяки? Книга моя есть законный и правильный ходъ моего образованія внутренняго... Опрометчивая, а по вашему *несчастная*, книга вышла въ свѣтъ. Она меня покрыла позоромъ, по словамъ вашимъ. Она мнѣ точно позоръ, но благодарю Бога за этотъ позоръ»: онъ не увидѣлъ бы безъ нея ни своего самоослѣпленія, не объяснилось бы многое, что ему нужно было знать для «Мертвыхъ Душъ»...

¹⁾ Изд. Кулиша, VI, стр. 324, 325, 353, 362, 375.

Перечитывая все это, нельзя не видѣть, что послѣдствія «Переписки» были неожиданны и тяжелы для Гоголя. Эта книга была для него пробнымъ камнемъ, и то, что пришлось ему услышать по ея поводу, произвело въ немъ сильное нравственное потрясеніе. Онъ продолжаетъ свою религіозную заботливость о «душевномъ дѣлѣ», но въ его мнѣніяхъ произошла несомнѣнно большая путаница. Съ первыхъ голосовъ, услышанныхъ имъ по поводу книги, онъ понялъ, что надѣлано много ошибокъ, что его высокоумѣрный тонъ не оправдывается ничѣмъ и становится просто неприличенъ и страненъ. Онъ съ первыхъ словъ отказывается отъ этого высокоумѣрія, даже въ выраженіяхъ, черезъ мѣру унижительныхъ, но старается спасти свои главные идеи и оправдать внутреннія побужденія. Самое рѣзкое изъ этихъ оправданій—то, которое предназначалось быть отвѣтомъ Бѣлинскому: очень вѣроятно, что письмо Бѣлинскаго подѣйствовало на него всего сильнѣе. Особенно тяжелы были ему опасенія, что онъ потерялъ для искусства; онъ нѣсколько разъ принимается увѣрять своихъ друзей, что это несправедливо. Эти увѣренія могли быть двусмысленны, когда онъ обращался къ Шевыреву и другимъ подобнымъ друзьямъ, восхищавшимся «Перепиской»; но когда онъ увѣрять въ этомъ С. Т. Аксакова, очевидно, онъ могъ говорить о своей вѣрности именно и только тому направленію, которое Аксаковъ одобрялъ. Съ первыхъ отзывовъ онъ понялъ, что общественный вопросъ рѣшается не такъ легко, какъ ему казалось, и онъ уже находитъ нужнымъ, чтобы «мастера ремесла» объясняли публикѣ «государственные» вопросы. Но эти письма 1847 года обнаруживаютъ нетвердость теоретическихъ представленій, о которыхъ пришлось теперь говорить Гоголю. Онъ столько услышалъ вещей, ему незнакомыхъ, что не могъ овладѣть ими, и колеблется между разными настроеніями и мыслями: то ему кажется, что онъ хотѣлъ и долженъ былъ внести «примиреніе»; то онъ самъ видитъ, что «примиряющаго» не выдумаешь, когда его нѣтъ въ жизни; то онъ обрушивается на своихъ обвинителей; то жалуется на подталкиванья друзей; то коритъ самого себя и защищается только тѣмъ (слишкомъ сильнымъ, но въ сущности неубѣдительнымъ) аргументомъ, что «всѣ люди могутъ ошибаться»; то, наконецъ, падаетъ духомъ и въ безвыходномъ состояніи своей мысли пишетъ только: «душа моя изнемогла; все во мнѣ потрясено!»

Гоголь былъ дѣйствительно въ безпомощномъ состояніи. Въ немъ боролись два теченія самой жизни, два общественныя направленія: одному онъ принадлежалъ всѣми побужденіями своего

таланта; къ другому влекли его теоретическія соображенія, какимъ онъ могъ научиться въ своемъ кругу, къ которымъ вель его возраставшій мистицизмъ, а также вѣроятно и личные расчеты. Онъ самъ безъ сомнѣнія былъ серьезнѣе всѣхъ своихъ друзей пушкинскаго круга, и какъ бы ни мало возбуждали сочувствія тѣ мысли, къ какимъ онъ приходилъ въ это время, онъ безъ сомнѣнія выдерживалъ изъ-за нихъ тяжелую внутреннюю борьбу. Никому изъ его друзей не приходилось переживать страшныхъ недоумѣній, какія заставляли его истреблять свой многолѣтній трудъ; не разумѣя истинныхъ основъ его таланта, они только «подталкивали» его въ томъ направленіи, въ которомъ онъ пришелъ къ своей, по истинѣ «несчастной» книгѣ.

«Переписка» наглядно разъясняетъ ту странную область, въ которой блуждали мысли Гоголя въ послѣднемъ періодѣ его жизни. Трудно опредѣлять годами, когда въ немъ является та или другая мысль. Мы уже замѣчали, что, собственно говоря, его послѣднее направленіе весьма естественно вытекало изъ его прежняго содержанія, что зерно его странныхъ заблужденій лежало въ его давнишнихъ понятіяхъ; его ошибка была въ томъ, что онъ не переработалъ ихъ тѣми средствами, которыя были для него возможны—болѣе серьезнымъ образованіемъ и болѣе близкимъ изученіемъ нараставшихъ нравственныхъ потребностей общества. Увлеченный успѣхомъ, избалованный и приводимый въ заблужденіе друзьями, онъ вообразилъ, что можетъ рѣшать вопросы,—которые вовсе ему не были по силамъ, и бросается въ дешевый дидактизмъ; друзья—«подталкивали».

Въ сороковыхъ годахъ въ немъ больше и больше развивается мистицизмъ. Это была старая черта его мыслей и характера, и мы видѣли, что она довольно ясно высказывается еще въ письмахъ 1836 года. До изданія перваго тома «Мертвыхъ Душъ» мистицизмъ уже развился въ Гоголѣ самымъ очевиднымъ образомъ. Онъ видитъ въ своей личной судьбѣ непосредственную волю и вмѣшательство Провидѣнія; вслѣдствіе того, приписываетъ себѣ сверхъестественныя силы; вслѣдствіе того видитъ въ своемъ трудѣ настоящее откровеніе ¹⁾. Мистицизмъ не былъ, такимъ образомъ,

¹⁾ Вотъ нѣсколько образчиковъ этого мистицизма и мнѣній Гоголя о продолженіи „Мертвыхъ Душъ“, до изданія перваго тома и послѣ.

1840, декабрь, въ письмѣ С. Т. Аксакову: „Много чуднаго совершилось въ моихъ мысляхъ и жизни... Дальнѣйшее продолженіе (М. Душъ) выясняется въ головѣ моей чище, величественнѣе, и теперь я вижу, что, можетъ быть, со временемъ выйдетъ кое-что колоссальное“ (Кул. V, 426).

причиной перемѣны Гоголемъ своего направленія, какъ иногда думали; мистицизмъ дѣйствовалъ на общественныя мнѣнія Гоголя только косвеннымъ, второстепеннымъ образомъ. Онъ сообщилъ Гоголю то высокоумѣнное представленіе о себѣ, какъ избранномъ орудіи Провидѣнія, — которое придало его мнѣніямъ такую вопіющую рѣзкость и нетерпимость; кромѣ того, ставя на первомъ планѣ «небесное гражданство», мистицизмъ дѣлалъ Гоголя еще менѣе понятливымъ къ настоящему, земному гражданству, и слѣ-

1841, мартъ, къ нему же: „Да, другъ мой, я глубоко счастливъ. Несмотря на мое болѣзненное состояніе... я слышу и знаю дивныя минуты. Созданіе *чудное* творится и совершается въ душѣ моей... Здѣсь явно видна мнѣ святая воля Бога: подобное внушеніе не происходитъ отъ человѣка; никогда *не выдумать ему такого сюжета* (!)“, и пр. (Кул., V, 436).

1841, августъ, къ А. С. Данилевскому: „...О, вѣрь словамъ моимъ! *Властью высшею* облечено отнынѣ мое слово. *Все* можетъ разочаровать, обмануть, измѣнить тебѣ, но не измѣнить мое слово“. (Кул., V, 447).

1842, февраль, къ Н. М. Языкову: „...Чувствую съ каждымъ днемъ и часомъ, что нѣтъ выше удѣла на свѣтѣ, какъ званіе монаха... Здоровье мое сдѣлалось значительно хуже“. (Кул., V, 459).

1842, апрѣль, къ Н. Д. Бѣлозерскому: „...Я теперь больше гожусь для монастыря, чѣмъ для жизни свѣтской“. (Кул. V, 468).

1843, ноябрь, въ письмѣ къ Языкову, уже полное господство мистицизма. Гоголь даетъ ему наставленіе о молитвѣ, которой подчиняется все поэтическое творчество. Это цѣлый длинный трактатъ: „...Вотъ какія произойдутъ чудеса. Въ первый день еще ни ядра мысли нѣтъ въ головѣ твоей (!); ты просишь просто о вдохновеніи. На другой или на третій день ты будешь говорить не просто: „Дай произвести мнѣ“, но уже: „Дай произвести мнѣ въ такомъ-то духѣ“. Потомъ, на четвертый или пятый: „съ такою-то силой“. Потомъ окажутся въ душѣ вопросы: какое впечатлѣніе могутъ произвести задумываемыя творенія и къ чему могутъ послужить? И за вопросами въ ту же минуту (!) послѣдуютъ отвѣты, которые будутъ *прямо отъ Бога* (!)“, и проч. (Кул. VI, 32).

1844, февраль, къ Шевыреву, о мистическомъ искусствѣ „уходить въ себя“, — которому Гоголь уже научился (Кул. VI, 44), и т. д.

1844, декабрь, къ г-жѣ Смирновой, о своихъ прежнихъ сочиненіяхъ: „они всѣ писаны давно, во времена глупой молодости“ и пр. (Кул. VI, 147. Записки о жизни Гоголя, II, 43).

1845, іюль, къ ней же: „Я не люблю моихъ сочиненій, доселѣ бывшихъ и напечатанныхъ, особенно Мертв. Душъ... Вовсе не губернія и не нѣсколько уродливыхъ помѣщиковъ, и не то, что имъ приписываютъ, есть предметъ М. Душъ. Это покажется еще *тайна*, которая должна была вдругъ, *къ изумленію всѣхъ*, раскрыться въ послѣдующихъ томахъ“, и пр. (Кул. VI, 204).

1846, май, къ Языкову, по поводу нѣмецкаго перевода Мертв. Душъ: „Дай только Богъ силы отработать и выпустить второй томъ. Узнатьъ они (нѣмцы) тогда, что у насъ есть много того, о чемъ они никогда не догадывались и чего мы сами не хотимъ знать“. (Кул. VI, 249).

довательно тѣмъ болѣе воспріимчивымъ ко всякимъ консервативнымъ толкамъ.

Рядомъ съ мистицизмомъ, но независимо отъ него является у Гоголя другой рядъ мыслей, который главнымъ образомъ и привелъ странныя мнѣнія, принятые за «переломъ», за перемѣну направленія. Увлеченный успѣхомъ «Мертвыхъ Душъ», Гоголь сталъ думать, что ему необходимо выяснитъ свои нравственныя и общественныя основанія. Онъ увидѣлъ себя во главѣ литературы: за исключеніемъ немногихъ старыхъ враговъ, литературныя партіи соединялись въ общемъ удивленіи предъ его произведеніями, и онъ сталъ думать, что ему слѣдуетъ достойнымъ образомъ поддержать это положеніе. «Мертвыя Души» стали представляться ему въ перспективѣ, какъ цѣлый кодексъ морали, который онъ дастъ отъ себя обществу въ поученіе и руководство. Въ началѣ, это могло быть и вѣроятно было совершенно наивное и добросовѣстное желаніе,—въ которомъ Гоголь забылъ только одно: необходимость свободы для его таланта, невозможность для него никакихъ постороннихъ вмѣшательствъ, соображеній и стѣсненій. Мистическое настроеніе укрѣпило его въ убѣжденіи, что онъ—призванный учитель общества. Впослѣдствіи, эти постороннія соображенія—дидактическая цѣль, поставленная имъ для своего труда—и извратили все его дѣло. Вмѣсто чисто-поэтическаго труда, у него началась работа теоретическая, которая была ему совершенно непосильна. Эта работа направилась на двоякаго рода предметы: на общія разсужденія о человѣческой природѣ, и на особенныя свойства и потребности русскаго общества.

Его моральный кодексъ долженъ былъ обнять всѣ стороны русскаго человѣка, и хорошія и дурныя (пріятели уже замѣчали ему, что онъ слишкомъ исключительно говорить о послѣднихъ); Гоголь рѣшилъ, что ему нужно опредѣлить высокое и низкое въ нашей природѣ, наши недостатки и достоинства; а чтобы опредѣлить природу русскаго человѣка, слѣдуетъ узнать природу и душу человѣка вообще.

«Съ этихъ поръ,—говоритъ онъ,—человѣкъ и душа человѣка сдѣлались больше, чѣмъ когда-либо, предметомъ моихъ наблюденій. Я оставилъ на время все современное; я обратилъ вниманіе на узнаванье тѣхъ *вѣчныхъ законовъ*, которыми движется человѣкъ и человѣчество вообще. Книги законодателей, душевѣдцевъ и наблюдателей за природой человѣка стали моимъ чтеніемъ. *Все (?)*, гдѣ только выражалось познанье людей и души человѣка, отъ исповѣди свѣтскаго человѣка до исповѣди анахорета и пустытника, меня занимало, и на этой дорогѣ, нечувствительно, почти

самъ не вѣдая какъ, я пришелъ ко Христу, увидѣвши, что въ немъ ключъ къ душѣ человѣка... *Повѣркой разума* повѣрилъ я то, что другіе понимаютъ ясной вѣрой и чему я вѣрилъ дотолѣ какъ-то темно и неясно», и пр.¹⁾ Мы скажемъ дальше, насколько удовлетворительна могла быть «повѣрка разума»; довольно замѣтить теперь, что путемъ этой повѣрки, путемъ теоретическихъ разсужденій, Гоголь съ другой стороны подходилъ къ тому же мистицизму.

Второй предметъ, занявшій Гоголя, было собственно русское общество, его особенности, его настоящее и его потребности. Отношеніе Гоголя къ этому вопросу усложнялось различными обстоятельствами. Прежде мы упоминали, что Гоголь искони, съ семьи и лица, воспитался въ наивномъ патріархальномъ консерватизмѣ, который потомъ еще усилился авторитетомъ его друзей въ пушкинскомъ кружкѣ: его общественная философія составила уже въ эту пору. Его произведенія были по своей сущности, если не прямымъ протестомъ противъ господствовавшей рутины понятій, то сильнымъ возбужденіемъ общественной мысли противъ этой рутины; но этого не сознавали ясно ни Гоголь, ни сами его друзья. Только послѣ они увидѣли, что дѣйствіе произведеній Гоголя на публику выходитъ не совсѣмъ то, какого они ожидали; оно переходило мѣрку, которая имѣлась у нихъ для «изящной словесности». Самъ Гоголь, по всей вѣроятности, долженъ былъ чувствовать извѣстное внутреннее удовлетвореніе отъ обширнаго вліянія своихъ произведеній (выше упомянуто объ его секретныхъ свиданіяхъ съ Бѣлинскимъ), но едва ли могъ относиться искренно къ своимъ почитателямъ изъ новой литературной школы, и потомъ больше и больше долженъ былъ вторить своимъ ближайшимъ друзьямъ. Для этихъ друзей имя Бѣлинскаго было цѣлью самой искренней и самой полной ненависти; они должны были внушать свои взгляды и Гоголю и возстановлять его противъ его почитателей новаго направленія:— по крайней мѣрѣ Гоголь ясно говорить о «подталкиваньяхъ» друзей при изданіи имъ «Выбранныхъ Мѣстъ». Гоголю указывали, что его сочиненіямъ дается превратный смыслъ, что эти сочиненія, къ сожалѣнію, слишкомъ останавливаются на темныхъ, отрицательныхъ сторонахъ русскаго общества, что и давало поводъ къ превратнымъ истолкованіямъ, и онъ еще разъ убѣждался, что ему не должно ограничиваться темными сторонами, а слѣ-

¹⁾ Изд. Кулиша, III, 505 («Авторская Исповѣдь»). Записки о жизни Гоголя, II, 168, принимаютъ эту «повѣрку разума» буквально...

дуетъ также изобразить лучшія, высшія свойства и достоинства русскаго человѣка...

Наконецъ, присоединяются щекотливыя отношенія къ властямъ. Выше упомянуто, какъ онъ съ самаго начала связалъ тѣсныя отношенія съ людьми извѣстнаго круга и полу-оффиціальнаго значенія; какъ онъ, ради своей литературной «службы», считалъ себя въ правѣ на прямыя пособія со стороны властей, и черезъ друзей своихъ добивался этихъ пособій довольно назойливо. Теперь понятіе о литературной «службѣ» развилось вполне. Онъ «почувствовалъ, что на поприщѣ писателя можетъ также сослужить службу государственную»; обдумывая свое сочиненіе, чувствовалъ, что оно «можетъ дѣйствительно принести пользу», и чѣмъ дальше, тѣмъ больше видѣлъ, что ему «не *случайно* слѣдуетъ взять характеры, какіе попадутся», но должно выставить кромѣ низкихъ, и высшія свойства русской природы. «Съ тѣхъ поръ, какъ мы начали говорить, что я *ѣмъ*юсь не только надъ недостаткомъ, но даже цѣликомъ и надъ самымъ человѣкомъ, въ которомъ заключенъ недостатокъ, и не только надъ всѣмъ человѣкомъ, но и надъ мѣстомъ, надъ самою должностію, которую онъ занимаетъ (*чего никогда я даже не имѣлъ и въ мысляхъ*), я увидалъ, что *нужно съ смѣхомъ быть очень осторожнымъ*» и пр. ¹⁾. Въ самомъ дѣлѣ, литературный чиновникъ, литературное «значительное лицо», какимъ Гоголю должно было считать себя съ этой точки зрѣнія, не могло уже предаваться смѣху, которому бы вторила легкомысленная толпа, не знающая высшихъ соображеній: Гоголь думалъ разсмѣять и раздавать, по заслугамъ, свой смѣхъ и свои одобренія, какъ наказаніе и награду — съ точки зрѣнія государственной пользы. Это было конечно заблужденіе, но оно было еще тѣмъ прискорбнѣе, что Гоголь безъ сомнѣнія руководился при этомъ и своими личными отношеніями къ властямъ. Онъ не былъ въ этихъ отношеніяхъ наивенъ ²⁾, и мы видѣли выше, какъ въ одной просьбѣ о деньгахъ онъ рекомендуетъ указать начальству именно *тѣ*, а не *другія* изъ своихъ сочиненій, слѣдовательно очень соображалъ, что *другія* могутъ быть начальству не совсѣмъ симпатичны. Заявляя свои *права* на пособія и милости, онъ понималъ, что на него за то ложатся извѣстныя *обязанности*, что онъ долженъ отплатить именно начальству за эти милости. И онъ принялся отплачивать ³⁾: отсюда — осторож-

1) „Авторская Исповѣдь“, Кул. т. III, 503 — 504.

2) Повторимъ опять ссылку на характеристику, сдѣланную г. Анненковымъ.

3) Въ 1842, онъ пишетъ кн. Дондукову-Корсакову, что „ни въ какомъ случаѣ не

ное обращеніе со смѣхомъ, отсюда—изображеніе высшихъ, лучшихъ свойствъ русской природы, отсюда — тѣ идеально-добродѣтельные, образцовыя лица, которыми онъ сталъ населять продолженіе «Мертвыхъ Душъ».

Въ такихъ направленіяхъ шли мысли Гоголя въ его послѣднемъ періодѣ. Этотъ періодъ начался гораздо раньше изданія перваго тома «Мертвыхъ Душъ», но на первомъ томѣ еще не успѣло отразиться вліяніе этихъ мыслей, — онѣ еще не успѣли до такой степени овладѣть имъ, и присутствіе этихъ мыслей можно замѣтить развѣ только въ такъ-называемыхъ «лирическихъ мѣстахъ». На второмъ томѣ ихъ вліяніе было очевидно...

Извѣстно, какимъ результатомъ оно отразилось на продолженіи «Мертвыхъ Душъ». Почитатели Гоголя не даромъ опасались гибели таланта. Постороннія соображенія совершенно спутали работу Гоголя, и тамъ, гдѣ выступала его тенденція, поэзія удалялась...

Художественный писатель можетъ конечно вводить этотъ теоретическій элементъ въ свою работу, можетъ сообщать ей обдуманную сознательную тенденцію, — но при этомъ необходимо, чтобы самая тенденція была его полнымъ искреннимъ убѣжденіемъ, чтобы она была вѣрна лучшимъ интересамъ жизни. Въ какомъ положеніи былъ Гоголь въ этомъ случаѣ; чѣмъ оправдывалась его тенденція; какія средства имѣлъ онъ, чтобы вѣрно понять положеніе общества и лучшіе интересы его, которымъ должно служить искусство?

Мы замѣтили, что теоретическая работа, имъ предпринятая, была ему непосильна. Въ самомъ дѣлѣ, предположивъ, что онъ не вмѣшивалъ сюда никакого грубаго матеріальнаго разсчета, — онъ былъ очень мало, даже вовсе не приготовленъ къ правиль-

позволилъ бы себѣ написать ничего противнаго правительству, уже и такъ меня глубоко облагодѣтельствовавшему“.

Въ 1845, въ письмѣ къ гр. Уварову, онъ выражаетъ сожалѣніе, что хотя въ основаніи его труда легла добрая мысль, но она выражена не зрѣло и не такъ бы сладовало: „не даромъ большинство приписываетъ ему скорѣе дурной смыслъ, чѣмъ хорошій“; онъ собоѣзнуетъ, что „въ неоплатномъ долгу“ — у правительства; надѣется на будущій трудъ, предметъ котораго „не чуждъ былъ и вашихъ собственныхъ (гр. Уварова) помысловъ“, утѣшается мыслью, что современемъ, когда трудъ будетъ конченъ, власть скажетъ о немъ: „этотъ человѣкъ умѣлъ быть благодарнымъ и зналъ, чѣмъ высказать мнѣ свою признательность“.

Въ 1846, въ письмѣ къ г-жѣ Смирновой объясняетъ, почему не представлялся государю, который былъ тогда въ Римѣ: „Государь долженъ увидѣть меня тогда, когда я на своемъ скромномъ поприщѣ сослужу ему такую службу, какую совершаютъ другіе на государственныхъ поприщахъ“ (Кул. V, 461, VI, 173, 233).

ному рѣшенію вопросовъ, въ зависимость отъ которыхъ онъ самъ поставилъ теперь свою работу. Онъ корилъ Бѣлинскаго недостаточностью образованія, но его собственное было еще недостаточнѣе. «Я началъ поздно свое воспитаніе, — говоритъ самъ Гоголь, — въ такіе годы, когда другой человѣкъ уже думаетъ, что онъ воспитанъ», и дѣйствительно, у него было запасено слишкомъ немного матеріала для правильныхъ сужденій объ общественной жизни, которую онъ хотѣлъ разъяснить соотечественникамъ; «силъ много, но умѣнья править этими силами мало» ¹⁾. Въ «Авторской Исповѣди» онъ говоритъ: «...Надобно сказать, что я подучилъ въ школѣ воспитаніе довольно плохое, а потому и не мудрено, что мысль объ ученіи пришла ко мнѣ въ зрѣломъ возрастѣ. Я началъ съ такихъ первоначальныхъ книгъ, что стыдился даже показывать и скрывалъ всѣ свои занятія» ²⁾. И справедливость этого признанія вполне подтверждается указаніями его біографіи и сочиненій. Правда, онъ говоритъ (и его біографъ довѣрчиво повторяетъ его слова), что онъ изучалъ книги законодателей и душевѣдцевъ, но чтеніе подобныхъ книгъ безъ опредѣленной, т.-е. научной методы можетъ вести къ самымъ грубымъ заблужденіямъ, — а существованіе методы у Гоголя болѣе чѣмъ сомнительно, когда онъ читалъ законодателей и душевѣдцевъ рядомъ съ «первоначальными книгами». Въ сочиненіяхъ его вовсе не замѣтно результатовъ этого чтенія, и вся его философія ограничилась самымъ обыкновеннымъ пѣтистическимъ консерватизмомъ, въ родѣ философіи Шевырева... Долгая жизнь въ Европѣ повидимому нисколько не познакомила его съ дѣйствительнымъ состояніемъ европейской образованности ³⁾, и напр. пониманіе итальянской жизни, въ которой ему нравилась живописная сторона консервативно-неподвижнаго быта, можетъ служить образчикомъ его взглядовъ — тамъ, гдѣ онъ еще пріобрѣлъ какое-нибудь знакомство съ жизнью. Другія страны были ему знакомы не болѣе, чѣмъ обыкновенному туристу; онъ по слухамъ, отъ своихъ же пріятелей, имѣлъ нѣкоторые представленія о томъ, что тамъ творится, и эти представленія были крайне неясны; къ Германіи онъ питалъ чуть не ненависть ⁴⁾: не любя Германіи, онъ и не зналъ ея. Языками онъ владѣлъ и, вѣроятно, пользовался мало;

¹⁾ Въ письмѣ 1847, изд. Кул. VI, 392, 393.

²⁾ Изд. Кулиша, III, 505. Ср. письмо къ Шевыреву, 1844, тамъ же VI, 121; и Записки о жизни Гоголя I, 23 — 24.

³⁾ Ср. воспоминанія г. Анненкова, г. Арнольди и др.

⁴⁾ См. напр. его отзывы еще въ болѣе свѣтлую пору, 1839—40 г., у Кул. V, 374, 403; и отъ 1844 г., VI, 136.

по-нѣмецки едва ли могъ читать. Европейская литература вѣроятно также мало ему была любопытна и извѣстна, какъ европейская жизнь; въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, гдѣ онъ упоминаетъ о ней, видны только произвольныя ходячія фразы, не совсѣмъ правильно приложенныя ¹⁾. Наконецъ, люди, расположенные судить о Гоголѣ благопріятно, утверждаютъ, что онъ, имѣя «претензію знать все лучше другихъ», собственно говоря имѣлъ очень неясныя представленія о самой русской жизни. «Онъ не зналъ нашего гражданскаго устройства, нашего судопроизводства, нашихъ чиновническихъ отношеній, даже нашего купеческаго быта»; «онъ не обращалъ вниманія на внѣшнее устройство Россіи, на всѣ малыя пружины, которыми двигается машина»; «Гоголь не желалъ научиться чему-нибудь отъ другихъ и не любилъ никакихъ противорѣчій—такъ поступалъ онъ въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣло касалось важныхъ, самыхъ важныхъ вопросовъ въ наукѣ, въ искусствѣ, или даже какомъ-нибудь новомъ изобрѣтеніи ума человѣческаго» и проч. ²⁾. По словамъ того же автора, Гоголь въ этихъ предметахъ былъ чистый самоучка, и какъ обыкновенно бываетъ, самоучка, не знавшій дѣла какъ слѣдуетъ, но самолюбивый и упрямый: онъ или отыскивалъ вещи давно извѣстныя, или впадалъ въ чистыя фантазіи и грубыя ошибки. Такъ, не говоря о множествѣ странныхъ притязаній и практическихъ совѣтовъ, какими преисполнена «Переписка», онъ даже въ предметахъ литературныхъ терялъ подъ ногами всякую почву. Довольно было бы указать въ «Выбранныхъ Мѣстахъ» пророчества объ «Одиссеѣ», которой онъ предвѣщалъ роль какого-то откровенія не только для общества, но даже для «народа» (!: такъ спутывались у него самыя простыя понятія о литературѣ,—если не было здѣсь слишкомъ грубой лести Жуковскому. Такъ онъ рѣшаетъ споры между европейцами и славянофилами, предпочитая тѣмъ и другимъ Шевырева, и пожалуй Вигеля ³⁾; такъ онъ находитъ, что у насъ совершенно возможна полная свобода мысли ⁴⁾, и т. д.

Всѣ эти и подобные недостатки въ теоретическомъ образованіи могли не вредить и не вредили Гоголю, пока онъ слѣдовалъ

¹⁾ Напр. когда онъ говоритъ въ „Перепискѣ“, будто къ такимъ писателямъ, какъ Гёте, Шиллеръ, Бомарше, Лессингъ,—„даже не перешли и отголоски того, что бурлило и кипѣло у тогдашнихъ писателей-фанатиковъ (?), занимавшихся вопросами политическими“ и проч. Кул. III, 381.

²⁾ Воспоминанія Л. Арнольди, стр. 69—71.

³⁾ См. «Выбранныя Мѣста», и также изд. Кулиша VI, 267, 408—409.

⁴⁾ Въ письмѣ къ Лыкову, Кул. VI, 449.

непосредственнымъ влеченіямъ своего таланта, но когда онъ поставилъ на первомъ планѣ именно свои теоретическія разсужденія, его паденіе было неминуемо. Онъ самъ, напротивъ, думалъ, что великое созданіе еще впереди, и что оно изумитъ всѣхъ своими неожиданными красотою и открытіями. Онъ такъ былъ убѣжденъ въ этомъ, что поторопился издать «Выбранныя Мѣста», какъ образчикъ тѣхъ откровеній, которыя предстояли читателю во второмъ томѣ. Самый фактъ изданія «Выбранныхъ Мѣстъ» съ этими ожиданіями достаточно показываетъ, какъ мало зналъ Гоголь состояніе русскаго общества. Никто изъ его друзей не подумалъ, въ теченіе долгой переписки до этого, сдѣлать Гоголю никакого указанія; даже Аксаковы поддались впечатлѣнію отъ его мистически-диктаторскихъ писемъ.

Пріемъ «Переписки» въ литературѣ сильно озадачилъ и поразилъ Гоголя. Тутъ только сталъ онъ подозрѣвать громадность своей ошибки,—но передѣлывать себя было уже трудно...

Къ сожалѣнію, до сихъ поръ еще слишкомъ мало матеріала, по которому можно было бы опредѣлить дальнѣйшій ходъ мыслей Гоголя. Повидимому, онъ убѣдился прежде всего, что изъ «прекраснаго далека» не совсѣмъ удобно изучать общество и надѣлать его своими поученіями; съ возвращенія изъ Іерусалима, онъ уже не покидалъ Россіи, и ревностно работалъ надъ «Мертвыми Душами». Исторія ихъ до сихъ поръ еще темна. Извѣстные теперь тексты представляютъ предварительную, еще не законченную работу, притомъ со многими пропусками противъ того, что онъ читалъ своимъ друзьямъ около 1849 года. Друзья, слышавшіе тогда его чтеніе ¹⁾, были отъ него въ восторгѣ, который конечно еще мало ручается за дѣйствительное достоинство произведенія Гоголя; эти друзья,—за исключеніемъ Аксаковыхъ,—восторгались и «Перепиской». Но если мы не знаемъ послѣдняго текста второго тома, то мы имѣемъ три предварительныхъ текста; они дають нѣкоторую возможность судить объ общемъ характерѣ работы Гоголя, которая, повидимому, и до конца сохраняла много общаго съ этими предварительными текстами.

Второй томъ «Мертвыхъ Душъ», за нѣкоторыми различіями подробностей въ разныхъ текстахъ, представляетъ именно отраженіе тѣхъ мыслей, какія занимали Гоголя въ послѣднемъ періодѣ его жизни, и которыя мы старались прослѣдить. Въ немъ остался слѣдъ обѣихъ сторонъ его внутренней жизни,—и свобод-

¹⁾ Они названы въ Зап. о жизни Гоголя, II, стр. 226—230, 249.

ные порывы таланта, и вялые попытки провести придуманную тенденцію. Разсказъ явно ведется съ цѣлью убѣдить читателя въ той морали, которую излагала «Переписка». Главная тема — «прочное дѣло жизни». Надо бросить всякія теоріи, особенно вольнодумныя; пусть всякій довольствуется своимъ положеніемъ, исполняетъ свои обязанности,—тогда достигнется частное и общее благосостояніе. Не нужно слишкомъ заботиться о школѣ, она мало помогаетъ, даже сбиваетъ съ толку: человѣкъ, учившійся «на мѣдные гроши», но составившій себѣ большое состояніе своего рода кулачествомъ, добываніемъ денегъ даже изъ всякой дряни—кажется Гоголю однимъ изъ достойнѣйшихъ типовъ русскаго общества. Не нужно никакихъ преобразованій—все и безъ того хорошо; надо только, чтобы исполнялись законы, чтобы каждый жилъ по-христіански, избѣгалъ губительной роскоши и т. п. Въ числѣ новыхъ лицъ, выведенныхъ во второмъ томѣ, являются, и должны были занять большую роль, между прочимъ, такія лица, которыя должны были представлять «лучшія свойства русскаго человѣка» и служить идеалами. Это—добродѣтельный откупщикъ и миллионеръ Муразовъ, добродѣтельный генераль-губернаторъ, трудолюбивый Костанжогло. Муразовъ—милліонеръ и вмѣстѣ христіанскій подвижникъ, добродѣтельно добывшій милліоны на откупахъ; генераль-губернаторъ, говорящій своимъ подчиненнымъ буквально такія нравственно-мистическія и длинныя рѣчи, какими преисполнена «Переписка»; «дивное созданіе Улинька»; съ другой стороны наказаніе порока, въ лицѣ Чичикова, козни чиновниковъ, обращеніе «вѣрующаго» кутилы на подвигъ добра, съ помощью благодѣтельнаго откупщика, — все это такія безжизненные, натянутыя фигуры, все это такъ фальшиво, что бросается въ глаза явное и жалкое паденіе таланта, загнаннаго на совершенно ему несвойственную дорогу — точно, вмѣсто Гоголя, читаешь «нравственно-сатирическій романъ» тридцатыхъ годовъ...

Въ самомъ дѣлѣ, философія Гоголя не шла дальше этого. Въ отдѣльных мѣстахъ, гдѣ Гоголь оставался самимъ собой, у него и здѣсь являются черты, достойныя прежняго времени; но въ цѣломъ, второй томъ «Мертвыхъ Душъ» представлялъ что-то тяжелое, натянутое, фальшивое и скучное.—И это была «тайна», съ которой онъ носился передъ своими друзьями,—«чудное созданіе», «нѣчто колоссальное», «сокровище»,—которымъ онъ надѣялся поразить русское общество и сослужить государственную службу! Это былъ пресловутый «переломъ», отъ котораго пришли въ восторгъ его петербургскіе друзья, обрадовавшись, что

Гоголь наконецъ торжественно «отрекался» отъ своихъ почитателей ¹⁾.

Первая редакція второго тома по всѣмъ вѣроятіямъ современна «Перепискѣ» — совершенно та же тенденція, много сходства даже въ отдѣльныхъ выраженіяхъ; это — тенденція, которую сталъ выработывать себѣ Гоголь въ «прекрасномъ далекомъ», на основаніяхъ, вынесенныхъ изъ понятій его друзей пушкинскаго круга, ими поощренныхъ и поддержанныхъ ²⁾.

Вторая редакція составлялась повидимому довольно долго, и позднѣе «Переписки». Нѣкоторыя подробности несомнѣнно принадлежать тому времени, когда Гоголь велъ переписку съ Бѣлинскимъ. Одинъ критикъ ³⁾ вѣрно замѣтилъ, что передѣлывая одно мѣсто въ 1-й главѣ 2-го тома, Гоголь очевидно имѣлъ въ виду Бѣлинскаго. Именно, въ описаніи сосѣдей Тентетникова, ему надоѣдавшихъ, вмѣсто «брандера-полковника, мастера и охотника на разговоры обо всемъ», во второй редакціи является «рѣзкаго направленія недоучившійся студентъ, набравшійся мудрости изъ современныхъ брошюръ и газетъ», и этому студенту приписывается уже не «живое и ловкое», а «европейски открытое» обращеніе. Далѣе, «начитавшійся всякихъ брошюръ, недокончившій учебнаго курса эстетикъ» упоминается въ числѣ членовъ противузаконнаго общества, — черты, которыя упомянутый критикъ справедливо считалъ направленными противъ Бѣлинскаго. Въ доказательство можно было бы еще прибавить, что подобными чертами Гоголь хотѣлъ уколоть Бѣлинскаго еще тогда, когда писалъ свой длинный обличительный отвѣтъ ему, оставшійся непосланнымъ ⁴⁾.

Кажется, полный «переломъ». Но петербургскіе пріатели Гоголя жестоко ошиблись, предполагая, что Гоголь можетъ сдѣлать въ этомъ направленіи что-нибудь, достойное прежней славы его таланта. Фальшивая тенденція, подложенная въ эту работу, давала только жалкіе результаты. Но, повидимому, эти пріатели

¹⁾ Ср. въ «Запискахъ о жизни Гоголя» I, 337, гдѣ исторія мнѣній Гоголя объясняется какъ «исновидѣніе земной жизни» и «тоска по иной лучшей жизни»...

²⁾ Идеаль Костанжолло былъ издавна въ мысляхъ Гоголя; пусть сравнитъ читатель разсужденія Гоголя (во 2-мъ томѣ «Мертвыхъ Душъ») о помѣщицѣмъ хозяйствѣ, напр. съ его разсужденіями въ письмѣ къ его пріателю А. С. Данилевскому, въ августѣ 1841. (Кул. V, 446—447. Это точно отрывокъ изъ 2-го тома).

³⁾ Г. Чижевъ, въ «Вѣстникѣ Европы» 1872, іюль, стр. 432—439.

⁴⁾ Ср. «нынѣшнія легкія брошюрки (?)», написанныя Богъ вѣсть кѣмъ», или «современныя брошюры, писанныя разгоряченнымъ умомъ, совращающимъ съ прямого взгляда», и т. п. Кулиша VI, 384, 386. По всей вѣроятности, Гоголь имѣлъ весьма слабое представленіе о томъ, что могли говорить эти «брошюры».

ошиблись и въ прочности «перелома». Правда, Гоголь вѣроятно до послѣдняго времени сохранилъ вражду къ новому образу мыслей ¹⁾, но онъ начиналъ сознавать и свои ошибки. Сначала, опытъ съ «Выбранными Мѣстами», потомъ пребываніе въ Россіи показывали ему, что онъ слишкомъ поторопился съ своими рецептами для русскаго общества. Друзья продолжали передъ нимъ преклоняться ²⁾ и только помогали его самолюбію; но при всемъ упрямствѣ въ своихъ фантастическихъ идеяхъ, онъ уступалъ времени, и тонъ его писемъ значительно измѣняется.

Къ сожалѣнію, мы имѣемъ очень мало свѣдѣній о направленіи мнѣній Гоголя за это время, и о послѣдней переработкѣ 2-го тома. Его ближайшіе друзья, Шевыревъ, NF, и т. д. восхищались 2-мъ томомъ; и это восхищеніе конечно еще мало ручалось за его достоинства. Но Гоголь читалъ 2-й томъ и Аксаковымъ, которые вовсе не были поклонниками «Переписки». Когда Гоголь сталъ въ первый разъ читать у нихъ «Мертвыя Души», С. Т. Аксаковъ пришелъ въ невольное смущеніе, опасаясь—увидѣть паденіе таланта Гоголя; самъ Гоголь смѣшался, понявши его мысль; но чтеніе 1-й главы второго тома привело Аксаковыхъ въ полный восторгъ. Когда С. Т. Аксаковъ, по просьбѣ Гоголя, сообщилъ ему нѣсколько замѣчаній о прочитанномъ, Гоголь очевидно былъ ими обрадованъ: «Вы замѣтили мнѣ,—говорилъ онъ,—именно то, что я самъ замѣчалъ, но не былъ увѣренъ въ справедливости моихъ замѣчаній. Теперь же я въ нихъ не сомнѣваюсь, потому что то же замѣтилъ другой человекъ, *пристрастный* ко мнѣ». Пристрастіе состояло въ томъ, что Аксаковъ—отецъ считалъ «Переписку» позорной книгой, и сказалъ объ этомъ Гоголю.

Черезъ нѣсколько времени Гоголь прочелъ у Аксаковыхъ ту же главу во второй разъ: «мы были поражены удивленіемъ,—передаетъ С. Т. Аксаковъ,—глава показалась намъ еще лучше и какъ будто написана вновь». До лѣта 1850 г., Гоголь прочелъ имъ четыре главы.

Повидимому талантъ еще не покидалъ Гоголя, и служилъ ему, когда онъ давалъ ему просторъ и свободу. Онъ пробивался во 2-мъ томѣ при всѣхъ нелѣпостяхъ его тенденціи. Даже въ самую темную пору «Переписки», талантъ—какъ будто противъ его собственной воли—указывалъ ему истинныя свойства русской дѣйствительности, и у Гоголя вырывались признанія, очень мало

¹⁾ См. напр. письмо къ Жуковскому отъ конца 1849 г., въ изд. Кулиша, VI, 496.

²⁾ Объ ихъ странныхъ отношеніяхъ къ Гоголю см. воспоминанія г. Н. Берга.

похожі на весь тонъ его мыслей, и хотя, замѣтивъ ихъ, онъ спѣшитъ прибавить къ нимъ піэтистическій комментарий, онъ не можетъ скрыть ихъ грустной правды. «Вотъ уже почти полтора столѣтія протекло съ тѣхъ поръ (говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ «Переписки»), какъ государь Петръ I прочистилъ намъ глаза чистилицемъ просвѣщенія европейскаго, далъ въ руки намъ всѣ средства и орудія для дѣла,—и до сихъ поръ остаются такъ же пустыни, грустны и безлюдны наши пространства, такъ же безпріютно и непривѣтливо все вокругъ насъ, точно какъ будто бы мы до сихъ поръ еще не у себя дома, не подъ родною нашею крышею, но гдѣ-то остановились безпріютно на проѣзжей дорогѣ, и дышетъ намъ отъ Россіи не радушнымъ, роднымъ пріемомъ братьевъ, но какою-то холодною, занесенною вьюгой почтовой станціею, гдѣ видится одинъ ко всему равнодушный станціонный смотритель, съ черствымъ отвѣтомъ: «Нѣтъ лошадей!» Отчего это? Кто виноватъ?»¹⁾ Но Гоголь не въ состояніи объяснить себѣ этого явленія, не подозреваетъ, что виноваты въ немъ условія нашей жизни, стѣсненіе образованія, отсутствіе общественности, словомъ, тѣ самыя вещи, которыя онъ самъ тутъ же возводитъ въ апотеозу... И во 2-мъ томѣ также, тенденціозныя сплетенія не разъ прерываются совсѣмъ инымъ тономъ, иными мыслями и картинами. Такъ, Гоголь заставляетъ своего генераль-губернатора говорить чиновникамъ назидательно-піэтистическую рѣчь, совершенно невозможную; но картина русскаго управленія въ этой рѣчи поражаетъ своей правдой и можетъ напомнить настоящаго Гоголя...

Наконецъ, изданные недавно варианты 2-го тома²⁾ представляютъ третью редакцію, быть можетъ ту самую, о которой Гоголь въ 1850 говорилъ М. А. Максимовичу, что съ нея «туманъ сошелъ» (съ первой главы). Въ рассказѣ являются новые эпизоды, а изъ прежнихъ исчезаютъ тѣ подробности, которыя Гоголь рассчитывалъ для своихъ тенденціозныхъ цѣлей. Такъ, нѣтъ здѣсь удивительной школы, гдѣ преподавалась «наука жизни»; герой романа уже не предается мечтаніямъ о патріархальномъ

1) Выбран. Мѣста, въ изд. Кулиша, III, стр. 402. «То же впечатлѣніе онъ повторыяетъ въ «Авторской Исповѣди». Говоря о своемъ желаніи изучить Россію, онъ замѣчаетъ: «Провинціи наши... меня изумили... Тамъ даже имя Россія не раздается на устахъ... Словомъ, во все пребываніе мое въ Россіи, Россія у меня въ головѣ разсѣивалась и разлеталась. Я не могъ никакъ ее собрать въ одно цѣлое; духъ мой упadalъ, и самое желаніе знать ее ослабѣвало». Тамъ же, III, стр. 514. Вѣлискій замѣтилъ эти противорѣчія съ остальнымъ содержаніемъ «Переписки», — въ своей статьѣ по поводу этой книги.

2) Въ «Р. Старинѣ», 1872.

значеніи и високомъ смыслѣ помѣщичьей власти, и въ немъ скорѣе можно видѣть челоуѣка съ новыми понятіями. Какъ прежде, въ изображеніи «недоучившагося студента» Гоголь хотѣлъ отмстить Бѣлинскому за статью и за письмо, такъ здѣсь напротивъ замѣтно вліяніе письма Бѣлинскаго: напримѣръ, Бѣлинскій нѣсколько разъ повторяетъ мысль о необходимости пробуждать въ народѣ чувство «человѣческаго достоинства», и Гоголь сообщаетъ теперь своему герою эту самую мысль, которой не было и признака въ прежнихъ редакціяхъ. Самъ «недоучившійся студентъ» уже не находится въ числѣ сосѣдей Тентетникова... Такимъ образомъ, можно думать, что послѣднія работы Гоголя надъ вторымъ томомъ уже отступали отъ направленія «Переписки» въ другую, лучшую сторону; ему объяснялись хоть нѣкоторыя стороны новаго образа мыслей, къ которому онъ, вмѣстѣ съ петербургскими друзьями, относился прежде съ такимъ высокимъ бріемъ и враждой.

«Переломъ», отъ котораго эти друзья ожидали новой, высшей дѣятельности Гоголя, не удался; но талантъ Гоголя былъ дѣйствительно надломленъ—и его физическимъ истощеніемъ, а еще болѣе той ложью понятій, которую въ теченіе столькихъ лѣтъ Гоголь въ себѣ воспитывалъ, а друзья усердно поддерживали. Мудрено предположить, чтобы Гоголь въ состояніи былъ вынести происходившую въ немъ борьбу и снова дѣйствовать въ литературѣ съ его прежнею силою; напротивъ, и сожженіе второго тома передъ смертію было вѣроятно результатомъ этого мучительнаго сознанія, послѣднимъ порывомъ его прежняго свободного поэтического чувства.

Печальная литературная судьба Гоголя показала, какъ сильно измѣнилось состояніе литературы. Прошло только пятнадцать лѣтъ со смерти Пушкина, въ кругѣ котораго Гоголь получилъ главные основанія своихъ общественныхъ понятій, — и когда Гоголь захотѣлъ построить изъ нихъ систему въ своихъ поэтическихъ произведеніяхъ и дѣйствовать въ ихъ смыслѣ на новое общество, его предпріятіе рушилось самымъ жалкимъ образомъ. Гоголь остался великимъ именемъ въ литературѣ — по тѣмъ произведеніямъ, которыя создавалъ свободной силой своего таланта, подъ живыми, хотя и несознаваемыми, вліяніями дѣйствительности; но исторія литературы считаетъ его паденіемъ тотъ періодъ, когда, отказавшись отъ прежней дѣятельности, онъ сталъ проповѣдовать общественную философію, отжившую свое время еще въ тридцатыхъ годахъ.

VII

Б ѣ л и н с к і й.

Съ тридцатыхъ годовъ начинается направленіе, достигшее своей зрѣлости въ сороковыхъ годахъ и всего чаще соединяемое съ именемъ Бѣлинскаго. Славянофилы въ свое время называли его «западнымъ»; теперь начинаютъ его называть направленіемъ «сороковыхъ годовъ». Имя Бѣлинскаго можетъ справедливо оставаться за этимъ направленіемъ, не потому, чтобы онъ былъ руководящимъ его представителемъ (въ этомъ же направленіи дѣйствовали и другіе писатели, достаточно отъ него независимые и, можетъ быть, больше его талантливые), — но Бѣлинскій былъ одинъ изъ самыхъ пламенныхъ приверженцевъ новыхъ идей, и безъ сомнѣнія самый дѣятельный распространитель и защитникъ ихъ въ литературѣ. Онъ очень рѣдко, только въ немногихъ исключительныхъ случаяхъ ставилъ свое имя подъ своими статьями, — но это имя было извѣстно всѣмъ, и послѣдователямъ, и врагамъ его: на немъ въ особенности сосредоточивались горячее сочувствіе новыхъ поколѣній, самая ожесточенная ненависть старыхъ литературныхъ партій и вражда новой школы, враждебной «западному» взгляду.

Направленіе Бѣлинскаго, или точнѣе, той цѣлой литературной школы, которой онъ принадлежалъ, какъ мы уже замѣчали прежде, составляетъ главное русло нашего литературнаго и общественнаго развитія въ сороковыхъ годахъ. Въ этомъ направленіи главнымъ образомъ собрались результаты предыдущаго развитія, и изъ него вышла затѣмъ слѣдующая ступень нашей общественности. По направленію Бѣлинскаго и другихъ писателей той школы можно всего лучше судить о характерѣ и объемѣ тогдашней русской образованности; это было ея лучшее выраженіе и лучшая ея сила. Историческая жизненность этого направленія опредѣляется тѣмъ, что оно было ближайшимъ antecedентомъ прогрессивныхъ стремленій нашего времени. И это было очень естественно: со времени дѣятельности Бѣлинскаго, существенно измѣнилось отношеніе литературы къ обществу; литература перестала быть какой-то случайной принадлежностью, внѣшнимъ украшеніемъ общественной жизни, — напротивъ, она тѣсно примкнула къ ней; различныя школы, расходясь въ самыхъ коренныхъ сво-

ихъ мнѣніяхъ, не спорять о томъ, что дѣйствительность, жизнь, общество должны быть единственнымъ содержаніемъ литературы, и объясненіе ихъ—существенной ея задачей; литературныя партіи съ тѣхъ поръ стали уже партіями общественнаго характера... Это явленіе, отличающее новѣйшую литературу, приведено было многими различными обстоятельствами, — но дѣятельность Бѣлинскаго въ особенности содѣйствовала тому, что литература усвоила этотъ реальный общественный характеръ, который конечно и останется за ней.

Не предпринимая здѣсь полной оцѣнки дѣятельности Бѣлинскаго, и цѣлаго его направленія, мы постараемся указать общія черты положенія этого направленія въ тогдашней литературѣ, и разъяснить главные условія, при которыхъ только можетъ быть достигнута справедливая оцѣнка литературныхъ и общественныхъ мнѣній и стремленій Бѣлинскаго.

Общія свѣдѣнія о началѣ и развитіи этого прогрессивнаго направленія и о личномъ развитіи Бѣлинскаго болѣе или менѣе извѣстны. Бѣлинскій еще ждетъ своей біографіи, но любопытный читатель и теперь можетъ найти значительное количество свѣдѣній о литературной исторіи того времени и о личности Бѣлинскаго, и въ разсказахъ его друзей и современниковъ, и въ историческихъ изслѣдованіяхъ о тогдашней литературѣ¹⁾.

1) Свѣдѣнія о біографіи и личномъ характерѣ Бѣлинскаго читатель найдетъ, между прочимъ, въ слѣдующихъ статьяхъ:

— Замѣтки для біографіи Б., Лажечникова. Моск. Вѣстникъ, 1859, № 17, 32.

— Бѣлинскій и Моск. университетъ въ его время. П. Прозорова. Библ. для Чтенія, 1859, № 12, стр. 1—14.

— Воспоминаніе о Бѣлинскомъ, И. Панаева, Современникъ, 1860, № 1, стр. 335—376, и въ его же „Литер. Воспоминаніяхъ“.

— Былое и Думы; du Développement, и проч.

— Н. В. Станкевичъ, П. Анненкова. М. 1858.

— Т. Н. Грановскій, А. Станкевича. М. 1870.

— Воспоминанія студентства, 1832—35, К. Аксакова (Моск. университетъ времени Бѣлинскаго). День, 1862, № 39—40.

— Университетскія воспоминанія, Г. Г. День, 1863, № 42.

— Воспоминанія Д. Свербеева, Р. Архивъ, 1863 и 1870 (для характеристики литерат. партій).

— Воспоминанія о Бѣлинскомъ, И. Тургенева. В. Европы, 1869, апр.

Изъ многочисленныхъ статей, заключающихъ оцѣнку литературныхъ мнѣній Бѣлинскаго въ новѣйшее время, укажемъ, напр., слѣдующія:

— Очерки Гоголевскаго періода русской литературы, въ Современникѣ 1855 № 12; 1856, № 1, 2, 4, 7, 9—12.

Въ новѣйшее время Бѣлинскій и его направленіе вызывали самыя разнообразныя сужденія. Въ первое время послѣ его смерти, имя его долго не произносилось въ литературѣ; смерть его совпала съ началомъ усиленно строгаго надзора за литературой, надзора, который вѣроятно прекратилъ бы дѣятельность Бѣлинскаго, еслибъ она не была прекращена смертью; имя его стало тогда опальнымъ, и на нѣсколько лѣтъ оно не было воспоминаемо ни друзьями, ни врагами. Впервые, послѣ того, оно было названо въ 1856 году, и когда люди новаго поколѣнія, наслѣдовавшаго стремленія Бѣлинскаго, и его друзья съ глубокимъ сочувствіемъ собирали воспоминанія объ энергическомъ дѣятелѣ, въ другихъ литературныхъ лагеряхъ заговорила и старая вражда. Какъ критикъ, онъ слишкомъ высоко цѣнилъ достоинство литературы, и беспощадно преслѣдовалъ въ ней всякіе застарѣлые предразсудки, мѣшавшіе ея развитію, всякую фальшивую тенденцію и притязательную бездарность, и потому враговъ у него было очень много. Такъ, противъ него были крайне ожесточены всѣ люди, остававшіеся отъ старыхъ литературныхъ школъ, начиная съ шипковской и карамзинской, бывшіе романтики, писатели, принадлежавшіе нѣкогда къ пушкинскому кругу и, къ удивленію, въ особенности ненавидѣвшіе Бѣлинскаго, несмотря на все его поклоненіе Пушкину; наконецъ, писатели «Маяка» и тѣ литературные подонки, которые нѣкогда имѣли своего рода силу въ лицѣ Греча и Булгарина. Также были ожесточены противъ Бѣлинскаго писатели стараго «Москвитянина», тенденція котораго, представляемая г. Погодинымъ и Шевыревымъ, въ свое время не мало потерпѣла отъ Бѣлинскаго. Наконецъ, особый лагерь, враждебный Бѣлинскому, представляли славянофилы — враги, которыхъ впрочемъ самъ Бѣлинскій выдѣлялъ изъ ряда другихъ

— О значеніи худож. произведеній для общества, П. Анненкова. Р. Вѣстникъ, 1856, № 4.

— Критика Гоголя, періода и наши къ ней отношенія, А. Дружинина. Библ. для Чтен. 1856, № 11, 12.

— Бѣлинскій и его мнимые послѣдователи, Я. Грота. Спб. Вѣдом. 1861, № 109.

— Бѣлинскій и его лжеученики, г. Лонгинова. Р. Вѣстн., 1861, № 6, и его же ст. въ Соврем. Лѣтописи 1865, № 32: „Что значить договориться“? по поводу слѣдующей статьи Писарева:

— Пушкинъ и Бѣлинскій, — въ Соч. Писарева, томъ 3.

— Бѣлинскій и отрицательный взглядъ въ литературѣ, А. Григорьева. Время, 1861, № 4, стр. 182 — 218; его же: Западничество, и проч. Время, 1861, № 3.

— Статьи г. Скабичевскаго, въ Отеч. Запискахъ, 1871—1872.

— Статьи гг. Достоевскаго и Погодина, въ „Гражданинъ“, 1873.

Другія указанія въ каталогѣ Межова.

своихъ противниковъ, какъ людей крѣпкаго и опредѣленнаго убѣжденія.

Бѣлинскій умеръ рано; его противники продолжали дѣйствовать въ литературѣ и сохранили все озлобленіе, которое нѣкогда питали противъ него. Первая категорія, представители которой есть до сихъ поръ, конечно потеряла значеніе, но когда случилось, говорила о Бѣлинскомъ съ прежнимъ раздраженіемъ. Славянофилы, въ послѣднее время, почти не удостоивали его упоминанія и опроверженій, направивъ полемику на новыхъ противниковъ; только изрѣдка имя его называлось или подразумевалось въ числѣ «отступниковъ»¹⁾. Г. Погодинъ еще недавно корилъ Бѣлинскаго легкомысліемъ, «атеизмомъ», «соціализмомъ» (въ которомъ Бѣлинскій вовсе не былъ, кажется, виноватъ), и другими предосудительными мнѣніями. Понятно, что старыя школы, давно потерявшія всякую нравственную связь съ новымъ движеніемъ, не могли и послѣ увидѣть историческаго значенія Бѣлинскаго, и въ ихъ сужденіяхъ еще видны старыя досады на него. Но вражда переходитъ и къ новымъ школамъ, напр. къ той школѣ, выродившейся изъ славянофильства, выраженіемъ которой служили и служатъ журналы «Время», «Эпоха», «Заря», «Гражданинъ». Еще недавно были здѣсь высказаны обличенія «атеизма» и другихъ неблаговидныхъ свойствъ направленія Бѣлинскаго.

Съ другой стороны, произошла извѣстная метаморфоза съ нѣкоторыми изъ людей, принадлежавшихъ по своему развитію прогрессивной школѣ сороковыхъ годовъ, и даже тѣсно связанныхъ нѣкогда съ кругомъ Бѣлинскаго. Отложивши въ сторону свое прошлое и обратившись въ самыхъ ревностныхъ консерваторовъ, они естественно спутали свои отношенія къ прежней литературѣ, и когда новое движеніе заявляло свое тѣсное историческое единство съ Бѣлинскимъ и съ Гоголевскимъ періодомъ, они утверждали, что этого единства нѣтъ, что Бѣлинскій не думалъ и не призналъ бы того, что видятъ въ немъ или выводятъ изъ него теперь; или же, указывали въ самой дѣятельности Бѣлинскаго заблужденія, происходившія отъ его крайнихъ увлеченій, и слѣдовательно вредъ; или, просто избѣгали опредѣлять ближе свое отношеніе къ Бѣлинскому, опасаясь непріятныхъ для себя обличеній.

Дѣятельность этихъ и подобныхъ людей, нѣкогда близкихъ Бѣлинскому и обратившихся къ нашему времени въ «постепенцевъ», умѣренныхъ и неумѣренныхъ консерваторовъ и въ

¹⁾ „День“.

явныхъ обскурантовъ, наводила многихъ на мысль, что эти люди и должны въ самомъ дѣлѣ представлять собой тенденціи «сороковыхъ годовъ», ихъ настоящій объемъ и характеръ; являлись невыгодныя заключенія о цѣломъ литературномъ періодѣ, въ которомъ начинали видѣть своего рода романтизмъ, исполненный превратными идеальными мечтами, но не выдерживавшій перваго прикосновенія къ настоящей жизни. Нынѣшніе, обратившіеся въ консерватизмъ, писатели «сороковыхъ годовъ» иногда высказывали какъ будто свою солидарность съ Бѣлинскимъ, и потому упомянутое мнѣніе о «сороковыхъ годахъ» отражалось и на сужденіяхъ о Бѣлинскомъ: писатели новыхъ литературныхъ поколѣній въ самомъ Бѣлинскомъ начинали открывать вещи, ихъ неудовлетворявшія, въ другихъ писателяхъ того времени — еще больше, и историческій выводъ становился довольно неблагоприятнымъ.

Къ сожалѣнію, до сихъ поръ нѣтъ біографіи Бѣлинскаго, личной и литературной, которая разъяснила бы документально его дѣятельность и условія времени, и которая могла и должна была бы устранить всякія недоразумѣнія въ его исторической оцѣнкѣ. Относительно упомянутыхъ сейчасъ мнѣній очевидно, что значенія Бѣлинскаго и теперь, какъ прежде, не могутъ признать литературныя партіи, въ самомъ основаніи враждебныя его воззрѣніямъ, не могутъ признать безъ ущерба собственному существованію; но время уже дѣлаетъ свое, и уже теперь безпристрастный наблюдатель не можетъ не видѣть въ литературѣ слѣдовъ глубокаго вліянія, оказаннаго Бѣлинскимъ и его друзьями: отъ нихъ по преимуществу идетъ начало того критическаго направленія, которое составляетъ лучшую сторону современной литературы. Внимательное изученіе той эпохи показало бы также, что если старыя литературныя партіи теперь окончательно потеряли кредитъ, если стало невозможно чистое славянофильство сороковыхъ годовъ, если литература находитъ свою главную силу въ изученіи и неподкрашенномъ изображеніи дѣйствительности, то въ этомъ всего сильнѣе дѣйствовали стремленія Бѣлинскаго и его круга. Изученіе фактовъ устранило бы и тѣ недоразумѣнія, какія есть еще относительно характера и дѣятельности самого Бѣлинскаго: оно показало бы, каковъ былъ собственно этотъ характеръ, чтó въ его дѣятельности было только слѣдствіемъ условій времени и обстоятельствъ, чтó нужно было ему преодолевать, съ какими понятіями общественными онъ имѣлъ дѣло; показало бы также, могъ ли онъ быть солидаренъ съ людьми, которые нѣкогда принадлежали одному дѣлу съ нимъ, а потомъ, ставши защитниками обскурантизма, позволяли себѣ злоупотреблять его именемъ.

Таковы были бы задачи литературной исторіи Бѣлинскаго, которая теперь была бы особенно полезна.

Въ перечисленныхъ выше сочиненіяхъ собрано довольно много подробностей о возникновеніи того направленія, которому принадлежалъ Бѣлинскій. Исторія молодого кружка, въ которомъ развивался Бѣлинскій и много другихъ товарищей его дѣятельности, чрезвычайно любопытна, какъ нѣчто единственное и небывалое въ исторіи нашей образованности. Этотъ кружокъ, — составившійся, впрочемъ, не вдругъ и имѣвшій различныя комбинаціи, — вообще состоялъ изъ молодыхъ людей, большей частью очень даровитыхъ; съ первыхъ шаговъ своихъ въ литературѣ, онъ обнаружилъ оригинальную и горячую дѣятельность и уже вскорѣ приобрѣлъ господствующее положеніе. Въ средѣ кружка совершался цѣлый актъ литературнаго развитія, чрезвычайно любопытный по обстоятельствамъ времени и внутреннему смыслу. Обстоятельства были очень неблагопріятныя, но пробудившаяся потребность общественной мысли вызвала работу умственныхъ силъ, которая совершалась несмотря на всѣ трудныя условія и приходила къ своей цѣли, — къ сознанію общественнаго положенія и къ освободительнымъ идеямъ. Это соединеніе цѣлаго ряда замѣчательныхъ дарованій, — раздѣлившихся потомъ на школы «западную» и славянофильскую, — какъ будто вознаграждало потерю силъ, понесенную обществомъ въ двадцатыхъ годахъ, и процессъ развитія, тогда прерванный, возобновился съ новой энергіей. Дѣятельность новаго поколѣнія почти не имѣла никакой прямой связи съ этимъ прежнимъ движеніемъ, руководилась другими побужденіями, въ первое время была поглощена чисто отвлеченными предметами, была совершенно чужда всякихъ политическихъ интересовъ, но въ концѣ приходила къ тому же общественному вопросу, который, съ другой точки зрѣнія и подъ другими побужденіями, поставленъ былъ движеніемъ двадцатыхъ годовъ. Сороковые года, когда новыя направленія опредѣлились, отличаются, и въ «западной» и въ славянофильской школѣ, стремленіемъ къ критическому изученію русской жизни и заявленіемъ новыхъ умственныхъ и общественныхъ потребностей — хотя и понятыхъ обѣими сторонами весьма различно.

Исторія кружка, къ которому принадлежалъ Бѣлинскій и къ которому применило всего больше тогдашнихъ молодыхъ силъ, какъ будто представляетъ въ сокращеніи цѣлый фазисъ развитія, пройденный новымъ поколѣніемъ, и высшій пунктъ, достигнутый

тогда русской образованностью. Это направление въ большинствѣ своихъ дѣятелей начало съ самаго спокойнаго консерватизма, съ полного признанія существовавшихъ формъ жизни, но затѣмъ быстро проходило различныя ступени критической мысли, и окончило отрицаніемъ этихъ формъ, иногда весьма рѣшительнымъ, и стремленіемъ къ иному идеалу обществу. Взгляды этого круга представляли наиболѣе серьезное критическое содержаніе, какого только достигала наша литература. Что здѣсь выражалась исторически созрѣвшая мысль и дѣйствительная потребность развитія, это доказывалось тѣмъ, что въ тоже время и въ другихъ областяхъ литературы, вполне независимо отъ вліянія идей, развившихся въ кругѣ Бѣлинскаго и его друзей, совершались явленія, которыя содѣйствовали его стремленіямъ и въ томъ же смыслѣ вліяли на общество. Такова была дѣятельность Гоголя, Лермонтова, Кольцова. Это были явленія совсѣмъ иной области, но явленія совершенно параллельныя направленію Бѣлинскаго и его друзей; критика Бѣлинскаго разъяснила ихъ и съ своей стороны усилила ихъ литературное значеніе...

Кружокъ составилъ первоначально изъ молодежи московскаго университета, въ началѣ тридцатыхъ годовъ; это была пора особеннаго оживленія, какія возвращаются отъ времени до времени въ нашихъ университетахъ. Блестящій періодъ московскаго университета былъ еще впереди, но и тогда преподаваніе двухъ-трехъ профессоровъ, въ особенности М. Г. Павлова и Надеждина, открыло для ихъ слушателей новый міръ, полный интереса. Это была нѣмецкая философія, школы Шеллинга и Окена. Это было первое умственное возбужденіе, и оно нашло самую благоприятную почву. Молодой кружокъ представлялъ рѣдкое и счастливое соединеніе ума и дарованій и уже вскорѣ связанъ былъ одними идеальными стремленіями: это была любовь къ наукѣ, увлеченіе поэзіей, потребность нравственно-идеальнаго совершенствованія, желаніе служить нѣкогда въ рядахъ общества дѣлу истины и нравственнаго достоинства. Въ первомъ броженіи трудно было бы отличить тѣ направленія, которыя потомъ должны были раздѣлить кружокъ на два различныя, и наконецъ рѣзко враждебныя лагеря. Дѣйствительно, первоначально здѣсь мы находимъ рядомъ и Бѣлинскаго и К. Аксакова: оба были восторженные романтическіе идеалисты, не подозревавшіе тогда, какъ далеко разойдутся они впослѣдствіи. Различіе мнѣній выросло изъ однихъ первоначальныхъ основаній, подъ различными вліяніями дальнѣйшихъ размышленій, характеровъ и впечатлѣній жизни.

Бѣлинскій одно время стоялъ почти на настоящей славянофильской точкѣ зрѣнія...

Понятія кружкѣ, изъ которыхъ выросли потомъ воззрѣнія Бѣлинскаго, имѣли свое послѣдовательное и логически законное развитіе. Это должно замѣтить въ виду того мнѣнія, которое хочетъ представить взгляды Бѣлинскаго какъ случайное заимствованіе, какъ личный произволъ или какъ теорію, не имѣвшую никакой связи съ жизнью. Кружокъ тридцатыхъ годовъ дѣйствительно началъ съ чистой теоріи, не имѣвшей связи съ нашей жизнью и заимствованной изъ чужого источника. Но, во-первыхъ, научная, и въ особенности чисто отвлеченная теорія есть всегда общее достояніе, которымъ можетъ пользоваться всякая образованность; во-вторыхъ, тамъ, гдѣ начиналось ея вліяніе на понятія о дѣйствительной жизни, гдѣ оказывалось ея прикладное значеніе, эта чужая теорія была понята у насъ и переработана совершенно независимо. Первоначальное заимствованіе ея изъ чужого источника не нравилось доморощеннымъ мыслителямъ, но оно было однимъ изъ тѣхъ безчисленныхъ и неизбѣжныхъ заимствованій, на которыя вѣроятно еще довольно долго будетъ обречена наша запоздалая и отстающая образованность. Наша домашняя наука не представляла тогда и тѣни чего-либо подобнаго заимствованной теоріи, какъ и до сихъ поръ не представляетъ ничего равнаго научному развитію какой-нибудь изъ главныхъ европейскихъ націй; напротивъ, домашняя, т.-е. нѣсколько у насъ освоившаяся наука состояла большей частью изъ старыхъ ключевъ той же западной науки, прилаженныхъ еще къ требованіямъ нашей патріархальности. Защитники «самобытнаго» русскаго мышленія, попрекавшіе Бѣлинскаго и его друзей ихъ «западными» теоріями, забывали историческія преданія нашей образованности. Заимствованіе «западной» науки было освящено самимъ авторитетомъ, стоявшимъ во главѣ народа, и когда разъ была заявлена необходимость «западной» науки и она была допущена, когда мы постоянно пользовались ея практическими, внѣшними примѣненіями, — то поздно и нелѣпо было спрашивать у нея отчета въ тѣхъ теоретическихъ понятіяхъ, какія она создавала и вводила въ обращеніе: кто былъ недоволенъ результатами ея вліянія, тотъ долженъ былъ бы опровергать ихъ на той же почвѣ, выставлять доказательства противъ доказательствъ. Если научно-теоретическіе результаты не подходили подъ требованія традиціонной системы, это еще не могло говорить противъ ихъ разумности; въслѣдствіи традиціонная система даже внѣшнимъ образомъ начала подавлять эти результаты,

но для людей, сколько-нибудь размышляющих, было ясно, что этот способ дѣйствій мало убѣдителен...

Но, главное было въ томъ, что заимствованная теорія не осталась у нашихъ прозелитовъ неизмѣнной и неподвижной. Совершенно напротивъ, они усвоили ее какъ живое, создаваемое убѣжденіе, провѣряли ее собственной мыслью, приложеніями къ жизни, отбрасывали выводы, которые казались имъ невѣрными, и извлекали новые, — теорія была ими самостоятельно переработана и послѣднія воззрѣнія ихъ далеко не были похожи на начало. Понятно, что при этомъ должны были оказаться и болѣе или менѣе значительныя отличія въ мнѣніяхъ разныхъ лицъ; и дѣйствительно, при сходствѣ общихъ понятій, у различныхъ членовъ круга составились разнообразныя оттѣнки мнѣній, въ которыхъ отражалось различіе характеровъ, склада ума и жизненнаго опыта. Однимъ словомъ, занятая теорія нисколько не сдѣлалась какой-нибудь узкой и условной доктриной, а напротивъ вошла какъ чисто отвлеченное основаніе, какъ методъ, приложеніе и развитіе котораго были уже дѣломъ самостоятельнаго труда. Окончательные результаты представляли уже «самобытное» русское мышленіе...

Теорія, послужившая исходнымъ пунктомъ въ образованіи мнѣній у людей «сороковыхъ годовъ», была, какъ извѣстно, Гегелевская философія. Университетъ, гдѣ представителями философіи были Павловъ и Надеждинъ, сообщилъ своимъ питомцамъ вкусъ къ этимъ изученіямъ и предварительную школу. Ученики Павлова и Надеждина съумѣли воспользоваться школой и покинуть Шеллинга и Окена, которымъ слѣдовали и дальше которыхъ не шли ихъ руководители, самостоятельно взяли за изученіе Гегеля. Это была новѣйшая, послѣдняя ступень нѣмецкаго мышленія, и знакомство съ ней произвело въ нашихъ адептахъ философскаго изученія тоже сильное, увлекающее впечатлѣніе, какое эта философія оказывала тогда на своей родинѣ. Мы приводимъ, въ примѣчаніи, рассказъ Гервинуса о томъ всеобъемлющемъ господствѣ, какимъ пользовалась Гегелева философія въ Германіи двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ: изъ этого рассказа понятно будетъ и ея дѣйствіе у насъ ¹⁾.

¹⁾ Упомянувъ о томъ, какъ нѣмецкая философія возстала противъ богословскихъ теорій Шлейермахера, Гервинусъ продолжаетъ:

„Это возстаніе противъ Шлейермахера было совершенно понятно... Философія должна была отомстить теологіи за 2000-лѣтнее угнетеніе; она чувствовала теперь свою силу, и въ этомъ сознаніи ей хотѣлось подчинить своему свѣтскому законодательству религію и ея науку; относительно этой науки, философія думала, что владѣетъ всѣмъ ея содержаніемъ, но хотѣла возвысить его изъ низшихъ формъ чувства

Довольно вспомнить это безусловное господство Гегелевой философии въ Германіи, гдѣ былъ тогда главный источникъ нашихъ научныхъ заимствованій, чтобы видѣть, какъ естественно было увлеченіе нѣмецкой философіей въ молодомъ поколѣніи тридцатыхъ годовъ. Это было безъ сомнѣнія высшее умственное явленіе, какое только могла представить тогдашняя Европа; никакая иная система, никакое иное ученіе стараго и новаго времени не могли идти въ сравненіе съ этой универсальной философіей, которую, казалось, нужно было только понять и изучить, чтобы достигнуть вершины человѣческаго мышленія... Конечно, въ тогдашнихъ мнѣніяхъ учениковъ Гегеля объ его системѣ было большое заблужденіе; но тѣмъ не менѣе система имѣла законныя права на

и представленія (на которыхъ утверждалъ теологію Шлейермахеръ) къ высшей формѣ яснаго понятія. Со времени реформаторской дѣятельности Канта, философія утвердила свое главное пребываніе въ Германіи, и съ того времени здѣсь прежде всего поступали въ горнило всѣ великія задачи науки, и, обработанныя здѣсь, отправлялись отсюда на философскіе рынки всей Европы. Со времени диктатуры Гегеля, которая была теперь (около 1830-го года) во всей силѣ, это господство нѣмецкой философіи въ особенности казалось неодолимымъ, прочно утвержденнымъ первенствомъ. Въ 1818, Гегель былъ приглашенъ въ Берлинъ, въ это средоточіе научной жизни, гдѣ теологія и философія, правовѣдѣніе и языковѣдѣніе соперничали въ неистощимыхъ усиліяхъ труда. Строгая серьезность этого человѣка, исполненнаго вѣры въ самого себя, преданнаго своей задачѣ какъ священному дѣлу, и непреступная послѣдовательность и правильность его ученія собирали здѣсь вокругъ него всю ревностную молодежь, которой въ безурядицѣ романтическихъ увлеченій требовалась цѣлительная дисциплина ума, или требовалось философское освященіе ея спеціальной науки, или спасительное убѣжище изъ безотрадной общественной жизни. Защита и благоволеніе властей къ учителю и ученикамъ еще болѣе увеличили вліяніе ученія: оно сдѣлалось модой для дилеттантовъ, обязанностью для вступающихъ на службу, необходимостью для искавшаго занятій. Около того времени, когда возникли *Berliner Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik* (1827), передовая школа, подъ начальствомъ нѣсколькихъ старшихъ подмастерьевъ, расположилась около предводителя какъ завоевательное войско, и, часто не унедши дальше формулъ тарабарскаго техническаго языка, проповѣдовала міру, что эта философія можетъ дать все, искусство и науку, истинную церковь и истинное государство. Въ чрезвычайно обширномъ кругу любознательныхъ ученыхъ, серьезныхъ чиновниковъ, даже образованныхъ дѣловыхъ бюргеровъ въ Германіи, эта школа распространила чувство обязанности, необходимости поладить съ этой новой вѣрой; школа старалась разъяснить смыслъ ученія даже нѣкоторымъ французамъ, которые увидѣли въ Гегелѣ — Спинозу, помноженнаго на Аристотеля, и видѣли его на вершинѣ пирамиды, которую складывала вся наука въ послѣднія три столѣтія. За учителемъ была признана слава, что онъ въ своей системѣ какъ-бы сплелъ въ искусную ткань всѣ нити современнаго образованія, что онъ украсилъ ее всѣми драгоценностями и достоинствами науки того поколѣнія, что онъ подчинилъ своей системѣ умственную работу классическаго періода нѣмецкой литературы, что онъ собралъ въ ней просвѣтленное чувство, живое наблюденіе, смѣлое мышленіе, просвѣщеніе и всемірную образованность, всѣ плоды этого богатаго времени, что онъ, казалось, далъ нѣмецкой умственной жизни мѣсто отдыха, откуда она увидѣла твердую цѣль, а по

свою славу, и въ своемъ смыслѣ была дѣйствительно завершающимъ явленіемъ въ тогдашней наукѣ...

Введеніе Гегелевой философіи было дѣломъ Станкевича, извѣстнаго даровитаго юноши, которому вообще принадлежало большее умственное и нравственное вліяніе въ молодомъ кружкѣ. Его имя въ особенности связано съ развитіемъ Бѣлинскаго и потомъ Грановскаго. Гегелева философія стала всепоглощающимъ интересомъ. Друзья Станкевича, посвященные имъ въ философію Гегеля, увлеклись ею какъ откровеніемъ науки. Она была постояннымъ предметомъ ихъ бесѣдъ и горячихъ споровъ. По разсказамъ современника, — «нѣтъ параграфа во всѣхъ трехъ частяхъ Логики, въ двухъ Эстетики, Энциклопедіи и пр., который

мнѣнію самой школы—прочное завершеніе дѣла. Потому что это ученіе имѣло, кажется, притязаніе—положить все будущее въ оковы своей системы; оно говорило, что міровой духъ достигъ своей цѣли; оно утверждало, что оно завершило борьбу конечнаго сознанія съ абсолютнымъ, борьбу, наполняющую всю исторію философіи,—что оно соединило въ себѣ результаты всѣхъ прежнихъ системъ, которыя были простыми ступенями единой истины,—что оно примирило всѣ мнѣнія, принципы и противорѣчія,—что послѣ столькихъ испробованныхъ формъ нашло послѣднюю, абсолютную форму, въ которой (послѣ того какъ Шеллингъ указалъ абсолютное содержаніе философіи) метода становится тождественна съ содержаніемъ, любовь къ знанію становится дѣйствительнымъ знаніемъ, любовь къ мудрости дѣлается мудростью. Въ то время не стали бы слушать человѣка, который бы сталъ напоминать школѣ собственыя слова учителя, который самъ признавался, что какая бы то ни было философія никогда не можетъ выдти изъ своего настоящаго міра. Тогда не стали бы слушать человѣка, который бы предостерегалъ отъ исключительнаго признанія какой-нибудь одной системы, съ той точки зрѣнія, что разнообразіе формъ и смѣна представленій въ этомъ мірѣ есть условіе его существованія, и что притязаніе найти средину этихъ противоположностей, спокойствіе этихъ колебаній, чтобы дать одному опредѣленному представленію абсолютное, а не относительное достоинство,—есть заблужденіе, исполненіе котораго означало бы ступень къ смерти въ вещахъ и пораженіе всѣхъ духовныхъ силъ. Тогда не стали бы слушать человѣка, который выразилъ бы сомнѣніе въ томъ, удобно ли предпринять такое всеобъемлющее метафизическое зданіе именно въ то время, когда при совершенно новомъ раздѣленіи труда и болѣе глубокомъ вниманіи во всѣхъ отрасляхъ умственной дѣятельности совершался всеобщій переворотъ, который не благоприятствовалъ какому-нибудь завершенію знанія, потому что онъ скорѣе былъ началомъ совершенно новаго рода научнаго изслѣдованія. Этого нѣмбѣ непогрѣшности не могло разсѣять то обстоятельство, что это, забывшее о времени, философское рыцарство, во многихъ изъ своихъ смѣлыхъ предположеній,—какъ, напр., въ догадкахъ Гегеля о разстояніи планетъ, или въ его доказательствѣ старости міра,—потерѣло донъ-кихотовскія пораженія, или что спеціалисты находили въ частныхъ развитіяхъ системы источники и результаты поставленными наизусть... Тогда стали бы смѣяться надъ человѣкомъ, который усумнился бы, не раздѣлить ли и эта философія недоговѣнную судьбу всѣхъ явившихся въ послѣднее время системъ; и это умственное господство, установленное въ пору удаленія отъ безотрадной современной исторіи, не распадется ли въ ту минуту, когда болѣе знаменательный часъ ударить на великихъ часахъ времени?» Gervinus, Gesch. des neun. Jahrh. 8, стр. 24—27.

бы не былъ взятъ отчаянными спорами нѣсколькихъ ночей. Люди, любившіе другъ друга, расходились на цѣлыя недѣли, не согласившись въ опредѣленіи «перехватывающаго духа», принимали за обиды мнѣнія объ «абсолютной личности» и о ея *по-себѣ бытіи*. Всѣ ничтожнѣйшія брошюры, выходившія въ Берлинѣ и другихъ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ нѣмецкой философіи, гдѣ только упоминалось о Гегелѣ, выписывались, зачитывались до дыръ, до пятенъ, до паденія листовъ въ нѣсколько дней... Русскіе гегеліанцы устроили себѣ особенный языкъ: «они не переводили на русское, а перекладывали цѣликомъ, да еще для большей легкости оставляя всѣ латинскія слова *in crudo*, давая имъ православныя окончанія и семь русскихъ надежей»... Понятно, что на первыхъ же порахъ стали сказываться и невыгодныя стороны ухищренной философской отвлеченности. «Рядомъ съ испорченнымъ языкомъ шла другая ошибка болѣе глубокая. Молодые философы наши испортили себѣ не однѣ фразы, но и пониманье; отношеніе къ жизни, къ дѣйствительности сдѣлалось школьное, книжное; это было то ученое пониманье простыхъ вещей, надъ которымъ такъ гениально смѣялся Гёте въ своемъ разговорѣ Мефистофеля съ студентомъ. Все *въ самомъ дѣлѣ* непосредственное, всякое простое чувство было возводимо въ отвлеченныя категоріи, и возвращалось оттуда безъ капли живой крови, блѣдной, алгебраической тѣнью. Во всемъ этомъ была своего рода наивность, потому, что все это было совершенно искренно. Человѣкъ, который шелъ гулять въ Сокольники, шелъ для того, чтобы отдаваться пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ, и если ему попадался по дорогѣ какой-нибудь солдатъ подъ хмѣлкомъ или баба, вступавшая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но опредѣлялъ субстанцію народную въ ея непосредственномъ и случайномъ явленіи. Самая слеза, наворачивавшаяся на вѣкахъ, была строго отнесена къ своему порядку, къ «гемюту» или къ «трагическому въ сердцѣ»... То же въ искусствѣ. Знаніе Гёте, особенно второй части Фауста (оттого ли, что она хуже первой, или оттого, что труднѣе ея) было столько же обязательно, какъ имѣть платье. Философія музыки была на первомъ планѣ. Разумѣется, объ Россини и не говорили, къ Моцарту были снисходительны, хотя и находили его дѣтскимъ и бѣднымъ, за то производили философскія слѣдствія надъ каждымъ аккордомъ Бетховена... Наравнѣ съ итальянской музыкой дѣлила опалу французская литература и вообще все французское, а по дорогѣ и все политическое».

Это крайнее идеалистическое настроеніе не могло удержаться

надолго въ людяхъ съ такимъ живымъ талантомъ и дѣятельной мыслью, какъ были люди этого кружка, и въ особенности Бѣлинскій. Впослѣдствіи, они освободились отъ этого настроенія. Но и на этой степени, идеализмъ молодыхъ гегеліанцевъ, въ его болѣе серьезныхъ примѣненіяхъ, былъ новостью и успѣхомъ въ литературныхъ понятіяхъ. Новыя философскія изученія устраняли съ перваго раза ту произвольную неопредѣленность, почти безсодержательность романтическихъ теорій, которая господствовала въ поэзіи и критикѣ нашихъ романтиковъ, и въ первый разъ дали возможность опредѣленной и раціональной критики. Подъ внушеніемъ идей этого перваго періода Бѣлинскій написалъ свои «Литературныя мечтанія» (1834), въ которыхъ, съ этой новой точки зрѣнія, онъ отрицалъ у насъ существованіе настоящей литературы и опредѣлилъ, чѣмъ должна быть литература, заслуживающая этого имени. Эта обширная статья, написанная съ большимъ одушевленіемъ, была достойнымъ началомъ его критическаго поприща ¹⁾.

Не будемъ пересказывать подробностей того, какъ постепенно развивались мнѣнія Бѣлинскаго. Существенное изъ этого было довольно обстоятельно рассказано другими, — напр., нѣкоторыми изъ его современниковъ и авторомъ статей о Гоголевскомъ періодѣ. Необходимо однако, когда идетъ рѣчь о Бѣлинскомъ, имѣть въ виду путь его развитія, на которомъ онъ проходилъ нѣсколько различныхъ ступеней. Дѣло въ томъ, что его противники, и въ сороковыхъ годахъ, и въ семидесятыхъ, много разъ принимались обвинять Бѣлинскаго въ отсутствіи прочныхъ убѣжденій, въ легкомысленной и быстрой перемѣнѣ взглядовъ: говорили, будто бы онъ «внезапно» измѣнялъ свои мнѣнія о «самыхъ высокихъ

¹⁾ „У насъ нѣтъ литературы, — говоритъ онъ въ концѣ статьи, — я повторяю это съ восторгомъ, съ наслажденіемъ, ибо въ сей истинѣ вижу залогъ нашихъ будущихъ успѣховъ“. Въ этихъ словахъ сказана основная мысль статьи, и Бѣлинскій былъ конечно правъ, видя въ ясномъ сознаніи бѣдности литературы залогъ ея будущаго успѣха. „Присмотритесь хорошенько къ ходу нашего общества, продолжаетъ онъ, — и вы согласитесь, что я правъ. Посмотрите, какъ новое поколѣніе, разочаровавшись въ гениальности и безсмертіи нашихъ литературныхъ произведеній, вмѣсто того, чтобы выдавать въ свѣтъ недозрѣлыя творенія, съ жадностью предается изученію наукъ и черпаетъ живую воду просвѣщенія въ самомъ источникѣ. Вѣкъ *ребячества* проходитъ видимо. И дай Богъ, чтобы онъ прошелъ скорѣе. Но еще болѣе, дай Богъ, чтобы поскорѣе всѣ разувѣрились въ нашемъ литературномъ богатствѣ! Благородная нищета лучше мечтательнаго богатства! Придетъ время — просвѣщеніе разольется въ Россіи широкимъ потокомъ, умственная физіономія народа выяснится, и тогда наши художники и писатели будутъ на всѣ свои произведенія палатать печать русскаго духа. Но теперь намъ нужно ученье! ученье! ученье!“... Сочин. Бѣлинскаго, т. I, стр. 130—131.

предметахъ человѣческаго вѣдѣнія», изъ одной крайности впадалъ въ другую, дѣлаясь, на примѣръ, изъ «пламеннаго христіанина — отчаяннымъ (?) безбожникомъ и пропагандистомъ» ¹⁾. Въ разныхъ видахъ, эта тема много разъ повторялась въ литературѣ, и враги Бѣлинскаго, какъ видимъ, до сихъ поръ съ любовью возвращаются къ ней. Но насколько правды въ этихъ обвиненіяхъ? Бѣлинскій, дѣйствительно, въ разное время имѣлъ весьма несходныя мнѣнія о «самыхъ важныхъ» предметахъ человѣческаго вѣдѣнія (о «неважныхъ» смѣшно было бы говорить); иногда могло казаться, что перемѣна мнѣній совершалась довольно скоро (увидимъ дальше, почему это могло казаться), — но только по неразумѣнію, по пристрастію, или злему намѣренію можно говорить о «неосновательной» измѣнчивости его мнѣній. Самъ Бѣлинскій совершенно вѣрно указалъ причину измѣнчивости своихъ мнѣній, когда на подобныя обвиненія славянофильскаго писателя (М... З... К...) отвѣчалъ, что вопросъ о томъ, сообразна ли съ способностью страстнаго, глубокаго убѣжденія способность измѣнять его, «давно рѣшенъ для всѣхъ тѣхъ, кто любитъ истину больше себя и всегда готовъ пожертвовать ей своимъ самолюбіемъ»... Бѣлинскому дѣйствительно приходилось жертвовать и самолюбіемъ, и тяжело выносить воспоминаніе о прежнемъ заблужденіи. Такъ было, на примѣръ, съ извѣстной статьей о «Бородинской годовщинѣ» ²⁾. Когда говорятъ теперь объ измѣнчивости мнѣній Бѣлинскаго, то берутъ обыкновенно его мнѣнія тридцатыхъ годовъ и ставятъ рядомъ мнѣнія конца сороковыхъ годовъ, — но въ томъ и дѣло, что между этими крайними пунктами прошелъ цѣлый періодъ развитія, смѣна нѣсколькихъ послѣдовательныхъ ступеней, которыя совершенно объясняютъ окончательный результатъ. Сколько-нибудь внимательное наблюденіе этого періода могло бы показать, что эта смѣна совершалась нисколько не произвольно, и напротивъ очень естественно и съ такой постепенностью, что читая статьи одну за другой, въ хронологическомъ порядкѣ, дѣйствительно невозможно замѣтить никакого рѣзкаго перерыва, — какъ это было уже давно указано однимъ изъ критиковъ Бѣлинскаго. Самый замѣтный перерывъ въ понятіяхъ Бѣлинскаго произошелъ, вѣроятно, послѣ упомянутой статьи о «Бородинской годовщинѣ», — но и это объясняется обстоятель-

¹⁾ Такія слова находятся въ новѣйшихъ обвиненіяхъ г. Погодина, который, по собственнымъ словамъ его, «заднимъ числомъ» принялся обличать Бѣлинскаго: это очень удобно, — въ прежнее время можно было рисковать очень суровымъ отпоромъ со стороны обличаемаго.

²⁾ 1839 годъ.

ствами дѣла. Бѣлинскій былъ не измѣнчивъ, а напротивъ крайне упоренъ въ тѣхъ мнѣніяхъ, которыя казались ему правильными; но, съ другой стороны, если ему доказывали или онъ самъ убѣждался, что его взглядъ былъ ошибоченъ, онъ не лицемѣрилъ, не прибѣгалъ къ столь обыкновеннымъ уловкамъ сохранить хоть наружную правоту, но открыто сознавался въ заблужденіи. Статья о «Бородинской годовщинѣ», какъ разсказываютъ современники, была написана именно въ пору крайняго увлеченія, когда онъ, раздраженный рѣзкимъ противорѣчіемъ другихъ, еще сильнѣе, въ послѣднее опроверженіе противниковъ и въ досадѣ на нихъ, высказалъ свои понятія: но противорѣчія, имъ слышанныя, запали въ его мысль, онъ обдумалъ ихъ, и мнѣнія противника, которыя были дѣйствительно вѣрнѣе, наконецъ, побѣдили упорство Бѣлинскаго. Потомъ онъ самъ же искалъ случая, чтобы сознаться въ этомъ передъ самимъ противникомъ. Примѣръ такой честности мнѣній встрѣчается не часто...

Бѣлинскій былъ журналистъ; по природѣ, это былъ человѣкъ, глубоко дорожившій правдой, и потому стремившійся высказываться, убѣждать, дѣйствовать на другихъ: въ теченіе своего поприща онъ высказывался постоянно, такъ что въ его сочиненіяхъ естественно отразился и сохранился весь процессъ его внутренняго развитія, и всѣ послѣдовательныя его ступени, — отдѣльно каждая конечно не похожая одна на другую. Но только люди, не испытавшіе на самихъ себѣ этого процесса, не имѣющіе понятія о мучительной борьбѣ съ сомнѣніемъ, могутъ видѣть въ этомъ только отсутствіе серьезности. Подобныя обвиненія особенно бессмысленны и отвратительны со стороны людей, для которыхъ убѣжденіе не существуетъ или бываетъ дѣломъ практическаго расчёта. «Средній человѣкъ», который сегодня — благонамѣреннѣйшій консерваторъ, завтра — застольный либераль, послѣ завтра — обскурантъ, не можетъ вообще понять, какъ можетъ другой человѣкъ измѣнять свои мнѣнія не по тонкимъ соображеніямъ обстоятельствъ, а только по внушенію собственной мысли и нравственнаго чувства, какъ для него бываетъ дѣломъ *совѣсти* — отказаться отъ прежняго мнѣнія, когда ошибочность его будетъ доказана. Для людей, не безпокоящихъ себя особыми заботами объ истинѣ, непонятно, что сомнѣніе можетъ простирается на самые важные предметы человѣческаго вѣдѣнія; имъ неизвѣстно, что только путемъ сомнѣнія и критики можетъ быть достигнуто разумное пониманіе этихъ важныхъ предметовъ, и благочестиво осуждая сомнѣвающихъ, они забываютъ, что сомнѣніе — вовсе не выгодное занятіе, потому что слишкомъ легко можетъ на-

влекъ большія практическія неудобства... Исторія мнѣній Бѣлинскаго именно любопытна и характеристична какъ исторія развитія понятій, въ тогдашнихъ условіяхъ нашей образованности, у человѣка даровитаго, проникнутаго горячимъ желаніемъ истины и общественнаго блага, и который, начавши признаніемъ statusquo, мало-по-малу, путемъ размышленія и жизненнаго опыта, приходилъ къ отрицанію этого statusquo и стремился къ инымъ идеаламъ. Чего стоило Бѣлинскому это развитіе, объ этомъ онъ намекаетъ самъ, отвѣчая славянофильскому критику М... З... К... на обвиненія въ легкой переменчивости его мнѣній. Мы указывали сейчасъ эти слова; прибавимъ теперь заключеніе: «Что касается до вопроса, сообразна ли съ способностью страстнаго, глубокаго убѣжденія способность измѣнять его, онъ давно рѣшенъ для всѣхъ тѣхъ, кто любитъ истину больше себя и всегда готовъ пожертвовать ей своимъ самолюбіемъ, откровенно признаваясь, что онъ, какъ и другіе, можетъ ошибаться и заблуждаться. Для того же, чтобы вѣрно судить, легко ли отдѣлывался такой человѣкъ отъ убѣжденій, которыя уже не удовлетворяли его, и переходилъ къ новымъ, или это *всегда* бывало для него *болѣзненнымъ процессомъ*, стоило ему *горькихъ разочарованій, тяжелыхъ сомнѣній, мучительной тоски*, для того, чтобы судить объ этомъ, прежде всего надо быть увѣреннымъ въ своемъ безпристрастїи и добросовѣстности...» ¹⁾. О послѣднемъ надо напомнить и новѣйшимъ его обвинителямъ.

Должно замѣтить, что это постепенное видоизмѣненіе и окончательное образованіе взглядовъ Бѣлинскаго не было только его личной исключительной исторїей, но принадлежало, въ большей или меньшей степени, всему кругу, съ которымъ онъ дѣлилъ свое развитіе. Всѣ люди этого круга (за исключеніемъ двухъ-трехъ, имѣвшихъ свой особый путь развитія) начинали отвлеченной философїей, полнымъ консерватизмомъ или даже безучастіемъ въ общественныхъ вопросахъ, и всѣ пришли потомъ къ тому же отрицательному или критическому пониманію тогдашней общественности. Бѣлинскаго отличала только энергія, которую онъ вносилъ въ дѣло своихъ убѣжденій, страстное увлеченіе тѣмъ, что казалось ему истиной, неспособность останавливаться на полдорогѣ между двумя разными точками зрѣнія,—какъ это бываетъ у большинства. Наконецъ, у Бѣлинскаго вся эта исторія была на виду, по самому характеру его дѣятельности она высказа-

¹⁾ Сочиненія, XI, стр. 257—258.

лась съ первой исходной точки до послѣдняго результата, — когда у другихъ она проходила незамѣтно.

Путь развитія былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и очень естественный. Бѣлинскій и его друзья не могли остановиться на ихъ первой философско-идеалистической точкѣ зрѣнія. «Исключительно умозрительное направленіе, — справедливо замѣчаетъ свидѣтель той эпохи, — совершенно противоположно русскому характеру... *русскій духъ* переработалъ Гегелево ученіе, и наша живая натура, несмотря на всѣ постриженія въ философскіе монахи, беретъ свое». Различныя обстоятельства содѣйствовали тому, что отвлеченная мысль стала сближаться съ дѣйствительностью и принимать иное направленіе.

Изъ своей философской школы Бѣлинскій вынесъ хорошую логическую дисциплину, опредѣленные и широкія воззрѣнія на литературу; собственный критическій тактъ, замѣчательнымъ достоинствамъ котораго отдавали и теперь отдаютъ справедливость сами его противники, уже рано доставлялъ ему вѣрную точку зрѣнія на произведенія литературы. По этимъ теоретическимъ пріемамъ, онъ стоялъ уже гораздо выше старыхъ романтиковъ; но его понятія общественныя оставались еще строго консервативными, въ силу извѣстныхъ толкованій Гегелевой философіи, изъ которыхъ выводилось оправданіе существующаго. Съ этими взглядами Бѣлинскій явился даже и въ первыхъ статьяхъ «Отечественныхъ Записокъ», гдѣ эта точка зрѣнія была доведена до послѣдняго предѣла, за которымъ послѣдовалъ упомянутый выше поворотъ.

Но Бѣлинскій не могъ долго оставаться при этихъ мнѣніяхъ. Прежде всего, собственная работа мысли не дала Бѣлинскому остановиться на «примиреніи», которому онъ могъ еще предаваться въ пору юношескаго оптимизма и подъ вліяніемъ мягкой, любящей, идеалистической по преимуществу природы Станкевича. Та «дѣйствительность», которую теперь они толковали теоретически, должна была выясняться при каждой встрѣчѣ съ практической жизнью, и Бѣлинскому должны были бросаться въ глаза неодолимые препятствія къ примиренію этой дѣйствительности съ разумностью. Бѣлинскій, усвоивши себѣ положенія Гегелевой философіи (хотя, не зная по-нѣмецки, онъ узнавалъ еѣ изъ вторыхъ рукъ), былъ въ особенности чутокъ къ слабымъ сторонамъ этой философіи. Современникъ рассказываетъ такой примѣръ. «Однажды, проспоровши цѣлые часы противъ боязливаго пантеизма берлинцевъ, Бѣлинскій всталъ и сказалъ своимъ дрожащимъ и прерывающимся голосомъ: «Вы хотите увѣрить меня, что цѣль

человѣка — привести абсолютный духъ къ сознанію самого себя, и вы довольствуетесь этой ролью; что касается до меня, я не такъ глупъ, чтобы служить покорнымъ орудіемъ кому то бы то ни было. Если я думаю, страдаю, я думаю и страдаю для себя. Вашъ абсолютный духъ, если онъ существуетъ, мнѣ чуждъ. Мнѣ нѣтъ до него дѣла, потому что у меня нѣтъ съ нимъ ничего общаго»... Съ тѣхъ поръ,—прибавляетъ тотъ же современникъ,—какъ начали проповѣдовать нелѣпость дуализма, первый даровитый человѣкъ, занявшійся у насъ нѣмецкой философіей, замѣтилъ, что она — реалистическая только на словахъ, что въ сущности она оставалась... логическимъ монастыремъ, куда люди бѣжали отъ міра, чтобы погрузиться въ отвлеченности».

Жизненный опытъ рано сталъ указывать Бѣлинскому ту мрачную и тяжелую сторону дѣйствительности, которая не легко поддается теоретическимъ примиреніямъ. Еще мальчикомъ онъ узналъ на себѣ тягость семейнаго деспотизма, и въ провинціальномъ захолустѣ видѣлъ немало темныхъ сторонъ русской жизни, видѣлъ ту настоящую дѣйствительность, правдивое изображеніе которой въ литературѣ онъ встрѣтилъ потомъ какъ первый залогъ зрѣлости литературы. Повидимому, онъ самъ пытался изображать эту жизнь, какъ онъ зналъ ее. По разсказамъ извѣстно, что еще будучи студентомъ онъ написалъ драму, въ которой выведены были сцены крѣпостного права и гдѣ между прочимъ слуга убиваетъ своего господина: какъ говорить, эта драма, представленная Бѣлинскимъ въ университетскій совѣтъ, послужила настоящимъ поводомъ къ различнымъ притѣсненіямъ и наконецъ къ исключенію Бѣлинскаго изъ университета.

Съ переездомъ въ Петербургъ, мнѣнія Бѣлинскаго объ общественныхъ предметахъ стали въ особенности измѣняться въ томъ смыслѣ, какой онъ окончательно приняли въ послѣдніе годы. Петербургъ имѣлъ на него отрезвляющее дѣйствіе отъ самообольщенія теоретическими построеніями: впечатлѣнія «дѣйствительности» были здѣсь особенно близки, и надо было быть особенно расположену обманывать себя, чтобы не принять этихъ впечатлѣній и остаться на прежней идеалистической точкѣ зрѣнія. Журнальная дѣятельность указала ему и обратную сторону officialнаго просвѣщенія, на которое онъ нѣкогда возлагалъ свои надежды...

Въ реалистическихъ взглядахъ утверждало его и наблюденіе литературы. Въ одной изъ самыхъ первыхъ своихъ статей (о русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя) Бѣлинскій высоко поставилъ Гоголя, какъ писателя, начинающаго новый періодъ литературы.

Появление «Мертвых Душъ» завершило кругъ произведеній Гоголя, съ которыми дѣйствительно вошелъ въ литературу новый элементъ: имъ безъ сомнѣнія принадлежало большое вліяніе и въ образованіи тѣхъ общественныхъ взглядовъ, которые въ послѣдніе годы одушевляли критику Бѣлинскаго. Замѣчено было, что параллельно съ тѣмъ, какъ развивалась дѣятельность Гоголя, происходило измѣненіе въ отзывахъ Бѣлинскаго о состояніи нашей литературы: онъ больше и больше покидаетъ отрицаніе нашей литературы, наслѣдованное отъ Надеждина, и переходитъ къ убѣжденію, что у насъ есть или начинается дѣйствительная литература, у которой есть свое развитіе и исторія; онъ находитъ въ литературѣ серьезный общественный смыслъ, и рядомъ съ этимъ покидаетъ теорію чистаго искусства. Содержаніе сочиненій Гоголя было таково, что иллюзіи относительно «дѣйствительности» были невозможны, и Бѣлинскій въ своей критикѣ приходилъ къ такъ-называемому отрицательному общественному направленію совершенно параллельно съ тѣмъ, что дѣлалось тогда въ самой поэтической литературѣ.

Но были и болѣе прямые вліянія, дѣйствовавшія на образъ мыслей Бѣлинскаго: онѣ выходили изъ среды самого кружка, въ его послѣднемъ составѣ.

Въ то первое время, когда собирались вокругъ Станкевича молодые любители философіи, въ другомъ кружкѣ ихъ сверстниковъ зарождалось другое направленіе, также теоретическое и идеальное, но съ перваго раза обратившееся къ вопросамъ иного характера. Это направленіе, представителями котораго были Герценъ и Огаревъ, и особенно первый, было, какъ и направленіе Станкевича, результатомъ и домашнихъ условій, и вліяній европейской литературы; и неясные въ началѣ, инстинктивно-понятые отголоски движенія двадцатыхъ годовъ, и поэзія Шиллера, и новѣйшая политическая и социальная литература (но не германская философія) положили основаніе образу мыслей, несходному съ интересами кружка Станкевича и направленному всего болѣе на предметы политическіе. Но когда люди обоихъ этихъ направленій встрѣтились нѣсколько позднѣе, около 1840 года, и, начавши спорами, успѣли отчасти объяснить себя другъ другу, то оказалось, что въ ихъ стремленіяхъ было много родственнаго, что вскорѣ и сблизило ихъ до дружескихъ отношеній, и наконецъ до полного согласія общихъ взглядовъ. Одни поступились философскимъ идеализмомъ, другіе приняли съ своей стороны за Гегеля и научились философскому методу, и для обоихъ обозначилась одна общая цѣль—ввести въ литературу и въ умы общества тѣ

принципы, къ которымъ они приходили изученіемъ европейской образованности.

Развитіе Герцена было самобытно и исключительно, какъ была самобытна его высоко-даровитая природа. Не повторяя извѣстныхъ фактовъ его біографіи и его собственныхъ разъясненій, довольно замѣтить, что сильный умъ, блестящій талантъ писателя и рѣдкое остроуміе соединялись въ немъ съ чрезвычайно обширнымъ образованіемъ, — качества, которыя потомъ нашли успѣхъ и признаніе въ европейской литературѣ ¹⁾. Съ самаго начала его сознательной жизни, мысли его получили политическое направленіе, въ смыслѣ самаго рѣшительнаго либерализма: онъ изъ дома вынесъ вражду къ крѣпостному праву, а затѣмъ и отрицаніе цѣлой общественности того времени. Конечно, онъ могъ только отчасти высказывать въ литературѣ свой взглядъ на вещи, но въ его произведеніяхъ всегда слышалась свѣжая освободительная струя, возбужденіе къ критикѣ, вражда къ застою, обскурантизму и общественной несправедливости. Его остроумная, живописная, тонкая манера съ перваго раза дали большую популярность выбранному имъ псевдону. Его энциклопедическая образованность дѣлала его сочиненія прекраснымъ воспитательнымъ средствомъ для умовъ, въ которыхъ была потребность живого знанія. На Бѣлинскаго онъ имѣлъ несомнѣнное вліяніе, противодействуя крайностямъ его идеализма: статья о «Бородинской годовщинѣ» поссорила ихъ, но вскорѣ, когда самъ Бѣлинскій увидѣлъ свою ошибку и свое странное положеніе, они тѣмъ больше сблизились. Ихъ соединялъ одинаковый энтузіазмъ; но Герценъ далеко превосходилъ его своимъ многостороннимъ образованіемъ, знакомствомъ съ новѣйшей исторіей и новѣйшей литературой, и въ этомъ отношеніи, кажется, немало помогалъ Бѣлинскому. Если не ошибаемся, онъ, между прочимъ, указалъ Бѣлинскому значеніе произведеній Жоржа-Занда, къ которымъ тотъ прежде относился съ большимъ предубѣжденіемъ и враждой. Во внутреннихъ вопросахъ, между ними, кажется, уже скоро не было никакихъ споровъ...

Къ концу тридцатыхъ годовъ, въ московскомъ университетѣ наступаетъ новая оживленная пора, вслѣдствіе пріѣзда молодыхъ профессоровъ, окончившихъ за-границей свои приготовленія къ каедрѣ: съ ними вошелъ въ нашу умственную жизнь новый запасъ европейскаго научнаго знанія и глубокаго интереса къ успѣхамъ русскаго просвѣщенія. Станкевичъ, проводившій послѣдніе годы жизни за границей, умеръ въ 1841 году. Въ Москвѣ обра-

¹⁾ Ср. его біографію, написанную Альтгаузомъ, въ *Unsere Zeit*, 1872.

зовался новый кружокъ, болѣе зрѣлаго характера, въ которомъ собрались также прежніе друзья Станкевича и которому предстояла не менѣе благотворная дѣятельность. Чтобы характеризовать его, довольно назвать имя Грановскаго, который тѣсно сдружился со Станкевичемъ за границей, и по собственнымъ словамъ, много занялъ отъ него въ своемъ развитіи и напоминалъ его своей мягкой, идеальной человѣчностью. «Въ числѣ друзей Грановскаго,—говоритъ его біографъ,—вскорѣ явился человѣкъ, сдѣлавшійся для него дорогимъ на всю его жизнь. Въ 1842 году переселился въ Москву изъ Новгорода А. И. Герценъ. Живой, умный, разнообразно образованный, полный интересовъ научныхъ и общественныхъ, даровитый и остроумный, онъ соединялъ въ себѣ все, что дѣлало его бесѣду и сообщество привлекательнымъ и живительнымъ для Грановскаго и друзей его. Тѣсный кружокъ друзей собирался часто вмѣстѣ. Каждый изъ нихъ много читалъ. Всякое значительное явленіе, къ какой бы области знанія, искусства, литературы ни принадлежало оно, было извѣстно одному изъ нихъ. Прочтенное и узнанное въ спорахъ и бесѣдахъ дѣлалось общимъ достояніемъ друзей. Рядомъ съ веселой бесѣдой, шутками и остротами, друзья обмѣнивались мнѣніями, мыслями, новостями. Въ частыхъ бесѣдахъ обобщались ихъ понятія и мнѣнія. Въ этомъ кружкѣ образованныхъ и одушевленныхъ живыми интересами людей нерѣдко появлялись замѣчательнѣйшіе и даровитѣйшіе изъ нашихъ литераторовъ и артистовъ... Друзья не довольствовались наслажденіемъ мыслью и знаніемъ. Они были дѣятельны въ той мѣрѣ, въ какой современныя условія допускали научную и литературную дѣятельность. Иной изъ нихъ издавалъ газету, другой переводы, третій писалъ статьи для журнала»...

Грановскаго знали Бѣлинскій еще раньше, въ Москвѣ, до отъѣзда перваго за границу. Теперешній московскій кружокъ остался въ дружескихъ связяхъ съ Бѣлинскимъ и послѣ переѣзда его въ Петербургъ. Московскій кружокъ (Герценъ, Грановскій, Кудрявцевъ, писавшій подъ псевдонимомъ Нестроева, Боткинъ и др.) постоянно участвовали въ журналѣ, гдѣ работалъ Бѣлинскій,—сначала въ «Отечественныхъ Запискахъ», потомъ въ «Современникѣ». Эти силы дѣйствовали въ одномъ общемъ направленіи: всѣ, болѣе или менѣе воспитавшіеся въ идеальныхъ стремленіяхъ, проникнуты были желаніемъ работать для просвѣщенія и гуманности; всѣ одинаково понимали недостатки русскаго общества въ этомъ отношеніи, и находили единственное средство для лучшаго будущаго въ широкомъ распространеніи образованія, и, въ дальнѣйшей перспективѣ,—убѣждены были въ необходимости

развить въ обществѣ понятіе о болѣе совершенныхъ формахъ общественнаго устройства и стремленіе къ нимъ. Бѣлинскій безъ сомнѣнія многое заимствовалъ отъ этихъ друзей московскаго круга, отъ умственной и нравственной солидарности съ ними. Такъ отъ вліянія Герцена, въ значительной степени, произошелъ его поворотъ съ консервативно-идеалистической точки зрѣнія, и болѣе строгій и внимательный взглядъ на свойства нашей общественности. Отсюда шелъ новый взглядъ его на французскую литературу, противъ которой онъ былъ предубѣжденъ въ прежнее время, по пристрастію къ мнѣніямъ нѣмецкой философіи; такъ, онъ сталъ восторженнымъ поклонникомъ художественнаго таланта и общественной тенденціи Ж. Занда. Интересъ къ современной исторіи, къ политическимъ и социальнымъ движеніямъ европейскаго общества съ новой стороны дополнилъ и исправилъ прежнія мнѣнія Бѣлинскаго и окончательно утвердилъ его понятія о томъ, что нужно для успѣховъ русской общественной жизни и образованности... Недавно его называли, съ цѣлью лишняго уязвленія, социалистомъ. Собственно говоря, не было бы большой бѣды, если бы это обозначеніе было вѣрно,—потому что весь тогдашній «соціализмъ», какой и былъ, конечно былъ не больше какъ однимъ изъ тѣхъ идеальныхъ увлеченій, которыя въ особенности развиваются въ извѣстные періоды, какъ необходимая потребность наполнить пустоту и бѣдность общественной жизни, и въ этомъ смыслѣ совершенно законны; что напѣ такъ-называемый «соціализмъ», будучи невиненъ логически, какъ чисто идеалистическая вещь, былъ столько же невиненъ и въ практически-гражданскомъ отношеніи, — объ этомъ странно и говорить, потому что онъ никогда не выходилъ изъ области мечтаній. Что касается до Бѣлинскаго, то въ его мнѣніяхъ, кажется, и вовсе не было никакого социализма. Въ вопросахъ внутренней жизни русскаго общества, которые все больше начинали его занимать въ послѣдніе годы, онъ довольно ясно видѣлъ положеніе вещей; его такъ-называемое отрицаніе обращалось противъ самыхъ дѣйствительныхъ золъ нашего общественнаго и народнаго быта, противъ крѣпостного права, бюрократическаго произвола, всякаго рода общественной несправедливости, обскурантизма и т. д., и надо полагать, что эти, слишкомъ осязательныя и слишкомъ часто напоминавшія о себѣ явленія были для него предметомъ такого близкаго значенія и такъ его возбуждали, что едва ли онъ могъ найти интересъ въ системѣ, столь крайне идеалистической, какъ тогдашній социализмъ. Онъ, повидимому, не задавался столь отдаленными перспективами. Наконецъ, въ его сочиненіяхъ нѣтъ ничего похожаго на социализмъ...

Въ сороковыхъ годахъ, кружокъ друзей, которые лѣтъ десять передъ тѣмъ съ юношескимъ энтузіазмомъ увлекались нѣмецкой философіей и были мало замѣтны въ литературѣ, еще полной романтическими преданіями, — этотъ кружокъ, съ своими новыми развѣтвленіями, хотя все еще немногочисленный, занималъ въ литературѣ господствующее положеніе. Разнообразная дѣятельность Герцена, университетское преподаваніе и историческія сочиненія Грановскаго, труды по русской исторіи гг. Соловьева, Кавелина, Павлова, изученіе европейской новѣйшей исторіи, политико-экономическіе интересы, изученіе новой европейской литературы—въ работахъ Фролова, Боткина, Кудрявцева, Влад. Милютина, Анненкова и т. д., все это вносило въ литературу содержаніе, полное глубокаго значенія. Эта дѣятельность, проникнутая однимъ общимъ характеромъ,—стремленіемъ къ просвѣщенію, къ объясненію русской жизни, къ нравственному освобожденію,—съ перваго раза, какъ она могла установиться нѣсколько правильно, привлекла къ себѣ ту часть общества, въ которой были лучшіе задатки и въ которой подобныя стремленія еще оставались неяснымъ инстинктомъ. Бѣлинскому, въ этой дѣятельности, принадлежала очень важная роль: онъ не былъ въ этомъ цѣломъ кругу господствующей личностью,—которой и вовсе не было;—многимъ онъ даже обязанъ былъ другимъ,—но это былъ человѣкъ страстнаго убѣжденія, неутомимой дѣятельности, и онъ, безъ сомнѣнія, сдѣлалъ больше всѣхъ другихъ въ распространеніи тѣхъ понятій, которыя составляли содержаніе и особенность такъ-называемаго «западнаго» направленія.

Главная сила таланта Бѣлинскаго состояла въ живомъ пониманіи искусства; проницательность его критики, признаваемая самими его противниками, много разъ замѣчательнымъ образомъ оправдывалась. Главная заслуга Бѣлинскаго — созданіе русской критики, и вмѣстѣ—эстетической исторіи литературы. Съ первой статьи, которою онъ началъ свое критическое поприще, онъ устанавливаетъ теоретическія понятія о литературѣ, изъ которыхъ, путемъ послѣдовательнаго развитія, образовались его позднѣйшія понятія. Въ своихъ эстетическихъ представленіяхъ, онъ началъ съ теоріи безсознательнаго творчества, но по мѣрѣ того, какъ спадалъ философскій туманъ и разъяснялось для него жизненное назначеніе искусства, Бѣлинскій отклоняется отъ первоначальной точки зрѣнія, и даетъ все больше и больше мѣста теоріи созна-

тельнаго творчества и требованіямъ жизни и общества. Онъ понимаетъ теперь искусство уже не какъ безсознательное и эгоистическое витаніе художника въ его исключительной сферѣ, но какъ одно изъ выраженій жизни, разумѣніе которой и служеніе ей обязательны для художника, какъ для всякаго мыслящаго человека. Цѣня въ литературѣ одно изъ главнѣйшихъ средствъ общественнаго развитія, особенно въ тѣ времена, когда только въ литературѣ общественная мысль могла сколько-нибудь высказываться, — критика переходила на публицистическую почву, или точнѣе говоря, впервые поставила дѣйствительную задачу, предстоящую литературѣ, — которая до того времени довольствовалась у насъ ролью или отвлеченной, или элементарно-дидактической, или дилеттантской. Какъ бы дальше ни совершалось движеніе, какіе принципы ни проповѣдовала бы литература, но съ тѣхъ поръ она уже стояла на почвѣ дѣйствительныхъ интересовъ жизни, выражала существующія въ ней направленія, а не служила только отвлеченному дилеттантскому развлеченію. Въ этомъ измѣненіи значенія литературы въ обществѣ, — очень большая доля заслуги принадлежала именно Бѣлинскому.

Дѣятельность Бѣлинскаго въ этомъ отношеніи, и вообще дѣятельность этого круга находила опору въ естественномъ возрастаніи самой литературы. Въ сороковыхъ годахъ литература представляла любопытное зрѣлище новой возникавшей жизни. Тотъ протестъ противъ застоя и стѣсненія образованности и общественной жизни, — къ которому приходилъ кругъ Бѣлинскаго, — выражался въ то же время въ литературѣ поэтической. Когда работывалось теоретически понятіе о необходимости реальнаго содержанія въ литературѣ, о необходимости изученія самой жизни, объ изгнаніи романтической фантастики, — въ нашей поэзіи являются таланты первостепенной силы, идущіе въ этомъ самомъ направленіи: Гоголь, Кольцовъ, Лермонтовъ. Всѣ они являются совершенно независимо одинъ отъ другого, и вмѣстѣ независимо отъ критической школы круга Бѣлинскаго ¹⁾. Гоголь и Кольцовъ явились внѣ всякаго вліянія европейской литературы, даже съ самымъ ограниченнымъ образованіемъ, — но это не помѣшало ни тому, ни другому изображать народную жизнь съ такой поэзіей и правы общества съ такой правдой, какихъ еще не видѣла наша литература. Здѣсь являлась, наконецъ, та чистая дѣй-

¹⁾ Только Кольцовъ былъ дружески связанъ съ кружкомъ Станкевича, и отчасти развивался подъ его вліяніемъ, — но сущность его поэзіи образовалась конечно раньше и вполне самостоятельно.

ствительность, которой доискивалась философская теорія. Съ Гоголемъ литература окончательно становилась на ту дорогу, которой такъ долго искала оцупью, и совершенно свободная отъ чужихъ вліяній, приобрѣтала чисто русское содержаніе. Развитие Лермонтова шло инымъ путемъ, съ одной стороны подъ сильнымъ вліяніемъ Байрона, съ другой — въ общественномъ кругу, очень далекомъ отъ народной жизни, но, несмотря на то, и Лермонтовъ замѣчательно угадывалъ народно-поэтическіе мотивы (въ «Пѣснѣ о Калашниковѣ»), какъ въ то время это удавалось только одному Кольцову, и какъ удавалось только рѣдко и очень немногимъ послѣ того. Вмѣстѣ съ тѣмъ, во многихъ стихотвореніяхъ и въ «Героѣ нашего времени» онъ затрогивалъ самыя глубокія помышленія лучшихъ умовъ своего времени.

Это совпаденіе теоретическаго развитія понятій съ фактами поэтической литературы указывало, что въ этихъ явленіяхъ была своя историческая необходимость. Въ самомъ дѣлѣ, среди полнаго торжества понятій официальной народности, среди той литературы, — «писанной слогомъ помадныхъ объявленій», по выраженію Гоголя, — которая доказывала, что мы живемъ въ лучшемъ изъ міровъ, являлась литература, которая, повидимому ничѣмъ не нарушая господствующаго тона, мало замѣтно для большинства, и отчасти даже для самихъ дѣятелей, вносила совершенно новыя начала. Гоголь, слѣдуя въ своихъ общественныхъ взглядахъ преданіямъ пушкинскаго круга, не помышляя ни о какомъ осужденіи существующихъ формъ, даже заискивая передъ властями, издаетъ глубокую сатиру, гдѣ дѣйствительно сквозь смѣхъ слышались слезы; противъ воли автора въ его изображеніяхъ говорило отрицаніе описываемой имъ жизни, такъ что самъ Гоголь не могъ впослѣдствіи вынести этого значенія своихъ произведеній и отрекся отъ нихъ... Поэзія Лермонтова, исполненная глубокаго и сильнаго чувства, въ своемъ соприкосновеніи съ жизнью общества была только поэзіей скорби, безнадёжности и озлобленія. Въ его произведеніяхъ встрѣчали выраженіе своего чувства тѣ «лишніе» люди, которые, съ своими порывами къ общественной дѣятельности, съ своими идеалами и стремленіями, даже съ своимъ образованіемъ, находили себя совершенно чужими въ господствующихъ нравахъ. Въ поэзіи Кольцова, народная «муза» опять не имѣла никакихъ пѣсень для народности официальной...

Общественная важность элементовъ, внесенныхъ въ литературу этими писателями, очевидная уже изъ ихъ параллельнаго и независимаго другъ отъ друга развитія, и изъ содержанія самыхъ

произведеній, обнаруживалась далѣе и тѣмъ, что эти элементы послужили основаніемъ дальнѣйшаго литературнаго развитія. Къ Гоголю особенно примыкаетъ такъ-называемая «натуральная школа», которая послѣдовала его указаніямъ и стала рисовать русскую дѣйствительность, не подкрашивая ее фальшивыми красками. Лермонтовскіе мотивы въ большой степени вошли въ изображеніе типовъ новаго образованнаго поколѣнія сороковыхъ годовъ. Кольцовъ навсегда устранилъ прежнія книжныя поддѣлки народно-поэтическаго склада и указалъ, чѣмъ можетъ быть поэзія въ настоящемъ народномъ стилѣ.

«Натуральная школа» (не забудемъ, что ея послѣднимъ завершеніемъ былъ тогда г. Тургеневъ, съ «Записками Охотника») шла по дорогѣ, указанной Гоголемъ, уже сознательно. Естественно, что она вызвала противъ себя вражду всѣхъ старыхъ партій, между прочимъ и прежней пушкинской школы; къ ней недружелюбно относились и славянофилы. Однимъ непріятно было видѣть въ ней несомнѣнное развитіе гоголевской сатиры, за которой, напримѣръ, пушкинская школа, по всему складу своихъ понятій, не хотѣла признать ея отрицательнаго значенія, или по крайней мѣрѣ одобрить его; другимъ непріятно было замѣтить очевидную связь «натуральной школы» съ образомъ мыслей, отличавшимъ «западное» направленіе: въ ней, не безъ основанія, чужали вліяніе Бѣлинскаго. Въ самомъ дѣлѣ, одной изъ главныхъ заслугъ его критики было то, что она съ перваго взгляда угадала и разъяснила все высокое значеніе Гоголя, и тѣмъ безъ сомнѣнія въ большой степени увеличила его вліяніе. Для писателей «натуральной школы» непосредственное впечатлѣніе произведеній Гоголя усиливалось всѣмъ вліяніемъ Бѣлинскаго.

Такимъ образомъ, литература и критика дѣйствовали взаимно одна на другую, и литературные вопросы совершенно измѣнили свой характеръ. «Словесныхъ дѣлъ мастера», романтическіе стилисты должны были сойти со сцены; явилось требованіе общественнаго содержанія въ литературныхъ произведеніяхъ, и Бѣлинскому почти исключительно принадлежитъ установленіе новыхъ литературныхъ идей. Задача писателя — не только художественная, но и общественная; онъ обязанъ служить лучшимъ интересамъ челоувѣческой мысли, нравственнаго и гражданскаго достоинства въ своемъ обществѣ, потому что и содержаніе искусства тождественно съ этими интересами. Бѣлинскій, хотя крайне стѣсненный въ своей литературной дѣятельности извѣстными внѣшними препятствіями, успѣлъ выразить и утвердить новый складъ

не только литературныхъ, но и общественныхъ понятій; для новыхъ поколѣній онъ сталъ нравственно-воспитывающей силой.

Изучая мнѣнія Бѣлинскаго, необходимо имѣть въ виду, что эти мнѣнія въ то время не могли быть и не были выражены съ достаточной полнотой, и что, поэтому, для полнаго пониманія ихъ надо, если не прямо предпринять «чтеніе между строками» (при чемъ легко преувеличить или произвольно понять содержаніе), то по крайней мѣрѣ взять въ соображеніе то, что бывало высказано нѣкоторыми писателями этого круга безъ упомянутыхъ стѣсненій, и по этому дополнять недостающее воображеніемъ.

Взятая въ цѣломъ, система мнѣній Бѣлинскаго и всего круга, которому онъ принадлежалъ, была продолжающимся развитіемъ идей, появившихся въ русскомъ образованномъ обществѣ въ двадцатыхъ годахъ: это была новая ступень того же критическаго обращенія къ вопросамъ нашей внутренней жизни, и того же стремленія къ формамъ общественности, болѣе совершеннымъ въ гражданскомъ смыслѣ. Движеніе двадцатыхъ годовъ было прервано и не оставило никакого опредѣленнаго результата; но мысль, въ немъ лежавшая, сохранилась. Посредствующимъ звеномъ между стремленіями двухъ поколѣній было «Письмо» Чадаева; его скептицизмъ и европейскія симпатіи были тѣмъ содержаніемъ, которое нужно было переработать, чтобы идти дальше. Новое направленіе, пройдя свою предварительную школу въ идеализмѣ Гегелевой философіи, вскорѣ заявило свои общественные взгляды: достигнувъ своей зрѣлости, оно рѣшительно покинуло дорогу оффиціальной народности, не удовлетворяясь ея результатомъ—существовавшимъ характеромъ умственной и общественной жизни. Но дѣятельность для людей этого направленія была тогда возможна исключительно въ области предметовъ и интересовъ литературныхъ; поэтому, Бѣлинскому оставалось бороться противъ старыхъ литературныхъ партій, олицетворявшихъ въ себѣ консервативную рутину. Господствующая система понятій оффиціальной народности не могла подлежать критикѣ; въ этомъ отношеніи новое направленіе было совершенно связано; въ спорахъ съ старыми литературными партіями, оно по необходимости должно было умалчивать объ этой сторонѣ ихъ мнѣній, выражая только свое несочувствіе къ «квасному и кулачному патріотизму»; чисто литературная часть дѣятельности старыхъ партій была порвана уже вскорѣ новымъ направленіемъ. Главнымъ противни-

комъ, съ которымъ слѣдовало бороться, оставались славянофилы ¹⁾. Кружокъ, къ которому принадлежалъ Бѣлинскій, боролся съ ними въ особенности потому, что видѣлъ въ славянофильствѣ силу, равную себѣ по умственному оружію и общимъ философскимъ основаніямъ (другіе равны не были), но въ его мнѣніяхъ видѣлъ тѣ же начала официальной народности, только въ формѣ, облеченной въ философскія доказательства, ухищренной и доктринерской. Выше мы имѣли случай упоминать, какъ легко было въ сороковыхъ годахъ смѣшивать славянофильство съ мнѣніями г. Погодина и Шевырева; иногда славянофилы вступали въ

¹⁾ По поводу славянофильства, г. Погодинъ выставляетъ противъ меня въ „Гражданинѣ“ цѣлый рядъ всякихъ обвиненій, между прочимъ въ томъ, что я то включаю въ славянофильство его, г. Погодина, и „Москвитянина“, то выдѣляю ихъ,—и что я не узналъ литературы предмета (я пересчитывалъ ее еще со студентской скамьи). Но самъ обвинитель конечно запомнилъ эту литературу, потому что выдѣленіе „Москвитянина“ г. Погодина и Шевырева (какъ и выдѣленіе „Маяка“) изъ славянофильства сдѣлано вовсе не мною въ первый разъ, а гораздо ранѣе, — сначала, отчасти самими настоящими славянофилами, а потомъ между прочимъ нѣкоторыми критиками, совершенно благопріятными славянофильству. Предоставляемъ г. Погодину, *знающему* литературу, припомнить, какія это были критики. (Если онъ не припомнитъ, я пожалуй послѣ самъ укажу цитаты, гдѣ онъ это найдетъ).

Въ сороковыхъ годахъ, напротивъ, часто смѣшивали „Москвитянина“, г. Погодина и Шевырева, и славянофиловъ въ одну партію, по той простой причинѣ, что въ то время отчасти не вполне еще опредѣлилась ихъ разница, отчасти потому, что славянофилы, не имѣя собственного изданія, прибѣгали иногда къ „Москвитянину“. Впослѣдствіи, чтобы высказываться безъ чужихъ дополненій, славянофилы начали издавать свои „Сборники“.

А существенная разница между ними, говоря вкратцѣ, была та, что въ понятіяхъ „Москвитянина“ было гораздо больше поддакиванія и лести официальной народности (или казенной, какъ прибавляетъ г. Погодинъ,—все равно), чѣмъ славянофилы считали приличнымъ, и что въ „Москвитянинѣ“ былъ еще особый такъ сказать юридическій элементъ, котораго славянофилы также удалялись.

Наконцѣ, относительно другихъ мнимыхъ историческихъ ошибокъ, открытыхъ г. Погодинымъ въ моемъ изложеніи славянофильства, прибавлю, что, во-первыхъ, въ настоящихъ очеркахъ я вообще не бралъ на себя полного и послѣдовательнаго изложенія фактовъ, и предполагая ихъ извѣстными, останавливался на томъ, что по моему мнѣнію требовало новаго объясненія; во-вторыхъ, полной исторіи славянофильства не можетъ быть въ моемъ изложеніи и потому, что предѣлы очерковъ ограничены половиной пятидесятихъ годовъ, что упоминается въ заглавіи; въ-третьихъ, для нѣкоторыхъ (г. Погодину неясныхъ) отзывовъ о положеніи партій, я имѣлъ данныя, вѣроятно забытыя г. Погодинымъ (укажу для примѣра хоть біографію Грановскаго). Наконецъ, что касается другихъ неясностей, которыя г. Погодинъ вызываетъ меня истолковать, то пусть мой противникъ потрудится самъ объяснить ихъ себѣ (я желаю только объясненія безпристрастнаго), — а я въ *настоящее время* толковать ихъ подробнѣе не имѣю желанія: другимъ читателямъ, довольно компетентнымъ въ славянофильскомъ вопросѣ—сколько я слышалъ—мои мнѣнія, невразумительныя для г. Погодина, были достаточно понятны.

«Москвитянинъ», не отказываясь отъ солидарности съ его другими мнѣніями. Понятно, что большинство читателей въ то время совершенно ихъ смѣшивало, и критика не могла не трактовать ихъ вмѣстѣ. Но положеніе круга Бѣлинскаго въ этомъ спорѣ было далеко не благопріятное: ихъ противники являлись въ слишкомъ тѣсномъ союзѣ съ авторитетомъ, до котораго нельзя было касаться.

Споръ, происходившій между двумя сторонами, представлялъ собой въ сущности давнее историческое столкновеніе двухъ началъ, которыя можно опредѣлить какъ консервативное преданіе и потребность прогресса, какъ національную исключительность и стремленіе къ усвоенію европейской образованности. Теперь этотъ споръ велся въ области тѣхъ теоретическихъ понятій, до которыхъ достигъ небольшой слой наиболѣе образованныхъ людей. Обѣ стороны исходили изъ однихъ первоначальныхъ философскихъ изученій. Философія Гегеля была такъ абстрактна, что изъ нея, въ практическихъ примѣненіяхъ, можно было извлекать самые несходные выводы, и они были извлечены. Славянофилы выводили изъ нея свое ученіе въ духѣ правой стороны Гегелевой школы; ихъ противники, отчасти наскучивъ философской казуистикой и тѣсными результатами, какіе давала эта философія въ своемъ буквальномъ смыслѣ, отчасти подъ вліяніемъ другого порядка идей, вынесеннаго изъ общественно-политическихъ изученій, — отвергли ея консервативные выводы и развивали ея основанія дальше, въ томъ духѣ, въ какомъ стали излагать это ученіе въ самой Германіи наиболѣе смѣлые послѣдователи школы. (Образчикомъ остаются, напр., извѣстныя «Письма объ Изученіи Природы», — въ которыхъ многія страницы написаны какъ будто теперь, какимъ-нибудь изъ писателей, основывающихъ философію на началахъ естествознанія). Разница въ этихъ пріемахъ философскаго разсужденія, естественно сопровождалась разницей, даже противоположностью въ выводѣ — во всей системѣ мнѣній. Славянофилы и кругъ друзей Бѣлинскаго разошлись и въ теологіи, и въ исторіи, и въ понятіяхъ общественныхъ.

Мы видѣли, въ какомъ духѣ славянофилы развивали свою теологическую систему. Для ихъ противниковъ, эта аргументація не была убѣдительна, ни въ теоретической, ни въ исторической части ¹⁾. Относительно первой, противники славянофильства стояли

¹⁾ Понятно, что здѣсь рѣчь идетъ не объ однихъ печатныхъ разсужденіяхъ сторонъ. Въ печати, прямая постановка этихъ вопросовъ была тогда немислима. Но по временамъ противники встрѣчались, и печатную полемику замѣняли устныя бесѣды и препирательства, — изъ которыхъ кое-что проскользало и въ литературу.

на совершенно иной точкѣ зрѣнія: чистому супранатурализму славянофиловъ они противопоставили бы право свободного изслѣдованія; славянофильской догматикѣ, которой принудительность возмущала въ нихъ самыя глубокіе инстинкты ума и чувства, они противопоставили бы «молодыхъ гегеліанцевъ», раціоналистовъ, тюбингенскую школу. Даже для тѣхъ членовъ круга, которые сами отличались религіознымъ идеализмомъ, какъ Грановскій, нѣ имѣла ничего сочувственнаго догматика славянофиловъ, на которой они утверждали самыя важныя положенія объ исторіи и цивилизаціи запада и востока, и которая въ девятнадцатомъ столѣтіи хотѣла сохранить значеніе, принадлежавшее ей въ десятомъ вѣкѣ. Дѣленіе человѣческой цивилизаціи на два развитія, по раздвоенію догматики, было невообразимо для противниковъ славянофильства, по всѣмъ ихъ историческимъ понятіямъ. Въ мірѣ византійскомъ, поставленномъ такъ высоко славянофилами, они видѣли только застой и упадокъ. Если русскому народу не приходились духъ и формы запада, — спрашивали они, — то что же общаго имѣлъ русскій народъ съ жизнью византійской? Гдѣ была органическая связь между славянами, варварами отъ молодости, и греками, варварами отъ дряхлости? И что такое Византія, какъ не тотъ же Римъ, но Римъ времени упадка, безъ славныхъ воспоминаній, безъ раскаянія? Въ теологическомъ устройствѣ Византіи они видѣли тотъ же существенный характеръ, какъ въ западномъ мірѣ, только болѣе вялый и апатическій; въ ея устройствѣ гражданскомъ — только неограниченный деспотизмъ и страдательное повиновеніе, поглощеніе личности государствомъ, государства императоромъ. Южные славяне были въ продолжительныхъ и тѣсныхъ связяхъ съ этой Византіей: чтó же они изъ этого вынесли? Гдѣ цивилизующая сила византійскаго принципа, у самихъ грековъ, и у всѣхъ тѣхъ народовъ, которые принимали этотъ принципъ?

Такимъ образомъ, несогласіе мнѣній распространялось и на историческую часть вопроса. Какъ славянофилы восхваляли древнюю Русь, такъ ихъ противники считали русскую старину, періодъ господства византійскихъ заимствованій, — временемъ патріархальнаго деспотизма и невѣжества, для заключенія котораго необходима была реформа. Бѣлинскій и его друзья не убѣждались контрастомъ греко-славянской и западной цивилизаціи, который составляло славянофильство: съ одной стороны, они искали и не находили тѣхъ великихъ истинъ, которыя заключались въ древнерусской цивилизаціи, и находили только развитіе внѣшней силы въ Московскомъ царствѣ, византійско-восточнаго склада, и нравы,

описанные Котошихинымъ; съ другой, удивлялись, какъ славянофильство могло такъ легко и странно относиться къ тому, что выработано умственной и политической исторіей Европы... Наконецъ, они только смѣялись надъ тѣмъ, какъ близкій по духу славянофиламъ «Москвитянинъ», особенно устами Шевырева, обличалъ «развратъ мышленія» и «безстыдство знанія», овладѣвшіе Европой...

Противъ писателей «западнаго» направленія, и противъ Бѣлинскаго особенно, не одинъ разъ въ послѣдствіи выставлены были обвиненія въ этомъ пренебреженіи къ древней Руси и непониманіи ея, въ такомъ же непониманіи и несправедливомъ отношеніи къ народной поэзіи, къ возникавшей малорусской литературѣ, наконецъ къ цѣлому славянскому міру; рядомъ съ этимъ, винили ихъ въ крайнемъ поклоненіи Петру Великому, реформѣ, государственному началу (даже въ «централизаціи»!), за которыми они признавали право какъ за силой, и т. п. Винили даже въ несочувствіи вообще къ народному. Устраняя это послѣднее обвиненіе, какъ основанное, относительно крута Бѣлинскаго, на явномъ недоразумѣніи, о другихъ обвиненіяхъ надо замѣтить слѣдующее. Во-первыхъ, обвинители отчасти приводятъ мнѣнія Бѣлинскаго безъ должнаго разбора, смѣшивая въ одно его первыя сочиненія и послѣднія, тогда какъ первыя были только началомъ, приготовленіемъ, которое послѣ было имъ покинуто. Во-вторыхъ, мнѣнія Бѣлинскаго объ этихъ предметахъ всего чаще высказывались въ полемической формѣ, слѣдовательно, высказывались въ болѣе обыкновеннаго рѣзкой формѣ, и, рассчитанныя на опроверженіе противнаго мнѣнія, по необходимостиставляли больше одну спорную часть предмета. Въ-третьихъ, недостатки Бѣлинскаго были недостатками времени: въ то время не было ни тѣхъ научныхъ изслѣдованій, которыя теперь измѣнили къ лучшему наши историческія представленія, ни тѣхъ явленій литературныхъ, которыя такимъ же образомъ измѣняли прежніе взгляды,—каково напр. послѣднее развитіе малорусской литературы и т. п. Въ мнѣніяхъ Бѣлинскаго были, правда, и дѣйствительныя ошибки и крайности, но за то кому мы больше всего обязаны тѣмъ, что остановлены были другія крайности, конечно гораздо болѣе вредныя?

Вникнувъ въ понятія Бѣлинскаго, мы увидимъ, что въ свое время, сказанное имъ имѣло свои основанія, могло или должно было быть сказано; увидимъ, что были въ его мнѣніяхъ и ошибки, но увидимъ также ихъ причину, и потому умѣримъ и обвиненія, или совершенно ихъ отвергнемъ. Славянофилы, и ихъ друзья въ

«Москвитянинъ» пустили въ ходъ мысль о «гніеніи Запада»: отчасти, эта мысль служила и полемическимъ ударомъ «западному» направленію. Люди этого направленія находили проповѣдь о гніеніи Запада просто бессмысленной, когда она шла, напр., отъ Шевырева, но вмѣстѣ и вредной, потому что она самымъ грубымъ образомъ вторила тому обскурантизму, котораго у насъ всегда бывало вдоволь. Серьезнѣе относились они къ этому обвиненію, когда оно шло отъ настоящихъ славянофиловъ, какъ Хомяковъ, Кирѣевскій,—потому что и мнѣнія ихъ были серьезнѣе. На положеніе о гніеніи Запада они отвѣчали различными объясненіями. Прежде всего, они находили, что мысль не нова, и даже принадлежитъ не намъ, а нѣкоторымъ писателямъ самой Европы. «Европа, — говорили они, — не дожидалась ни поэзіи Хомякова, ни прозы редакторовъ «Москвитянина», чтобы понять, что она теперь наканунѣ переворота, возрожденія или полного разложенія. Сознаніе упадка нынѣшняго общества, это — социализмъ, и конечно, его писатели заимствовали свой приговоръ противъ современной Европы не изъ сочиненій Шафарика, Коллара или Мицкевича. Социализмъ былъ извѣстенъ въ Россіи лѣтъ десять раньше того, чѣмъ стали говорить о славянофилахъ»... Но если указанный источникъ могъ существовать для Хомякова или Кирѣевскаго, то для другихъ проповѣдниковъ гніенія Запада, какъ для Шевырева, послужили, быть можетъ, другіе источники, также западные, только имѣвшіе гораздо менѣе смысла или вовсе его неимѣвшіе, напр., писанія всякихъ ретроградныхъ партій, феодаловъ и клерикаловъ, которымъ современная Европа казалась близкой къ гибели по крайнему развитію невѣрія и либерализма: это совершенно сходилось съ тѣмъ, что подобныя ретроградныя партіи думали объ Европѣ и у насъ.

Но откуда бы ни взялась, эта мысль была крайней нелѣпостью какъ аргументъ противъ нашего заимствованія западной образованности. Если даже вѣрить западнымъ пессимистамъ, то гибель грозила въ Европѣ только извѣстнымъ общественнымъ формамъ, въ которыхъ дѣйствительно было и есть много гнилого, но вовсе не самой цивилизаціи, не собраннымъ ею богатствамъ науки и искусства. Самъ западный пессимизмъ, у социалистовъ, происходилъ изъ чувства общественной справедливости, которое было плодомъ той же цивилизаціи и становится болѣе и болѣе общимъ. У насъ проповѣдники гніенія Запада даже не поняли, или не захотѣли понять настоящаго значенія этихъ западныхъ отрицаній современной европейской жизни, и они напрасно ссылались на западныхъ отрицателей (какъ и теперь вздумали сослаться на

Гартмана), потому что западные отрицатели, конечно, не удовлетворились бы *тѣми* разрѣшеніями этого вопроса, какое предлагали наши философы. Западное недовольство европейской жизнью было недовольство взрослого человѣка результатомъ, который былъ бы еще очень и очень хорошъ для мальчика или юноши, и наша проповѣдь европейскаго гніенія производила тѣмъ болѣе тяжелое впечатлѣніе, что наша собственная образованность была по-истинѣ нищенская.

Бѣлинскій между прочимъ остановился на этомъ предметѣ по поводу «Русскихъ Ночей» кн. Одоевскаго, гдѣ одно изъ дѣйствующихъ лицъ, Фаустъ, излагаетъ это гніеніе Запада. Бѣлинскій указываетъ сходство его мнѣній съ славянофильскими, — признаетъ, что много есть очень вѣрнаго въ его изображеніяхъ общественныхъ бѣдствій европейской жизни, напр., пролетариата и т. п., но приводитъ цѣлый рядъ своихъ возраженій на общую мысль, и въ заключеніе очень вѣрно характеризуетъ сомнѣніе этого Фауста, — и, конечно, кн. Одоевскаго. «Да, ужасно въ нравственномъ отношеніи состояніе современной Европы, — говоритъ Бѣлинскій. Скажемъ болѣе: оно уже никому не новость, особенно для самой Европы, и тамъ объ этомъ и говорятъ и пишутъ еще съ гораздо болѣшимъ знаніемъ дѣла и болѣшимъ убѣжденіемъ, нежели въ состояніи дѣлать это кто-либо у насъ. Но какое же заключеніе должно сдѣлать изъ этого взгляда на состояніе Европы? Неужели согласиться съ Фаустомъ, что Европа того и гляди прикажетъ долго жить, а мы, славяне, напечемъ блиновъ на весь міръ, да и давай поминки творить по покойницѣ?... Подобная мысль, еслибъ о ея существованіи узнала Европа, никого не ужаснула бы тамъ... Нельзя такъ легко дѣлать заключенія о такихъ тяжелыхъ вещахъ, какова смерть — не только народа (морить народовъ намъ ужъ нипочемъ), но цѣлой, и притомъ лучшей, образованнѣйшей части свѣта. Европа больна, — это правда, но не бойтесь, чтобы она умерла; ея болѣзнь отъ избытка здоровья, отъ избытка жизненныхъ силъ; это болѣзнь временная, это кризисъ внутренней, подземной борьбы стараго съ новымъ: это — усиліе отрѣшиться отъ общественныхъ основаній среднихъ вѣковъ и замѣнить ихъ основаніями, на разумѣ и натурѣ человѣка основанными. Европѣ не въ первый разъ быть больною: она была больна во время крестовыхъ походовъ и ждала тогда конца міра; она была больна передъ реформаціею и во время реформаціи, — а вѣдь не умерла же, къ удовольствію господъ душеприкащиковъ ея! Идя своею дорогою развитія, мы, русскіе, имѣемъ слабость всѣ явленія западной исторіи *мрять* на свой собственный ар-

ини: мудро ли послѣ этого, что Европа представляется намъ то домомъ умалишенныхъ, то безнадежною больною? мы кричимъ: «Западъ! Востокъ! Тевтонское племя! Славянское племя!» и забываемъ, что подъ этими словами должно разумѣть *человѣчество*... Мы предвидимъ наше великое будущее; но хотимъ непременно имѣть его на счетъ смерти Европы: какой по-истинѣ *братскій* взглядъ на вещи! Не лучше ли, не человѣчнѣе ли, не гуманнѣе ли разсуждать такъ: насъ ожидаетъ безконечное развитіе, великіе успѣхи въ будущемъ, но и развитіе Европы и ея успѣхи пойдутъ своимъ чередомъ? Неужели для счастья одного брата непременно нужна гибель другого? Какая не философская, не цивилизованная, и не христіанская мысль!..» ¹⁾

Бѣлинскій опровергаетъ затѣмъ и другія мнѣнія Фауста, приводившія его къ сомнѣніямъ о судьбѣ Европы, и его замѣчанія достаточно разъясняютъ дѣло. Надо замѣтить, что у славянофиловъ и въ «Москвитинѣ» гибель Европы утверждалась еще гораздо болѣе категорически (хотя, быть можетъ, съ меньшими доказательствами), чѣмъ у кн. Одоевскаго, — и нужно представить себѣ условія тогдашней литературы, чтобы судить о впечатлѣніи, какое должны были производить эти обвиненія западной образованности, и безъ того заподозрѣнной у насъ, какъ источника всякой порчи. Безъ этого, нападенія на западную Европу были совершенно безвредны, и дѣйствительно служили поводомъ къ самому веселому остроумію Герцена.

Мы видѣли прежде, какимъ образомъ споръ о родовомъ и общинномъ бытѣ выросталъ въ споръ партій до спора о самомъ принципѣ цивилизаціи. Писатели «западнаго» направленія могли быть неправы въ исторической части предмета, видя родовой бытъ тамъ, гдѣ были другія бытовые формы, — но вопросъ этимъ не исчерпывался. Говоря о поглощеніи личности родовымъ бытомъ, «западное» направленіе разумѣло то поглощеніе личности бытовыми формами (какія именно онѣ были, въ *этомъ* смыслѣ было почти безразлично), которое кончалось политическимъ безправіемъ и рабствомъ. Общинный бытъ, защищаемый славянофилами, не предотвратилъ также этого рабства. Славянофилы отвергали европейское понятіе о личности, смѣшивая его съ узкимъ эгоизмомъ и не желая видѣть его другого значенія, которое представлялось цѣлымъ рядомъ историческихъ освободительныхъ идей, достигнутыхъ развитіемъ личности на Западѣ. Но сами славянофилы не разрѣшали вопроса объ отношеніи личности и государства, или

¹⁾ Сочин. Бѣл. IX, стр. 56 и слѣд.

разрѣшали его очень странно. Настаивая на общинѣ, они не объясняли, какимъ образомъ она могла имѣть цивилизующее вліяніе, и почему внутренній общественно-политическій результатъ ея былъ такъ ограниченъ. Кіевскій общинный бытъ не помѣшалъ образоваться чисто-деспотическому характеру московскаго царства, не помѣшалъ потомъ подавленію всѣхъ инстинктовъ свободы, зародышъ которыхъ былъ въ древнихъ учрежденіяхъ... «Западное» направленіе думало, что община сдѣлала мало, что не спасши древней общественной свободы, она и потомъ не спасла крестьянина отъ крѣпостного права, и что ея дальнѣйшее существованіе (которое безъ сомнѣнія было бы важно) едва ли можетъ быть прочно безъ свободы личности. Оно думало при этомъ, что самый нашъ интересъ къ общинѣ начался только тогда, когда западный социализмъ, забывши старую европейскую общину, вновь теоретически построилъ ее, — тогда только и мы вспомнили о своей старой, еще уцѣлѣвшей общинѣ.

На указанія о поглощеніи личности бытовыми формами (тѣми или другими) въ древней Руси, — славянофилы отвѣчали, въ упомянутой прежде статьѣ М... З... К..., своеобразной теоріей, по которой, напротивъ, личность въ древне-русской жизни была развита, но съ тѣмъ вмѣстѣ столь проникнута христіанскимъ смиреніемъ и интересомъ общины, что отрицала самоѣ себя и передавала все свое содержаніе одному верховному главѣ цѣлой земской общины... «Москвитянинъ, — говорить (намекая на эту статью М... З... К...) одинъ современникъ, — заимствовалъ свои аргументы изъ старыхъ русскихъ лѣтописей, изъ греческаго катихизиса и Гегелевскаго формализма. Славянофильскій авторъ полагаетъ, что начало личности было развито въ древней Россіи, но что личность, просвѣщенная греческою церковью, обладала высокимъ даромъ самопожертвованія и добровольно переносила свою свободу на личность государя... Онъ выражаетъ собой состраданіе, благоволеніе и свободную индивидуальность. Каждый отказывался отъ личной самостоятельности, и вмѣстѣ съ тѣмъ спасалъ ее въ представителѣ личнаго начала, государѣ.» Упомянутый современникъ самымъ рѣшительнымъ образомъ возстаетъ противъ этой «испорченной діалектики», противъ этого «безнравственнаго злоупотребленія словъ», безнравственнаго потому, что оно дѣлается сознательно. «Что значать эти метафорическія рѣшенія, которыя представляютъ только самый вопросъ наыворотъ? Къ чему эти образы, эти символы, вмѣсто самыхъ вещей? Развѣ славянофилы изучали лѣтописи Византіи затѣмъ, чтобы привить себѣ эту византійскую язву? Мы не греки временъ Палеологовъ, чтобы спо-

рить объ *opus operans* и *opus operatum* въ то время, когда ~~къ~~ намъ въ дверь стучится великое и неизвѣстное будущее»... «Философская метода славянофиловъ не нова; въ тридцатыхъ годахъ такимъ же образомъ говорила правая сторона гегеліанцевъ; нѣтъ такой нелѣпости, которой нельзя было бы ввести въ формы пустой діалектики, давая ей видъ глубокой метафизики... Славянофильскій авторъ, говоря о верховномъ представительствѣ личности, только парафразировалъ очень извѣстное опредѣленіе рабства, которое даетъ Гегель въ своей Феноменологіи (*Herr und Knecht*). Но онъ преднамѣренно забылъ, какъ Гегель выходитъ изъ этой низшей ступени человѣческаго сознанія... Надобно замѣтить, что этотъ философскій жаргонъ, по формѣ принадлежащій наукѣ, а по содержанію схоластики, встрѣчается также у іезуитовъ. Монталамберъ, отвѣчая на запросъ о жестокостяхъ, совершенныхъ папскимъ правительствомъ въ римскихъ тюрьмахъ, говорилъ: Вы говорите о жестокостяхъ папы, но онъ не можетъ быть жестокъ, ему запрещаетъ это его положеніе; онъ, намѣстникъ Иисуса Христа, можетъ только прощать, быть милосерднымъ, и дѣйствительно папы всегда прощаютъ... Насмѣшка,—которая составляетъ презирать человѣческое слово», и проч.

Таковы были мнѣнія людей «западнаго» направленія о славянофильской теоріи, выраженной въ статьѣ М... З... К... ¹⁾. Мнѣнія Бѣлинскаго были безъ сомнѣнія совершенно съ этимъ солидарны, и его собственныя опроверженія славянофильства были писаны съ той же общей точки зрѣнія. Съ теоріей М... З... К..., въ которой теологическій принципъ древней Руси также занималъ важное мѣсто, естественно соединялось извѣстное ученіе о «приниженіи личности» и о «смирненіи», будто бы составлявшемъ главнѣйшую черту въ національномъ характерѣ древней Руси, ея высокое достоинство, причину величественнаго развитія ея исторіи и ея превосходство надъ западнымъ міромъ. Эту теорію въ то время въ особенности проповѣдывалъ Шевыревъ, а впослѣдствіи К. Аксаковъ. Бѣлинскій довольно ѣдко отвѣчалъ однажды на теорію смиренія обзоромъ главнѣйшихъ фактовъ нашей исторіи, изъ котораго оказывалось, что едва-ли національное смиреніе помогло образованію русскаго государства, и что оно вообще далеко не составляло отличительнаго качества ^(см.) руководящихъ лицъ русской исторіи ²⁾.

¹⁾ Ср. статью г. Кавелина „О юридическомъ бытѣ древней Россіи“, по поводу которой славянофильскій критикъ выставилъ эту теорію, и отвѣтъ г. Кавелина на его возраженія.

²⁾ Соч., т. XI, стр. 30 и слѣд.

Разногласіе въ философскихъ понятіяхъ, въ мнѣніяхъ о теологическомъ принципѣ и западной цивилизаціи, приводило къ разногласію объ отношеніяхъ русскаго народа къ Западу и о русскомъ національномъ развитіи. Когда славянофилы противопоставляли Россію Западу, «западная» школа ставила ихъ въ ту тѣсную связь, гдѣ ихъ нравственнымъ соединеніемъ служили общечеловѣческіе принципы и идеалы. Для Бѣлинскаго и его друзей не были ни убѣдительны, ни привлекательны толки о предназначеніи русской цивилизаціи, долженствующей будто бы преодолѣть и замѣнить европейскую. Эти толки казались имъ мистической фантазіей, чѣмъ они дѣйствительно и были. Въ общемъ счетѣ, Бѣлинскій признавалъ извѣстную пользу славянофильскаго движенія, — хотя только условную и относительную, тамъ, гдѣ оно указывало недостатки русскаго европеизма; но затѣмъ, идеалы славянофиловъ, обращенные назадъ, считалъ только вреднымъ романтизмомъ, удаляющимъ отъ здраваго пониманія современныхъ потребностей нашего образованія.

Въ новѣйшее время Бѣлинскаго, какъ и другихъ людей того направленія, какъ Грановскій, Герценъ и т. п., нерѣдко упрекали въ космополитизмъ, — въ чемъ-то такомъ, что какъ будто дѣлало ихъ людьми, чуждыми русской жизни, мало ее понимающими, искавшими для нея чужихъ идеаловъ, и т. п. Нѣтъ ничего страннѣе этого обвиненія. Эти обвиненія принадлежать въ особенности тѣмъ ультра-національнымъ мыслителямъ, высшая философія которыхъ заключается въ извѣстномъ мнѣніи, что мы всѣхъ можемъ закидать шапками. Къ сожалѣнію должно сказать, что первые поводы къ этимъ обвиненіямъ даны были отчасти самими славянофилами, а также и ихъ союзниками въ «Москвитянинѣ». Друзья Бѣлинскаго съ негодованіемъ говорили о наклонности, дѣйствительно иногда являвшейся у ихъ противниковъ — прямо или косвенно винить «западное» направленіе, вмѣстѣ съ любовью къ Европѣ, въ недостатокъ любви къ отечеству, — и напротивъ, приписывать самимъ себѣ привилегію патріотизма. Славянофилы и ихъ союзники въ «Москвитянинѣ» вообще терпѣть не могли такъ-называемой ими «петербургской» литературы, желчно отзывались о натуральной школѣ, Тургеневѣ, кн. Одоевскомъ, и т. д. Было очень возможно, что въ начинавшейся послѣ Гоголя школѣ, которая обратилась къ изображенію народной и общественной дѣйствительности, были нѣкоторыя ошибки, неточности, невыдержанность тона: но невозможно было отвергать, ни у этихъ писателей, ни у Бѣлинскаго, Грановскаго, Герцена и пр., полной искренности и самаго одушевленнаго патріотизма. Ихъ враги въ «мос-

ковской» литературѣ не постояли однако за такими обвиненіями, и кругъ Бѣлинскаго справедливо могъ извлекать отсюда недовѣріе къ цѣлой школѣ.

«Положеніе натуральной школы, — говорить Бѣлинскій по этому поводу, — между двумя непріязненными ей партіями (партіей старыхъ противниковъ Гоголя и его школы, и партіей славянофильской) по истинѣ странно: отъ одной она должна защищать Гоголя, и отъ обѣихъ — самое себя; одна нападаетъ на нее за симпатію къ простому народу, другая нападаетъ на нее за отсутствіе къ нему всякаго сочувствія... ¹⁾. Оставимъ въ сторонѣ разглагольствованія критика «Москвитянина» о народѣ;... а сами замѣтимъ только, что враги натуральной школы отличаются между прочимъ удивительною скромностію въ отношеніи къ самимъ себѣ и удивительною готовностію отдавать должную справедливость даже своимъ противникамъ. Недавно одинъ изъ нихъ, г. Хомяковъ, съ *редкою* въ нашъ хитрый и осторожный вѣкъ *наивностію*, объявилъ печатно, что въ немъ чувство любви къ отечеству «невольное и прирожденное», а у его противниковъ — «приобрѣтенное волею и разсудкомъ, такъ сказать *наживное*» (Моск. Сборникъ, 1847, стр. 356). А вотъ теперь г. М... З... К... объявляетъ, въ пользу себя и своего литературнаго прихода, монополію на симпатію къ простому народу! Откуда взялись у этихъ господъ притязанія на исключительное обладаніе всѣми этими добродѣтелями? Гдѣ, когда, какими книгами, сочиненіями, статьями, доказали они, что они больше другихъ знаютъ и любятъ русскій народъ? Все, что дѣлалось литераторами для споспѣшествованія развитію первоначальной образованности между народомъ, дѣлалось не ими. Укажемъ на «Сельское Чтеніе», издаваемое княземъ Одоевскимъ и г. Заблоцкимъ... Знаемъ, что гг. славянофилы смотрятъ на это изданіе почему-то не очень ласково, и не высоко цѣнятъ его; но не будемъ здѣсь спорить съ ними о томъ, хороша или дурна эта книжка: пусть она и дурна, да дѣло въ томъ, что литературная партія, на которую они такъ нападаютъ, сдѣлала что могла для народа и тѣмъ показала свое желаніе быть ему полезною; а они, славянофилы, ничего не сдѣлали для него». Бѣлинскій ссылается потомъ на Даля, который принадлежалъ тогда къ «петербургской» литературѣ, и котораго мудрено было обвинить, что онъ не знаетъ и не любитъ русскаго народа, и т. д. ²⁾.

¹⁾ Славянофилы говорили о ней, что „она не обнаружила никакого сочувствія къ народу и такъ же легкомысленно клеветаетъ на него, какъ и на общество“, и т. п.

²⁾ Сочин., т. XI, стр. 252 и слѣд.

Когда прошла пора «натуральной школы», то сама критика, продолжавшая дѣло Бѣлинскаго, указала слабыя стороны этой школы,—но за ней нельзя и теперь отвергнуть большой литературной заслуги: критика Бѣлинскаго и солидарная съ ней школа повѣствователей окончательно утвердили и развили въ литературѣ начала, внесенныя Гоголемъ, и дали имъ сознательное значеніе. Для *того* времени, когда дѣятельность самихъ славянофиловъ дѣйствительно еще немного заявила себя внѣ полемики, слова Бѣлинскаго могли быть очень справедливы.

Другой писатель «западнаго» направленія, полемизируя съ «Москвитяниномъ», подъ псевдонимомъ Ярополка Водянскаго (въ статьѣ «Москвитянинъ и Вселенная»), намекаетъ на одинъ фактъ отношеній славянофильства къ его противникамъ, по поводу стихотворенія Языкова «Сержантъ Сурминъ». «Кажется,—говоритъ Ярополкъ Водянскій,—успокоившаяся отъ суетъ муза г. Языкова рѣшительно посвящаетъ нѣкогда забубѣнное перо свое поэзіи исправительной и обличительной. Это истинная цѣль искусства; пора поэзіи сдѣлаться трибуналомъ de la poésie correctionnelle. Мы имѣли случай читать еще поэтическія произведенія того же исправительнаго направленія, ждемъ ихъ въ печати; это—громъ и молнія; озлобленный поэтъ не остается въ абстракціяхъ; онъ указываетъ негодующимъ перстомъ *лица*—при полномъ изданіи можно приложить адреса!.. Исправлять нравы! что можетъ быть выше этой цѣли? развѣ не ее имѣлъ въ виду самоотверженный Коцебу и авторъ «Выжигиныхъ» и другихъ нравственно-сатирическихъ романовъ?» Здѣсь идетъ рѣчь о томъ стихотвореніи Языкова, о которомъ рассказывается въ біографіи Чаадаева и Грановскаго; въ послѣдней упомянуты и другіе факты, въ которыхъ обнаруживались подобныя отношенія славянофиловъ и ихъ союзниковъ къ «западному» направленію ¹⁾.

Но мнимый крайній европеизмъ Бѣлинскаго въ сущности вовсе не былъ такой крайній, какъ объ этомъ говорили и еще говорятъ. Чтобы въ этомъ убѣдиться, достаточно познакомиться ближе съ его понятіями, и не останавливаясь исключительно на нѣкоторыхъ особенно рѣзкихъ (или могущихъ казаться рѣзкими) выраженіяхъ, какія случаются у Бѣлинскаго, обратить вниманіе на спокойное изложеніе его понятій, какъ онѣ сложились въ

¹⁾ Г. Погодинъ упоминаетъ объ этихъ отношеніяхъ темной фразой: „Бывали случаи и періоды *охлажденія между ними*, вслѣдствіе недоразумѣній или крайностей, которыя *другимъ казались опасными*, и даже *вредными для дѣла* (?), въ данныхъ обстоятельствахъ“. Гражданинъ, № 11.

концѣ его дѣятельности ¹⁾... По поводу славянофильскихъ заботъ о національности, Бѣлинскій думаетъ, что эти заботы вовсе не нужны, что гдѣ народъ имѣетъ дѣйствительныя внутреннія силы, ему нечего хлопотать о своей національности, она, какъ природа, будетъ проявляться сама собой. По мнѣнію его, славянофильскія мечтанія о древней Руси — чисто маниловская фантазія, что изъ нашей жизни невозможно вычеркнуть періодъ Петра Великаго, — потому что самый этотъ періодъ есть уже исторія, которая вошла въ нашъ національный характеръ. «Не объ измѣненіи того, что совершилось безъ нашего вѣдома и что смѣется надъ нашею волею, должны мы думать, а объ измѣненіи самихъ себя на основаніи уже указаннаго намъ пути высшею насъ волею. Дѣло въ томъ, что пора намъ перестать *казаться*, и начать *быть*, пора оставить, какъ дурную привычку, довольствоваться словами и европейскія формы и внѣшность принимать за европеизмъ. Скажемъ болѣе: пора намъ перестать восхищаться европейскимъ потому только, что оно не азіатское, но любить, уважать его, стремиться къ нему потому только, что оно *человѣческое*, и на этомъ основаніи, все европейское, въ чемъ нѣтъ чововѣческаго, отвергать съ такой же энергіею, какъ и все азіатское, въ чемъ нѣтъ чововѣческаго. Европейскихъ элементовъ такъ много вошло въ русскую жизнь, въ русскіе нравы, что намъ вовсе не нужно безпрестанно обращаться къ Европѣ, чтобъ сознать наши потребности: и на основаніи того, что уже усвоено нами отъ Европы, мы достаточно можемъ судить о томъ, что намъ нужно» (XI, 23). Мнимая борьба чововѣческаго съ національнымъ есть въ сущности только борьба новаго съ старымъ, современнаго съ отживающимъ. «Собственно говоря, борьба чововѣческаго съ національнымъ есть не больше, какъ риторическая фигура; но въ дѣйствительности ея нѣтъ. Даже и тогда, когда прогрессъ одного народа совершается чрезъ заимствование у другого, онъ тѣмъ не менѣе совершается національно. Иначе нѣтъ прогресса. Когда народъ поддается напору чуждыхъ ему идей и обычаевъ, не имѣя въ себѣ силы переработывать ихъ самодѣятельностію собственной національности, въ собственную же сущность, — тогда онъ гибнетъ политически» (XI, 39). Итакъ, хлопотать намѣренно о народности, наперекоръ европейскому, бесполезно и ни къ чему не ведетъ; но эти толки имѣютъ свое основаніе, — именно въ пробудившемся желаніи изучить свою собственную дѣйствительность...

Причина фальшивыхъ понятій славянофильства о нашемъ на-

¹⁾ Таковы, напр. его обзорѣнія литературы за 1846 и 1847 годъ; Сочин., т. XI.

стоящемъ лежала, по мнѣнію Бѣлинскаго, между прочимъ въ неправильной оцѣнкѣ Петра. Къ объясненію реформы онъ возвращался нѣсколько разъ, и постоянно въ томъ смыслѣ, что Петръ не только не былъ враждебенъ національности, но есть именно ея лучший представитель. Таково было еще мнѣніе Чаадаева; теперь оно развивалось новыми соображеніями, и у Бѣлинскаго, и у другихъ писателей «западнаго» направленія. Одинъ изъ нихъ высказывалъ, въ послѣдствіи, эту мысль въ такой рѣшительной формѣ: «Петровский періодъ сразу сталъ *народные* періода царей московскихъ. Онъ глубоко взомель въ нашу исторію, въ наши нравы, въ нашу плоть и кровь; въ немъ есть что-то необычайно родное намъ, юное; отвратительная примѣсь казарменной дерзости и австрійскаго канцелярства не составляетъ его главной характеристики. Съ этимъ періодомъ связаны дорогія намъ воспоминанія нашего могучаго роста, нашей славы и нашихъ бѣдствій; онъ сдержалъ слово и создалъ сильное государство. Народъ любитъ успѣхъ и силу.»

Въ спорахъ объ этомъ предметѣ славянофилы выиграли развѣ одно—они побудили смотрѣть строже на способы исполненія реформы; но сущность мнѣній Бѣлинскаго и его друзей останется гораздо вѣрнѣ исторіи, чѣмъ мнѣнія славянофильства. Что касается обвиненій въ пристрастіи къ реформѣ, какія продолжаются и до сихъ поръ, то очень часто Бѣлинскій оказывается виноваты только въ томъ, что не былъ знакомъ съ тѣми новыми изслѣдованіями, какія изданы были послѣ его смерти.

Таковы же большею частію были и тѣ обвиненія, которыя поднимаемы были противъ мнѣній Бѣлинскаго о народной поэзіи. Бѣлинскій дѣйствительно думалъ о ней далеко не такъ, какъ думаютъ теперь; онъ не восторгался ею безусловно, находилъ въ ней много грубаго и неизячнаго. Но можно не принимать теперь его мнѣній, а обвинять его за нихъ странно и несправедливо. Существенной причиной новаго взгляда на народную поэзію было введеніе новыхъ приемовъ изученія, которыхъ въ то время еще не было и которые, должно сказать, не нами же были выдуманы. Бѣлинскій въ свое время высказывалъ мнѣнія, которыя были очень естественны при тогдашнемъ состояніи этихъ изученій. Онъ начинаетъ говорить о народной поэзіи съ тридцатыхъ годовъ; единственная большая статья его объ этомъ предметѣ написана въ 1841-мъ году. Главными авторитетами въ дѣлѣ русской народной поэзіи были тогда Сахаровъ, Снегиревъ, Макаровъ, и т. п.,—Сахаровъ, имѣвшій самыя странныя понятія о дѣлѣ, самоучка, который не останавливался присочинять къ на-

родной поэзіи собственные свои добавленія и орнаменты; Снегиревъ, не критичность котораго довольно извѣстна; Макаровъ, котораго теперь странно даже называть въ числѣ изслѣдователей, и котораго однако и позднѣе 1841 пускали даже въ серьезныя ученныя изданія. Даже Надеждинъ, человѣкъ обширной учености и съ несомнѣнными заслугами въ русской археологіи и этнографіи, но человѣкъ *того* времени, до послѣдняго времени не имѣлъ тѣхъ понятій о предметѣ, какія считаются правильными въ наше время. Бѣлинскій не занимался спеціально предметомъ, но онъ стоялъ на уровнѣ тѣхъ понятій, какія были у тогдашнихъ спеціалистовъ этого дѣла. Онъ судилъ о произведеніяхъ народной поэзіи по непосредственнымъ эстетическимъ впечатлѣніямъ и по общимъ историческимъ даннымъ, и, конечно, не могъ видѣть въ различныхъ ея подробностяхъ того смысла, какой открыли въ нихъ только новѣйшія изслѣдованія съ помощью сравнительнаго языкознанія, мифологіи и археологіи. При жизни Бѣлинскаго, не было сдѣлано почти еще ни одной попытки такого рода изслѣдованій. Съ другой стороны, Бѣлинскій въ своихъ разсужденіяхъ объ этомъ предметѣ имѣлъ въ виду то, какъ отражались толки о народности на самой литературѣ. Онъ еще съ тридцатыхъ годовъ началъ высказываться противъ фальшивой и поверхностной погони за «народностью», справедливо обличалъ внѣшнія поддѣлки подъ народность, считая ихъ новаго рода романтической мишурой, — а въ то время было очень много произведеній такого рода, гдѣ народность состояла въ подборѣ различныхъ народныхъ поговорокъ и прибаутокъ, въ трактирныхъ сценахъ, въ «маленькомужичкомъ языкѣ», какъ выражался тогда «Маякъ», и пр. и гдѣ этой мнимо-народной внѣшностью одѣвалось самое немудреное, а нерѣдко совершенно пошлое мнимо-народное содержаніе ¹⁾. Въ томъ же смыслѣ Бѣлинскій не имѣлъ сочувствія къ тогдашней малороссійской литературѣ, которую также считалъ

¹⁾ Его взглядъ на литературную народность выраженъ еще въ статьѣ о повѣстяхъ Гоголя («Телескопъ», 1835; Сочин. I, 226): «Повѣсти г. Гоголя народны въ высочайшей степени; но я не хочу слишкомъ распространяться объ ихъ народности, ибо народность есть не достоинство, а необходимое условіе истинно художественнаго произведенія, если подъ народностію должно разумѣть вѣрность изображенія нравовъ, обычаевъ и характера того или другого народа, той или другой страны. Жизнь всякаго народа проявляется въ своихъ, ей одной свойственныхъ формахъ, слѣдовательно, если изображеніе жизни вѣрно, то и народно... Право, пора бы намъ перестать хлопотать о народности (въ 1835!), такъ же какъ пора бы перестать писать не имѣя таланта, ибо эта народность похожа на «Тѣнь» въ баснѣ Крылова; г. Гоголь о ней нисколько не думаетъ, и она сама напрашивается къ нему, тогда какъ многіе изъ всѣхъ силъ гонятся за нею, и ловятъ — одну тривиальность.»

дѣломъ народно-романтической прихоти и моды. Въ самомъ дѣлѣ, по тогдашнимъ началамъ трудно было ожидать, чтобы малороссійская литература могла быть или стать достояніемъ и потребностью народа, средствомъ его образованія; а малорусской литературы въ болѣе широкомъ объемѣ онъ не считалъ возможной, какъ не считаютъ ея возможной сами славянофилы. По его мнѣнію,—когда высшіе классы малорусскаго народа, лучшіе его таланты, какъ Гоголь, присоединялись къ русскому обществу и образованію, было бы напрасной тратой силъ стремиться къ основанію особой малорусской литературы: Гоголь не усумнился писать по-русски и прекрасно сдѣлалъ, потому что на малорусскомъ языкѣ не были бы возможны даже такіа малорусскія повѣсти, какъ «Тарасъ Бульба»,—о другихъ нечего и говорить.

Словомъ, «народность» въ глазахъ Бѣлинскаго была высокимъ достоинствомъ, необходимымъ признакомъ истинно художественнаго произведенія, когда писатель дѣйствительно схватывалъ черты народнаго характера и языка, но всякая поддѣлка, подражавшая народности съ внѣшней, матеріальной стороны, оскорбляла въ немъ чувство художественности, какъ грубое малеванье, особенно когда съ этимъ внѣшнимъ подражаніемъ народности связывалась грубая поддѣлка подъ народный складъ мысли; такъ-называемый «квасной и кулачный» патріотизмъ, который выдавали и выдають еще за самый народный, былъ ему въ высшей степени противенъ.

Ему не нравились и болѣе изысканныя поддѣлки подъ народный характеръ и народныя воззрѣнія, когда, напр., славянофильскіе поэты излагали въ стихотворной формѣ свои тенденціи. Такъ Бѣлинскій судилъ о стихотвореніяхъ Хомякова, въ которыхъ особенно много этой изысканной притязательности. Рядомъ съ Хомяковымъ, онъ очень вѣрно характеризовалъ и произведенія другого славянофильскаго поэта, Языкова ¹⁾.

Но несмотря на то, что Бѣлинскій былъ однимъ изъ самыхъ крайнихъ представителей «западнаго» направленія, онъ относился къ славянофильству съ безпристрастіемъ, какого не оказывали ему противники его изъ этой школы. Онъ оспаривалъ ихъ мнѣнія о русской исторіи, цивилизаціи, національности, но, отдавая справедливость ихъ искреннему и самостоятельному убѣжденію, признавалъ, хотя относительную, но значительную пользу ихъ дѣятельности. Начало славянофильства Бѣлинскій видитъ въ мнѣніяхъ Карамзина. «Извѣстно, что въ глазахъ Карамзина Іоаннъ III былъ выше Петра Великаго, а до-петровская Русь лучше Россіи по-

¹⁾ См. обзорѣніе русской литературы за 1844 г.; Сочин., т. IX.

вой. Вотъ источникъ такъ-называемаго славянофильства, которое мы, впрочемъ, во многихъ отношеніяхъ считаемъ весьма важнымъ явленіемъ, доказывающимъ, въ свою очередь, что время зрѣлости и возмужалости нашей литературы близко. Во времена дѣтства литературы всѣхъ занимаютъ вопросы, если даже и важные сами по себѣ, то не имѣющіе никакого дѣльнаго примѣненія къ жизни. Такъ-называемое славянофильство, безъ всякаго сомнѣнія, касается самыхъ жизненныхъ, самыхъ важныхъ вопросовъ нашей общественности. Какъ оно ихъ касается и какъ оно къ нимъ относится—это другое дѣло. Но прежде всего, славянофильство есть убѣжденіе, которое, какъ всякое убѣжденіе, заслуживаетъ полнаго уваженія, даже и въ такомъ случаѣ, если съ нимъ вовсе не согласны». Значеніе славянофильства Бѣлинскій считаетъ чисто-отрицательнымъ. «Дѣло въ томъ, что положительная сторона ихъ доктрины заключается въ какихъ-то туманныхъ мистическихъ предчувствіяхъ побѣды Востока надъ Западомъ, которыхъ несостоятельность слишкомъ ясно обнаруживается фактами дѣйствительности, всѣми вмѣстѣ и каждымъ порознь. Но отрицательная сторона ихъ ученія гораздо болѣе заслуживаетъ вниманія не въ томъ, что они говорятъ противъ гниющаго будто бы Запада (Запада славянофилы рѣшительно не понимаютъ, потому что мѣряютъ его на восточный аршинъ); но въ томъ, что они говорятъ противъ русскаго европеизма, а объ этомъ они говорятъ много дѣльнаго, съ чѣмъ нельзя не согласиться хотя на половину, какъ, напр., что въ русской жизни есть какая-то двойственность, слѣдовательно, отсутствіе нравственнаго единства; что это лишаетъ насъ рѣзко выражившагося національнаго характера, какимъ, къ чести ихъ, отличаются почти всѣ европейскіе народы; что это дѣлаетъ насъ какими-то междоумками, которые хорошо умѣютъ мыслить по-французски, по-нѣмецки и по-англійски, но никакъ не умѣютъ мыслить по-русски; и что причина всего этого въ реформѣ Петра Великаго. Все это справедливо до извѣстной степени...»¹⁾. Бѣлинскій дѣлаетъ далѣе весьма справедливыя замѣчанія о положительныхъ мнѣніяхъ славянофильства, и вообще, въ обстоятельствахъ тогдашней литературы, очень вѣрно опредѣляя его значеніе. Также вѣрно онъ объяснялъ и мнимый крайній европеизмъ своего собственнаго направленія, тѣ «западные очки», которыми обыкновенно попрекали это направленіе.

«Важность теоретическихъ вопросовъ,—говоритъ онъ въ той же статьѣ,—зависитъ отъ ихъ отношенія къ дѣйствительности. То, что

¹⁾ Сочин. XI, 20 и слѣд.

для насъ, русскихъ, еще важные вопросы, давно уже рѣшено въ Европѣ, давно уже составляетъ тамъ простыя истины жизни, въ которыхъ никто не сомнѣвается, о которыхъ никто не спорить, и въ которыхъ всѣ согласны. И—что всего лучше—эти вопросы рѣшены тамъ самою жизнію, или, если теорія и имѣла участіе въ ихъ рѣшеніи, то при помощи дѣйствительности. Но это нисколько не должно отнимать у насъ смѣлости и охоты заниматься рѣшеніемъ такихъ вопросовъ, потому что пока не рѣшимъ мы ихъ сами собою и для самихъ себя, намъ не будетъ никакой пользы въ томъ, что они рѣшены въ Европѣ. Перенесенные на почву нашей жизни, эти вопросы тѣ же, да не тѣ, и требуютъ другого рѣшенія. Теперь (1847) Европу занимаютъ новые великіе вопросы. Интересоваться ими, слѣдить за ними намъ можно и должно, ибо ничто человѣческое не должно быть чуждо намъ, если мы хотимъ быть людьми. Но въ то же время для насъ было бы все безплодно принимать эти вопросы, какъ наши собственные. Въ нихъ нашего только то, что примѣнимо къ нашему положенію; все остальное чуждо намъ, и мы стали бы играть роль донъ-Кихотовъ, горячась изъ него. Этимъ мы заслужили бы скорѣе насмѣшки европейцевъ, нежели ихъ уваженіе. У себя, въ себѣ, вокругъ себя, вотъ гдѣ должны мы искать и вопросовъ и ихъ рѣшенія. Это направленіе будетъ плодотворно, если и не будетъ блестяще. И начатки этого направленія видимъ мы въ современной русской литературѣ, а въ нихъ—близость ея зрѣлости»...

Близкую зрѣлость литературы Бѣлинскій вообще видѣлъ въ обращеніи ея къ изученію русской дѣйствительности, и особенно явленій общественныхъ. Въ этомъ смыслѣ онъ усердно защищалъ отъ всякихъ нападеній «натуральную школу», которая въ первый разъ съ интересомъ и съ любовью стала изучать и изображать низшіе общественные классы. Это не нравилось въ особенности старымъ литературнымъ школамъ и извѣстному обширному слою общества, который, издавна, по прямымъ и косвеннымъ вліяніямъ крѣпостничества и чиновничества, привыкъ презирать «необразованнаго» мужика. «Что за охота наводнять литературу мужиками?» повторяетъ Бѣлинскій вопросъ людей этого рода, и старается объяснить нравственное значеніе, религіозный долгъ и общественную необходимость участія и интереса къ низшимъ классамъ, «отъ которыхъ мы отворачиваемся, какъ отъ парій, отъ падшихъ, какъ отъ прокаженныхъ» ¹⁾. «Посмотрите, — продолжаетъ онъ далѣе, — какъ въ нашъ вѣкъ вездѣ заняты всѣ участію

¹⁾ Сочин., IX, 340 и слѣд.

низшихъ классовъ, какъ частная благотворительность всюду переходитъ въ общественную, какъ вездѣ основываются хорошо организованныя, богатые вѣрными средствами общества, для распространенія просвѣщенія въ низшихъ классахъ, для пособія нуждающимся и страждущимъ, для отвращенія и предупрежденія нищеты и ея неизбежнаго слѣдствія—безнравственности и разврата... Это общее движеніе, столь благородное, столь человѣческое, столь христіанское, встрѣтило своихъ порицателей въ лицѣ поклонниковъ тупой и косной патріархальности... Но это ли не отрадное въ высшей степени явленіе новѣйшей цивилизаціи, успѣховъ ума, просвѣщенія и образованности? Могло ли не отразиться въ литературѣ это новое общественное движеніе, въ литературѣ, которая всегда бываетъ выраженіемъ общества! Въ этомъ отношеніи литература сдѣлала едва ли не больше: она скорѣе способствовала возбужденію въ обществѣ такого направленія, нежели только отразила его въ себѣ, скорѣе упредила его, нежели только не отстала отъ него». Въ другомъ мѣстѣ, Бѣлинскій защищаетъ это направленіе отъ другого упрека—въ утилитарности, и объясняетъ, что общественная полезность нисколько не мѣшаетъ эстетическому достоинству произведеній, что искусство въ этомъ отношеніи можетъ идти совершенно рядомъ съ наукой. «Политико-экономъ, вооружаясь статистическими числами, *доказываетъ*, дѣйствуя на умъ своихъ читателей или слушателей, что положеніе такого-то класса въ обществѣ много улучшилось или много ухудшилось, вслѣдствіе такихъ-то и такихъ-то причинъ. Поэтъ, вооружаясь живымъ и яркимъ изображеніемъ дѣйствительности, *показываетъ*, въ вѣрной картинѣ, дѣйствуя на фантазію своихъ читателей, что положеніе такого-то класса въ обществѣ дѣйствительно много улучшилось или ухудшилось отъ такихъ-то и такихъ-то причинъ. Одинъ доказываетъ, другой показываетъ, и оба *убѣждаютъ*, только одинъ логическими доводами, другой — картинami. Но, перваго слушаютъ и понимаютъ немногіе, другого — всѣ. *Высочайшій и священнѣйшій интересъ общества* есть его собственное *благосостояніе*, равно простертое на каждаго изъ его членовъ. Путь къ этому благосостоянію—*сознаніе*, а сознанію искусство можетъ способствовать не меньше науки. Тутъ и наука, и искусство равно необходимы»...

Такимъ образомъ выяснялась совершенно положительная цѣль литературы и истинный смыслъ, какой она должна имѣть въ жизни общества. Относительно современной ему литературы, Бѣлинскій не былъ въ заблужденіи; онъ видѣлъ, что въ этомъ самомъ существенномъ отношеніи наша литература еще только

приближается къ своей зрѣлости, но что ея дальнѣйшее развитіе намѣчено, и успѣхъ развитія будетъ зависѣть уже только отъ внѣшнихъ условій, въ которыя она будетъ поставлена, отъ того, получить ли она необходимый просторъ. «Литература наша дошла до такого положенія, что ея успѣхи въ будущемъ, ея движеніе впередъ зависятъ больше отъ объема и количества предметовъ, *доступныхъ ея завѣдыванію*, нежели отъ нея самой. Чѣмъ шире будутъ границы ея содержанія, тѣмъ больше будетъ пищи для ея дѣятельности, тѣмъ быстрѣе и плодovitѣе будетъ ея развитіе. Какъ бы то ни было, но если она еще не достигла своей зрѣлости, она уже *нашла*, нащупала, такъ сказать, *прямую дорогу* къ ней,—а это великій успѣхъ съ ея стороны» (XI, 43).

Таковы были мнѣнія Бѣлинскаго, насколько они были тогда высказаны имъ *въ печати*. Основнымъ его желаніемъ, съ самаго начала и до конца, было—просвѣщеніе, въ европейскомъ смыслѣ. Его тяжело поражало невѣжество и забитость массъ, свѣтское невѣжество высшихъ классовъ, обскурантизмъ, возведенный въ систему, ничтожество общественной жизни. Въ одномъ просвѣщеніи онъ видѣлъ надежду на лучшее будущее. Съ теченіемъ его дѣятельности, его мнѣнія все больше выяснялись; изученіе дѣйствительности, котораго онъ требовалъ отъ литературы, опредѣлялось болѣе и болѣе точно — какъ изученіе общественныхъ отношеній и стремленіе къ равному для всѣхъ благосостоянію. Отвлеченные идеалы стараго времени, идеалы истины, добра и красоты, развились въ положительныя стремленія... Условія тогдашней литературы не давали Бѣлинскому возможности изложить сколько-нибудь полно свои понятія,—онъ излагалъ ихъ въ тѣхъ тѣсныхъ предѣлахъ, какіе доставляла литературная критика, единственная возможная форма тогдашней публицистики: но его понимали и въ этихъ предѣлахъ, и онъ имѣлъ чрезвычайно обширное нравственное вліяніе и въ литературѣ, и въ умахъ новыхъ поколѣній. Чтò было за этими предѣлами, т.-е., въ чемъ именно состояли общественныя мнѣнія Бѣлинскаго, — объ этомъ въ свое время читатели догадывались; намъ это извѣстно теперь по разсказамъ современниковъ, близко его знавшихъ, и по тому немногому, чтò извѣстно пока изъ вещей, писанныхъ Бѣлинскимъ не для печати. Таково въ особенности письмо его къ Гоголю, по поводу «Переписки съ Друзьями», почти единственный документъ этого рода. Это письмо—представляющее въ нашей литературѣ рѣдкій примѣръ открытой свободной рѣчи—замѣчательно въ высокой степени по энергіи чувства, какимъ оно проникнуто, и благородному отрицанію общественной несправедливости. Это

письмо должно быть въ памяти у всякаго, кто сталъ бы опредѣлять воззрѣнія Бѣлинскаго...

Въ томъ развитіи нашей литературы, наполняющемъ тридцатые и сороковые годы, когда она не столько служила отголоскомъ массы общества, сколько упреждала его (по справедливому замѣчанію Бѣлинскаго), сколько дѣйствовала силами небольшого круга своихъ лучшихъ дѣятелей, — Бѣлинскому принадлежала своя обширная доля. Бѣлинскій, конечно, не былъ человѣкъ ученый, и ему иногда недоставало свѣдѣній ¹⁾, но, несмотря на то, онъ могъ занимать одно изъ господствующихъ мѣстъ въ литературѣ его направленія, въ которой между прочимъ дѣйствовали тогда нѣсколько людей съ замѣчательнымъ талантомъ и обширнымъ образованіемъ. Бѣлинскаго равняла съ ними, и иногда ставила выше ихъ, сила убѣжденія и увлекающее дѣйствіе на другихъ. Его большая заслуга состояла въ томъ, что его усиленные и твердыя стремленія много содѣйствовали литературной дѣятельности этого круга сложиться въ опредѣленное направленіе. Въ частности, его заслуга была въ томъ, что онъ началъ настоящую критику въ русской литературѣ, распространилъ здравыя теоретическія понятія объ искусствѣ и много способствовалъ развитію той литературной школы, которая образовалась подъ вліяніемъ Гоголя и утверждалась на здоровомъ изученіи дѣйствительной жизни.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, Бѣлинскій былъ настоящимъ основателемъ исторіи русской литературы съ XVIII-го вѣка. Онъ положилъ конецъ тому бессистемному взгляду, при которомъ исторія литературы была только реестромъ произведеній и послужнымъ спискомъ писателей, съ голословными одобреніями или порицаніями, и первый далъ исторіи литературы дѣйствительно историческій характеръ послѣдовательнаго развитія. Его эстетическія оцѣнки старыхъ и новыхъ писателей сохраняютъ свою цѣну до сихъ поръ и не могутъ быть обойдены новой критикой. Позднѣе, противъ Бѣлинскаго и въ этомъ отношеніи были подняты обвиненія, утверждавшія, что онъ, напротивъ, былъ плохимъ историкомъ, что онъ дѣлалъ много ошибокъ, особенно вслѣдствіе того, что мало занимался чисто фактической стороной предмета и пренебрегалъ «преданіями», которыя именно помогли бы ему вѣрнѣе

¹⁾ Въ этомъ онъ, конечно, уступалъ и многимъ изъ своихъ друзей, и изъ противниковъ, — послѣдніе не одинъ разъ этимъ его упрекали; но должно сказать однако, что уступая многимъ своимъ противникамъ въ учености, онъ, конечно, былъ несравненно болѣе образованный человѣкъ, чѣмъ напр. писатели „Москвитянина“. Притомъ, онъ и не брался за предметы чистой учености.

понять литературныя отношенія прежняго времени ¹⁾. Подобныя обвиненія повторялись не разъ, и въ нихъ еще слышится отголосокъ другихъ обвиненій, которыя поднимали противъ Бѣлинскаго его враги изъ старыхъ литературныхъ партій, — что онъ не знаетъ «преданій», а вмѣстѣ не уважаетъ и старыхъ писателей...

На эти обвиненія довольно сказать нѣсколько словъ. Дѣйствительно, фактическая сторона литературной исторіи у Бѣлинскаго разработана мало, но она, во-первыхъ, была дѣломъ второй важности, когда нужно было прежде установить самую сущность историческаго вопроса, къ которой могла бы потомъ примкнуть фактическая разработка. Эта послѣдняя дѣйствительно и началась уже только послѣ того, какъ былъ поставленъ самый историческій вопросъ. Правда, мало-по-малу, эта разработка раскрыла много новыхъ подробностей, напр., именно указала много незамѣченныхъ прежде нитей, связывавшихъ литературу съ жизнью; но это была уже совсѣмъ иная сторона задачи. Бѣлинскій писалъ исторію художественной литературы, его точка зрѣнія была эстетическая, — и здѣсь новая разработка прибавила очень немного, а въ тѣхъ изслѣдованіяхъ, на которыя направились теперь историки, литература принималась уже въ самомъ обширномъ смыслѣ, не только художественная, но и всякая, и новая исторія становилась исторіей уже не столько литературы собственно, сколько исторіей образованія, общественной жизни и нравовъ, — главный интересъ ея былъ культурный, а не художественный. Во-вторыхъ, пользоваться «преданіями» было и не такъ удобно. Преданія, о которыхъ идетъ рѣчь, бываютъ, обыкновенно, въ буквальный смыслъ преданія, изустные рассказы людей, близкихъ къ тѣмъ или другимъ лицамъ и фактамъ прошлой литературы. Пользоваться этими преданіями можно было бы только двумя путями: или, если бы сами обладатели преданій собрали и изложили ихъ, или же, надо было добывать отъ нихъ эти преданія личными разспросами. Первое было бы самое естественное; но слишкомъ извѣстно, что наши владѣльцы преданій (въ тѣ времена) именно ничего не дѣлали въ этомъ отношеніи: въ началѣ это еще могло быть неудобно по близости времени, но они не сдѣлали этого и послѣ. Для примѣра довольно сказать, что обладатели преданій не дали біографіи ни Пушкина, отъ котораго сами получили большую долю своего заимствован-

¹⁾ См. напр. Р. Вѣстникъ, 1861, № 6. Но приведенные образчики ошибокъ Бѣлинскаго, напр. о Станевичѣ, не принадлежать къ особенно важнымъ.

наго свѣта, — ни Жуковского, который только недавно нашель біографа въ своемъ *нѣмецкомъ*, а не русскомъ другѣ, — ни Гоголя, біографія котораго составлена не близкимъ къ нему лицомъ. Только въ послѣдніе годы «преданія» начинаютъ показываться, вызываемыя всего больше новыми изслѣдованіями, — но и то большей частью въ видѣ совершенно сырого матеріала, переписки и т. п. Надобно полагать, что обладатели преданій ожидали, что къ нимъ лично должны были обращаться тѣ, кому было нужно. Но личныя сношенія не всегда удобны, а иногда совершенно невозможны. Извѣстно, напримѣръ, какъ относились къ Бѣлинскому друзья Пушкина, отъ которыхъ онъ будто бы «могъ» получить свѣдѣнія о Пушкинѣ; — мы думаемъ, напротивъ, что при той злобѣ, какую владѣльцы преданій питали къ Бѣлинскому, самая ихъ бесѣда была бы невозможна... Наконецъ, *ошибки*, въ которыхъ упрекаетъ Бѣлинскаго авторъ упомянутой статьи, вовсе не такъ крупны, чтобы заслонять достоинство его труда. Историческія и эстетическія положенія Бѣлинскаго, которыя въ свое время старымъ партіямъ показались настоящимъ святотатствомъ («Карамзинъ тобой ужаленъ, Ломоносовъ — не поэтъ», и т. п.), уже вскорѣ стали господствующими понятіями; и чтобы должнымъ образомъ оцѣнить этотъ фактъ, надобно еще припомнить, что представляла наша критика и исторія литературы до Бѣлинскаго.

Только черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ смерти Бѣлинскаго явилась первая возможность говорить о немъ въ литературѣ, называть его имя... Первые воспоминанія о Бѣлинскомъ и очеркъ дѣятельности «критика Гоголевскаго періода», сдѣланы были уже новымъ литературнымъ поколѣніемъ. Эта оцѣнка, очень высоко ставившая Бѣлинскаго, внушена была сознаниемъ его непосредственнаго вліянія на развитіе новыхъ силъ, готовившихся дѣйствовать въ литературѣ, и въ своихъ главныхъ основаніяхъ эта оцѣнка была, конечно, справедлива. Въ лучшей части образованнаго общества и литературы остается и до сихъ поръ это отношеніе къ Бѣлинскому, какъ писателю, для котораго его дѣятельность была дѣломъ жизни, страстнаго убѣжденія и глубокаго патріотизма. Новое поколѣніе начинаетъ требовательнѣе относиться къ Бѣлинскому — съ различныхъ точекъ зрѣнія, и справедливо, съ нынѣшней точки зрѣнія, указывало нѣкоторыя односторонности и крайности его мнѣній, которыя, конечно, не были непогрѣшимы; но большей частью эти односторонности и край-

ности находятъ свое объясненіе и оправданіе въ условіяхъ времени, въ которое пришлась дѣятельность Бѣлинскаго, и въ свойствѣ тѣхъ насущныхъ вопросовъ, которые предстояло тогда разъяснять литературѣ. Между прочимъ, на Бѣлинскомъ отражались и послѣдніе толки о «людяхъ сороковыхъ годовъ», и та недовѣрчивость, которая возникла относительно ихъ по сохранившимся образчикамъ того времени: вида, какъ очень многіе изъ этихъ послѣднихъ могиканъ «сороковыхъ годовъ» не только не сохранили прежнихъ идеально-благородныхъ взглядовъ и стремленій, но возымѣли стремленія прямо противоположныя, — теперь стали думать, что идеи сороковыхъ годовъ вообще были шатки и непрочны, если оканчивались подобнымъ результатомъ. Спрашивали, чѣмъ былъ бы самъ Бѣлинскій въ наше время, и предполагали, что, вѣроятно, и онъ не остался бы тѣмъ, чѣмъ былъ. Такіе вопросы вообще довольно странны и очень безполезны, — потому что отвѣтъ на нихъ можетъ быть только произвольный; но такъ какъ въ ихъ условной постановкѣ ищутъ нагляднаго объясненія дѣла, вводя въ нашу жизнь людей изъ «царства мертвыхъ», то въ отвѣтъ на такой вопросъ мы привели бы слова одного современника той эпохи, человѣка стоявшаго и тогда и послѣ въ *другомъ* лагерѣ, чѣмъ Бѣлинскій, именно въ лагерѣ близкомъ къ славянофильству. Вотъ слова этого современника:

«Горячаго сочувствія стоилъ при жизни и стоить по смерти тотъ, кто самъ умѣлъ горячо и беззавѣтно сочувствовать всему благородному, прекрасному и великому. Безстрашный боецъ за правду, Бѣлинскій не усумнился ни разу отречься отъ лжи, какъ только сознавалъ ее, и гордо отвѣчалъ тѣмъ, которые упрекали его за измѣненіе взглядовъ и мыслей, что не измѣняетъ мыслей тотъ, кто не дорожитъ правдой. Кажется, онъ даже созданъ былъ такъ, что *натура его не могла устоять противъ правды*, какъ бы правда ни противорѣчила его прежнему взгляду, какихъ бы жертвъ она ни потребовала... Смѣло и честно звалъ онъ первый геніальнымъ то, что онъ таковымъ созналъ и, благодаря своему критическому чутью, ошибался рѣдко. Также смѣло и честно разоблачалъ онъ, часто наперекоръ утвердившимся мнѣніямъ, все, что казалось ему ложнымъ и напыщеннымъ, заходилъ иногда за предѣлы, но въ сущности, въ основахъ не ошибался никогда... Теоріи увлекали его, какъ и многихъ, но въ немъ было всегда нѣчто высшее теорій, чего нѣтъ во многихъ. Вполнѣ сынъ своего вѣка, онъ не опередилъ, да и не долженъ былъ опережать его... Еслибы Бѣлинскій прожилъ до нашего вре-

мени, онъ и теперь стоялъ бы во главѣ критическаго сознанія, по той простой причинѣ, что сохранилъ бы высшее свойство своей натуры: неспособность закоснѣть въ теоріи противъ правды, искусства и жизни».

Эти слова кажутся намъ очень справедливыми.

VIII

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Въ предыдущемъ изложеніи конечно далеко не исчерпана исторія литературныхъ мнѣній выбраннаго періода, обозначены только главнѣйшія черты этой исторіи, нѣкоторыя стороны ея едва затронуты; но существенный смыслъ литературнаго движенія уже сказывается и въ тѣхъ фактахъ, какіе были здѣсь приведены, если обратить вниманіе на послѣдовательную связь явленій, на отношеніе литературы къ массѣ общества и на отношеніе литературныхъ школъ сороковыхъ годовъ къ послѣдующему періоду.

Несомнѣнно, во-первыхъ, что указанный ходъ литературы былъ послѣдовательный и прогрессивный, въ томъ смыслѣ, что чужія формы все больше и больше устраниются, что литература все тѣснѣе и тѣснѣе примыкаетъ къ жизни, и содержаніе ея съ каждой новой ступенью становится глубже и серьезнѣе.

Въ двадцатыхъ годахъ еще сохраняются остатки старинной псевдо-классической школы, но господствуетъ романтизмъ, съ чужой формой и съ большимъ количествомъ чужого содержанія. Какъ литературная форма, нашъ романтизмъ былъ шагомъ впередъ противъ старой школы, но по понятіямъ общественнымъ онъ былъ въ сущности консервативенъ. Правда, пушкинская школа въ первое время была нѣсколько склонна къ политическому либерализму, отчасти подъ байроновскими впечатлѣніями, отчасти подъ вліяніемъ того круга, съ которымъ Пушкинъ въ молодости былъ дружески связанъ; но вскорѣ, она покинула свои первыя увлеченія и стала чисто консервативной. За Пушкинымъ остается великая заслуга, что съ него начинается первая возможность истиннаго сближенія поэтической литературы съ жизнью, что въ немъ впервые масса общества находила дѣйствительнаго поэта, который затронулъ долго гложнушіе въ ней и не развивавшіеся поэтическіе инте-

ресы, что въ его поэзіи впервые являлись вѣрныя черты народнаго быта, преданій и исторіи: въ художественномъ развитіи литературы, дѣятельность Пушкина стала эпохой. Но со стороны общественнаго содержанія пушкинская школа еще мало отдѣлилась отъ прежняго преданія и отличалась отъ него только тѣмъ, что переживши свой періодъ увлеченій, познакомившись отчасти съ возможностью иныхъ взглядовъ, она хотѣла теперь являться сознательно - консервативной, хотѣла поддерживать свою точку зрѣнія какъ обдуманную, снабженную аргументами теорію, а въ понятіяхъ художественныхъ имѣла уже гораздо болѣе высокое, хотя еще очень отвлеченное, представленіе о нравственномъ достоинствѣ искусства.

Это былъ исходный пунктъ. Въ литературѣ уже скоро обнаруживается движеніе болѣе критическаго и прогрессивнаго характера, различными нитями связанное съ политическимъ либерализмомъ двадцатыхъ годовъ, или, точнѣе, съ тѣмъ общимъ настроеніемъ, изъ котораго этотъ либерализмъ произошелъ. Для политическихъ интересовъ, въ разсматриваемомъ періодѣ, и особенно въ его началѣ, не было никакого мѣста; но въ образованнѣйшемъ литературномъ кругу не исчезло и, напротивъ, укрѣплялось возникшее въ прежнемъ періодѣ стремленіе выяснить общественные принципы, усвоить обществу понятія европейской образованности и т. д. Продолженіемъ и отголоскомъ либерализма двадцатыхъ годовъ была, во-первыхъ, журнальная дѣятельность Полеваго, которая въ свое время оставалась освѣжающимъ элементомъ въ наступившемъ глухомъ періодѣ общественной жизни. Такимъ отголоскомъ былъ, во-вторыхъ, скептицизмъ Чаадаева. Наконецъ, болѣе отдаленнымъ, но очень живымъ отголоскомъ были упомянутыя нами прежде мнѣнія одного изъ московскихъ кружковъ въ тридцатыхъ годахъ, уже тогда принявшаго политическое направленіе. Но, независимо отъ этихъ болѣе или менѣе замѣтныхъ связей разсматриваемаго періода съ предыдущимъ, во всемъ общемъ составѣ литературы развивалась очевидная склонность къ изученію общественныхъ отношеній, въ весьма различныхъ, несходныхъ и повидимому не имѣвшихъ между собою никакой связи отношеніяхъ.

Новыя литературныя школы, образовавшіяся въ московскихъ кружкахъ 30-хъ и 40-хъ годовъ, въ началѣ далекаго отъ всякаго общественно-политическаго интереса и даже совершенно безучастнаго къ нему, мало-по-малу приходили къ нему, — очевидно было, что сознательная мысль общества, работа которой выразилась въ этихъ школахъ, съ какихъ бы отвлеченностей она ни

начинала, не могла не придти въ концѣ-концовъ къ тому, что такъ или иначе становилось очереднымъ моментомъ развитія. Критика Бѣлинскаго, сначала теоретически и отвлеченно, потомъ въ самомъ реальномъ смыслѣ настаивала на необходимости изучать жизнь и дѣйствительность, и только въ ней находила истинное и глубокое содержаніе литературы. Съ «западнымъ» направлениемъ согласны были въ этомъ и славянофилы. Обѣ школы различно оцѣнивали непосредственную дѣйствительность, но одинаково считали ея изученіе истиннымъ содержаніемъ литературы, и одинаково видѣли свою цѣль въ развитіи общественнаго самосознанія; въ ихъ общественныхъ понятіяхъ было сходно понятіе о неправильности многихъ существующихъ отношеній, напр. крѣпостного состоянія, о необходимости поднять народную массу, нравственно и матеріально, о необходимости бѣльшей свободы для науки и для печатнаго слова и т. д.

Въ литературѣ ученой развиваются съ особенной силой интересы, которыхъ она до тѣхъ поръ почти не знала. Исторія, археологія и этнографія больше и больше обращались къ изученію народныхъ элементовъ. Любознательность археологическая и этнографическая мало-по-малу освѣщалась принципомъ болѣе широкимъ чѣмъ прежде, переходила въ увлеченіе, въ пристрастіе ко всему народному; довольно поверхностное сначала, несвободное отъ странныхъ преувеличеній, это пристрастіе переходило въ сочувствіе къ народу въ общественномъ смыслѣ, въ такое же убѣжденіе о ненормальности его гражданскаго положенія и необходимости измѣнить это положеніе въ смыслѣ болѣе благопріятномъ для нравственнаго достоинства того «народа,» который былъ теперь упомянуть даже въ официальной программѣ русской жизни, и для развитія національнаго содержанія.

Наконецъ, параллельное явленіе того же рода происходило въ литературѣ поэтической, въ беллетристикѣ. Великое значеніе Гоголя состояло именно въ томъ, что въ его произведеніяхъ впервые являлась картина живой непосредственной дѣйствительности, изображенная съ такой правдивостью и такъ ярко, какъ этого еще не бывало въ русской литературѣ. Какъ мы видѣли, по теоретическимъ понятіямъ, даннымъ его образованіемъ, Гоголь былъ вполне человѣкомъ пушкинской школы, чисто консервативныхъ мнѣній; но по гениальной отгадкѣ, данной его талантомъ, его картина, вѣрно схватившая пошлыя стороны жизни, ея бѣдность и вмѣстѣ испорченность, пріобрѣтала смыслъ, далеко превышавшій его собственныя теоретическія соображенія. Онъ самъ предчувствовалъ этотъ обширный смыслъ своего дѣла (это пред-

чувствіе высказывается въ извѣстныхъ «лирическихъ мѣстахъ» Мертвыхъ Душъ), но по своей точкѣ зрѣнія не могъ опредѣлить его правильно. Отсюда вышелъ извѣстный разладъ, отрицаніе Гоголемъ своихъ собственныхъ произведеній,—фактъ, печальный въ его личной исторіи, но характеризующій положеніе вещей. Критика и наиболѣе серьёзные или впечатлительные люди общества извлекали изъ его произведеній тотъ выводъ, который не былъ ясенъ самому автору: къ этому выводу приводили серьёзные наблюденія надъ жизнью, въ немъ соглашались понятія мыслящихъ людей. Этотъ выводъ былъ—ненормальное подавленное состояніе русской жизни, бѣдность общественныхъ интересовъ, недостатокъ образованности, необходимость преобразованій, которыя подняли бы нравственный и умственный уровень, устранили бы общественную несправедливость, тяготѣвшую надъ громадной частью націи.

Литература съ различныхъ сторонъ приходила къ мысли о народѣ; она проникалась любопытствомъ и сочувствіемъ къ его исторіи, къ его настоящему; хотѣла сблизиться съ нимъ, и на первое время старалась ознакомиться съ нимъ по крайней мѣрѣ тѣми средствами, какія были для нея возможны... Это было возвращеніе тѣхъ же идей, какія одушевляли лучшихъ людей двадцатыхъ годовъ, — но идей, очищенныхъ временемъ и развитыхъ новыми изученіями: онѣ были теперь болѣе или совершенно независимы отъ вліяній европейскаго либерализма, были болѣе свободны отъ платонической романтики, направлялись на дѣйствительные вопросы народнаго блага, пріобрѣтали настоящій общественный смыслъ.

Такимъ образомъ, ходъ того направленія литературы, за которымъ мы въ особенности слѣдили въ настоящихъ очеркахъ, былъ весьма послѣдовательнымъ развитіемъ одной основной идеи—постепенно выросшаго общественнаго сознанія, критики существующаго порядка вещей, интереса къ народной массѣ, какъ основанію національнаго цѣлаго. Все, что стояло внѣ этого направленія, не имѣло иного значенія, кромѣ значенія старой рутины, привычнаго продолженія отживавшихъ преданій; эти новыя стремленія, представляли собой результатъ развитія, совершенно естественный и логически законный въ общественномъ отношеніи, и имъ принадлежало будущее. Здѣсь была *правда*, требованіямъ которой должно было быть дано удовлетвореніе, для того, чтобы просто возможно было дальнѣйшее развитіе, и общественное, и національное.

Къ сожалѣнію, необходимость удовлетворить новымъ потребностямъ общества была признана только тогда, когда на это указало и объ этомъ напомнило внѣшнее потрясеніе, толчокъ, данный Крымскою войною... Трудно сказать, сколько бы длилось прежнее положеніе вещей, безъ этого внѣшняго толчка.

Въ самомъ дѣлѣ, внѣшнее положеніе новой литературы было въ томъ періодѣ очень незавидно. Она встрѣчала пониманіе и сочувствіе только въ незначительномъ *меньшинствѣ* общества; въ остальной его части находила она или невниманіе, или положительную вражду и преслѣдованіе.

Это обстоятельство имѣетъ весьма существенную важность для правильной оцѣнки тогдашняго состоянія общественной мысли и вообще образованности. Противъ этого меньшинства было то большинство, понятія котораго выражались системой официальной народности. Мы видѣли выше общія черты этой системы; какимъ же образомъ эта система относилась къ новому порядку идей?

Говоря о литературѣ тѣхъ временъ, у насъ довольствуются обыкновенно замѣчаніями о строгости цензуры, которая въ особенности тяжело отзывалась на прогрессивной литературѣ; но цензура была только послѣдствіемъ цѣлаго характера господствовавшей системы, и самая система была не случайной принадлежностью одного извѣстнаго времени, или частнымъ взглядомъ отдѣльных лицъ, но именно была давно слагавшимся взглядомъ и выраженіемъ мнѣній огромнаго большинства общества.

По своимъ общимъ основаніямъ, система официальной народности была продолженіемъ давнишнихъ общественныхъ понятій, которыя въ этомъ періодѣ получили только извѣстную законченность, сведены были въ одно цѣлое. Это были старинныя понятія патріархальнаго общества, мало затронутыя реформой. Наслѣдіе еще до-петровской старины, они идутъ черезъ все восемнадцатое столѣтіе, до самаго новаго времени, мало измѣняясь при новыхъ формахъ государственнаго управленія, при новыхъ обычаяхъ и нравахъ... Реформа Петра Великаго, которая вносила столько новаго въ темную жизнь древней Руси и которой, безъ сомнѣнія, принадлежит та заслуга, что въ ней были первые ростки дальнѣйшихъ умственныхъ успѣховъ, — эта реформа, въ ближайшемъ смыслѣ, почти нисколько не измѣнила понятій объ отношеніяхъ общественныхъ. Петръ могъ ставить интересъ государства, силу закона выше собственнаго интереса и собственной силы, но его примѣръ не былъ принятъ обществомъ, которое привыкло къ личному господству и къ личному произволу власти. Петръ нашелъ государство деспотическимъ, и такимъ же

оставилъ его. Понятія общества остались неизмѣнны, хотя бы можно было ждать, что заявленная Петромъ мысль о господствѣ государственнаго интереса надъ личнымъ авторитетомъ получить свое значеніе, что заявленная имъ необходимость науки будетъ признана и наука будетъ оказывать свое дѣйствіе на умы... Результатъ этого рода явился только довольно поздно.

Въ то время, о которомъ мы говоримъ, стали думать, однако, что петровская реформа уже совершила свой циклъ, что она исчерпана, что для русской жизни наступаетъ періодъ другихъ началъ, періодъ самобытнаго, независимаго развитія. Это была собственно та новая мысль, которая проводилась въ системѣ официальной народности, какъ она понималась въ разсматриваемомъ періодѣ: эта прибавка и отличала систему отъ правительственныхъ взглядовъ прежняго времени и составляла ея особенность. Мысль о томъ, что реформа завершалась, была, впрочемъ, довольно распространена. Такъ думали и люди, слѣдовавшіе системѣ официальной народности, и люди новаго, критическаго направленія; только тѣ и другіе понимали это каждый по-своему. Первымъ казалось, что намъ нечему учиться у Европы собственно потому, что она преисполнена заблужденій и порчи умственной, нравственной и политической, и что начала нашей жизни несравненно лучше и выше. Вторые думали, что намъ нельзя оставаться подражателями Европы потому, что и самимъ пора работать надъ началами ея цивилизации, примѣнить которыя къ нашей жизни можемъ только мы сами; что намъ, усвоивая европейскую образованность, — высшую, какой только достигло человѣчество, — пора внести въ ея запасы и собственный нашъ вкладъ; по мнѣнію нѣкоторыхъ, этотъ вкладъ былъ уже и готовъ... Первые высказывали точку зрѣнія большинства и принадлежащаго ему уровня образованности; въ ихъ мнѣніяхъ отражалось то иногда грубое, иногда наивное высокомеріе, съ какимъ тогда очень часто смотрѣли у насъ на западную Европу, — на основаніи того военнаго преобладанія, которое дѣйствительно тогда было и шаткости котораго еще не предвидѣли. Вторые выражали взглядъ меньшинства; онъ могъ быть относительно вѣренъ для тѣхъ немногихъ, образованнѣйшихъ людей, которые дѣйствительно стояли на уровнѣ европейской науки и могли относиться къ ней съ извѣстной самостоятельностью, — но онъ былъ крайне ошибоченъ и совершенно неприменимъ къ массѣ общества...

На дѣлѣ, положеніе образованности было далеко не таково; и если первая точка зрѣнія была очевиднымъ заблужденіемъ, то и вторая была крайне преувеличена.

Займствованіе европейской образованности, которое подразумевали говоря о реформѣ Петра, далеко не могло считаться дѣломъ завершеннымъ во второй четверти нашего столѣтія. •

Въ теченіе XVIII-го столѣтія, какъ мы замѣтили, не измѣнились почти нисколько и характеръ общественныхъ понятій. Измѣнились только виѣшнія формы. Прежде чѣмъ образованіе могло распространиться настолько, чтобы водворить иныя общественныя понятія, все дѣло реформы, веденной принудительными средствами, только укрѣпляло старыя формы власти и полную подчиненность общества; прежде, чѣмъ послѣднее могло уразумѣть реформу (а по своимъ старымъ понятіямъ, оно и не могло уразумѣть ея скоро), оно было уже вынуждено къ принятію нововведеній; новыя административныя учрежденія развили, на мѣсто прежняго патріархальнаго подчиненія, казарменную и канцелярскую дисциплину; канцелярское управленіе стало усиливаться все больше и больше, и захватило наконецъ всѣ самыя малѣйшія отправления общественной жизни и уничтожило послѣдніе остатки старыхъ порядковъ, гдѣ еще были нѣкоторыя слѣды патріархальной свободы. Канцеляріи и въ своемъ подлинникѣ, которому у насъ подражали, не были учрежденіемъ благопріятнымъ для духа общественности; у насъ онѣ привели окончательное порабощеніе общества. Наука развивалась очень медленно; введенная какъ дѣло государственной надобности, она долго оставалась какъ будто только наружной приставкой къ русской жизни, въ видѣ «де-сіансъ» академіи, члены которой также выписывались изъ-за границы, какъ выписывались другіе мастера, художники и ремесленники: выписанные академики естественно чувствовали себя чужими этому обществу, держались особымъ кружкомъ, и ихъ наука, собственно говоря, оставалась чужда русской жизни, или пускала въ ней только рѣдкіе ростки. Мало-по-малу, запасы образованія увеличивались и съ теченіемъ времени оно приносило свои ближайшіе плоды, но положеніе науки вовсе не было обезпечено, за ней не было признано самостоятельнаго права и необходимой для нея свободы,—понятно, что въ области гуманистическихъ наукъ у насъ до самаго поздняго времени не было ни одного русскаго ученаго, который бы занялъ высокое положеніе въ обще-европейской наукѣ... При этомъ недостаткѣ собственной научной силы, наша наука все-таки должна была еще выдерживать отголоски европейскихъ реакцій, подвергаться преслѣдованіямъ, которыя были печальной ироніей,—потому что преслѣдованіе падало на ребенка, едва выходящаго изъ колыбели: таково было, на примѣръ, обскурантное преслѣдованіе университетовъ при

Александръ I-мъ и проч. Главнымъ умственнымъ вліяніемъ оставалась европейская литература...

Словомъ, если принципъ науки и былъ допущенъ въ русскую жизнь реформой, то наука еще не заняла въ ней подобающаго мѣста, ея осязательное вліяніе оказывалось только въ незначительномъ меньшинствѣ и не успѣло много измѣнить стараго характера общественныхъ понятій, господствовавшихъ въ массѣ.

Въ теченіе всего XVIII-го и нынѣшняго столѣтія, исторія нашей образованности представляетъ картину крайней шаткости, неопредѣленности, боязливости и неполноты. Литература оставалась въ совершенно подчиненномъ положеніи.

Государство развивалось почти исключительно; внѣшнія силы и объемъ его выросли съ каждымъ царствованіемъ; авторитетъ власти, наслѣдованный отъ полу-восточнаго московскаго царства, все усиливался. Отъ Европы государство прежде всего и охотнѣе всего приняло военныя приемы и приемы канцелярской администраціи; съ ихъ помощью оно стягивало національныя силы, которыя и пошли на внѣшнее укрѣпленіе государства, на завоевательныя войны. Прежде всего, и надолго усвоена чисто практическая сторона европейской образованности, которая нужна была для необходимой, конечно, цѣли — утвержденія государства, — а затѣмъ и цѣнилась почти исключительно только съ этой стороны. Общество играло роль чисто служебную, безъ всякихъ учреждений, которыя давали бы ему какую-нибудь долю самостоятельности. Государство поглощало въ себѣ все національныя силы, и матеріальныя и нравственныя...

На исключительное служеніе государству пошла и первая дѣятельность начинавшейся литературы. На первое время, это было вполне естественно и необходимо: литература, какъ выраженіе возникавшей общественной мысли, не могла не стать, совершенно искренно, на сторонѣ того авторитета, который выступилъ на борьбу съ невѣжествомъ, — могла, пожалуй, и не видѣть непригодности нѣкоторыхъ средствъ, какія были употреблены въ этой борьбѣ. Но литература и впослѣдствіи почти не выходила изъ этого отношенія къ авторитету. За немногими исключениями, она оставалась въ своемъ чисто служебномъ положеніи, въ соотвѣтствіи съ чисто служебнымъ положеніемъ массы общества. Это общество, въ массѣ, владѣло еще столь ограниченнымъ образованіемъ, жило въ столь патріархальныхъ нравахъ, что его не тревожили никакіе запросы ни умственные, ни общественные. Большею частью, литературѣ приходилось исполнять относительно этой массы только обязанности элементарнаго обученія; въ болѣе

образованной части общества эти запросы также не были еще довольно сильны, и литература вращалась въ томъ же кругѣ идей: поэзія была торжественной одой и восхваленіемъ настоящаго; сатира вооружалась противъ смѣшныхъ сторонъ жизни, насколько это могло быть одобряемо властью, и молчала о всемъ томъ, что столько же или гораздо болѣе заслуживало бы сатиры, но о чемъ не позволялось и помыслить литературѣ, какъ и самому обществу...

Такъ это продолжалось въ теченіе всего XVIII-го вѣка. Литература панегириковъ была безконечна; торжественная ода надолго установила тонъ, въ которомъ литература относилась къ общественнымъ событіямъ; литература привыкла говорить только по торжественнымъ случаямъ, восхвалять героическія добродѣтели и подвиги. Сатира въ позднѣйшее время пробовала касаться болѣе серьезныхъ предметовъ, но ей не было мѣста въ тогдашнихъ правахъ; иногда ее останавливала сама власть, находившая неприличнымъ и дерзкимъ вмѣшательство литературы въ то, что считалось исключительно дѣломъ правительства; но иногда ее останавливало и само общество, нападавшее на «Ябеду», на «Ревизора» и т. д.

Къ сожалѣнію, реформа Петра осталась, въ сущности, единственнымъ фактомъ, гдѣ авторитетъ съ энергіей дѣйствовалъ въ пользу образованія. Реформа внушала уваженіе позднѣйшимъ правителямъ, которые не могли не чувствовать, что на ней утверждается новое возрастаніе Россіи, и не могли не преклоняться передъ ея величіемъ; но сами они не были способны продолжать ее достойнымъ образомъ. Русская жизнь въ XVIII-мъ вѣкѣ уже не находила такого могущественнаго руководителя, какимъ былъ Петръ; въ правительственныхъ сферахъ движеніе продолжалось какъ-будто только силой инерціи. То, что дѣлалось для образованія въ XVIII-мъ вѣкѣ, едва ли не было тотъ минимумъ, безъ котораго уже нельзя было обойтись...

Разъ возбужденная, русская образованность была почти предоставлена самой себѣ, и лучшія силы общества сумѣли поддержать ее и дать ей серьезное развитіе. Дѣло не обошлось безъ ошибокъ, но мысль была уже возбуждена, и въ умахъ общества, какъ и въ литературѣ возникаетъ потребность критики и самостоятельной дѣятельности. Таково въ особенности литературное и общественное возбужденіе временъ Екатерины, — отъ котораго идутъ уже осязательныя нити развитія до новѣйшаго времени. Но это критическое направленіе, повторяемъ, было дѣломъ меньшинства, исключеніемъ; а правиломъ было упомянутое нами отно-

шеніе литературы къ общественному вопросу,—служебное, панегирическое, консервативное, основанное на тѣхъ данныхъ, которыя вообще произвели систему официальной народности. Эти данныя были—и авторитетъ власти, и преобладаніе внѣшней государственной дѣятельности, ослѣплявшей умы блескомъ и завоеваніями, и слабое развитіе умственныхъ интересовъ въ массѣ общества...

Итакъ, легко видѣть, что система официальной народности—какъ мы находимъ ее во второй четверти нынѣшняго столѣтія—выросла естественно изъ долговременныхъ представленій самого авторитета, и изъ долговременныхъ привычныхъ мыслей у большинства. Всѣ подробности системы легко развивались изъ общаго, господствовавшаго понятія о положеніи Россіи относительно Европы и изъ тѣхъ частныхъ обстоятельствъ, какія представлялись у насъ въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ. Характеристической чертой системы и вмѣстѣ большинства (въ противоположность направленію критическому) стало сомнѣніе, которому и не мудрено было придти къ мысли, что Петровскій періодъ нашего развитія, періодъ усвоенія европейскаго образованія кончился, что мы не только можемъ обойтись безъ Европы, но даже выше ея, и по здоровымъ началамъ нашей жизни (патріархальный миръ и благочестіе съ одной стороны; революція и безбожіе съ другой), и даже по матеріальному благосостоянію (мы кормили Европу нашимъ хлѣбомъ, и держали въ страхѣ нашей военной силой). При сильномъ убѣжденіи въ вѣрности этого взгляда,—а такое убѣжденіе при нежеланіи критически себя провѣрить, могло рождаться очень легко,—очевидно, что другой взглядъ, который бы являлся съ какими-нибудь сомнѣніями относительно этихъ предметовъ, долженъ былъ внушать самое непріятное чувство: къ этому взгляду должны были чувствовать только или пренебреженіе, какъ къ легкомыслию, или вражду, какъ къ недоброжелательству... Таково и было отношеніе людей господствующаго образа мыслей къ новымъ литературнымъ школамъ.

При такомъ отношеніи огромнаго большинства къ меньшинству, господствующаго образа мыслей ко взглядамъ, едва пролагавшимъ себѣ путь въ литературѣ, господствующей дѣйствительности къ теоретическому идеалу, не трудно видѣть, въ какомъ прискорбномъ заблужденіи находились обѣ теоріи новыхъ литературныхъ школъ, и славянофильской, и особенно западной, когда онѣ съ своей стороны (каждая по-своему) также думали видѣть въ настоящемъ (въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ) завершеніе Петровскаго періода, находить въ настоящемъ готовую,

въ принципѣ, самобытность русской цивилизаціи, уже достаточно воспринявшей начала европейскаго образованія, или даже открывать, какъ славянофилы, въ нашемъ настоящемъ бытѣ идею, далеко превосходящую то, что могла представить цивилизація Европы. Славянофилы, собственно говоря, еще могли спокойное смотрѣть на окружающую дѣйствительность, которая въ сущности во многомъ была вѣрна семнадцатому вѣку; ея грубая стороны они могли перетолковывать благопріятнымъ образомъ и подкрашивать картину. Но для другой школы и это было невозможно. Она просто заблуждалась, если искренно вѣрила въ завершеніе реформы въ тридцатыхъ годахъ,—потому что судьбу русской образованности далеко еще нельзя было считать тогда упроченной...

Это заблужденіе литературныхъ школъ имѣло разныя причины. Во-первыхъ, та критическая мысль, которая дѣйствовала въ нихъ,—сколько волею, а еще болѣе того неволею, слишкомъ ограничивалась чисто теоретическими вопросами, литературными и философскими, и отъ нея нерѣдко ускользало реальное положеніе вещей. Гоголевскій періодъ показался ей, и не безъ основанія, вступленіемъ литературы на прямую дорогу единства и согласія съ жизнью; но она преувеличила значеніе гоголевскаго вліянія и сочла его за весь искомый результатъ литературнаго развитія... Съ другой стороны, тамъ, гдѣ для писателей «западной» школы становилась ясной общая бѣдность литературы, ограниченность ея дѣйствія на цѣлую массу общества, гдѣ для нея самой были чувствительны внѣшнія препятствія, мѣшавшія ея успѣхамъ,—люди этого направленія какъ-будто хотѣли уйти отъ тяжелаго сознанія, успокоиться отъ него на высотѣ своихъ теоретическихъ надеждъ и идеаловъ, хотѣли впередъ видѣть въ нихъ истинную русскую мысль, и, убѣжденные въ вѣрности своего собственнаго образа мыслей, думали, что этимъ образомъ мыслей уже теперь долженъ быть обозначенъ новый періодъ въ развитіи цѣлаго общества. Какъ будто они хотѣли обмануть себя—«насъ возвышающимъ обманомъ», или, сознавая противорѣчіе, думали силой своего убѣжденія и своей вѣры объяснить и внушить другимъ свои стремленія... Они были, конечно, правы, когда—относительно своего тѣснаго круга, собравшаго въ себѣ лучшіе умы, таланты и характеры тогдашняго общества,—считали пройденными и пережитыми извѣстныя ступени историческаго европейскаго развитія; но не были правы, когда не приняли въ расчетъ, сколько времени еще потребуется для того, чтобы въ массѣ общества привились и распространились тѣ понятія, которыя от-

личали ихъ самихъ, — привились настолько, чтобы можно было признать за ними сколько-нибудь дѣйствительную силу. Бѣлинскій не видѣлъ того открытаго заявленія мнѣній большинства, которое выразилось рядомъ репрессивныхъ мѣръ съ 1848-го г.; но другіе писатели этого круга (дальше мы приведемъ примѣры) должны были горько сознаться въ ошибкахъ своего прежняго довѣрчиваго идеализма...

Если отъ тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ мы обратимся къ нашему собственному времени, — черезъ промежутокъ въ тридцать-сорокъ лѣтъ, — мы увидимъ, какъ преждевременны были относительно большинства эти надежды на литературную и научную самобытность русскаго общества. Не только масса общества, но можно сказать большинство самой литературы слишкомъ далеки отъ сколько-нибудь серьезнаго пониманія вещей; напротивъ, — не говоря о той низменной литературѣ, у которой нѣтъ никакого интереса кромѣ мелкаго прислужничества и денежной аферы, даже въ такихъ кружкахъ, которые заявляютъ притязаніе на извѣстную самостоятельность, на извѣстную рациональность и послѣдовательность своего образа мыслей, господствуетъ такое рабское подчиненіе ходячимъ понятіямъ и ходячему разсчету, что смѣшно было бы говорить о присутствіи въ нихъ истинно-критическаго начала. Освѣжающія явленія возникаютъ изрѣдка въ нѣкоторыхъ отдѣльных трудахъ, иногда приходятъ изъ иностранной литературы, — но большинство наличной литературы относится къ нимъ съ тупымъ непониманіемъ и наглымъ гаерствомъ. Правда, не останавливается рядъ разнообразныхъ изученій историческихъ, экономическихъ и проч., продолжаетъ и возникаетъ вновь дѣятельная фактическая разработка общественной исторіи и народнаго быта, — и все это общаетъ нѣкогда полезныя результаты, но въ данную минуту еще мало оказываетъ дѣйствія на общественное мнѣніе массы. Современное положеніе литературы есть безспорно упадокъ. Правда, многіе относятъ его причину только къ внѣшнимъ репрессивнымъ мѣрамъ, — и ихъ вліянія невозможно не признать, — но быстрое обѣднѣніе литературы въ общественно-критическомъ направленіи все-таки показываетъ, какъ мало въ самомъ обществѣ тѣхъ живыхъ интересовъ, сила и слабость которыхъ всегда отражается въ литературѣ...

Въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ большинство стояло еще степенью ниже. Соотвѣственно этому, общественно-критическое направленіе двухъ передовыхъ школъ было еще болѣе одиноко и слабо противъ окружавшихъ его препятствій. Пересмотрѣвъ нѣ-

сколько примѣровъ того, какъ относились къ литературѣ и новымъ стремленіямъ образованности руководящія власти, мы вмѣстѣ съ тѣмъ увидимъ и отношеніе большинства къ этой литературѣ, потому что упомянутыя власти несомнѣнно выражали и господствующія понятія большинства, именно понятія системы официальной народности.

Тридцатые и сороковые года представляютъ много любопытныхъ столкновеній этого рода, которыя наглядно изображаютъ, какъ въ самыхъ разнообразныхъ предметахъ критическое направленіе или просто малѣйшіе признаки самостоятельнаго вкуса и противорѣчія принятому взгляду встрѣчались съ недоумѣніемъ, запрещеніемъ и преслѣдованіемъ. Эти предметы большею частью были совершенно безобидны, иногда до такой степени, что въ наше время трудно даже понять, чѣмъ они могли возбуждать такую подозрительность.

Въ 1834, подвергается запрещенію «Московскій Телеграфъ», Полеваго, замѣчательнѣйшій журналъ своего времени, за *литературно-критическую* статью объ извѣстной пьесѣ Кукольника: «Рука Всевышняго отечество спасла», — статью, которая «дала поводъ нѣкоторымъ давнимъ врагамъ этого журнала прямо указать на него, какъ на органъ вредный и вольнодумный». Журналъ былъ запрещенъ, и самъ Полевой съ жандармомъ приведенъ въ Петербургъ къ отвѣту. Столь неприкосновенной считалась пьеса Кукольника! ¹⁾

Въ 1836, произошло извѣстное запрещеніе «Телескопа», Надеждина, за напечатаніе «Философическаго письма» Чаадаева. Извѣстно, что мѣра, принятая противъ Чаадаева, была почти мягкой въ сравненіи съ тѣмъ ожесточеніемъ, съ какимъ приняла статью въ первую минуту московская публика. Сама публика шла еще дальше въ своей нетерпимости, чѣмъ даже руководящія власти.

Въ 1842 году самъ Кукольникъ, столь высоко цѣнимый, подвергся строгому выговору за свою повѣсть изъ петровскихъ временъ «Сержантъ Ивановъ, или всѣ за одно», въ которой отыскано было «желаніе выказать дурную сторону русскаго дворянина

¹⁾ Еще ранѣе, были случаи запрещенія (въ 1830 г.) „Литературной Газеты“, столь извѣстнаго въ свое время изданія барона Дельвига, за напечатаніе *переводнаго четверостишія* въ память іюльскихъ дней во Франціи, и запрещеніе „Европейца“, журнала Ив. Кирѣевскаго. По словамъ г. Бартенева, Дельвигъ „погибъ“ за эти четыре стиха объ іюльской революціи (Дельвигъ умеръ въ томъ же 1830 году). „Р. Арх.“ 1872, стр. 2025. Подробности этого обстоятельства еще не были, кажется, разсказаны въ литературѣ.—О запрещеніи „Телеграфа“ см. „Р. Старину“ 1870, I, стр. 550—553.

и хорошую — его дворового человѣка»; самое сочиненіе названо въ выговорѣ «ничтожнымъ». Повидимому, только усердныя извиненія Кукольника сняли съ него немилость начальства ¹⁾.

Въ 1832 году, вышли «Русскія сказки» извѣстнаго Даля. Книжка была захвачена, и авторъ арестованъ, потому что въ одной сказкѣ открыли какіе-то намѣки, которыхъ, повидимому, и не было. Впослѣдствіи, изданіе его «Пословицъ», уже въ началѣ пятидесятихъ годовъ, встрѣтило сначала большія цензурныя затрудненія; цензурныя опасенія относительно «Пословицъ» Дalia ощутилъ даже одинъ изъ членовъ русскаго отдѣленія академіи наукъ. «Пословицы» Дalia изданы были уже въ наше время, безъ всякой опасности для народной нравственности.

Мы упоминали прежде, какъ тѣ же условія тяжело подѣйствовали на дѣятельность И. В. Кирѣевскаго, журналъ котораго «Европеецъ» (1832) прервался на второй книжкѣ, по подозрѣніямъ въ крайнемъ либерализмѣ; какъ въ сороковыхъ годахъ Кирѣевскій затруднялся простымъ изданіемъ своего сборника пѣсенъ, невинность которыхъ надо было объяснять и доказывать. Извѣстны болѣе или менѣе различные случаи подобнаго рода, происходившіе съ другими славянофильскими писателями, Хомяковымъ, И. С. Аксаковымъ и пр.

Гоголь также не избѣгъ неудобствъ цензурныхъ. «Мертвыя Души», проходя черезъ цензуру, потеряли небольшой кусокъ, который только впослѣдствіи былъ присоединенъ къ собранію его сочиненій. «Переписка» потеряла цѣлый рядъ писемъ, напечатанныхъ уже только въ 1867 г. ²⁾.

Когда-нибудь вѣроятно собраны будутъ подробности о томъ, какъ дѣйствовали тѣ же условія на такъ-называемую художественную литературу, на «свободное творчество», на «искусство для искусства». Но извѣстно вообще, что «свобода творчества», о которой такъ много говорила и заботилась наша художественная критика, была, къ сожалѣнію, нерѣдко слишкомъ фиктивной и воображаемой, какъ это показываютъ довольно и нѣкоторые изъ приведенныхъ сейчасъ примѣровъ ³⁾. Этого обстоятельства, кажется

¹⁾ См. „Р. Старину“ 1871, III, 793—794.

²⁾ До сихъ поръ остается неразъясненнымъ временное исчезновеніе „Мертвыхъ Душъ“, въ то время, когда онѣ посланы были изъ Петербурга къ Гоголю въ Москву, и при этомъ на нѣсколько недѣль пропадали неизвѣстно куда.

³⁾ Лѣтъ 17—18 тому назадъ, въ числѣ появившейся тогда рукописной литературы, была небольшая, довольно остроумно написанная статья, которая ходила съ именемъ одного изъ старѣйшихъ нынѣшнихъ писателей, и гдѣ было собрано много любопытныхъ примѣровъ цензурной практики сороковыхъ и начала пятидесятихъ годовъ.

намъ, до сихъ поръ не умѣла достаточно оцѣнить ни исторія нашей литературы, ни художественная критика, иногда и до сихъ поръ такъ горячо защищающая свободное искусство.

Дѣятельность того литературнаго круга, къ которому принадлежалъ Бѣлинскій, была въ особенности подвергнута недовѣрчивому надзору. Въ примѣръ этого укажемъ нѣсколько случаевъ, извѣстныхъ относительно Грановскаго и дающихъ понятіе о положеніи вещей. Грановскій, изъ всѣхъ писателей этого круга, въ особенности отличался той ровной мягкостью и тактомъ, которые могли бы внушить довѣріе къ его профессорской и литературной дѣятельности; но и эти свойства нисколько не спасали его отъ подозрѣній и стѣсненій,—и главное, все это шло не отъ однихъ только руководящихъ властей: къ сожалѣнію, многое, стѣснявшее дѣятельность Грановскаго, исходило отъ нѣкоторыхъ людей въ той самой средѣ, гдѣ онъ вращался, отъ людей «интеллигенціи», отъ самаго общества, большинству котораго не были ни понятны, ни сочувственны его стремленія.

Уже вскорѣ послѣ того, какъ Грановскій основался въ Москвѣ, онъ сталъ приобретать ту извѣстность и популярность, которыми онъ пользовался потомъ въ кругу слушателей и образованнаго общества. Въ 1843-мъ году онъ читалъ публичный курсъ, сопровождавшійся небывалымъ успѣхомъ. Но рядомъ съ этимъ готовились и непріятныя обстоятельства. «Профессорскому поприщу Грановскаго среди успѣховъ уже грозила опасность (въ 1843-мъ году),—замѣчаетъ его біографъ. Оно было до того непрочно, что онъ уже вынужденъ былъ помышлять о перемѣнѣ службы». Въ письмѣ къ одному изъ друзей онъ сообщаетъ, что отъ него требовали апологій и оправданій въ видѣ лекцій: «реформація и революція должны быть излагаемы съ *католической* (!) точки зрѣнія и какъ шаги назадъ. Я предложилъ не читать вовсе о революціи. Реформація уступить я не могъ. Что же бы это была за исторія?..» Нечего говорить, что это была бы исторія очень сомнительная.

Въ эту пору оживленной дѣятельности, Грановскаго сильно занимала мысль издавать съ своими друзьями журналъ. Онъ подалъ (въ іюнѣ 1844) просьбу о разрѣшеніи ему издавать журналъ «Ежемѣсячное Обзорѣніе». Отвѣтъ послѣдовалъ только въ 1845-мъ году; онъ былъ кратокъ и ясенъ: «не нужно.»

Въ кругу «интеллигенціи» Грановскій и его друзья встрѣчали не одно противорѣчіе мнѣній, но настоящую вражду, которая могла вліять и на ихъ общественное положеніе. Въ мартѣ 1845, Грановскій пишетъ къ одному изъ друзей,—«обо мнѣ

кричать, что я интригантъ и тайный виновникъ всѣхъ оскорбленій, какія наносятся славянству» (рѣчь идетъ вѣроятно о разныхъ университетскихъ дѣлахъ и отношеніяхъ), что эти обвиненія распространяются и на его друзей, что, напримѣръ, Бѣлинскаго обвиняютъ въ томъ, что онъ своими статьями подрываетъ народность (?), семейную нравственность и православіе. Въ письмѣ къ Кирѣевскому, сохранившемся въ бумагахъ Грановскаго, онъ съ «необычайнымъ раздраженіемъ», по словамъ біографа, говоритъ объ отношеніяхъ къ нему его учено-литературныхъ противниковъ, именно «большей части сотрудниковъ Москвитянина», — по милости которыхъ отчасти онъ «ославленъ врагомъ церкви и Россіи»... ¹⁾

Извѣстно отчасти, какія столкновенія этого рода приходилось испытывать также Бѣлинскому и другимъ писателямъ этого круга. И опять должно сказать, что не только руководящія власти выказывали подозрительность къ нему, или принимали репрессивныя мѣры противъ лицъ этого круга, — но въ самомъ обществѣ, въ другихъ литературныхъ партіяхъ, не только партіяхъ ничтожныхъ по своему умственному и нравственному характеру, но и въ настоящей «интеллигенціи», эти писатели встрѣчали вражду чисто обскурантнаго свойства. Одна независимость мысли, одно нѣсколько послѣдовательное проведеніе критическаго взгляда на жизнь были достаточны для того, чтобы этимъ писателямъ была придана репутація, въ нашихъ условіяхъ самая неблагоприятная. Иногда почти трудно сказать, кто шелъ впереди въ этихъ инкриминаціяхъ литературы, осторожны ли власти, или неразумная публика... Въ 1848-мъ году, когда умеръ Бѣлинскій, друзья его находили, что онъ умеръ во-время...

Такъ поставлена была литература художественная, историческая и критическая. Практическіе общественные вопросы почти не находили мѣста въ литературѣ, иначе — какъ въ видѣ повторенія официальныхъ свѣдѣній, или въ видѣ безусловнаго панегирика; допускались только предметы, которые самимъ властямъ казались индифферентными. Нѣсколько примѣровъ изъ исторіи тогдашней цензуры покажутъ, до какихъ размѣровъ доходило обязательное молчаніе литературы объ этихъ предметахъ.

Въ 1829-мъ, одинъ изъ петербургскихъ цензоровъ былъ выдержанъ 8 дней на гауптвахтѣ за пропущеніе статьи объ упадкѣ питейныхъ сборовъ въ Курской губерніи.

Въ 1841-мъ, извѣстный академикъ Кеппелъ напечаталъ ста-

¹⁾ Біографія Гран., стр. 142, 143, 148 и проч.

тейку, подъ названіемъ «Почтовые сообщенія», которая возбудила негодованіе управлявшаго почтовымъ вѣдомствомъ князя Голицына (извѣстнаго министра народнаго просвѣщенія при Александрѣ I). Онъ жаловался Уварову на дерзость Кеппена — входить въ разборъ «коренныхъ почтовыхъ законовъ» и осуждать дѣйствія почтоваго управленія. «Это—попытка того либеральнаго духа западной Европы (!), который стремится подвергать дѣйствія правительства контролю свободного книгопечатанія... Кеппенъ и теперь уже возглашаетъ въ той же статьѣ: наступаетъ и для насъ время развитія силъ народныхъ!..»

Въ 1845-мъ, явилась статейка о строившейся тогда московской желѣзной дорогѣ. Управляющій путей сообщенія, «нисколько не порицая ея содержанія, вполнѣ благонамѣреннаго, испросилъ однакожъ высочайшее повелѣніе, чтобъ впредь ничего не печаталось объ этомъ предметѣ безъ его предварительнаго одобренія»...

Въ 1828-мъ, дана была льгота литературѣ: разрѣшено было печатать разборы театральныхъ пьесъ, что прежде совершенно не допускалось, такъ какъ актеры считались людьми, состоявшими на службѣ, и сужденіе объ ихъ достоинствахъ или недостаткахъ принадлежало только ихъ начальству. Печатаніе этихъ разборовъ должно было, впрочемъ, происходить съ разрѣшенія начальника III-го отдѣленія собственной Е. И. В. канцеляріи.

Сужденія о «политическихъ видахъ» правительства съ 1826 года были строжайше запрещены всѣмъ изданіямъ, кромѣ тѣхъ сужденій, которыя заимствуются изъ официальныхъ изданій, академической газеты и «Journal de St.-Pét.», издаваемого при министерствѣ иностранныхъ дѣлъ; потомъ къ этимъ газетамъ присоединена была еще «Сѣверная Пчела», куда политическій отдѣлъ доставляемъ былъ изъ одного официального вѣдомства.

Въ началѣ описываемаго періода изданъ былъ, въ 1826 году, уставъ, изготовленный адмираломъ Шишковымъ; въ 1828, этотъ уставъ былъ замѣненъ другимъ, нѣсколько болѣе снисходительнымъ. Но и послѣдній, какъ мы видѣли, былъ достаточно стѣснителенъ и сохранилъ, кромѣ главной, нѣсколько специальныхъ цензуръ; именно: духовную цензуру—для книгъ духовнаго содержанія; цензуру медицинскаго вѣдомства—для лечебниковъ; цензуру III-го отдѣленія—для театральныхъ пьесъ, и наконецъ цензуру особаго specialнаго комитета—для разсмотрѣнія учебныхъ руководствъ.

Вскорѣ къ этимъ различнымъ цензурамъ присоединились новыя specialныя цензуры—министерства финансовъ, военнаго, двора—по тѣмъ предметамъ, которые касались этихъ вѣдомствъ.

Впослѣдствіи такое же отдѣльное право предварительнаго цензурнаго просмотра книгъ и статей дано было управленію военно-учебныхъ заведеній, кавказскому комитету, II-му отдѣленію собственной канцеляріи, археографической комиссіи (!), главному попечительству дѣтскихъ пріютовъ, петербургскому оберъ-полицеймейстеру, управленію государственнаго коннозаводства и президенту академіи наукъ. Наконецъ, то же право предоставлено было еще и другимъ вѣдомствамъ.

Въ министерство Уварова установились и другія стѣсненія литературы. Разрѣшеніе новыхъ журналовъ было до чрезвычайности затруднено; у ученыхъ обществъ отнято было издавна присвоенное имъ право—самимъ цензировать свои изданія, и проч.

Общій результатъ всѣхъ этихъ мѣръ, очевидно, не могъ не быть крайне отяготительнымъ для литературы. Это рѣзко выразилось даже чисто вѣшними цифрами. Число книгъ уменьшилось: оно чрезвычайно уменьшилось по отдѣламъ философіи и естествознанія, и возвысилось только по предметамъ чисто практическаго свойства—по сельскому хозяйству и юридическимъ наукамъ; по отдѣлу періодическихъ изданій размножились только изданія хозяйственно-промышленныя, медицинскія и модныя, и уменьшилось число изданій учено-литературныхъ. Въ теченіе пятнадцати лѣтъ, за 1833 — 1847 годы, средняя годовая цифра выходившихъ книгъ, разсчитанныхъ по пятилѣтіямъ, понизилась съ 10,365, въ началѣ этого періода, до 9,158 въ концѣ его.

Этотъ результатъ самъ по себѣ довольно удивителенъ, потому что надо же предполагать, что въ теченіе этого періода все-таки возрастала любовь къ чтенію, увеличивалось число образованныхъ и читающихъ людей; можно бы было предполагать, что по крайней мѣрѣ не упадетъ общая численность выходящихъ книгъ, каково бы ни было ихъ содержаніе и внутренняя цѣнность. Но если одинъ подобный результатъ показывалъ, какъ трудны были вѣшнія условія литературы до 1848 года, то условія эти стали еще труднѣе въ послѣдующіе годы... Новыя стѣснительныя мѣры приведены были европейскими событіями 1848 — 49-хъ годовъ. Къ удивленію, у насъ нашли возможнымъ распространять на русское общество тѣ опасенія, какія пробудило революціонное движеніе въ западной Европѣ, и сочли нужными немедленныя и рѣшительныя мѣропріятія для противодѣйствія предполагаемымъ вреднымъ идеямъ. Цензура, и прежде достаточно строгая, дошла въ своей строгости до послѣдняго предѣла въ дѣйствіяхъ такъ-называемаго комитета 2-го апрѣля 1848, который явился высшей контролирующей цензурой надъ всѣми дѣйствіями цензуръ обык-

новенныхъ. Литература была обезличена, лишена содержания—насколько возможно. Къ прежнимъ ограниченіямъ, исключавшимъ изъ ея области разнообразныя общественныя вопросы, присоединились новыя ограниченія. Нечего и говорить о томъ, что невозможны были ни малѣйшія упоминанія о европейскихъ событіяхъ,—кромѣ тѣхъ, какія являлись въ официальныхъ изданіяхъ и «Сѣверной Пчелѣ»,—что современная исторія была вообще закрыта отъ литературы. Запрещенія распространились и на такіе предметы, гдѣ они были совершенно неожиданны и гдѣ на первый взглядъ трудно объяснить себѣ ихъ мотивъ. Такъ, напримѣръ, являлись запрещенія писать о древнихъ нравахъ и обычаяхъ русскаго народа,—вслѣдствіе чего долженъ былъ прекратиться «Этнографическій Сборникъ», важное изданіе, тогда начатое было Географическимъ Обществомъ; запрещено было касаться разныхъ эпохъ древней русскаго исторіи, какъ, напр., періодъ междуцарствія, эпохи народныхъ волненій и т. д. Выраженіе даже чисто литературныхъ мнѣній бывало не безопасно, какъ то случилось напр. съ г. Тургеневымъ въ 1852, вслѣдствіе написанной имъ газетной статьи о Гоголѣ.

Параллельно съ этимъ, столько же мѣръ предосторожности найдено было нужнымъ принять противъ учебныхъ заведеній. «Въ 1849-мъ году возникли слухи о предстоящемъ закрытіи университетовъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведеній. Дворянскій институтъ въ Москвѣ былъ дѣйствительно закрытъ. Число студентовъ и вольныхъ слушателей въ каждомъ университетѣ должно было ограничиться тремя стами. Плата за слушаніе лекцій была возвышена. Издавались строгія инструкціи для способа преподаванія въ учебныхъ заведеніяхъ и надзора за нимъ. Профессора университетовъ должны были представлять подробныя программы своихъ лекцій для предварительнаго просмотра со стороны начальства...» «Московскій университетъ обращалъ на себя подозрительное вниманіе. Собирались свѣдѣнія о его преподавателяхъ, объ ихъ образѣ мыслей, ихъ лекціяхъ, о настроеніи и духѣ университетскаго юношества... ходили уже слухи о предстоящемъ закрытіи университета» ¹⁾. Уваровъ, управленіе котораго, какъ мы видѣли, нельзя было обвинить въ недостаточности

¹⁾ Біогр. Гран., стр. 238—239, 242—243 и друг. Ср. напечатаніе въ послѣднее время нѣкоторые документы изъ того времени; каковы, напримѣръ, распоряженіе г. Бутурлина (предсѣдательствовавшаго въ комитетѣ 2 апрѣля) отъ 5 мая 1848 въ „Русской Старинѣ“, 1872, V, стр. 784; инструкцію ректорамъ и деканамъ факультетовъ, 24 октября 1849,—тамъ же VI, 448 и проч.

надзора за литературой и настроеніемъ умовъ, счелъ нужнымъ удалиться изъ министерства.

Но дѣло состояло не въ томъ, что былъ какой-нибудь недостатокъ въ надзорѣ или какое-нибудь его послабленіе, а въ томъ, что сама общественная атмосфера была ненормальна, и отсюда-то выходили различныя теоретическія заблужденія и тѣ одно-стороннія увлеченія и крайности, въ которыя впадали тогда люди съ тѣми или другими стремленіями къ идеалу, къ осмысленному принципу. Потому историческое и моральное объясненіе этихъ увлеченій и заключается въ особенныхъ условіяхъ времени, стѣс-нявшихъ или отнимавшихъ правильное удовлетвореніе нравственно-общественныхъ и умственныхъ потребностей. Восходя далѣе этого броженія конца сороковыхъ годовъ, мы найдемъ то же явленіе и раньше. Люди, умомъ или талантомъ стоявшіе выше толпы, жившіе идеалами, не находили себѣ мѣста въ обычныхъ нравахъ, не могли свободно дышать въ спертomъ воздухѣ бѣдной обще-ственной жизни, и удержаться въ области своего идеала, которая въ сущности еще не была признаваема обществомъ. Пушкинъ не хотѣлъ въ своемъ обществѣ быть только писателемъ: въ душѣ онъ гордился и наслаждался своей поэтической славой, былъ самымъ собой въ ближайшемъ кругѣ сочувствующихъ друзей, но съ людьми общества онъ хотѣлъ быть свѣтскимъ человѣкомъ, потомкомъ древ-няго рода, увлекся аристократическимъ тщеславіемъ. Гоголь на-долго бѣжалъ изъ русской жизни, въ лучшую пору своего твор-чества, по какому-то странному инстинкту, не смогъ помирить своего гениальнаго таланта съ господствующимъ характеромъ об-щества и кончилъ аскетизмомъ и мистикой. Лермонтовъ велъ въ своемъ обществѣ жизнь чисто внѣшнюю, лучшіе свои помыслы скрывалъ про себя, и относился къ обществу съ презрѣніемъ, иногда циническимъ. Не будемъ приводить другихъ примѣровъ, въ которыхъ нѣтъ, къ сожалѣнію, недостатка въ прошедшемъ нашей литературы. Молодое поколѣніе конца сороковыхъ годовъ, мечтавшее, что нашло—хотя въ далекомъ будущемъ—положи-тельный идеалъ, ради его забыло объ окружающемъ и стало жерт-вою своего увлеченія. Мы увидимъ далѣе, какъ это положеніе вещей дѣйствовало на людей двухъ передовыхъ литературныхъ школъ того времени, людей серьезныхъ настолько, чтобы не увлекаться фантастическими идеалами; трудность положенія подав-ляла ихъ сознаниемъ безпомощности, въ данную минуту, того дѣла, которому издавна посвящены были всѣ ихъ силы и всѣ ихъ лучшіе помыслы.

Существенная трудность этого положенія вещей состояла

именно въ томъ, что условія его лежали въ самомъ обществѣ:— непониманіе или чисто вѣйшее пониманіе науки, недовѣріе ко всякой новой мысли, выходящей изъ принятой рутины, не только недостатокъ сочувствія, но положительная вражда къ новымъ стремленіямъ литературы, были принадлежностью цѣлой обширной массы общества. Тѣ же взгляды высказывались въ самой литературѣ,—въ той части ея, которая вполне, и намѣренно и безнамѣренно, слѣдовала понятіямъ официальной народности. Эта литература можетъ служить отличнымъ представителемъ большинства; разныя степени этой литературы, начиная «Москвитинномъ» и романтизмомъ Кукольника, и кончая «Маякомъ» и «Сѣверной пчелой», представляли разныя степени этого большинства, отъ нѣкоторой образованности, съ извѣстнымъ пониманіемъ пригодности науки, до самыхъ низшихъ ступеней образованія, граничившихъ съ невѣжествомъ, и до тѣхъ ступеней общественной нравственности, какія представляла «Сѣверная Пчела». И если руководящія вѣдомства были недовѣрчивы къ новымъ литературнымъ школамъ, находили ихъ вредными, то эти школы сталкивались здѣсь не съ какимъ-либо случайнымъ произволомъ, а съ цѣлымъ взглядомъ на вещи, который масса общества вполне и искренно раздѣляла, съ цѣлымъ умственнымъ тономъ огромнаго большинства такъ-называемаго образованнаго общества. Исполнители дѣлали, конечно, то, что отъ нихъ требовалось, но они сами были убѣждены въ справедливости требованій, и взгляды Бутурлина, Шихматова, Мусина-Пушкина и пр. и пр. принадлежали имъ не только какъ администраторамъ, но и какъ людямъ общества. Въ главѣ о Гоголѣ мы указывали, что критическая школа казалась «скаредной», приписываемое ей знамя казалось «чернымъ», ея дѣятельность казалась положительно зловредною, и такимъ людямъ, отъ которыхъ можно было бы ожидать болѣе просвѣщеннаго взгляда, людямъ, которые нѣкогда сами стояли въ первыхъ рядахъ литературы, были друзьями и литературными союзниками Пушкина...

Словомъ, критическое направленіе было мало вразумительно и несимпатично большинству, которое чувствовало себя въ лучшемъ изъ міровъ, и вслѣдствіе того считало критику дѣломъ не только не нужнымъ и пустымъ, но злонамѣреннымъ, не понимало въ ней внутренняго побужденія искать истины, а находило только недоброжелательную хулу на вещи, заслуживающія одного удивленія, неопозволительное своеволие и вольнодумство. Самъ Гоголь, который въ своихъ теоретическихъ заблужденіяхъ съ начала и до конца былъ близокъ къ подобной точкѣ зрѣнія, чув-

ствовалъ, однако, силой своего таланта, это положеніе вещей, и не одинъ разъ съ глубокимъ чувствомъ жаловался на тяжелое положеніе писателя, который хочетъ изображать жизнь такую, какова она есть, и не хочетъ только льстить обществу ¹⁾).

Гоголь былъ правъ въ этихъ жалобахъ, и справедливо могъ сказать русскому обществу, — не только по поводу своего героя, который вызвалъ въ немъ эти печальные размышленія: — «Вы боитесь глубоко устремленнаго взора, вы страшитесь сами устремить на что-нибудь глубокой взоръ, вы любите скользнуть по

¹⁾ Мы приводили уже нѣкоторыя цитаты этого рода. Напомнимъ еще одно мѣсто, въ концѣ перваго тома „Мертвыхъ Душъ“, мѣсто, въ которомъ онъ сдѣлалъ печальную, но, къ сожалѣнію, слишкомъ справедливую характеристику огромной части тогдашняго (а также, кажется, и теперешняго) русскаго общества:

„Но не то тяжело — говорить онъ, разсуждая о герояхъ своей поэмы, — что будутъ недовольны героемъ; тяжело то, что живетъ въ душѣ *неотразимая увѣренность*, что тѣмъ же самымъ героемъ, тѣмъ же самымъ Чичиковымъ, были бы довольны читатели. Не загляни авторъ поглубже ему въ душу... а покажи его такимъ, какимъ онъ показался всему городу, Манилову и другимъ людямъ, — и всѣ были бы радешеньки, и приняли бы его за интереснаго человѣка. Нѣтъ нужды, что ни лицо, ни весь образъ его не метался бы какъ живой предъ глазами: за то, по окончаніи чтенія, душа не встревожена ничѣмъ, и можно обратиться вновь къ карточному столу, *тѣшащему всю Россію*. Да, мои добрые читатели, вамъ бы не хотѣлось видѣть обнаруженную человѣческую бѣдность. *Зачѣмъ*, говорите вы, *къ чему это?* Развѣ мы не знаемъ сами, что есть много презрѣннаго и глупаго въ жизни? И безъ того случается намъ часто видѣть то, что вовсе не утѣшительно. Лучше же представляйте намъ прекрасное, увлекательное; пусть лучше позабудемся мы. „Зачѣмъ, ты, братъ, говоришь мнѣ, что дѣла въ хозяйствѣ идутъ скверно?“ говорить помѣщикъ прикащику: „Я, братъ, это знаю безъ тебя; да у тебя рѣчей развѣ нѣтъ другихъ, что ли? Ты дай мнѣ позабыть это, не зная этого — я тогда счастливъ.“ И вотъ тѣ деньги, которыя бы поправили сколько-нибудь дѣло, идутъ на разныя средства для приведенія себя въ забвеніе. Спить умъ, можетъ быть, обрѣтшій бы внезапный родникъ великихъ средствъ; а тамъ имѣніе бухъ съ аукціона, — и пошелъ помѣщикъ забываться по міру...“

Очевидно, что эта тема могла быть развита еще гораздо дальше, въ гораздо болѣе широкихъ примѣрахъ и примѣненіяхъ.

„Еще падеть обвиненіе на автора, — продолжаетъ Гоголь, — со стороны такъ-называемыхъ *патріотовъ*, которые спокойно сидятъ себѣ по угламъ и занимаются совершенно посторонними дѣлами, накапливаютъ себѣ капиталы, устроивая судьбу свою на-счетъ другихъ; но какъ только случится что-нибудь, *по мнѣнію ихъ, оскорбительное* для отечества, появится какая-нибудь книга, въ которой скажется иногда *горькая правда*, они выбѣгутъ со всѣхъ угловъ какъ пауки, увидѣвшіе, что запуталась въ паутину муха, и подымутъ вдругъ крики: „Да хорошо ли выводить это на свѣтъ, провозглашать объ этомъ? Вѣдь это все, что ни описано здѣсь, это все наше, — хорошо ли это? А что скажутъ иностранцы? Развѣ весело слышать дурное мнѣніе о себѣ? Думаютъ: это не больно? Думаютъ: развѣ мы не патріоты?“ На такія мудрыя замѣчанія, особенно на-счетъ мнѣнія иностранцевъ, признаюсь, ничего нельзя прибрать въ отвѣтъ...“

Авторъ прибралъ, впрочемъ, одинъ отвѣтъ — извѣстную исторію о двухъ обитателяхъ, Кифѣ Мокиевичѣ и его дѣтищѣ.

всему недумаящими глазами»... Въ самомъ дѣлѣ, сколько разъ въ то время, и послѣ, до настоящей минуты, сколько разъ происходилъ въ этомъ обществѣ переполохъ, пауки выбѣгали изъ угловъ, и раздавались крики объ оскорбленномъ патріотизмѣ по поводу книги, статьи, говорившихъ о нашей исторіи, нашей общественной жизни и т. д. не въ томъ тонѣ, къ которому привыкли описываемые Гоголемъ патріоты. Тридцать лѣтъ тому назадъ, эта патріотическая чувствительность была развита еще сильнѣе, во всѣхъ кругахъ общества, низшихъ и высшихъ— и можно себѣ представить положеніе той литературы, которая рѣшалась противорѣчить общему мнѣнію, хотѣла указывать обществу идеалы болѣе высокаго достоинства,—для большинства эти идеалы были даже просто невразумительны.

Этотъ общій характеръ жизни, среди которой надо было дѣйствовать новымъ стремленіямъ литературы, безъ сомнѣнія не могъ самъ по себѣ не стѣснять и ея собственное развитіе, и ея вліяніе. По необходимости, она ограничивалась только тѣми предметами, какіе оставались доступны; по необходимости, мысли ея не были досказаны, — а такъ какъ это бывало постоянно, то, быть можетъ, оттого онѣ и не были до конца додуманы; лишеныя правильныхъ возраженій другой стороны, ограниченныя своими, такъ сказать, алгебраическими формулами, не находя себѣ опоры въ жизненномъ опытѣ, эти мысли не могли развиться до своего естественнаго результата. Цензурная опека ограничивала даже чисто научныя стороны литературы, до полной невозможности серьезнаго научнаго изысканія. Нѣсколько фактовъ могутъ достаточно показать, какъ съ разныхъ сторонъ и до какой прискорбной степени ограничивалось и то *содержаніе* литературы, какое было.

Мы видѣли, къ какимъ результатамъ приводила цензурная практика за пятнадцать лѣтъ, 1833 — 1847. Число книгъ значительно уменьшилось по отвлеченнымъ, чисто научнымъ отдѣламъ, уменьшилось даже по отечественной исторіи, теоріи словесности и проч., и увеличилось только по предметамъ чисто практической полезности. Правда, вкусъ къ чисто - отвлеченной философіи въ это время упалъ въ самой литературѣ, но тѣмъ не менѣе философскія изученія, въ которыхъ теперь больше начинала привлекать ихъ реальная сторона, были все-таки невозможны, какъ только сближались съ какими-нибудь вопросами дѣйствительности и какъ-нибудь задѣвали принятую мораль и систему мнѣній. Вопросъ религіозной философіи былъ совершенно внѣ области разсужденій,—онъ являлся въ литературѣ только въ формѣ догматическихъ сочиненій, писанныхъ специалистами. Подъ

конецъ, философія вообще признана была за науку опасную, и послѣ 1849 года была исключена изъ университетскаго преподаванія (вмѣсто нея введено преподаваніе логики и психологіи, поручаемое, кажется вездѣ, преподавателямъ богословія). Репутацію опасныхъ издавна имѣли и науки естественныя, о которыхъ думали, что онѣ имѣютъ специальную способность приводить къ матеріализму. Геологіи ставилось въ особую обязанность не противорѣчить традиціонному понятію о происхожденіи и возрастѣ земли. Впослѣдствіи, въ наше время, нужна была нѣкоторая смѣлость со стороны цензуры, чтобы снять запрещеніе, лежавшее на цѣломъ рядѣ, между прочимъ, весьма знаменитыхъ, европейскихъ книгъ по естествознанію, которыя до тѣхъ поръ не имѣли никакого доступа въ нашу литературу. Ту же судьбу дѣлила политическая экономія, которой приписывали способность вести къ вольнодумству, такъ какъ она вмѣшивалась въ дѣло государственнаго хозяйства съ непрошенными разсужденіями, и къ социализму ¹⁾).

Далѣе, опасна казалась и классическая древность, которую теперь такъ восхваляютъ защитники классицизма, какъ путь къ благонамѣренности. Въ министерство кн. Ширинскаго-Шихматова, уваровская система смѣнилась другою системою; обученіе греческому языку въ гимназіяхъ было прекращено; исторія классическаго міра считалась вовсе не такъ важной и полезной, какъ полагали прежде, и нѣкоторые педагоги были того мнѣнія, что греческую и римскую исторію до Августа было бы полезно почти исключить совсѣмъ изъ курса исторіи, такъ какъ греческая исторія, писанная язычниками и республиканцами, какъ-то Геродотъ и Фукидидъ, Титъ-Ливій и Тацитъ, должны были оказывать вредное вліяніе на юные умы. Очень близкій съ этимъ взглядъ выражала и новая программа, составленная въ 1848—1849 году для военно-учебныхъ заведеній генераль-майоромъ Ростовцовымъ, который также возставалъ противъ «безотчетнаго, можно сказать, поклоненія событіямъ исторіи грековъ и римлянъ, которое такъ долго, *и такъ несправедливо*, господствовало и въ книгахъ и въ школахъ»: онъ хотѣлъ отдавать справедливость тому, что было замѣчательнаго въ древнихъ классическихъ государствахъ, но предостерегалъ отъ «ложнаго блеска», имъ придаваемого, и говорилъ, что «не теряя уваженія къ

¹⁾ Эти неблагопріятныя понятія о политической экономіи были тогда довольно распространены и очень сходны съ тѣми, которыя въ двадцатыхъ годахъ повели къ гоненію противъ профессоровъ петербургскаго университета Германа и Арсеньева, преподававшихъ политическую экономію и статистику.

обоимъ народамъ, достигшимъ высокой степени образованія (то-есть, къ грекамъ и римлянамъ)..., мы, теперь, не плѣняемся уже безотчетно республиканскими, нерѣдко, такъ сказать, *мишурными*, театральными добродѣтелями многихъ героевъ Греціи и Рима», и т. д. ¹⁾. Въ университетскомъ преподаваніи греческаго языка явилась новая черта: такъ какъ по вышеуказаннымъ основаніямъ изученіе древнихъ греческихъ писателей, языческихъ и республиканскихъ, представлялось и для университетовъ не полезнымъ въ нравственномъ смыслѣ, или ненужнымъ, то, по указанію начальства, вмѣсто чтенія древнихъ классиковъ вводимо было чтеніе греческихъ писателей византійскаго періода, какъ важныхъ для насъ по своему нравственному и религіозному содержанію ²⁾...

Въ преподаваніи исторіи всеобщей уже и раньше появились особыя требованія, смыслъ которыхъ состоялъ въ томъ, что преподаваніе должно было противодѣйствовать либеральнымъ взглядамъ европейскихъ историковъ. Такъ, отъ Грановскаго еще въ 1843—44 году требовали, чтобъ онъ излагалъ реформацію и революцію съ католической (!) точки зрѣнія. Нѣсколько лѣтъ спустя, новый министръ народнаго просвѣщенія указывалъ необходимость «хорошаго руководства къ изученію всеобщей исторіи, написаннаго въ русскомъ духѣ и съ русской точки зрѣнія» ³⁾. Изъ того, какъ понималось тогда это дѣло педагогическими властями, очевидно, что ихъ русская точка зрѣнія была та же самая, что католическая въ предыдущемъ примѣрѣ. Взгляды, составлявшіе эту такъ-называемую русскую точку зрѣнія, были дѣйствительно таковы, какъ намекалъ на это Грановскій въ своей запискѣ о новой программѣ преподаванія всеобщей исторіи. Какъ эта точка зрѣнія дѣйствовала въ дѣлѣ преподаванія, такъ она дѣйствовала и въ цензурѣ. Тѣ историческіе предметы, для которыхъ требовалась католическая точка зрѣнія, наконецъ, просто отсутствовали въ литературѣ. Это были цѣлые періоды исторіи, цѣлыя явленія историческаго развитія. Новѣйшая исторія была окончательно невозможна въ русской книгѣ. Книги европейской знаменитости, какъ сочиненія Шлоссера, Гервинуса и т. п., были запрещены даже и въ подлинникѣ. Впослѣдствіи, съ нѣкоторымъ трудомъ были допущены первыя извлеченія изъ Маколея, и т. д.

Это повторилось даже и въ самой русской исторіи. Тѣ взгля-

¹⁾ Вѣстн. Евр. 1866, III, педаг. Хроп. стр. 14. Біогр. Грановскаго, 244, и слѣд. „Наставленіе для образованія воспитанниковъ военно-учебныхъ заведеній“, Спб. 1849, стр. 103—108.

²⁾ Такъ было, по крайней мѣрѣ, въ петербургскомъ университетѣ.

³⁾ Біогр. Грановскаго, стр. 245 и слѣд.

ды, какихъ давно уже держались тогдашніе консерваторы, или люди, выражавшіе мнѣніе большинства, — эти взгляды вполнѣ высказались въ репрессивныхъ цензурныхъ мѣрахъ, принятыхъ послѣ 1849 года. Русская исторія должна была изображать и доказывать извѣстные принципы, которые давались готовыми; въ историческихъ сочиненіяхъ должны были устраняться черты и эпохи, въ которыхъ можно было видѣть что-либо неблагопріятное этимъ принципамъ. Извѣстна печальная исторія по поводу перевода книги Флетчера о Россіи *XVII-го вѣка*, — исторія, результатомъ которой было прекращеніе на много лѣтъ изданія «Чтеній московскаго общества исторіи и древностей» г. Бодянскимъ. Къ числу неблагопріятныхъ подробностей, устранявшихся изъ литературы, отнесены были всѣ періоды народныхъ волненій, исторія переворотовъ XVIII-го столѣтія; даже древній бытъ, міѳологія, этнографическое изученіе народныхъ обычаевъ возбуждали недо-вѣріе, и печатаніе изслѣдованій затруднялось и останавливалось¹⁾. Новѣйшая исторія была невозможна, за исключеніемъ чисто оффиціальной. Исторія церкви — также. Расколъ былъ раздѣленъ между двумя специальными вѣдомствами: министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, свѣдѣнія котораго, и даже печатныя изданія, были оффиціальны и «совершенно секретны», и другимъ вѣдомствомъ, которое являлось только съ одними богословско-полемическими обличеніями.

Наконецъ, вопросы общественные, наблюденіе современныхъ явленій, ихъ историческое объясненіе были совершенно закрыты

¹⁾ Въ напечатанныхъ недавно запискахъ извѣстнаго археолога Сахарова („Р. Арх.“, 1873, стр. 930) мы находимъ свѣдѣніе, что даже Сахаровъ встрѣчалъ неблагопріятныя прешатствія при изданіи своихъ книгъ. По поводу своего изданія: „Сказанія русскаго народа о семейной жизни своихъ предковъ“ (описаніе народныхъ обычаевъ), выходявшаго еще въ 1836 году, Сахаровъ замѣчаетъ: „Бѣдная книга! Сколько она прошла мытарствъ, судовъ, пересудовъ, толковъ!..“ А г. Савваитовъ, одинъ изъ друзей Сахарова, сообщившій его записки въ „Р. Арх.“, прибавляетъ: „Дѣйствительно, дѣло доходило до того, что Сахарову *угрожали уже Соловками*, и бѣда уже висѣла надъ его головою; но участіе, принятое въ немъ кн. А. Н. Голицынымъ, избавило нашего археолога отъ душеспасительнаго пребыванія въ отдаленной обители...“ По ходатайству кн. Голицына, подъ начальствомъ котораго онъ служилъ врачомъ въ почтовомъ вѣдомствѣ, Сахаровъ потомъ получилъ даже высочайшую награду.

Такъ смотрѣли низшія вѣдомства на этнографическіе труды, очевидно, подъ влияніемъ понятій, жившихъ въ самомъ обществѣ. Желательно, чтобы исторія трудовъ Сахарова была рассказана подробнѣе знающими ее современниками. — Всего удивительнѣе то, что образъ мыслей Сахарова былъ въ высшей степени патріотическій, и именно въ тогдашнемъ духѣ. Онъ былъ преданнѣйшій поклонникъ тогдашней системы (см. любопытныя подробности его мнѣній тамъ же, въ „Р. Архивѣ“, стр. 903 и слѣд., особенно 915 и друг.).

отъ литературы; многочисленныя спеціальныя цензуры, подъ строгимъ надзоромъ комитета 2-го апрѣля, исключали всякую возможность касаться множества предметовъ общественной и государственной жизни, или прилагать къ нимъ какую-нибудь критику.

Такими трудностями обставлена была дѣятельность литературы, и всего больше были эти трудности въ сороковыхъ и первыхъ пятидесятихъ годахъ, когда замѣченные успѣхи новыхъ направлений вызвали еще болѣе суровыя репрессивныя мѣры. Огромное большинство общества не было на сторонѣ этихъ новыхъ направлений; оно или мало интересовалось ими, или относилось къ нимъ недружелюбно, — потому что предпочитало не тревожить своего сонливаго спокойствія никакими размышленіями. Но эти трудности не остановили развитія новой литературы, и ея внутренняя сила ни въ чемъ не обнаруживается такъ наглядно и ясно, какъ именно въ томъ, что она не только удержалась при этихъ условіяхъ, но успѣла наконецъ оказать вліяніе на умы. Стѣсненная въ самомъ содержаніи изслѣдованій, она выработала довольно опредѣленные представленія объ историческомъ ходѣ и современномъ состояніи русской жизни, о томъ, что нужно для ея здраваго развитія, и уже вскорѣ привлекла къ себѣ горячее сочувствіе людей, въ которыхъ были возбуждены болѣе глубокіе интересы. Въ литературѣ новыхъ школъ господствовали по преимуществу общіе историческіе, литературно-художественные вопросы, но они ставились въ такомъ широкомъ смыслѣ, что заключали въ себѣ цѣлое нравственное и общественное міровоззрѣніе, и литература приобретала широкое воспитательное значеніе. Внѣшнія стѣсненія не остановили, по крайней мѣрѣ въ извѣстномъ тѣсномъ кругѣ людей, развитія ихъ мыслей. То, чего нельзя было говорить въ печати прямо, говорилось косвенно, намеками. Одинъ историкъ нашей цензуры дѣлалъ по этому поводу такое замѣчаніе: «Невозможно исчислить случаевъ удержанія или смягченія цензурою всѣхъ горькихъ сатирическихъ выходовъ въ сороковыхъ и даже тридцатыхъ годахъ; но нерѣдко ей это не удавалось; случалось, что подъ вымышленными именами... сатира обманывала бдительность цензуры, и уже публика разгадывала ея истинное значеніе». Одна официальная записка, поданная въ 1848 году, указывала, что въ этой литературѣ «каждое слово есть обинякъ», что «литература наша, и особенно нѣкоторые изъ петербургскихъ журналовъ, исполнены этихъ обиняковъ и намековъ, прозрачныхъ для смысленныхъ читателей». То, что не могло быть досказано въ книгѣ и намеками, досказывалось въ разговорахъ. Чтеніе иностранной литературы, которая, въ самыя строгія цензурныя вре-

мена, проникала контрабандой, довершало распространение понятий, на которыя литература только указывала, и давало этимъ понятіямъ ясность и опредѣленность. Правда, книги были рѣже, чѣмъ впослѣдствіи, обращеніе ихъ было труднѣе; но самое преслѣдованіе, которому онѣ подвергались, придавало имъ тѣмъ больше значенія, онѣ читались усерднѣе, и пріобрѣтали ревностныхъ послѣдователей ученіямъ, которыя при другомъ положеніи вещей, вѣроятно, не нашли бы такого обширнаго успѣха...

Въ такомъ отношеніи стояли другъ къ другу два направленія понятій—старое и новое, строго консервативное и прогрессивное, узко-національное и національное въ гораздо болѣе широкомъ смыслѣ, одно, принадлежавшее огромному большинству, другое — незначительному меньшинству. Въ понятіяхъ большинства, и органовъ, выражавшихъ его мысли, литературныхъ и не-литературныхъ, господствовавшій *statusquo* былъ наилучшій, какой только можетъ существовать: здѣсь предполагалось, что мы—народъ избранный, который не нуждается въ Европѣ и превосходство котораго она, если иногда и не признаетъ, то только по безсильной зависти,—что вслѣдствіе того, новое направленіе умовъ, проявлявшееся въ обществѣ и наклонное къ скептическому сомнѣнію, есть просто злонамѣренное покушеніе внести раздоръ въ это мирное благосостояніе. Люди консервативныхъ мнѣній могли совершенно искренно не понимать этого направленія, его побужденій и желаній, и приходили къ выводу, что единственный источникъ его—самоволіе мысли, которое и нужно было поэтому обуздать и смирить. Когда новое направленіе, естественнымъ ходомъ образованности, покидало прежнюю дорогу и начинало строже присматриваться къ явленіямъ нашей общественности,—другое направленіе оставалось еще въ той степени умственного развитія, когда критика вовсе не составляетъ непреодолимой потребности. Какъ ни мало выражалось въ литературѣ содержаніе новаго направленія, но люди консервативныхъ мнѣній угадывали, что сущность его въ этомъ пунктѣ была прямо противоположна ихъ понятіямъ, — и потому они относились къ нему съ враждой и съ репрессивнымъ противоѣдствіемъ. По всему складу ихъ понятій, по всей давнишней практикѣ этого рода нельзя было конечно и ждать, чтобы они предоставили противной сторонѣ свободу высказываться...

Натянутыя отношенія того времени были таковы, что едва ли можно было предвидѣть ихъ измѣненіе безъ вмѣшательства новыхъ обстоятельствъ. Иначе, тягостное положеніе литературы могло продолжаться безъ конца: одна сторона не могла бы слиш-

комъ скоро придти къ иному взгляду на вещи, другая не имѣла средствъ измѣнить свое внѣшнее положеніе. Новымъ обстоятельствомъ, которое произвело довольно сильный, временный поворотъ общества,—была Крымская война.

Извѣстно, какимъ высокомѣріемъ преисполнено было русское общество въ началѣ этой борьбы, съ какой самоувѣренностью оно рассчитывало на непобѣдимость своихъ силъ и на посрамленіе врага. Это было совершенно сообразно съ тѣмъ, что думало это общество въ теченіе нѣсколькихъ десятилѣтій, въ чемъ его убѣждали и воспитывали: могла ли быть страшна Европа, къ которой оно привыкло относиться съ такимъ чувствомъ своего превосходства? Другая, меньшая часть общества, именно люди новаго направленія, смотрѣла на вещи гораздо болѣе трезво, далеко не самонадѣянно и, какъ показали послѣдствія, очень вѣрно. Они думали, что Европа, съ которой приходилось бороться, если и не превосходила насъ энергіей національнаго чувства, военного мужества, то, въ счетъ силъ, имѣла надъ нами несомнѣнное преимущество болѣе высокой цивилизаціи, болѣе высокаго гражданскаго развитія; что въ предстоявшей борьбѣ должна была соперничать не только сила оружія, но и сила образованности. Меньшинство съ опасеніями ожидало событій, которые должны были рѣшить не одинъ политическій международный вопросъ, но указать и на рѣшеніе нашего внутренняго вопроса о судьбѣ русской образованности и направленіи общественнаго развитія.

Какъ дѣйствовали событія на людей этого меньшинства, можно видѣть (чтобы говорить фактическими данными), напримѣръ, изъ того, какое впечатлѣніе производили они на Грановскаго. Мы особенно охотно обращаемся къ этому примѣру, потому что Грановскій (какъ ни смотрѣли на него въ свое время крайніе консерваторы), человѣкъ отъ природы мягкій, примиряющій, всего меньше могъ быть обвиненъ въ рѣзкости мнѣній, въ нетерпимости, въ какомъ-нибудь радикализмѣ. Съ людьми послѣдняго рода онъ доходилъ даже до настоящаго разрыва, защищая свои идеалистическія, гуманныя теоріи; онъ далеко не былъ крайнимъ и въ своихъ мнѣніяхъ о предметахъ общественныхъ.

Грановскій, какъ вообще люди, принадлежавшіе къ новымъ литературнымъ школамъ, былъ тяжело пораженъ тѣми мѣрами, какія принимались съ 1848 года противъ литературы, университетовъ и т. д. Сколько могъ, онъ старался защищать ихъ дѣло, когда представлялся къ тому какой-нибудь случай. Иногда, онъ съ горечью высказывалъ друзьямъ безотрадное чувство, которое

имъ овладѣвало ¹⁾. Ему совершенно ясно было значеніе тѣхъ явленій, которыя онъ видѣлъ кругомъ себя. Для него ясно было и значеніе того столкновенія, которое привело къ восточной войнѣ... «На западѣ скоплялась гроза и надвигалась на Россію,— рассказываетъ біографъ Грановскаго. Русское общество исполнилось тревожныхъ и неясныхъ ожиданій. Началось передвиженіе войскъ нашихъ, начались уже столкновенія съ турецкими войсками. Торжество русскаго флота при Синопѣ (18-го ноября 1853 г.) возбудило радость въ русскомъ обществѣ, но порождало вмѣстѣ и преувеличенныя, легкомысленныя надежды. Въ кругахъ московскаго общества Грановскій встрѣчалъ людей, говорившихъ о врагахъ, выступавшихъ противъ Россіи: мы ихъ шапками забрасаемъ. Когда союзный флотъ французскій и англійскій уже готовился войти въ Черное море, въ Москвѣ не только многія изъ дамъ, но и изъ воиновъ, доживавшихъ въ ней свой вѣкъ, толковали, что враги недоумѣваютъ, что имъ дѣлать, и хлопочутъ только о томъ, какъ выпросить себѣ пощады и мира у Россіи... Грановскій, съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдившій за ходомъ готовившихся и грозно развивавшихся событій, за общественнымъ мнѣніемъ Европы, за планами и переговорами европейскихъ правительствъ, за приготовленіями къ войнѣ, раздражался и оскорблялся невѣжественными или легкомысленными толками и мнѣніями, раздававшимися вокругъ него. Опасность, грозившая Россіи, была для него ясна. «Чѣмъ приготовились мы для борьбы съ *цивилизацией*, высылающей противъ насъ свои силы?» задавалъ онъ горькій вопросъ людямъ, легко вѣровавшимъ въ счастливый для Россіи исходъ возникшей борьбы...

«Съ этого времени онъ находился въ особенно возбужденномъ состояніи. Грозныя событія, переживаемыя тогда Россією, начали вызывать въ лучшихъ умахъ русскаго общества сознаніе

¹⁾ Въ 1850 г. онъ писалъ къ одному изъ своихъ друзей: „Положеніе наше становится нестерпимѣе день ото дня. Всякое движеніе на Западѣ отзывается у насъ стѣснительной мѣрой. Доносы идутъ тысячами. Обо мнѣ въ теченіи трехъ мѣсяцевъ два раза собирали справки. Но что значить личная опасность въ сравненіи съ общимъ страданіемъ и гнетомъ.“ Онъ упоминаетъ о мѣрахъ, которыя приняты были относительно университетовъ; замѣчаетъ, что господствовавшая тогда система „громко говорила, что она не можетъ ужиться съ просвѣщеніемъ“; упоминаетъ о программѣ новаго преподаванія для кадетскихъ корпусовъ. „Иезуиты позавидовали бы военному педагогу, составителю этой программы. Священнику предписано внушать кадетамъ, что величіе Христа заключалось преимущественно въ покорности властямъ. Онъ представляется образцомъ подчиненія и дисциплины. Учитель исторіи долженъ разоблачать мишурныя добродѣтели древнихъ республикъ и показывать величіе непонятой историками римской имперіи, которой недоставало только одного — наслѣдственности!...“

положенія и недостатковъ общественнаго устройства Россіи. Для Грановскаго такое сознаніе становилось мучительнѣе, чѣмъ когда-нибудь. Въ то тяжкое время мысль его обращается чаще всего къ великому преобразователю Россіи, къ *Петру*... Онъ горячо любилъ русскихъ и Россію, онъ зналъ и высоко цѣнилъ многія стороны русскаго характера, но понималъ и всѣ ихъ недостатки. Съ горечью замѣчалъ онъ, что русскій народъ умѣетъ славно умирать за отечество, но жить для него не умѣетъ. Россіи нужны *преобразованія*, ей нуженъ преобразователь — вотъ что глубоко сознавалъ и глубоко чувствовалъ онъ въ послѣднее время своей жизни» ¹⁾.

Это послѣднее время вообще наводило его на самыя мрачныя мысли. Оно разрушало всѣ надежды дѣятельности, которыя онъ питалъ съ давняго времени. «Есть съ чего сойти съума. Благо Бѣлинскому, умершему во-время» — говорилъ онъ въ 1850 году. «Сердце ноетъ при мысли, чѣмъ мы были прежде и чѣмъ стали теперь» — писалъ онъ къ одному другу въ 1853 году, указывая на то, какъ тогдашнія условія русской жизни не давали мѣста ни малѣйшему проявленію тѣхъ идеальныхъ, научныхъ, общественно-воспитательныхъ стремленій, которыя въ особенности у Грановскаго отличались кроткимъ и любящимъ характеромъ...

Настроеніе Грановскаго было общее настроеніе всего круга людей, раздѣлявшихъ тотъ же образъ мыслей. Оно видоизмѣнялось по разницамъ личнаго характера, темперамента, ясности и силы убѣжденій; но для всѣхъ эти годы были годами тяжелаго испытанія, опасеній за судьбу русскаго развитія, горькаго чувства подавленныхъ надеждъ, — и результатомъ всего было глубокое убѣжденіе въ необходимости иного порядка дѣлъ, необходимости широкихъ и энергическихъ преобразованій, которыя одни могли вывести Россію изъ ея фальшиваго и опаснаго положенія и обезпечить лучшее будущее.

Прошло два-три года, и съ окончаніемъ войны въ русскомъ обществѣ произошла метаморфоза — наступили знаменитые годы нашего «прогресса». Общій тонъ мнѣній чрезвычайно измѣнился: во-первыхъ, невозможно было не признать превосходства той «цивилизациі», о которой говоритъ Грановскій; во-вторыхъ, новый правительственный періодъ давалъ возможность ожидать смягченія опеки, и это оказало вліяніе не только на людей, которые прежде

¹⁾ Біогр. Гран., 270—275.

боялись высказывать свои мысли, но и на людей, которые при-
выкли совѣмъ «не смѣть свое сужденіе имѣть». Положеніе ли-
тературы измѣнилось не вдругъ; въ первое время еще продол-
жали господствовать прежніе цензурные приемы,—но постепенно
эти приемы смягчались, литературѣ давалось все болѣе и болѣе
простора противъ прежняго, и она тотчасъ воспользовалась но-
выми, благопріятными условіями.

Если мы обратимъ теперь вниманіе на то, *что* говорилось теперь
въ обществѣ, *что* стало высказываться въ литературѣ и встрѣ-
чать всего больше одобренія въ самой публикѣ, встрепенувшейся
къ «прогрессу»,—мы увидимъ, *что* въ сущности это были имен-
но тѣ взгляды, которые господствовали въ литературныхъ школахъ
сороковыхъ годовъ. Когда, во второй половинѣ пятидесятихъ го-
довъ, начались эти разнообразныя заботы о русскомъ прогрессѣ,
въ сущности это было то же самое, *что* говорили нѣкогда Бѣ-
линскій, Грановскій и ихъ друзья. Мнѣнія этой школы, кото-
рыя немного лѣтъ тому назадъ считались у большинства дерзкимъ
вольнодумствомъ, умничаньемъ кабинетныхъ людей, стали теперь
какъ будто вновь открытой истиной и вскорѣ потомъ общимъ мѣс-
томъ, которымъ смѣло пользовался каждый, кому, искренно или не-
искренно, хотѣлось не отстать отъ вѣка. Наша общественная дѣй-
ствительность стала теперь представляться вовсе не въ томъ бли-
стательномъ видѣ, какою считали ее прежде; сколько прежде
большинство находило ее благополучной, столько теперь стали
отыскивать въ ней недостатковъ; самообличеніе полилось потоками.
Извѣстно, какъ это движеніе въ либеральную сторону захваты-
вало даже людей, собственно говоря вовсе не склонныхъ къ ка-
кому-нибудь либерализму и которые, нѣсколько лѣтъ спустя, пото-
ропились вернуться къ прежнему, находя, что это и проще и
можетъ быть при новыхъ обстоятельствахъ гораздо выгоднѣе...
Но если, мимо этихъ каррикатурныхъ сторонъ того времени,
въ которыхъ уже тогда люди болѣе проницательные угадывали
ту же безхарактерную податливость большинства, если обратить
вниманіе на то, *что* занимало людей, болѣе серьезно и горячо
принимавшихъ общественный интересъ, и *что* стало теперь пред-
метомъ правительственныхъ начинаній, то параллель съ идеями
литературныхъ школъ сороковыхъ годовъ становится несомнѣнна.
Въ этомъ и заключается ихъ историческій смыслъ. Въ нихъ было
именно стремленіе къ тому преобразованію, которое совершалось
теперь въ различныхъ областяхъ общественной и государственной
жизни. Освобожденіе крестьянъ; уничтоженіе взяточничества—не
моральными проповѣдями, а болѣе разумными учрежденіями; пре-

образование судовъ и введеніе присяжныхъ; извѣстный просторъ для общественной самодѣтельности; введеніе гласности какъ для дѣтельности административной и судебной, такъ и для другихъ предметовъ общественнаго значенія, и рядомъ съ этимъ, свобода печати; наконецъ, сколько возможно болѣе широкое образованіе для всѣхъ классовъ общества—все это было ясно сознаннымъ и безспорнымъ убѣжденіемъ сороковыхъ годовъ. Правда, писатели того времени не могли развить всего этого прямымъ образомъ, не сказали этого въ положительной формѣ, — но имъ помѣшала въ этомъ только практическая невозможность, тѣ цензурныя препятствія, которыя вообще не дали имъ высказать вполне своего образа мыслей. Для читателей серьезныхъ былъ и тогда, въ общихъ чертахъ, ясенъ тотъ характеръ общественной и государственной жизни, какого они должны были желать по ихъ взгляду на вещи. Многіе изъ тѣхъ писателей продолжали дѣйствовать и послѣ, дѣйствуютъ и до сихъ поръ, и когда въ пятидесятыхъ годахъ они говорили объ общественныхъ преобразованіяхъ, они конечно высказывали не вновь придуманныя, а давнишнія свои мысли. До какой рѣзкой ясности доходили понятія этого круга въ сороковыхъ годахъ, можетъ служить примѣромъ не разъ нами указанное письмо Бѣлинскаго къ Гоголю.

Итакъ, если въ сороковыхъ годахъ эти люди были гонимы, если имъ ставили въ укоръ, что они точно по недоброжелательству не хотятъ признавать порядка вещей, составляющаго общее благополучіе, ихъ вина состояла только въ томъ, что они лучше массы общества понимали положеніе вещей, истинный интересъ народа и государства: они не хотѣли повторять лстивой лжи о всеобщемъ благополучіи, и видѣли тѣ слабыя стороны общества и государства, которыя нуждались въ перемѣнѣ и по требованію разумной справедливости, и по требованію національнаго самосохраненія. Первое испытаніе, которое встрѣтилось потомъ націи, подтвердило ихъ предвидѣнія и повело общество на тотъ путь преобразованія, какого они давно желали.

Такова нравственно-общественная заслуга писателей сороковыхъ годовъ и ихъ историческое значеніе. Не будемъ говорить о томъ, какой урокъ слѣдуетъ изъ ихъ исторіи: историческіе уроки сами собой ясны тѣмъ, кто умѣетъ понимать общественныя явленія и относится къ нимъ съ честнымъ желаніемъ истины, и бесполезно указывать ихъ тѣмъ, кто смотритъ на міръ «ковыряя пальцемъ въ носу», какъ выражается великій реалистъ Гоголь, или кому нѣтъ дѣла до истины и до интересовъ общества.

Намъ остается упомянуть тѣ, не вполне благопріятныя заклю-

ченія о литературной эпохѣ сороковыхъ годовъ, какія вызывала современная дѣятельность нѣкоторыхъ писателей, принадлежавшихъ той эпохѣ по началу своей дѣятельности; мы уже касались отчасти этого предмета, и ограничимся немногими замѣчаніями. «Московскія Вѣдомости» и «Русскій Вѣстникъ» издаются людьми сороковыхъ годовъ, и это заставляло нѣкоторыхъ думать, что въ идеяхъ сороковыхъ годовъ была извѣстная неустойчивость, неясность, неполнота, которыя и сдѣлали возможнымъ превращеніе ихъ прежняго либерализма въ нѣчто не только консервативное, но какъ будто просто обскурантное. Можно пожалуй прибавить, что и нынѣшній «Гражданинъ» издается также самымъ настоящимъ, повидимому, человѣкомъ сороковыхъ годовъ, и приискать другіе примѣры подобныхъ превращеній. Но они еще не доказываютъ того, что хотятъ ими доказать. Начать съ того, что издатели «Московскихъ Вѣдомостей» и «Русскаго Вѣстника» не занимали въ литературѣ сороковыхъ годовъ никакой яркой роли, по которой можно было бы опредѣленно характеризовать ихъ прошедшее. Нынѣшній редакторъ «Гражданина» пріобрѣлъ тогда («Бѣдными людьми») свою славу какъ писатель беллетристическій, извѣстнаго гражданско-филантропическаго характера, навѣяннаго Гоголемъ, — но о другихъ его произведеніяхъ Бѣлинскій еще тогда же мѣтко отозвался какъ о «нервической чепухѣ», которая въ послѣднее время и господствуетъ, кажется, безраздѣльно, въ его произведеніяхъ. Словомъ, эти и подобные примѣры, гдѣ превращеніе слишкомъ опредѣлялось личными свойствами, еще не говорятъ противъ силы, искренности и исторической важности идей сороковыхъ годовъ, какъ онѣ понимались лучшими людьми того времени. Противъ приведенныхъ примѣровъ можно было бы привести другіе, гдѣ превращенія не послѣдовало, и гдѣ, напротивъ, сущность взглядовъ не только сохранялась, но и развивалась далѣе. Но, дѣйствительно, есть пункты различія, гдѣ люди сороковыхъ годовъ (т.-е. люди тогдашнихъ прогрессивныхъ понятій), уже не сходились съ новыми поколѣніями, гдѣ взгляды первыхъ могли не удовлетворять, могли казаться ошибочными и узкими даже и въ томъ случаѣ, еслибъ нисколько не отступили отъ своего первоначальнаго типа. Первые были больше идеалисты и отвлеченные либералы, когда вторые больше чувствовали реальныя стороны жизни, науки и искусства. Эта существенная разница весьма понятна. Первые начинали то дѣло, которое продолжали вторые, и продолженіе естественно встрѣчало новыя стороны предмета, ближе опредѣляло прежнія, отъ вещей общихъ приходило къ частностямъ, отъ отвлеченныхъ — къ практическимъ. Съ другой

стороны, измѣнилось направление европейской мысли, которая продолжала оказывать сильное вліяніе на содержаніе нашей образованности. Первые больше были подъ вліяніемъ отвлеченно-философскихъ, обще-историческихъ изученій, или встрѣчались съ ученіями социальными въ ихъ самой крайней идеалистической формѣ у французскихъ социалистовъ, которые могли дать только самыя общія черты своего отдаленнаго идеала. Вторые уже не видѣли безусловнаго господства отвлеченной философіи, и больше знакомы были уже съ ея послѣдними развитіями у лѣвой стороны гегеліанства, или съ новыми изслѣдованіями въ области естественной философіи; изученія историческія приняли болѣе широкій и положительный характеръ, который представляла теперь сама европейская литература, и который обнаруживался также и въ нашихъ собственныхъ изученіяхъ своего прошедшаго; политико-экономическія ученія новѣйшаго времени оставили почву отвлеченнаго социализма, и говорили о достиженіи лучшаго устройства экономическихъ отношеній, уже не фантастическими, но въ дѣйствительности возможными средствами, напр. извѣстными учрежденіями, развитіемъ коопераціи внѣ государственной инициативы или подъ ея прямымъ вѣдѣніемъ, и т. д. Новое положеніе печати, во всякомъ случаѣ болѣе благопріятное чѣмъ прежде, произвело также разницу условій, вліяніе которой отражается и на сужденіяхъ о литературѣ сороковыхъ годовъ. Наконецъ, самыя событія преобразованія, совершавшіяся въ новый правительственный періодъ, могли производить, и производили на тѣхъ и другихъ различное впечатлѣніе. Первые мечтали нѣкогда о лучшихъ временахъ, о болѣе свободѣ для общества, для литературы и науки, такъ мало видѣли кругомъ себя условій для этого, и такъ мало надѣялись въ свое время на исполненіе своихъ мечтаній, и съ другой стороны вынесли изъ-за нихъ такъ много мелкихъ и крупныхъ испытаній, что этихъ людей, очевидно, должна была удовлетворять гораздо меньшая доля исполненія ихъ желаній, чѣмъ людей, для которыхъ общественный опытъ почти начинался прямо съ этого новаго порядка вещей. Для первыхъ было важно одно то, что признанъ былъ тотъ или другой общій принципъ: по тому, что они видѣли въ прежней русской общественности, и это казалось уже, и дѣйствительно было важнымъ приобрѣтеніемъ, и утомившаяся энергія не увлекалась новыми исканіями. Для вторыхъ, новый принципъ, вводимый въ жизнь, казался дѣломъ необходимости, почти условіемъ національнаго существованія, которому безъ этого грозила, по ихъ мнѣнію, серьезная опасность ослабленія и упадка, въ виду

европейскаго сосѣдства и враждебнаго соперничества. Съ этой точки зрѣнія, справедливость которой едва ли подлежит сомнѣнію, не довольно было одного неяснаго, обоюднаго, такъ сказать, безхарактернаго заявленія принципа, но было необходимо послѣдовательное проведеніе его, потому что только это послѣднее и могло считаться сколько-нибудь дѣйствительнымъ противъ многоразличныхъ золь, продолжающихъ искажать и обезсиловать внутреннюю русскую жизнь. Чѣмъ больше вторые имѣли случаяевъ не находить этой послѣдовательности, естественно тѣмъ больше ихъ точка зрѣнія дѣлалась исключительною, и тѣмъ меньше становилось возможно соглашеніе съ идеалистическимъ оптимизмомъ.

Таково отношеніе двухъ періодовъ прогрессивнаго направленія нашей литературы, или, пожалуй, двухъ литературныхъ и общественныхъ поколѣній. Если притомъ многіе изъ людей школы сороковыхъ годовъ въ послѣднее десятилѣтіе не выдержали своего либерализма, и, напр., изъ англоманско-либеральнаго «Русскаго Вѣстника» пятидесятихъ годовъ могли произойти новѣйшіе «Русскій Вѣстникъ» и «Московскія Вѣдомости», и послѣднія могли (по крайней мѣрѣ нѣсколько лѣтъ тому назадъ) приобрести еще болѣе пламенныхъ поклонниковъ, чѣмъ имѣли въ пору своего либерализма (а тогда поклонниковъ также было очень много), то очевидно, что это отступленіе бывшихъ либераловъ на попятный дворъ надо разсматривать не только какъ ихъ личное дѣло, но и какъ явленіе общественнаго свойства. Если отступленіе и было внушено расчетомъ на личный интересъ, на популярность и т. д., то возможность популярности, приобретаемой подобнымъ отступленіемъ, показываетъ, что въ самомъ обществѣ заговорили уже иные инстинкты, и писатели, подавшіеся имъ, возвращались въ ту же толпу, изъ которой они выдѣлились нѣкогда, какъ ея руководители. Въ этой массѣ снова заговорили ея давнишнія свойства, та вражда къ умственному труду, ненависть къ тому, что не льститъ ея грубому самодовольству, которыя два десятилѣтія тому назадъ обошлись обществу такъ дорого.

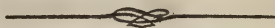
Насъ отдѣляетъ отъ литературныхъ школъ сороковыхъ годовъ цѣлый періодъ новаго развитія, въ которомъ совершилось много важныхъ событій, общественныхъ и литературныхъ; теперь привыкли считать описываемое нами время давнимъ прошлымъ, которое мы далеко опередили,—но, какъ ни важны многія изъ совершившихся перемѣнъ, въ сущности наше время, по своему содержанію, еще не такъ далеко ушло отъ этого давняго прошедшаго и не исполнило тѣхъ задачъ, которыя послѣднее ста-

вило русскому общественному развитію и литературѣ. Не будемъ говорить о тѣхъ понятіяхъ гражданской жизни, которыя были уже прочно усвоены лучшими людьми той эпохи, и которыя до сихъ поръ еще не были признаны нашимъ временемъ и не получили мѣста въ учрежденіяхъ. Самый вопросъ образованія, хотя разъяснился нѣсколько съ того времени, и самимъ обществомъ было при этомъ положено не мало прекрасныхъ намѣреній и дѣйствительнаго труда,—все еще находится въ самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ. Нравственное освобожденіе общества образованностью, которое было основнымъ интересомъ того времени, до сихъ поръ не достигнуто даже въ средѣ наиболѣе образованнаго общества, стоящаго во главѣ народа. И въ этихъ скромныхъ размѣрахъ оно остается идеаломъ, быть можетъ еще очень не близкаго будущаго. Нашимъ обществомъ не достигнуто, и не существуетъ въ обычаяхъ и правахъ его, и то понятіе, безъ котораго немислимы серьезные успѣхи въ образованіи,—понятіе о свободѣ научнаго изслѣдованія. Положеніе науки, правда, съ тѣхъ поръ также нѣсколько улучшилось, но самый принципъ этого положенія остался тотъ же. Какъ тогда, наука все еще находится подъ надзоромъ опеки; ея отдѣлы все еще дѣлятся на полезные и вредные, безопасные и опасные, желательные и нежелательные; нѣкоторые все еще не имѣютъ мѣста въ русской литературѣ и на русскомъ языкѣ. Такимъ образомъ, существованіе нашей науки до сихъ поръ случайно и непрочно, и она продолжаетъ оставаться въ вассальномъ отношеніи къ европейской образованности,—которое оставляетъ за нами репутацію умственнаго несовершеннолѣтія и, къ сожалѣнію, не безъ основанія; потому что отсутствіе возможности свободнаго изслѣдованія, поневолѣ дѣлаетъ бѣдной нашу научную литературу и ставитъ цѣлую нашу образованность въ подчиненіе литературѣ и образованности европейской.

Въ нашей литературѣ—и въ той, которую мы изучали въ этихъ очеркахъ, и въ современной, — къ сожалѣнію, слишкомъ часто чувствуется этотъ недостатокъ свободнаго движенія, связывавшій мысли лучшихъ писателей, въ наукѣ и поэзіи, въ критикѣ и романѣ, въ изученіи прошедшаго и въ изображеніяхъ настоящаго. Имѣвши въ виду указать нѣкоторые основные факты въ исторіи нашего общественнаго самосознанія, мы не могли не встрѣчаться съ прискорбными явленіями подобнаго рода, такъ какъ они слишкомъ часто повторяются въ этой исторіи. Скучно припоминать, сколько это навлекло настоящимъ очеркамъ нелѣпыхъ обвиненій—въ неуваженіи къ нашей литературѣ, въ жела-

ни бросать на ея славныя имена невыгодную тѣнь, въ непризнаніи того, что есть въ ней высокаго и замѣчательнаго и т. д.,—обычный пріемъ невѣжественныхъ людей, которымъ трудно отвѣчать вразумительнымъ для нихъ образомъ. Эти очерки—не исторія художественной литературы; ихъ цѣлью было указать общественную сторону нашего литературнаго развитія, и только съ этой точки зрѣнія мы высказывали свое мнѣніе. Оно опиралось на фактахъ, на цитатахъ: къ пересмотру ихъ и слѣдовало обращаться критикѣ, которая бы захотѣла провѣрить или исправить его. Если указанные факты оставляли иногда, или даже часто, неблагоприятное впечатлѣніе,—неужели надо было скрывать или подкрашивать ихъ? И неужели это послѣднее было бы уваженіемъ къ литературѣ, — и къ исторіи?

То, чего мы искали въ своемъ изслѣдованіи, это — опредѣленіе дѣйствительныхъ отношеній, въ какихъ находилась литература къ образованію общественныхъ понятій. То, чего мы глубоко желали бы для нашей литературы, — это будетъ понятно каждому читателю, у котораго есть интересъ къ ея широкому и свободному развитію и процвѣтанію.



ДОПОЛНЕНІЯ и ПОПРАВКИ.

Стр. 54—55. Съ тѣхъ поръ, какъ эти главы были написаны, появились еще нѣкоторыя, доселѣ неизданные матеріалы, въ которыхъ новыми чертами раскрываются мнѣнія Пушкина. Таковы, напр., переписка его съ Жуковскимъ, въ „Р. Архивѣ“ 1870,—съ Нащокинымъ, въ „Девятнадцатомъ Вѣкѣ“, т. I;—его записка, представленная императору Николаю, тамъ же, т. II, и др.

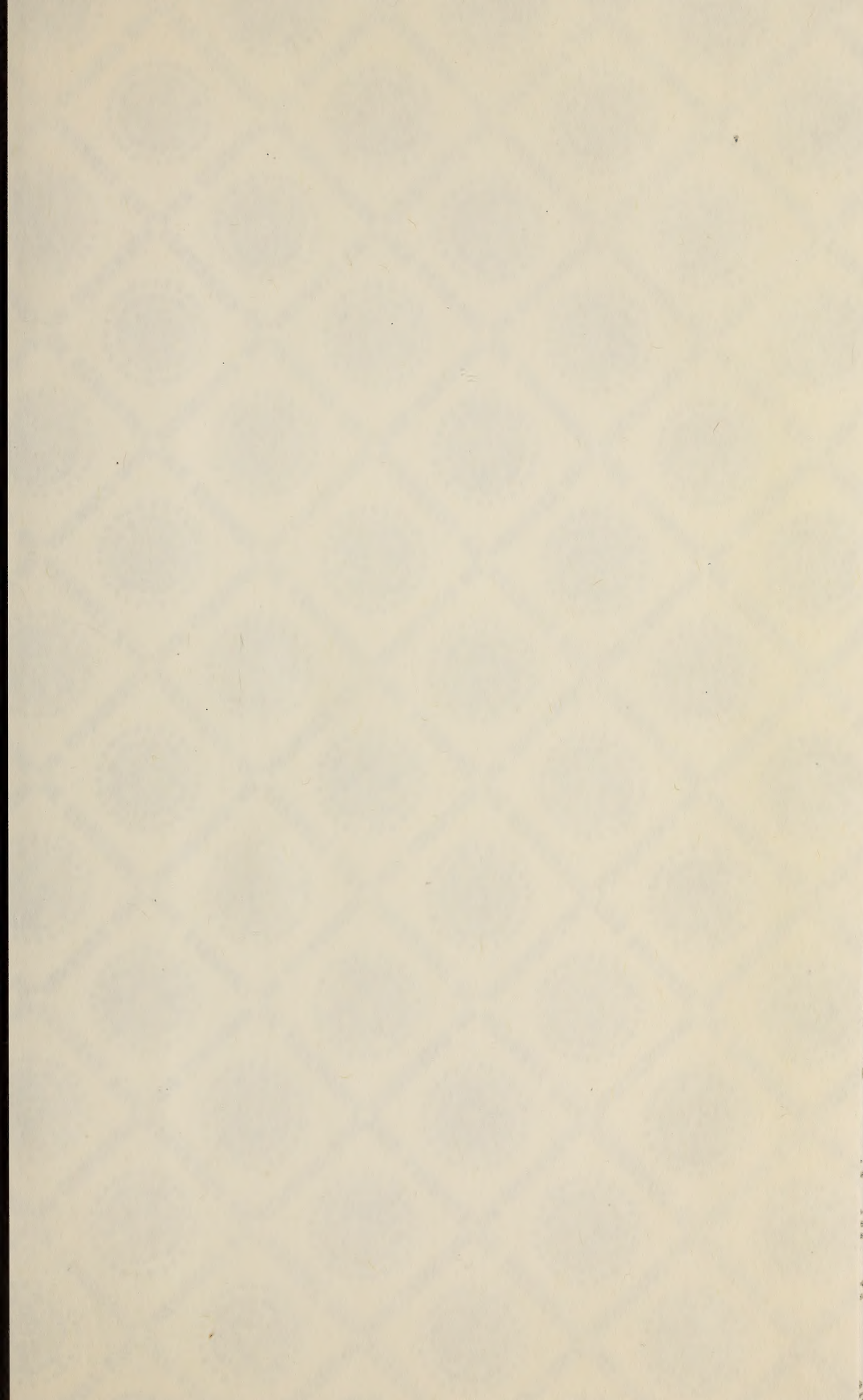
Стр. 130, примѣч. Впослѣдствіи, въ редакцію „В. Европы“ доставлено было, черезъ кн. П. А. Вяземскаго, заявленіе, подписанное Екатериною Никол. Орловою, урожденною Раевскою. Въ этомъ заявленіи говорится, что г-жа Орлова, несмотря на дружескія отношенія, существовавшія между ея братомъ, Ник. Ник. Раевскимъ, и мужемъ ея, М. Ѳ. Орловымъ, съ П. Я. Чаадаевымъ,—не была лично знакома съ Чаадаевымъ до начала 1831 года; упоминаемыя письма не

были къ ней адресованы и написаны раньше ея знакомства съ Чадаевымъ. Она читала ихъ въ первый разъ случайно еще въ рукописи, не прежде 1834 года, и то несполна. (Вѣстн. Евр. 1872, февр., стр. 867).

Стр. 253. Въ послѣднее время изданы были два тома сочиненій Хомякова, заключающіе его разсужденія о всеобщей исторіи. До сихъ поръ эти сочиненія извѣстны были только по отдѣльнымъ отрывкамъ въ „Р. Бесѣдѣ“.

Стр. 362, 363, 387 и др. Указано крайне враждебное отношеніе писателей, принадлежавшихъ нѣкогда пушкинскому кругу, къ Бѣлинскому; въ той же главѣ указано и странное отношеніе къ нему Гоголя. Любопытно встрѣтить во вновь изданныхъ матеріалахъ, что когда Бѣлинскій еще только начиналъ свою дѣятельность, самъ Пушкинъ предвидѣлъ въ немъ литературную силу и желалъ пріобрѣсти его сотрудничество для своего „Современника“. Въ одномъ письмѣ къ своему пріятелю, Нащокину, въ маѣ 1836, Пушкинъ поручаетъ ему отослать Бѣлинскому экземпляръ журнала:... „пошли отъ меня Бѣлинскому—тихонько отъ Наблюдателей (т.-е. отъ сотрудниковъ журнала: Московскій Наблюдатель), и вели сказать ему, что очень жалѣю, что съ нимъ не успѣлъ увидѣться“. Нащокинъ въ одномъ письмѣ 1836 года пишетъ къ Пушкину, очевидно въ отвѣтъ на сдѣланные вопросы: „Бѣлинскій получалъ отъ Надеждина, чей журналъ уже запрещенъ, 3 т. Наблюдатель предлагалъ ему 5. Гречъ тоже его звалъ. Теперь, коли хочешь, онъ къ твоимъ услугамъ; я его не видалъ, но его друзья, въ томъ числѣ и Щепкинъ, говорятъ, что онъ будетъ очень счастливъ, если ему придется на тебя работать. Ты мнѣ отпиши, и я его къ тебѣ пришлю“ (Девятн. Вѣст., I, стр. 401, 404).

Стр. 415, 419, 420 упоминается изданный въ 1872 г. въ „Рус. Старинѣ“ третій вариантъ второго тома „Мертвыхъ Душъ“ (трехъ первыхъ главъ), — по поводу котораго появились заявленія г. Ястржембскаго, возраженія издателей „Рус. Старины“ и проч. Объ этой полемикѣ см. замѣтки въ „Вѣстн. Евр.“ 1873, августъ, стр. 822, сент., стр. 449 и слѣд.



Deacidified using the Bookkeeper process.
Neutralizing agent: Magnesium Oxide
Treatment Date: Dec. 2006

Preservation Technologies
A WORLD LEADER IN PAPER PRESERVATION

111 Thomson Park Drive
Cranberry Township, PA 16066
(724) 779-2111



WERT
BOOKBINDING
Grantville, Pa.
May-June 1988
New Quality Binding

LIBRARY OF CONGRESS



00025050514